

В. А. Талстой

ОЧЕРКИ
БЫЛОГО

ОЧЕРКИ
БЫЛОГО



С. Л. ТОЛСТОЙ

ОЧЕРКИ БЫЛОГО

*Издание четвертое,
исправленное
и дополненное*

*Приокское книжное издательство
Тула · 1975*

Общая редакция, примечания,
указатель имен
Т. Н. Волковой

Вступительная статья
Н. П. Пузина

Текст книги печатается по изданию:
С. Л. Толстой. «Очерки былого», Приок-
ское книжное издательство, Тула, 1965.

ОТ РЕДАКТОРА

10 июля 1973 года исполнилось 110 лет со дня рождения Сергея Львовича Толстого — старшего сына великого писателя.

Начиная с 1910-х годов и до последних месяцев жизни С. Л. Толстой работал над воспоминаниями об отце.

Он изучал прошлое рода Толстых, его генеалогию, собирал факты, случаи из жизни, легшие в основу произведений Толстого, интересовался окружением великого писателя, его родными, близкими, знакомыми и друзьями. Кроме напечатанных книг и статей Сергея Львовича, в Архиве Л. Н. Толстого при Государственном музее Л. Н. Толстого хранится ряд неопубликованных работ его по этим вопросам.

Книга «Очерки былого» занимает в ряду этих работ особое место: над ней С. Л. Толстой работал дольше всего, ей отдал максимум труда и внимания, мечтал об ее напечатании. Это не только его автобиография, это история взаимоотношений с его гениальным отцом, отношений не всегда ровных и гладких, часто прерывавшихся спорами и разногласиями, но в трудное для Толстого время октября — ноября 1910 г. полных любви и взаимопонимания.

Первые, отрывочные, детские воспоминания Сергея Львовича относятся к концу 1860-х гг., т. е. еще ко времени работы Л. Н. Толстого над «Войной и миром». Отроческие годы Сергея Львовича были годами наибольшей близости к отцу, когда писатель принимал непосредственное участие в воспитании и обучении трех старших детей.

Близость к отцу в детстве и отрочестве несомненно наложила отпечаток на формирование характера Сергея Львовича: страницы «Очерков былого» дышат толстовским прямодушием, суровым, не жалеющим себя обличением и беспощадной правдивостью. Старший

сын писателя, разблываясь в семейных, идейных расхождениях между отцом и матерью, не стремится оправдать во что бы то ни стало отца из ппх. Он становится между ними и судит беспристрастно того и другого.

Покинув Ясную Поляну, Л. Н. Толстой писал старшим детям из Шамордина 31 октября 1910 года: «Благодарю вас очень, милые друзья, — истинные друзья — Сережа и Таня за ваше участие в моем горе и за ваши письма. Твое письмо, Сережа, мне было особенно радостно: коротко, ясно и содержательно и, главное, добро» (т. 82, стр. 220).

В последней записи Дневника — 3 ноября в Астапове, изменившимся почерком, в жару — Толстой отмечает: «В ночь приехал Сережа, очень тронул меня» (т. 58, стр. 126).

Вторая часть «Очерков былого» — «Друзья и близкие Л. Н. Толстого» — состоит из одиннадцати глав: десять первых — портретно-биографические очерки наиболее близких к Толстому в разные периоды его жизни лиц, последняя — обстоятельное исследование «Музыка в жизни моего отца». О музыке Сергей Львович пишет с полным знанием вопроса: он сам был серьезным знатоком и любителем музыки, хорошо играл на рояле, занимался композицией.

Первое издание «Очерков былого» вышло в свет уже после смерти автора, в 1949 г. В 1956 г. Гослитиздат выпустил стереотипное второе издание, которое, собственно говоря, даже не было новым изданием: без какой-либо переработки первого и с тем же предисловием.

Для третьего издания «Очерков былого» текст второго издания книги был сверен с рукописью, хранящейся в АТ ГМТ. При сверке выяснилось, что целый ряд небольших эпизодов, интересных характеристик, ярких эпитетов был в предыдущем издании выпущен. Так как это несомненно обедняло книгу, нами было сделано более 340 обратных вставок. Оговаривать каждый раз эти вставки невозможно, да и вряд ли нужно. Достаточно сказать, что общее количество пропущенного в первых двух изданиях и возвращенного в данное, новое издание достигает двух печатных листов. Дело читателя судить, насколько выиграла книга в полноте и обстоятельности после этих дополнений.

Настоящее издание снабжено очень сжатыми примечаниями. Примечания, сделанные самим Сергеем Львовичем, всякий раз оговариваются. Краткие сведения об упоминаемых лицах читатель найдет в аннотированном именной указателе в конце книги.

Опасаясь чрезмерного увеличения объема книги, мы опустили три главы первого издания «Очерков былого», не имеющих непосредственного отношения к Л. Н. Толстому. Это — «Университет»,

«Д. И. Менделеев и самозванцы поневоле», «Осенью 1905 года». Любознательный читатель, желающий с ними ознакомиться, без труда достанет первое издание «Очерков» в любой библиотеке.

Редактор первого издания «Очерков былого» Н. С. Родионов сократил главу «Мое участие в эмиграции духоборов в Канаду» почти в два раза по сравнению с рукописью. Впечатления полугодовой работы по переселению духоборов через океан изложены С. Л. Толстым подробно, со всеми деталями. Однако многое показалось нам излишним, и мы оставили главу в том сжатом виде, в котором она была напечатана. Добавлены лишь абзацы, имеющие непосредственное отношение к Л. Н. Толстому.

В виде двух приложений к книге даны: 1) материалы к «Почтовому ящику» Ясной Поляны и 2) отрывки первой редакции главы «Отъезд отца из Ясной Поляны».

Материалы к «Почтовому ящику» хранятся в архивах Сергея Львовича и Татьяны Андреевны Кузминской (Архив Л. Н. Толстого Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве). Частично они введены в текст книги самим автором. В приложении мы даем те материалы, которых нет в первых двух изданиях, а между тем они представляют большой интерес для характеристики яснополянской жизни 1880-х годов. Ввести эти новые материалы в текст книги мы не сочли возможным, поскольку они не были там помещены самим автором.

Все основное, написанное Толстым для «Почтового ящика», уже опубликовано в 25-м томе Полного собрания сочинений. Однако мы не сочли себя вправе лишить читателя даже тех небольших заметок Толстого, которые не вошли ни в 25-й том, ни в воспоминания Ильи Львовича Толстого.

Книга «Очерки былого» содержит свыше 280 цитат из произведений, дневников Толстого, но главным образом из писем как самого писателя, так и близких ему лиц. В первом и втором изданиях цитаты зачастую приводились по устаревшим изданиям с неверными текстами. Много было поэтому ошибок и в датировке. Для настоящего издания выдержки из произведений и дневников Толстого сверены с Юбилейным изданием, причем для краткости как в комментариях, так, в случае надобности, и в тексте книги дается ссылка только на том и страницы в нем. Издание не оговаривается. Все выдержки из писем, если эти письма хранятся в АТ ГМТ, сверены с подлинниками. Цитаты из нескольких документов сверить не удалось: они имелись в распоряжении Сергея Львовича, когда он работал над книгой, и не вошли в государственное хранилище. К счастью, таких случаев немного.

Ошибки в датировке фактов и событий — обычные погрешности

памяти мемуариста — либо исправлялись в тексте без оговорок, если это позволял текст, либо оговаривались в комментариях.

Приводя выдержки из писем Л. Н. Толстого и его близких, автор «Очерков былого» обычно сильно сокращал их текст. В ряде случаев пропуски нами восполнены, особенно, если цитируется не бывший в печати документ, а выпущены интересные детали жизни и творчества Л. Н. Толстого. Главным образом это относится к письмам Софьи Андреевны к ее сестре Татьяне Андреевне Кузминской, в которых она, как добросовестный летописец Ясной Поляны, сообщает обычно много нового и примечательного.

Третье издание «Очерков былого» просмотрено сыном Сергея Львовича — Сергеем Сергеевичем Толстым. Мы очень дорожили возможностью пользоваться советами старшего из внуков Л. Н. Толстого.

Рукопись «Очерков былого», все или почти все подлинники писем, приводимых в книге, материалы приложений и частично комментария хранятся в Отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве.

Приношу глубокую благодарность заведующей Отделом рукописей Музея Л. Н. Толстого Э. Н. Ивановой, а также сотрудницам его: О. А. Голененко, И. А. Покровской, Б. М. Шумовой, которые терпеливо и вдумчиво разыскивали нужные документы, вкладывая в поиски огонек интереса и тепло дружелюбия.

Ценные советы Э. Е. Зайденшнур неизменно помогали мне в работе.

Иллюстрации для нового издания «Очерков былого» подобраны в Отделе фондов Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве. Благодарю сотрудниц Отдела Л. В. Щербухину и О. Е. Ершову и заведующего Отделом М. М. Горохова за активную помощь.

Публикуя книгу воспоминаний С. Л. Толстого, невольно обращаешься мыслью к научному сотруднику музея-усадьбы Ясная Поляна — бывшему хранителю Дома Л. Н. Толстого, заслуженному работнику культуры РСФСР Н. П. Пузину, чья преданная дружба скрашивала последние годы жизни престарелого автора настоящей книги. Превосходный знаток жизни и деятельности С. Л. Толстого, Николай Павлович дал для нового издания ряд чрезвычайно полезных указаний и несколько редких фотографий. Им же написана биография старшего сына Л. Н. Толстого. Кроме того, в комментариях к главе «Кончина моей матери» опубликованы интересные документы из личного собрания Н. П. Пузина. Приношу ему мою сердечную благодарность.

Т. Волкова

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АТ ГМТ — Архив Л. Н. Толстого (Отдел рукописей) Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве.

«Дневники С. А. Толстой» I, II, III, IV — «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», изд. М. и С. Сабашниковых, М., 1928; «Дневники С. А. Толстой. 1891—1897», ч. II, изд. М. и С. Сабашниковых, М., 1929; «Дневники С. А. Толстой. 1897—1909», ч. III, изд. «Север», М., 1932; «Дневники С. А. Толстой. 1910», изд. «Советский писатель», М., 1936.

И. Л. Толстой. «Мои воспоминания» — ссылки даются на издание: издательство «Художественная литература», М., 1969.

«Т... стр...» Имеется в виду Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное) Государственного издательства художественной литературы, М., 1928—1958, тт. 1—90.

СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ ТОЛСТОЙ

I

Еще в конце сороковых годов многие посетители Ясной Поляны могли встретить в парке или в залах музея человека, удивительно похожего на Льва Толстого. Это был его старший сын Сергей Львович, ежегодно проводивший летние месяцы в яснополянской усадьбе.

Имя его, как автора мемуаров «Очерки былого» и многочисленных работ о Толстом, а также талантливого композитора, известно в нашей стране и за рубежом.

Сергей Львович родился в Ясной Поляне 28 июня 1863 года. Первоначальное образование получил дома под руководством своих родителей и приглашенных учителей, как русских, так и иностранных. Он любил вспоминать, что его первым учителем и человеком, оказавшим на него огромное влияние, был отец.

Л. Н. Толстой внимательно и серьезно следил за формированием характера своего первенца, с удовлетворением замечая в нем черты сходства со своим старшим любимым братом Николаем Николаевичем. В письме к А. А. Толстой, давая характеристику своим детям, Толстой писал о Сергее: «Все говорят, что он похож на моего старшего брата. Я боюсь верить. Это слишком было бы хорошо. Главная черта брата была не эгоизм и не самоотвержен[ие], а строгая середина. Он не жертвовал собой никому, но никогда никому не только не повредил, но не помешал. Он и радовался и страдал в себе одном. Сережа умен — математический ум и чуток к искусству, учится прекрасно...»¹

¹ Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., (юбил.), т. 61, стр. 333. В дальнейшем все ссылки на это издание.

На Сергея Львовича также оказал большое влияние учитель из народников В. И. Алексеев, у которого он «многому и многому хорошему научился» и был ему «вечно благодарен».

Выдержав экзамены на аттестат зрелости в Тульской гимназии, осенью 1881 года Сергей Львович поступает в Московский университет на физико-математический факультет, отделение естественных наук, где по преимуществу занимается химией. В 1886 году оканчивает университет со званием кандидата и пишет по рекомендации и под руководством известного профессора В. В. Марковникова кандидатскую работу о тяжелых нефтяных маслах. Среди профессоров Московского университета, лекции которых слушал Сергей Львович, были К. А. Тимирязев, А. П. Богданов, Н. Ю. Зограф, С. А. Усов и другие.

Параллельно с занятиями в университете он совершенствовал свое музыкальное образование. Еще до переезда семьи Толстых в 1881 году из Ясной Поляны в Москву Сергей Львович учился игре на фортепиано сперва у своей матери, давшей ему первоначальные сведения о музыке, а затем у Александра Григорьевича Мичурина, считавшегося лучшим учителем музыки в Туле. С переездом же семьи в Москву Л. Н. Толстой приглашает для сына давать уроки музыки одного из ближайших друзей П. И. Чайковского, профессора Московской консерватории Николая Дмитриевича Кашкина. Впоследствии С. Л. Толстой говорил о нем: «Воспитательное значение Николая Дмитриевича, как музыканта, очень велико. Ученики его, к которым имею счастье принадлежать и я, должны быть ему благодарны за то, что он указал им настоящий путь к уразумению музыки»¹.

В эти же годы С. Л. Толстой занимается и у известного исследователя русской народной песни В. П. Прокунина, изучая теорию музыки, гармонию и особенности русской песни.

Студенческие годы (1881—1886 гг.) были годами формирования мировоззрения Сергея Львовича. Они совпали с годами глухой реакции и с тем периодом, когда в жизни его отца произошел перелом, изменивший всю последующую его жизнь. По признанию самого Сергея Львовича, он в это время «мало сочувствовал новому мировоззрению отца и часто противоречил ему. Я не сочувствовал требованию отца изменить папу, в частности мою, жизнь, не соглашался с его нападками на науку, университет и профессоров и с его проповедью «непротивления злу»².

¹ Цит. по рукописи С. Л. Толстого «Мои воспоминания о Н. Д. Кашкине» (архив Н. П. Пузина).

² С. Л. Толстой. Очерки былого, изд. 3-е, Тула, Приокское кн. изд-во, 1965, стр. 155—156.

Сергея Львовича интересовали естественные науки, увлекало чтение произведений революционных демократов, привлекали студенческие сходки, и он сочувственно относился к революционному движению. В то же время, по его словам, в продолжение всей студенческой жизни он «метался из стороны в сторону: от светского общества к обществу радикальной интеллигенции, от христианских воззрений отца к атеистическим научным взглядам, от упрощения жизни к удовольствиям — вечерам у знакомых, ресторанам, поездкам к цыганам и т. п.»¹. Он часто вступал в горячие споры с отцом. В дневниках Толстого есть ряд записей с резкими осуждениями и упрёками в адрес сына. Однако 21 октября 1894 г. Толстой записал: «Дня три тому назад перечитывал свои дневники 84 года, и противно было на себя за свою недоброту и жестокость отзывы о Соне и Серее. Пусть они знают, что я отрекаюсь от всего того недоброго, что я писал о них... Сереею понимаю и не имею к нему никакого иного чувства, кроме любви»². С. А. Толстая так характеризовала в эти годы своего сына: «Мне часто жаль его, что он молодой, как бы от конфуза и некоторой неловкости совсем не ездит в свет, а что ему иногда и хочется веселья. Если б знал Сереежа, с какой глубокой нежностью я часто смотрела на него, и как я его всегда горячо любила. Я гордилась и его университетскими и его музыкальными успехами и любила его деликатную душу, часто скрываемую под какой-то внешней брюзгливостью и даже грубостью»³.

Вскоре после окончания университета в 1887 г. Сергей Львович поступает на службу в Тульское отделение крестьянского банка от земства, но, прослужив меньше года, оставляет службу в Туле. Летом 1888 г. он со своими приятелями по университету Д. А. Олсуфьевым, М. Н. Орловым по совету Д. И. Менделеева и с его рекомендательными письмами посещает шахты и промышленные предприятия Донецкого края.

После двух лет (1888—1890 гг.), проведенных Сергеем Львовичем в Петербурге, где он служил делопроизводителем в Центральном управлении Крестьянского банка, он уезжает в Ясную Поляну, а затем в самарские имения, где по желанию матери занимается сельским хозяйством.

В сентябре 1890 г. Сергей Львович вступает в должность земского начальника Чернского уезда, где находилось родовое имение

¹ С. Л. Толстой. Очерки былого, изд. 3-е, Тула, Приокское кн. изд-во, 1965, стр. 131.

² Л. Н. Толстой, т. 52, стр. 148.

³ С. А. Толстая. Моя жизнь (машинопись), стр. 131 (музей-усадьба Ясная Поляна).

Толстых Никольское-Вяземское. По отдельному акту между детьми Толстого, утвержденному 7 июля 1892 г., это имение переходит «в вечное владение» к старшему сыну.

Л. Н. Толстой «не мог сочувствовать» тому, что его сын состоит на службе земским начальником, но «не высказывал» этого и продолжал относиться к сыну дружелюбно. Сам же Сергей Львович не сочувствовал реакционному законодательству о земских начальниках и впоследствии признавал ошибкой в своей жизни службу в этой должности. «Поступил же я потому,— писал он,— что хотел быть самостоятельным, интересовался жизнью крестьян и думал, что так как известное управление и суд необходимы в деревне, то я мог бы приносить известную пользу, действуя по возможности независимо от губернских властей и не применяя или смягчая применение одиозных статей нового закона. И я ни разу за время моей службы не применил статьи 61 и 62 положения, дающие земскому начальнику безапелляционное и безответственное право подвергать аресту крестьян, и в вверенном мне участке телесное наказание ни разу не было применено»¹.

Живя уединенно в Никольском-Вяземском, Сергей Львович ближе узнал тяжелую, полную нужды крестьянскую жизнь. Его интересовали быт, нравы, поверья простого народа и их устное творчество, песни. Он записывает со слов крестьян ряд рассказов из их быта: «Лесное просо», «Паводок», «Суеверие», «Дело Пыркина». В последнем рассказе описана тяжелая сцена наказания розгами крестьянина за кражу у помещика колев из пизгороди. Рассказ был опубликован под псевдонимом С. Бродинский в майском номере журнала «Книжки недели» за 1894 г.² Л. Н. Толстой «очень одобрил» рассказ и говорил, что «сечение вызывает более чувство ужаса перед физической болью, а не перед унижением человека, и это жаль — действие ужасно сильно действует на читателя»³. Рассказ положил начало литературной деятельности С. Л. Толстого.

В июле 1895 г. Сергей Львович женился на Марии Константиновне Рачинской. Через два года у нее родился сын Сергей. Вскоре, заболев туберкулезом легких, она умерла 2 июля 1900 года.

Желая быть полезным своему отцу, Сергей Львович в

¹ С. Л. Толстой. Очерки былого, изд. 3-е, Тула, Приокское кн. изд-во, 1965, стр. 191—192.

² В Яснополянской библиотеке сохранился журнал с рассказом «Дело Пыркина». В нем имеется несколько пометок Л. Н. Толстого.

³ С. Л. Толстой. Очерки былого, изд. 3-е, Тула, Приокское кн. изд-во, 1965, стр. 194.

1898—1899 гг. принимает деятельное участие в переселении духовоборов, преследуемых царским правительством. В начале сентября 1898 г. он уезжает в Англию, а затем в конце года сопровождает большую партию отъезжающих из России в Канаду духовоборов.

«Спасибо тебе, милый Сережа,— писал Толстой сыну,— за твою готовность служить делу духовоборов, и я знаю — и мне. Я очень ценю это и постоянно радуюсь, как вспомню о тебе»¹.

В Англии Сергей Львович познакомился с В. Д. Бонч-Бруевичем, жившим тогда в эмиграции. Впоследствии Владимир Дмитриевич вспоминал об этом так: «...я видел С. Л. Толстого... у Черткова и тогда еще как-то в разговоре сказал: «Вот приеду в Москву нелегальным, небось, не захотите такого гостя? Не примете?» Сергей Львович посмотрел на меня в упор пристальными глазами, сердито нахмурил брови и вдруг сказал мне:

— Я не принимаю ваши слова всерьез, но беру с вас слово, что если будете нелегальным в Москве, вы обязательно заедете ко мне и будете жить у меня.

Меня крайне изумили эти слова Сергея Львовича, но я почувствовал, что нехотя обидел его, что он не из тех, кто трусит, что он искренен в своем сочувствии революционному движению.

Позднее, в 1905 г., когда В. Д. Бонч-Бруевич приехал нелегально в Россию участвовать в подготовке созыва III съезда партии, он нашел приют у жившего в то время в Москве С. Л. Толстого. В своих воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевич говорит: «Сергей Львович был еще весь под впечатлением событий 9 января и рассказывал мне некоторые подробности, которых я раньше не знал. Я быстро ориентировался через него в земском движении, и он обещал мне достать различные докладные записки, документы и прочие рукописные материалы, ходившие в Москве по рукам и интересовавшие меня для тех информационных целей, о которых я сговорился с Владимиром Ильичем перед нелегальной поездкой в Россию»².

В 1906 г. С. Л. Толстой женился на Марии Николаевне Зубовой, с которой и прожил по год ее смерти в 1939 г.

Л. Н. Толстой в последние дни своей жизни чувствовал в старшем сыне духовно близкого себе человека, и он был одним из немногих в семье, кто мог правильно понять уход Толстого из Ясной Поляны и всю сложность его переживаний. Сергей Львович написал по этому поводу письмо, в котором проявил полное понимание желания своего отца начать новую жизнь. В письмах, на-

¹ Л. Н. Толстой, т. 71, стр. 439.

² В. Д. Бонч-Бруевич. Избранные сочинения, т. II, М., АН СССР, стр. 364—365.

писанных Л. Н. Толстым после ухода из Ясной Поляны и за несколько дней до своей смерти, он обращается к старшим своим детям: «Благодарю вас очень, милые друзья — истинные друзья — Сережа и Таня, за ваше участие в моем горе и за ваши письма. Твое письмо, Сережа, мне было особенно радостно: коротко, ясно и содержательно и, главное, добро. Не могу не бояться всего и не могу освобождать себя от ответственности, но не осилил поступить иначе»¹.

В другом письме из Астапова Толстой, вновь обращаясь к сыну, говорит: «Еще хотел прибавить тебе, Сережа, совет о том, чтобы ты подумал о своей жизни, о том, кто ты, что ты, в чем смысл человеческой жизни и как должен проживать ее всякий разумный человек. Те усвоенные тобой взгляды дарвинизма, эволюции и борьбы за существование не объяснят тебе смысла твоей жизни и не дадут руководства в поступках, а жизнь без объяснения ее значения и смысла без вытекающего из него неизменного руководства есть жалкое существование. Подумай об этом. Любя тебя, вероятно накануне смерти, говорю это»².

II

После смерти Л. Н. Толстого Сергей Львович большую часть своей долгой жизни, наряду с композиторской деятельностью, посвятил изучению и популяризации творческого наследия гениального отца.

В 1911 г. по инициативе группы частных лиц в Москве была открыта толстовская выставка, в организации и устройстве которой С. Л. Толстой принял деятельное участие; он безвозмездно передал выставке большую принадлежавшую ему коллекцию подлинных рукописных, иконографических материалов, относящихся к Толстому и его окружению. В том числе им была передана гипсовая маска Л. Н. Толстого (оригинал), снятая в Астапове скульптором С. Д. Меркуровым. Выставка эта явилась основой будущего музея Л. Н. Толстого в Москве, которому Сергей Львович продолжал оказывать помощь и передал из своего архива все адресованные ему письма отца, его записную книжку и ряд других ценнейших документов.

В 1919 г. В. И. Ленин через В. Д. Бонч-Бруевича дал Сергею Львовичу за своей подписью удостоверение на право выехать из Москвы в Ясную Поляну к тяжело больной Софье Андреевне Толстой. После ее смерти в том же году он передает в дар Ясно-

¹ Л. Н. Толстой, т. 82, стр. 220.

² Там же, стр. 223.

полянскому музею-усадьбе обширный архив своей матери, много семейных фотографий и ряд бытовых предметов, положивших основу к открытию комнаты С. А. Толстой в Яснополянском доме-музее.

Большой заслугой Сергея Львовича является забота о сохранении Ясной Поляны в том виде, в каком она была при жизни Л. Н. Толстого. Он был консультантом при восстановлении музея-усадьбы после гитлеровской оккупации.

С 1919 по 1931 год С. Л. Толстой состоял председателем совета «Кооперативного товарищества изучения и распространения творений Л. Н. Толстого», члены которого много сделали для подготовки к печати художественных произведений писателя.

На протяжении многих лет Сергей Львович был деятельным сотрудником первого Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого в 90 томах (юбилейного). Для всех редакторов этого издания, особенно редакторов дневников и писем, он был неизменным и в высшей степени полезным консультантом во всем, что касается биографии Л. Н. Толстого и его близких. В этом издании ему принадлежит редакция повести «Два гусара». Он также принял участие в составлении генеалогических таблиц (Толстых, Волконских, Трубецких, Горчаковых) и примечаний к ним (см. т. 46).

В печатных статьях Сергея Львовича, а также в отдельно изданных биографических работах «Федор Толстой — американец» (1926 г.), «Мать и дед Л. Н. Толстого» (1928 г.) все изучающие жизнь и творчество великого писателя находят богатый источник полезных и необходимых сведений. Только он один, близкий и правдивый свидетель жизни Толстого, мог сообщить одному ему известные семейные предания о прошлом Ясной Поляны и многие факты в таких своих работах, как «Отражение жизни в «Анне Карениной» (1938 г.), «История писания и первой постановки «Плодов просвещения» (1940 г.), «Ясная Поляна в жизни и творчестве Л. Н. Толстого» (1942 г.).

Ряд работ автор посвятил музыкальным, литературным интересам Толстого и его взаимоотношениям с писателями и композиторами, как, например: «Музыка в жизни Толстого» (1911 г.), «Толстой о поэзии Тютчева» (1912 г.), «Музыкальные произведения, любимые Л. Н. Толстым» (1912 г.), «Тургенев в Ясной Поляне» (1919 г.), «Л. Толстой и Чайковский, их знакомство и взаимоотношения» (1924 г.), «Квартет «Ключ» в романе «Война и мир» (1933 г.)¹ и другие.

¹ Статья написана совместно с И. В. Ильинским с приложением нот «Ключ» («С тобой вдвоем» — для трех голосов с певца И. В. Ильинского).

Под редакцией С. Л. Толстого вышли четыре книги дневников С. А. Толстой. Четвертая книга содержит его предсловие, в котором правдиво описывается тяжелая семейная драма, пережитая его отцом в 1910 году.

Он также является одним из составителей первого путеводителя по Ясной Поляне, изданного еще в 1914 году.

Советскому читателю широко известна последняя книга Сергея Львовича «Очерки былого», над которой автор работал более двадцати пяти лет, предварительно собирая и записывая в записных книжках суждения своего отца по различным вопросам, и от него и близких — семейные предания о прошлом Ясной Поляны, о ее обитателях. Эти воспоминания вышли уже посмертно в 1949 и 1956 гг. в Москве, переизданы в Туле в 1965, 1966 и 1968 гг. Они переведены на английский язык.

Воспоминания писались, когда многое было передумано, пережито их автором, и он мог судить о былом не только как сын, любящий своего отца и чтущий его светлую память, но и как объективный, правдивый свидетель сложной жизни великого человека, писателя и мыслителя. Автор «Очерков былого» отличался необыкновенной внутренней честностью и прямоотой, и в этом отношении его воспоминания представляют исключительную ценность. В огромной мемуарной литературе о Толстом книга Сергея Львовича занимает особое место. Она содержит ряд достовернейших и интереснейших фактов из жизни Толстого и его окружения, об отношении писателя к музыке, литературе, встречах с выдающимися современниками. Автор был последним из близких к Толстому лиц в наши дни, свидетелем работы писателя над «Анной Карениной» и «Воскресением».

Следует отметить также, что «Очерки былого» содержат ценный историко-бытовой материал, ярко характеризующий эпоху 80-х—900-х годов.

III

В лице С. Л. Толстого сочетались литературное и музыкальное дарования. Широко известны его труды как в области исследования народных песен разных национальностей, так и их гармонизация и обработка.

С конца 1890-х гг. Сергей Львович занимался музыкально-композиторской деятельностью. Его оригинальные (и, к сожалению, не все еще изданные) музыкальные произведения являются значительным вкладом в музыкальный фонд нашей культуры. Из его музыкальных композиций в различные годы были опубликованы:

«Двадцать семь шотландских песен», «Две бельгийские песни», «Индусские песни и танцы», многие романсы на слова русских поэтов: Пушкина, Тютчева, Фета, А. К. Толстого и других.

Сергей Львович был и превосходный исполнитель, главным образом классической музыки. Л. Н. Толстой часто слушал игру на рояле своего сына и неизменно самым положительным образом высказывался о ней.

С первых лет Октябрьской революции Сергей Львович отдал много сил эстетическому воспитанию молодежи. Выступал с концертами и лекциями перед рабочей аудиторией в разных городах России. Одно время состоял председателем Комиссии по народному образованию при Обществе распространения технических знаний, заведовавшей курсами для рабочих (Пречистенскими курсами при фабрике Тилле). В 1928—29 гг. преподавал музыкальную этнографию в Московской государственной консерватории, был научным сотрудником в 1921—1930 гг. Государственного института музыкальной науки. С 1922 года являлся членом Союза советских композиторов.

Советское правительство высоко оценило заслуги С. Л. Толстого, наградив его орденом Трудового Красного Знамени.

IV

Все знавшие Сергея Львовича помнят его как человека редких душевных качеств и необыкновенной деликатности и благородства.

Ему были свойственны исключительная скромность, внимательное и доброжелательное отношение ко всем людям независимо от их должностей и званий, большая требовательность к себе и трудолюбие.

На протяжении всей жизни у Сергея Львовича было трогательно-нежное отношение с его сестрой Татьяной Львовной Сухоткиной. Он любил повторять:

— Еще папá соединил меня с сестрой, назвав нас обоих «истинными друзьями».

В 1940 году в одном из писем к брату Татьяна Львовна писала: «Итак, Сережа, прощай... Целую тебя, дорогой друг. Благодарю за все, что от тебя получила, а это очень много, и прошу у тебя прощения за все то, в чем могла быть перед тобой виноватой, от самого того времени, когда ты прятался от меня под фортепиано; когда ты был Гольгой; когда ты был либеральным студентом и до последнего сегодняшнего дня.

Но мы, кажется, никогда вольно друг друга не обижали. И, что самое радостное в наших отношениях, это то, что мы одинаково

смотрели и, думаю, смотрим на самые важные жизненные вопросы. Меня это особенно радовало во время драмы наших родителей»¹.

В 80 лет Сергей Львович потерял ногу, с трудом передвигался на костылях, терял слух и зрение. Вместе с тем его жизнелюбие, энергия, любовь ко всему прекрасному облегчали его тяжелую судьбу, вливали в него душевные силы. У него было много друзей, к которым он неизменно относился с теплом и душевным расположением. За два года до смерти он продиктовал стихотворение, в котором есть такие строки:

Слабеет слух, слабеет зренье,
Хожу с трудом на костылях,
Но есть мне в жизни утешенье
В искусстве, книге и друзьях.

Каждый, кто впервые встречал С. Л. Толстого, неизменно испытывал глубокое чувство волнения. Он не только был сыном великого писателя, но он был, особенно в старости, похож на него внешне, похож изумительной живостью своих рассказов. Казалось, будто являешься свидетелем чудесного перевоплощения.

Сергей Львович любил дружеские беседы, слушал музыку, играл в шахматы. Он был наделен живым юмором. Всесторонне образованный, с неиссякаемой работоспособностью, он до конца жизни сохранил острую наблюдательность и живой интерес ко всему современному. Он горячо любил Родину и ее великую культуру.

Вспоминаю, как летом 1944 года, узнав, что в Яснополянском парке, в отцовском кресле-коляске отдыхает старший сын Л. Н. Толстого, большая группа красноармейцев, приехавшая на экскурсию в музей-усадебу, подходила к нему, отдавая ему честь, и многие целовали его руку. Сергей Львович был до слез растроган этим вниманием защитников родной земли.

С. Л. Толстой скончался в ночь с 22 на 23 декабря 1947 г. от инсульта, проболев всего несколько дней. По его желанию он погребен на Введенском кладбище в Москве, рядом с могилой его жены М. Н. Толстой.

Выступая на гражданской панихиде в музее Л. Н. Толстого у гроба покойного, К. А. Федин сказал: «Свет, освещавший труд и личность Сергея Львовича, исходил не только из его богатых дарований. Этот свет был вместе с тем отблеском сияния, излученного гением человека, памяти которого посвящены эти стены. Сер-

¹ Письмо Т. Л. Сухотиной С. Л. Толстому. Рим, 18 июня 1940 г. Отдел рукописей ГМТ.

гей Львович впитал своею жизнью великую эпоху Льва Толстого... Он рос, слушая биение сердца человека, который был и остается гордостью России, славой человечества... Сергей Львович оставляет нам большое наследие. Его мемуарные сочинения будут важнейшим первоисточником наших познаний в биографии Льва Толстого. Он дал нам картину своего века, оживил окружение толстовской семьи, вдунул горячее дыхание в незабываемый и любимый нами образ Ясной Поляны...»¹.

Н. Пузин.

Ясная Поляна, 1964, май.

¹ Цитируется по авторскому машинописному тексту. Архив Н. П. Пузина.

ЖИЗНЬ НАШЕЙ СЕМЬИ ДО ОСЕНИ 1881 ГОДА

1862—1870 годы

Мои родители венчались 23 сентября 1862 года в Москве в дворцовой церкви. Отцу было 34 года, матери — 18 лет. Из сохранившихся документов того времени: писем, воспоминаний, из дневника отца и др. видно, что отец был сильно влюблен в свою невесту.

Рассудок также поощрял его выбор. Во-первых, отец считал, что ему следует жениться на очень молодой девушке, чтобы перевоспитать ее по-своему, и, во-вторых, он находил, что ему не следует жениться на аристократке.

То и другое он нашел в Софье Андреевне Берс. Она была очень молода, и семья Берсов не принадлежала к русской аристократии. Отец его невесты, Андрей Евстафьевич Берс, внук офицера-инструктора, прибывшего из Германии при Елизавете, был умным и известным врачом, но не принадлежал в родовитому русскому дворянству, а профессия врача в то время не считалась достойной аристократа. Мать Софьи Андреевны, Любовь Александровна, дочь Александра Михайловича Исленьева, хотя по своему происхождению и принадлежала к родовитому дворянству, но родилась от брака, признанного незаконным; поэтому ее братья и сестры послали вымышленную фамилию Иславиных и не числились дворянами, а были приписаны к купеческому сословию.

Раннее замужество моей матери и ее полуаристократичность имели большое влияние на последующую жизнь нашей семьи.

Выйдя замуж очень молодой, моя мать вполне подчинилась воле своего мужа и усвоила себе тогдашние его взгляды

па семейную жизнь, его стремления увеличить свое состояние и приобрести славу. Но, когда позднее он отрекся от этих взглядов, она не могла изменить мировоззрение, усвоенное ею в молодости от него же. А вследствие своего полузнатного происхождения она особенно ценила так называемое великосветское общество — high life — и старалась стоять наравне со своими аристократическими знакомыми и соответственно поддерживать известный строй жизни семьи.

Отец был женихом очень короткое время, торопил родителей своей невесты, предлагавших отложить свадьбу. После свадьбы молодые немедленно уехали в почтовой карете в Ясную Поляну. Там их встретили тетка и воспитательница отца Татьяна Александровна Ергольская, брат отца Сергей Николаевич, учителя яснополянских школ и вся дворня.

Первое время жизнь в Ясной Поляне была непривычна для молоденькой Софьи Андреевны. До этого она жила только в городе или на даче в Покровском и никогда — в деревне. Например, ее неприятно поразило, что ночью в деревне темно, нет фонарей. Конечно, все в Ясной Поляне отнеслись к ней предупредительно и дружелюбно. Но разница между городскими и деревенскими жителями чувствовалась.

К своему мужу она привыкла не сразу и даже первое время своего замужества говорила ему «вы». Она была ревнива и ревновала его к прошлому. Все эти шероховатости впоследствии обозначились, но в первые годы брачной жизни они сглаживались: со стороны отца его влюбленностью, со стороны матери преданностью мужу и со стороны обоих тем, что они оба высоко ценили семейное начало.

В продолжение безвыездной жизни нашей семьи в Ясной Поляне, до переезда в Москву в 1881 году, резкого разлада между моими родителями не было. Лишь в последние два-три года (1878—1881) возникали недоразумения; но в то время отец еще не требовал, чтобы его семья изменила свой образ жизни, да и сам он мало изменил свои привычки. Последствия перелома в его мировоззрении сказались для семьи позднее — после 1881 года.

Я родился 28 июня 1863 года в Ясной Поляне, на кожаном диване. На этом диване родились мой отец, его братья и сестра и некоторые мои братья и сестры; этот диван и сейчас стоит в кабинете отца.

Я родился несколькими днями раньше предполагаемого срока. 27-го вечером, когда начались роды, отец говорил матери:

— Душенька, подожди до полуночи.

Ему хотелось, чтобы его старший сын родился 28-го: как известно, эту цифру он считал для себя счастливой, сам он родился 28 августа 1828 года. Природа исполнила его желание, и я родился после полуночи.

Отец хотел назвать меня Николаем, в память своего отца и любимого брата Николая, но мать этому воспротивилась, говоря, что в семье Толстых Николай несчастное имя. В самом деле: дед Николай Ильич умер сорока лет скоростречно, а дядя Николай Николаевич умер также не старым от чахотки. Замечу, что позднее один из моих братьев, родившийся в 1874 году, все-таки был назван Николаем. Он умер десяти месяцев от менингита, а племянник моего отца — Николай Валерьянович Толстой — умер в молодости, спустя восемь месяцев после своей женитьбы. Так что поверь, что в семье Толстых Николай — несчастное имя — как будто подтвердилось.

Тогда отец загадал: если в святцах 28 июня есть святой Сергей, назвать меня Сергеем, в честь его второго брата, Сергея Николаевича. Оказалось, что 28 июня празднуется память «валаамских чудотворцев Сергия и Германа», и я был назван Сергеем.

Крестил меня священник Константин Николаевич Пашковский. Он был вышивши, и присутствующие боялись, что он меня утопит в купели. Крестным отцом был дядя Сергей Николаевич, а крестной матерью тетенька Татьяна Александровна Ергольская.

Мать начала меня кормить, но у нее сделалась грудница. Тогда меня стала подкармливать баба из деревни — Евлампия Матвеевна, жена ямщика Филиппа Родионова, бывшего позднее нашим кучером, а затем приказчиком; с их сыном, а моим молочным братом Мишей, впоследствии я был в приятельских отношениях. Евлампию заменила Наталья Казакова, а затем меня стали кормить из рожка. Я был болезненным ребенком, золотушным и страдавшим расстройством пищеварения.

Моей няней была сначала старая няня моего отца, — я ее не помню, — а потом Марья Афанасьевна Арбузова, бывшая дворовая помещика Воейкова. Это была неумная, тихая, добрая женщина. Она была также няней моих братьев Ильи и Левы и сестер Тани и Маши. Она к нам привязалась, и мы ее любили. Сказок она нам не рассказывала, как полагалось няне, но она нас баловала, а позднее, когда стала экономкой,

потихоньку водила нас в кладовую и угощала изюмом, миндалем, шепталой и вареньем.

Как няня она получала кушанье с «господского» стола и вообще ей мало в чем отказывали, но я видал, как она, по старой крепостной привычке, потихоньку брала сахар из буфета для своих внучат, детей сапожника Павла.

Кроме моих родителей и няни, из туманных воспоминаний моего детства выступает образ тетенки Татьяны Александровны Ергольской. Теперь я вижу в ней женщину того странного прежнего мира, в котором романтические мечты и чувствительность могли уживаться с крепостными отношениями. А тогда она представлялась мне доброй, очень доброй, но скучной старушкой. Так же как и мои родители, я называл ее тетенкой. Она была небольшого роста, опрятно одета, с шалью на плечах и с чепцом на голове. Со мною, со своим крестником, она была особенно ласкова; она угощала меня сладостями и любила показывать мне свои вещицы: миниатюры, шкатулки, бисерные вышивки и прочее.

При тетенке жила ее горничная, бывшая крепостная, Аксинья Максимовна, неопрятная старуха, но очень преданная своей госпоже. Еще при тетенке жила ее подруга, тоже старушка, несколько моложе ее, — Наталья Петровна Охотницкая, из мелкопоместных дворян. Она была небольшого роста, щеки ее были дряблы; говорила она — точно у нее каша во рту; она нюхала табак и любила перед обедом выпить рюмку водки. В сущности она была чем-то вроде нахлебницы. Она была болтлива и рассказывала необыкновенные, но неинтересные истории из жизни помещиков, офицеров и монастырей.

Кроме постоянных жителей Ясной Поляны, — отца, матери, нас, детей, и тетенки, — в Ясной Поляне подолгу жила племянница отца Варя и Лиза Толстые, и почти каждое лето во флигеле жила вышедшая замуж в 1867 году за А. М. Кузминского сестра моей матери тетя Таня, вместе со своим мужем и нарождавшимися детьми. Эта молодежь вносила в дом большое оживление.

В ноябре 1866 года к жителям яснополянской усадьбы присоединилась молоденькая англичанка, дочь садовника Виндзорского дворца, Ханна Тардзей. Это была бонна, выпущенная отцом из Англии для нас — трех старших детей. В то время мне было три года, Тане — два, Илье несколько месяцев.

С помощью словаря моя мать и Ханна скоро стали понп-

мать друг друга. Знание французского и немецкого языков очень помогло моей матери. Уже через два дня Ханна подружилась с моей матерью, с которой была почти одних лет, а мы, дети, ее очень полюбили, так что она сделалась членом нашей семьи.

В 1869 году мы, все трое, болели скарлатиной. Помню, как Ханна заботливо ухаживала за нами, не позволяла вставать с постели, когда мы выздоравливали — сдирать шелушившийся эпителий.

В жизни детей прислуга занимала гораздо более заметное место, чем у взрослых. Так это было и у нас. У няни, Марьи Афанасьевны, было два сына: Павел и Сергей Петровичи Арбузовы. Павел, сапожник, акклиматизировался в Ясной Поляне и построил себе дом книзу от деревни, между деревней и въездными башенками. Впоследствии он учил моего отца сапожному мастерству. Сергей был по профессии лакеем и немножко столяром. В качестве лакея он не раз поступал к нам в дом, и не раз его рассчитывали за дурное поведение. Тогда он отправлялся в Тулу, где делал ящики для гармоник. Это был человек среднего роста, с кривыми ногами, с ярко-рыжими волосами и бакенбардами (усы он брил) и очень подвижным лицом. Он был энергичен, способен и довольно грамотен; впоследствии он написал свои воспоминания о моем отце. Он был обуреваем страстями, особенно к вину и женщинам. И нередко был груб и нечист на руку. Несмотря на эти свойства, он был предан нашему дому и близок нам, как сын нашей няни, так что многое ему прощалось. Бывало, он запивал запоем, пропивал все, что только мог, и пропадал на несколько дней; возвратившись, он говорил своей добродетельной жене Арине Григорьевне, которую любил и, несмотря на свое беспутство, уважал: «Ничего, Аришпок! Только не впадай духом!» И опять он поступал в наш дом на службу.

Большая часть прислуги в нашем доме была из прежних дворовых, еще не потерявших связи с усадьбой. До Сергея Арбузова слугою моего отца был Алексей Степанович Орехов, один из тех мальчиков, о которых отец так пишет в своих воспоминаниях: «Очень глупая была мысль у опекуни-тетушки дать нам каждому по мальчику, с тем чтобы потом это был наш преданный слуга».

Алексей Степанович был с моим отцом на Кавказе и разделял с ним опасности севастопольской осады. В 60-х годах я помню его уже не слугою моего отца, а почтенным приказ-

чиком (то есть управляющим) Ясной Поляны, женатым на бывшей горничной моей матери, веселой и умной Дуняше — Авдотье Николаевне, дочери дядьки отца — Николая Банникова. Алексей Степанович был тих, рассудителен и очень предан моему отцу. Управляющим он был, конечно, неважным, но честным.

Об Агафье Михайловне, горничной бабушки моего отца, затем ключнице, затем «собачьей гувернантке», писали отец в своих воспоминаниях, сестра Татьяна и брат Илья. Не буду повторять. Скажу только, что Агафья Михайловна имела вид аристократки, и есть предположение, что в ней текла кровь князей Горчаковых.

Не буду также повторять написанного братом про нашего повара Николая Михайловича Румянцева, типичного до-реформенного дворового, грязного, нередко пьяного, но добродушного и преданного нашей семье, и про его сына Семёна Николаевича, также много лет после своего отца, почти до года смерти моей матери (1919), служившего поваром в нашем доме, несмотря на то, что это было ему не особенно выгодно.

Типичными дворовыми были также два брата Суворовы: Иван Васильевич и Василий Васильевич. Иван Васильевич, Ванюша, или «*Jean le cuisinier*»¹, как мы его почему-то называли, был так же, как Алексей Орехов, одним из тех мальчиков, которых тетюшка, опекунша отца, определила к братьям Толстым.

Иван Васильевич Суворов, подобно Ванюше в «Казаках», знал немножко по-французски, — его на Кавказе выучили Лев Николаевич и Николай Николаевич, — и, бывало, он с хитрым и гордым видом отчетливо выговаривал: «се тре жоли», «бонжур», «ла фамм» и пр. По профессии он остался лакеем, но в нашем доме служил редко. Мать моя не любила его за нечистоплотность и мелкую вороватость.

Брат Ивана Суворова, Василий Васильевич, был медник и самоварщик. Он брал заказы и материал в Туле и дома выработывал самоварные части. Человек он был беспечный и пьяный. Зато жена его, Пелагея Николаевна, была необыкновенно энергична и трудолюбива. Она была нашей прачкой, перестирывала все белье с барского двора и в то же время успевала работать на своих многочисленных дочерей и на своего беспутного мужа.

¹ «Иван вареный» (франц.).

Такие женщины, как Пелагея Николаевна Суворова и Арина Григорьевна Арбузова — жена Сергея Арбузова, — это безвестные героини. Сколько в них энергии, терпения, выдержки, самоотвержения и преданности своим семьям!

Дворовые старшего поколения, бывшие крепостными, считали своим долгом быть преданными своим бывшим господам и входили в их интересы. За это они считали, что не только они, но и их семейные и родственники имеют право пользоваться барским добром, особенно продуктами, получаемыми с имения.

Им жилось неплохо. У некоторых (Румянцева, Суворова, Павла Арбузова) были свои дома, построенные на помещичьей земле; в каждой семье была корова и прочие домашние животные, а сено для коров, хворост для топлива и т. п. добывались в имении как легальными, так и нелегальными способами.

В общем, у меня остались добрые воспоминания о дворовых Ясной Поляны. С многими сверстниками из их числа мы были в приятельских отношениях.

Отношения моего отца к прислуге были ровные и спокойные, и я не помню, чтобы он кого-нибудь ударил или даже обругал; он сердился, но сдерживался. Моя мать не была так сдержанна и иногда раздражалась горячими выговорами, однако она не пользовалась таким авторитетом, как отец.

Кажется, самое раннее мое воспоминание относится к нашей поездке в Москву в 1866 году: я сижу с моей матерью и еще с кем-то в закрытом ящике, этот ящик движется, мы толкаемся об его стенки, и меня мутит. Это мы ехали зимой в возке на лошадях до Серпухова; в то время Московско-Курская железная дорога еще строилась и была открыта только от Москвы до Серпухова. Поездка в Москву в 1868 году оставила во мне более ясное воспоминание. Помню, что тогда на Средней Кисловке, в том доме, где мы жили, обвалилось крыльцо. Тогда же дед Андрей Евстафьевич Берс был при смерти, я его боялся, и меня поразило его страдальческое лицо.

В моем раннем детстве я испытал два тяжелых впечатления. Первое — в Туле, когда я увидел на Киевской улице медленнодвигающуюся повозку с высоким помостом, на котором, согнувшись, одиноко сидела женщина в арестантском халате. На ее спине был плакат с надписью крупными буквами: «Му-

жеубийца». В те времена тяжких преступников подвергали такой всенародной выставке. За повозкой бежал народ и бросал на помост медные деньги.

Другое сильное впечатление был панический страх. С детства любя самостоятельность, я как-то убежал от надзора старших и отправился исследовать новые места — луг по ручью Ясенке. Там я встретил мужика, который вел в поводу жеребенка. Вдруг мужик этот остановился, вынул большой нож и полоснул им по шее жеребенка. Алая кровь полилась ручьем, а я что есть духу бросился бежать. Мужик показался мне ужасным извергом, который может зарезать и меня. Дома мне объяснили, что он зарезал жеребенка для того, чтобы он не высасывал силы у своей работницы-матери.

Большим развлечением в деревне в прежнее время служили ручные медведи, которых водили в те времена по всей России. Появление медведя в Ясной Поляне возвещалось прежде всего отчаянным лаем всех собак на деревне. Затем, пройдя по «прешпекту», к нашему дому подходили: поводырь с медведем на цепи, «коза» и с ними, обыкновенно, еще мальчик. Жители усадьбы сбегались, и начиналось представление. Поводырь командовал, дергая цепью:

— Михайло Иваныч, поклонись господам.

Медведь кряхтел, вставал на задние лапы и, звеня цепью, кланялся в ноги.

— Покажи, как поповы ребята горох воруют.

Медведь ложился на землю и крался к воображаемому гороху.

— Покажи, как барышня прихорашивается.

Медведь садился на задние лапы, перед ним держали зеркальце, и он передними лапами гладил себе морду.

— Умри!

Медведь, кряхтя, ложился и лежал неподвижно.

Затем начиналась пляска медведя с «козой».

«Коза» — это был человек, который надевал на себя покрывало, из которого кверху торчала трещотка. Трещотка трещала, поводырь или мальчик бил в барабан, а медведь, вставший на задние ноги, и «коза» плясали. Почему такого рода ряженный назывался «козой», я никогда понять не мог. А отсюда произошло выражение, совершенно потерявшее свой смысл в настоящее время: «отставной козы барабанщик».

Кончалось все это обыкновенно тем, что всем, в том числе и медведю, подносилась водка. Выпивши, медведь делался добродушным, ложился на спину и как будто улыбался.

Представление с медведем было в общем забавно, но в то же время медведь, с кольцом в щеке, с облезлой шерстью, навсегда прикрепленный к цепи, производил жалкое впечатление. А поводырь и «коза» были обыкновенно люди сомнительного поведения. Поэтому едва ли можно жалеть о том, что впоследствии, не знаю, когда именно, водить медведей было запрещено.

Другим событием в деревне было появление разносчиков. Их было два типа: пешие и на фурах. Первые сами везли свой плохонький, но разнообразный, преимущественно так называемый галантерейный товар на двуколке. Вторые обыкновенно называли себя венгерцами, приезжали на парных фурах и везли целые магазины: ситец, сукна, обувь, галстуки, бумагу, ленты, пуговицы и т. п., даже ноты. Товар их был разнообразный и хорошего качества. Помню, как отец у одного из них купил ноты «Accelerationen-walzer» Штрауса и с удовольствием их разыгрывал.

До 1871 года в яснополянском доме преобладало радостное, бодрое настроение. Родители мои были сравнительно здоровы и дружны; тетенька Татьяна Александровна была еще на ногах и вносила в семью тихую старческую ласку; мы, дети, были в ведении Ханны Тардзей, любившей нас и любимой нами; гости, родственники — тетушка Марья Николаевна, ее дочери и семья Кузминских — вносили в дом большое оживление. Это было то горячее время, когда отец писал «Войну и мир», продолжая хозяйничать и охотиться, а мать по многу раз переписывала «Войну и мир», рожала и выкармливала детей и вела домашнее хозяйство.

Из следующих выписок видно, как в то время отец глубоко погрузился в свою работу и как интенсивно трудилась тогда моя мать.

23 января 1865 года отец полусутоя писал Фету:

«Я рад очень, что вы любите мою жену; хотя я ее и меньше люблю моего романа, а все-таки вы знаете — жепя».

А мать писала сестре 27 июля 1866 года:

«Я то отсасываю, то кормлю, то прижигаю, то промываю, а кроме того — дети, варенья, соленья, грибы, пастилы, переписыванье для Левы, а для beaux arts¹ и чтения еле-еле мпнутку выберешь, и то если дождь идет».

Неверно было бы заключить из этих отзывов о разладе между моими родителями в то время. Не я один привык счи-

¹ Изящных искусств (франц.).

тать, что мои родители в первые годы своей брачной жизни были исключительно дружной четой. Так же думали наши родственники, как со стороны матери, так и отца.

В своем дневнике 1864 года 21 декабря Варя, старшая дочь моей тетки Марии Николаевны, писала:

«Когда я пошла в тетенькину комнату проститься с мамашей, то она сказала пам, как она это часто делала, чтоб мы не спешили выходить замуж, что Сонечка с Левочкой — примерные супруги, что таких редко найдешь и что больше слышно: то муж оставил жену, то жена развелась с мужем. Она ставила в пример свое замужество и уже не раз упрекала Пелагею Ильинишну, что она отдала ее замуж, когда ей было только 16 лет».

А брат моей матери, Степан Берс, так писал о своей сестре и зяте:

«Близость, дружба и взаимная любовь этой четы всегда служили для меня образцом и идеалом супружеского счастья. Мои покойные родители говорили: «Соне лучшего счастья пожелать нельзя».

Сам отец не раз писал А. А. Фету, А. А. Толстой и другим о своей счастливой семейной жизни.

В сентябре 1869 года с отцом произошел случай, сыгравший, как мне кажется, некоторую роль в его жизни.

Он поехал в Пензенскую губернию с намерением купить имение с доходной «мочальной» рощей и проездом ночевал в городе Арзамасе в плохой гостинице.

Там он испытал то тяжелое чувство, которое потом называл «арзамасской тоской». Об этом он так писал матери 4 сентября 1869 года: «Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас, такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии; но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай бог испытать. Я вскочил, велел закладывать. Пока закладывали, я заснул и проснулся здоровым. Вчера это чувство в гораздо меньшей степени возвратилось во время езды, но я был приготовлен и не поддался ему, тем более, что оно и было слабее».

Я не берусь определить причину арзамасской тоски, но мне все-таки кажется, что это был болезненный припадок. Может быть, причиной была болезнь печени, никогда не ос-

твлявшая моего отца, может быть — переутомление от умственного труда. Арзамасская тоска прошла тогда и не нарушила бодрого и деятельного строя яснополянской жизни

1871 год

С этого года мои воспоминания становятся более отчетливыми, и с помощью писем и воспоминаний разных лиц я буду записывать их хронологически.

Помню, как в 1871 году мы рассматривали иллюстрации, изображавшие расстрел французов немцами, и как отец и все мы сочувствовали французам.

В начале года на яснополянское небо надвинулись тучи. 12 февраля мать преждевременно родила болезненную тонкокостную белокурую девочку Машу, после чего заболела родильной горячкой. Ей обрили голову, а Машу стала кормить кормилица. Отец был мрачен, чувствовал себя нездоровым, боялся чахотки и весной уехал в Самарскую губернию на кумыс, взяв с собой своего шурина Степу Берса.

Степан Берс, один из младших братьев моей матери, учился в Училище правоведения. Начиная с 1866 года, когда ему было только одиннадцать лет, вплоть до 1878 года, когда он окончил курс правоведения, он свои каникулы проводил в Ясной Поляне. Он был живым и сильным физически мальчиком и восторженно относился к моему отцу. Ко мне, будучи лишь на 8 лет старше меня, он относился покровительственно, но по-товарищески. Я его любил, но иногда его неосновательная вспыльчивость отталкивала меня от него.

Во время своего пребывания на Каралыке отец написал много писем матери. В его письме от 23 июня он приписал несколько строк нам, троем его старшим детям — мне, Тане и Илье. Мне он написал:

«Сережа. Напиши мне, как ты живешь. Ездишь ли верхом, и часто ли тебя бранят или хвалят мама и Ганна и сколько у тебя за поведенье? Целую тебя».

Из этого письма видно, что хотя мне было только восемь лет, отец приучил меня ездить верхом и что мать и Ханна ставили нам баллы за поведенье.

Возвратившись из Самарской губернии, отец поздоровел. Кумыс всегда приносил ему большую пользу. Он и Степа с восторгом рассказывали про свою робинзоновскую жизнь в башкирской кибитке. Моя мать тоже поправилась.

В этом же году пачалась пристройка к яснополянскому дому залы и двух комнат под нею. До этого дом, в котором мы жили, был одним из двух совершенно одинаковых флигелей, и только с севера к нему были пристроены три небольшие комнаты с большой крытою террасой над ними. Теперь отец решил сделать фундаментальную двухэтажную пристройку с противоположной южной стороны дома. При закладке отец хотел по традиции замуровать в угол фундамента золотую монету, а так как в то время у него золотого не было, он взял у меня подаренный мне Ханной английский золотой соверен (фунт стерлингов). Эту золотую монету он замуровал в фундамент тайно от каменщиков, пока они обедали, а мне потом возместил ее стоимость.

Постройка вышла очень удачной: прибавились к дому просторная зала и две комнаты под нею, из которых одна была передней, а другая долгое время служила кабинетом отцу.

Осенью в Ясную Поляну приехал мой прадед, дед моей матери, Александр Михайлович Исленьев. Это был очень свежий старик, семидесяти восьми лет, высокий, лысый, бритый, с крупными чертами лица, живыми движениями и манерами избалованного барина. Как известно, А. М. Исленьев послужил моему отцу прототипом отца Николенки Иртеньева в «Детстве» и «Отрочестве». Отец был с ним учтив и почтителен и, чтобы напомнить ему старину, устроил охоту с борзыми внаездку.

Хотя мне было только 8 лет с небольшим, я уже ездил верхом, и меня также взяли на охоту. Лошадь мне дали смирную, по довольно высокую, которую звали по ее происхождению — Кашпирский. Отец приучал меня, а затем и моих братьев с малых лет ездить верхом без седла и без стремян, чтобы привыкнуть держать равновесие. Он имел также в виду, что падение с неоседланной лошади менее опасно. Итак, я поехал на охоту на одном только потнике, подвязанном ремнем. Отец, прадед, еще, кажется, два охотника и я рассыпались по полям и «разнялись», то есть ехали на некотором расстоянии друг от друга, чтобы наехать на зайца или лисицу.

Заехав в сторону от остальных, за степное болото, так называемую «Диготну», и размышляя, как мне перебраться на ту сторону, я вдруг услышал на том берегу болота крики: «ату его! ату его!» Кто-то поднял зайца, и началась травля. Отец, прадед и оба охотника поскакали за собаками и зайцем, а мой Кашпирский, бывавший не раз на охоте, увидав скачку, с места в карьер пустился скакать прямо через болото. Он

чуть не увяз в трясине и с большим трудом выбрался на другую сторону болота, но здесь, ставши на твердую почву, вдруг остановился, как вкопанный. Вероятно, от усилия он запыхался и остановился, чтобы перевести дух. Я не удержался и полетел через голову лошади.

Каширский был высок, а я мал; стремян не было, и я без посторонней помощи не мог влезть на лошадь. Пришлось идти пешком, с Каширским в поводу. Прочие охотники скрылись за горкой, и, когда я дошел до них, травля уже кончилась: заяц был пойман, заколот и второчен. Это была чуть ли не первая моя охота, да еще с прадедом, а мне ничего не пришлось видеть! Я был в отчаянии.

Зимой 1871/72 года я уже довольно усердно учился. Мать учила меня русскому и французскому языкам, немножко истории и географии и игре на фортепиано, Ханна Тардзей — английскому языку, а отец — тоже русскому языку (по неграмматике) и арифметике. Он в то время составлял «Азбуку» и на нас — своих детей — поверял ее. Он рассказывал и составлял нас излагать эти рассказы своими словами. Это были большею частью рассказы, вошедшие потом в его «Книги для чтения». Он считал себя малоспособным к математике, но именно поэтому хорошим преподавателем. Он говорил, что так как он свои знания по математике усвоил с трудом, то вполне уяснил их себе и хорошо запомнил, и поэтому он может ясно их излагать. В преподавании, как и во всем, он искал новые приемы. Так, например, он учил нас считать на счетах. Таблицу умножения он заставлял нас выучить наизусть только до пяти, а умножение чисел от шести до девяти производить на пальцах следующим образом: вычесть из каждого множителя число пять, остатки отложить на пальцах обеих рук, загнув их, и сложить загнутые пальцы — это будут десятки произведения; остальные незагнутые пальцы обеих рук перемножить и приложить к десяткам. Например, требуется помножить 7×9 . Вычитая по 5 из каждого множителя, получается 2 и 4. На одной руке загибается 2 пальца, на другой — 4. Сумма их — 6. Это десятки. Остальные незагнутые пальцы перемножаются $1 \times 3 = 3$. Следовательно, произведение $7 \times 9 = 60 + 3 = 63$.

Не помню, тогда или позднее отец задавал нам свою любимую народную задачу о гусях:

Летит стадо гусей, навстречу гусь. Гусь говорит: здравствуйте, сто гусей!

Гуси отвечают: «нас не сто гусей, но было бы сто, если бы

нас было столько, да еще столько, да еще полстолька, да еще четверть столька, да ты с нами».

Эта задача, легко решаемая алгеброй, арифметикой решается труднее: из уравнения

$$100 = x + x + \frac{x}{2} + \frac{x}{4} + 1$$

получается: $X = 36$.

1872 год

В конце 1871 и в начале 1872 года в Ясной Поляне веселились. Приехали Дмитрий Алексеевич Дьяков с дочерью и ее воспитательницей Софеш — Софьей Робертовной Войткевич, тетушка Мария Николаевна с детьми — Варей, Лизой и сыном Николенькой — и дядя Костя Иславин. Катались на сани, причем особое удовольствие состояло в том, чтобы из них вываливаться. На святках наряжались. Дмитрий Алексеевич нарядился медвежьим поводырем; дядя Костя, надев полушубок наизнанку и войдя в залу на четвереньках, изображал медведя, отец — «козу»; Николенька Толстой оделся старухой, Софеш — стариком с горбом и мочальной бородой. В залу привалило все население усадьбы, и начался пляс под звуки «Барыни», которую играли в четыре руки, а потом и просто под гармошку. Моя мать одела меня в голубое женское платье, наколола мне на голову нечто вроде напудренного парика, и я должен был изображать маркизу. А сестра Таня была одета в мужской костюм, тоже голубой, она изображала маркиза. Мы танцевали польку с фигурами, которым нас научила мать, но успех наш был средний: маркизские костюмы и полька с фигурами как-то не подходили к общему характеру святочных увеселений в Ясной Поляне.

В январе 1872 года в нашем доме много говорили про самоубийство Анны Степановны, экономки и любовницы нашего ближайшего соседа Бибикова.

Александр Николаевич Бибиков, мелкопоместный помещик, бывший землемер, жил в трех верстах от Ясной Поляны в своем небольшом имении Телятенки. Это был человек, похожий по внешности на кота: флегматичный, молчаливый, благообразный. Он брил бороду и носил усы, как полагалось в то время дворянину, был внешне благовоспитан, но мало образован, женолюбив и в сущности — человек безнравственный.

Он был вдов, и Анна Степановна, официально экономка в его доме, была на самом деле его гражданской женой.

У Бибикова от первой жены был сын Николенька, не совсем нормальный мальчик. Он бывал у нас в Ясной Поляне, но хотя и был моим сверстником, я с ним дружен не был.

Бибиков для его воспитания нанял молодую немку, а сам влюбился в нее. Это и побудило Анну Степановну броситься под поезд на станции Ясенки, переименованной впоследствии в Щекино.

Как известно, это событие дало моему отцу материал для описания смерти Анны Карениной.

Вскоре после смерти Анны Степановны Бибиков женился на гувернантке своего сына.

14 мая отец поехал в свое второе имение, Никольское-Вяземское, и взял меня с собой. Никольское тогда произвело на меня сильное впечатление: густые лиственные леса, глубокие овраги, холмистые поля, вековые тополи и величественная сосна в яблоневом саду, речка Чернь, убегающая вдаль или сверкающая между деревьями, постоянно шумящая водяная мельница, широкие виды на речку, луга, лесные склоны, поля, дальние села и церкви, большие камни на самом высоком месте имения — все это мне было ново и казалось необыкновенно красивым, да и на самом деле было красиво. По младости лет я тогда не обратил внимания на бедность никольских крестьян: мне бросались в глаза лишь старинные домотканые яркие наряды баб, их понёвы, шитые рубашки, кички и пупки в ушах вместо серег.

Отец ездил по всему имению, особенно внимательно проверял, целы ли леса, и в общем, кажется, остался доволен управляющим Иваном Ивановичем Орловым.

Возвращаясь в Ясную Поляну и проезжая по дороге на станцию Чернь через деревню Далматские Дворы, мы, то есть отец и я, увидели печальное зрелище: на еще дымящемся пожарище, среди обожженных балок, груды кирпичей, золы и угля, сидела старая собака; это была коричневая с белыми пятнами и длинными висячими ушами легавая. Она выла, подняв голову. Оказалось, что здесь только что сгорел дом помещиков Каменских, а вместе с домом и вся семья Каменских. Говорили, что слуги Каменских сбокрали их и, чтобы скрыть следы, подожгли дом, заперев все двери, так что из семьи Каменских никто не спасся. Осталась в живых одна только старая легавая собака.

В июле отец опять уехал на несколько недель на кумыс.

Пока отец ездил в самарское имение, в Ясной Поляне случилось несчастье: бык забодал пастуха. Рассказывали, что бык

стал кидаться на людей потому, что мальчишка-подпасок раздразнил его. Однажды бык погнался за подпаском, а пастух — старый мужик, не боявшийся быка, ударил его бичом. Тогда бык обернулся на пастуха, кинулся за ним и пригвоздил его к дереву. Пастух умер в тот же день, а быка немедленно зарезали.

Последствием этого было судебное дело. Судебный следователь, молодой человек, постановил обязать моего отца не выезжать из имения до суда. Он «слиберальничал»: ему показалось лестно проявить свою власть по отношению к богатому помещику и графу. Отец сильно вознегодовал на это распоряжение и подал жалобу об отмене постановления следователя, а сам уехал в Богородицкий уезд к князю Д. Д. Оболенскому. Его оштрафовали на сто рублей, но его жалоба вскоре была удовлетворена, и распоряжение следователя было отменено.

Конечно, отец не был виновен в смерти пастуха, но мне кажется, что в то время он преувеличенно негодовал на следователя и новые суды. Разумеется, он не был виновен в смерти пастуха, но он был ответствен за несчастье, происшедшее в его хозяйстве.

В это лето Кузминские, то есть тетя Таня и ее муж Александр Михайлович, вместе с тремя маленькими дочерьми уехали на Кавказ. Кузминский, до того служивший судебным следователем и товарищем прокурора в Туле, был назначен прокурором в Кутаис. Летом в Яспой стало пусто. Особенно сильно почувствовала отъезд своей любимой сестры моя мать.

Осенью в нашей детской жизни произошла крупная перемена. Ханна Тардзей стала кашлять и худеть: по-видимому, у нее начиналась чахотка. Моя мать решила отправить ее в край с более теплым климатом. В это время Кузминские искали гувернантку для своих детей. Они пригласили Ханну, и осенью она уехала с ними в Кутаис. У меня сохранилось ласковое письмо ее ко мне из Кутаиса от 22 сентября 1872 года с описанием ее путешествия. Ее особенно поразило, как в Потти пассажиров, и ее в том числе, сбрасывали с парохода в греческие фелюги.

Память о Ханне, ничем не омраченная, осталась у меня, как светлая страница из моего детства. Удивительно, как эта милая девушка, оторвавшаяся от всего родного, привязалась к нам и сделалась как бы членом нашей семьи. После ее отъезда переписка ее с моей матерью продолжалась несколько лет.

Через некоторое время после отъезда Ханны к нам, мальчикам (мне было девять, Илье шесть и Леве три года), был

приглашен рекомендованный Фетом немец-гувернер, или лучше сказать, дядька Федор Федорович Кауфман. Это был малообразованный, но порядочный и добродушный человек лет тридцати пяти. Он носил парик, что тщательно, но тщетно скрывал, и был хорошим ружейным охотником. Он прожил у нас два года.

Почти одновременно с Федором Федоровичем гуверпанткой к сестрам — Тане восьми лет и Маше одного года, — а также для того, чтобы всем нам давать уроки английского языка, поступила хорошенькая англичанка мисс Дора.

Помню, как нас тогда смущало, что ее имя совпадало с именем любимой собаки моего отца — желтого ирландского сеттера Доры.

Мисс Дора прожила в Ясной Поляне недолго, но успела покорить сердце Федора Федоровича.

Ее вскоре сменила выписанная из Англии мисс Эмили, добрейшая девица, но с глазами на мокром месте, плакавшая при малейшем огорчении.

Зимой 1872 года отец сделал опыт так называемого ланкастерского обучения. Он поручил мне, сестре Тане и даже брату Илье, несмотря на то, что ему еще не было семи лет, обучать деревенских ребят грамоте. Учил также дядя Костя Иславин. Ученики приходили к нам в дом; в передней и в прилегающих к ней комнатах мы учили каждый свою группу учеников. Опыт был довольно удачен, и ученики мои и сестры Тани усвоили себе начальную грамоту; Илья же был слишком мал и к тому же подрался со своими учениками.

В свободное от уроков время мы с увлечением каталась с нашими сверстниками-учениками на скамейках. Здесь они были нашими учителями. Особенно мы любили садиться на длинную скамейку глухонемого, уже взрослого Макарова, на которую усаживалось человек семь; мы быстро скатывались по хорошо укатанной дорожке и в конце горки обыкновенно с хохотом и визгом вываливались в снег, а глухонемой улыбался и мычал.

Последствием нашего общения со сверстниками на деревне были добрые отношения с ними, которые не прекращались и в дальнейшей нашей жизни. Другим последствием, на которое мы сами обращали мало внимания, но которое приводило в ужас мою мать, были вши в наших волосах.

1873 год

В этом году тетенька Татьяна Александровна стала сильно

дрыхлеть. Из своей комнаты во втором этаже (рядом с залой, впоследствии гостиной) она перешла в небольшую комнату в нижнем этаже, в деревянную пристройку. Она говорила отцу: «Я туда перейду, чтобы своей смертью не испортить вам вашу хорошую верхнюю комнату».

Теперь я не понимаю, почему тетенька своей смертью могла испортить комнату, но тогда моим родителям и мне это казалось естественным.

Тетенька особенно нежно относилась ко мне, своему крестнику, и требовала, чтобы я приходил к ней в комнату по крайней мере раз в день, но мне было скучно у нее, и я нередко отлынивал от этого, несмотря на угощение сладостями.

Пахло какими-то курениями и не особенно приятным запахом старой женщины, свойственным, как мне казалось, исключительно тетеньке.

Как-то я вошел к ней утром и увидел, как она мыла себе лицо: она обмакнула его в таз, наполненный водою, который держала ее горничная Максимовна.

Меня это удивило: ведь Ханна приучила нас мыть не только лицо, но и шею и грудь.

Мне бывало совестно, когда день проходил, а я у тетеньки не был. Помню, как однажды вечером, лежа в кровати, я перед сном испытал щемящее чувство угрызения совести, которое смешалось у меня с чувством умиления, производимого музыкой; в это время отец наверху в зале играл на фортепиано что-то очень хорошее.

Иногда я читал вслух в комнате тетеньки. В своих записках моя мать отмечает, что 18 марта 1873 года я читал тетеньке «Повести Белкина». Она заснула. Я перестал читать и оставил книжку открытой на столе на отрывке: «Гости съезжались на дачу».

Потом в комнату тетеньки вошел отец и прочел этот отрывок.

— Вот как надо писать! — сказал он и в тот же день написал: «Все смешалось в доме Облонских». С этого дня он стал писать «Анну Каренину».

В мае в Ясной Поляне повторилось прошлогоднее несчастье: другой бык забодал скотника. Это произошло так: бык стоял в стойле на цепи, а скотник, задавая ему корм, неосторожно стал перед ним. Бык почему-то рассердился и ударил его рогами в живот. Скотник выбежал из коровника, держа свои кишки обеими руками; у него сделалось воспаление брюшины, и он умер через три дня. Отец был очень взволнован этой смертью, и с

тех пор его интерес к скотоводству упал. К суду его на этот раз, сколько мне помнится, не привлекли, а он сам щедро вознаградил семью убитого скотника.

2 июня мы всей семьей, вместе с Федором Федоровичем Кауфманом, Степой Берсом, няней, слугою Сергеем Арбузовым, поехали в недавно купленное отцом имение в Бузулукском уезде, Самарской губернии. Это имение, размером в 1800 десятин, отец купил у Тучкова, по 8 рублей за десятину, на деньги, полученные за свои сочинения.

Мы поехали через Москву до Нижнего по железной дороге, а от Нижнего до Самары на пароходе. Водные дали, темные лесные склоны, желтые песчаные отмели, движущиеся фонтаны брызг от паровозных колес, рыба и рыбный запах, торг на пристанях, буксирные и другие пароходы, баржи, барки, белены, плоты — все это были новые и сильные впечатления.

Наш пароход общества «Кавказ и Меркурий» был быстрходен, и мы вместе с прочими пассажирами радовались, когда он перегонял пароходы общества «Самолет».

На пароходе мои родители познакомились с княгиней Голлицыной и ее гражданским мужем Киселевым, большим злейшей чахоткой, ехавшим лечиться кумысом. Киселев был очень жалок, но нас — детей — больше интересовала черспаха, которую зачем-то возила с собой княгиня Голицына.

Кумыс Киселеву не помог, и по возвращении он скоро умер. Рассказывали, что, когда он умирал и казался уже мертвым, кто-то сказал: «Кончился». Но он, чуть слышно, одними губами прошептал: «Нет еще».

За Самарой железной дороги еще не было, и до имения надо было ехать 140 верст на лошадах. Незадолго до нашей поездки старый приятель моего отца, Сергей Семенович Урусов, чтобы облегчить моей матери эту поездку, подарил ей свою большую шестиместную карету-дормезу. Это был классический экипаж прежних времен, в котором езжали наши деды, когда еще не было железных дорог. Ее везли шесть лошадей — четверка в ряд и пара впереди; на одну из передних лошадей садился верхом мальчик, так называемый «фалетр», *Vorreiter*. На крыше кареты были приспособлены «важи» — род чемаданов; сзади прицеплялась двухместная колясочка; козлы были так широки, что на них можно было сидеть втроем, а во внутреннем сидении под подушкой было круглое отверстие для отдания долга природе, не выходя из кареты.

В карете поехал наш женский персонал с младшими детьми, остальные ехали на плетушках — тележках с плетеными

кузовами. На полдороге, в Богдановке, мы почевали в просторной крестьянской избе, где нас сплюс донимали клопы. Но помню, тогда же вместе с нами или позднее, на Самарский хутор прпехала из Кутаиса от Кузминских Ханна Тардзей. Мои родители пригласили ее, чтобы полечить ее легкие кумысом.

Наш дом на хуторе, на Сухом Тананыке, был вроде крестьянской избы; все мы не могли в нем поместиться, и Ф. Ф. Кауфман, я и братья Илья и Лев прожили все лето в пустом амбаре, а отец и Степа Берс — в купленной отцом башкирской кибитке (род войлочной палатки).

В то время самарская степь еще была мало распахана. Могучий полуторааршинный чернозем был покрыт густой травой, разными злаками, ковылем, пыреем, овсюком и всевозможными полынями и душицами. По степи ходили и летали буро-белые дудаки (дрофы), величиною не меньше индюшки, и большие белоклювые орлы-беркуты, повсюду парили ястреба, с шумом вылетали стрепета, и воздух был полон стрекотанием кузнечиков. Несмотря на палящий зной, в степи дышалось легко и вольно; воздух был сух, и даже в самые жаркие дни веял ветерок.

Наше имение было разделено на двенадцать полей, из которых засеивались только два: первое по «крепкой земле», — яровой пшеницей-белотуркой, а второе — тоже пшеницей, но так называемым переродом, или русской пшеницей. Иногда на третий год сеяли рожь. Остальные девять или десять полей запускались под сенокос и пастбища. Первые два года после пахоты поля зарастали буйными грубыми травами, а в следующие годы давали прекрасное сено. Это сено складывалось тут же в стога, так что стога были рассеяны по всей степи. Лесу в той местности нет; топили «кизяками» — кирпичами из сушеного павоза. Пирамиды этих кирпичей стояли вокруг сел и изб.

Мать моя в то время кормила сына Петю и тяжело переносила неудобства жизни на хуторе. В доме из щелей дуло, крыша текла, кизяк вонял и плохо горел; невероятное количество мух не давало ни есть, ни спать; почта получалась редко — за ней посылали нарочного в Самару; соседей, кроме башкир и крестьян, не было, доктор жил далеко.

Отец, наоборот, с удовольствием жил первобытной жизнью. Для кумыса был приглашен один старый башкирец, знакомый отцу по прежним его поездкам на кумыс Мухамедшах Рахматуллин (а по-русски Романыч). Он поставил недалеко от дома свою войлочную кибитку и привел с собой десять дойных ко-

был. Кобылы паслись в степи, а их жеребята стояли на привязи вблизи кибитки. Сам Мухамедшах не работал; его жена и сноха делали всю домашнюю работу, доили кобыл, заквашивали и взбалтывали кобылье молоко, превращавшееся в больших бурдюках в кумыс. Эти женщины жили за занавеской, которой была отделена приблизительно треть кибитки. Когда к Мухамедшаху приходили мужчины, женщины прятались за занавеску. Мухамедшах, красивый старик, похожий на ястреба, в тюбетейке и шелковом бухарском халате, из-под которого видна была чистая белая рубаха, мягко ступая в своих ичигах, приветливо встречал гостей, слегка жал руку обеими руками, усаживая на ковер, подкладывал за спину гостя мягкую подушку и угощал кумысом из чаш, выдолбленных из березовых наплывов. В кибитке отсутствовали стулья и столы, были только ковры; было чисто и уютно.

Мухамедшах был умный и по-своему культурный человек; он знал арабский язык, читал коран, был благовоспитан, тактичен. Он говорил по-русски свободно, но игнорировал падежи и спряжения. Одна из любимых тем его разговоров была о том, как башкиры жили в старину и как теперь хуже стали жить. В прежнее время у всех были кочевки (кибитки), а теперь живут круглый год в зимовках (избах); прежде были большие табуны лошадей, а теперь есть башкиры совсем без лошадей; прежде десятки кочевков съезжались на свадьбы и праздники, съезжали по нескольку лошадей и много овец; бывали скачки, кумыс пили вволю, пели, играли на курае (род дудки) и на горле, а теперь башкиры обеднели и ничего этого нет.

Моему отцу очень нравился своеобразно красивый отживающий быт этого кочевого народа. Он говорил, что от него «Геродотом пахнет». Но он видел, что этот быт отходит и на его место становится быт серого русского мужика-земледедца.

Причиной обеднения башкир было не только отнятие части их земель русской государственной властью для закрепления земель за русскими крестьянами и для награждения сановников. За выделом этих земель наделы башкир были все-таки гораздо больше крестьянских. Причиной обеднения и даже вымирания башкир была неприспособленность их к земледельческому образу жизни.

Русские деревни, соседние с нами, были: Гавриловка в семи верстах, Патровка, в девяти верстах, и Землянки-Алексеевка — в восемнадцати верстах. Я всегда удивлялся тому, как самарские крестьяне вели свое хозяйство. Все их усилия направлены были на то, чтобы посеять как можно больше пше-

пицы на своей или арендной земле. Они сеяли мало ржи и совсем не сеяли ни коноплю, ни овса, ни огородных растений и не сажали картофеля. Поэтому, если пшеница плохо родилась (а это случалось очень часто, потому что урожай зависел от того, пройдет ли два-три дождя в мае), то они не только терпели большие убытки, но и голодали. Зато при благоприятной погоде они получали громадные урожаи. Это было не правильное, а какое-то азартное земледелие.

Крестьяне, соседние с нашим хутором, были потомки крестьян, переселившихся из Тамбовской, Пензенской, Рязанской, Тульской губерний в начале XIX столетия. По цвету и покрою их домотканых рубах и бабьих нарядов можно было отличить, из какой они губернии. Белые рубахи с шитым воротом были у выселенцев Тамбовской губернии, синие рубахи — у выходцев из Тульской губернии и т. д.

Все они были «государственные крестьяне», то есть никогда или уже давно не были крепостными помещиков. Это и сказывалось в их более свободном и доверчивом отношении к нам и в большем, чем у тульских крестьян, чувстве собственного достоинства. Они относились к нам не как к господам, а как к богатым хуторянам: здороваясь, протягивали руку, приглашали в гости и не стеснялись, не притворялись, не попрошайничали. Еще в 1871 году отец писал о них: «Для покупки здесь имения особенно соблазняет простота и честность, наивность и ум здешнего народа. Ничего похожего нет с нашими ёрниками. Заманчиво тоже здоровый климат и простота хозяйственных приемов».

С некоторыми из них мы сблизились. В Гавриловке нашим знакомым был Василий Никитин, степенный, рассудительный, словоохотливый человек, лет шестидесяти, с рыжей бородой и многочисленными веснушками на лице и на руках. Он бывал у нас на хуторе, и мы у него в Гавриловке, причем происходило бесконечное чаепитие. Его любимое слово «двистительно» впоследствии было вложено в уста первого мужика в «Плодах просвещения».

В Патровке нашими знакомыми были молokane. Не помню имени одного из них — небогатого, убежденного молokaneина, знавшего хорошо писание и любившего спорить с местным священником. Другой — Иван Дмитриевич, сравнительно богатый человек, был ловкий практический делец и мало религиозен, хотя и сектант.

В Землянках-Алексеевке мы покупали провизию. В базарные дни во время жнитва на площади стояла толпа рабочих,

мужчин и женщин, пришедших иногда издалека и предлагавших свой труд. Цена за сжатие одной десятины определялась тут же и сильно колебалась — от трех до двадцати пяти рублей, в зависимости от урожая.

1873 год был очень неурожаем, и цена стояла низкая. Как известно, последующей зимой в Самарской губернии был голод, и отец написал воззвание о помощи голодающим, привлечение внимания общества и правительства и собравшее почти два миллиона рублей.

Летом отец, по примеру старинных башкирских скачек, устроил скачки на хуторе. Об этих скачках я не буду писать, потому что вторые скачки, организованные отцом в 1875 году, были грандиознее первых и затмили их.

Событиями этого лета, кроме скачек, было разрытие кургана, под которым были найдены какие-то остатки скифской могилы, и торжество Ф. Ф. Кауфмана, убившего дрофу, а это очень трудно, потому что дрофы чрезвычайно чутки и редко подпускают охотника на ружейный выстрел. В конце лета мы вернулись в Ясную Поляну. Ханна Тардзей опять уехала на Кавказ.

Осенью в Ясную Поляну приезжал И. Н. Крамской, которому П. М. Третьяков заказал написать портрет Льва Толстого для своей галереи. Крамской поселился в пяти верстах от Ясной, на так называемой Ванькинской даче, и каждый день ездил к нам. Моя мать заказала ему еще другой портрет, для яснополянского дома — этот портрет и сейчас там. Отец неохотно позировал, Крамской же по своей скромности не настаивал и, как рассказывала моя мать, не успел закончить портрет, заказанный Третьяковым. Она говорила, что он выписал только голову, а остальное он закончил, набив серую блузу отца паклей или еще чем-то. От этого на портрете голова несколько мала, а туловище нежизненно.

Отец высоко ценил работу Крамского и, мне кажется, он вспоминал о нем, когда писал о художнике Михайлове в «Анне Карениной».

9 ноября 1873 года умер от крупа брат Петя. Моя мать глубоко переживала эту первую смерть своего ребенка. Она писала своему брату Степану, крестному отцу Пети, 18 ноября:

«Наш маленький Петюшка умер 9 ноября. У него сделалась хрипота, он страдал не много и не долго, и ровно через двое суток умер — тихо перешел из сна в смерть, совсем незаметно и спокойно. И пропала с ним моя веселая радость, точно свет моей жизни потух; все стало тесно и темно».

Зимой 1873/74 года паша семья продолжала жить в Ясной Поляне тихой деловой жизнью. Отец был занят «Анной Карениной» и особенно «Азбукой».

Он в то время рассказывал нам те рассказы, которые он поместил в «Азбуке» и «Книгах для чтения». На впечатлениях наших и крестьянских ребят он проверял понятность и разнообразность своих рассказов, заставляя нас своими словами передавать их.

Читая басни Эзопа в подлиннике, он сравнивал их с баснями Лафонтена, не в пользу последних. Он говорил, что у Крылова и Лафонтена много искусственного и лишнего; Эзоп же образец лаконизма. Так, у Лафонтена ворона держит во рту кусочек сыру; сыр Лафонтену понадобился для рифмы *fromage* и *plumage*¹. Крылов, не знавший по-гречески, но подражавший Лафонтену, также написал: «Вороне где-то бог послал кусочек сыру». Между тем ни вороне, ни лисице не свойственно питаться сыром. Насколько лучше сказано у Эзопа: «Воропа держала в клюве кусок мяса!»

Конец басни «Лев, осел и лисица» изложен отцом со слов одного яснополянского мальчика. Как известно, осел разделил общую добычу этих трех животных поровну, за что был съеден львом. После этого лев поручил разделить добычу лисе, что она и сделала, «выделив льву львиную долю», а себе оставив чуточку.

Лев посмотрел и говорит: «Ну, умница! Кто тебя научил так хорошо делить?»

Она говорит: «А с ослом-то что было?»

Этот ответ лисицы был сказан одним мальчиком при пересказе басни вместо слов «пример осла». Слово «пример», как книжное, не нравилось отцу и он заменил его вопросом: «А с ослом-то что было?»

Он говорил про свой роман, что он пишет его не так, как обыкновенно пишут романисты: роман кончается, когда он и она женятся, то есть когда роман должен бы только начинаться.

Его роман будет описывать не только, как они поженились, но и то, что произошло после этого.

Между прочим он говорил, что мысль о фамилии Каренины ему пришла от греческого слова «кареноп» (голова). Может

¹ сыр и перья (франц.).

быть, он называл Алексея Александровича Карениным потому, что Каренин ему представлялся головным, не сердечным человеком.

Мы, трое старших детей — я, Тапя и Илья, учились по расписанию, составленному на неделю. Учили — моя мать, Кауфман и англичанка мисс Эмили. Лева и Маша у нас троех, старших, назывались «little ones» (маленькие) и не допускались в наши игры; Лева очень старался пристать к нам, но мы, в особенности я, отстраняли его, дразнили и прозвали «Сюсюкой под соусом», потому что он сюсюкал и как-то облил себя соусом. Я с сожалением вспоминаю эти недобрые отношения. В то время Лева, или Леля, как мы его тогда звали, был хорошенький мальчик с каштановыми кудрями; у Ф. Ф. Кауфмана он был любимцем, чему я и Илья иногда завидовали. Маша была некрасивой, бледной и болезненной девочкой, мало заметной в нашей общей жизни. Наша мать ее любила меньше других своих детей; она у нее была Сапдрильоной (Золушкой).

Отец в то время довольно много занимался нами, учил арифметике, заставлял излагать прочитанное нами или самим описывать что-нибудь. Но он никогда не давал отвлеченных тем для сочинений. Помню, он как-то сказал мне: «Опиши дядю Костю». Я не сумел этого сделать.

По вечерам он частью рассказывал, частью читал нам «Детей капитана Гранта», «Путешествие на луну» и другие книги Жюль Верна по иллюстрированным изданиям. Мы очень любили эти рассказы.

Весной мы узнали поразительную для нас новость: Хапна Тардзей вышла замуж за грузинского князя Мачутадзе и осталась жить на Кавказе.

22 апреля родился брат Николенька.

За последнее время тетенька Татьяна Александровна постепенно дряхлая и угасала. К лету она не вставала с постели. Пока сознание ее не покидало, она была бодр и ласкова со всеми. Она умерла 20 июня, семидесяти девяти лет, — «тихо угасла», как писала моя мать. Незадолго до ее смерти умерла ее горничная Аксиныя Максимовна. Эта Максимовна осталась в моем воспоминании, как жалкая, грязно одетая старуха, с ногами, распухшими от водянки. Она еле-еле переваливалась с одной распухшей ноги на другую и постоянно кричала. По своей госпоже Татьяне Александровне она служила, пока хватало сил.

После смерти тетеньки уехала и ее подруга Наталья Петровна Охотницкая. Вместе с этими старухами наш дом лишил-

ся той особенной дореформенной, ласковой, но несколько затхлой атмосферы, которую они вносили в нашу жизнь.

В июле отец опять поехал в самарское имение и взял меня с собою, от чего я, конечно, был в восторге. Из этой поездки я помню, как меня удивило, что отец разбририл молоканина Ивана Дмитриевича, арендовавшего часть нашего имения, за то, что он припахал к своей арендованной земле десятин тридцать.

Помню выражение отца, меня удивившее: «Я не для того купил имение, чтобы кормить вашего брата, ...-мужиков».

Вообще хозяйственные дела в имении шли неважно. Отец назначил управляющим имения малограмотного крестьянина Ясной Поляны Тимофея Фоканыча, который оказался малодетельным. Моя мать подозревала его в недобросовестности, а дядя Сергей Николаевич по этому поводу говорил: «Левочка может себе позволить роскошь брать негодных управляющих: например, Тимофей Фоканыч принесет ему убыток в 1000 руб., а Левочка опишет его и получит за это описание 2 000 руб.— 1 000 руб. в барышах. Вот я не могу позволить себе такую роскошь».

В самарском имении мы пробыли недолго и вернулись в августе.

В это лето Ф. Ф. Кауфман по своим личным делам ушел от нас и несколько месяцев после этого я и мои братья оставались без ментора. Надо признаться, что мы за это время порядочно таки разболтались.

21 октября сестра Таня, бегая по хорошо вычищенному паркету, поскользнулась, упала и сломала себе ключицу. Отец сейчас же повез Таню к докторам в Москву. Ее скоро вылечили, и дурных последствий от падения не осталось.

Этой осенью моя мать, продолжая кормить Николецьку, плохо себя чувствовала.

1875 год

В этом году отец продолжал заниматься «Анной Карениной», «Азбукой» и музыкой. Одно время он играл на фортепиано часа по три в день; он играл сонаты Моцарта, Гайдна, Вебера, первую половину сонат Бетховена, немного Шуберта и Шопена, и с моей матерью в четыре руки симфонии, увертюры и квартеты Гайдна, Моцарта, Вебера, Бетховена и Мендельсона.

20 февраля, после трехнедельных страданий, мой меньшей десятимесячный брат Николенька умер от менингита.

Зимой 1875 года в Ясную Поляну переехала из тульского монастыря, где она раньше жила, совершенно обедневшая тетка моего отца Пелагея Ильинична Юшкова и поселилась внизу, в комнате, где скончалась тетенька Татьяна Александровна. Ей было семьдесят шесть лет, она была капризна, требовала за собой ухода, слабела и болела.

Весной кончился анархический период в жизни нас, трех братьев — меня, Ильи и Левы. Отец пригласил для нас гувернера, м. Jules Rey, католика из Фрибургского кантона, молодого человека лет двадцати трех, знавшего, кроме французского и немецкого, также латинский и греческий языки. Он был довольно красив, внешне учтив, хорошо одевался, но выражение лица его было неприятно: из-под очков серые его глаза бегали, улыбка была деланная. Этот скрытный и развратный человек испортил мне два года моей жизни, хотя я был его любимцем. Он требовал от нас образцового поведения, а сам тайно покупал вино, пил и был в тайной связи с жившей у нас англичанкой.

Он сумел понравиться моему отцу, а сам дурно говорил про него. По отношению к нам, особенно к брату Илье, он был несправедлив. Бить нас ему мой отец запретил, но он иначе наказывал нас: ставил в угол, заставлял зубрить или переписывать латынь и т. п. Однажды он велел мне стать на колени, а когда я отказался, хотел поставить насильно. Однако это ему не удалось, и как он меня ни насиловал, я ложился или сидел на пол, но на колени не стал.

В начале лета этого года мы вторично всей семьей, вместе с Степой Берсом, поехали в самарское имение — до Нижнего по железной дороге, от Нижнего до Самары — пароходом, от Самары до имения — на лошадях. Опять около хутора поселился в кибитке Мухамедшах Романых вместе со своими кобылами, жеребятами на привязи и своей старой женой, снохой и внуком Газисом. Событиями этого лета были — поездка в Бузулук, скачки и попытки киргизов увести наших лошадей.

29 июня в Бузулуке бывала большая ярмарка. Отец поехал туда отчасти для того, чтобы купить кобыл для затеваемого им конского завода, отчасти просто, чтобы повидать новые места. С ним поехала моя мать, Степа и мы, трое старших. От этой поездки у меня остались впечатления: плохая гостиница, с клопами, коричневые овцы с смешанным курдюком на задах, косяки (табуны) невыезженных лошадей, лухая выездка этих

лошадей, страстный гортанный говор торгующихся башкир и киргизов, всеобщее оживление и пыль, пыль, пыль. А за Бузулуком был тихий монастырь, где в скиту, в пещере, им самим вырытой, жил отшельник, простой мужик, умиленно, попросту, по-народному религиозный. Отец с ним много разговаривал и очень интересовался им.

В конце лета отец оповестил башкир, живших на Каралыке, Камелике и даже на Иргизе, а также жителей ближайших русских сел, что 6 августа в его имении будут устроены скачки на пятьдесят верст. Призами были: бычок, ружье, часы, башкирский халат и еще что-то. Народу собралось много. Степь оживилась. На ней, как большие грибы, выросли серые войлочные кибитки башкир, стояли рыдваны и плетушки с поднятыми кверху оглоблями, паслись лошади, горели костры и сновали конные и пешие башкирцы. Отец дал башкирцам на съедение жирного хромого жеребенка и несколько баранов; кумыс лился рекой, и башкирцы веселились, как дети, играли на курае и на горле, пели свои песни, плясали и болтали без умолку.

Перед скачками отец предложил желающим бороться и тянуться на палке. Начали состязание я и мой сверстник, сын соседнего арендатора, Тимрот. Он меня поборол, что меня жестоко огорчило. На палке тянутся так: борющиеся садятся друг против друга, смыкаются подошвами, берутся оба руками за палку и стараются поднять друг друга. Отец всех перетянул, кроме толстого землянского старшины; он не мог его поднять просто потому, что старшина весил не менее десяти пудов.

На ровном месте, в степи, глубокой вспашкой была намечена окружность в пять верст; эту окружность надо было обскákat десять раз. Скакали тридцать две лошади, между ними одна наша лошадь, четыре или пять лошадей русских крестьян, остальные башкирские лошади. Жокеем были мальчики-подростки, различавшиеся по разноцветным платкам, которыми были обмотаны их головы.

Организация скачек была не совсем удачна. Когда лошади были уже пущены, отец перевел место финиша на довольно большое расстояние от старта (для того чтобы расстояние равнялось точно пятидесяти верстам), а это сбilo расчет скачущих. Затем верховые башкиры, не участвовавшие в скачках, металсь по кругу, поощряя своих скакунов и сбивая прочих. Только четыре лошади доскакали, остальные сошли с круга. Первый приз взяла башкирская лошадь, проскакавшая пятьдесят верст в час тридцать девять минут, второй приз — наша

лошадь, следующие призы взяли опять башкирские лошади, и только один какой-то приз достался лошади русского. Русские были недовольны и говорили, что башкирцы сбили их лошадей. Но в общем скачки доставили всем большое удовольствие.

В самарском имении, по замыслу моего отца, должен был быть большой конский завод. От слияния культурных кровей английских и русских рысистых со степными — башкирскими, киргизскими и калмыцкими — должны были произойти крепкие, выносливые лошади, особенно годные для кавалерии. Условия для такого завода в самарской степи были вполне благоприятны. Степное сено с почти девственной почвы было питательно, как овес, пастбищ было достаточно. Во исполнение этого замысла отец купил несколько прекрасных породистых жеребцов и большое число степных кобыл.

Однажды, вечером, в конце лета, конюхи, пасшие лошадей, спешно прискакали домой на хутор с известием, что киргизы напали на пасшихся лошадей, отбили от табуна лошадей сорок и угнали их. Прием киргизов-конокрадов состоял в том, что они украденных лошадей гнали прямо за Урал — почти 200 верст, не заботясь о том, что некоторые лошади не выдержат и падут; а за Уралом найти украденных лошадей было уже невозможно.

На хуторе поднялась тревога. Снарядили погоню на оставшихся лошадях. Поскакали русские конюхи и башкирец Лутай, милейший первобытный человек и отчаянная башка, бывший во время угона лошадей не при табунах, а дома. Киргизов нагнали, Лутай бесстрашно, с диким гиканьем налетел на них: произошла драка нагайками, причем Лутая больно побили, но киргизы лошадей бросили и ускакали.

Урожай пшеницы в этом году был довольно хорош. Во время уборки жнецы жили в степи по неделям. Степь оживилась; на жнивьях — палатки, рыдваны, лошади, котелки над кострами.

Некоторые жнецы приезжали издалека. Один пожилой татарин пришел на жнитво пешком из Казанской губернии, за тысячу верст, вместе со своей старообразной женой, криворотой девочкой лет восьми и младенцем, которого они с женой везли всю тысячу верст в маленькой тележке. Моя мать приняла участие в этой семье и давала им кое-какие харчи. Девочке она как-то дала сдобную лепешку, и это ей так понравилось, что, встречая мою мать, она каждый раз говорила: «Тотка, лепешка давай мне».

В то время сторожем при хуторе был другой, старый, обор-

ваный, грязный и добродушный татарин Бабай. По вечерам он пел свои татарские песни и колотил палкой по старому ведру. Он иногда приходил к Мухамедшаху Романычу, скромно оставившись у двери его кибитки, молился, как полагается мусульманину, закрывши лицо руками, и почтительно здоровался. Мухамедшах говорил ему «утр» (садись) и угощал кумысом. Мой отец, заметив это, сказал: «Вот как закон гостеприимства строго соблюдается у мусульман! Мухамедшах, сравнительно аристократ, сажает и угощает нищего Бабая. Мы, христиане, так нищих не принимаем».

22 августа мы вернулись в Ясную Поляну.

Моя мать тяжело переносила свою беременность и все болела. У нее было нечто вроде лихорадки, а осенью все мы, дети, заболели коклюшем в довольно сильной степени, и она вместе с нами.

От этого времени у меня остался в памяти следующий странный случай. Отец перед сном обыкновенно раздевался и умывался в комнате под залой, бывшей его кабинетом, после чего в халате шел наверх в спальню, общую с матерью. Я и брат Илья в то время спали в комнате, находящейся между буфетом и комнатой со сводами. Однажды осенью я проснулся около двенадцати часов ночи от отчаянного крика моего отца: «Соня, Соня!» Я выглянул из двери. В передней было совсем темно. Он повторил свой крик. Я вышел в переднюю и услышал, как моя мать быстро прибежала к лестнице со свечой в руке.

Сильно взволнованным голосом она спросила: «Что с тобой, Левочка!»

Он ответил: «Ничего, я заблудился».

Тогда у матери сделался сильный припадок коклюшного кашля, с задыханьем и завываньем, и она долго не могла прийти в себя. Оказалось, что у отца не было спичек, и он, переходя из своего кабинета наверх, заблудился в передней. Этот случай я не могу объяснить иначе, как болезненным припадком. По-видимому, у него в эту ночь повторилось то ужасное настроение, которое он называл «арзамасской тоской».

Вскоре после этого моя мать совсем слегла. Добросовестный, но бездарный доктор Кнерцер, приехавший из Тулы, находил у нее лихорадку, так как у нее температура ежедневно повышалась, и пичкал ее хинином, от чего не было никакой пользы. Тогда отец написал письмо доктору Захарьину с просьбой или приехать, или прислать из Москвы хорошего врача. Захарьин прислал своего ассистента Чиркова. Диагноз Кнер-

цера оказался неверным: Чирков определил воспаление брюшины, прописал соответственное лечение, и состояние моей матери немедленно улучшилось. Но вследствие своей болезни она 30 октября преждевременно родила девочку Варю, жившую всего один час.

22 декабря умерла, семидесяти семи лет, Пелагея Ильинична Юшкова, тетка отца, жившая внизу в пристройке. Причиной ее смерти был ушиб от падения, когда она перевешивала что-то в своей комнате. Она тяжело умирала и говорила моей матери: «Je suis si bien chez vous; je ne voudrais pas mourir»¹.

Больше всех ее смертью был огорчен мой отец. В марте 1876 года он писал А. А. Толстой: «Странно сказать, но эта смерть старухи 80-ти лет подействовала на меня так, как никакая смерть не действовала. Мне ее жалко потерять, жалко это последнее воспоминание о прошедшем поколении моего отца, матери, жалко было ее страданий, но в этой смерти было другое, чего не могу вам описать и расскажу когда-нибудь. Но часу не проходит, чтобы я не думал о ней. Хорошо вам, верующим, а нам труднее».

Начиная с этой осени, в Ясную Поляну стал приезжать раз в неделю учитель музыки Александр Григорьевич Мичурин, дававший уроки игры на фортепиано мне, Тане и Илье. Мичурин был сын крепостного музыканта, почти самоучкой научившийся играть на фортепиано и на скрипке. Сам он играл топорно, слишком метрично, но он любил музыку и был добросовестным учителем. Человек он был желчный, и хотя я учился музыке охотно, его раздражительность иногда приводила меня в какое-то оцепенение. Когда я ошибался, он отдергивал мою руку от клавиш и говорил: «Начинайте сначала». Когда я опять ошибался, он говорил: «Что вы тусклыми глазами бродите по клавишам, играйте сначала». Я терялся и путался, а он прекращал урок и задавал работу на неделю, а в продолжение недели я играл без руководства неправильно и не только заданное, но и многое другое.

В продолжение учебного сезона 1875/76 года отец по вечерам читал нам путешествие Жюль Верна «80 дней вокруг света». Книга, по которой он читал, не была иллюстрирована, и он сам чертил к ней иллюстрации, приводившие нас в восторг.

¹ «Мне так хорошо у вас; не хочется умирать» (франц.).

Рисовал он довольно плохо, но у него бывали характерные штрихи. Мы очень любили эти рисунки отца и с нетерпением ждали следующего вечера. Вопрос — выиграет ли мистер Фогг свое пари, или нет — сильно нас интриговал.

1876 год

Зимой 1875/76 года отец продолжал писать «Анну Каренину», довольно много играл на фортепиано и хлопотал об устройстве учительской семинарии — университета в лаптях; к сожалению, его своеобразный план учительской семинарии не осуществился. Он предполагал готовить сельских учителей из местных крестьян. Такие учителя, живя дома, в своем селе, и продолжая вести крестьянское хозяйство, удовлетворялись бы небольшим вознаграждением и не стремились бы при первой возможности переменить свое место учителя на более выгодное занятие.

Учился я довольно прилежно по-латыни, по-гречески и по-французски с м. Реу, по русскому языку, истории и географии — с матерью, по математике — с отцом. Отец захотел проверить мои познания и просил директора тульской гимназии Новоселова допустить меня до пробного письменного экзамена из третьего в четвертый класс по пяти предметам. Незадолго до экзамена Новоселов приезжал в Ясную Поляну и немножко позондировал мои познания. Между прочим он предложил мне перевести на латынь фразу: «Все ношу с собой». (*Omnia mecum porto*). Я не сумел.

Экзамены в гимназии по русскому, математике, греческому и французскому я выдержал, но по латыни получил двойку. Это были мои первые экзамены. С этого года я каждый год весной держал экзамены вместе с гимназистами тульской гимназии. Отец очень интересовался моими испытаниями. 12 мая он писал А. Фету: «У меня событие, занимающее очень меня теперь, это экзамены Сережи, которые начнутся 27-го». Для меня они были крупным событием, особенно потому, что здесь я в первый раз входил в товарищеские отношения со своими сверстниками. Я ценил эти отношения, но мне было неприятно, что мои товарищи относились ко мне несколько снисходительно, хотя и дружелюбно. Отец, боясь, что товарищи научат меня разврату, предупреждал меня, чтобы я ни с кем близко не сходил за исключением одного товарища, из хорошей семьи графа Дмитрия Татищева, с которым я и сблизился.

вился, но ненадолго. Этот милый мальчик года через два после нашего знакомства погиб на станции Скуратово, оступившись при выходе из вагона. Колесами отрезало ему обе ноги, после чего он вскоре умер. Позднее я сошелся с гимназистами Хитровым и Блекловым. Хитров играл на скрипке и страстно любил музыку. Впоследствии он был убежденным демократом, несмотря на то, что был сыном полицейского чиновника; он умер в молодых годах. Степан Блеклов был впоследствии радикалом и земским статистиком в Тверской губернии. Кроме этих товарищей, у меня в Туле был еще приятель, года на два старше меня, барон Антон Дельвиг, племянник поэта. С Дельвигами мы были знакомы семьями. Это была патриархальная, традиционно-православная, глубоко провинциальная, небогатая помещичья семья. У них было имение в Чернском уезде, в двух верстах от Покровского, имения моей тетки Марии Николаевны, через которую мы с ними и познакомились. Семья состояла из отца, Александра Антоновича — младшего брата поэта, добросовестного и уважаемого земского деятеля, его жены Хиопии (или Фионии) Александровны, маленькой энергичной женщины, хорошей хозяйки и ревливой матери двух некрасивых дочерей, Россы и Нади, моего приятеля Антона, прозванного в гимназии Туркой за его толщину, и трех его меньших братьев. Дельвиги бывали в Ясной Поляне, и мы у них в Туле. Мы с ними ставили домашние спектакли, играли в лапту и другие игры, но настоящей близости между нами не было: они казались нам мало интересными.

Начиная с лета 1876 года в Ясную Поляну стали опять каждое лето приезжать Кузминские и жить своим хозяйством во флигеле. Побывал летом Н. Н. Страхов и другие гости. Приезжала недавно вышедшая замуж моя двоюродная сестра Варя вместе со своим мужем Николаем Михайловичем Нагорновым и его братом Ипполитом. Ипполит Нагорнов был скрипач-виртуоз, малоизвестный в России, но имевший успех за границей, особенно в Италии. Его полнотонная, энергичная игра — одно из моих сильных музыкальных впечатлений. Мне тогда врезались в память мазурка и легенда Венявского, сонаты Моцарта, особенно прелестное адажио сонаты в *Es-dur* сонатины Шуберта, Вебера и «Крейцера соната». Фортепианную партию в более легких пьесах играл отец, в более трудных, насколько я помню, тетя Маша или Мичурин. Как человек Ипполит Нагорнов не нравился моему отцу. Помню, как отец был недоволен, когда Ипполит Нагорнов после выпивки, едучи в лицейке с другими охотниками, застрелил среди деревни дворовую

собаку, погнавшуюся за нашим сеттером. Хозяева собаки пришли жаловаться, когда Нагорнов уже уехал, и отцу пришлось за собаку заплатить. По характеру Ипполит Нагорнов подходил к типу Трухачевского в повести отца «Крейцера соната», и, вероятно, отец вспоминал о нем, когда писал свою повесть.

Кажется, этим летом приезжали в Ясную Поляну Голохвастов Павел Дмитриевич и его жена Ольга Андреевна с их воспитанницей, бойкой девочкой семи или восьми лет — Алочкой; так Ольга Андреевна претенциозно переделала ее имя Варвара.

Павел Дмитриевич производил впечатление благовоспитанного, изящного, хорошо образованного человека. По своим взглядам он был близок к славянофилам и был известен как знаток русских былин. Его статья о былинах в «Русском Вестнике» до сих пор не утратила своей ценности. Он красноречиво рассказывал о своем намерении соединить древние былины в одну поэму — нечто вроде Илиады или Одиссеи. Жаль, что он этого не исполнил.

Отец говорил про него: «Павел Дмитриевич не написал свою поэму, потому что израсходовался на рассказы о своем замысле».

Ольга Андреевна — внучка Карамзина — была круглой, полной дамой с выпуклыми черными глазами. Она была самоуверенна, требовала поклонения себе и считала себя писательницей.

Она привезла с собой свою историческую драму, которой душила моего отца.

Голохвастовы считались у нас тяжелыми, хотя и интересными гостями: разговоры о былинах и чтение драмы не могли наполнить всего времени их пребывания; их приходилось «занимать».

3 сентября отец, взяв с собою своего племянника Николеньку Толстого, поехал в самарское имение, а оттуда в Оренбург для покупки лошадей. В Оренбурге он виделся с генерал-губернатором края, своим сослуживцем по Севастополю, Крыжановским и познакомился с очень богатым купцом Деевым, торговавшим с Туркестаном. Деев его почему-то возлюбил и подарил ему тигровую шкуру, которую по приезде в Ясную отец подарил сестре Тане. Отец рассказывал про Деевых, что их предок разбогател тем, что продавал русских девушек в гаремы Средней Азии.

Охота, учеба и катанье на коньках — вот наши главные занятия в зиму 1876—1877 гг.

Нашими педагогами были: м. Реу, его сестра, которую

осенью сменила молодая французенка m-lle Гаше, англичанка Аппи Филиппс и вновь поступивший русский учитель Владимир Иванович Рождественский.

Кроме того, из Тулы приезжал учитель музыки Мичурин и учительница немецкого языка, а местный священник Василий Иванович давал нам уроки закона божия.

Весной 1877 года я должен был держать все шестнадцать письменных и устных экзаменов, которые держат гимназисты при переходе из четвертого в пятый класс, и меня успешно готовили к этим экзаменам. С сентября ученье шло по недельному расписанию, составленному для нас трюх, старших.

Мы учились от шести до восьми часов в день. Правда, нам делали поблажки: иногда осенью я и брат Илья уезжали на целый день на охоту, иногда прогулка после завтрака, особенно катанье на коньках или на скамейках, продолжалась дольше положенного времени. Но в общем расписание соблюдалось.

По вечерам отец иногда читал нам по-французски «Три мушкетера» Александра Дюма, пропуская неподходящие для детей места. Мы с жадностью слушали его.

Осенью настроение моих родителей было довольно уныло. 15 сентября моя мать писала своей сестре:

«У нас сегодня снег закрыл всю землю и так мрачно, гадко стало тут жить. Я всеми силами рвусь вон, но вырвусь ли — не знаю <...>. Меня Левочка очень постоянно во всем разочаровывает, ко всему охлаждает. Потому-то я, верно, и стала искать радости не в тех серьезных интересах, которыми жила прежде, а в разных минутных пустых радостях, лишь бы сейчас, эти пять минут, мне было весело.

Левочка постоянно говорит, что все кончено для него, скоро умирать, ничто не радует, печего больше ждать от жизни. Какие же могут быть мои радости помимо его?»

Как только пруды замерзли, я, Таня, Илья и Лева и наши педагоги — два учителя и две гувернантки — стали кататься на коньках. Иногда к нам присоединялись и наши родители, а также ребята с деревни. Мы перегоняли, ловили друг друга, прыгали через палки и скатывались с ледяной горки, построенной на пруду. Хохот и крик слышались с пруда. В начале ноября брат Лев чуть не утонул, провалившись в прорубь, затянутую тонким льдом. Его вытащили бабы, полоскавшие белье в соседней проруби.

Владимир Иванович Рождественский, учивший нас математике, русскому языку, истории и географии, физически силь-

ный человек, добрый малый и хороший учитель, страдал за-
поем. Однажды он запл и один пошел кататься на коньках.
Немного погодя мы также пошли на пруд. И вот мы увидели
по его следам на снегу, как он писал «мыслете» и падал. А на
пруду мы увидели его самого сидящим на скамейке в удру-
ченном состоянии. Кататься на коньках он очевидно уже не
мог и при виде нас, шатаясь, пошел домой. С тех пор для нас,
своих учеников, он потерял всякий престиж.

В декабре отец ездил в Москву, где познакомился с Чайков-
ским.

На святках, по обыкновению, была елка, приезжали гости,
и мы наряжались.

1877 год

Вторая половина зимы 1876/77 года была проведена так же,
как и первая. Коньки были причиной случая, чуть не стоивше-
го мне жизни. На пруду отчасти нами самими, отчасти поден-
ными было расчищено пескoлько переплетающихся между со-
бою дорожек. 23 января я, Таня и Илья, катаясь по этим
дорожкам, ловили друг друга; на одном перекрестке я, вместо
того чтобы увильнуть от Тани, ловящей меня, на быстром бегу
столкнулся с ней, и мы оба упали. Она не ушиблась, а я так
сильно ударился головой об лед, что потерял сознание и стал
судорожно дрыгать ногами. Меня в бессознательном состоянии
снесли домой, прикладывали к голове лед и поставили за ухо
пиявку. А когда, проспавши почти сутки, я проснулся, у меня
совершенно пропала память: она восстановилась только через
несколько минут.

Здоровье отца в начале года было не совсем хорошо. Моя
мать писала своей сестре 25 февраля 1877 г.: «У него все го-
лова болит и приливы крови очень сильные...» Он поехал к
Захарьину. 12 марта 1877 г.: «Захарьин поставил ему пиявки,
но лучше не стало. Хотя на вид он и здоров, т. е. толст, красен,
все ест, но руки холодные, голова постоянно болит, пойдет хо-
дить — устанет. Спит и вздрагивает ужасно, и я боюсь одно-
го — удара. Судя по словам Захарьина, он не считает это
невозможным».

Этой зимой отец занимался со мною чтением по-гречески
«Анабазиса» Ксенофонта. Он недостаточно знал греческую
грамматику, и при чтении нам приходилось иногда в нее загля-
дывать. Но он знал много греческих слов и по какой-то интуи-
ции легко схватывал смысл читанного.

«Анна Каренина» приближалась к концу.

Материал для нее отец брал из окружающей его жизни. Я знал многих лиц и многие эпизоды, там описанные. Но в «Анне Карениной» действующие лица не совсем те, которые жили на самом деле. Они только похожи на них. Эпизоды же комбинированы иначе, чем в жизни.

Константина Левина отец очевидно списал с себя, но он взял только часть своего «я», и далеко не лучшую часть. Так же, как Левин с Кити, отец объяснялся с моей матерью начальными буквами слов. Так же он опоздал на свою свадьбу из-за отсутствия чистой рубашки, так же говорил своей теще «вы, Любовь Александровна», так же косил с крестьянами, так же охотился, заводил коров, увлекался пасекой и т. д.

Черты моей матери можно найти в Кити (первое время ее замужества) и в Долли, когда на ней лежали заботы о многочисленных ее детях.

Скачки в «Анне Карениной» описаны со слов князя Д. Д. Оболенского. С одним офицером — князем Дмитрием Борисовичем Голицыным — в действительности случилось, что лошадь при взятии препятствия сломала себе спину.

Замечательно, что отец сам никогда не бывал на скачках.

Самоубийство Анны Карениной навеяно самоубийством сожительницы А. Н. Бибикова, о чем я уже упоминал.

Смерть Николая Левина — это воспоминание о смерти брата отца — Дмитрия.

Каренин отчасти похож на В. А. Пиславина, служившего в Министерстве государственных имуществ и так же, как Каренин, писавшего доклады об инородцах. Песцов похож на С. А. Юрьева, художник Михайлов — на Крамского, Кознышев — немножко на Б. Н. Чичерина, немножко на П. Ф. Самарина и т. д.

Как известно, переворот мировоззрения Левина — это описание душевного перелома моего отца. Он в то время старался быть православным и исполнять церковные обряды. Некоторое влияние на него оказали славянофильские идеи, в частности книга Хомякова о церкви, но главным толчком к увлечению отца православием, мне кажется, было его желание сблизиться по своей вере с крестьянами, от духовной разобщенности с которыми он всегда страдал. Догматы, таинства, чудеса, вообще все то, с чем его разум не мог согласиться, он решил принять на веру, со смирением (по Хомякову), так как разум отдельных людей должен подчиниться разуму соборному — церкви. Я помню, как он читал Хомякова и высказывал эти мысли.

Как известно, вскоре его разум восторжествовал над этой подневольной философией, но в 1877 году он был ревностным православным. Никого из своей семьи он не принуждал и даже не уговаривал веровать так же, как и он; правда, никто и не противился ему, но никто особенно и не сочувствовал. Моя мать считала себя православной, но вообще холодно относилась к религии, а мы, дети, еще не могли сознательно отнестись к этим вопросам. По примеру отца, я старался быть православным, но где-то внутри себя я чувствовал протест против этого. Я не мог не чувствовать нелепости таких чудес, как оставление солнца Иисусом Навином во время сражения, взятие Ильи на небо, пребывание Ионы в чреве китовом, воскрешение Лазаря, воскресение и вознесение Христа и особенно претворение вина и хлеба в плоть и кровь Христову. Мы молились. Мать с детства научила нас перед сном повторять «Отче наш», «Дева радуйся» и молитву за родных и всех православных христиан. Но это делалось почти машинально.

Весной, к моему большому удовольствию и к удовольствию моих педагогов, я выдержал все экзамены для перехода из четвертого в пятый класс, о чем получил формальное свидетельство.

Турецкая война была в полном разгаре, и отец горячо ею интересовался. Вначале он несколько пессимистично относился к ее исходу. Ведь он не сочувствовал введению всеобщей воинской повинности и писал князю С. С. Урусову (апрель — май 1871 г.):

«Чем дольше срок службы, тем выгоднее <...>. Надо только ничего не делать, не уничтожать тип старого русского солдата, давшего столько славы русскому войску, и не пробовать нового, неизвестного».

Теперь вопрос о результате милютинской реформы решался на деле, и он не был уверен в ее успехе.

Помню, как сильно огорчило его известие о неудаче Плевенского боя. Тогда в газетах было напечатано, что такие-то части «отступили в полном порядке. Наши потери исчисляются в 25.000 человек».

— Да это полное поражение! — говорил он.

Летом опять во флигеле жили Кузминские и приезжал Н. Н. Страхов.

После экзаменов и усиленных занятий деревенские удовольствия — езда верхом и купанье, рыбная ловля, охота, игра в крокет и т. п. — получили для меня особую прелесть.

Игра в крокет в то время процветала в Ясной Поляне. Иг-

ралу и взрослые — тетя Таня Кузминская, Страхов, m. Rey и m-lle Gachet, Рождественский и др., причем обыкновенно все препирались между собой и даже ссорились. Как-то тетя Таня, сердясь на плохую игру Страхова, сказала ему:

— Как вы не понимаете, Николай Николаевич, что игра — дело серьезное!

— Ха, ха, ха,— рассмеялся Страхов, всегда при смехе отчетливо выговаривая ха, ха, ха,— вы сами не понимаете, Татьяна Андреевна, какую вы истину изрекли: игра — серьезное дело. Конечно, очень серьезное дело!

Рождественский, ухаживая за m-lle Gachet, особенно сильно крокировал ее шар по направлению к пруду и приговаривал своим семинарским выговором:

— Мамзель Хаше, я ваш шар к лягушкам отошлю.

Летом наши педагоги, свободные от занятий, вели себя довольно распущенно. Рождественский и m. Rey, пригласив какого-то приятеля из Тулы, три дня пьянствовали. Войдя в нашу классную комнату (комната под сводами), я увидел на столе бутылки и закуски, а на полу Рождественского, мертвецки пьяного. Оба педагога очень меня просили не говорить об этом моему отцу, и я отцу ничего не сказал, но мое уважение к ним обоим было окончательно подорвано.

Рождественский скоро понял, что его поведение не подходит к быту Ясной Поляны, и уволился.

Перед учебным сезоном отец стал подыскивать нам русско-го учителя на место уволившегося Рождественского. В то же время он искал управляющего самарским пивенем. Через Марию Ивановну Абрамович, акушерку моей матери, жившую в Туле, он нашел и того и другого. Это были — учитель Василий Иванович Алексеев и управляющий Алексей Алексеевич Бибиков. Отец тогда полупутя говорил: «Мария Ивановна мне рекомендует двух нигилистов». О Бибикове речь впереди. Скажу несколько слов об Алексееве по тем его рассказам, которые я когда-то записал.

Его отец был псковский помещик, бывший николаевский офицер, державшийся чуть ли не домостроевских правпл. Его мать, родом крестьянка, была замужем, добрейшая жещина, мать восьми детей. Василий Иванович из псковской гимназии поступил на математический факультет Петербургского университета, который окончил одним из первых. В Петербурге он примкнул к кружку народников, сошелся с Н. Чайковским, вел пропаганду среди рабочих и студентов и распространял среди них книги известного направления. Это были не

только книги вроде Милля, Бокля, Льюиса, Писарева, Чернышевского и т. п., но также и Евангелие, в котором он подчеркивал места, касающиеся социальных вопросов. По окончании курса он поступил директором одного технического училища, на 2 000 рублей в год. Ученики его любили, и он имел больше, чем ему было нужно. Но, как человек с чуткой совестью, он считал, что незаслуженно пользуется своим благополучием. В то время он сблизился с А. К. Маликовым, бывшим революционером-народником, побывавшим в тюрьме и ссылке, а затем ставшим проповедником учения «богочеловечества». Это религиозное, несколько мистическое учение основывалось на христианстве и приносило христианскую этику в социальные и международные отношения людей. Для этого его поборники должны были прежде всего сами стать морально выше окружающей их среды и на примере показать возможность осуществления своих идеалов. Вокруг Маликова образовался кружок сочувствующих его учению, в том числе В. И. Алексеев и отчасти Н. Чайковский. Решено было образовать земледельческую коммуну, в которой имущество было бы общее, все были бы равны и вели бы строго нравственную жизнь. А так как в России правительство не потерпело бы такой коммуны, то решено было устроить ее в Америке. На деньги одной курсистки была куплена ферма в Канзасе, и на пей поселилось несколько русских интеллигентов, в том числе: А. К. Маликов, Н. Чайковский, В. И. Алексеев, его брат и другие, всего с семьями человек пятнадцать. Позднее к ним присоединился В. Фрей, позитивист и вегетарианец.

Не знаю, там ли в Канзасе или позднее Василий Иванович сошелся с бывшей женой Маликова — Елизаветой Александровной. Крестьянка по происхождению, она была развита Маликовым, получила некоторое образование и имела диплом повивальной бабки.

Коммуна просуществовала около двух лет. Первое время колонисты жили хорошо и дружно, но на второй год пошли раздоры, особенно между Маликовым и Чайковским, урожай был плох, коммуна обеднела и распалась.

Вернувшись из Канзаса, Василий Иванович сильно бедствовал, пробавляясь кое-чем. Несмотря на это, он сперва отказался поступить к нам учителем, не желая жить в графском доме, где, как он говорил, обед подавали лакеи в белых перчатках. Однако мой отец уговорил его, и с осени он стал преподавать нам математику, русский язык, историю и географию. Сначала он вместе со своей гражданской женой Елизаветой Алек-

сапдровой Малпковой, ее дочерью Лизой Малпковой и своим сыном Колей, еще грудным младенцем, поселился не в доме, а на деревне, и лишь в следующем году перешел во флигель яснополянкой усадьбы. Он был немного выше среднего роста, худ и узок в плечах, белокур и не отличался мускульной силой. Под подбородком у него моталась редкая русая борода, на щеках волосы не росли, его честные голубые глаза смотрели ласково, говорил он плавно и спокойно и почти никогда не сердился.

Его убеждения, основанные отчасти на христианской этике, отчасти на социальных идеях европейских мыслителей, не были выработаны им вполне самостоятельно и сложились в большой мере под влиянием Маликова и Чайковского. Свое же у него было — его чистое сердце и стремление к добру и истине. Жить своим трудом, преимущественно ручным, стараться отдавать народу больше, чем мы от него получаем, следовать христианскому правилу: не делать другому, чего себе не желаешь, выработать с помощью науки правильные взгляды на социальные вопросы, раскрывать людям глаза на несправедливость современного социального строя — вот в общих чертах в чем состояло его мировоззрение. Он находил, что формы жизни могут уллучшиться, только если люди сами станут нравственнее. К церковному учению он относился отрицательно, но не враждебно.

До Василия Ивановича отношения наших педагогов к нам, их ученикам и воспитанникам, были более или менее служебные (за исключением Ханны Тардвей). Они занимались с нами по обязанности и тяготились нами. Василий Иванович был первый наш учитель, который искренно хотел не только передать нам известные знания, но и дать нам некоторое нравственное воспитание. Я к нему привязался всей душой, почти влюбился в него и подпал под его влияние. И до сего времени я глубоко признателен ему за те добрые семена, которые он посеял в моей душе. Не его вина, если они плохо вззошли.

Вначале Василий Иванович, несомненно, имел некоторое влияние на мировоззрение моего отца, в то время еще только вырабатывавшееся, но затем, наоборот, Василий Иванович подпал под влияние моего отца, так что его можно бы назвать первым толстовцем.

Первое время, когда Василий Иванович жил на деревне, отец был против того, чтобы моя мать была знакома с Елизаветой Александровной, так как Елизавета Александровна не была обвенчана с Василием Ивановичем. Теперь странно вспо-

мянать о подобных предрассудках. Разумеется, и отец впоследствии удивился бы, если бы вспомнил об этом.

Моя мать тем не менее познакомилась с Елизаветой Александровной и даже в следующем году, когда у нее родился сын Андрей, а у Елизаветы Александровны также был грудной сын Голя, то случилось, что моя мать прикармливала грудью ребенка Елизаветы Александровны, а Елизавета Александровна — Андрюшу.

Дочь Елизаветы Александровны от первого мужа — Лиза Маликова, девочка лет десяти, была дружна с нами — своими сверстниками — и иногда училась вместе с нами.

Кроме Василия Ивановича, учившего нас математике, русскому, истории и географии, отец пригласил еще для прохождения со мною и Ильёю гимназического курса по древним языкам двух тульских гимназистов старших классов, Е. Курдюмова и Бурцева. Они приезжали из Тулы в субботу, вечером этого дня давали нам уроки — один мне, другой Ильё, утром в воскресенье опять давали уроки, задавали нам работу на неделю и вечером в воскресенье уезжали. Впоследствии я встречался с Курдюмовым в Москве, где он был известным и уважаемым врачом. А Бурцев, мне говорили, стал пить запоем и рано умер.

1878 год

В январе произошла крупная перемена в жизни моей и моих братьев: м. Реу был уволен. Отец поехал в Москву искать нам другого гувернера, и вот 25 января к нам приехал француз м. Nief. Пока он у нас жил, я совсем не знал, что он совсем не Nief, а Jules Montels, из старой французской фамилии, чуть ли не виконт. Он был коммунарком и скрывался в России под псевдонимом. Может быть, он сказал об этом моему отцу при поступлении, но я узнал об этом только тогда, когда он от нас уехал. Впоследствии я вспомнил один разговор с ним о франко-прусской войне. Как-то я его поддразнил: «Хороши французы! Устроили у себя междоусобную войну, в то время, когда под Парижем стояли немцы!» Я подразумевал Коммуну.

Он рассердился и сказал: «Je vous défends de me parler de ce moment de l'histoire française¹. И я замолчал. Он не внушал нам никаких революционных или коммунистических

¹ «Я запрещаю вам говорить об этом времени французской истории» (франц.).

идей, но любил порицать иезуитов и рекомендовал мне читать книгу Прудона «De la justice dans la Révolution et dans l'Eglise»¹. Эту книгу отец привез еще в 1860 году из своего заграничного путешествия.

Перемена была несомненно к лучшему.

М. Nief был не особенно умен и не особенно образован. Тургенев, познакомившийся с ним летом этого года, говорил, что он принадлежал к типу рядовых коммунаров. Nief был порядочный, веселый, добродушный, хотя и вспыльчивый человек.

Наше учение шло по расписанию, и мы занимались часов семь или восемь в день. В то время у нас было большое число педагогов — больше семи нянек.

В эту зиму отец продолжал заниматься со мною по греческому языку. Занятия состояли в чтении «Одиссеи». Он не требовал никаких грамматических разборов, а заставлял лишь переводить устно с греческого на русский, подчеркивая или выписывая знакомые мне слова. Мы с ним прошли несколько отрывков из «Одиссеи». Помню, какое художественное наслаждение доставило мне описание бури и пребывания Улисса у феаков.

Кроме уроков, я довольно много читал, отчасти то, что рекомендовал мне отец, отчасти и другие книги.

Зимой 1877/78 года отец стал уже отходить от православия и изучать Евангелие. В то же время он задумывал роман из жизни декабристов, из царствования Николая I и из быта переселенцев.

В начале марта он ездил в Москву и в Петербург. В Петербурге он совершил купчую крепость на имение Бистрома, смежное с ранее купленным самарским имением. У Бистрома он купил 4 500 десятин по 12 рублей за десятину, так что вместе с прежними 1 800 десятинами образовалось очень большое имение. Кроме этого дела, он в Петербурге собирал материал для своих будущих писаний: расспрашивал фрейлину гр. А. А. Толстую про интимную жизнь Николая I, осматривал казематы Петропавловской крепости, где были заключены декабристы, знакомился с декабристами и людьми, их знавшими, и т. д. Он говорил про свое намерение писать роман о декабристах, что так же, как он писал «Войну и мир» спустя пятьдесят лет после двенадцатого года, так теперь он будет писать о декабристах спустя приблизительно пятьдесят лет после 1825 года. Этот срок он считал достаточным для того, чтобы

¹ «О справедливости в революции и церкви» (франц.).

относиться к тому времени, как к истории, и не слишком отдаленным сроком, чтобы утратилась свежесть воспоминаний о нем. В Москве он виделся с декабристами Беляевым и Свиступовым. Он передавал следующий рассказ последнего.

Когда Свиступов, закованный в кандалы, ехал в Сибирь на фельдъегерской тройке вместе с Завалишиным, тоже закованным, Завалишин ему сказал, показав на кандалы: «Я должен был быть флигель-адъютантом, а вместо этого — вот!». «Тогда я понял, что он не паш,— мы этим (то есть кандалами) гордились». Отец был особенно высокого мнения о непреклонном характере декабриста Лунина и рассказывал, как Лунин на кааторге, прикованный к тачке, любил смешить зрителя — толстого майора из немцев.

Не помню, в Москве или в Петербурге отец случайно очень близко столкнулся с Александром II. Встреча произошла на лестнице, когда отец выходил из фотографии Левицкого или Дьяговченко. Он посторонился, чтобы пропустить императора, и встретился с ним глазами. Его поразили испуганные, стальные глаза Александра.

— Как у зверя, которого травят,— потом рассказывал он.— Не подумал ли Александр, что я, этот незнакомый ему человек, хочу убить его?

28 марта моя мать писала сестре:

«Таня, поездка моя в Самару, пойми это, или ты уж и так поняла,— это жертва, исполнение долга. Здоровье Левочки не очень дурно, но он весь очень ослабел: и желудок, и силы, и расположение духа, и простуде стал подвержен. А, главное, не может писать и работать. Это ему отравляет жизнь. Он очень желает ехать на кумыс и, кроме того, мы прикупили там еще 4.000 десятин земли и новый хутор, на котором и будем жить. Там есть и вода, и купанье, и дом лучше, и место лучше. И вот эта покупка его занимает и устройство тамошнего хозяйства. А здесь его ничто не интересует. Он такой стал вялый и безучастный ко всему, и это меня убивает. Я и решила ехать на кумыс».

В этом году отец предполагал опять поехать всей семьей в самарское имение с целью попить кумыса и распорядиться вновь купленной землей. Моей матери этого очень не хотелось. Ей трудно и хлопотно было всей семьей, с грудным Андрюшей, совершить это утомительное путешествие и жить на хуторе полуробинзоновской жизнью. Кроме того, она должна была лишиться общества своей сестры и ее семьи, предполагавших на лето приехать в Ясную Поляну. «Я должна скры-

вать, что это для меня хуже тюрьмы», — писала она своей сестре про поездку в Самару. Тем не менее она сочла своим долгом на два месяца переселиться в самарскую степь.

В эту весну я держал (и выдержал) письменные экзамены из пятого в шестой класс, и моя мать решила ехать после последнего моего экзамена — 10 июля. Отец вместе с м. Nief, Ильей илевой уехал раньше; между прочим, в эту поездку он потерял свой бумажник с деньгами. Позднее приехал пожить с нами на хуторе Н. Н. Страхов.

На этот раз мы поселились не на Сухом Тананыке, а на хуторе во вновь купленном имении, на истоках реки Мочи. Здесь Моча еще не речка; летом ее русло сухо, и только в трех или четырех местах вода стоит в небольших озерках. Хутор стоял на берегу грязного пруда, обсаженного ветлами. Дом был поместительнее, чем тананыкский, но характер местности и отдаленность от жилых мест были те же. Опять был приглашен Мухамедшах Романыч, с тех пор женившийся на второй жене, и отец стал пить кумыс, всегда приносивший ему большую пользу.

Теперь управляющим имением был Алексей Алексеевич Бибилов, приятель В. И. Алексеева и А. К. Маликова и так же, как и они, «нигилист».

По происхождению Бибилов был сын довольно богатого помещика, «хорошей фамилии», как говорилось в то время, окончил курс естественного факультета в Харьковском университете и был либеральным мировым посредником первого призыва в Жиздринском уезде, Калужской губернии. После покушения Каракозова в 1866 году он по своим знакомствам был арестован, посажен в крепость, где провел шесть месяцев, и, несмотря на то, что был оправдан по суду, административно сослан в Вологодскую губернию. После восьмилетнего пребывания в ссылке ему разрешено было жить безвыездно в своем небольшом имении Чернского уезда, Тульской губернии, «Малый Конь». Там он отдал почти всю свою землю крестьянам, женился на крестьянке, но вскоре разошелся с ней и женился гражданским браком на другой, тоже крестьянке, от которой имел нескольких детей. Когда я его знал, он имел право жить, где хотел, но был еще под надзором полиции.

Бибилов был среднего роста, коренаст, физически силен и красив. Его добрые голубые глаза были немножко выпучены, походка несколько тороплива, добрая улыбка немножко пропична. В поддевке и русской рубашке, в высоких мягких сапогах, с русой окладистой бородой, он по внешности старался не

отличаться от крестьянина, но едва ли ему это удавалось. Говорят, «попа и в рогоже узнаешь», и в нем легко было узнать «не простого» человека. Он был сдержан и мягок в обращении, никогда громко не говорил и принципиально всем говорил «вы», чем иногда приводил в недоумение крестьян. Когда я с ним познакомился, он не был революционером и отрицал возможность прогресса путем изменения форм жизни помимо общего подъема нравственности людей. Он говорил: «Будьте сами лучше, тогда общественные формы естественно улучшатся». В этом он сходиллся с Василем Ивановичем и моим отцом и расходился с революционно настроенной молодежью. Он был убежденным материалистом и ставил себе целью нравственно жить в этой жизни, не ожидая награды в будущей. В здоровом организме, говорил он, все потребности должны быть нормально, гармонично удовлетворены. Жить хорошо, значит жить нормально, гармонично. Он сочувствовал идее земледельческой общины интеллигентных людей, но считал, что при настоящем уровне их нравственности едва ли она может удалась, так как самим надо быть лучше.

Земля на другом берегу речки Мочи, против нашего хутора, принадлежала казне и числилась не в Бузулукском, а в Николаевском (позднее Пугачевском) уезде. Бибилов взял в аренду часть этой земли и выстроил на ней для себя и своей семьи хуторок, так что, хотя он и управлял нашим имением, он был независим. Дела имения он вел щепетильно-добросовестно, нередко в ущерб своим интересам. Но так как принципиально он не обращался в суд, и крестьяне и рабочие этим пользовались, то доходность имения от этого страдала.

В этом году в имении было много лошадей: более ста пятидесяти. Во исполнение своего плана конского завода отец купил несколько прекрасных породистых жеребцов: английского скакового, растопчинского верхового, громадного седластого битюга, бухарского аргамака, текинца и несколько рысистых. Был и один мохнатый башкирский жеребец. Число степных кобыл он также пополнил. Каждому жеребцу давалось несколько кобыл; весной и в первой половине лета отдельные табунки, состоявшие из одного жеребца и данных этому жеребцу кобыл, вольно паслись в степи. Башкиры прекрасно пасли своих кобыл; понемногу привыкли к новому образу жизни также и жеребцы культурных пород. Белый бухарский аргамак, копь вершков трех¹, красавец, с прелестной арабской головой, пря-

¹ То есть 2 аршина 3 вершка ростом (прим. С. Л. Толстого).

мой спиной, богатыми почками и точеными ногами, особенно ревниво охранял свой гарем. Весной, если кто-нибудь верхом близко подъезжал к его табунку, он кидался на него со всех ног, зубами стаскивал верхового, а лошадь, если она была мужского пола, начинал жестоко грызть и бить копытами, а если это была кобыла, загонял в свой табун; пешего же человека он подпускал к себе и повивовался ему. А в другое время года это был доброезжий, смиренный конь; я любил ездить на нем за его спорую и мягкую рысь.

К осени жеребцов ставили на стойла, а кобыл соединяли в большие табуны. Некоторые лошади были почти не объезжены. Вот, например, как при мне обучили одну певыезженную лошадь. Табун загнали в огороженное место, накинули на одну из диких лошадей укрюк (длинную палку с петлей) и затянули петлю. Когда эта лошадь остановилась, чуть не задохнувшись, ей стали кричать губу, то есть обмотали ее губу ремешком и закрутили ремешок палочкой. Пока ее внимание было сосредоточено на невыносимой боли в губе, она стояла неподвижно. Ее взнуздали, оседлали и на длинном ремне привязали к другой, уже объезженной и оседланной лошади. Затем на ту и другую лошадь село по башкирцу, и губу дикой лошади отпустили. Она не сразу пришла в себя и секунду-другую постояла в недоумении, после чего вдруг стала пенсто-во прыгать и бить задом и передом. Главная опасность для выезжающего дикую лошадь — это как бы она не упала и не пачала валяться. Для предотвращения этой опасности сидящий на ней башкирец стал лупить ее изо всех сил пагайкой, а башкирец, сидевший на объезженной лошади, стал тянуть ее к себе. После нескольких критических минут дикая лошадь понесла, и оба башкирца ускакали в степь и скрылись из виду. Через полчаса они спокойно вернулись. Лошади шли мелкой рысью и были все в мыле, а башкирцы улыбались, скаля свои белые зубы: дикая лошадь покорила человека.

Одно из больших моих удовольствий состояло в том, чтобы ездить верхом по степи на полуобъезженной лошади. Случалось, лошадь меня носила, но это не было опасно: в степи не на что наткнуться, нет ни заборов, ни капов, ни дерев. Бывало, скачешь себе, держась за гривку, только блуза на ветру падуется.

К 29 июня мы большой компанией поехали на ярмарку в Бузулук на линейке и в плетеной тележке. Поехали мои родители, мы — трое старших, Н. Н. Страхов и м. Nief. До Бузулука, 80 верст, мы ехали целый день. Когда уже стемнело и

мы приближались к Бузулуку, ось лпнейки, пе подмазапная ямщником, загорелась, и мы останоились среди поля. Что делать? Ямщнки пробовали охладить ось естественной поливкой, употребляли тот способ, которым Гулливер тушил пожар у лилипутов, как заметил м. Nief. Но этого хватило ненадолго, и пришлось заменить колесо рычагом, который немилосердно скреб по земле, и мы поехали черепапным шагом. Неожиданно невозмутимый ученый муж Н. Н. Страхон ужасно рассердился:

— Чертовы куклы!— говорил он,— едете в дальний путь и не подмазываете оси! Чертовы куклы!

И выхоленная лопатообразная борода Николая Николаевича тряслась от гнева, а мы не могли удержаться от смеха.

В начале августа мы всей семьей вернулись в Ясную Поляну, где уже жили Кузминские.

8 августа, в первый раз после своей ссоры с мопм отцом, приехал в Ясную Поляну И. С. Тургенев. 2 сентября он приезжал вторично.

В сентябре в Ясной Поляне прожил две недели сказитель былин, крестьянин Архангельской губернии Щеголёнков; мы звали его по отчеству — Петровичем. Это был небольшого роста добродушный старик с кривыми ногами, сапожник по ремеслу. Он обедал в «людской» вместе с прислугой, а по вечерам пил чай с нами. Отец записывал его рассказы, особенно легенды. «Чем люди живы?», «Свечка», «Три старца» и другие народные рассказы заимствованы у Петровича.

В то время я был довольно тяжело болен плевритом. Когда я выздоравливал, Петрович подолгу сиживал у моей постели и рассказывал мне сказки и легенды.

По поводу своей болезни вспоминаю один случай, после которого я временно возненавидел м. Nief'a. Для того, чтобы выйти из компаты под сводами, где помещались я и братья Илья и Лев, приходилось проходить через комнату м. Nief'a. Однажды утром я почувствовал сильную боль в боку — это было начало плеврита,— вышел через его комнату и разбудил его. Он всегда сердился, когда его рано будили, а в это утро он так рассердился, что ударил меня. Правда, он не знал, что я был болен. Все-таки я не заслужил такого оскорбления.

Я об этом ничего не сказал родителям, но долго помнил обиду.

Отец в эту осень много ездил на охоту; по болезни я мало принимал в пей участия. Осень была такая теплая, что 4 октября (ст. ст.), в день рождения сестры Тани, мы устроили

пикник в лесу, сидели там без пальто, жарили шашлык и делали яичницу.

Наши сношения с тульскими знакомыми — Дельвигами, Кислицкими и Ушаковыми — участились. Кажется, тогда же мы познакомились с Н. В. Давыдовым, бывшим в то время либеральным тульским прокурором, и с тульским вице-губернатором Леонидом Дмитриевичем Урусовым, которые впоследствии были близкими приятелями нашей семьи. Урусова можно назвать одним из первых толстовцев, хотя он был мало похож на последующих, опростившихся толстовцев. Он сходился с отцом преимущественно в вопросах веры и философии. Он был всегда безукоризненно одет, щепетильно учтив и прекрасно говорил по-французски. Он жил скромно, был добр со всеми и старался в пределах возможного смягчать свои административные функции, но лично я был к нему равнодушен: он казался мне каким-то искусственным человеком. Его безморщинное, но немолодое лицо было мало выразительно, а его философские рассуждения туманны и не самобытны. В светском обществе он не считался умным человеком, а мой отец, хотя восставал против этого мнения, но, как мне казалось, в разговорах с ним приравнивался к его пониманию.

Урусов не был счастлив в семейной жизни и, несмотря на то, что у него было несколько детей, жил врозь с женой. Жена его — дочь богача С. И. Мальцова — жила постоянно в Париже.

1879 год

Как мы проводили святки, видно по следующей выписке из письма моей матери к ее сестре от 11 января 1879 года:

«А мы очень весело провели праздники. Первый день прошел тихо, с пудингом, репетициями и приготовлениями к спектаклю. На второй день мы к обеду уехали к Дельвиг в Тулу. После обеда опять делали репетиции, танцевали. Вдруг кто-то упомянул о цирке. Дети пристали, стали просить. Нечего делать, послали Анюту и Сержку за билетами и поехали все в цирк <...>.

Из цирка поехали ужинать и пить чай к Дельвиг, и дома очутились в первом часу ночи.

Потом Николенька с женой приехали к нам гостить и Страхов из Петербурга. На четвертый праздник все Дельвиг приехали к нам.

Утром делали репетиции, потом обедали 22 человека всех, а

вечером поехали при луишом свете кататься в четырех саях, по трое в каждые, без кучеров. Правили Антоша, Серезжа, Ни-коленька и Лесочка.

Было морозпо, сапп очень раскатывались, но мы перегои-лись, смеялись, чуть не падали и было очеь весело и ожив-ленно.

Приехавши ужинали и легли все спать опять очень поздно.

Под Новый год была чудесная елка, особенно удавшаяся в нынешнем году. Новый год встречали с шампанским, и все семейство, даже Маша, ужинали за столом.

2-го января Дельвиги приехали опять и была генеральная репетиция на сцене с костюмами. Наша сцена хотя не велика, но очень мпла. Занавес подымается, подмостки довольно вы-сокие и освещение снизу, как в настоящем театре. Все очень одобрили сцену. Мы ее убрали, и ты увидишь, если бог приве-дет, летом. Тогда можно будет опять сыграть что-нибудь.

Спектакль был 3 января.

Приехали: Оболенская с мужем, Урусов, Николенька с же-ной, Страхов, Фпона Александровна. Пришли: Елизавета Александровна, Дуняша, Алексей и вся дворня, и первая пьеса — «Бедовая бабушка» — очеь удалась.

Таня сыграла роль Глаши очень мило. Антоша и Росса от-лично играли и Серезжа хорошо изобразил *jeu-permetier*¹.

Но во второй пьесе, куда — увы! — допустили Илюшу, — произошли разные беспорядки: Илья пропускал все в своей роли, чем путал и конфузил Серезжу, у которого была главная роль — Разгильдяева. Пьеса называется «Виц-мундир». Хотя все-таки сыграли, но торопились и шло хуже, чем на репети-циях.

После спектакля наряжались, тапцевали кадрили, вальсы, опять детям позволили остаться ужинать и сидеть до часа.

На другой день я отвезла Дельвигов в Тулу, а потом пошли у нас все бедствия.

Лесочка, разнемогавшийся в день спектакля, совсем слег. Сделался жар, страшный кашель, слабость и боль в боках.

Он три дня был совсем в постели и теперь встал и ему гораздо лучше, но кашель все еще ужасный у него и у Илю-ши».

Я помню, как тогда я осрамился в роли Разгильдяева, по не по вине брата Ильи, а просто по застенчивости и потому, что у меня отсутствует драматический талант. Зато сестра

¹ первого любовника (*франц.*).

Таня всегда отличалась на сцене, играя на разных любительских спектаклях.

В конце января моя мать поехала дней на десять в Москву и взяла с собою меня и сестру Таню. Мы не были в Москве с раннего детства. «То-то мои дикари на все удивлялись», — писала про нас наша мать. Впервые тогда мы осматривали Кремль, дворец, Оружейную палату, соборы, картинные галереи, магазины; впервые были в опере. Мы видели «Бал-маскарад», пели итальянцы с Марини и Вольпини. Я был воспитан на классической музыке, и мне не особенно понравились итальянцы, хотя я запомнил несколько мелодий из «Бал-маскарада». В театре Таня рассмешила нас и соседей по ложе, спрашивая: «Правда ли, что Марини в натуре муж Вольпини?» — то есть не на сцене, а в действительности.

Вернувшись в Ясную Поляну, мы опять повели правильную жизнь, и я стал усиленно готовиться к экзаменам.

Однажды вечером отец прочел в газетах о покушении А. К. Соловьева на жизнь Александра II и телеграмму об этом стал переводить на французский язык для м. Nief'a. В фразе: «Но господь сохранил своего помазанника» он запнулся, забыв, как перевести слово «помазанник». — *Mais Dieu a conservé son... son...*¹ — говорил он, ища слово.

— *Son sangfroid*¹, — неожиданно сострил м. Nief, и все мы невольно рассмеялись.

Весной я выдержал трудные экзамены из шестого в седьмой класс. Отец очень интересовался этими экзаменами. 25 мая он писал Фету, что не поехал к нему, потому что его задерживали «... всё мелочи: нынче гувернеры уехали, завтра надо ехать в Тулу переговорить в гимназии об экзаменах, потом маленький нездоров. Кузминский уезжает и т. д. Главная причина все-таки экзамены мальчиков. Хоть и ничего не делаешь, а хочется следить. Идут они не совсем хорошо: Сережа по рассеянности и неумелости делает в письменных экзаменах ошибки. А поправить после уж нельзя. Но теперь экзамены уже перевалили за половину».

Насколько мне помнится, весной этого года приехала к м-г Nief и поселилась на деревне его жена или любовница с шестилетним сыном — *le petit Paul*². Это была вульгарная, совсем необразованная француженка с красными щеками и копной пчесанных волос на голове. По-видимому, м-г Nief

¹ — Но господь сохранил свое... свое... хладнокровие (франц.).

² маленьким Подем (франц.).

не был рад ее приезду. А маленький Paul, когда его в первый раз привели в яснополянский дом, подошел к террасе, где сидело довольно много народу, и неожиданно стал при всей публике отдавать дань природе.

M-me Nief недолго пробыла в Ясной и скоро возвратилась во Францию.

После ее отъезда мы сделали с братом Ильей открытие, доставившее нам большое удовольствие: почью m-г Nief уходил из своей комнаты, подходил к окну m-lle Gachet и тихо стучал, после чего они оба уходили в сад.

Вообще, несмотря на хорошее отношение моих родителей к нашим педагогам, положение их было не из легких. Они жили в чужой семье, но без семьи, были всегда на виду, не были свободны в своих занятиях и поступках и скучали в деревне. Отсюда — ссоры, сплетни, неудовольствия или романы. Мы шутя говорили, что наши учителя были или на ножах с гувернантками или влюблялись в них. И это было приблизительно верно.

Лето прошло обычным порядком: во флигеле жили Кузминские, приезжал Н. Н. Страхов и другие гости. Приезжал вторично и прожил некоторое время сказитель быллин В. П. Щеголёнков.

В конце июля отец поехал вместе со мною к своей теще, а моей бабушке, Любови Александровне Берс, в недавно купленное ею маленькое имение Новгородской губернии; там мы пробыли недели две. Это было глухое место, в десяти верстах от станции Боровенка; домик бабушки был построен на берегу озера Льяного, а за озером на много верст тянулся старый сосновый бор. Туда можно было проехать только на двуколке, сено там возили летом на дровнях, скотина паслась повсюду, и поля от нее отгораживались. Вода в озере и ручьях была темно-красная от железистых солей.

Бабушка жила со своим младшим сыном, а моим дядей, Вячеславом и своей преданной служанкой Настасьей. Вячеслав Берс был только на два года старше меня, и я с ним был в товарищеских отношениях. Мне отрадно вспомнить об этом милом дядюшке, любящем сыне, добром товарище и щепетильно-честном человеке.

Мы с ним купались, плавали на челноке и ходили на охоту за тетеревами и рябчиками. Отец, так же как и повсюду, где он бывал, интересовался местными крестьянами и разговаривал с ними. Он нашел, что новгородские крестьяне грамотнее и вообще развитее наших тульских, но испорчены Петербургом,

куда они постоянно ездили на заработки. У них уже не было ни старших песен, ни пародной одежды.

Отец уехал раньше меня, и мне пришлось ехать домой одному. В вагоне третьего класса я познакомился с хорошенькой девушкой, одетой в простое черное платье, следовательно революционеркой, ехавшей из Цюриха. Наш разговор начался с русской литературы, а затем перешел на политические и социальные темы. Сначала сдержанно, а потом откровенно она высказала, что только революционные действия могут заставить русское правительство произвести реформы — дать свободу, уравнивать сословия и освободить крестьян от податей и упразднить так называемое Третье Отделение. Меня радовало, что мой тогдашний несколько неопределенный радикализм, воспринятый отчасти от Василия Ивановича, отчасти от моих товарищей-гимназистов, подтверждался этой девушкой, и я почти влюбился в нее. Мы расстались под Москвой, не сказав друг другу своих имен, и я до сих пор не знаю, кто она была. По всем вероятностям, она впоследствии побывала и в тюрьме и в ссылке.

Осенью опять учеба и в свободное время — охота. По субботам и воскресеньям стали приезжать из Тулы и давать нам уроки другие два гимназиста — Д. В. Ульяшинский, впоследствии известный библиофил, и Н. Е. Богоявленский. Богоявленский был в то время революционно настроен и имел на меня некоторое влияние. Впоследствии он был самоотверженным земским врачом в Данковском уезде, а по своим убеждениям — верующим православным.

С наступлением зимы отец стал особенно усердно заниматься изучением Евангелия и критикой богословия. Работу над «Декабристами» он оставил. Одной из причин, как мне кажется, были покушения на царя. Ведь декабристы также имели в виду убийства, что не было согласно с формулой «не противься злу».

Вообще я думаю, что он в то время не выяснил себе своего отношения к восстанию 14 декабря.

7 ноября моя мать писала сестре: «Левочка все работает, как он выражается, но увы! он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и все это, чтоб показать, как церковь несообразна с учением Евангелия. Едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться. Но делать нечего: я одно желаю, чтоб уж он поскорее это кончил и чтоб прошло это, как болезнь. Им владеть или предписывать ему умственную работу, такую или

другую, никто в мире не может, даже он сам в этом не властен».

Отец мало рассказывал нам, детям, про свою работу, но много говорил с В. И. Алексеевым и Л. Д. Урусовым. Я, по молодости лет, мало ею интересовался, но был доволен, что отец слетствовал от православия, в которое я уже сознательно не верил.

2 октября м. Nief, получив какое-то таинственное письмо, вдруг покинул нас и уехал в Москву. Коммунары были амнистированы, и он уехал во Францию. Впоследствии он был редактором газеты в Тунисе, откуда прислал моему отцу письмо и свой портрет с любезной надписью: «De la part d'un français reconnaissant»¹. К стыду своему, я ему не писал, и отношения наши с его отъездом прекратились.

20 декабря родился у матери здоровый мальчик — брат Миша.

1880 год

На святках — крестины Миши. Великолепная елка. Приезжали Н. Н. Страхов, дядя Сергей Николаевич и тульские гости. После праздников — опять учење, коньки и правильная жизнь.

В конце января отец ездил в Москву и Петербург. Его более чем прежде поразила роскошь петербургской жизни.

В феврале М. Т. Лорис-Меликов был назначен начальником Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия, с небывалыми полномочиями. Отец удивлялся этому назначению:

— Почему государь передает другому лицу свою власть? — говорил он, — и кому же — военному генералу, несведущему в гражданских делах, даже нерусскому. Неужели нет русских достойных людей?

Моя мать все больше тяготилась жизнью в деревне. 30 января она писала сестре:

«Левочка ездил в Москву и Петербург. В Москве он два дня прохворал, а в Петербурге он говорит, что ему было очень приятно.

Он останавливался у мамá, которая была не совсем здорова. Выписали ему Оленьку, Петину жену, которая ему очень понравилась. Потом он обедал у м-те Шостак один день, у мама другой, а у тетеньки Веры Александровны третий. Там

¹ От благодарного француза (франц.).

он горячо спорил об юриспруденции с молодежью — Юрнем и Борисом, которые ему оба очень понравились. Они же его провожали на поезд. Юрий — в солдатском преображенском мундире. Но жаль, что он не догадался пригласить их летом. Я писала мама, что Левочка забыл сказать, но очень желает, чтоб они не проезжали мимо нас, не заехавши в Ясную Поляну.

Там Левочка видел Соню Горсткину и очень просил ее заехать ко мне. Она обещалась, но не знаю, исполнит ли.

Дедушка тоже обедал там, и обед был великолепный и веселый.

Левочка заплатил Бистрому последний долг за самарскую землю и продал Салаеву право на свое издание за 25 тысяч чистыми деньгами, сейчас же уплаченными. Это — результат его поездки, зачем он и ездил, и я результатом довольна.

Завтра мне шесть недель, но у меня все еще не ладно идет кормление и сегодня зубы болят.

А как мне тяжела иногда моя затворническая жизнь! Ты подумай, Таня: я с сентября из дома ни разу не выходила. Та же тюрьма (хотя и довольно светлая) и морально и материально. Но все-таки иногда такое чувство, что точно меня кто-то запирает, держит, и мне хочется разломать, растолкать все кругом и вырваться куда бы то ни было, но вырваться поскорей, поскорей!»

В другом письме 21 марта она пишет уже в другом настроении:

«А ты хотя, Танечка, и сердилась на меня, что я слишком соблюдаю Левочкино спокойствие, но я считаю, что мужнины постоянно напрягают ум и следовательно нервы, потому голову и нервы их надо беречь прежде всего, и за эту тишину, за соблюдение их нервов они после работы приносят в семью хорошее расположение духа, а если мы их раздражаем, то сами страдаем от этого».

А несколько месяцев спустя моя мать писала отцу 28 августа 1880 года: «Ты, верно, думаешь обо мне, что я упорна и упряма; а я чувствую, что многое твое хорошее потихоньку в меня переходит, и мне от этого всего легче жить на свете».

В начале марта в Ясную Поляну два раза приезжал Всеволод Гаршин, уже не совсем нормальный. Во второй раз, в самую распутицу, он приехал из Тулы верхом, без седла, на лошади, которую он самовольно выпряг у какого-то извозчика,

и объявил, что едет прямо в Харьков. Уезжая, он, сидя на лошади, странно махал руками. Его после этого чуть не обвинили в копокрадстве и, только когда было удостоверено, что он душевнобольной, отравили в больницу.

Весной в Ясную Поляну приехал Владимир Соловьев, тогда еще черноволосый, красивый молодой человек. Я присутствовал при продолжительном философском споре его с моим отцом. Отец говорил очень спокойно, и ни он, ни Соловьев не перебивали друг друга. Я мало что понимал, но мне казалось, что в то время Соловьев был во многом согласен с моим отцом, но старался отстоять свою самостоятельность. Когда Соловьев уехал, отец оценил его блестящую память, эрудицию и способности, но как-то неопределенно говорил: «Что еще из него выйдет? Таким молодым еще рано философствовать». Соловьев тогда же привез или прислал отцу свои книги: «Кризис западной философии» и «Критику отвлеченных начал» с любезными надписями. Он в то время еще не относился так враждебно к взглядам Льва Толстого, как потом, в «Трех разговорах».

В мае я выдержал письменные экзамены из седьмого в восьмой класс. В начале мая приехал И. С. Тургенев. Летом приезжали Кузминские, Н. Н. Страхов и другие гости. В этом году, так же как и в предыдущие и последующие годы, мы по вечерам нередко «делали музыку», как мы выражались. Этот галлицизм произошел от буквального перевода французского выражения «faire de la musique». Первым лицом в этом деле была тетя Таня Кузминская. У нее было довольно большое, немного вибрирующее сопрано с красивым тембром. Она была музыкальна и пела с увлечением, которое передавалось слушателям. Даже Афанасий Афанасьевич Фет написал стихотворение «Спяла почь» под впечатлением ее пения. Отец также очень ценил ее пение; а мы — младшее поколение — паходили, что лучше нее никто не поет. Она пела романсы Варламова, Пасхалова, Донаурова, Даргомыжского, Глинки, кое-что из Шумана и несколько французских и итальянских романсов (например, «Si vous n'avez rien à me dire»¹, вальс Il-baccio). Аккомпанировала отец, я или она сама. Затем мы все пели хором цыганские песни: «В час роковой», «Месяц плывет», «Береза», «Мплая», «Как на горке на крутой» и др. Пели также «Ключ», старинный романс, упоминаемый в «Войне и мире», и общеизвестные русские песни («Сень», «Как под яблонькой одной», «Вдоль да по речке» и т. п.). Иногда мои

¹ «Если вам нечего мне сказать» (франц.).

сестры Таня и Маша плясали «русскую». Таня умела хорошо подражать деревенским бабам, а Маша отличалась грациозностью.

1879—1880 годы я считаю счастливой порой моей жизни. Я был здоров, силен, удовлетворительно учился, и учение мне давалось без особого труда, занимался всяким спортом и охотой, верховой ездой, рыбной ловлей, плаванием и т. п., увлекался музыкой и мечтал о Москве, об уроках музыки у хорошего учителя, о концертах, об университете, товарищах и сходках, о такой деятельности, которая была бы полезна всему человечеству и пр. Конечно, я был влюблен, робко влюблен в девушку, которая была лет на пять старше меня, в Ольгу Владимировну Менгден. Она была небольшого роста, непьющая похожа на фарфоровую статуэтку, но у нее были глубокие и правдивые синие глаза и грудной голос, волновавший меня.

Она прекрасно ездил верхом, и у нее был несомненный драматический талант. Она не раз вместе с своей матерью и сестрой — Софьей Владимировной Трахимовской — приезжала в Ясную Поляну, где участвовала в наших спектаклях. В пьесе «Искорка» она трогала меня до слез.

Я также бывал в имени Менгденов — Маклеце, а в это лето 1880 года ездил в Никитское — имение Раевских, где Ольга Владимировна играла в домашнем спектакле. Но, хотя я довольно часто встречал ее, я был так застенчив, что не посмел ей намекнуть о своих чувствах, и она осталась лишь светлым воспоминанием моей юности.

Заговорив о сестрах Менгден, я вспоминаю один анекдот. Однажды в Ясную Поляну приехал муж Софьи Владимировны — Трахимовский, видный судебный деятель, впоследствии сенатор.

Он был лишен одного глаза, и над этим отсутствующим глазом носил зеленый зонтик.

Трахимовский принадлежал к числу тяжелых яснополянских посетителей, которых надо было занимать. Отец всегда умел находить темы для разговоров, но на этот раз чуть не попал впросак. По какому-то поводу разговор зашел о том, в какие неловкие положения мы иногда попадаем.

Отец вспомнил следующий, бывший с ним случай:

В одной школе он задал детям задачу: «Сколько у всех нас глаз?» Один бойкий ученик ответил: «Тридцать три!»

— Да разве кто-нибудь из нас кривой? — спросил отец и

ужаснулся: он забыл, что учитель этой школы потерял один глаз.

Вот этот-то случай он задумал рассказать кривому Трахимовскому. Он начал:

— Я раз в школе задал детям задачу...— но спохватился и замолчал.

— Какую задачу?— спросил Трахимовский.

Не помню уже, что отец на это ответил, но о случае в школе промолчал.

Так как в следующем году я должен был держать выпускной экзамен для поступления в университет, так называемый экзамен зрелости, то для зачатый со мною по древним языкам и для обучения моих младших братьев отец пригласил только что окончившего курс университета филолога Ивана Михайловича Ивакина. И вот с 13 сентября в той комнате, в которой жил м. Nief, поселился белокурый, тщедушный, бедно одетый, застенчивый юноша, с тонким голосом и тонкими пальцами. Он впоследствии написал свои воспоминания о пребывании в Ясной Поляне, которые еще не напечатаны. В этих записках он верно характеризует самого себя. Его товарищ Карелин сообщил ему, что Л. Н. Толстому нужен учитель и что Карелин рекомендовал его.

— Что же вы говорили?

— Я говорил, что у меня на примете есть человек хороший и для него годный, но в нем один недостаток — равнодушие.

«Равнодушие! Карелин наверное разумел равнодушие к материальному обеспечению», восклицает Ивакин в своих записках. «Лучшей рекомендации для меня не могло и быть. Сколько молодого народу было в то время неравнодушно: кто устраивал заговоры, кто взрывал поезда и стрелял в жандармов, кто просто хотел устроиться получше да попрочнее».

Ивакин был неглуп, начитан, но в жизни был зрителем, а не действующим лицом. Он был чужд революционного образа мыслей молодежи того времени, но и не искал материального благополучия. Он был равнодушен и к тому, и к другому.

Впоследствии он был учителем Третьей гимназии в Москве, написал ученую монографию о Владимире Мономахе, уверовал в православную церковь и лет сорока умер. Он был неглуп, хорошо образован, много читал, но в нем было нечто, что я назвал бы московским провинциализмом.

Происходя из старой московской мелкокупеческой среды, он с пристрастием любил Москву, ее церкви, Кремль, старину, дух Замоскворечья; не бывал и не хотел бывать за границей.

Вследствие своего «равнодушия» он был очень печистоплотен и так редко мылся, что его почти женские, длинные, тонкие пальцы порастали коростой.

Он любил и знал древние языки и был хорошим учителем. Мои отношения с ним были скорее товарищеские, чем отношения ученика к учителю. Отец к нему отнесся дружелюбно и часто с ним советовался по интерпретации евангельского текста.

Во время осени, зимы и весны 1880/81 года отец более чем когда-либо работал, особенно над Евангелием. Помню, как он выходил из своего кабинета после занятий — усталый, но радостный, найдя новое толкование того или другого места Евангелия.

26 октября в Туле давал концерт Николай Рубинштейн. Поехали мои родители, я, Таня, Илья, Ивакин и дядя Сергей Николаевич. На концерте отец сидел в первом ряду, закрыл глаза; он так внимательно слушал, что одна дама, не знавшая его, спросила: «Кто этот господин, который так хорошо слушает музыку?» А моя мать писала сестре о концерте: «Я видела, как его лицо дергалось и глаза моргали, совсем нервы расстроились».

На меня игра Н. Рубинштейна произвела очень большое впечатление. Мне кажется, что ни до, ни после этого концерта я не слышал такой четкости, законченной и ясной фразировки и такого логически определенного ритма. Он играл: D-мольную сонату Бетховена и, насколько мне помнится, As-дурный полонез, прелюдии, вальс A-дур и F-мольный ноктюрн Шопена, симфонические этюды Шумана и вальс из «Фауста» в переложении Листа.

28 ноября моя мать писала своей сестре: «На душе у меня, Таня, разлад ужасный. Столько передумала и перечувствовала за эту осень, и результат очень грустный. Писать ничего не могу: как рассказать самое задушевное в письме? Все у нас в доме по-старому, все на вид совсем благополучно, но с Левочкой холодно и далеко. В доме или ничего меня не интересует, или вызывает тоску, страдание, жалость, крайнюю нежность к детям и желание смерти <...>».

Я заикнулась было позвать гостей к Рождеству, но Левочка выразил такое неудовольствие, что ему помешают заниматься, что я сочла себя не вправе мешать ему.

Хотела я было ездить в Тулу кое к кому в винт играть, но и это мое намерение было встречено очень иронично.

Сам Левочка вдался в свою работу, в посещение острогов,

судов мировых, судов волостных, рекрутских приемов, в крайнее соболезнование всему народу и всем угнетенным. Это так все несомненно хорошо, велико и высоко, что только больше чувствуешь свое ничтожество и свою гадость. Но — увы! — жизнь свои права заявляет, тянет в другую сторону, и разлад только болезненнее и сильнее».

8 декабря: «Милая Танечка, последнее письмо мое к тебе тебя, верно, смутило. Что, мол, Соня с ума сошла? Но я не умею притворяться и все болтаю под впечатлением минуты. Так и тогда, но это был как бы кризис наших с Левочкой отношений. С тех пор лед как будто растаял. Он стал со мною гораздо ласковее и натуральнее и, к счастью моему, я сильно заболела <...>. Левочка испугался, что я умру, и возвратил мне всю свою любовь. А холоден он стал, ты верно догадываешься, так же, как и я, почему, хотя он ничего не высказывал».

Моя мать подразумевала, что причиной холодности моего отца была его неосновательная ревность к Л. Д. Урусову.

1881 год

В начале января я в первый раз участвовал в концерте. Мой учитель Мичурин устроил в тульском дворянском собрании концерт своих учеников. Танцы из «Жизни за царя» (ныне «Ивана Сусанина») были аранжированы в восемь рук, для двух фортепьян и струнного квартета; я играл второе секундо. В одном месте краковяка я спутался и остановился. Кислинский, игравший со мной, шепнул: «Ничего, продолжай!», и я вступил опять, пропустив несколько тактов, так что, по-видимому, моя ошибка прошла незаметно.

2 февраля моя мать писала сестре: «Левочка совсем заработался, голова все болит, а оторваться не может. Его и всех нас ужасно поразила смерть Достоевского. Только что стал так известен и всеми любим, как умер. Левочку это навело на мысль о его собственной смерти, и он стал сосредоточеннее и молчаливее».

В феврале в Ясную Поляну приезжал дядя Александр Андреевич Берс со своей красавицей женой Патти Дмитриевной, рожденной кн. Эристовой. 3 марта моя мать писала сестре:

«Меня Саша напугал, что паходит в Левочке нравственную перемену к худшему, то есть боится за его рассудок. Ты знаешь, что когда Левочка чем-нибудь занят, то он весь отдается

своей мысли. Так и теперь. Но религиозное и философское построение всегда самое опасное. Теперь он здоров и весел, пополнил, и я ничего не вижу в нем опасного, и голова меньше стала болеть».

Из этого письма видно, как в то время таким рядовым людям, как А. Берс, было необычно и дико то, что Лев Николаевич занимается религиозными вопросами, критикует священное писание, отошел от церкви, отрицает роскошь и т. д., а не пишет романы, которые ему приносят деньги и славу.

Это казалось странным не одному только Берсу: в то время в Туле распространился слух, что Лев Николаевич сошел с ума. Слух этот, как говорили, распространял А. Н. Кислинский, председатель тульской земской управы и отец моего товарища Коли Кислинского.

В этом же письме к своей сестре от 3 марта моя мать пишет:

«У нас все время были гости: то профессор Соловьев, Страхов, Истомина, Урусов (безвыходно почти), потом приезжал директор новый гимназии с инспектором, кузины две, дядя Сережа. Теперь ждем Дьякова и Сашу твоего.

Но я теперь желаю одиночества (конечно, Саша не гость, а свой), потому что дети очень изболтались и им надо учиться, особенно мальчикам держать экзамены скоро придется. Директор, кажется, снисходительный, покровительствуемый Сабуровым, но теперь ничто не прочно и ничего не известно. Ты верно слышала о Сабурове, как эти подлецы студенты с ним обошлись. Мне грустно, что Сережа в университет поступает: мне кажется, что теперь это — вертеп разбойников. Хотя меня многие утешают, что в университетах только болтовни много, но на действия дурные студенты не идут. Одно утешение, что у Сережи характер серьезный и музыка его всего поглощает. Авось не сойдут с толку <...>.

А я решила во всяком случае ехать в Москву, хотя и рожать там в октябре. Поеду, летом все устрою, все куплю, а в сентябре перееду, да и только. Сережу одного в Москву не пущу, и оставаться в деревне ни для кого не считаю хорошим, кроме разве четырех последних детей».

Решение моей матери переехать на зиму в Москву, когда я поступлю в университет, а сестра Таня подрастет и ее надо будет «вывозить в свет», не было ново. Уже давно отец с матерью это решили, и моя мать, сестра Таня и я, как чеховские три сестры, жили этой надеждой: «В Москву, в Москву!»

Вспоминая в настоящее время прошедшие годы до нашего

переезда в Москву, я лучше, чем тогда, понимаю значение моей матери в жизни нашей семьи и больше ценю ее заботы о нас и об отце. В то время мне казалось, что весь строй нашей жизни идет сам собой, заботы моей матери мы принимали как должное, как само собой разумеющееся. Я не замечал, что, начиная с пищи и одежды и кончая нашим учением и перепиской для отца, всем заведовала она. Отец только давал иногда, так сказать, директивы, которые моя мать иногда игнорировала. В то же время она нередко болела и постоянно ожидала ребенка, или кормила.

У нас, у старших, не было к матери того уважительного и несколько робкого отношения, какое у нас было к отцу, несмотря на то, что мы отцу говорили «ты», а к матери обращались на «вы». Не знаю, почему это так случилось. Моя мать не требовала этого обращения на «вы», и впоследствии самые младшие мои братья говорили ей «ты». Мы иногда позволяли себе делать замечания насчет нашей матери. Например, мы при ней говорили: «мама ест, как птица клюет», или: «мама шуток не понимает», или: «пока мама в Туле у Сушкиных покупает три аршина ситца, она успевает рассказать приказчику всю свою биографию».

По характеру моя мать была не менее энергична, чем отец. Движения и походка ее были быстры, она всегда была занята, не могла ничего не делать, редко была праздною. Если у нее не было очередного дела — кормления детей, учения, переписки, хозяйственных забот и т. п., она находила себе дела: шила, рисовала, возилась в цветнике, варила варенье, мариновала грибы и т. д. Она редко просто гуляла, редко от души веселилась. Всегда на душе у нее была какая-нибудь забота.

В 1881 году моя мать была еще молода, ей было 37 лет, и она была очень моложава. Прожив безвыездно 18 лет в деревне в постоянных заботах и труде, она, естественно, стремилась пожить в обществе, в городе, ей хотелось людей повидать и себя показать, а главное, она находила, что жить в Москве нужно для старших ее детей. «Сережа поступит в университет; ему нельзя жить в Москве без семьи, Тане надо выезжать, Илью надо отдать в гимназию, он плохо учится дома и избалуются».

Совсем иначе относился к жизни в Москве отец. В 1881 году перелом в его мирозерцании уже совершился.

Несмотря на перемену во взглядах, образ жизни отца в Ясной Поляне до переезда в Москву мало изменился. Он продолжал вести хозяйство в имениях, курить, есть мясо и даже охо-

тяться. Только он стал гораздо меньше и как бы поневоле заниматься хозяйством и стал больше работать над своими писаниями, не давая себе отдыха летом. В 1881 году из большого предположенного им труда, состоявшего из четырех частей: 1) Введения («Исповедь»), 2) «Критики догматического богословия», 3) «Исследования Евангелия» и 4) «Изложения веры» — первые две части уже были написаны, и он трудился над третьей.

Из того, куда была направлена его мысль, и как он был настроен, было ясно, что жизнь в Москве ему не могла улыбаться. Однако, понимая, что план жизни в Москве, когда старшие дети подрастут, был выработан давно с его одобрения, он не противился и смотрел на переезд в Москву как на печальную необходимость.

1 марта был убит Александр II, о чем мы узнали на другой день от нищего мальчика-итальянца, забредшего в Ясную Поляну. Он говорил на ломаном французском языке: «Дела плохие, никто не подает, император убит».

— Как, когда, кем убит? — допрашивали мы его. Он больше ничего не сумел рассказать, и только вечером мы из газет узнали правду.

12 марта моя мать писала сестре: «...У нас в доме некоторый разлад, который я выношу трудно... На днях была еще неприятность с Василием Ивановичем, и я грубо намекала о неуместности его вмешательства. Левочка на меня дует, а я прошу бога, чтобы скорее кончилась эта жизнь слишком тесного кружка».

Моя мать очень боялась, что под влиянием В. И. Алексеева отец напишет царю резкое письмо, за что он может быть арестован или сослан. Этим объясняется ее неприязненная вспышка по отношению к Василию Ивановичу. Вообще же она к нему хорошо относилась, но ей казалось, что религиозные искания моего отца возникли отчасти под влиянием Алексеева, а она к этим взглядам относилась с опасением, не понимая их. Тем не менее она на другой день извинилась перед ним в своей резкости.

Как известно, отец исполнил свое намерение и написал Александру III письмо с просьбой и советом не казнить царевубийц. Он письменно просил Победоносцева передать это письмо царю, но Победоносцев отказался. Письмо дошло до царя другим путем. Результат известен.

В феврале, после сильной метели, был найден на шоссе замерзший человек. Отец перевез его в избу Алексея Орехова; он,

Л. Д. Урусов, Василий Иванович, я и другие долго оттирали его, но оживить не удалось.

9 апреля моя мать писала сестре: «У нас теперь в доме довольно мирно по-видимому. Что дальше будет?».

22 апреля она писала ей же: «У нас часто бывают маленькие стычки в нынешнем году. Я даже хотела уехать из дома. Верно, это потому, что христиански жить стали. А по-моему, прежде, без христианства этого много лучше было.

Мы с Таней в пятницу едем в Тулу в концерт Кочетовой и Хохлова».

Я тоже был на этом концерте. Меня поразили голос Кочетовой, небольшой, но необыкновенно высокий и с феноменально развитой колоратурой. Ни у кого, даже у знаменитых итальянских певиц, я не слышал такой чистоты и легкости и высоты колоратурных пассажей. Казалось, то был не голос, а какой-то необыкновенный инструмент.

Наконец в мае и начале июня я выдержал экзамен зрелости, происходивший уже при новом директоре тульской гимназии Куликове. Прежний директор, Новоселов, классик и педант, был переведен в Москву, в первую гимназию. Новоселов грубо обращался с учениками. Так, например, он собственноручно подстригал ученикам крахмальные воротнички, если они были слишком высоки. Или, например, был такой случай: один ученик подсматривал из коридора в дверное окошко, что было запрещено, и не заметил, как Новоселов проходил по коридору. Новоселов ударил этого ученика так сильно по затылку, что он носом разбил стекло, и из носа у него потекла кровь.

Новый директор, Куликов, был в другом роде, он был либерал и не профессиональный педагог, а литературный человек: он написал несколько водевилей. Про него рассказывали, что, увидав дерущихся гимназистов, он сказал им: «Деритесь, деритесь, это хорошая гимнастика».

При нем экзамены прошли довольно легко, и почти все ученики восьмого класса получили аттестаты.

Я плохо знал закон божий, так как в церкви бывал редко, а наш приходский священник, учивший меня, был слишком снисходителен. Я выдержал экзамен по этому предмету лишь благодаря товарищам. Только что я взял билет и сел поодаль, чтобы готовиться к ответу, как вдруг в гимназию приехал архирей — преосвященный Никандр, и все вскочили его встречать. Я очень плохо знал то, что мне досталось отвечать, а приходилось отвечать первому перед архисреем. Я упал духом, но кто-то из моих товарищей, а может быть и сам законоучи-

тель, подсунул мне катехизис и учебник богослужения, открытые на тех местах, которые относились к моему билету, я успел эти места прочесть и отвечал удовлетворительно.

Хуже всего я написал сочинение по русскому языку, русское сочинение должно было быть написано в классе. Дана была необъятная, мне хорошо известная тема: «Главные типы Пушкина и Гоголя». Я хотел блеснуть моим знанием русской литературы и написал несколько листов, но не успел их переписать и должен был подать черновик, а в нем оказались крупные орфографические ошибки. До какого отупения можно дойти на экзаменах, видно из того, что, перечитывая свой черновик, я в нем нашел странное слово «чажолый», это я написал вместо «тяжелый». Эту ошибку я, конечно, исправил, но другие ошибки остались, и поэтому по русскому языку я получил 3. По остальным предметам мне было поставлено по 4.

По окончании экзаменов радость моя была велика: теперь решено — я еду в Москву. Там университет, товарищи, сходки, новые знакомые, театры, концерты, уроки музыки и пр., и пр.

Весной В. И. Алексеев нас покинул. С окончанием моего гимназического курса и с предполагаемым поступлением брата Ильи в московскую гимназию его дело было окончено. Теперь он решил опять заняться земледельческим трудом и для этого арендовал участок земли из нашего самарского поместья.

В июне отец ходил пешком в Оптину пустынь, взяв с собою Сергея Арбузова и учителя яснополянской школы Дмитрия Федоровича Виноградова. От общения с монахами отец еще более разочаровался в православии.

По окончании экзаменов я должен был заявить, на какой факультет я поступаю. Для меня это был трудный вопрос, вследствие отрицательного отношения к университетской науке моего отца. Он мне никакого совета не давал; думаю, что он скорее всего посоветовал бы мне математический факультет, как дающий несомненные знания. Но мне математика казалась сухой материей, хотя и давалась довольно легко. С другой стороны, под влиянием В. И. Алексеева и взглядов моего отца, я хотел выбрать такую деятельность, которая была бы несомненно полезна, и поэтому я остановился на медицинском факультете, о чем и заявил директору тульской гимназии. Но когда я представил себе работу над трупами, операции, я почувствовал, что не могу стать медиком. Куда же поступать? На математический факультет? — сухая материя, на юридический? — это не наука, и на этот факультет поступают

все светские спобы и франты, на историко-филологический? — интересна история, но древние языки успели набить оскомину. Остается естественный факультет, средний между медицинским и математическим. Еще Василий Иванович заинтересовал меня в физике и химии, а летом, собираясь поступать на медицинский факультет и почитывая книги по естественным наукам, я еще больше заинтересовался ими, не отрицаю и того, что на меня повлияла также тогдашняя мода на естественные науки среди либеральной молодежи. Итак, немножко по способу исключения известных величин, я поступил на физико-математический факультет, на отделение естественных наук. Впоследствии я не жалел о своем выборе и льщу себя мыслью, что методы естественных наук воспитали во мне трезвость мышления.

С этого времени начались мои несчастные споры с отцом. Он записал в своем дневнике 28 июня: «С Сережей разговор, продолжение вчерашнего, о боге. Он и они думают, что сказать: «я не знаю этого, это нельзя доказать, это мне не нужно», что это признак ума и образования. Тогда как это-то признак невежества <...>. Учим их старательно обрядам и закону божию, зная вперед, что это не выдержит зрелости, и учим множеству знаний, ничем не связанных. И остаются все без единства, с разрозненными знаниями, и думают, что это приобретение. Сережа признал, что он любит плотскую жизнь и верит в нее. Я рад ясной постановке вопроса».

А как было мне не любить плотскую жизнь! Как раз в этот день, 28 июня, мне минуло 18 лет.

В начале июля отец ездил на короткое время к Тургеневу в его имение Спасское, а моя мать поехала в Москву искать квартиру. В конце июля отец поехал на три недели в самарское имение и взял меня с собою. На этот раз мы ехали по Сызрано-Вяземской и Оренбургской железным дорогам до станции Богатово. В Ряжске мы «имели счастье» видеть знаменитого М. Д. Скобелева и великого князя Николая Николаевича младшего, величественно восседавших за отдельным обеденным столом в зале первого класса. Толпа любопытных с почтительного расстояния глазела на них.

На хуторе жил временно В. И. Алексеев, а в полуверсте от хутора А. А. Бибиков. Весной этого года Василий Иванович взял в аренду у отца около 400 десятин за умеренную цену. Предполагалось, что небольшую часть этой земли он обработает своим трудом, а остальную землю будет сдавать по мелочи крестьянам под посев или покос. Разницу между деньгами, им

платимыми и получаемыми с крестьян, он полагал употреблять сперва на свое обзаведение, а затем на помощь пенмущим крестьянам. Комбинация эта оказалась очень неудачной, о чем речь впереди. В этом (1881) году он жил на нашем хуторе скудно и скучно, вместе со своей семьей. Время его поглощалось мелкими хозяйственными заботами, а собственноручно работать в поле он еще только собирался. С отцом и со мной он и его семья были очень предупредительны и заботливы. Отец подробно писал матери о нашей жизни на хуторе.

Приехав в Ясную Поляну, мы застали много гостей и приготовления к домашнему спектаклю, который через несколько дней и состоялся.

МОЙ ОТЕЦ В СЕМИДЕСЯТЫХ ГОДАХ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ЕГО О ЛИТЕРАТУРЕ И ПИСАТЕЛЯХ

I

В детстве у нас, троих старших, то есть у меня, сестры Тапи и брата Ильи, было совсем особенное отношение к отцу, иное, мне кажется, чем в других семьях. Для нас его суждения были беспрекословны, его советы — обязательны. Мы думали, что он знает все наши мысли и чувства и только не всегда говорит, что знает. Я плохо выдерживал взгляд его пытливых небольших стальных глаз, а когда он меня спрашивал о чем-нибудь, — а он любил спрашивать о том, на что не хотелось отвечать, — я не мог солгать, даже увильнуть от ответа, хотя часто мне этого хотелось. Любили ли мы его? Разумеется, любили.

Мы не только любили его: он занимал очень большое место в нашей жизни; и мы чувствовали, что он подавляет наши личности, так что иной раз хотелось вырваться из-под этого давления. В детстве это было бессознательное чувство, позднее оно стало сознательным, и тогда у меня и у моих братьев явился некоторый дух противоречия по отношению к отцу.

В детстве наше первое удовольствие состояло в том, чтобы отец так или иначе занимался с нами, чтобы он взял нас с собой на прогулку, по хозяйству, на охоту или в какую-нибудь поездку, чтобы он нам что-нибудь рассказывал, делал с нами гимнастику и т. д. Он не был ласков с нами обычными проявлениями нежности: поцелуями, подарками, ласковыми словами, редко дарил нам игрушки; но мы всегда чувствовали его любовь к нам и доволен ли он нашим поведением. Если он назовет меня «Сергулевич» вместо обычного «Сережа», это

была уже ласка. А то он, бывало, тихонько подойдет сзади и молча закроет мне глаза обеими руками. Угадать, кто это сделал, было нетрудно. Или он возьмет меня за обе руки и скажет: «Лезь па мсня». Я карабкаюсь по его телу до самых плеч, он меня подтягивает за руки, и я сажусь или становлюсь на его плечо. Тогда он, поддерживая меня, пройдет по комнате, потом как-то сразу перекувыркнет вниз головой, и я опять стаповлюсь на ноги. Мы очень любили эти телодвижения, и если отец проделает их с одним из нас, например со мной, то сейчас же сестра Таня или брат Илья закричат: «И меня, и меня!».

Мы находили особую прелесть даже в запахе отца, в запахе его фляпелевой блузы, здорового пота и табака; в то время он курил.

Одно из наших любимых занятий с отцом была гимнастика. Начиналось это так: мы становились в ряд, отец перед нами, и мы должны были в точности подражать его движениям: ритмически поворачивать голову направо, налево, вверх и вниз, сгибать и разгибать руки, подымать и опускать поочередно правую и левую ногу, приседать, кланяться, не сгибая колен и доставая землю руками, и т. д. Был также козел, через который мы прыгали.

Вообще отец придавал большое значение физическому развитию тела. Он поощрял гимнастику, плавание, бегание, всякие игры, лапту, городки, бары и особенно верховую езду. Иногда на прогулке он скажет: бежим наперегонки. И все мы бежим за ним.

Известно, как мы изображали «нумидийскую конницу»: отец вдруг вскакивал из-за стола и, помахивая поднятой рукой, бежал вокруг стола, и все мы, также подняв руку, бежали за ним. Почему это называлось нумидийской конницей, почему, в том числе и моему отцу, было совершенно неизвестно. Нумидийская конница действовала освежающе на настроение, особенно после скучных гостей. Ее привез из училища правоуправления дядя Степа Берс; не знаю, какое было ее символическое значение в этом училище.

Отец очень редко наказывал нас, не ставил в угол, редко бранил, даже редко упрекал, никогда не бил, не драл за уши и т. п., но, по разным признакам, мы чувствовали, как он к нам относится. Наказание его было — немилость: не обращает внимания, не возьмет с собою, скажет что-нибудь ироническое. В нашем детстве и даже позднее в зависимости от нашего поведения, а иногда и без видимой причины, у него

были временные любимцы, то один из нас, то другой. Постоянных любимцев у него не было. Только позднее, когда уже мы были взрослыми, он больше всего ценил сочувствие его взглядам. По-видимому, у него не было особой системы воспитания. Он делал замечания, намекал на наши недостатки, иронизировал, шуточкой давал понять, что мы ведем себя не так, как следует, или рассказывал какой-нибудь анекдот или случай, в котором легко было усмотреть намек.

Иногда он раздражался и возвышал голос, особенно во время уроков, но я не помню, чтобы он при этом употреблял грубые слова; случалось только, что он прогонял с урока.

Больше всего он был недоволен нами за ложь и грубость с кем бы то ни было — с матерью, воспитателями или прислугой. Но иногда он делал замечания по менее серьезным поводам. Например, он замечал, когда мы ели с ножа или резали рыбу ножом; в обществе это считалось дурными манерами; в прежнее время этому приписывалось значение. Так, в «Анне Карениной» Анна говорит про кого-то: «Он не то что нигилист, а ест с ножа».

Заметив, что за обедом я брал с блюда не одну ложку или порцию, а немного больше, он говорил:

— Отчего ты берешь с добавочком?

А если я оставлял часть кушанья на тарелке, не доедая взятого, он говорил:

— Когда берешь больше, чем сколько можешь съесть, это называется «завидуешь глаза».

Когда я сутуловато держался, он скажет: «Сядь прямо» или подтолкнет меня в спину. Заметив, что я стремился участвовать во всяких играх и увеселениях, слушать разговоры, которые меня не касались, вообще совать свой нос куда не следует, говаривал: «Ты все боишься пропустить», то есть пропустить случай получить удовольствие или узнать чего-нибудь интересное. Он действительно подметил черту моего характера, которая впоследствии приводила меня к тому, что я нередко интересовался и занимался не тем, чем следовало.

Когда кто-нибудь из нас рассказывал что-нибудь такое, что должно было казаться смешным или остроумным, и сам при этом смеялся, отец говорил: есть три сорта рассказчиков смешного: низший сорт — это те, которые во время своего рассказа сами смеются, а слушатели не смеются; средний сорт — это те, которые сами смеются и слушатели тоже смеются, а высший сорт — это те, которые сами не смеются, а смеются только слушатели. Вообще он советовал, когда рассказываешь что-нибудь

смешное, самому не смеяться, а то вдруг у слушателей сделаются скучные лица, и станет неловко.

Когда я тщился острить и каламбурить, он говорил: твои остроты вроде лотереи. Редко выпадает выигрыш, а все больше пустой билетик с надписью «аллегри». И на какую-нибудь мою глупость, претендующую на остроумие, он, бывало, скажет: «аллегри!» или: «не вышло!»

Когда я делал что-нибудь нечаянно — разобью посуду, разорву или запачкаю свое или чужое платье, забуду данное мне поручение — и оправдываюсь тем, что я это сделал нечаянно, то он, бывало, скажет:

— Вот за то я тебя и упрекаю, что ты это сделал нечаянно. Надо стараться ничего нечаянно не делать.

Еще он говорил:

— Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь или не хочешь делать хорошо, лучше совсем не делай.

В 60-х и 70-х годах, до «кризиса», отец был во многом не тем, каким он был впоследствии и каким в настоящее время он представляется людям, не знавшим его в те времена. Тогда он был жизнерадостен, властен и гордился своим аристократизмом.

Сохранился проект его ответа критикам, упрекавшим его в том, что в «Войне и мире» он писал только о высшем обществе. Там он писал: «Я сам принадлежу к высшему сословию, обществу и люблю его. Я не мещанин, как смело говорил Пушкин, и смело говорю, что я — аристократ и по рождению, и по привычкам, и по положенью».

Далее он говорит, что он — аристократ потому, что ему не совестно вспоминать своих предков, что он «воспитан с детства в любви к изящному, выражающемуся не только в Гомере, Бахе и Рафаэле, но и во всех мелочах жизни», потому, что «ни отец, ни дед мой не знали нужды и борьбы между совестью и нуждой» и ежели счастье это не принадлежит всем, то из этого я не вижу причины откаться от него и не пользоваться им».

В моем детстве во взглядах отца чувствовался аристократизм, хотя прямо он его и не высказывал. Более определенно аристократизм высказывался матерью. Отец приписывал некоторое значение наследственности, но под аристократизмом он подразумевал прежде всего благовоспитанность в лучшем смысле этого слова, чувство собственного достоинства, образованность, сдержанность, великодушие и т. п. Вместе с аристо-

кратизмом в этом смысле в нем всегда совмещалось особое уважение и любовь к крестьянству — к нашим кормильцам, как он всегда выражался, и это уважение он внушал и нам. Впоследствии он отрекся от аристократизма и, вероятно, если бы он вспомнил о тех строках (которые он к счастью не напечатал) в ответ критикам «Войны и мира», он бы постыдился.

Однако он никогда огульно не осуждал аристократизм, как это делают некоторые публицисты и непублицисты. В аристократизме он признавал не одну только отрицательную сторону. Он ненавидел барство, а не аристократизм, а это — не то же самое.

Отец не любил фамильярности в отношениях между друзьями и даже между родными. Он говорил: «Есть приятели, которые хлсают друг друга по ляжке и приговаривают: «Подлец ты, мой любезный!» или: «Ах ты, мплая моя капалья!» Это — «амшкошонство» (свиная дружба).

Примером к тому, что настоящая благовоспитанность состоит в том, чтобы облегчать, а не усложнять отношения с людьми, служил известный анекдот, как Людовик XIV, испытывая одного gentilhomme'a, прославленного за свою учтивость, предложил ему войти в карету раньше него — короля. Тот немедленно повиновался и сел в карету. «Вот истинно благовоспитанный человек», — сказал король. А когда Чичиков и Манилов толкутся в дверях, уступая друг другу дорогу, говорил отец, это нельзя назвать благовоспитанностью.

II

Привычки отца в 60-х и 70-х годах были иные, чем впоследствии. Он курил насыпные папирсы, набитые для него моей матерью, перед обедом иногда пил домашний травник из маленькой серебряной чарочки, за обедом выпивал небольшую рюмку белого воропцовского вина, ел мясо и охотился. Несмотря на почти полное отсутствие зубов, он скоро ел и мало жевал, сознавая, что это вредно, он говаривал: «Pour se bien porter il faut bien marcher et bien mâcher»¹.

На моей памяти он не брился и носил бороду. Волосы на голове и бороду ему подстригали — он сам или моя мать — раз в месяц, в новолуние. Этому, он говорил, он научился у мага-метан.

¹ «Чтобы быть здоровым, надо много ходить и хорошо жевать» (франц.).

Дома он не носил крахмальную рубашку и одевался в свою традиционную блузу, зимой — в серую флапелевую, летом — в парусиновую; эти блузы кроила и шила ему одна старая дворовая, Варвара, дочь его дядьки Николая, жившая на деревне, или моя мать. Но когда он ездил в Москву, он надевал крахмальную рубашку и хорошо сшитый сюртук, заказанный у порядочного московского портного.

Распределение дня в продолжение нашей жизни в Ясной Поляне до 1881 года было довольно правильно и мало изменялось с сентября по май, то есть в те месяцы, когда отец писал и когда мы, его дети, учились. Летом время распределялось иначе — более разнообразно.

В учебные месяцы мы — дети и педагоги — вставали между восемью и девятью часами и шли пить кофе наверх в залу. После девяти отец в халате, еще не одетый и неумытый, с скомканной бородой, проходил из спальни вниз, в комнату под залой. Внизу он умывался и одевался. Если мы встречали его по пути, он нехотя и торопливо здоровался; мы говорили: «Папа не в духе, пока не умоется». Затем он приходил в залу пить кофе. При этом он обыкновенно съедал два яйца всмятку, выпустив их в стакан.

После этого он до обеда, то есть до пяти часов, ничего не ел. Позднее, начиная с конца 80-х годов, он стал вторично завтракать в два или три часа.

Утром за кофе отец был мало разговорчив и скоро уходил в свой кабинет, взяв с собой стакан чаю. С этого момента мы его почти не видели до обеда.

Моя мать вставала позднее, приходила в залу пить кофе часов в одиннадцать. Между двенадцатью и половиной первого подавался для нас — детей и педагогов — второй завтрак. Родители в этом втором завтраке обыкновенно не участвовали. Таким образом, самовар, кофе и завтрак не сходили со стола от девяти до половины первого.

Когда отец писал, то ни он, ни его семейные не говорили, что он *работает*, а всегда *занимается*. До так называемого кризиса он летом мало *занимался*, давая себе отдых на три летних месяца. В остальное время года, кроме некоторых осенних дней, когда он иногда целый день охотился, он работал почти ежедневно. Когда он занимался, к нему никто не смел входить, даже моя мать: ему нужна была полная тишина и уверенность, что никто не прервет его занятий. Когда его кабинет находился в комнате с большим итальянским окном, обе двери — из залы и из гостиной — запирались. Даже в сосед-

нюю комнату можно было входить только тихо и осторожно. В зале тогда играть на фортепиано нельзя было, так как отец говорил, что он *не может не слушать музыку, хотя бы еле слышную*.

Не помню, в какие годы кабинет был переведен вниз — в комнату под залой, и позднее — в комнату под сводами. В 1878 году отец поставил себе избушку в Чепыже, куда летом уходил заниматься.

После занятий отец куда-нибудь уходил или уезжал верхом. Эти прогулки или поездки он делал или с известной целью — по хозяйству, на охоту, посетить кого-нибудь, на станцию и т. п., или же без определенной цели, большею частью в Засеку или на шоссе.

Эти прогулки без определенной цели были, может быть, самыми производительными, потому что на них он сосредоточивался и собирал материал для своих писаний.

Засака и шоссе были его любимыми прогулками.

Огромный казенный лес Засака, с его просеками, малоезжими дорогами, чащами и оврагами, привлекал его своей дикостью, безлюдьем, первобытностью и роскошью растительности. Туда он удалялся от повседневной суеты, там он созерцал природу, почти не тронутую человеком, там он мыслил. Он особенно любил выбраться малозаметные тропинки, не зная, куда они приведут, и бывать в таких частях Засаки, где он раньше не бывал. В лесу, так же как и в области мысли, он любил отыскивать новые пути. В этом он находил особую прелесть. Тропинки иногда прямо выводили его на торные пути, а иногда вели в чащу и глубокие овраги.

Другая любимая прогулка отца была по Киевскому шоссе.

Ясная Поляна стоит на большом пути, ведущем с севера России на Украину, в Крым, к берегам Черного моря. Отец помнил время, когда шоссе еще не было, а была только «большая дорога» или «большак».

В его детстве в полуверсте от «старой дороги» было проведено так называемое Киевское шоссе, сократившее и улучшившее путь. Позднее, уже во время моего детства, в полуверсте от шоссе — еще дальше от Ясной Поляны — была построена Московско-Курская железная дорога.

Отец полушутя называл свою прогулку по шоссе выездом в «grand monde»¹ или прогулкой по Невскому проспекту.

В 60-х и 70-х годах по шоссе шло особенно много богомоль-

¹ «великосветское общество» (франц.).

цев и богомолки — в Киев, Соловки, Троицкую лавру, к Тихону Задонскому, в Оптину пустынь, в Старый Иерусалим и т. д. и обратно. Отец говорил, что немногими из этих странников руководило благочестие. Люди ходили на богомолье по разным причинам: кому плохо жилось дома, кому хотелось повидать божий мир, кто шел потому, что паломничество уважалось, и т. д. Богомольцы и богомолки шли ровным и медленным шагом верст по 30 в день, с котомками и узлами за спиной, в мягких чунях и обмотках; они шли обыкновенно по несколько человек вместе, питались большею частью подаянием, ночевали где придется, редко мылись и редко меняли белье.

Проходя большие расстояния и встречаясь с многими людьми, богомольцы распространяли народную поэзию, пословицы, сказки, легенды, влияли на народное воззрение и разносили разные слухи. Например, после убийства Александра II они распространяли слух, будто царь убит дворянами за то, что он освободил крестьян.

Отец говорил, что рассказы странников заменяют народу литературу и даже газету. Он любил разговаривать с прохожими, идя по пути с ними или присев на краю дороги. Некоторые их легенды и рассказы превратились под его пером в художественные произведения. Знание быта рабочего народа, народного языка, местных наречий, северного, поволжского, украинского, многих поговорок и пословиц — все это отец приобретал на шоссе.

Тут же проезжали местные крестьяне, знакомые и незнакомые, трезвые и подгулявшие, с возами и порожняком. Отец иногда просил их подвезти его, что обыкновенно охотно делалось. На шоссе же крестьяне били камень; он и с ними заводил разговор, а иногда и сам пробовал бить камень. Он говорил, что это очень тяжелая работа; после нее долго руки болят.

В 5 часов дня мы обедали. К этому времени отец приходил домой, нередко опаздывая. За обедом он бывал оживлен и рассказывал свои дневные впечатления.

Вечером, после обеда, он большею частью читал, раскладывал пасьянс или, если были гости, разговаривал с ними; а иногда он занимался с нами, читал нам вслух или давал уроки. В это время дня доступ к нему был свободен; он даже не всегда закрывал двери в свой кабинет.

Около 10 часов вечера опять все жители Ясной Поляны были в сборе, приходили пить чай в залу. В это время, как и за обедом, отец, когда был в хорошем настроении и здоров, оживленно рассказывал, особенно когда бывали гости. Перед

сном он обыкновешно опять читал; одно время он вечером каждый день играл на фортепиано.

Спать он ложился около часа ночи.

III

Отец умел читать, что далеко не всякий умеет. Он хорошо помнил прочитанное и различал книги, которые надо читать, не пропуская ничего, и книги, из которых надо выбрать только существенное или нужное. Таким образом он экономил свое время.

В те годы, когда мы оседло жили в Ясной Поляне, он много читал. Он изучил Шопенгауэра, которым сильно увлекался, научился греческому языку, собирал материал для своей «Азбуки» и «Книг для чтения», для задуманных им романов из времен Петра и из жизни декабристов, читал Четы-Минен, изучал русские былины и пословицы, а в конце 70-х годов — Евангелие и критику священного писания.

Кроме того, он постоянно читал иностранную беллетристику, особенно английские и французские романы. Из английской литературы он читал Диккенса, Теккерея и семейные романы: Троллопа, Гумфри Уорда, Джорджа Эллота, Брайтона, Браддона и др.

Известно, что он ставил Диккенса выше всех других английских романистов. Теккерея он находил несколько холодным, а из остальных романов хвалил «Адама Бида» и «Векфильдского священника».

Из французской литературы он читал Виктора Гюго, Флобера, Дроза, Фелье, Золя, Мопассана, Доде, Гонкуров и других.

Он особенно ценил «Les misérables»¹ и «Le dernier jour d'un condamné»² Виктора Гюго, а из реалистов — Мопассана. Он был холоден к Флоберу, Бальзаку и Доде; Золя он читал с интересом, но считал его реализм преднамеренным, а его описания слишком подробными и мелочными.

— У Золя едят гуся на двадцати страницах, это слишком долго, — говорил он про одно место в «La terre»³.

Он мало читал немецкую беллетристику. Не помню, чтобы он читал что-нибудь, кроме Шиллера, Гете и Ауэрбаха. Нам он

¹ «Отверженные» (франц.).

² «Последний день осужденного» (франц.).

³ «Земля» (франц.).

рекомендовал читать «Разбойников» Шпллера, «Вертера» и «Германа и Доротею» Гете.

Нельзя сказать, чтобы в 70-х годах он много читал текущую русскую литературу. Публицистику он почти не читал, а художественную литературу только проглядывал, когда она попадалась ему под руку. Он больше всего интересовался появлявшимися произведениями Тургенева, а из произведений Достоевского некоторые, например «Подросток», насколько я помню, остались ему неизвестными. «В лесах» и «На горах» Андрея Печерского (Мельникова) он не любил, говорил, что у Печерского «фальшивый топ», что он щеголяет местными народными словечками, а крестьянскую жизнь знает плохо. Он говорил про Мельникова-Печерского: «Фальшивая литература. Например, Печерский где-то пишет: «Русский человек не жалует дерева. Он ронит вековой дуб, чтобы вырезать из него оглоблю». Слово «ронит» Печерский употребил, думая, что знает народный язык. Он не знает, что мужик никогда не станет вырезывать оглоблю из векового дуба, а срежет для этого молодую березку». В исторических романах, вроде «Юрия Мпловславского» и «Князя Серебряного»,— подражаниях Вальтеру Скотту, которого отец не любил,— он указывал на неверное понимание быта эпохи; к историческим романам Данилевского, Мордовцева, Салиаса, Вс. Соловьева и других относился пренебрежительно.

Нам, своим детям, отец советовал не спешить читать шедевры литературы, для того чтобы позднее, когда мы будем старше и будем лучше понимать их, не утратился интерес повизны. Поэтому Пушкина, Лермонтова и Гоголя мы прочли довольно поздно. С другой стороны, он не любил специально детскую литературу. Он рекомендовал нам читать такие произведения всемирной литературы, которые интересны как для детей, так и для взрослых,— «Робинзона Крузо», «Дон-Кихота», «Путешествия Гулливера», «Les misérables»¹ Виктора Гюго, Александра Дюма (отца), Диккенса («Оливера Твиста», «Давида Копперфильда») и др. Из русской литературы он особенно рекомендовал прозу Пушкина и Гоголя, «Записки охотника» Тургенева и «Записки из мертвого дома» Достоевского. Свои произведения, кроме рассказов из «Азбуки» и «Книг для чтения», он не рекомендовал нам читать. Зато моя мать поощряла в нас чтение произведений Льва Толстого. «Детство», «Отрочество» и «Юность» были одними из моих любимых книг,

¹ «Отверженные» (франц.).

особенно потому, что я сравнивал себя с Николенькой Иртышевым.

О преподавании русской литературы Лев Николаевич говорил: «Обыкновенно сообщают очень немного о былинах и летописях и о допетровских русских писателях — о переписке Ивана Грозного с Курбским, о жизнеописании протопопа Аввакума, о Котошихине, Посошкове и др. Между тем это серьезная, содержательная литература, не то, что бессодержательные сочинения писателей, писавших в XVIII столетии под влиянием Западной Европы — Кантемира, Тредиаковского, Сумарокова и даже Фонвизина и Державина».

Из произведений Пушкина в моем отрочестве он советовал мне прежде всего прочесть «Повести Белкина». Вообще он высоко ценил язык, слог и форму прозы Пушкина. В этом отношении он считал «Пиковую даму» образцовым произведением.

К стихотворной речи отец вообще относился отрицательно. Он говорил, что поэты связаны размером и рифмой и нередко подгоняют под них свои образы и выражения; они не свободны в выражении своих мыслей. Он ценил только очень немногих поэтов — Тютчева, Лермонтова, Фета и, разумеется, Пушкина. Когда я раз ему сказал, что Пушкин мыслил стихами, чего нет у современных поэтов, он с этим согласился.

Впрочем, он соглашался с тем, что у поэтов, особенно у Пушкина, иногда искание рифмы приводит к удачным выражениям. Такой удачной рифмой он считал рифму в описании смерти Ленского, где рифма «странен» по-видимому вызвана словом «ранен»:

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навывлет ранец;
Дымясь из раны кровь текла.

Помню некоторые отзывы отца о стихотворениях Пушкина. Он хвалил стихотворения: «Буря мглою небо кроет», «Вновь я посетил тот уголок земли», «Осень», «Тазит», «Братья-разбойники», «Туча», «Анчар» и др. Он называл прекрасным стихотворением «Тучу», в котором одно лишь слово неудачно. Он рассказывал, что Тургенев предлагал ему и Фету угадать это слово. Оба отгадали. Это было слово «обвивала» в стихе «И молния грозно тебя обвивала». Молния не обвивает тучу. Отец, по примеру Тургенева, предлагал этот вопрос разным лицам и по ответам судил об их художественном чутье.

Про стихотворение «Анчар» он говорил: «По этому прекрас-

ному стихотворению видно, как поэты связали рифмой. Слово «лыки» понадобилось для рифмы к «владыки»; а какие лыки могут быть в пустыне?»

В своих «Воспоминаниях» и в «Круге чтения» он поместил стихотворение Пушкина «Когда для смертного умолкнет шумный день». В своих воспоминаниях он сознается, что с величайшей силой испытал то, что говорит Пушкин в этом стихотворении. Только в последнем стихе — «Но строк печальных не смываю» — он заменил бы слово «печальных» словом «постыдных».

Отец мало ценил поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Анджело», «Полтаву», но восхищался «Цыганами». Ведь в «Цыганах» культурный человек осуществляет его собственную мечту — уйти из культурной жизни. В «Домике в Коломне» он ценил стихотворную технику Пушкина, но разумеется — не содержание этой шуточной поэмы. По форме и языку он очень ценил и «Графа Нулина», по говорил, что в этой веселой пьесе напрасно Пушкин упоминает о соседе Натальи Павловны, который особенно много смеялся, услышав о ее приключении с графом Нулиным.

Отец в 90-х годах, когда писал свою статью об искусстве, критически относился к Пушкину. Он говорил, что рабочий народ требует серьезного и понятного содержания от писателя, а Пушкин воспевае женские ножки и перси и упоминает об отживших языческих божествах — Киприде, Вакхе, Зевсе и др.

Помню, как он тогда подробно разбирал известный отрывок из «Евгения Онегина»: «Зима. Крестьянин, торжествуя», и т. д. Он говорил: «Почему крестьянин торжествует? В том нет никакого торжества, что выпал снег. Выражение «как-нибудь» в стихе «Его лошадка, снег почуя, плетется рысю как-нибудь» — неправильно: «как-нибудь» взято для рифмы к слову «путь». Это слово поставлено вместо «кое-как».

Позднее отец перечитывал «Евгения Онегина» и очень сочувственно относился к этому роману. Некоторыми местами «Евгения Онегина», например началом главы VII «Гонимы вешними лучами», он всегда особенно восхищался. «Здесь каждый стих — верная картина природы, — говорил он, — и какое прекрасное сравнение:

Еще прозрачные леса
Как будто пухом зеленеют».

В своей молодости Лев Николаевич был знаком с некоторыми людьми, лично знавшими Пушкина, и слышал от них некоторые рассказы о нем. Так, например, во время своего заграничного путешествия в 1857 году он в Швейцарии виделся с семьей Карамзиных, а в Баден-Бадене с Россет-Смирновой.

Он рассказывал про Пушкина следующее:

Однажды Пушкин встретился с одним своим приятелем на Невском и сказал ему:

— Каким подлецом я себя чувствую!

— Почему?— спросил приятель.

— Потому что только что встретился с Николаем Павловичем и говорил с ним.

Лев Николаевич приводил этот рассказ как доказательство тому, что хотя Пушкин в отношениях с Николаем Павловичем шел на компромисс, но сознавал это и не лгал перед самим собою.

В Ясной Поляне, насколько мне помнится, на деньги выписывался только один толстый журнал — «Revue des Deux Mondes». «Русский вестник», «Заря», позднее «Беседа» под редакцией Навроцкого, «Русская мысль» под редакцией Юрьева и «Русский архив» присылались издателями. Одно время получалась также «Русская старина».

«Вестник Европы» не выписывался, но бывал в Ясной Поляне; кажется, его выписывали Кузминские. Одно время получался почему-то «Огонек», где печатался роман Писемского «Масопы»; отцу понравилось начало этого романа, и он даже начал его читать нам вслух, но скоро бросил.

В конце семидесятых годов появились в Ясной Поляне, не помню откуда, «Отечественные записки». Отец читал их с интересом, особенно Щедрина и «Письма из деревни» Энгельгардта. Отрывки из «За рубежом» Щедрина он читал нам вслух; «Разговор мальчика в штанах и мальчика без штанов» смешил его до слез.

Помню также, что он читал нам вслух рассказ Щедрина о том, как татарин из трактира возил «ямудского принца» в Петербург (из «Помпадуры и помпадурши»). Его смешило впечатление, произведенное на принца Петербургом: «Помпадур есть, народ нет, чисто!» И после своей поездки в Петербург он иронически говорил: «Хорошо в Петербурге — помпадур есть, народ нет чисто!»

Газет в те времена отец почти не читал. Кажется, тогда в Ясной Поляне получались только «Московские ведомости», бесплатно присылавшиеся Катковым.

Я считаю себя счастливым тем, что много слышал живую художественную и разнообразную речь моего отца. При его удивительной памяти и исключительной впечатлительности, как он хорошо передавал все им виденное, слышанное, продуманное, прочитанное! И как много я слышал от него нового и неожиданного, того, чего другие не замечают или о чем другие не говорят! С другой стороны, в его речи не было тех предметов разговора, которые мы слышим ежедневно: сплетен, неинтересных рассказов о самом себе, ненужных подробностей, пошлых анекдотов и т. п. Чувствовалось, что его рассказ или мысль, им высказываемая, ему нужны для его работы или для его мировоззрения; жившие с ним слышали многое из того, что потом вошло в его произведения. Он не любил говорить (или поступать) зря без цели. Самое слово «зря» он не любил, и, кажется, нигде в его писаниях нет этого слова.

Отец, как очень немногие, любил и чувствовал красоту лесов, полей, лугов, неба. Он, бывало, говорил: «Как у бога добра много! Природа бесконечно разнообразна; каждый день отличается от предыдущего, каждый год бывает неожиданная погода».

У него было зрение пейзажиста, хотя он считал, что пейзаж — низший род искусства. Например, он как-то сказал: «Как красива желтая рожь на фоне темного дубового леса; вот мотив для пейзажиста!»

Иногда он говорил про цвет неба и облаков: «Какое освещение! Если бы художник написал такую картину, ему не поверили бы, сказали бы, что он эту окраску выдумал».

Придя с прогулки, он иногда приносил какой-нибудь редкий для наших мест цветок, какой-нибудь особенно большой колос, весной — красненький цветок орешника, осенью — необыкновенно окрашенный лист, причудливые серьги бересклета; он сам любит и показывает нам. Иногда он рвал цветы и приносил букеты.

В ясную ночь он нам рассказывал про звездное небо. Одно время его интересовала астрономия — не математическая, а наглядная астрономия, и он называл нам звезды и объяснял разницу между звездами, планетами и кометами.

Нередко он рассказывал нам что-нибудь из жизни крестьян, особенно крестьян Ясной Поляны; он всех их знал. Он, бывало, запросто заходил в их избы, просто разговаривал с ними, иногда давал советы, говорил по какому-нибудь делу или отвечал

на их просьбы. Они доверчиво к нему относились, и он знал их семейные дела и даже тайны. Так раз он по секрету сообщил нам, что на деревне у Курносепковых скрывается беглый ка-торжник Рыбин.

Однажды он нам рассказал, как в яме около шоссе, где крестьяне брали песок, одного из них завалило песком. Он вместе с крестьянами ходил откапывать тело засыпанного и говорил, что они это делали самоотверженно, с опасностью быть засыпанными сами.

Бывало, каждый день под вязом около дома дожидались выхода Льва Николаевича крестьяне Ясной Поляны или окрестных, иногда дальних деревень — кто за советом по судебным, семейным или хозяйственным делам, кто с просьбой дать хворсту, лесу, покос, денег и пр. Он был известен в округе как человек, который может дать хороший совет и повлиять на власть имущих. Впоследствии, после семидесятых годов, состав посетителей понемногу изменился: просящих совета и заступничества стало меньше, нищих стало больше, и прибавились люди с религиозными вопросами и просто любопытные.

Он знал крестьянское хозяйство во всех подробностях и экзаменовал нас: «Ну-ка, расскажите, как называются части крестьянской упряжи, как надо запрячь лошадь?» или: «Как называются части сохи?» Так как мы не могли обстоятельно ответить, то он сам подробно отвечал на свои вопросы.

А то, бывало, он выскажет те мысли, которые в данное время его занимают. В конце семидесятых годов это были мысли, высказанные им в «Исповеди» и «В чем моя вера?», и философские мысли, преимущественно навеянные Кантом и Шопенгауэром, а также разговорами и перепиской с Н. Н. Страховым и Фетом. К сожалению, я тогда не записывал его слов и не могу точно их передать. Приведу лишь в качестве примера его соображение о мерилх времени. Он говорил, что есть два мерила времени: одно — объективное, другое — субъективное. Объективно мы измеряем время годами, днями, часами и т. д., субъективно — прожитой нами жизнью. По количеству и силе впечатлений, переживаемых в продолжение года трехлетним ребенком, год, им прожитый, равняется трети его жизни, тогда как для тридцатилетнего человека год составляет лишь $\frac{1}{30}$ его жизни. Для ребенка все ново и значительно, для него год кажется большим промежутком времени. Этим объясняется, почему, чем мы старше, тем время проходит быстрее.

Однажды он высказал такую мысль (передаю ее так, как запомнил, может быть, не теми словами, которыми он ее выра-

зил): «О степени культурности страны следует судить не по распространению грамотности и образованности среди массы, а по степени образованности высшего слоя населения. В России высший слой образован столько же, если не больше, чем в других европейских странах. Поэтому нельзя сказать, что Россия менее цивилизована, чем они».

Про женщин он говорил: есть три рода женщин: «La femme du foyer — женщина домашнего очага (семейная), la femme du temple — женщина храма (идейная) и la femme de la rue — уличная женщина (развратная)». При случае он любил приводить французские поговорки и изречения. Некоторые ему служили правилами. Вспоминаю следующие:

Dans le doute abstiens toi (в сомнении воздержись).

Le mieux est l'ennemi du bien (лучшее враг хорошего), что соответствует русской поговорке: от добра добра не ищут.

Dis moi qui tu hantes, et je te dirai qui tu es (скажи мне, с кем ты водишься, и я тебе скажу, кто ты).

Tout comprendre c'est tout pardonner (все понимать — значит все прощать).

Les peuples heureux n'ont pas d'histoire (счастливые народы не имеют истории).

Tout vien á temps á celui qui sait attendre (все приходит вовремя тому, кто умеет ждать).

L'exactitude c'est la politesse des rois (точность — учтивость королей).

Fais ce que dois, advienne que pourra (делай то, что должно делать, что бы ни случилось).

Последнее изречение можно назвать девизом отца. Он всегда считал, что долг выше всего и что в своих поступках не следует руководствоваться предполагаемыми последствиями их.

По поводу известности той иной книги он приводил латинское изречение: *Habent sua fata libelli pro capite lectoris* (книги имеют свои судьбы в зависимости от головы читателя). Он говорил, что обыкновенно приводится только первая половина этого изречения: книги имеют свои судьбы, — что лишает его настоящего смысла, а именно, что успех книги зависит от понимания и уровня развития читателей.

Во время составления «Азбуки» и «Книг для чтения» и позднее он не переставал изучать русский язык и собирать слова, поговорки и пословицы. В то же время он читал словарь Даля, былины, сборники сказок и пословиц.

Помню следующие его соображения: «приставка «су» значит «похожий, вроде»; таковы слова: супесь, суглинок, сукровица, сумрак, сурепица. Приставка «па» означает нечто не настоящее, ложное: пасынок, падчерица, паводок, пакленок, паскуда. Окончание «ище» означает известную площадь, особенно бывшую чем-то; таковы слова: кладбище, пожарище, торжище, городище, селище и т. п. Он был доволен, когда услышал от одного богомольца северного края слово «стрельбище» в смысле того расстояния, на какое хватает выстрел.

Он спрашивал: какая разница между словами: начинать, зачинать, починать, начин, зачин, почин? И отвечал: начинать — общее понятие, относится больше к действиям; зачинать — самое первое начало какого-нибудь нового, еще не бывалого действия; починать относится к чему-нибудь материальному: почать стог сена, горшок с кашей.

К некоторым словам у него была антипатия, не знаю почему. Он не любил и никогда не употреблял, кроме слова «зря», слов: словно, молвил, сниматься (вместо фотографироваться). Помню, как он возмутился, когда редактор в присланной ему корректуре «Анны Карениной» заменил слово «сказал» словом «молвил».

Он справедливо возмущался, когда говорили «одеть» пальто или пиджак вместо «надеть». Он говорил: *одевают* кого-нибудь, а *надевают* что-нибудь (платье). К сожалению, эта неправильность языка так вошла в обыкновение, что в настоящее время все говорят: «одеть» пальто или брюки, а не падеть.

Он признавал употребление иностранных слов только тогда, когда нет соответствующих русских слов, и даже соглашался на такие искажения иностранных слов, как «ярмонка» или «польта».

В разговоре он нередко приводил русские пословицы, как общеизвестные, так и малоизвестные, записанные им от крестьян и богомольцев. Он говорил, что народная мудрость, выраженная в пословицах, поговорках, легендах, сказках и т. п., рассеяна по всей России; частицы ее можно услышать то от одного человека, то от другого; а в целом они, дополняя друг друга, выясняют мировоззрение русского народа.

Мне приходят на память следующие пословицы, которые он высказывал по тому или другому поводу: «много баять не подобает»; «на всякий роток не накинешь платок»; «как аукнется, так и откликнется»; «бог-то бог, да сам не будь плох»; «где родился, там и годился»; «не так живи, как хочется, а

как бог велит»; «день мой — век мой», и много других. Последние две пословицы выражают его основные убеждения.

Он указывал на неполноту некоторых общезвестных пословиц и записал дополнения к ним, слышанные им из уст народа. В следующих примерах эти дополнения напечатаны разрядкой:

«На чужой каравай рта не разевай, а раньше вставай да свой затевай».

«Без стыда лица не износишь, как платья без пятна».

«От корма кони не рыщут, от добра добра не ищут».

«Не так живи, как хочется, а как бог велит».

Он указывал на искажение некоторых поговорок. Так, например, он говорил, что бессмысленная поговорка «Сухо дерево, завтра пятница» произошла от поговорки: «Сухо дерево назад не пятится», то есть согнутое сухое дерево не возвращается в первоначальное состояние. Или что в поговорке: «На тебе, боже, что мне не гоже» вместо слова «боже» надо говорить «убоже» (звательный падеж от слова «убогий»).

Вообще в семидесятых годах он больше, чем когда-либо, изучал русский язык и русскую народную литературу, чем и воспользовался позднее в своих народных рассказах и других произведениях.

Он почти никогда не рассказывал планы своих литературных работ, говоря, что излагать свое произведение, пока оно не окончено, значит погубить его. Но по мере того, как он собирал материал, он рассказывал отдельные эпизоды из действительной жизни, которые служили ему материалом и потом, преобразованные, входили в его произведения. Рассказы в «Книгах для чтения», «Кавказский пленник», «Охота пуще неволи», разные эпизоды из «Анны Карениной», отдельные штрихи из времени Петра I и декабристов я слышал от него в то время, когда он задумывал эти произведения.

Он говорил про Петра, что наиболее уважаемые бояре того времени, каковыми были, например, Долгоруковы и Голицыны, презирали Петра за его разгульную жизнь. Поэтому Петр сошелся с пирожником Меншиковым и беглым швейцарцем Лефортом и поэтому не любил Москву и поселился в Петербурге.

В нашем детстве мы, то есть я и мои братья и сестры, особенно любили прибаутки, поговорки и рассказы отца.

Когда мы почему-нибудь плакали, он, бывало, расскажет что-нибудь смешное, и мы смеемся сквозь слезы. Например, он говорил:

Ты не плачь, не плачь, детинка,
В нос попала кофейника,
Авось проглочу.

Несмотря на бессмысленность этого изречения, оно действовало безошибочно. Кофейника неизменно вызывала смех или улыбку.

Когда кто-нибудь из нас ушибется или упадет, он, бывало, скажет:

Танцевальщик танцевал,
А в углу супдук стоял.
Танцевальщик не видал,
Спотыкнулся и упал.

Когда у кого-нибудь из нас был расстроен желудок, он вспоминал стих, кажется Хераскова:

Не лучше ль умереть на месте,
Чем жизнь поносную вести.

Иногда он рассказывал анекдоты. Например, был анекдот о том, что один немец никак не мог сесть на лошадь, несмотря на то, что призывал на помощь то того, то другого святого. Наконец, он призвал всех святых, сделал усилие и так высоко прыгнул, что перескочил через лошадь. Тогда он сказал: «Nicht alle auf einmal» (не все сразу).

Хорош был анекдот про немца-преступника, приговоренного к смертной казни, который просил у Фридриха Великого, как милости, разрешить ему самому выбрать род смерти. Когда же Фридрих ему это разрешил, он сказал: «Ich will aus Altersschwäche sterben», то есть: я хочу умереть от старческой дряхлости. Король его помиловал.

Рассказывал он также известный анекдот о том, как цыган приучал свою лошадь ничего не есть и совсем было приучил, да на тот грех она пала.

Одно время отец рассказывал нам ряд случаев из жизни сумасшедших. Например, один сумасшедший вообразил, что он стеклянный, и всячески боялся удариться обо что-нибудь и разбиться. Но кто-то подшутил над ним и толкнул его. Су-

масшедший ударился об стену, сказал: «дзинь!» и умер. А мы, несмотря на трагическую смерть стеклянного человека, смеялись.

Другой сумасшедший вообразил себя грибом, молча сел в угол, раскрыл над собой зонтик, отказался от всякой еды и движения и перестал отвечать на вопросы. Тогда доктор тоже взял зонтик, раскрыл его над собой и сел рядом с сумасшедшим. Долго оба сидели молча. Наконец, сумасшедший по вытерпел и спросил доктора:

— Что вы тут делаете?

— Я гриб,— ответил доктор.

Сумасшедший выразил на лице удивление, но опять замолчал.

Через несколько времени доктору принесли заказанный им обед, и он стал есть.

— Разве грибы едят? — спросил сумасшедший.

— Как же,— ответил доктор,— видите: я — гриб и обедаю.

Тогда сумасшедший тоже попросил себе обед и с аппетитом стал есть.

Посидев несколько времени, доктор вдруг встал, продолжая держать над собой зонтик.

— Разве грибы могут стоять? — спросил сумасшедший.

— Как же,— ответил доктор,— видите: я — гриб и стою.

Сумасшедший тоже встал. Потом доктор стал ходить, и сумасшедший стал ходить, потом доктор сложил зонтик, и сумасшедший сложил зонтик и т. д. Понемногу круг действий, дозволенный грибам, настолько расширился, что сумасшедший стал жить, как все, и, наконец, забыл, что он гриб.

Еще отец рассказывал о жестоком случае, как один сумасшедший убил истопника Семена, жившего в доме сумасшедших. Семен нюхал табак и иногда угощал им душевнобольных. Как-то он заснул в коридоре, оставив около себя топор. Один сумасшедший подкрался к нему, взял топор и со всего размаху отрубил ему голову. Затем он спрятал голову Семена у себя под кроватью и пошел с хитрым видом рассказывать другим сумасшедшим, как он ловко подшутил: «Когда Семен проснется и захочет понюхать табачку, он не найдет своего носа. Его нос у меня под кроватью».

Был еще рассказ о том, как сумасшедшие взбунтовались, заперли врачей и служителей дома душевнобольных и сами стали хозяйничать; но я не помню подробностей этого рассказа.

Рассказывая про сумасшедших случаи вымышленные и

никогда, вероятно, не случавшиеся, отец, несомненно, имел в виду не душевнобольных, а тех людей, которых принято считать душевноздоровыми. Его душевнобольные — в своем роде типы. Стекланный человек — это человек, вообразивший, что все окружающие хотят его толкнуть, то есть обидеть; вследствие своего ложного представления о самом себе и людях, он боится жизни и людей. Такие люди гибнут, когда приходят в серьезное столкновение с настоящей жизнью. И когда стекланный человека толкнули, он разбился. Сумасшедший, отрубивший голову Семену для того, чтобы тот не нашел своего носа, — это человек, легкомысленно убивающий себе подобных для забавы или из-за фантастической идеи. Сумасшедший, вообразивший себя грибом, — это человек, присосавший к тесному обиходу своей жизни и ограниченному кругу своего мирка, искусственно им созданного, и не желающий выйти на простор, на свежий воздух. Указан и способ лечения такого человека — расширение круга его действий и умственного кругозора.

Во всех рассказах о сумасшедших основой их болезни служит их неразумная мысль. У душевнобольных иначе и не бывает. Но большинство человечества также неразумно мыслит; поэтому отец считал большинство людей, которых принято считать здоровыми, — душевнобольными. Это видно из многих его последующих писаний. Так, в дневнике 1884 года 10 апреля (н. ст.) он пишет: «Я боялся говорить и думать, что все 99/100 сумасшедшие. Но не только бояться нечего, но пельзя не говорить и не думать этого. Если люди действуют безумно (жизнь в городе, воспитание, роскошь, праздность), то наверно они будут говорить безумное. Так и ходишь между сумасшедшими, стараясь не раздражать их и вылечить, если можно». Поэтому я думаю, что его рассказы о сумасшедшем, слышанные мною в семидесятых годах, были зародышами тех мыслей, которые позднее легли в основу его мирозерцания. Он считал, что ложное мышление — основная причина зла в мире; люди дурно живут не потому, что они злы по природе, а потому, что они неразумно мыслят; и они неизменяемы, как душевнобольные.

Одна сказка отца, слышанная мною в моем детстве, по-видимому, навеяна рассказом Гоголя «Нос». Приблизительно содержание ее таково.

Рассказ о носе

Где-то в толпе, кажется на бале, господин NN нечаянно толкнул одного турка, сильно ударив его по носу. Смертельно обидевшись, турок поклялся отомстить этому господину и отрезать ему нос. Он вызвал его на дуэль и настоял на том, чтобы дуэль произошла на саблях (эспадронах).

Г-н NN хорошо фехтовал, но на дуэли турок так стремительно на него накинулся, что он не успел отразить удар, и турок сразу отрезал ему нос. Бывший при этом доктор бросился останавливать ему кровь и делать перевязку, секунданты потребовали прекращения дуэли, а когда г-н NN спохватился, где же его нос, оказалось, что нос съела собака.

Оставшись без носа, г-н NN решил сделать себе новый нос, для чего обратился к лучшим докторам. Один доктор посоветовал ему найти человека, который согласился бы вырезать ему нос из своего тела.

— Но,— прибавил доктор,— вам придется быть пришитым к такому человеку шесть недель.

Г-н NN решил на это. Он нашел одного деревенского парня, который за хорошие деньги согласился на то, чтобы из его руки был вырезан нос, доктор пришил его лицо к руке этого парня, и в этом положении он прожил шесть недель. Затем, когда его лицо вполне срослось с рукой парня, доктор произвел операцию и вырезал ему новый нос.

Парень получил хорошее вознаграждение и уехал к себе в деревню, а г-н NN получил новый красивый, правильный римский нос; этот нос оказался гораздо лучше его прежнего носа.

Но недолго он радовался. В иные дни, особенно почему-то по праздникам, нос стал краснеть и пухнуть. Он опять обратился к доктору.

— Узнайте, что делает ваш парень,— посоветовал доктор.

Г-н NN отыскал парня, и вот что оказалось: в те дни, когда у него пух нос, парень напивался пьяным. Нельзя было сомневаться: пьянство парня неизменно отражалось на носе NN. Тогда он, будучи богатым человеком, взял парня в свой дом в качестве дворника, назначил ему хорошее содержание и стал следить за тем, чтобы тот не пил; однако это ему не всегда удавалось, и парень все-таки нередко напивался. В такие дни нос краснел и пух, а г-н NN сидел дома и пикуда не показывался.

Однако парень недолго прожил у него; он не выдержал

постоянного надзора за собою и сбежал неизвестно куда. А тем временем нос стал все чаще и чаще краснеть и пухнуть, сделался дряблым и губчатым и окончательно потерял свою красивую римскую форму. По-видимому, парень совсем спился.

А в один прекрасный день нос отделился от лица и отвалился.

Тогда г-н NN решил во что бы ни стало доискаться, что же случилось с парнем. И что же оказалось? В тот самый день, когда нос отвалился, парень умер.

И г-н NN остался на всю свою жизнь с гладким местом вместо носа.

Рассказы отца о сумасшедших и носе — это, по-видимому, один из многих сюжетов, которые бродили у него в голове и остались неиспользованными.

«Туту»

Следующую сказку отца, «Туту», я также слышал в своем детстве. Передам ее приблизительно, своими словами.

В дремучих тропических лесах водятся большие обезьяны, похожие на людей. Однажды трехлетний сын одного колониста забрел в лес и пропал. Отец мальчика вместе с другими колонистами пошел искать своего сына и после долгих и трудных поисков нашел его. Мальчик сидел под деревом в диком дремучем лесу и ел кокосовый орех. Не успел колонист подойти к нему, как откуда ни возьмись к мальчику подбежала громадная обезьяна, подхватила его на свои длинные мохнатые руки и вместе с ним быстро и легко взлезла на дерево. Ни отец мальчика, ни его товарищи не решились стрелять в нее; боялись попасть в мальчика. Обезьяна стала прыгать с дерева на дерево, за ней погнались, но она скоро скрылась вместе с мальчиком. Долго после этого отец мальчика не мог его найти. Наконец, он опять набрел на него. Опять мальчик сидел в дремучем лесу под деревом и ел кокосовый орех. Недалеко от него на суку сидела обезьяна. Колонист стал осторожно подкрадываться к своему сыну, но обезьяна увидела его и тоже подбежала к мальчику. Но не успела она до него добежать, как колонист выстрелил в нее и ранил в руку. Мальчик кинулся к обезьяне, крича: «Туту, Туту!» Обезьяна схватила его в охапку и полезла на дерево. Но от раны она ослабела, кровь текла из нее ручьем, и она выпустила мальчика из рук. Мальчик горько заплакал и потянулся за

ней, но колонист взял его на руки и не пустил. Товарищи колониста погнались за обезьяной, но она успела скрыться.

Колонист принес сына домой. Мальчик долго после этого поминал свою обезьяну и плача говорил: «Туту, Туту! Няня Туту! Дай мне Туту!»

Из его лепета можно было понять, что обезьяна нянчила и кормила его кокосовыми орехами и бананами, и он сильно привязался к ней.

VI

Отец всегда с особой нежностью вспоминал о своем старшем брате Николае, умершем в 1860 году от чахотки. Не буду повторять то, что он о нем писал. Между прочим, он говорил: брат Николай умел «ничего не делать», а это умеют не многие. И в самом деле, Николай Николаевич умел говорить, думать, рассказывать, читать и быть приятным людям, не делая какого-нибудь определенного дела. Нельзя сказать, что он не хотел «делать». Он пробовал быть военным, писателем, сельским хозяином, охотником, но не в этих делах проявилось его влияние на людей. Всюду, где он был, он вносил умственные и нравственные интересы, а в душе своего младшего брата он посеял семена, которые принесли обильный плод.

Я не знал своего дядю Николая Николаевича, но слышал от людей, его знавших, например от Д. А. Дьякова и А. А. Фета, а также от бывшей его прислуги самые теплые отзывы о нем.

Тургенев писал про него: «Золотой был человек: и умен, и прост, и мил». Фет писал, что он был «замечательный человек, про которого мало сказать, что все знакомые его любили, а следует сказать — обожали». «Смирение, которое Лев Толстой развивает теоретически, — писал Евгений Гаршин, — брат его применил непосредственно к своему существованию».

Отец рассказывал один забавный случай, показывающий щепетильность Николая Николаевича. Однажды он приехал к нему в его имение Никольское-Вяземское и не застал дома; брат был в яблоневом саду. Отец пошел в сад и видит: Николенька тихо сидит под яблоней и делает брату знаки, чтобы он молчал.

— Тсс, потише!

— Что ты здесь делаешь? — шепотом спросил отец.

— Тише, я смотрю, как поп Аким таскает яблоки из моего сада.

Оказалось, что отец Аким, молодой священник, только что выпущенный из бурсы, перелез через забор барского сада и, оглядываясь и не видя сторожа, набивал себе карманы яблоками. А хозяин сада смотрел и боялся одного: как бы поп Аким не заметил, что он его видит.

О детстве моего отца так много написано им самим и другими, что я затрудняюсь привести какой-нибудь его рассказ, еще неизвестный. Приведу только его рассказ о том, как он, будучи мальчиком, захотел удивить людей своим молодечеством. Однажды на прогулке, в большой компании, он хотел показать, что хорошо плавает, и бросился в речку Воронку одетый и в высоких сапогах. Это была неширокая речка, но в этом месте было глубоко. Он переплыл ее, но никак не мог выплыть на берег: сапоги, наполнившись водой, тянули его ко дну. Тогда бабы, сгребавшие сено на том берегу, со смехом вытащили его.

Подобный же случай был с соседом Толстых — Володенькой Огаревым.

Гуляя по яснополянскому парку, Володенька с презрением сказал про так называемый нижний пруд. «Разве это пруд? Через него можно перепрыгнуть!»

Дети Толстые, обиженные за пренебрежительное отношение к их пруду, предложили ему прыгнуть, что он и сделал. Но вместо противоположного берега он попал в самую середину пруда, откуда он — грязный, мокрый и сконфуженный, с трудом выкарабкался.

Вспоминая голод 1840-го года, отец рассказывал, как, гуляя с братьями по полям яснополянских крестьян, они рвали овес для своих лошадей, не понимая, что этот овес был нужен на пищу людям.

В своих воспоминаниях отец с любовью вспоминает о крепостной прислуге семьи Толстых, между прочим об официанте Тихоне, природном актере, как он его называл. Он рассказывал нам, как в его детстве Тихон потешал его и его братьев, стоя за обедом с тарелкой в руках. Пользуясь тем, что взрослые, сидевшие к нему спиной, его не видели, Тихон гримасничал и жестикулировал тарелкой. Взрослые этого не замечали и удивлялись, чему смеются дети.

Отец особенно дорожил своими воспоминаниями о Кавказе. Я не раз слышал от него рассказ о том, как он еле-еле ускакал от преследовавших его чеченцев, и другой рассказ о

том, как ядро ударилось о пушку, около которой он стоял.

Не менее, чем на Кавказе, он подвергался опасностям в Севастополе: 4-й бастион, где он стоял, был одним из самых опасных мест.

В самое горячее время ко рву 4-го бастиона верхом подъехал штабной офицер граф Алексей Васильевич Олсуфьев. Увидев по ту сторону рва Л. Н. Толстого, он стал ему кричать:

— Граф, получите пакет от главнокомандующего.

Л. Н. крикнул ему в ответ:

— Подъезжайте и передайте мне пакет.

Очевидно, Олсуфьев должен был переправиться через ров и передать пакет, а не Толстой идти к нему навстречу. Но в это время пальба усилилась, пули свистели, шрапнели рвались, и он не выдержал. Через ров не переправился, пакет не передал, сел опять на лошадь, повернул обратно и ускакал.

Этот рассказ я слышал как от моего отца, так и от самого Олсуфьева.

Находясь в 4-м бастионе, отец и его товарищи офицеры посылали своих слуг и денщиков с 4-го бастиона в Севастополь с поручениями — за покупками и т. п. Слуга моего отца Алексей Орехов был смел и не выказывал страха, когда ему приходилось проходить по месту, подверженному обстрелу. Наоборот, денщик другого офицера сильно трусил. И вот отец с горечью рассказывал:

— Как мы были легкомысленны и жестоки! Мы, бывало, нарочно посылали в город не Алексея, а трусливого денщика и смеялись над тем, как он пригибался от летающих снарядов и пуль.

Когда Малахов курган был взят союзниками и русское войско отступило на северную сторону Севастопольской бухты, решено было взорвать батарею на так называемом Павловском мыске, с которого союзники могли бы обстрелять весь город. Сообразили это поздно и не успели вывезти отсюда тяжелораненых. Тем не менее батарею вместе с ранеными взорвали. Отец говорил, что он видел офицера Ильина, только что исполнившего это поручение и спавшего крепким сном. Это был добродушный, здоровый, молодой человек.

Во время Крымской кампании отец сблизился с несколькими офицерами, с которыми впоследствии поддерживал приятельские отношения. Таковыми приятелями его были К. Н. Бо-

борыкин, впоследствии либеральный губернатор в Орле, Аркадий Дмитриевич Столыпин, впоследствии управляющий московской дворцовой конторой, адмирал Ильинский, кн. Сергей Семенович Урусов и др.

Отец два раза ездил за границу — в 1857 и зимой 1860/61 года.

Во время первой своей поездки он некоторое время жил в Париже. Там он видел, как гильотинировали человека, и это впечатление оставило в нем на всю жизнь отвращение к смертной казни и даже разочарование в европейской цивилизации.

В Париже он слышал много хорошей музыки. «Для французского искусства,— говорил он,— характерна законченность, отделка, «le fini». «Нигде,— говорил он,— я не слышал такого совершенного музыкального исполнения, как на концертах парижской консерватории».

Бывал он также в парижских театрах. Он считал французских актеров на комические и бытовые роли выше всяких других, особенно в пьесах Мольера. Французских трагиков и пьесы Корнеля и Расина он совсем не ценил; напускной пафос и ходульность были ему чужды.

В Швейцарии он поселился в Кларане, на берегу озера Лемана, в скромном пансионе, где его по ошибке записали под фамилией m. Folstoy (Фольстой). Так как в этом пансионе не знали его титула, к нему относились просто, не как к богатому русскому графу, и у него установились простые приятельские отношения с хозяйкой и другими постояльцами. Вообще он считал свое пребывание в Швейцарии одним из лучших своих воспоминаний пребывания за рубежом.

На пути домой он остановился в Баден-Бадене.

Между прочим, он рассказывал, как его тщеславие было польщено тем, что в Баден-Баденском парке он гулял вместе с важным придворным, другом императрицы Марии Александровны, графом Василием Дмитриевичем Олсуфьевым (отцом того Олсуфьева, который в Севастополе ускакал от пуль). Многие встречные почтительно кланялись Олсуфьеву. Но вот сам Олсуфьев кому-то низко и крайне почтительно поклонился. Это проходил прусский наследный принц Вильгельм, впоследствии император Вильгельм I. Когда отец увидел, что тот человек, знакомством с которым он так гордился, сам низко кланяется, он понял нелепость своего тщеславия.

Вторая заграничная поездка отца была вызвана болезнью его брата Николая и омрачена его смертью.

Это, однако, не помешало ему плодотворно использовать свое пребывание за границей. Там он изучал педагогическое дело и познакомился со многими выдающимися людьми: с писателем Бертольдом Ауэрбахом, с известными педагогами Фребелем и Дистервегом, с Герценом, Прудоном и другими.

Отец был в Италии короткое время, вскоре после смерти брата. Может быть, поэтому Италия и не произвела на него сильного впечатления. Однако южная природа, особенно Неаполь, и некоторые произведения искусства его поразили. Про свое пребывание в Неаполе он говорил, что восхищался красотой Неаполитанского залива, но что для нас, северян, южная природа вредна, — слишком нас возбуждает. Он остался довольно холоден к картинам с мадоннами и вообще к итальянской живописи, но непосредственно воспринял красоту античной скульптуры. Он мне это говорил, когда я после своей поездки в Италию передавал ему свое восхищение античной скульптурой. Памятники Римской империи, папства и эпохи Возрождения, по-видимому, не оставили глубокого следа в его памяти; помню только, что он с интересом рассказывал нам про раскопки в Помпее, где его заинтересовал быт того времени. По-видимому, итальянское и античное искусства не были нужны для выработки его мировоззрения, и в своем дневнике он лишь вскользь упоминает о своей поездке в Италию.

В Лондоне он был в парламенте, где слушал трехчасовую речь Пальмерстона; он приводил эту речь как блестящий образец техники красноречия, но она оставила его холодным. В Лондоне же он присутствовал на публичном чтении Диккенса. Он говорил, что Диккенс читал превосходно и тронул его до слез.

В начале 50-х годов отец был предубежден против Герцена, но со времени своей второй заграничной поездки изменил свое мнение.

В 1861 году в Лондоне, познакомившись с Герценом, он в продолжение полутора месяцев часто виделся с ним и вел продолжительные разговоры. От этого знакомства осталась фотографическая карточка Герцена и Огарева с автографом Герцена, подаренная им отцу в день отъезда. В тот же день получено было известие о манифесте 19 февраля 1861 года.

Герцен был симпатичен отцу не только как писатель, но и как человек. Он говорил, что Герцен был подвижной, энергичный и увлекающийся сангвиник, красноречивый собеседник, блестящий остроумными сравнениями и сопоставлениями, из которых приходил к неожиданным заключениям.

Про паружность Герцена он говорил, что почему-то ему казалось характерным сложение его тела — малый рост при сравнительно широком тазе.

Отец разделял с Герценом его ненависть к Николаю I и крепостному праву. Он нередко повторял следующее мнение Герцена о Николае I, применяя его вообще к деспотическому правительству: «Чингис-хан был, конечно, очень страшен и бороться с ним было трудно. Но еще страшнее Чингис-хан, когда к его услугам находятся пушки, железные дороги, телеграфы, и вообще все приобретения современной техники. С таким Чингис-ханом почти невозможно бороться».

Между прочим, он передавал следующий рассказ Герцена.

Однажды Герцен, идучи по лондонской улице, наткнулся на ковер, разостланный по тротуару перед подъездом одного богатого дома. Два лакея стояли по бокам этого ковра и не позволяли наступить на него, и прохожим приходилось обходить это место. По-видимому, ждали приезда какой-то важной особы. Герцен, однако, не сошел с тротуара, а, сильно толкнув лакея, прошел по ковра. Тогда этот лакей, которого он столкнул, крикнул другому: «Let him pass. He is a gentleman»¹.

— Англичане — народ аристократический, — говорил по этому поводу отец. — Они чтут в своих джентльменах не только их наследственные черты, привилегированное положение и богатство, но и силу, как умственную, так и физическую. Англичане говорят про своих аристократов: «Our betters» — наши лучшие люди. Русские своих аристократов так не называют.

О семейной драме Герцена отец говорил, что она произошла отчасти потому, что люди того времени, в том числе Герцен, легко смотрели на измену жене с горничной или проституткой, женщины же к этому легко отнестись не могут.

Впоследствии отец еще больше ценил Герцена. Он говорил, что запрещение в России произведений Герцена сделало то, что значительное течение русской мысли осталось неизвестным русскому обществу, и это было причиной одностороннего, а в некоторых случаях и уродливого направления русской интеллигенции.

Он также находил верным мнение Герцена о славянофилах. Славянофилы, говорил Герцен, хотят напомнить народу то, что народ хочет забыть: православие и самодержавие. Однако Герцен придавал большое значение сельской общине и артели для будущего России. Отец был такого же мнения.

¹ «Пропусти его. Он — джентльмен» (англ.).

В своем детстве и ранней юности, воспитанный в помещичьей среде, отец относился к крепостному праву как к чему-то по необходимости существующему. Даже его воспитательница, добрейшая женщина, тетенька Т. А. Ергольская, думала, что иначе не может быть. Перед освобождением она в недоумении спрашивала: «когда крестьян отпустят, кто же нам будет служить?» Таков был взгляд многих недурных людей того времени.

Отрицательное отношение к крепостному праву возникло у Льва Николаевича позднее, по выходе его из университета, когда он стал, еще совсем юношей, хозяйничать в Ясной Поляне. Замечательно, что тогда он на опыте убедился в том, что хозяйство не может правильно идти при крепостном труде. Эту мысль он ясно выразил в «Утре помещика», задуманном им очень рано — почти одновременно с «Детством». Но это было еще не совсем сознательное отношение к крепостному праву.

В продолжение нескольких лет, проведенных на Кавказе и на войне, среди солдат и вольных казаков, ему мало приходилось задумываться над вопросом о крепостном праве. Но с 1855 года, по возвращении в Центральную Россию, у него уже сложилось определенное отрицательное отношение к нему. Оно особенно ярко выразилось в рассказе «Поликушка».

В конце 50-х годов он перевел своих крестьян на оброк. Он решил, что доходов с имения будет брать себе только 2 000 рубль; с таким расчетом он вычислил размер оброка и с небольшими отступлениями держался этого расчета несколько лет.

При разверстании с крестьянами в 1861 году он поступил так, как поступали либеральные помещики того времени, но не более того. Он отказался от всяких отрезков и от платы за усадьбы крестьян; затем он немедленно перевел крестьян на выкуп. Крестьяне получили полный надел, определенный им по закону, к одной меже и без чересполосицы с помещичьей землей. Но впоследствии он каялся в том, что не сделал большего.

Однажды я спросил его, приходилось ли ему покупать и продавать людей. Он ответил, что ему приходилось это делать по необходимости — только в тех случаях, когда девушки его деревни выходили замуж за крестьян других помещиков или когда девушки из других деревень выходили замуж за крестьян его деревень.

Вспоминаю рассказ одного крестьянина, слышанный мною от моего отца. В конце 50-х годов этот крестьянин предсказывал, что воля, паверное, объявится, и вот почему:

— Иду я как-то полем, — говорил он, — в сумерки, один-одинешенек; на небо пашла темная, темная туча, а над тучей светло. И вдруг: из тучи вылезли длинные, длинные мужицкие ноги, в лаптях, и стали тянуться к земле. Тянулись, тянулись и дотянулись. А как вступили эти ноги на землю — пошли ходом, как были, в лаптях, прямо по полю, от меня прочь. Это значит: наверное, воля будет.

В молодости отца случалось, что он, рассердившись, прибегал даже к насилию. Вспоминаю следующий его рассказ. В 1865 году он вместе с Софьей Андреевной и с ее еще незамужней сестрой Татьяной Андреевной проводил лето в своем втором имении, Никольском-Вяземском. С. А. вместе с сестрой пошла купаться в речке Черни. В том году прилегающий к речке Лядовский лес был продан на сруб купцу Черемушкину; лесная контора находилась недалеко от того места, где сестры купались. В то время, как они были в воде, мимо проходил лесной приказчик. Он остановился и стал говорить какие-то пошлости и, несмотря на просьбы сестер, оставшихся в воде, долго не уходил. Придя домой, они рассказали об этом Льву Николаевичу. Он страшно рассердился и, как впоследствии рассказывал, побежал в лесную контору и «обломал свою палку» о спину приказчика.

VII

До 80-х годов отец довольно много занимался хозяйством в Ясной Поляне и отчасти в Никольском-Вяземском, а позднее также и в своем самарском имении.

В хозяйничании Льва Николаевича сказался его характер. Он увлекался то той, то другой отраслью хозяйства и искал в хозяйстве новых приемов и новых отраслей. Некоторые его предприятия были хорошо задуманы, но хозяйство не было главным делом его жизни; он уделял ему недостаточно времени, и у него не хватало выдержки. К тому же в хозяйстве люди и природа его интересовали гораздо больше, чем выгода.

Помню, что в моем раннем детстве в Ясной Поляне была пасека, потом было много свиней, потом много овец, потом были прекрасные коровы. Но пасека просуществовала недолго; про свиней моя мать рассказывала, что на них напала какая-то странная болезнь, происшедшая, по определению ветеринара, от голода. Это случилось потому, что к свиньям был приставлен бывший старшина, выгнанный со службы за растрату: он воровал корм, даваемый свиньям. Разводить овец в лесной местно-

сти оказалось невыгодным: они объедали молодые побеги деревьев и давали плохой навоз. Коровы давали мало молока, потому что их рационально не кормили и педодавляли, а молоко расходовалось по родным скотникам и допльщиц.

Сравнительно выгодными предприятиями отца были отдача земли под пастьбу гуртов, посадки деревьев на запольных землях и расширение яблоневого сада,— может быть, потому, что эти отрасли хозяйства не требовали постоянного участия хозяина.

В 60—70-х годах вола переправлялись из Украины в Москву и Петербург не по железной дороге, а гоном; по пути они паслись на специально для этого арендуемых землях. Под такие пастбища на выгодных условиях отдавалось около полутораста десятин яснополянской земли. Бывало, летом, чуть ли не ежедневно, между шоссе и старой дорогой пасся один, а то и два или три гурта дымчатых флегматичных красавцев — украинских волов с большими рогами; их гнали на убой в Москву и Петербург. Гуртовщики жили в палатках, ночью разводили костры, видные издали. Когда впоследствии гонять волов было запрещено из-за эпизоотий, их стали возить по железной дороге; тогда отец отдал землю из-под пастбища волов яснополянским крестьянам исполу под хлеба; первые года на этой земле, удобренной многолетним пастбищем, получались хорошие урожаи, поправившие благосостояние крестьян.

Выгодной статьей в хозяйстве был лес. Чтобы увеличить свое состояние, отец мало рубил свои леса. Он считал, что лес — это капитал, который путем естественного прироста сам по себе накапливается. «Леса — это приданое дочерям», — говорила моя мать.

Несмотря на то, что леса охранялись объездчиком и лесными сторожами, порубки, конечно, были; но отец никогда не обращался в суд. Около деревни была роща, из которой крестьяне довольно свободно брали лес для своих надобностей, на что отец смотрел сквозь пальцы.

Некоторые березовые посадки, посаженные отцом, через 35 и 40 лет были вырублены и дали хороший доход, а от корней берез опять вырос лес.

Посадки яблонь очень расширили яблоневый сад, дававший в некоторые годы громадный урожай яблок. Но часть посадок была сделана на северном склоне, и яблони росли очень туго. Ухода за садом почти не было — его не обрезали и не опрыскивали, и со временем он пришел в запущение.

Хозяйством в Ясной Поляне лет 20, до своей смерти в 1881 году, заведовал приказчик Алексей Степанович Орехов,

бывший с детства слугою отца. Это был добрый, степенный, сравнительно честный, но вялый человек и большой консерватор в хозяйстве. Правильного счетоводства он не вел. Вообще Ясная Поляна давала мало дохода, особенно потому, что усадьба поглощала большое количество получаемых с имения продуктов: молоко, муку, сено, овес для лошадей и пр., и много денег и продуктов расходовалось на поденных, служащих и их семьи.

Другое имение отца — Никольское-Вяземское — перешло к Толстым как приданое моей прабабки П. Н. Горчаковой. После смерти ее мужа, Ильи Андреевича Толстого, оно было взято в Опекунский совет за долги, но затем выкуплено его сыном, Николаем Ильичем.

В 1847 году, по разделу между братьями Толстыми, оно досталось старшему брату, Николаю Николаевичу, а после его смерти, в 1860 году — моему отцу. Это имение находилось в Чернском уезде, на реке Черни, в 100 верстах к югу от Ясной Поляны, в 15 верстах от имения И. С. Тургенева Спасское-Лутвиново и в 12 верстах от имения Фета Повоселки, в двадцати верстах от Покровского, имения В. П. Толстого, мужа моей тетки Марьи Николаевны, и в таком же расстоянии от Черемощни, имения старого друга нашей семьи — Д. А. Дьякова.

В конце 50-х годов в Никольском жил дядя Николай Николаевич, и у него нередко бывали мой отец и соседи — Дьяков, Фет, Тургенев, Борисов и другие.

Отец жил в Никольском в то время, когда произошла ссора между ним и Тургеневым. Богословский погост, близ которого он предлагал Тургеневу стреляться, находился как раз на полдороге между Никольским и Спасским.

Никольское-Вяземское — довольно большое село. Жители его в прежнее время были бедны и серы и жили по-старинному; избы их топились по-черному, одежда была домотканая, бабы одевались в поповы и сарафаны, в праздничные дни вдевали в уши пушки и пели старинные песни. Описание в «Воскресении» дальней деревни, где Нехлюдов предлагал крестьянам свой земельный проект, напоминает Никольское-Вяземское.

Земли в имении было около 1 200 десятин. Приблизительно треть имения была под хорошо забережённным листовым лесом, в котором постоянно водился выводок волков.

Усадьба находилась на красивом высоком месте. Внизу протекала речка Чернь и шумела мельница. Старый дом, в котором когда-то жили князь Горчаков и его зять, дед моего

отца И. А. Толстой, уже не существовал — он развалился; вместо дома был небольшой флигель, крытый соломой. Остальные постройки были также довольно первобытны.

Вблизи дома стояла церковь, выстроенная моим дедом Н. И. Толстым, во исполнение обета, данного им на войне.

При Н. Н. Толстом имением управлял строгий бурмистр дореформенного типа, Петр Евстратов Воробьев, а потом, кажется с 1862 года, управляющим поступил Иван Иванович Орлов, из духовных, бывший учителем в одной из учрежденных моим отцом школ в Крапивенском уезде. Он управлял имением 28 лет — до 1890 года и, хотя раньше хозяйством не занимался, первое время хорошо вел дело и давал порядочный доход; потом он стал пить и запустил дело. С крестьянами он был строг, но справедлив, и никогда не судился, за что они его уважали. Я слышал про него, что, рассердившись, он хватал человека двумя пальцами за нос и, крепко сжимая пальцы, водил его из стороны в сторону. Лицом он был похож на дореформенного подьячего и у него была привычка чуть ли не к каждому слову прибавлять букву «с» (сокращенное «сударь»). Рассказывали, что даже лошади, на которой он спускался с горы, он говорил: «Здесь круто-с; потише-с! Тпру-с, тпру-с».

Один крестьянин села Никольского, Тихон Малахов, был известным конокрадом, которого все боялись. Иван Иванович, предполагая, что конокрад не будет у своего хозяина красть лошадей, нанял Тихона в лесные объездчики. И действительно, с поступлением Тихона лошадей в имении не крали, но порубки участились, и пришлось Тихона уволить. После этого как-то Иван Иванович встретился с Тихоном один на один в лесу, и, как мне рассказывал Иван Иванович, между ними произошел такой разговор:

— Напрасно вы меня уволили,— сказал Тихон,— как бы вам хуже не было.

— Какое худо-с? — спросил Иван Иванович.

— Мало ли какое; может, у вас скотина пропадет... или красный петушок...

— Красный петушок-с! красный петушок-с! — заволновался Иван Иванович.— Так знайте-с, если у меня что-нибудь загорится, то вся ваша слобода сгорит-с, начиная с вашего дома-с. Так-то-с.

Я уверен в том, что Иван Иванович не исполнил бы своей угрозы, но она, по-видимому, подействовала, и ни пожара, ни увода лошадей у Ивана Ивановича не произошло.

В хозяйстве у Ивана Ивановича были оригинальные приемы. Так, например, он ничего не страховал, находя это убыточным, но хозяйственные постройки построил далеко друг от друга, для того чтобы в случае пожара огонь с одной постройки не перекинулся на другую. Последствием этого было рововство из дальних построек и большой расход на сторожей. Или, например, он разбрасывал солому в поле и запахивал ее, как навоз, говоря, что не стоит держать скотину из-за навоза. Крестьяне этим пользовались и ночью увозили солому к себе. Несмотря на эти странности, Иван Иванович выгодно хозяйничал, сажал много картофеля и продавал его па винокурный завод или поставлял свеклу на соседний сахарный завод Нагорнова.

Одно время Иван Иванович предлагал отцу построить в Никольском крахмальный завод, что было выгодно, но отец, боясь риска, не дал ему на это денег.

Заговорив об Иване Ивановиче, я вспоминаю, как однажды отец, когда мы с ним верхами возвращались с охоты, задал мне вопрос, который иногда любил задавать:

— О чем ты сейчас думаешь?

Не помню, что я ответил, но, осмелившись, я в свою очередь спросил его, о чем он сейчас думал.

Он усмехнулся и сказал:

— Я думал о том, честен ли Иван Иванович и как неприятно подозревать кого-нибудь в нечестности.

— А ты считаешь Ивана Ивановича честным? — спросил я.

— Да, я думаю, что он честен.

Отец изредка ездил в Никольское-Вяземское, проверял Ивана Ивановича и был с ним в переписке, а иногда Иван Иванович приезжал с отчетом в Ясную Поляну.

VIII

В былое время многие помещики на охоту смотрели скорее как на дело, чем как на забаву. Например, я знал одного небогатого помещика Богородицкого уезда, Василия Николаевича Бибикова, который так серьезно относился к охоте, что, предполагая охотиться на матерого волка, утром брился и надевал чистую рубашку, подобно римлянам перед битвой. Мой дед Николай Ильич и его сыновья все были охотниками. Николай Николаевич много охотился на Кавказе. Сергей Николаевич, бывало; уезжал на несколько недель «в отъезжее поле», а как

Лев Николаевич любил охоту, можно видеть из его произведений.

Охота для моего отца не была предлогом, для того чтобы побыть в веселой компании, приятно позавтракать на лоне природы или потщеславиться своим выездом и собаками. На охоте он любил одиночество, природу и то особое охотничье настроение, когда охотник, созерцая природу или страстно гонясь за добычей, забывает всякие житейские дразги; на охоте же он задумывал свои произведения. Он говорил, что только охотник и земледелец чувствуют красоту природы.

Он охотился разными способами: с легавой, с гончими и с борзыми.

Я с детства помню любимца нашей семьи — желтого ирландского сеттера, умную ласковую Дору; отец назвал ее Дорой по имени героини романа Диккенса «Давид Копперфильд». Позднее, другая собака — Боффин — была также названа именем одного из героев Диккенса. С Дорой отец ездил на болота за дупелями, бекасами, утками, тетеревами и вальдшнепами. Он стрелял хорошо и был неутомим, так что Дора уставала раньше него: бывало, начнет часто дышать, высуня язык, и смотрит ему в глаза с мольбой не посылать ее больше в болото; когда же все-таки он ее посылал, она хитрила, вела в поле и притворялась, что делает стойку на перепелов.

Отец в то время не только не был вегетарианцем, но без жалости убивал животных на охоте. Так, например, подстрелив птицу, он так добивал ее: выдернет перо из ее крыла и вонзит перо ей же в голову. Нас он учил поступать таким же образом.

Другая охота с ружьем — была охота с гончими. Не охотник не поймет прелести гона гопчих, когда какой-нибудь Будило вдруг залетит по свежему следу зайца или лисицы, к нему присоединятся голоса других собак, дружный хор всей стаи быстро к вам приближается... и вдруг через поляну, где вы стоите, пробегает заяц или лисица. Прелести этой охоты много способствовала красота осеннего леса, особенно Засекп, этого огромного, дикого, безлюдного леса.

У нас не было много собак. Гончих бывало два-три смычка, борзых — две-три своры (по две собаки на смычок и свору). Собаки назывались отцом согласно с охотничьими традициями. Гончие назывались: Шумило, Будило, Звонило, Змейка и т. п.; борзые — Жиран, Туман, Поражай, Лебедь, Ерза, Крылатка, Милка и т. п. Отец был недоволен, когда заведовавшая собака-

мп Агафья Михайловна назвала гончую. Купцом за ее толщину, а борзую за вороватость — Жуликом.

Для кормления их и ухода за ними назначался обыкновенно кто-нибудь из служащих — дворник, объездчик или конюх, но, в сущности, заведовала собаками Агафья Михайловна, бывшая когда-то горничной моей прабабки Пелагеи Николаевны, затем экономкой и наконец «собачьей гувернанткой», как мы ее называли. Она любила всяких животных и особенно пристрастилась к собакам. Живя на пенсии, она бескорыстно занималась ими и нередко тратила на них свои деньги.

Больше всего отец охотился с борзыми. Борзые у него были не лохматые — псовые, а полукровные английские или «хортые», с гладкой шерстью, породы Тучковых.

Охотились мы впаздку. С нами обыкновенно ездили конюх или дворник, приставленный к собакам, иногда гости или кто-нибудь из прислуги — любители охоты. Например, одним из таких охотников по призванию был крестьянин Ясной Поляны Михаил Зорин.

С утра мы выезжали верхами с собаками на сворах и равнялись по полям, то есть ехали на некотором расстоянии друг от друга, с тем чтобы «наехать» на зайца или на лисицу. В овражках с кустиками, в густой траве, в картофельных полях мы хлопали арапниками, чтобы поднять зайца, а когда он выскакивал, мы кричали: «Ату его!» и скакали за ним. А когда удавалось «подозреть» зайца, то есть увидеть его на лежке, то надо было немного отъехать от него, чтобы не испугать, и, подняв арапник, протяжно кричать: «А-ту е-го...» И только когда остальные охотники съезжались, зайца выпугивали, и начиналась травля.

Отец научил меня всем охотничьим приемам, и одно время я очень любил эту охоту. Бывало, едешь себе шагом на доброй лошадке, с двумя собаками на своре, движениями рук, больше чем словами, разговариваешь с лошадей и собаками, осматриваешь межки и хлопаешь арапником по дубовым кустикам или по высокой траве. Голые поля наводят тихую грусть и в то же время страстно хочется наехать на зайца или лисицу.

Вдруг из-под межки выскакивает наполовину выцветший русак, выбрасывая задними ногами и подняв кверху свой пушок (хвостик). Куда девалась тихая грусть! Я спускаю со своры собак, кричу отчаянным голосом: «А-ту е-го! А-ту е-го!» и скачу за зайцем. Остальные охотники также как с цепи сры-

ваются и скачут за собаками. Обыкновенно, прежде чем поймать зайца, собаки делают ему угонки: какая-нибудь собака догонит зайца, хочет его схватить, а он увильнет в сторону, и она пронесется мимо; зайца догоняет другая собака, он опять увильнвает и т. д., пока его не схватит какая-нибудь собака или пока он не уйдет, то есть добежит до леса, где и скроется. Охотники ценили особенно ту собаку, которая делает первую угонку. Вот Милка сделала первую угонку, Ерза — вторую, а старый Жиран, пользуясь этим и скакнув зайцу наперерез, схватывает его и кубарем катится по земле вместе с ним. Тотчас же остальные собаки прискакивают и хватают зайца; вокруг него образуется кружок собак; он кричит, как ребенок.

Я прискакиваю, прыгиваю с лошади, отгоняю собак, закалываю зайца, отрезаю лапки (пазанки), бросаю их собакам, а зайца вторачиваю за седло. Странно, что при этом я не испытываю чувства жалости к зайцу, неприятно только слышать его крик.

Охота на лисиц происходит тем же порядком; только, увидев лисицу, кричат не «ату его», а «у-лю-лю». Лисица бежит тише зайца, и в чистом поле собакам легко ее поймать, несмотря на ее увертки; трудность состояла в том, чтобы издали увидеть ее и показать собакам.

Иногда охота внаездку приводила к неприятным столкновениям. Случалось, что какая-нибудь борзая, спущенная со своры, хватала овец в крестьянском стаде. Такую собаку отец нещадно бил или приказывал бить арапником, причем собаку крепко держали за ее заднюю ногу, для того чтобы она не могла укусить. Если же в следующие охоты эта собака продолжала хватать овец, ее убивали. За овец, конечно, отец платил втридорога. Однажды он затравил желтую собаку, издали приняв ее за лисицу. Случалось также, что крестьяне протестовали против езды по их зеленым, в чем они были правы; в сырое время года проезд охоты по зеленым оставлял на них глубокие следы. Однако неприятности с крестьянами случались редко и обыкновенно мирно улаживались, так что никогда до суда не доходило.

Самая приятная и добычливая охота была по пороше, когда мы находили зайцев по следам, и когда зайцы, благодаря их коротким передним ногам, не могли быстро бежать по глубокому снегу. В порошу удавалось затравить до десяти зайцев в несколько часов.

После переезда в Москву отец постепенно оставил охоту. Не помню точно, когда он в последний раз охотился. Собаки понемногу перевелась. Агафья Михайловна постарела и затем умерла, осенью нам надо было жить в Москве, и только мои младшие братья продолжали охотиться, но большею частью уже не с борзыми, а с легавыми или гончими собаками.

Я с удовольствием вспоминаю, как я охотился вместе с отцом. В то время он непосредственно, не рассуждая, отдавался своему спортивному чувству, и это чувство испытал и я.

С ОСЕНИ 1881 ГОДА ДО ОСЕНИ 1898 ГОДА

ПЕРВАЯ ЗИМА В МОСКВЕ (1881—1882)

В августе 1881 года моя мать, несмотря на свою беременность, поехала в Москву, много ездила по городу, ища подходящую квартиру, и, наконец, наняла квартиру в доме кн. Волконского в Денежном (позднее Малом Левшинском) переулке.

Отец переезжал в город, потому что уже давно обещал матери зимой жить в Москве, но, как он писал А. А. Бибикову, не мог без ужаса подумать об этом. Мать страстно стремилась переехать; я смотрел на переезд и поступление в университет, как на давно желанное и естественное следствие окончания мною гимназического курса, а сестра Таня мечтала о «выездах в свет» и предполагала учиться живописи, к которой у нее уже тогда обнаружились большие способности. Наоборот, Илья боялся гимназии, и ему жаль было лишиться в осеннее время охоты, к которой он пристрастился. Остальные — Лева, Маша, Андрей и Миша — были слишком юны, чтобы определенно чего-либо желать.

В 1881 году финансовые дела нашей семьи были в блестящем состоянии. Я говорю — финансовые дела *нашей* семьи, а не отца, потому что отец всегда считал, что его состояние принадлежит не только ему, но и всей его семье, и для него не было вопроса о том, чтобы дать матери столько денег, сколько ей понадобится. В то время у него скопилось много денег. Он продал мельницу в Никольском-Вяземском за 9 500 рублей, продал часть леса (Заказа) в Ясной Поляне, не помню за сколько, и получил за Полное собрание своих сочинений 25 000 рублей от бр. Салаевых.

В 80-х годах я держался несколько в стороне от семьи. Под

влиянием отца и В. И. Алексеева я понял, или, лучше сказать, почувствовал несправедливость тогдашнего строя жизни и контраста между жизнью людей нашего круга, в том числе нашей семьи, с жизнью крестьян, — я говорю «крестьян», потому что их бедность я знал, а городскую нищету я знал мало. Но хотя я был под сильным влиянием отца, я мало вникал в его толкование Евангелия и христианского учения, хотя бы очищенного от догматов и чудес. У меня в то время сложились какие-то неопределенные радикальные взгляды. Повлияло чтение оппозиционной литературы — Писарева, «Отечественных записок», «Что делать?» Чернышевского, Помяловского и др. Повлияли также Богоявленский, ставший медиком первого курса, и мои товарищи по тульской гимназии — Блеклов и Хитров. Я был настроен враждебно по отношению к правительству, чиновникам, богатым людям и православной церкви и сочувствовал революционному движению. Меня привлекали студенчество, сходки, прокламации и т. п. Только поемногу эти мои взгляды изменились и заменились тем, что называется либеральным буржуазным мировоззрением. Одно, что не изменилось, было отношение к науке. Я верил, что только наука, особенно математика и естественные науки, есть истинное знание, и никогда не мог согласиться с отцом в его нападки на науку. Признаюсь, что, несмотря на мой радикализм, светское общество, в котором вращались моя мать и сестра Таня, и светские удовольствия меня тоже привлекали. Но я отрицательно относился к визитам, балам, танцевальным вечерам и т. п. К тому же плохо танцевал, и у меня не хватало денег на то, чтобы так же элегантно одеваться, как мои светские сверстники. В продолжение всей своей студенческой жизни я метался из стороны в сторону: от светского общества к обществу радикальной интеллигенции, от христианских воззрений отца к атеистическим научным взглядам, от упрощения жизни к удовольствиям — вечерам у знакомых, ресторанам, поездкам к цыганам и т. п.

Особый интерес для меня представляла музыка, которую я в то время знал только, как игру на фортепiano. Я так увлекался пианизмом, что одно время думал поступить в консерваторию; но совместить консерваторию с естественными науками было невозможно, и университет перетянул консерваторию.

В конце августа я поехал в Москву, для того, чтобы оформить мое поступление в университет. Там я прожил один до 15 сентября. С этого времени я стал жить более или менее са-

мостоятельно. Родители назначили мне 40 рублей в месяц на расходы — одежду, конку, извозчиков, плату за лекции и пр. при готовом столе и квартире. При нашем образе жизни и наших знакомствах это было немного, и в последующие годы эта сумма была увеличена до 100 рублей.

Я так мало знал город, что даже спрашивал прохожих, где находится университет. В университете я встретил своих товарищей по тульской гимназии; из них Блеклов, Хитров, Вл. Любенков также поступили на естественное отделение физико-математического факультета.

В начале сентября лекции еще не начинались, знакомых и родственников в городе почти не было, и я недели две бродил по Москве без дела. Я ходил обедать в кухмистерскую, учрежденную студентами на товарищеских началах. Она оказалась далеко не образцовой, была грязна и плохо организована. Прислуги не хватало. Из хлеба, нарезанного кусками и лежавшего на большом блюде, каждый брал сколько хотел, нередко грязными руками и неаккуратно, так что куски крошились и хлеб превращался в смесь мякиша, корок и крошек. Но мне в то время все студенческое нравилось, и я с удовольствием смешивался со студенческой толпой.

Около 15 сентября в Москву переехала вся наша семья: родители, братья, сестры, англичанка мисс Кэрри, француженка m-lle Guillot, которую мы называли m-lle Гпиле, няня Андриуши и Миши — Анна Степановна Суколенова, лакей Сергей Петрович Арбузов, горничная Варя и не помню еще кто из прислуги. Поваром к нам поступил нанятый в Москве Петр Васильевич, добрейший человек, любивший выпивать. Наш старый повар Николай Румянцев и старая няня Мария Афанасьевна остались в Ясной Поляне, и им была назначена пенсия.

Первое впечатление от дома Волконского — было разочарование. Вот что пишет моя мать своей сестре Т. А. Кузминской 20 сентября 1881 года:

«Сели мы во второй класс. Теснота до самой Москвы ужасная <...> Вошли в дом. Встретили Ольга и Петя, и на столе чай, ростбиф и все, как следует. Но все, несмотря на то, что похвалили дом, пришли сейчас же в уныние, и это уныние и тоска шли три дня усиливаясь. Дом оказался весь как карточный, так шумен, и потому ни Левочке в кабинете, ни нам в спальне нет никогда покоя. Это приводит меня часто в отчаяние, и я нахожусь весь день в напряженном состоянии, чтоб не слишком шумели.

Наконец у нас было объяснение. Левочка говорил, что если бы я его любила и думала бы о его душевном состоянии, то я бы избрала бы ему этой огромной комнаты, где ни минуты нет покоя, где всякое кресло составило бы счастье мужика, то есть эти 22 рубля дали бы лошадь или корову, где ему плакать хочется и т. п.

Но теперь все это непоправимо.

Конечно, он довел меня до слез и отчаянья, я второй день хожу, как шальная, все в голове перепуталось, здоровье очень дурно стало и точно меня пришибли.

Можешь себе представить, как легко теперь жить да еще две недели до родов осталось, а хлопот, работы и дела без конца <...>.

Вообще до сих пор никто не доволен переездом, и мне это очень грустно. Илюша тоскует по Ясной, по охоте главное, и стремится съездить туда. Таня же все говорит, что в Ясной лучше.

Мне было бы в Москве лучше, если бы кругом меня все были счастливы».

Дом Волконского на самом деле оказался вроде карточного. Расположение комнат было таково, что в каждой комнате шум и разговор из других комнат был слышен. Это мешало работе отца, мешало и мне: я почти не находил времени играть на фортепиано, а когда было время, я боялся мешать отцу.

Предполагалось, что Илья и Лева поступят в гимназию. Отец справлялся об условиях приема в казенных гимназиях; там у него потребовали подписку о «благонадежности» его сыновей; он отказался и возмутился таким требованием. Он говорил: «Я не могу дать такую подписку даже за себя. Как же я ее дам за сыновей?»

Случайно он узнал, что в самом близком соседстве от нашего дома находилась частная гимназия Льва Поливанова. Он зашел туда, встретил там своего прежнего знакомого Евгения Львовича Маркова (бывшего в 60-х годах преподавателем тульской гимназии) и познакомился со Львом Ивановичем Поливановым и учителями. Впечатление его от этой гимназии было лучше, чем от казенных гимназий; подписки от него не потребовали, и он решил отдать туда Илью и Леву. После легкого экзамена они были приняты сверх комплекта. Для обучения меня музыке отец пригласил профессора консерватории Н. Д. Кашкина, с которым познакомился в 1878 году, а для сестры Тани он попросил В. Перова, с которым был знаком ранее, высказаться о ее способностях к живописи. Перов на-

шел, что она очень способна, и она была принята в художественное училище.

Моя мать писала сестре своей Т. А. Кузнецкой 14 октября:

«Завтра месяц, как мы тут, и я никому ни слова не писала. Первые две недели я непрерывно и ежедневно плакала, потому что Левочка впал не только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию. Он не спал и не ел, сам à la lettre¹ плакал иногда, и я думала просто, что я с ума сойду. Ты бы удивилась, как я тогда изменилась и похудела. Потом он поехал в Тверскую губернию, виделся там с старыми знакомыми Бакуниными (дом либерально-художественно-земско-литературный), потом ездил там в деревню к какому-то раскольнику-христианину, и, когда вернулся, тоска его стала меньше.

Теперь он наладился заниматься во флигеле, где нанял себе две маленькие тихие комнатки за 6 рублей серебром в месяц, потом уходит на Девичье поле, переезжает реку на Воробьевы горы и там пилит и колет дрова с мужиками. Ему это и здорово и весело.

По вечерам почти всякий день кто-нибудь бывает, что никого не стесняет, а иногда очень приятно <...> Теперь с Левочкой и я повеселела и поздоровела».

Моя мать утешалась только тем, что «для Сережи, очевидно, благодеяние, что мы в Москве»; так она писала сестре. Она была в мрачном настроении не только потому, что отец был удручен. На днях она должна была родить, и 31 октября у нее благополучно родился мальчик Алеша.

Отец был в мрачном и беспокойном настроении. Во второй половине ноября 1881 года он писал В. И. Алексееву: «Представляется прежде одно из двух: или опустить руки и страдать бездейтельно, предаваясь отчаянию, или мрпиться со злом, ватуманивать себя винтом, пустомельем, суетой. Но, к счастью, я последнего не могу, а первое слишком мучительно, и я ищу выхода. Представляется один выход — проповедь пзустная, печатная, но тут тщеславье, гордость и, может быть, — самообман, и боишься его; другой выход — делать доброе людям; но тут огромность числа несчастных подавляет. Не так, как в деревне, где складывался кружок естественный. Единственный выход, который я вижу, это жить хорошо, всегда ко всем поворачиваться доброй стороной. Но этого все еще не

¹ буквально (франц.).

умею, как вы. Вспоминаю о вас, когда обрываюсь на этом. Редко могу быть таким — я горяч, сержусь, негодную и недоволен собой».

До своей женихбы отец был знаком чуть ли не со всем высшим светским обществом Москвы. Теперь же он избегал этих знакомых. Моя мать, наоборот, для того чтобы «выезжать в свет» и вывозить Таню, старалась возобновлять эти знакомства.

Зимой 1881/82 года она еще мало «выезжала». В конце октября она родила Алешу и зимой его кормила. Но все же некоторые знакомства она завязала и возила Таню на танцевальные вечера. Следующей зимой их выезды участились.

Кроме сознания, что его жизнь сложилась противно его убеждениям, отцу было неприятно нарушение его привычек и деревенской свободы. Например, первое время в Москве он чувствовал себя чужаком в своей традиционной серой блузе. В самом деле, эта блуза казалась странной наряду с элегантной одеждой светских посетителей нашего дома. Отец не мог, ни по своим привычкам, ни по своим новым взглядам, одеваться в городское платье — пиджак, сюртуки, фраки, крахмальные воротники, галстуки и т. п. И вот он пошел на компромисс — завел какую-то черную куртку, надеваемую на некрахмальную рубашку и застегивающуюся доверху. Эта куртка была ни то ни се — ни блуза, ни пиджак. Он проносил ее только одну зиму, после чего уже навсегда вернулся к своей блузе.

Не только городская обстановка и шум в доме мешали его работе, его угнетали и посетители. Нельзя сказать, что он не любил гостей. Некоторые ему были симпатичны, но их было много, и он не умел устроиться так, чтобы они ему не мешали работать.

Бывали у нас: наши родственники — тетушка Мария Николаевна и семьи ее дочерей — Варвары Валерьяновны Нагорцовой и Елизаветы Валерьяновны Оболенской, дядя моей матери и товарищ детства отца Константин Александрович Иславин, семья брата моей матери — Петра Андреевича Берса; прежние друзья и знакомые — Дмитрий Алексеевич Дьяков и семья его дочери М. Д. Колокольцовой, кн. Сергей Семенович Урусов, семья кн. Д. Д. Оболенского, Фет с женой, семья Перфильевых, Сергей Андреевич Юрьев, Михаил Степанович Громека и др.

Сергей Андреевич Юрьев был давно знаком с моим отцом. Зимой 1881 года он приезжал в Ясную Поляну. Он был изве-

ственным литератором, математиком по образованию, председателем Общества любителей российской словесности, деятельным участником шекспировского кружка, редактором «Русской мысли», левым славянофилом, последователем Шеллига. Помню его перьяшливую одежду, черные от грязи ногти, длинные космы седых волос, некультурную бороду, басистый голос, энергические жесты, энтузиазм и добродушие. Не о нем ли вспоминал отец, когда писал о Пестове в «Анне Карениной»?

Отец излагал ему свои религиозные взгляды. Юрьев не спорил, хотя многое для него было ново. Он многому сочувствовал.

Между прочим можно предполагать, что в своем разговоре с Львом Николаевичем Юрьев, соглашаясь с ним по вопросу о непротивлении злу, предложил дополнить это изречение словом «насилием». Это говорил мне в 1940 году В. Н. Римский-Корсаков, слышавший это от племянника Сергея Андреевича, известного актера Юрьева.

Лев Николаевич воспринял это толкование и положил правило «Не противься злу насилем» в основу своих статей: «В чем моя вера?» и «Царство Божие внутри вас». Мне казалось, что у Сергея Андреевича не было ясно сформулированного мировоззрения, но на все доброе, свободное и талантливое он всегда смотрел сочувственно и благожелательно. Он был очень популярен в Москве и известен своей рассеянностью. Про него рассказывали много анекдотов. Например, в один из четвергов, когда у него собирались гости, он ушел из своей квартиры и, встретив идущего к нему гостя, сказал ему: «Не ходите туда, там скучно». Однажды он вместо своей шапки схватил кошку и чуть было не надел ее себе на голову. На Новый год он надевал свой новый сюртук и отправлялся с визитом ко всем своим знакомым, в том числе и к нам. В один из таких визитов я, желая подать ему его пальто, спросил, которое его пальто. Он сказал: «Не знаю, я уже второй раз его сменил». Калоши он менял беспрестанно.

Новыми знакомыми отца были Владимир Федорович Орлов и Николай Федорович Федоров. Помню, что у Орлова были длинные волосы, густая, нечесаная борода, бесформенный нос — в общем простое русское лицо. Он много и образно говорил, резко выговаривая по-северному на «о», но содержание его речей помню плохо. В молодости он был замешан в деле Нечаева, побывал в тюрьме и ссылке, а затем усвоил себе свободное христианское мировоззрение, близкое к взглядам Маликова, с которым был хорошо знаком. Впоследствии я узнал, что

он получал пособия от Третьего отделения, «ввиду его откровенных показаний», что объясняется тем, что он был обременен многочисленной семьей. Признаюсь, он и его христианские туманные речи мне не были симпатичны. Не нравилось мне и то, что от него иной раз пахло вином.

Николай Федорович Федоров был библиотекарем Румянцевского музея. Он без усталки работал в своей каталожной комнате в служебные и неслужебные часы. Когда к нему приходили за книгами или справками, он не только сам лазил по полкам и доставал просимые книги, он рекомендовал и доставал другие книги по данному вопросу. В жизни он был аскет. Однажды я, по поручению отца, был у него на квартире на Остоженке. Его комнатка была так тесна, что кровать, если можно назвать кроватью какие-то доски, упиралась обоими своими концами в стену. Накрывался он своим единственным потертым пальто, служившим ему и летом и зимой. Свое библиотечарское жалованье он раздавал бедным и, как мне говорили, отказывался от выслуженной им прибавки. Странное мировоззрение Федорова, изложенное в его книге «Философия общего дела», изданной Н. П. Петерсоном, его последователем, состояло в вере в то, что наука дойдет до того, что воскресит во плоти всех умерших людей; общее дело человечества состоит в том, чтобы этому способствовать и сохранять все то, что остается после умерших. Сам Федоров, служа библиотекарем, этим самым участвовал в «общем деле». При каждой встрече с моим отцом он требовал, чтобы отец распространял эти идеи. Он не просил, а именно настойчиво требовал, а когда отец в самой мягкой форме отказывался, он огорчался, обижался и не мог ему этого простить. Последователь Федорова, Н. П. Петерсон, был одним из учителей школ, учрежденных моим отцом в 60-х годах. Впоследствии отец отчасти изобразил его в «Воскресении» в лице Симонсона.

В конце января 1882 года в Москву приехал известный сектант Василий Сютаев. Это был небольшого роста крестьянин с жидкой русой бородкой и добрыми глазами, опрятно одетый в черный полушубок. Я только впоследствии у духовоборов встречал людей такой духовной красоты, каков был Сютаев. В нем были черты Платона Каратаева («Война и мир»): та же мягкость, незлобность и благоволение к людям и животным. Но, кроме того, у него был большой ум: он самостоятельно додумался до своей веры, в которой был глубоко убежден. Она была основана на христианстве, понимаемом как чистая индивидуальная этика. И он свои убеждения применял к жиз-

пи, стараясь жить «по-божьи». Он отрицал церковное учение и не ходил в церковь, отрицал вопиющую повинность. Его сын, призванный по набору, отказался от присяги, за что был заключен в Шлиссельбургскую крепость. Он добровольно не платил податей, но не противился их взысканию и не имел замков в своем доме. Он говорил: «все в тебе», «где любовь, там и бог», но не требовал, чтобы другие веровали так же, как он. «Их грех»,— говорил он, и никого не осуждал. В этом он отличался от моего отца, который никогда не мог мириться с несогласием с его верой, волновался и раздражался, когда ему возражали.

Во время разговора Сютаяева с моим отцом иногда присутствовали наши знакомые. Сютаяев не только возбуждал их любопытство, но и производил на них сильное впечатление. При чуждых ему людях, «господах», в барской обстановке, он несколько не стеснялся, вел себя с большим достоинством и говорил, что думал. Слух о Сютаяеве дошел до генерал-губернатора кн. В. А. Долгорукова, и он прислал ко Льву Николаевичу элегантного жандармского ротмистра с поручением собрать сведения о Сютаяеве, вероятно с целью выслать его из Москвы или арестовать. Отец рассердился и резко потребовал, чтобы ротмистр вышел из его кабинета, и даже сильно захлопнул за ним дверь. Через несколько дней Долгоруков прислал к отцу своего чиновника и нашего знакомого В. К. Истомина с предложением приехать к нему для объяснений. Отец ответил, что, если Долгоруков желает его видеть, ничто не мешает ему самому приехать к нему.

Перепиской писаний отца в 80-х годах и позднее продолжал заниматься Александр Петрович Иванов, дворянин, подпоручик в отставке. Это был человек маленького роста, с продолговатым рябоватым лицом и козлиной бородкой, похожий на отставного французского капрала. Появился он в Ясной Поляне, если не ошибаюсь, зимой 1878 года в числе побивавшихся прохожих по шоссе. Отец расспросил его, почему и как он не имеет определенных занятий, и взял его в переписчики. Он хорошо писал, только в некоторых случаях не согласен был со Львом Толстым и поправлял его, нередко запивал и исчезал на несколько дней. Весной же он уходил на все лето. Его страстью было бродяжничество. Он пешком исходил всю Россию, побывал во всех губерниях, даже на Кавказе и Сибири. «Я не был только в Астрахани и Архангельске»,— говорил он. Кормился он чем придется: где ему подадут милостыню, где он напишет письмо или прошение, где поучительствует. В разных местах

Роспи у него завелсь знакомые, у которых он останавливался и отдыхал. Осенью он опять появлялся в нашем доме, и отец опять засаживал его за переписку. Он поживет, поживет, попишет и снова уйдет или зашьет.

Когда мы переехали в Москву, он поселился во дворе дома Волконского. Первое время он повел добродетельную, трезвую жизнь. Отец через знакомых устроил его письмоводителем у одного мирового судьи, и Александр Петрович совсем было вышел в люди; он даже решил жениться. Тут же во дворе дома Волконского жили две портнихи, довольно легкомысленного поведения, и он облюбовал одну из них. Я вместе с И. М. Ивакиным, репетировавшим в то время моих младших братьев, приняли живое участие в его сватовстве, и он женился. Но недолго продолжалась его добродетельная жизнь: зимой 1882 года он вдруг исчез. Через несколько дней к нам пришел какой-то оборванец с Хитрова рынка с запиской от него. Александр Петрович просил выкупить его из почлежного дома. Оказалось, что он пропил деньги, доверенные ему его патроном — мировым судьей, и все, что с ним и на нем было, и сверх того задолжал. Его выкупили и послали ему одежду, но мировой судья его уволил, а жена его прогнала, и он опять ушел бродяжничать. Впоследствии он не раз появлялся в Ясной Поляне и в Москве. Поживет, попишет отцу и опять уйдет. В один из следующих годов мне как-то случилось выручить его из одного почлежного дома Хитрова рынка. Он пропил все, что было на нем, и я нашел его лежащим на нарах почлежного дома в чужой рубашке. Когда его товарищи почлежники узнали, что я приехал его выручать, меня сейчас же окружили несколько подозрительных личностей; нашлись между ними продавцы поношенного платья и белья, и я за 8 рублей купил ему пиджак, брюки и белье, а за 30 копеек он в соседнем трактире с жадностью съел большую порцию рубцов.

В декабре 1882 года в Туле происходило очередное дворянское собрание. На этом собрании отец был неожиданно и неизвестно для него самого выбран в предводители дворянства Крапивенского уезда. Произошло это так: дворяне этого уезда решили выбрать предводителем моего дядю Сергея Николаевича; для этого надо было выбрать не только его, а еще кого-нибудь. Из этих двух избранных предводителем признавался получивший большее число голосов, а кандидатом — меньшее. Сергей Николаевич был выбран, но никто не решался баллотироваться после него, боялись быть забаллотированными. Тогда

без ведома Льва Николаевича была выставлена его кандидатура, и он был выбран, но так как он получил большее число голосов, чем брат, то он стал предводителем, а Сергей Николаевич — его кандидатом. Разумеется, отец отказался от этой чести и вышел в отставку, так что в должность предводителя вступил кандидат, то есть Сергей Николаевич.

В январе 1882 года была назначена всеобщая перепись московского населения. Участие моего отца в ней известно по его статьям «О переписи в Москве» и «Так что же нам делать?» Вторая статья была закончена через четыре года после первой — в 1886 году. Отец относился равнодушно к научным и государственным целям переписи, но он воспользовался ею для того, чтобы узнать городскую нищету и поднять вопрос о помощи нуждающимся. Об этом он говорил на общем собрании распорядителей переписи. Между прочим, он предложил особо отмечать квартиры, в которых находились фортепиано, как квартиры зажиточных людей. Я также работал в качестве счетчика, но под руководством не отца, а профессора Янжула. На вопрос, почему я записался в участке Янжула, а не отца, мне нелегко ответить. У меня было какое-то смутное чувство, что в то время в отношении моего отца к переписи и городской нищете было что-то «не то», как он сам написал четыре года спустя в статье «Так что же нам делать?» В первой статье он писал: «Пускай механики придумывают машину, как приподнять тяжесть, давящую нас, — это хорошее дело; но пока они не выдумали, давайте мы по-дурацки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христиански налегнем народом, — не поднимем ли? Дружней, братцы, разом!» А четыре года спустя он писал: «В глубине души я продолжал чувствовать, что это «не то», что из этого ничего не выйдет».

Хотя я вполне сознавал несправедливость такого строя, при котором одни люди пользуются всякими благами, а другие погрязают в нищете и разврате, я не умом, а бессознательно чувствовал, что разом, по-мужицки, ничего сделать нельзя. И поэтому, когда отец предлагал воспользоваться переписью для благотворительности, я пошел к Янжулу, у которого переписью занимались просто как делом.

Через четыре года, в статье «Так что же нам делать?», отец писал: «Когда мы говорили про это¹, я замечал, что им² как

¹ О том, чтобы воспользоваться переписью для искоренения нищеты и разврата (прим. С. Л. Толстого).

² Счетчикам и распорядителям (прим. С. Л. Толстого).

будто совестно смотреть мне в глаза, как совестно смотреть в глаза доброму человеку, говорящему глупости. Такое же впечатление произвела моя статья на редактора газеты, когда отдал я ему мою статью, на моего сына, на мою жену, на самых разнообразных лиц». Я думаю, что слушавшие речь моего отца действительно чувствовали некоторую неловкость, но не только потому, что, как мы ни «налегнем народом», мы социальную несправедливость не изменим, а также и потому, что он будил их совесть.

Счетчикам моего отца были, между прочим, будущий профессор Пассек — умный, самоуверенный и холодный скептик и будущий литератор А. Амфитеатров — веселый и легкомысленный, высокий, красивый молодой человек. У Амфитеатрова был большой голос, он в то время пел в концертах под именем Амфи и надеялся поступить на сцену. О своем участии в переписи он впоследствии писал в статье «Властители дум», не понимая моего отца. Там он говорил, что голодные, холодные и униженные Ржановой крепости (ночлежного дома) мало его трогали и что он не мог понять, почему Толстой испытывал «чувство виновности» перед ними.

Дом Волконского так мало удовлетворял нашу семью, что отец решил подыскать более подходящее помещение и не нанимать квартиру, а купить дом. Весной 1882 года он осмотрел несколько продававшихся домов и остановился на доме Арнаутова в Долгохамовническом переулке. Ему нравилось уединенное положение этого дома и его запущенный сад размером почти в целую десятину (больше гектара). К этому саду прилегал большой восьмидесятинный сад Олсуфьевых (ныне Клиника для душевно- и нервнобоьных), так что из окон арнаутского дома были видны не крыши и стены соседних домов, а только деревья, кусты и глухая стена пивоваренного завода. Владение было похоже на помещичью усадьбу.

В начале мая наша семья, кроме меня, оставшегося в Москве держать экзамены, переехала в Ясную Поляну. В конце месяца отец поехал в Москву, чтобы окончательно договориться о покупке дома. Он пошел к Арнаутову, и я пошел вместе с ним. Густой сад произвел на нас самое приятное впечатление; там было много цветущих кустов, яблонь и вишневых деревьев; листья на деревьях недавно распустились и блестели свежей зеленью. К нам вышел пожилой и некрасивый хозяин дома Арнаутов. Меня поразили его большой, узкий, красный и прыщеватый нос, повернутый на сторону. Он производил впечатление алкоголика.

Покупка совершилась через несколько дней.

Дом в том виде, в котором он был куплен, был мал для нашей семьи, и отец решил сделать к нему пристройку, к чему и приступил немедленно, пригласив архитектора. Нижний этаж и антресоли остались в прежнем виде, а над первым этажом были выстроены три высокие комнаты с паркетными полами, довольно большой зал, гостиная и за гостиной небольшая комната (диванная) и парадная лестница. Для своего кабинета отец выбрал одну из комнат антресолей с низким потолком и окнами в сад.

После экзаменов я уехал в Ясную Поляну, где прожил до осени, наслаждаясь деревенской жизнью, купаньем, крокетом, рыбной ловлей, охотой и т. п. Во флигеле жили Кузминские, приезжал Н. Н. Страхов. В начале сентября я поехал в Москву; туда же приехал отец, для того чтобы достроить хамовнический дом и устроиться в нем. Мать и остальная часть нашей семьи оставались в Ясной Поляне до приведения дома в жилой вид. Отец следил за еще неоконченными плотницкими и штукатурными работами, за оклейкой стен обоями, за окраской дверей и рам, покупал мебель на Сухаревском рынке, купил пролетку, сбрую и пр. для выездов в Москве, купил также жеребца для своего самарского конного завода и подыскал квартиру для своего брата Сергея Николаевича, решившего также переехать на зиму в Москву вместе с семьей (дом Роговича в Николо-Плотницком переулке). Разумеется, он сознавал, что поступает несогласно своим убеждениям, но он это делал для того, чтобы на него не было нареканий, будто он все практические дела ваваливает на мою мать.

В октябре 1882 года мы переселились в хамовнический дом.

ПОЕЗДКА В САМАРСКОЕ ИМЕНИЕ

Весной 1883 года я довольно неудачно начал держать экзамены со второго курса на третий у строгого профессора Столетова. На экзамене по метеорологии он «провалил» многих студентов; мне поставил «3». Я был самолюбив и непременно хотел кончить кандидатом. Впереди был экзамен по физике у Столетова, а я к нему плохо подготовился и боялся не только получить тройку, но и провалиться. И я решил отложить свои экзамены до осени. Это было возможно только, если бы университетский врач дал мне свидетельство о болезни. Я и пошел к университетскому врачу Доброву и без всякого предпи-

словния попросил его выдать мне удостоверение о болезни. Он удивился:

— Чем же вы больны?

— Ничем. Мне надо отложить экзамены до осени.

Добров оправдал свою фамилию — добро отнесся ко мне и сказал:

— Хорошо, я вам дам удостоверение, но все-таки мне надо знать, что слабее всего в вашем организме.

Я сказал, что у меня слабое зрение. Он не стал исследовать мое зрение и удостоверил, что я страдаю болезнью глаз, которая не позволяет мне читать и писать, и мне дали отсрочку экзаменов до осени.

Таким путем в начале мая я оказался свободным от занятий. Не помню, кому из нас, мне или моему приятелю и бывшему преподавателю Ивану Михайловичу Ивакину, пришла в голову мысль — проплыть на лодке до Самары, а оттуда поехать в наше имение. Туда же собирался мой отец. Сказано — сделано. Мы купили простую катальную лодку за 45 рублей, весла, уключины, багор, цепь с замком для запираения лодки на стоянках, парус, мачту, брезент, чаю, сахару, хлеба и большой ростбиф. 15 мая этого года в Москве короновался Александр III. Мы относились равнодушно к коронационным торжествам и отправились в этот самый день. На ломовом извозчике мы перевезли лодку куда-то за Даниловку и оттуда поплыли. Сначала нам было весело, но к вечеру стал моросить дождик. Стемнело, кругом жилья не было, и мы пристали к песчаной отмели, где и расположились ночевать. Мы накрылись: один брезентом, другой парусом, и так провели ночь. Вдали светилось зарево от коронационной иллюминации Москвы, а мы мокли и зябли.

Утром мы поплыли дальше и скоро уперлись в Перервинский шлюз. Смотритель шлюза на нашу просьбу нас пропустить неожиданно потребовал разрешения на пропуск от управления шлюзамп. Этого у нас не было.

— Впрочем, — любезно сказал смотритель, — я сейчас телеграфирую о вашей просьбе начальству, а пока придет ответ, пожалуйста ко мне на квартиру.

Разумеется, мы охотно приняли его любезное приглашение. Он нас высушил и накормил, а через три часа мы получили разрешение на проход по всем шлюзам Москвы-реки.

Погода прояснилась, и мы поплыли дальше. К вечеру мы обогнали большой плоскодонный баркас, в котором сидело че-

ловек пять здоровенных мужиков. Пьяными криками они стали требовать, чтобы мы остановились, а когда мы продолжали плыть, стали ругать нас отборными ругательствами. Из их беспорядочного крика можно было понять, что они хотели нас бить или потопить за то, что мы — студенты, а студенты убили царя Александра II. Вероятно, они решили, что мы студенты потому, что я был в очках.

Положение наше было серьезно: если бы они нас настигли, мы, вероятно, были бы избиты или потоплены. Но мы палили на весла, наша лодка была быстрее их баркаса, и мы удрали.

В дальнейшем нашем плавании особых приключений не было. Часть пути мы шли под парусом, что нам давало возможность отдыхать. Отмечу только нашу ночевку в селе Марчугах. Когда мы подплывали к Марчугам, уже стемнело, накрапывал дождь. На берегу мы заметили освещенный дом, где и надеялись переночевать. Пристав к мосту и заперев цепь, мы вышли на берег, неся свою тяжелую поклажу — весла, парус, брезент, чемоданы и пр., но ночевать в освещенном доме нам было отказано: это был трактир, а в трактире ночевать не позволялось. Что было делать? Ночевать под открытым небом и под дождем очень не хотелось. Я постучался в крошечную избушку мостовщика, стоявшую у самой реки. Оттуда послышался голос:

— Кто там?

Я сказал:

— Мы лодку сплавляем в Коломну, скажите, где тут можно переночевать?

Голос из избушки сказал:

— Ложись тут.

Я удивился. Мостовщик (это был его голос) не только приглашал ночевать с собой незнакомого человека, он даже не видал — кого приглашал. Я сказал ему:

— Я с товарищем.

— Веди и товарища.

— Нельзя ли зажечь огонь?

— Нет, брат, огонь я тебе не зажгу. Я свой огарок берегу.

— Мы тебе заплатим.

— Нет, не зажгу.

Пришлось в темноте внести наши вещи в избушку и расположиться ночевать на полу. После целого дня гребли мы заснули как убитые.

Только утром мы разглядели того, кто нас так неожиданно приютил. Он оказался симпатичным и разговорчивым стариком. В трактире мы с ним закусили и выпили чаю и водки. Я его спросил:

— Как ты пустил к себе нас, незнакомых людей, даже не разглядев, кого впустил?

На это он рассказал, что однажды был сам в таком же положении, как и мы. Он сплавлял барку по реке. Смеркалось, пошел дождь. Он увидел избу на берегу и решил в ней переночевать. Причалил, пошел к избе и стал стучаться в ворота. Никто не откликнулся, он вошел во двор. Две цепные собаки злобно залаяли на него. Он прошел мимо них, прижимаясь к забору, так что собаки на своих цепях не могли до него дотянуться, и вошел в избу. Никого не было, и он залез на печку и заснул. Его разбудил разговор вернувшихся хозяев. Он кашлянул; они испуганно спросили: кто там? Он слез с печи и стал просить прощения, что без спроса вошел. Хозяева увидели, что он не вор и не разбойник, позволили ему переночевать и даже пригласили поужинать.

— А потом они мои лучшими друзьями были. Вот когда вы ко мне постучались, я вспомнил о них и впустил вас.

Прибыв на четвертый день плавания в Коломну, мы решили прекратить наше путешествие на лодке. У нас осталось мало денег, наш ростбиф протух, и мы устали; особенно утомительно было перед почевкой выносить на берег нашу поклажу: два чмсдана, парус, брезент, весла, уключины и т. п. Мы продали лодку с пятью рублями убытка и поехали до Рязани по железной дороге, а оттуда по Оке до Нижнего в третьем классе скверного пароходика. В Нижнем мы пересели на прекрасный волжский пароход, доплыли до Самары, оттуда по Оренбургской железной дороге до станции Богатово и дальше, до нашего самарского имения, шестьдесят пять верст на лошадях.

Отец снова был на хуторе. Там — уже знакомая обстановка: пирамиды кизяков, волы, плугари, курдючные овцы, много лошадей, и мухи, мухи без конца. Теперь там жил вместе с женой новый управляющий, Петр Андреевич Архангельский, приглашенный отцом на место отказавшегося А. А. Бибикова. Отец ему поручил ликвидировать хозяйство, распродать инвентарь и сдать землю в аренду крестьянам под покосы и посевы. Сперва Архангельский поправился отцу, но потом отец про него писал, что он оказался «типом управляющих плачущихся»,

то есть объясняющих свои неудачи неблагоприятными обстоятельствами. На хуторе же поселились и мы — отец, я и Иванки.

На другом берегу реки Мочи, на казенном участке, арендуемом Бибиковым, Василий Иванович Алексеев на какое-то полученное им небольшое наследство выстроил себе избу. Недалеко от хутора Бибикова поставил свою кибитку вместе со своими кобылами и жеребьями Мухамедшах Романыч, и там же, в другой кибитке, в землянке и амбаре Бибикова, поселились приглашенные им гости и кумысники. Всего на нашем и бибиковском хуторе жило почти тридцать человек. Из них особенно заинтересовал отца и меня Егор Егорович Лазарев. Это был мускулистый, белокурый, бодрый, веселый крепыш среднего роста, двадцати восьми лет, с открытым лицом. В его разговоре сказывалось его крестьянское происхождение: он пересыпал свою речь народными выражениями. Из седьмого класса гимназии он был исключен и арестован, просидел два с половиной года в доме предварительного заключения, в 1879 году судился по процессу 193-х, был оправдан, после чего был взят на военную службу и отправлен сперва в Уральск, а затем в Карск. Там он, будучи первое время рядовым, а потом унтер-офицером, продолжал вести пропаганду не только среди солдат, но и среди офицеров. Окончив службу, он вернулся в свою родную Грачевку, где крестьянствовал вместе с матерью и братом, прирабатывая в качестве частного поверенного при бузулукском съезде мировых судей. В этот же период его жизни мы и познакомились с ним.

Большинство кумысников и гостей Бибикова были, как тогда говорили, «красными», и отец не раз спорил с ними по вопросу о революционном насилии. В этом ему молчаливо сочувствовали только Василий Иванович и отчасти Алексей Алексеевич. Лазарев писал в своей книге:

«— Бей по голове двуглавую хищную птицу! — кричала на всю степь молодежь.

— Не тронь и клопа, — отвечал Толстой».

Признаюсь, я больше сочувствовал Лазареву и молодежи, чем отцу. Лазарев мне очень нравился, да и на самом деле он был привлекательным человеком. Отец впоследствии вспомнил о нем, когда писал «Воскресение»: на Лазарева похож Набатов.

Отец решил ликвидировать хозяйство в имении — продать инвентарь живой и мертвый, часть лошадей перевести в Ясную

Поляну и сдать землю участками крестьянам. Для этого надо было землю размежевать. Он не пригласил на эту работу землемера, а решил сделать ее сам. Взяв размеренную веревку, он вместе с рабочими пошел измерять степь и делить ее на мелкие участки. Работу эту он, однако, не окончил.

Когда отец уехал, Архангельский сдал на год все пменне участками крестьянам. В июне следующего года он уволился, оставив не взысканными с арендаторов 10 000 рублей. Отец в письме к Бибикову и Алексею просил их получить арендные деньги и, в частности, оставшиеся в долгах десять тысяч рублей (насколько это было возможно), а деньги эти употребить на пользу бедных тех деревень, которые снимают эти земли, на помощь нуждающимся, на школы, на учреждение земных заработков и т. п. «И это,— писал он,— если бог захочет, будет сделано с той поры, когда я перестану встречать в этом препятствия семьи. Надеюсь дожить до этого. Тогда я приеду и устрою, что сумею... Петр Андреевич привез долговые книги. Там, оказывается, более 10 тысяч долгов. Что делать с этими долгами? Бросить их или получить с тех, которые могут заплатить, с тем чтобы отдать их тем, которые в нужде?.. А может быть, все это чепуха и мое подлое тщеславие; тогда все это бросить. И кажется, что так лучше». На это письмо В. И. Алексеев резонно ответил, что взыскание денег в срок привело бы к взысканию через мирового судью, на что, разумеется, Лев Николаевич не согласится. Получилось неопределенное положение, и вопрос о самарском пмени («восточный вопрос», как мы его называли) был решен только тогда, когда моя мать написала Бибикову, чтобы арендные деньги посылались непосредственно ей, после чего Бибиков окончательно отказался и был приглашен новый управляющий — Семен Глебов.

Прехавши из Самары, я стал усиленно готовиться к экзаменам, отложенным на осень. Профессора, у которых я весной экзаменовался, потребовали, чтобы я вторично у них экзаменовался. В общем мои экзамены у профессоров Столетова и Марковникова прошли вполне благополучно.

После экзаменов я опять стал с увлечением заниматься в химической лаборатории количественным и титрованным анализом. После лекций я шел в лабораторию, завтракал там ппрожками из булочной Чуева, пил чай из химического стакана, заваренный на газовой горелке, и работал до пяти часов. Там же работали П. А. Каблуков (будущий профессор и академик), Савва Тимофеевич Морозов и др.

В 80-х годах у отца уже твердо установились основы того мировоззрения, которое он старался применять ко всей своей последующей жизни. Где-то я прочел, что шотландский поэт Роберт Бернс был поэт и, следовательно, несчастный человек. Почему? Потому что поэт впечатлительнее и чувствительнее среднего человека, глубже и живее воспринимает жизнь, а жизнь дает больше отрицательных впечатлений, чем положительных. Таков же был мой отец. У него, как у Сакния-Муни, открылись глаза на бедствия людей, и он уже не мог спокойно пользоваться своим благополучием. В Ясной Поляне всякое проявление деревенской бедности, а в Москве городской нищеты, волновало его до слез. Помню, как, придя домой после посещения умирающего Федота, одного из самых бедных крестьян Ясной Поляны, он взволнованно сказал: «Иду я от Федота по прищепку и слышу — Сережа играет венгерские танцы Брамса. Я его не упрекаю за это, но как странно: рядом с нами живут нищие люди, болеют и умирают, а мы этого не знаем и даже знать не хотим, — играем веселую музыку». После «кризиса» отец стал отрицательно относиться к тому, что раньше любил и во что верил. Он даже в этом отрицании видел известный критерий правильности своих взглядов. Он был воспитан в церковной вере и одно время считал нужным исполнять церковные обряды; теперь он стал критически относиться к церковному учению. Бывший патриот, он стал отрицать патриотизм и государственность. Как землевладелец, он с увлечением занимался хозяйством в своих имениях; теперь же он стал отрицать право владения землею. Обладая сам огромными знаниями и колоссальной культурой, он стал критически относиться к европейской культуре и к той науке, которая имеет своим предметом этические вопросы. Будучи сам гениальным художником, он стал отрицать произведения искусства, не подходящие под его определения настоящего искусства, и так далее. Он смотрел на богатых людей, не принадлежащих к рабочему народу, в том числе и на своих семейных, как на сумасшедших; это он нередко высказывал в разговорах и выразил в написанном для «Почтового ящика» Ясной Поляны «Скорбном листе душевнобольных яспополянского госпиталя». В своем дневнике от 11 апреля 1884 года он написал: «Пришли в голову «Записки не сумасшедшего». Как живо я их пережил. Что будет?»

Вместе с тем 80-е годы были одни из самых деятельных

лет моего отца. В эти годы он написал «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?», «О жизни», художественные произведения: «Смерть Ивана Ильича», «Хозяин и работник», «Крейцеров соната», «Плоды просвещения», «Власть тьмы» и ряд народных рассказов. Тогда же отец учился древнееврейскому языку. Летом он работал в поле, зимой занимался сапожным ремеслом, качал и возил воду, рубил дрова. Отец входил в сношения со многими новыми для него людьми, в том числе с редакторами журналов «Русская мысль» и «Русское богатство», надеясь напечатать в этих журналах свои статьи. Начиная со второй половины 1880-х годов, он обращался с предложением участвовать в народном издательстве «Посредник» к писателям: Эртелю, Златовратскому, Лескову, Салтыкову и многим другим, к переводчикам иностранных писателей, к популяризаторам научных знаний, к художникам Ге, Репину, Прянишникову, Ярошенко, Васнецову и другим.

Начиная с 1881 года запрещенные сочинения отца стали распространяться в рукописных списках и возбудили живой интерес к его новым взглядам. Последствием этого были его сношения со многими лицами, интересовавшимися его произведениями и просто любопытными. Многие дотоле неизвестные ему люди стали обращаться к нему с вопросами о вере, по социальным и этическим вопросам, а иногда и по своим личным делам. Отец считал своим долгом отвечать и принимать желающих его видеть, несмотря на то, что это отнимало у него время и утомляло его.

Моя мать старалась ограждать Льва Николаевича от посетителей, приходивших к нему во всякое время дня. Было установлено принимать посетителей, только начиная с семи часов вечера, но они приходили и в другое время дня, а вечером нередко засиживались до полуночи и позднее. Появились последователи учения Л. Н. Толстого, так называемые «толстовцы». Моя мать и сестра Татьяна полушутя прозвали их «темными», в отличие от своих знакомых — «светских».

У многих сложилось неверное мнение о последователях учения Л. Н. Толстого, о так называемых «толстовцах». Говорили, что они увлекаются модой, много говорят и не проводят в жизнь свои убеждения, что они лицемерны.

Я многих толстовцев хорошо знал и должен сказать, что о них говорилось много несправедливого. Разумеется, среди них были и неискренние и легкомысленные, но были и глубоко убежденные, сократившие свои потребности, покинувшие высшие учебные заведения или службу с тем, чтобы работать па

земле, и, наконец, были отказавшиеся от волнской повлиности.

Некоторые из толстовцев впоследствии отошли от «толстовства», но взгляды Льва Толстого тем не менее повлияли на их поведение, разбудили их совесть и заставили их видеть то, на что они прежде закрывали глаза, понять всю несправедливость социального строя.

Образ жизни отца в 80-х годах, особенно начиная с 1884 года, постепенно изменился. В Москве он стал рано вставать, сам убирать свою комнату, пилить и колоть дрова, качать воду из колодца, бывшего во дворе дома, и подвозить к дому эту воду в большой кадке на салазках. Тогда же он научился сапожному ремеслу у сапожника и стал шить обувь в своей маленькой комнате перед кабинетом. Там он завел себе большую лампу, которая одновременно освещала, нагревала и вентилировала эту комнату и его кабинет; он не стал пить вина и стал убежденным вегетарианцем, старался бросить курение, но отвык от него только в 1888 году. Вегетарианцем он стал особенно после своего знакомства с позитивистом и вегетарианцем Вильямом Фрейем, посетившим его осенью 1885 года. Тогда же мои сестры, Таня и Маша, также перешли на «беззубойное питание». Моя мать считала, что вегетарианство вредно, в чем была неправа: отцу при его заболеваниях печени оно было несомненно полезно. А сестрам — не вредно.

Летом в Ясной Поляне отец особенно много работал в поле для одной бедной вдовы, Анисьи Копыловой. Он делал всю тяжелую работу, которая производится на крестьянском наделе, — косил траву и убирал сено, косил рожь и овес, возил павоз, пахал, сеял и бороновал.

В продолжение 1880 — 1886 годов, кроме его художественных произведений, им были написаны: «Критика догматического богословия», «Соединение и перевод четырех евангелий», «Исповедь», «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?» В первых двух произведениях высказано основное его мировоззрение, в последнем — применение этого мировоззрения к жизни. «Так что же нам делать?» написано под впечатлением противоположности между роскошью и тупеядством богатых людей и нищетой и непосильным трудом рабочего народа. Он говорил: «Наивысшая похвала в народе это — «кормилец», самый обидный упрек — «дармоед». Мы — дармоеды».

«Так что же нам делать?» — это голос его совести, обвиняющий его самого в участии в царствующем зле и требующий радикального изменения всей его жизни, и он порывался следо-

вать этому голосу. Он говорил, что надо раздать все свое имущество согласно евангельским словам «просящему отдай», что счастливы бродяги, потому что у них нет собственности, и что «одно средство жить радостно — это быть апостолом. Не в том смысле только, чтобы ходить и говорить языком, а в том, чтобы и руками, и ногами, и брюхом, и боками, и языком, между прочим, служить истине (в той мере, в какой я знаю ее) и распространению ее». Так он писал В. И. Алексееву в 1884 году.

Моя мать не могла сочувствовать его новым взглядам. Как мать восьми детей, она понимала, или лучше сказать чувствовала, что она и ее дети должны быть в известной мере материально обеспечены. В начале 80-х годов, разумеется, ни один из восьми ее детей ничего не зарабатывал. Мне, старшему, в 1882 году было девятнадцать лет, и я еще учился в университете, младший сын Алеша был еще младенцем. Нужно было знать, на какие деньги жить, откуда взять эти деньги, как устроить вообще жизнь семьи. Если сокращать расходы, то — до каких пределов? Продолжать ли учить детей, или нет? Держать ли прислугу, какую и сколько? Где жить — в Москве или в Ясной Поляне, или еще где-нибудь? Что делать с именьями? Получать ли доход с сочинений Льва Толстого? На все эти вопросы матери надо было иметь неотложные и определенные ответы; ведь каждый день к ней обращались с требованиями дети, прислуга, педагоги и поставщики, а отец никаких ответов не давал, а говорил, что чем меньше денег и материальных благ у семьи, тем лучше. Как было матери согласиться с этим? Она, наоборот, считала, что чем больше у семьи денег и материальных благ, тем лучше. В этом она основывалась на взглядах, высказанных Львом Николаевичем в те годы, когда он считал, что его семья должна быть не только обеспечена, но и богата, когда было решено, что все мы будем проводить зпмы в Москве. И наша мать совсем не считалась с новым мировоззрением отца. После переезда в Москву она стала заботиться не только об обеспечении себя и семьи, она стала жить роскошнее, чем прежде, и тратить много больше, чем живя в Ясной Поляне; она перегнула палку. Иногда она это сознавала. В письме к отцу от 12 ноября 1883 года она писала: «Так как я особенная мастерица грустить, то я опять до слез грустила о том, что прошло, чем, бывало, тяготилась и что теперь стало мило и дорого. А о себе думала, что если я прежде была нехороша, то какая же я теперь мерзость! И что если ты прежде был хорош, то насколько же ты теперь лучше!».

И вот разлад между моими родителями, уже тлевший в

конце 70-х годов, после переезда в Москву разгорался все более и более. В этом разладе я не могу винить ни отца, ни мать. Оба были по-своему правы и неправы.

Разлад особенно обострился в 1884 и 1885 годах. Это видно из дневников отца. В мае 1884 года он там писал о своем одиночестве в семье. «Страдаю я ужасно. Тупость, мертвенность души, это можно переносить, но при этом дерзость, самоуверенность». «Разговор за чаем с женою, опять злоба». «Говорить нельзя, они не понимают». «Точно я один не сумасшедший живу в доме сумасшедших, управляемом сумасшедшими». «Они не видят и не знают моих страданий» и т. д.

В июне он писал в дневнике о дармоедстве и праздности детей, об ужасно мучительных разговорах с женой: «она рада случаю осуждать и ругать меня», «мне вся их жизнь жалка».

Кроме всего прочего, отцу было крайне неприятно, что мать решила не кормить сама будущего своего ребенка. До этого она сама кормила своих детей и прибегала к кормилице только при невозможности кормить. Теперь перед рождением ребенка она заранее запаслась кормилицей, говоря, что ей приходится вести денежные и хозяйственные дела семьи, а одновременно делать мужское и женское дело она не может.

17 июня отец после тяжелого разговора с женой, как он писал в своем дневнике, решил уйти от семьи. Этот тяжелый разговор начался с «восточного вопроса», как мы называли вопросы, относившиеся к хозяйству самарского имения и тамошнему конному заводу. Разговор продолжался со стороны матери упреками в том, что отец не занимается делами по имению и вообще добыванием денег для семьи, а с его стороны — осуждением матери и детей за роскошную жизнь и требованием упростить эту жизнь.

Упреки отца, поскольку они относились к прожитой зиме, были более или менее справедливы. В этом году моя мать с сестрой Таней выезжала больше, чем когда-либо, и много расходовала, но в июне, на последнем месяце беременности, ей было не до самарских лошадей и не до упрощения жизни.

После разговора отец с мешком на спине, в который кое-что уложил, пошел по направлению к Туле, с намерением уйти совсем. К счастью, на полдороге он раздумал и вернулся.

Я в то время был в Ясной Поляне, но лишь позднее узнал о разговоре между моими родителями и попытке отца уйти из дому.

Тяжелый разговор произошел 17 июня, а на другой день, 18 июня, родилась моя младшая сестра Александра.

В 80-х годах я мало сочувствовал новому мировоззрению отца и часто противоречил ему. Я не сочувствовал требованию отца изменить пашу, в частности мою, жизнь, не соглашался с его нападкамии на науку, университет и профессоров и с его проповедью «непротвплення злу». Мои возражения сильно раздражали отца. В его дневнике есть упоминания о его разговорах со мною.

18 марта 1884 года: «Внипу возразил Сереже-сыну на его тупость». 16 апреля: «Получил письмо Черткова с возмутительной запиской англичанина for their own dear sakes¹. Все преступники сумасшедшие. Судья лечит. Зачем же он судит, а не свидетельствует? Зачем он наказывает? Прочел Тане и Сереже. Как он либерально жестоко туп. Мне очень больно было...».

24 апреля: «Отчего я не поговорю с детьми, с Таней? Сережа невозможно туп, тот же кастрированный ум, как у матери. Ежели когда-нибудь вы двое прочтете это, простите, это мне ужасно больно».

29 мая: «Ужасно то, что все зло — роскошь, разврат жизни, в которых я живу, я сам сделал. И сам испорчен и не могу поправиться. Могу сказать, что поправляюсь, но так медленно. Не могу бросить куренье, не могу найти обращения с женой, такого, чтобы не оскорблять ее и не потакать ей. Ищу. Стараюсь. Приехал Сережа. Тоже нехорош я с ним. Точно так же, как с женой. Они не видят и не знают моих страданий».

4 июня: «Сереже я сказал, что всем надо везти тяжесть, и все его рассуждения, как и многих других, — отвиливания: «повезу, когда другие»; «повезу, когда оно тронется». «Оно само пойдет». Только бы не везти. Тогда он сказал: «Я не вижу, чтоб кто-нибудь вез». И про меня, что я не везу. Я только говорю. Это оскорбило больно меня. Такой же, как мать, злой и не чувствующий. Очень больно было. Хотелось сейчас уйти. Но все это слабость. Не для людей, а для бога. Делай, как знаешь, для себя, а не для того, чтобы доказать. Но ужасно больно. Разумеется, я виноват, если мне больно. Борюсь, тушу поднявшийся огонь, но чувствую, что это сильно погнуло весы. И в самом деле, на что я им нужен? На что все мои мучения? И как бы ни были тяжелы (да они легки) условия бродяги, там не может быть ничего подобного этой боли сердца».

Вспоминая этот разговор, я сознаю, что мне следовало бы воздержаться от намека на то, что отец сам еще мало изменил

¹ для их же пользы (англ.).

свой образ жизни, но мне было неясно, чего он от меня хотел. Может быть, если бы я вышел из университета и стал жить трудовой жизнью в деревне так, как впоследствии жили некоторые толстовцы, он бы меня одобрил. Но я не хотел этого и не находил это полезным.

В одной из следующих записей дневника, от 19 июня, я заслужил его упрек: «Пришел купец покупать проходца. Я изменил слову. 250 рублей. Ложь моего положения — пехороша. Я виноват в ней, надо выйти. Хотел дать деньги эти Тане. Оказалось, что другие, т. е. Сережа, завидуют. Ты прочтешь это когда-нибудь, Сережа-сын,— тебе надо знать, что ты очень, очень дурен. И что тебе надо много работать над собой, главное — смириться».

Из записи дневника 15 июля видно, как мои несогласия с отцом волновали его и меня: «Разговор с Сережей. Он без причины сделал грубость. Я огорчился и выговорил ему все. И буржуазность, и тупость, и злость, и самодовольство. Он вдруг заговорил о том, что его не любят, и заплакал. Боже, как мне больно стало. Целый день ходил и после обеда поймал Сережу и сказал ему: «Мне совестно». Он вдруг зарыдал, стал целовать и говорить: «Прости, прости меня». Давно я не испытывал ничего подобного. Вот счастье».

Я не помню, какую грубость я сказал или сделал, но его упрек в злости по отношению к нему был несправедлив. Злости у меня не было, была любовь к нему, но я не мог побороть в себе дух противоречия.

Я, разумеется, не могу теперь, почти через шестьдесят лет, вспомнить в точности мои тогдашние споры с отцом. Вот какой приблизительно у меня был один из этих споров — о науке.

Отец. Наука занимается чем угодно, но не вопросами о том, что необходимо знать,— о том, как нам надо жить. Все явления мира изучить невозможно и бесполезно.

Я. Но наука дает истинное знание и тем самым искореняет суеверия.

Отец. Ученые не различают полезного знания от ненужного; они изучают такие ненужные предметы, как половые органы амебы, потому что за это они могут жить по-барски.

Я. Это аргумент не против науки, а против привилегированного положения ученых. Ты говоришь про людей, отрицающих церковь, что они из-за обрядов и догматов отрицают религию: «осердясь на вшей — и шубу в печь»: я могу тоже сказать, что из-за привилегированного положения ученых ты отрицаешь науку.

Отец (раздраженно). Все эти ученые получают содержание от государства и не только не могут высказывать истины, не угодные правительству, они даже должны плясать под его дудку.

С 1883 года материальными делами нашей семьи стала заведовать мать. 21 мая этого года отец выдал ей доверенность на ведение всех своих имущественных дел. В начале 1880-х годов расходы нашей семьи покрывались деньгами, полученными от продажи сочинений Л. Толстого братьям Салаевым, от продажи мельницы в Никольском и леса в Ясной Поляне. Деньги, скопленные в начале 80-х годов, скоро были истрачены: на часть их был куплен и перестроен хамовнический дом, а остальные деньги быстро таяли на ежедневные расходы.

Денежные дела семьи в 1884 году были не блестящи. В письме к отцу от 26 октября мать выписала свой неизбежный, по ее мнению, месячный и годовой расход. Он равнялся 11 467 рублям в год.

Разумеется, этой цифрой расходы не ограничивались. Сюда же вошли расходы на одежду, театры и концерты, извозчиков, мелкие расходы и пр. Ежегодно тратилось около 15 000 рублей в год.

Имения давали мало. То, что получалось с Ясной Поляны — мука, молоко, овощи, сено, дрова и пр. — потреблялось нашей семьей. Управляющий в Никольском-Вяземском — И. И. Орлов — опустился: был запоем и почти никакого дохода не давал. Самарское имение требовало хорошего управления и хозяйского глаза, а в 1883 году инвентарь в нем был продан и имение было сдано в аренду крестьянам, но арендаторы плохо платили, а отец принципиально не взыскивал с них денег судом.

Мать увидела, что если не будут приняты экстренные меры, то ей и ее детям придется сильно сократить свои расходы и даже отказаться от жизни в Москве.

Для того, чтобы этого не случилось, единственным средством было получение доходов с писаний Льва Толстого, тех доходов, на которые до этого времени главным образом жила наша семья, и наша мать решила воспользоваться этим средством. Отец предоставил ей исключительное право издавать все его сочинения, напечатанные до 1881 года; все же написанное им после этого года он предоставлял издавать всем желающим. Это решение было опубликовано позднее, в сентябре 1891 года, по оно соблюдалось уже с начала 80-х годов. В начале 1885 года мать взяла в свои руки издательское дело и предприняла

новое, пятое издание Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого. Предыдущее Полное собрание сочинений огулом продавалось издателям; новое же издание она решила сама издавать и от себя продавать в книжные магазины. В этом она последовала примеру А. Г. Достоевской, с которой подробно советовалась, бывши в 1885 году в Петербурге. На напечатание нового издания требовалось довольно много денег, которых у нее не было. Тогда она заняла у своей матери ее небольшой капитал — 10 000 рублей и у А. А. Стаховича 15 000 р. за небольшие проценты (5%).

И вот во флигеле хамовнического дома открылась контора издания Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого и поселился артельщик, а во дворе в сарае были сложены несколько сот экземпляров издания для текущей продажи. Отцу это было крайне неприятно, и он морщился, когда проходил мимо вывески «Контора издания сочинений Л. Н. Толстого», но в дело не вмешивался.

В декабре 1885 года произошло новое обострение разлада между моими родителями. В то время мать открыла подписку на издание Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, и уже несколько томов было напечатано. В ноябре она поехала в Петербург с целью выхлопотать цензурное разрешение на помещение в 12-ю часть собрания сочинений «Исповеди» и «В чем моя вера?»; ей было отказано. Отцу вообще претило получение доходов с его сочинений, особенно путем издания их его женой. Он не сочувствовал ее поездке в Петербург, считая, что недостойно хлопотать о цензурных разрешениях у Феоктистова и Победоносцева; в то же время он видел, что жизнь его семьи оставалась светской и роскошной и что мать продолжала игнорировать его убеждения. Все это было причиной его подавленного настроения.

В неотправленном длинном письме, написанном в том же декабре 1885 года (вероятно в первой половине декабря), отец писал матери: «...Я прихожу в отчаяние и спрашиваю свою совесть и разум, как мне поступить, и не нахожу ответа. Выборов есть три: 1) употребить свою власть: отдать состоящие тем, кому оно принадлежит — рабочим, отдать кому-нибудь, только избавить малых и молодых от соблазна и погребли; но я сделаю насилие, я вызову злобу, раздражение, вызову те же желанья, но не удовлетворенные, что еще хуже, 2) уйти от семьи? Но я брошу их совсем одних, — уничтожить мое кажущееся мне недействительным, а может быть действующее, имеющее подействовать влияние — оставляю жену и себя оди-

ноким и парушу заповедь, 3) продолжать жить, как жил, вырабатывая в себе силы бороться со злом любовно и кротко. Это я и делаю, но не достигаю любовности и кротости и вдвойне страдаю от жизни и от раскаяния. Неужели так надо? Так в этих мучительных условиях надо дожить до смерти?»

В неотправленном письме к Черткову того же времени (9—15 декабря 1885 года) он писал:

«То, что я пишу об этом — не читаю, что говорю — не слушают или с раздражением отвечают, как только поймут, к чему идет речь, что делаю — не видят или стараются не видеть.

На днях началась подписка и продажа на самых стеснительных для книгопродавцов условиях и выгодных для продажи. Сойдешь вниз и встретишь покупателя, который смотрит на меня, на обманщика, пищущего против собственности и под фирмой жены выжимающего сколько можно больше денег от людей за свое писание <...>.

Отчего я допускаю, отчего я делаю это? Вот это то я не знаю, как мне делать.

В семье я живу и никого не вижу иначе, как всякий всегда куда-то спешит и отчасти раздражен этим спехом и кроме того уверен так в том, что этот спех не только нужен, но так же естественен, как дыхание. И, если начнешь говорить, то он, если и не раздражится и не начнет говорить такую нелогическую бессмыслицу, что надо в каждой фразе вновь определять каждое слово,— если и не раздражен, то смотрит на часы и на дверь, думая, скоро ли кончится это ворчанье брюзгливого и не понимающего молодости, односторонне увлеченного старика.

С женой и с старшим сыном начнешь говорить — является злоба, просто злоба, против которой я слаб и которая заражает меня.

Что же лучше делать? Терпеть и лгать, как я лгу теперь всей своей жизнью,— сидя за столом, лежа в постели, допуская продажу сочинений, подписывая бумаги о праве на выборы, допуская взыскания с крестьян и преследования за покражи моей собственности по моей доверенности? Или разорвать все, отдаться раздражению. Разорвать же все, освободить себя от лжи без раздражения не умею, не могу еще».

Около 15 декабря отец резко и взволнованно высказал матери то, что думал и чувствовал, и вторично заговорил о своем намерении уйти от семьи. Моя мать писала сестре Т. А. Кузминской 20 декабря 1885 года:

«Случилось то, что уже столько раз случалось: Левочка

пришел в крайне нервное и мрачное настроение. Спужу раз, пишу, входит. Я смотрю,— лицо страшное. До тех пор жили прекрасно, ни одного слова неприятного не было сказано, ну ровно, ровно ничего.

«Я пришел сказать, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, еду в Париж или в Америку».

Понимаешь, Таня, если б мне на голову весь дом обрушился, я бы так не удивилась. Я спрашиваю удивленно: что случилось?

«Ничего, но если на воз накладывать все больше и больше, лошадь станет и не везет».

Что накладывалось — неизвестно.

Но начался крик, упреки, грубые слова, все хуже, хуже. И наконец, терпела, терпела, не отвечала ничего почти, вижу — человек сумасшедший, а когда он сказал, что: «где ты, там воздух заражен», я велела принести сундук и стала укладываться. Хотела ехать к вам хоть на несколько дней.

Прибежали дети, рев. Таня говорит: «Я с вами уеду, за что это?» Стал умолять остаться. Я осталась. Но вдруг начались истерические рыдания, ужас просто. Подумай: Левочка и всего трясет и дергает от рыданий.

Тут мне стало жаль его. Дети четверо — Таня, Илья, Леля, Маша — режут на крик. Нашел на меня столбняк: ни говорить, ни плакать. Все хотелось вздор говорить, и я боюсь этого и молчу, и молчу три часа. Хоть убей, говорить не могу. Так и кончилось. Но тоска, горе, разрыв, болезненное состояние, отчужденность — все это во мне осталось. Понимаешь, я часто до безумия спрашиваю себя: Ну, теперь за что же? Я из дома ни шагу не делаю, работаю с изданием до трех часов ночи, тиха, всех так любила и помнила это время, как никогда, и за что?

Подписка на издание идет такая сильная, что я весь день, как в канцелярии, спужу и орудую всеми делами. Наняла артельщика для укладки и беготни. Страшно утомительно и трудно. Денег выручила 2 000 р. в 20 дней.

Статьи две Победоносцев запретил окончательно. Вчера получила очень любезное от него письмо и отказ <...>.

Ну вот, после этой истории вчера почти дружелюбно растались. Поехал Левочка с Таней вдвоем на неопределенное время в деревню к Олсуфьевым за 60 верст на Султানে, вдвоем в крошечных санках.

Взяли шуб пропасть, провизни, и я сегодня уже получила

письмо, что очень весело и хорошо доехали, только шесть раз вываливались.

Я рада, что Левочка отправился в деревню, да еще в хорошую семью и на хорошее содержание.

Я все эти нервные взрывы, и мрачность, и бессонницу приписываю вегетарианству и непосильной физической работе. А вот, он там образумится. Здесь топлением печей, возкой воды и проч. он замучил себя до худобы и до нервного состояния <...>.

Надо надеяться, что все образуется, а пока — спазма в горле, тоска в сердце и усталость жизни. И легче, легче — сельзя».

23 декабря мать писала моей сестре:

«Таня, я очень искренне рада, что вам хорошо с папа и что он отдохнет. Я знаю, Таня, что в жизни нашей все хорошо, и что плакать не о чем. Но ты это папа говори, а не мне. Он плачет и стонет, и нас этим губит. Отчего он в Никольском не плачет над Олсуфьевыми, и собой и тобой? Разве не та же, но еще более богатая жизнь и там, и по всему миру? За что я — *souffre-douleur*¹ всех его фантазий? Я, которая всегда любила и желала жить для других, и мне это ничего не стоило, в этом только и радость моя была! Спасибо, что дети ко мне [относятся] с доверием. И я оправдаю это доверие, потому что теперь только это мне и осталось. Но быть веселой! Возможно ли это, когда слышишь стоны больного возле себя? И больного, которого привыкла любить. Вот об этом подумай. А пока я могу сказать одно: да, я хочу, чтоб он вернулся ко мне так же, как он хочет, чтоб я пошла за ним. Мое — это старое, счастливое, пережитое несомненно хорошо, светло и весело, и любовно, и дружно. Его — это новое, вечно мучающее, тянущее всех за душу, удивляющее и тяжело поражающее, приводящее в отчаяние не только семью, но и его родных, близких, друзей. Это — мрак, в который я не пойду, это — наболелое, которое убьет. Нет, в этот ужас меня не заманишь. Это новое, будто бы спасение, а в сущности приведшее к тому же желанию смерти, так измучило меня, что я ненавижу его.

Да, я зову в свое старое, и оно верное, и тогда только счастье восстановится, когда мы заживем старой жизнью.

Никогда мне это не было так ясно. И ясно, что я очень, очень теперь несчастлива этим разладом, но ломать жизнь не буду и не могу.

¹ козел отпущения (франц.).

О занятии моем «изданцем» скажу одно: я ухожу в этот страшный труд для одурения <...>. Уходить куда-нибудь надо от этих сцен, упреков, от этих страданий во имя какого-то нового добра, убивающего старое счастье <...>»

Отец впоследствии сознавал, что бывал недобр по отношению к своей семье. 27 декабря 1885 года он писал матери:

«Не для успокоения тебя говорю, а искренно я понял, как я много виноват; и как только я понял это и особенно выдержал из души всякие выдуманные укоризны и восстановил любовь и к тебе и к Сереже, так мне стало хорошо и будет хорошо, независимо от всех внешних условий».

В дневнике 1894 года он еще сильнее выразил то же самое, написав 4 октября:

«Сидел наверху с Сережей-сыном и — какая радость — ни малейшего прежнего недоброго чувства к нему, а напротив, теплится любовь». 21 октября: «Дня три тому назад перечитывал свои дневники 84 года, и противно было на себя, за свою педоброту и жестокость отзывов о Соне и Сереже. Пусть они знают, что я отрекаюсь от всего того недоброго, что я писал о них. Соню я все больше и больше ценю и люблю. Сережу понимаю и не имею к нему никакого иного чувства, кроме любви».

В последующие годы отношения между моими родителями временами улучшались, временами ухудшались, но никогда уже не были вполне согласны, несмотря на сильную любовь между ними. Установился известного рода *modus vivendi*, чему особенно способствовали мои сестры Таня и Маша. Таня — привлекательная, талантливая, увлекающаяся девушка, любимица как отца, так и матери, около второй половины 80-х годов сократила свои выезды (что не помешало ей сохранить хорошие отношения со своими светскими знакомыми) и стала больше сочувствовать отцу. Маша вообще не выезжала на балы и танцевальные вечера, любила деревню, работала крестьянскую работу и была предана отцу. Обе они стали переписывать отцу и помогать ему в его обширной корреспонденции.

1884—1887 годы

Осенью 1884 года я и брат Илья отправились в Москву па наши учебные занятия. Отец и остальная семья остались временно в Яспой Поляне. В половине сентября мы получили от

отца письмо, первую половину которого я привожу ниже, вторая же его часть адресована брату.

«Здравствуй, Сережа. Как вы живете? Я не столько беспокоюсь о вас в смысле, что с вами случится что-нибудь, сколько боюсь, что вы сделаете что-нибудь неладное. И чем старше, тем больше. Ты на это не обижайся. Когда у тебя будут дети, ты это самое будешь испытывать.

Очень жалко, что Марковников тебя обидел. Мне казалось, что ты дружелюбно бил посуду, и вдруг оказывается, что этого генерал не одобряет.

Что Олсуфьевы? Клапайся им от меня. Я рад, что ты часто у них бываешь.

Нехорошо, что ты оробел насчет яблок. У тебя этот предмет в неясности. Только тот, кто не ест яблок и то, что за них дают, может скучать продажей их.

Мы живем очень хорошо — дружно. Завтра едем верхом с Таней и Машей и miss Lake в плетушке в Пирогово. Погода не то, что хорошая, но что-то необыкновенное по красоте.

Я рублю дрова, читаю, но ничего не делаю и тягочусь этой умственной праздностью. Мама нездорова, но в хорошем духе.

Не могу без ужаса себе представить Москву, и о вас думать без сожаления. И чем младше, тем больше.

Тетя Таня, как и прошлого года в восторге от вашего посещения на железной дороге. Она точно вас всех и тебя очень любит».

В июне 1884 года мой самарский знакомый революционер Егор Егорович Лазарев был, по доносу известного предателя Дегаева, арестован и, по административному постановлению Комитета министров, приговорен к ссылке в Восточную Сибирь на три года. В конце августа он был переведен в Бутырскую тюрьму, по так как последняя партия ссыльных в Сибирь в этом году была уже отправлена, его оставили в Бутырской тюрьме до весны.

В то время московским губернатором был В. С. Перфильев, добрейший человек, давнишний приятель моего отца, а вице-губернатором был либеральный кн. В. М. Голицын. Смотритель тюрьмы и его помощники, заведовавшие политическими ссыльными, были также мягкими и доброжелательными людьми. Лазарев писал в своей автобиографии, что кн. Голицын, к его чести, принадлежал к числу мирных губернаторов, а про смотрителя и его помощника писал, что они по возможности исполняли все желания заключенных; их единственной просьбой было — «не погубить» их, то есть не употребить во

зло даваемые льготы. Лазарев был избран старостой политических заключенных и взял на себя ответственность за них перед властями.

Узнав об аресте Лазарева, я пошел к В. С. Перфильеву с просьбой о свидании с ним. Василий Степанович разрешил мне свидание, но сказал полушутя: «Смотрите, я мамаше скажу, что вы с политическими видаетесь». Я ответил: «Она знает, а папа сам бы пошел, если бы был в Москве». (Отец в то время был в Ясной Поляне).

Я несколько раз ходил на свидание с Егором Егоровичем и покупал для него и его товарищей по заключению разные съестные припасы. Свидания происходили не через решетку, а в канцелярии тюрьмы. Там я видел трогательные сцены свиданий заключенных с родственниками и друзьями; среди них были и приговоренные на каторгу, у которых полголовы было выбрито.

Отец, приехав в Москву, как я и предполагал, не раз ходил на свидание с Лазаревым; сцены, виденные им там, впоследствии описаны им в «Воскресении». Помню, как он возмущался тем, что административно ссыльный Ив. Ник. Присецкий мог видаться с женой, с которой повенчался в киевской тюрьме, не иначе как в комнате для свиданий, несмотря на то, что она жила на воле и приехала в Москву специально для того, чтобы следовать в ссылку за мужем. Еще отец рассказывал, что видел, как весной, перед высылкой в Сибирь, молодые мужчина и женщина, взявшись за обе руки, весело вертелись на площадке тюремной лестницы: наконец-то они вместе отправляются на место поселения и выходят из ненавистой тюрьмы.

Зимой к Лазареву явился на свидание А. А. Бибилов в сопровождении его матери. Бибилов скоро возвратился в Самару, а мой отец оставил мать Лазарева в хамовническом доме, для того чтобы она могла видаться с сыном. Моя мать сердечно отнеслась к ней.

Мой товарищ по тульской гимназии и университету, Степан Михайлович Блеклов, не раз передавал мне прокламации и сообщал сведения о революционерах. Время моего пребывания в университете было глухим временем: революционеры были разгромлены и скрывались в подполье. Однажды, зимой 1884 года, Блеклов попросил меня предоставить мою комнату во флигеле хамовнического дома для какого-то важного тайного совещания. Я с удовольствием согласился, и в назначенный день поздно вечером ко мне пришло человек пять

незнакомых бородатых мужчин, попросили меня выйти и долго о чем-то совещались. Входили и выходили они порознь, для того чтобы не обратить на себя внимание полиции.

По выходе из университета я потерял из виду Блеклова. Знаю только, что он был известным статистиком и одно время работал в Тверской губернии.

Окончив университетский курс, я достиг цели, к которой стремился четыре года, но, лишившись постоянных занятий, почувствовал какую-то пустоту и не знал, за что приняться. У меня были следующие возможности: во-первых, я мог продолжать свои занятия в химической лаборатории и посвятить себя науке,— потом я жалел, что так не поступил; во-вторых, я мог поступить на государственную или земскую службу; и в-третьих, я мог заняться сельским хозяйством в имениях нашей семьи, в чем меня поощряла моя мать.

На перепутье я обратился за советом к отцу. Это было в самый разгар его разлада с матерью. Когда я его спросил, каким делом он посоветовал бы мне заняться, он был в раздраженном настроении и ответил: «Дела нечего искать, полезных дел на свете сколько угодно. Мести улицу — также полезное дело». Этот ответ меня сильно обидел и был одной из причин моей тогдашней отчужденности от мировоззрения отца. Я не мог согласиться с тем, что мои четырехлетние занятия в университете были никчемными. Но, увы, после окончания университетского курса я очень мало занимался естественными науками, хотя никогда не жалел, что познакомился с ними: они дали мне настоящее знание и трезвый взгляд на жизнь.

По требованию матери я занялся хозяйством в Ясной Поляне и в самарском имении. Хозяйничать было трудно. Неодобрение отца, его отрицание всяких охранительных мер, моя неопытность, нежелание моей матери (которой отец дал доверенность на ведение всех своих имущественных дел) вводить улучшения в примитивное хозяйство Ясной Поляны — все это мне мешало с пользой заниматься этими делами. Для Ясной Поляны я нашел дельного управляющего — Александра Яковлевича Парфенова, но он вскоре уволился, увидев, что в Ясной Поляне невозможно было поставить хозяйство на деловую ногу.

В сентябре 1885 года я поехал по хозяйственным делам в наше самарское имение. Управляющего там уже не было. Все имение было в аренде, деньги за арендуемые участки получал и пересылал Бибииков. Арендаторы платили плохо. Биби-

ков и В. И. Алексеев жили, так же как и прежде, вблизи хутора. Василий Иванович продолжал арендовать участок из нашего имения, который он взял в аренду четыре года тому назад, с тем чтобы часть этого участка обрабатывать личным трудом, а остальную землю сдавать крестьянам. Что же из этого вышло? Личным трудом он землю почти не обрабатывал, а почти весь свой участок пересдавал крестьянам, которые, зная, что к суду он не обратится, платили плохо.

Я нашел его очень опустившимся. Он вышел ко мне бледный, худой, с тусклым взглядом, в мягких ичигах и рваной фуфайке. Он был поглощен хозяйственными мелочами, на что уходило все его время. Он мало чем интересовался, почти ничего не читал. Я ему привез два новых рассказа моего отца, но через два дня оказалось, что он их не прочел, хотя все время оставался дома, а я знал, что его всегда живо интересовало все, что пишет Лев Николаевич.

Жена Василия Ивановича, Елизавета Александровна, производила такое же жалкое впечатление, как и он. Он все же бывал в Самаре, на базарах, у своего знакомого мирового судьи Костромитинова; она же жила безвыездно в степи, в семи верстах от ближайшей деревни. Летом еще бывали у их единственного соседа Бибикова кумысники и гости, зимой же никого. У нее было трое детей от Василия Ивановича, и она целый день была занята детьми и хозяйством.

Ее старший сын Коля — вялый мальчик — не играл, не резвился, а исподтишка дразнил свою трехлетнюю сестренку Надю.

Наш разговор с Василием Ивановичем был неинтересен: о хозяйстве, арендаторах, недобросовестности бывшего управляющего Архангельского и т. п.

Перед моим отъездом, не помню по какому поводу, он сказал, что жизнь согласно велениям совести и убеждениям неизбежно ведет к лишениям и страданиям. Я с ним не согласился и подумал: вот он подвергает себя лишениям и страданиям, а едва ли живет согласно своим убеждениям. И я был рад уехать от безнадежных неплательщиков арендаторов и несчастного вида Василия Ивановича и его семьи. Я смотрел из окна вагона, поезд шел по крутому берегу реки Самарки, река вилась вдаль, сверкая на солнце, за ней расстилалась широкая степь, а ближе виднелись желтые, бурые и красные островки лиственного леса и темно-зеленые пятна хвойного. Это было красиво. Я был молод, и мне казалось, что жизнь — благо и что страдания и лишения не неизбежны.

После моей поездки в самарское имение положение там долго оставалось неопределенным. Управляющего не было, арендные деньги пересылались через Бибикова. Моя мать написала Бибикову, чтобы арендные деньги он посылал непосредственно ей. Тогда он отказался от всяких дел по имению. Пришлось искать управляющего. Отец рекомендовал некоего Семена Глебова, бывшего в 60-х годах учеником яснополянской школы. Это был небольшого роста белокурый человек, постоянно чему-то улыбающийся. В школе его прозвали «кыской». На военной службе он служил каптенармусом.

С 1883 года он поступил управляющим самарским имением.

В то же время моя мать написала В. И. Алексееву, который очень плохо платил за арендуемый им участок:

«Василий Иванович, сколько раз я принималась писать вам и высказать то, что меня мучило, и все откладывала, ожидая, что вы, наконец, поймете то фальшивое положение, в которое вы себя поставили. Но прошли целые года, и я вижу, что если я сама не выясню вашего отношения к делам аренды земли, то пройдут еще года, и вы останетесь в том же положении. Очевидно, держать в аренде нашу землю вы не в состоянии... Вы продолжаете истощать и портить землю, которая мало того, что не приносит никаких %, ежегодно падает, вместо того чтобы улучшаться. И потому, как мне ни неприятно самой вам это писать (я полагаюсь на вас в этом случае), но я принуждена сказать вам, что в аренде вам отказываю... Л. Н. сдал мне все дела и имения в неограниченное распоряжение, а я не желаю и не могу разорять своих детей и вести дела неразумно. Извините, если огорчила вас. Я ведь ждала годы. Вы сами будете рады, так как вы хороший человек, выйти из фальшивого положения. 4 авг. 1886 г.»

По поводу этого письма я написал Алексееву, что я не сочувствую матери в ее отказе ему в аренде и что прошу его не спешить прекращать свое хозяйство, что мы с ним столкнемся, когда я в следующий раз приеду на хутор. Я ему писал: «Несмотря на происшедшее, я надеюсь, что давнишние хорошие отношения наши не изменятся. Для меня это было бы очень тяжело, так как многому хорошему я научился от вас». Так я ему писал, но впоследствии думал, что отказ от аренды послужил ему на пользу.

Осенью 1886 года я опять поехал в самарское имение и по-

мог ему ликвидировать его дела. В этом году он был еще более жалок, чем в предыдущем. У него умерли двое детей от дифтерита, и сам он сильно болел. Дальнейшая судьба В. И. Алексеева следующая: он поступил домашним учителем к некоему Воейкову, разошелся с Елизаветой Александровной и влюбился в казанскую дворянку Веру Владимировну Загоскину, на которой и женился. Потом он был директором технического училища в Чухломе, а с 1900 года — директором коммерческого училища в Нижнем Новгороде. Когда он приезжал в Москву, он обыкновенно заезжал к нам: отец и я всегда были рады его видеть, мать также хорошо к нему относилась.

Летом 1885 и особенно 1886 года среди яснополянской молодежи под влиянием моего отца возникла мода работать на покосе. Этим увлеклись даже моя мать и А. М. Кузнецкий, ходившие грести сено. Покос в имении обыкновенно сдавался артелям яснополянских крестьян из половины, двух пятых или трети добываемого сена, в зависимости от качества травы. Отец и мы косили и убирали сено для вдов, стариков, малосильных крестьян Ясной Поляны, не могущих косить. Они получали ту долю сена, которая приходилась за нашу работу. Артелей было три или четыре. В 1885 году в одной артели работали отец, брат Илья, два яснополянских мужика и Исаак Файнерман. Это была скучная артель. В другой артели работали я, брат Лева, Алсид Сероп (сын гувернантки) и несколько мужиков. У нас было веселее, чем в первой артели: у нас бабы пели песни, а иногда мы пили водку, пропивая копну сена. Однако в нашей артели случилась беда: один из ее участников, Семен Резунов, придя домой после выпивки, подрался со своим отцом и сломал ему руку.

Работая в поле и возя снопы, отец сильно ударился ногой о грядку телеги; образовалась крупная ссадина. Не дав созреть струпику на ранке, он его содрал; возникло рожистое воспаление, начиналось заражение крови, температура поднялась. Моя мать сильно встревожилась, поехала в Москву и привезла хорошего врача, ассистента Захарьина — В. В. Чиркова. Он немедленно дренировал ранку и для дальнейшего лечения рекомендовал хорошего тульского врача А. М. Руднева. Температура сразу понизилась, но отцу долго пришлось не покидать постели. Я думаю, что тогда его жизнь была в большой опасности; его спасли врачи Чирков и Руднев.

В сентябре 1886 года отец написал мне и брату Илье из Ясной Поляны в Москву следующее письмо:

«Вам пишут каждый день и [вы] все знаете обо мне. Пишу

сам «для прочности». Общее состояние хорошо. Если на что жаловаться, то на сон, вследствие чего голова не свежа и не могу работать. Лежу и слушаю женский разговор и так погружен в женский лик, что уже сам начинаю говорить: «я спала». А на душе мне хорошо, немного иногда тревожно о ком-нибудь из вас, о душевном вашем состоянии, но не позволяю этого себе и жду, и радуюсь на течение жизни. Вы только поменьше предпринимайте, а живите, только бы без дурного, и выйдет прекрасно. Целую вас и Колечку».

В январе 1887 года в Тульском губернском земском собрании происходили выборы от земства в члены Тульского отделения Крестьянского банка. Не помню, кто из моих знакомых посоветовал мне выставить свою кандидатуру на эту должность, и я был выбран. Я нанял комнату в Туле и прослужил в этой должности до осени 1888 года, получая 750 рублей жалования в год. Эта служба оставляла мне много свободного времени, дел было немного, и я часто бывал в нашей семье — летом в Ясной Поляне, зимой в Москве. В моей службе были интересные командировки в разные места для оценки продаваемых через банк имений. Я с удовольствием ездил на ямщичьих лошадях по новым для меня местам. Я познакомился с разными, иногда своеобразными людьми. Так, в одном богатом имении управляющий, полковник в отставке, был настоящим Плюшкиным. Он был так скуп, что дома хлеба не пек, а покупал у нищих кусочки, которые им подавали; этими кусочками он угощал и меня. В другом имении наоборот — меня роскошно угощали, вероятно предполагая этим способствовать моему благоприятному отзыву о продаваемом имении.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

В 80-х годах жизнь нашей семьи летом в Ясной Поляне была иная, чем зимой в Москве. Не было столько посетителей, как в Москве, но зато в самой Ясной Поляне жило много народа: наша семья, семья Кузминских и педагоги обеих семей. Все мы, кроме родителей, были зеленой молодежью.

Мне, Сергею, было 21 год, Тане еще не было 20 лет, Илье — 18 лет, Льву — 15 лет, Маше — 13 лет. Андрей, Миша, Алеша (умерший в январе 1886 года) и Саша — были малолетки.

Семья Кузминских состояла из А. М. Кузминского, председателя петербургского окружного суда (41 года), моей тетки Т. А. Кузминской (38 лет), их дочерей — Марии 15 лет, Веры — 14 лет и трех младших мальчиков.

Кроме того, летом в 1886 и 1887 годах в пяти верстах от Ясной Поляны, в так называемой Ванькиной даче, жили: тетка моей матери Вера Александровна Шидловская, ее младшая дочь Вера Вячеславовна (20 лет) и ее впучка Вера Петровна Северцова (18 лет). Эти две девицы часто бывали в Ясной Поляне.

К молодежи следует причислить сына французенки-гувернантки, подростка Алсида Серон, ученика Лазаревского института. Молодежь стремилась веселиться: время было каникулярное, питание хорошее, даже слишком хорошее, умственной работы было немного. Гуляли, катались, купались, одно время увлекались работой на сенокосе, музицировали, играли в крокет и другие игры, вечером — в винт, шутили, острили, слегка влюблялись друг в друга и т. д. Вообще веселились.

Педагогический персонал состоял у Толстых из: Анны Серон, пожилой, представительной французенки, которую мы называли герцогиней, молодой англичанки miss Lake, учительницы музыки — Екатерины Николаевны Кашевской, которую в 1887 году заменила ее сестра Юлия, и И. М. Ивакна, репетитора Ильи и Левы. Одно время жил еще гувернер моих младших братьев — Herr Haffenberger.

У Кузминских жили: учитель А. Томинский и учительница Д. И. Герке, которую позднее заменила О. Н. Тиблен. Еще у Кузминских недолго жила французенка Sophie Roussel.

Начиная с лета 1883 года в Ясной Поляне был заведен «Почтовый ящик». Это был простой деревянный ящик. Он запирался ключом и привешивался на площадке лестницы. В него всякий житель Ясной Поляны мог опускать свои «произведения», если можно назвать эти бумажки произведениями. Они писались согласно изречению, вынутому из того же ящика: «В наш новый ящик почтовый, кто как хочет, так и строчит». По воскресеньям вечером ящик отпирался, все собирались в зале, и кто-нибудь из старших читал все бумажки, опущенные за неделю в ящик. Бумажки эти не были подписаны, и было условлено не стараться узнавать авторов по почерку. Много было написано неинтересного вздора, в чем сознавались и авторы. Кто-то написал: «Я ведь, черт знает, какую дичь написал... Ничего! в почтовом ящичке все сойдет». Тем не менее этот вздор дает живое представление о жизни в Ясной Поляне в 80-х годах, а некоторые бумажки были не лишены остроумия. Они состояли из характеристик яснополянских жителей, из описания мелких происшествий, из номеров газет

«Яснополянские ведомости» и «Вольный дух», из намеков, игры слов, плохих стихов и т. п. Часть была написана по-французски, по-английски и даже по-немецки. Разумеется, самые интересные «бумажки» были написаны Львом Николаевичем. Они опубликованы в «Воспоминаниях» моего брата Ильи и в Юбилейном издании сочинений Л. Н. Толстого, т. 25.

В то время отец особенно живо чувствовал разницу между жизнью нашей семьи и трудового народа. В «Скорбном листе душевнобольных яснополянского госпиталя» упоминаются 23 номера душевнобольных, большинство которых страдает «блехинизмом», или «манней блехино-банковской». Этой манней страдал пасторский сумасшедший — ипший крестьянин Григорий Федотов Блехин. О нем отец упоминает в своей статье «Так что же нам делать?» В 34-й главе этой статьи он сравнивает уверенность праздных и богатых людей в том, что они вправе, не работая, пользоваться трудом других людей, с манней душевнобольного Блехина.

Блехин нередко приходил в Ясную Поляну, где я не раз его видел. Там ему давали постель, а иногда несколько копеек. Это был человек лет пятидесяти, худой, среднего роста, с короткой русой бородкой. Одет он был в какие-то странные лохмотья: зимой на нем был рваный полушубок и какая-то тряпка вместо шарфа, летом — нечто бывшее, вероятно, женской кофтой. Засаленную шапку и стоптанные валенки он носил и летом и зимой. По-видимому, он никогда не мылся: на его нечесаных волосах можно было увидеть вшей.

Это был смиренный сумасшедший. Он не сердился, когда над ним смеялись, а когда ему говорили, что он сумасшедший и несет вздор, он только снисходительно и хитро улыбался. Говорил он спокойно, не повышая голоса, но с большим достоинством. Родом он был из дальней деревни Лисьи Прияры, был женат, но дома почти не бывал, хозяйством занимался его брат. Лисьи Прияры он называл своим именем. Про него говорили, что он когда-то был нормальным человеком, служил у одного провинциального чиновника в качестве рассыльного и сошел с ума после побоев, нанесенных ему в драке.

В «Скорбном листе» так изложена мания Григория Блехина: «№ 22. Князь Блехин. Военный князь, всех чинов окончил, кавалер орденов Блехина. Пункт помешательства один: что другие люди должны работать для него, а он — получать деньги, открытый банк, экипажи, дома, одежду и всякую сладкую жизнь и жить только «для разгулки времени». Большой не опасный и вместе с № 20 может быть выпущен. Что жизнь

его, князя Блохина, «для разгулки времени», а всех других трудовая, объясняет князь Блохин весьма последовательно тем, что он «окончил всех чинов», жизнь же праздная других ничем и никак им не объясняется.

Кроме «Скорбного листа», в почтовый ящик были опущены несколько более или менее удачных характеристик жителей Ясной Поляны разных авторов на следующие темы: кто чем доволен и недоволен, кто чем занимается, кто чем жив, кто когда мертв, кто чем хочет казаться и что он в душе и что для других людей, у кого какие идеалы, в чем для кого ад, что от кого родится, кто как играет в крокет, кто как играет в винт и кому какие стихи поэтов подходят.

Выяснить, кто авторы этих характеристик, в настоящее время трудно. К тому же некоторые написаны коллективно. Ниже я привожу некоторые из этих характеристик «Скорбного листа».

«№ 1 [Лев Николаевич]: Сангвинического свойства. Принадлежит к отделению мирных. Большой одержим манией, называемой немецкими психиатрами *Weltverbesserungswahn*¹. Пункт помешательства в том, что больной считает возможным изменить жизнь других людей словом. Признаки общие: недовольство всем существующим порядком, осуждение всех, кроме себя, и раздражительная многоречивость без обращения внимания на слушателей. Частые переходы от злости и раздражительности к ненатуральной слезливой чувствительности. Признаки частные: занятие несвойственными и ненужными работами: чищение и шитье сапог, кошение травы и т. п. Лечение: полное равнодушие всех окружающих к его речам, занятия такого рода, которые бы поглощали силы больного».

Автор — сам Лев Николаевич, но он писал здесь не то, что думал о самом себе, а то, что, по его мнению, думали о нем другие. Он не мог думать, что он осуждает всех, кроме себя; из его дневников, из статьи «Так что же нам делать?» и из его разговоров видно, что он прежде всего осуждал самого себя. И разумеется, он не хотел, чтобы окружающие были равнодушны к его речам.

Кто чем доволен и недоволен?

Лев Николаевич недоволен собою, недоволен всем родом человеческим. Стремится к улучшению со всех сторон. Прислугой всегда доволен, часто недоволен детьми, а судьбою? Неизвестно даже самым близким людям. Недовольство собою

¹ Безумное желание исправлять мир (*нем.*).

делает его спсиходительным, мягким, понимающим все и вся. Довольствие — как бы сказать... автор затрудняется. Лучше не будем описывать чувства, а разберем выражение лица: углы губ опущены, губы сжаты. Глаза, о боже! стынет кровь, вспомнив эти глаза. Прямо, холодно, строго глядят они, даже цвет их меняется, что-то стеклянное. И тот, на кого они глядят, чувствует безмолвный укор: ты презренен — выражают они; ты жалок, ничтожен, ты никогда не поймешь назначения жизни, ты слаб. Иди косить! — добавляют они. И тот, к кому это обращено, в самом деле чувствует себя ничтожным, слабым, маленьким. Стыдно и неловко делается, и невольно отводишь свой взгляд от этих глаз, и вдруг чувствуешь облегчение, освобождение от ига. За что? Что я сделал, спрашиваешь себя. Чем же его жизнь так лучше, так выше моей? И опять с смелостью оборачиваешься, готовясь храбро встретить безмолвный укор. Но нет, напрасно. Сила стекла, правды и холода страшно сильна. Опять и опять съезживаешься, стыдишься и уничтожен, придавлен своей пустотой.

Занимается Л. Н.: внушением другим умственных идей. Чем люди живы в Ясной Поляне?

Лев Николаевич жив тем, что будто бы нашел разгадку жизни.

Чем люди мертвы в Ясной?

Лев Николаевич мертв, когда едет в Москву и когда в Москве, выходя гулять, получает разные грустные впечатления.

Кто чем хочет казаться и что он в душе и что он для других людей?

Лев Николаевич хочет казаться аскетом, проповедником. В душе добрый и страстный. Для других тяжел, но не вреден.

Идеалы Ясной Поляны:

Лев Николаевич: нищета, мир и согласие. Сжечь все, чему поклонялся, поклонится всему, что сжигал.

Когда ясенские жители чувствуют в душе ад?

Лев Николаевич: когда вокруг него роскошь, злословие, ездят, по примеру Пипи Долгоруковой по Щербатовым, когда заставляют на себя работать с уверенностью, что все так и должно быть.

Родятся от него книжки и мужики у крыльца.

Играя в винт, думает, что ремизов не существует.

В крокет играет самоуверенно и недурно.

Стихи к нему подходящие: «Провозглашать я стал любви и правды чистое ученье».

Софья Андреевна, по «Скорбному листу» № 2, находится в отделении смиренных, но временами должна быть отделяема. Большая одержима манией *petulanta toropigis maxima*¹. Пункт помешательства в том, что больной кажется, что все от нее всего требуют, и она никак не может успеть все сделать. Признаки: разрешение задач, которые не заданы; отвечание на вопросы, прежде чем они поставлены; оправдание себя в обвинениях, которые не деланы, и удовлетворение потребностей, которые не заявлены. Больная страдает манией блохино-банковской. Лечение: напряженная работа. Диета: разобщение с легкомысленными светскими людьми. Хорошо тоже действуют в этом случае в умеренном приеме воды Кузькиной матери.

Довольна собой только вполонину, детьми — вполонину, людьми — вполонину; судьбой довольна, когда же недовольна собою, две складки делаются на лбу, глаза глядят быстро, даже, скажу, сердито, и лучше отойдем, оставим ее, а то как раз попадешь в опалу. Когда же она довольна собой, то, читатель, идите, спешите к ней. Приятнее, добрее, милее трудно найти женщину: все глядит ласково. Движения делаются мягки. Куда пропали две складки на лбу, глаза оживились, и улыбка, спокойная и добрая, не сходит с уст ее. И, когда приходит невзначай из того дома тетя Таня, то она говорит ей: «Танюшка, посидите со мной, я вас совсем не вижу, я тут все утро куртки малышам крою». Тетя Таня как услышит этот голос, то не то, что сидеть, а все, все готова для нее сделать.

Она занимается: кальсончиками, грибами и малышами. Она *жива* тем, что она жена знаменитого человека и что существуют такие мелочи, как, например, земляника, на которую можно тратить свою энергию.

Она жертва, когда малышечки больны и когда Илья в бабки играет.

Ее идеалы: Сенека, иметь 150 малышей, которые никогда бы не становились большими.

Ад для нее: вульгарность, болезнь детей, необходимость самой решить какой-нибудь важный вопрос или шаг в жизни.

От нее родятся: суета, обеды, завтраки, большие и малые дети, платья на рост и бабы и больные у крыльца.

Играя в винт, слишком боится ремизов. Она лучше бы играла, если бы не так боялась проиграть.

¹ Необузданная, стремительно-торопливая маниа (лат.).

Стихи, к ней относящиеся и ей посвященные: «И вот пор-
трет, и схоже и не схоже» (А. Фет).

Татьяна Андреевна Кузминская, по «Скорбному
листу» № 6. «Большая одержима манией, называемой *mania
demonica complicata*¹, встречающейся довольно редко и пред-
ставляющей мало вероятности исцеления. Больная принадле-
жит к отделению опасных. Происхождение болезни: незаслу-
женный успех в молодости и привычка удовлетворенного тщес-
лавия без нравственных основ жизни. Признаки болезни:
страх перед мнимыми личными чертями и особенное пристра-
стие к делам их, ко всякого рода искушениям: к праздности,
к роскоши, к злости, забота о той жизни, которой нет, и равно-
душье к той, которая есть. Больная чувствует себя постоянно
в сетях дьявола, любит быть в его сетях и вместе с тем боит-
ся его. Больная в высшей степени страдает повальной манией
блуждения. Исход болезни сомнителен, потому что исцеле-
ние от страха дьявола и будущей жизни возможно только при
отречении от дел его. Дела же его занимают всю жизнь боль-
ной. Лечение двойное: или совершенное предание себя дьяво-
лу и делам его, с тем чтобы больная извела гор-
ечь их, или совершенное отчуждение больной от дел
дьявола. В первом случае хороши бы были раньше два
большие приема компрометирующего кокетства, два милли-
она денег, два месяца полной праздности и привлечение к
мировому судье за оскорбление. Во втором случае: три или
четыре ребенка с кормлением их, полная занятий жизнь и ум-
ственное развитие. Диета — в первом случае: трюфеля и шам-
панское, платье все из кружев, три новых в день. И во вто-
ром — щи, каша, по воскресеньям сладкие ватрушки и платье
одного цвета и покроя на всю жизнь.

На редкость *довольна* собою и всеми. В исключительных
случаях *недовольна* собою. Ее это так возмущает, так удивля-
ет, что она пщет в этом виноватых, но не находит. Обвиняет
всех, и тогда, о читатель благородный, уйдите от нее, чтобы
не слышать призывания Сысойчика со всей его родней и не
видеть красного, раздраженного, безобразного лица.

Занимается она — спорами. *Жива* тем, что она умеет нра-
виться, веселиться и заставить себя любить. *Мертва* — когда
Александр Михайлович уезжает из Ясной. *Она хочет казаться*
пустой и злой. В душе искренняя и сердечная женщина. Для
других или очень приятна, или ужасна. *Ее идеал*: вечная мо-

¹ Усложненная демоническая магия (лат.).

лодость и свобода женщины. *Ад для нее*: когда давно некого было побранить, когда ее девушки занимаются фривольными занятиями или разговорами, когда не с кем спорить, когда уверяют, что она и женщины вообще ничего не делают, когда покушала крошки, когда спать хочется и надо разговаривать, и, наконец, когда преподобный уезжает. *От нее рождаются*: кексы, пироги с вареньем, хорошенькие девочки и мальчики. Во время игры в винт смотрит безучастно в сторону, но когда ей не мешают интересные разговоры, играет порядочно. Во время шлемов очень оживляется. Выиграть любит.

К ней приложимы *стихи*: «И нас за могильной доскою, за миром явлений не ждет ничего» (Баратынский).

Сергей Львович, по «Скорбному листу» № 7. «Больной одержим манией, называемой «пустобрех» *universitatis liberalis*¹. Больной принадлежит к отделению не вполне смтрных. Признаки общие: желание знать то, что знают другие люди и чего ему самому не нужно знать, и нежелание знать то, что ему пужно знать. Признаки частные: гордость, самоуверенность и раздражительность. Больной не вполне еще исследован, но подвержен, кроме того, в сильнейшей степени магии князя Блохина. *Лечение*: вынужденная работа, а главное — служба или любовь, или то и другое. *Диета*: меньше доверия к знапию и больше исследования приобретенных знаний.

Спокойно относится к себе и к судьбе. Есть случаи, когда он *доволен*, собой, напр., читал свой детский дневник и сделал губы корзиночкой, глаза приняли такое наивно-детское выражение, когда он читал след. строки: *Monsieur, monsieur, j'ai attrapé un rat. Il étai dans la souicière, disait la mépagèe*², что не то, что он сам, но весь мир остался бы им доволен.

Он *жив* тем, что думает когда-нибудь зажить иной жизнью. Он *мертв* тем, что Алена уехала. Играет *в винт* и проигрывает, особенно с плохим партнером, все вваливает на партнера. Потому — неприятен. Подходящие ему *стихи*: «Отрядом книг уставил полку, читал, читал, и все без толку» (А. Пушкин).

Татьяна Львовна, по «Скорбному листу» № 10. «Большая одержима манией, называемой: „Каппиастас-Мещерпана»

¹ Университетский, либеральный; латинская формулировка правильна.

² Сударь, сударь, я поймала крысу. Она была в крысоловке, — сказала экономка (*франц.*).

simplex¹, состоящая в совершенном прекращении всякой умственной и духовной деятельности и в страстном ожидании звонков у дверей или под дугой для возбуждения жизни посредством тщеславия. Признаки общие: сонливость, невнимательность ко всему окружающему или сверхъестественное возбуждение. Подчинение своей воле воли других людей, по летам и развитию стоящих ниже себя. Признаки частные: порывистые и судорожные движения ног при звуках музыки, причем особенное искривление плеч и стана. Больная подвержена сильно князь-блехинской эпидемии. *Лечение*: раннее вставание, физический труд, ежедневно до сильного пота; правильное распределение дня для умственного, художественного и физического труда и подчинение себя руководителю. *Диета*: отсутствие халата и зеркала и угощения. При исполнении этого режима исход болезни благоприятный.

Довольна собой, но не всегда — своими действиями. Всегда *недовольна* своей живописью, изредка — работой; когда, например, сошьет рукав прежде на выворот, потом рукав на одну только левую руку, отчаяние овладевает ею, она хохочет, но этот смех готов перейти в слезы, и она этот рукав дает на исправление тетеньке. Судьбой она довольна. *Занимается* она старанием поссорить Кузминских супругов. Она *жива* тем, что она недурна собою и что существует такое благо, как замужество. Она *мертва*, когда мамаша ее сватает за Федю Самарина. Ее *идеал* — стриженная голова, душевная тонкость и постоянно новые башмаки. *Ад для нее*: когда ей холодно, когда кусают насекомые, когда она одинока, когда рядом ухаживают и не за ней; когда ей не верят и когда у нее две дюжины платьев, все слишком узкие. От нее *родятся*: топот (?), плохие картины, наряды и веселье попеременно с мрачностью. Подходящие к ней *стихи*: Московские «юноши толпою на Татьяну чопорно глядят, и про нее между собою неблагосклонно говорят». (А. Пушкин).

Илья Львович Толстой, по «Скорбному листу» № 8. *Mania Prochoris egoistica complicata*². Больной принадлежит к разряду небезопасных. Пункт помешательства в том, что весь мир сосредоточивается в нем и что, чем ниже и бессмысленнее те занятия, которыми он занят, тем озабоченнее весь мир этими занятиями. Признаки общие: больной не может ничем заниматься, если не присутствует удивляющийся

¹ простая (лат.).

² Осложненная мания прохоровского эгоизма (лат.).

Проخور, но так как удивляющихся прохоров тем меньше, чем выше разряд занятий, то больной постоянно спускается на низшую степень занятий. Признаки частные: большой возбуждается до самозабвения всякими одобрениями и падает до апатии без одобрения. Больной в сильнейшей степени заражен блохинской эпидемией. Болезнь опасна, исход двойкий: первый — или больной привыкнет подчиняться суду низшего сорта — прохоров, постоянно понижаясь по мере легкости их одобрения, второй же — это может отвратить больного, и он попытается найти интерес к деятельности самоудовлетворяющей и независимой от прохоров. Лечение невозможно. *Диета*: воздержание от общества людей, стоящих ниже по образованию.

Занят сном и охотой. *Жив* надеждой на семейное счастье. *Мертв* тем, что греческая грамматика наступает. *Идеал* его в том, чтобы тщательно скрыть ото всех, что у него есть сердце, и делать вид, что убил сто волков. От него *родится*: собачий лай, поросычий визг, много чертыханья и все-таки много любезного людям. Играет в *крокет* метко и сильно, но горячится, шалит, и поэтому шар его перепрыгивает через цель и редко попадает. В *винт* лучше бы играл, если бы не так страстно желал выиграть. *Стихи* ему подходящие: «Не хочу учиться, хочу жениться» (Фонвизин).

События, упоминаемые в почтовом ящике,— все самые обыденные мелкие факты: приезд и отъезд гостей, пикники, рассказы о том, как у четырех девиц, ехавших в теложке, распряглась лошадь и ни одна из них не сумела ее запрячь, как во время другой поездки переломился валеk у прпстяжной, как дышленок завяз в смокве и вылетел из окна с прилипшим к нему блюдечком со смоквой, как молодежь паслась на малине и крыжовнике и как старшие были этим недовольны и т. д.

Веселые заметки вызвал случай с турнюрой, оброненной одной из наших дам по дороге на купальню и найденной А. М. Кузминским с сыном Мишей. По этому поводу была даже написана поэма. Насмешки вызвало также портняжество Файнермана, неудачно скроившего брюки для Льва Николаевича.

Аршинов пять достали коломянки,
Он мерил, резал, ерзал на коленке,
Но панталоны скроены не так:
На пузе их стянуть нельзя никак.

Отец интересовался почтовым ящиком и, кроме «Скорбного листа», написал еще несколько заметок. В заметке «Из Русской Старины 2085 года» он подразумевает под двумя сумасшедшими семействами — нашу семью (Толстых) и семью Кузнецких, а под несумасшедшими — семейства крестьян Ясной Поляны.

Довольно резкое возражение вызвал следующий вопрос, предложенный Львом Николаевичем в почтовом ящике:

«Просят ответить в будущий раз на следующий вопрос: Почему Устюша, Маша, Алена, Петр и пр. должны печь, варить, мести, выносить, подавать, принимать, а господа — есть, жрать, сорить, делать нечистоты и опять кушать?»

Влияние Льва Николаевича сказалось и в следующих заметках: «Сего 7-го июля заколоты были в оборан, в другой — солонина. 9 июля: предушены в двух домах 6 кур и 2 цыпленка. 10—11—12 июля: привезено в оба дома 30 ф. ростбифа, пуд бульонной говядины, 2 курицы, 7 цыплят и теленок в 70 фунтов. Общество вегетарианцев как будто не существует».

«Да здравствует говядина, телятина, солонина, барапина, дичь и все цыплята».

Расписание яснополянского дня: 10—11—кофе дома, 11—12 — чай на крокете, 12—1 — завтрак, 1—2 — опять чай на крокете, 2—3 — занятия, 3—5 — купанье, 5—7 — обед, 7—8 — крокет и катанье на лодке, 8—9 — маленький чай, 9—10 — большой чай, 10—11 — ужин, 11—10 утра — спанье. А еще говорят, что мы мало работаем, да ведь так чахотку наживешь!»

Произведения почтового ящика не ограничивались яснополянскими сюжетами. Были и не имеющие отношения к нашей жизни. Например, таковыми были: очерк о Крюднер, написанный Н. Н. Страховым, воспоминания Я. И. Головина (соседа по Ясной Поляне) о Турецкой войне под заглавием: «Отсталая и не современная корреспонденция, но тем не менее интересная», и др.

ПЕТЕРБУРГ 1888—1890 ГОДОВ

В сентябре 1888 года я был назначен делопроизводителем центрального правления Крестьянского банка на тысячу рублей жалованья в год, плюс наградные. Наступил новый период моей жизни. Я переехал в Петербург и стал редко бывать в нашей семье. Признаюсь, в Петербурге я вел себя распущенно. Куда девался мой студенческий радикализм! Я стал бывать

в светском обществе, даже однажды был на придворном спектакле в Эрмитаже. Часто бывал у родственников моей матери, большей частью принадлежавших к высшему чиновничеству — Кузминских, Иславиных, Шидловских, Кириаковых, Фукс. Там не было интересно, но там вкусно ели и играли в винт. Посещал я также Н. Н. Страхова и А. Ф. Коши. Часто бывал на концертах, особенно на концертах А. Рубинштейна, и много бывал в ресторанах и увеселительных местах.

Не буду подробно писать о своей петербургской жизни. Упомяну лишь о некоторых эпизодах и встречах.

Я близко сошелся со своим сверстником Александром Аркадьевичем Столыпиным и вместе с ним вел разгульную жизнь.

Он был неглуп, талантлив, добрый товарищ и, как говорится, владел пером. Впоследствии он писал легкомысленные фельетоны в «Новом времени», к сожалению большей частью реакционного направления.

В доме Столыпиных я однажды встретил его брата Петра Аркадьевича, будущего премьера, в то время ковенского председателя дворянства. Из его разговоров я вынес впечатление, что он был добросовестным служакой и для того времени либеральным.

Другим собутыльником моим и Александра Столыпина был сын знаменитого Антона Рубинштейна — Яков. Это был типичный представитель петербургской богемы. Он был красив, имел большой успех у женщин полусвета и был очень музыкален, пел, играл на фортепиано и на гитаре и даже сочинял, хотя никогда систематически музыке не учился.

В том же году я был на даче у Антона Григорьевича в Петергофе и играл с ним... не на фортепиано, а на бильярде. Могу удостоверить, что он играл на бильярде много хуже, чем на фортепиано. Дома он был любезен и прост.

Летом 1889 года я встретил на Невском А. Ф. Коши, с которым познакомился, когда он приезжал в Ясную Поляну. Я пошел с ним рядом. Не помню, о чем начался наш разговор, но помню, что он сказал:

— В России нет общественного мнения. Как вы думаете, что бы случилось, если бы — помните за грубый пример — вашего отца подвергли телесному наказанию? Две-три студенческие истории, больше ничего, и все осталось бы по-старому. Русское общественное мнение ярко проявилось только однажды.

Я спросил:

— По делу Веры Засулич?

Он ответил:

— Разумеется.

Как известно, Копп председательствовал в суде с присяжными во время процесса Веры Засулич, стрелявшей в градоначальника Трепова и оправданной судом.

Однажды я был у Коппи в его приемный день. Там ко мне обратился один незнакомый пожилой господин с вопросом:

— Вы служите в Крестьянском банке?

Я ответил утвердительно, но добавил, что Крестьянский банк работал бы лучше, если бы процент, платимый крестьянами за купленные земли, не был так высок. Почему этот процент выше процента, платимого по ссудам Дворянского банка?

На это пожилой господин сказал:

— Когда я проектировал устав Крестьянского банка, я думал, что крестьянам будет легко платить этот процент. Ведь они платят большие деньги за арендуемые ими земли.

Я потом спросил Коппа, кто этот пожилой господин. Оказалось, что он — бывший министр финансов Бунге, по проекту которого был учрежден Крестьянский банк.

Моя служба в Крестьянском банке была однообразна: я докладывал о поступающих делах совету банка, затем излагал и регулировал постановления совета по этим делам, отдавая их в переписку, и носил к подписи члену совета Ф. Ф. Воропову. Он был предпричив и неаккуратен.

Потом его заменил Ю. Скалон, известный своими статистическими трудами, совсем иначе относившийся к делу.

Осенью 1889 года я взял отпуск и поехал с сестрой Таней в Париж на выставку.

Там мы поселились вместе с Михаилом, Дмитрием и Елизаветой Адамовичами Олсуфьевыми в небольшом флигеле. Наши отношения с Олсуфьевыми (мои — с Елизаветой Адамовной и сестры — с братьями Олсуфьевыми) нельзя было назвать влюбленностью, но их можно назвать *amitié amoureuse* — любовной дружбой. Я с удовольствием вспоминаю эти отношения.

Помню, как спускаясь с Эйфелевой башни, мы так весело чему-то смеялись, что заразили сторожа, стоявшего у лестницы. Он тоже захохотал и проводил нас словами:

— En avant la jeunesse! ¹

¹ Вперед, молодежь! (франц.).

Вернувшись из-за границы, я тотчас же поехал в наше самарское имение, где умер управляющий Семён Глебов и был назначен новый, некто Рибовский. Это была моя последняя поездка в самарское имение.

В декабре я вышел в отставку и уехал в Ясную Поляну. Там состоялся домашний спектакль — первая постановка «Фруктов просвещения». После спектакля я опять уехал в Петербург. Мне не хотелось его покидать. Там я приписался к Министерству внутренних дел, с тем чтобы участвовать в происходившем в то время пенитенциарном международном конгрессе. Меня интересовали вопросы о наказаниях и тюрьмах, и я надеялся познакомиться на конгрессе с тем, что делалось по этой части в Западной Европе в сравнении с ужасным в царской России пенитенциарным режимом. Но мне мало пришлось узнать, так как я, знающий иностранные языки, был прикомандирован к тюремной выставке, где и дежурил. На выставке были показаны главным образом диаграммы и изделия заключённых в тюрьмах, и, разумеется, не были показаны плохие русские тюрьмы, вопиющее их переполнение и ужасы переправ по этапу в Сибирь. Выставка имела целью показать, что русские тюрьмы не так плохи, как их описывали русские эмигранты. Эта цель достигнута не была, и выставка никого не обманула. К тому же иностранцы мало ее посещали.

Во время моего дежурства на выставке я познакомился с главным тюремным инспектором на Дальнем Востоке Каморским. Однажды он предложил подвезти меня до моей квартиры в своей коляске и во время поездки сказал мне:

— Знаете, кто у меня кучером? Это каторжник с Сахалина, убийца, зарезавший целую семью.

Я спросил:

— Разве он имеет право быть в Петербурге?

Каморский усмехнулся моей наивности и сказал:

— Он прекрасный кучер и очень мне предан. Я и взял его с собою.

Отец о моем участии в пенитенциарном конгрессе сказал А. М. Кузминскому:

— Сережа и Столыпин, вероятно, долго думали, в какой новый кабак им пойти, и надумали — в тюремный конгресс.

Эти слова, в которых была большая доля правды, мне были переданы, и в письме к сестре я жаловался, что отец «иронически» ко мне относится.

На это отец 8 марта 1890 г. написал мне следующее письмо: «Не думай, Сережа, что я к тебе отношусь иронически, как

ты пишешь. Если я пошутил с Сашей Кузминским, то я только пошутил. Я стараюсь помнить и помню свою молодость и надеюсь и даже почти уверен, что ты делаешь и делал меньше глупостей, чем я, даже относительно, т. е. пропорционально времени и условий, в которых я находился и ты находишься. Одно, что прежде меня сердило в тебе (прежде, теперь этого нет), это то, что ты столь разумный и как бы практический в приобретении знаний научных и практических, умевший всегда пользоваться тем, что сделано прежде тебя людьми, не выдумывавший сам логарифмов и т. п. вещей, которые давно выдуманы, и знающий куда обращаться за этими знаниями, ты в самом важном знании — что хорошо, что дурно и потому как жить, — хочешь доходить своим умом и опытом, а не пользуешься тем, что давно несомненно и очевиднее всякой геометрической теоремы объяснено и доказано.

Например, ты открыл, что непременно надо быть заняту, и ищешь себе занятия, но хорошенечко не знаешь, чем именно тебе надо заниматься: банком, тюрьмами, хозяйством или уездным начальничеством. Но и это не все: почему не музыкой, не литературой, не фабрикой, не путешествиями и т. д.? Очевидно, что положение, что надо быть заняту, не имеет никакого значения и смысла, если не решено, чем надо быть заняту. И вот это-то давным-давно решено людьми, к[оторые] занимались этими вопросами. Зяную надо быть тем — *au risque de te deplaire*¹ — должен повторить тебе то, что тобою давно, по твоему мнению, опровергнуто, — заняту надо быть тем прежде всего в нашем привилегированном положении, чтобы слезть с шеи народа, на которой сидишь, и прежде, чем делать что-либо по своему мнению полезное для этого народа, перестать утруждать его требованиями удовлетворения своих прихотей жизни, т. е. прежде всего делать то, что себе нужно. Сомнения тогда в том, что делать, не будет, и будет спокойная, радостная жизнь. Исключение из этого только тогда возможно, когда есть какое-либо исключительное призвание. Определить же то, что есть это исключительное призвание, никогда не может тот, кто имеет или не имеет призвания, а другие люди, которые в случае такого призвания будут требовать того, чтобы человек отдавался своему полезному или радостному для других призванию.

Пожалуйста, голубчик, не спорь со мною. Я не для спора пишу, а не пригодится ли тебе. А попробуй обсудить то, что

¹ рискуя тебе не понравиться (*франц.*).

я говорю, как серьезно решают уравнения, т. е. предполагая вперед, что x (а x здесь — твое положение) может быть и положительной величиной, и отрицательной, и нулем. А не так, чтобы вперед решив, что x — положительная величина, придумывать такие штуки, чтобы уравнение решилось и x был бы положительная величина.

Ведь ошибка в том, что мы — потомки людей и принадлежащие к кругу людей угнетателей, тиранов, — хотим, не изменяя своего положения, не признавая его преступность, сразу найти такое занятие, пользой которого мы бы выкупали все прошедшие и настоящие грехи. Надо раз навсегда признать свое положение, и это не трудно. А поняв это, очевидно, что прежде чем думать о пользе, приносимой народу (людям), надо перестать участвовать в его угнетении посредством землевладения, чиновничества, торгашества и др. И остается одно: как можно меньше брать произведенный труд людей, и как можно больше трудиться самому. И это правило, как оно ни надоело, боюсь, тебе, таково, что оно приложимо к самому сложному, запутанному положению, в котором мы часто находимся. Во всяком положении можно стремиться к этому и все более и более осуществлять. Никак нельзя извне, с поверхности, определить свое положение. Непременнo надо изнутри, из середины, т. е. не решать: где мне лучше служить или жить, а решить: что я такое? чем я живу? Какие мои отношения к людям и какие мои права и обязанности в отношении их. Ну вот прощай. Целую тебя.

Смотри ж, любя прими это письмо, так же, как я писал».

На это письмо отца я немедленно ответил:

«Я был очень обрадован и тронут твоим письмом. Меня всегда мучает твое молчание, и тогда мне кажется, что ты меня бесповоротно осуждаешь. А твое мнение, какое оно резкое ни было, мне всегда чрезвычайно дорого.

Последнее, что бы я стал делать это — спорить. Против чего? Я вполне сознаю, что надо больше давать и трудиться для других и меньше брать. Разве только, что ты как будто считаешь, что нужно начать непременно со второго, то есть меньше брать. Но я помню, что если кто-нибудь действительно трудится, то ему нужно очень мало брать, чтобы удовлетворять необходимым потребностям. Я даже думаю, что две части этого правила связаны: обыкновенно, кто много дает, тот мало берет, и наоборот.

Про себя я сознаю, что я живу праздно и дурно, много беру и ничего не даю. Нет худа без добра, и последнее время,

когда я особенно празднично жил и особенно предавался животным влечениям, я это особенно сильно сознал и совершенно отказался от слабых попыток оправдания себя, которые раньше я делал. Ты спросишь меня: отчего я сознаю свою дурную жизнь и продолжаю также жить? Я об этом думал и должен сам себе искренно ответить, что я слишком люблю свои мелкие страсти и слишком мало люблю то, что я считаю хорошим».

Под впечатлением моего письма отец 15 марта написал мне:

«Открываю твое письмо со страхом, но в середине чтения его стал плакать от самого радостного чувства и теперь пишу и плачу. Помогай тебе бог. Л. Т.»

Это короткое письмо отца мне показало, что, несмотря ни на что, он не отрекается от меня, и я ему близок, если не по моим взглядам и жизни, то просто как сын. И я прочел его письмо, так же как он мое, со слезами на глазах. Однако, признаюсь, оно мало повлияло на мое поведение.

В мае 1890 года в опубликованном в «Новом времени» отчете обер-прокурора Синода за 1887 год было напечатано возмущившее меня сообщение о том, что старшие сыновья Л. Н. Толстого ограничивают его расточительность. Братья Плья и Лев написали мне, что необходимо поместить в газетах опровержение этого ложного сообщения. Я написал следующее письмо редактору «Нового времени» А. С. Суворину с просьбой его напечатать:

«Милостивый государь, в «Новом времени» от 8 мая с/г. было помещено извлечение из всеподданнейшего отчета г. обер-прокурора св. Синода за 1887 г. относительно «распространения в Кочаковском приходе мировоззрения и нравственных убеждений графа Л. Н. Толстого», в котором мы прочли, между прочим, что «граф Толстой уже не имел возможности в прежних размерах оказывать крестьянам помощь из своего имени, так как старшие сыновья его начали ограничивать его расточительность и преследовать поступки против его собственности и уже не дозволяют хищнически хозяйничать в его имени».

Заметив, что отец признает действительною лишь помощь, оказываемую личным трудом, а при таком воззрении нет места расточительности (это видно из его сочинений, также из отчета обер-прокурора, где говорится, что граф Толстой при случае оказывал помощь бедным своими трудами) и не касаясь всего прочего в отчете,—мы, старшие сыновья гр.

Л. Н. Толстого, считаем своим долгом печатно заявить, что мы не только никогда не позволили бы себе ограничивать расточительность отца, но что мы не имеем никакого права, но мы сочли бы неуважительным и непозволительным всякое с нашей стороны вмешательство в его действия.

Надеемся, что газеты, поместившие извлечение из всеподданнейшего отчета обер-прокурора, не откажут перепечатать настоящее письмо.

Примите и пр.

Старшие сыновья Л. Н. Толстого — Сергей, Илья и Лев Толстые».

А. С. Суворин ответил мне:

«Граф Сергей Львович!

Я просил Е. М. Феоктистова показать Ваше письмо К. П. Победоносцеву, так как помещать опровержение против официального документа я не считал себя вправе.

Сегодня Е. М. уведомил меня, что К. П. Победоносцев равно ничего не имеет против напечатания Вашего письма. Я очень рад, что обер-прокурор св. Синода взглянул на это дело вполне беспристрастно.

Уведомляя Вас об этом для того, чтоб Вы знали, что с моей стороны тут никакой услуги Вам нет, прошу Вас верить искренней моей преданности Вам и желанию сделать все, что в моих силах.

А. Суворин.

1890, 26 мая

Наше письмо было напечатано 27 мая в «Новом времени».

1890—1897 ГОДЫ

Летом 1890 года я оказался без определенного дела. В то время в Тульской губернии вводились земские пачальники, и я решил поступить на эту должность в Черпский уезд, где находилось наше имение Никольское-Вяземское. Отец уже тогда решил передать все свои имения жене и детям; и предполагалось, что часть Никольского-Вяземского достанется мне. В другой части этого имения, на хуторе Протасове, уже поселился недавно женившийся (на Софии Николаевне Флосовой) мой брат Илья.

В сентябре 1890 года я вступил в должность и поселился в Никольском.

Я не сочувствовал реакционному законодательству о земских начальниках и впоследствии признавал ошибкой в моей жизни свою службу в этой должности. Поступил же я потому, что хотел быть самостоятельным, интересовался жизнью крестьян и думал, что так как известное управление и суд необходимы в деревне, то я мог бы приносить известную пользу, действуя по возможности независимо от губернских властей и не применяя или смягчая применение одиозных статей нового закона. И я ни разу за время моей службы не применил статьи 61 и 62 положения, дающие земскому начальнику безапелляционное в безответственное право подвергать аресту крестьян, и в вверенном мне участке телесное наказание ни разу не было применено. Как известно, к телесному наказанию приговаривал волостной суд, земский же начальник представлял этот приговор в уездный съезд к утверждению или отмене. Мне ни разу не пришлось это делать, так как в моем участке волостные суды к телесному наказанию не приговаривали, что я приписываю своему влиянию.

В июне 1891 года все мы — братья и сестры — съехались в Ясной Поляне для обсуждения предполагаемого отцом раздела его имений между нами. Отец оценил все свои имения вместе с купленной матерью двумя небольшими имениями Овсянниковым и Гриневкой приблизительно в 500 000 рублей и решил распределить все эти имения поровну на девять человек — нашу мать и восемь его детей. Каждую часть он ценил в 55 000 рублей. После совместного обсуждения этого дела было установлено, согласно предложению отца, следующее распределение долей каждого: Ясная Поляна была разделена на две части — одна часть передавалась матери, другая — малолетнему Ивану, бывшему под ее опекой; Никольское-Вяземское вместе с Гриневкой разделялось на три части: я получал часть с усадьбой с условием заплатить 28 000 сестре Тапе, Маша получала среднюю часть Никольского, Илья — Протасовский хутор вместе с купленной матерью Гриневкой, где он поселился; Татьяна — 28 000 от меня и купленное матерью Овсянниково, Лев — московский дом и участок в самарском имении, трое младших, кроме Ивана, опекаемые матерью, получили остальное самарское имение. Маша, разделявшая убеждения отца, отказалась от своей части, и ее часть была передана матери.

Тогда я предложил матери, на что она согласилась, передать мне Машину часть Никольского-Вяземского с обязательством уплатить ее стоимость, то есть 55 000 рублей. Таким об-

разом я взял на себя обязательство уплатить сестрам 28 000 + 55 000 = 83 000, что составляло около ста рублей с десятины имения. Эти деньги я надеялся уплатить путем залога имения и продажей леса.

Это очень усложнило мои денежные дела и крепко связало меня с имением.

Впоследствии сестра Маша, выйдя замуж за Н. Л. Оболенского, приняла свою долю наследства, которую я ей понемногу выплатил.

Проект нашего раздела был подписан и формально утвержден 7 июля 1892 года.

Отец очевидно не мог сочувствовать моей службе земским начальником, и я это чувствовал, когда видался с ним. Однако он прямо это не высказывал и все-таки дружелюбно ко мне относился. Так, например, он написал мне следующее письмо 2 декабря 1891 года из Москвы. В Москву он приехал на десять дней из Данковского уезда, где устраивал столовые для голодающих крестьян:

«Вчера второпях приписывал Илюше и только что хотел обратиться к тебе, как пришли гости, и я отослал письмо.

Не подумай, что я забыл о тебе. Напротив, особенно часто о тебе думаю, и хочется узнать о том, как живешь и что делаешь. Напиши мне словечко, если скоро — то в Москву, а то уже в Чернаву. Мы собираемся 8-го.

Все бы хорошо, если бы не здоровье мамы. Она добра, и разумна, и деятельна, как всегда, но просто слаба здоровьем.

Смерть Ивана Ивановича была для нас всех поразительным событием, особенно для меня, потому что я редко кого так сердечно полюбил вповь, как его. Да и сошлись мы на таком деле, и он был так предан этому делу, и так хорошо его делал.

Целую тебя. Хочется сказать л... и некого.

Л. Толстой.

Напиши, дай понятие о состоянии народа у вас в худших местах».

В 1893 году я написал рассказ «Дело Пыркина», в котором описывал, как крестьянин Яков Пыркин за кражу колев из изгороди одного помещика присужден был к наказанию розгами и как это наказание было исполнено. Сцену сечения я описал со слов одного очевидца.

В поябре этого года отец вместе с моей сестрой Машей по-

бывал у брата Пльп в Грпневке, где виделся с ним и я. Маша после этой поездки написала мне:

«Милый друг Сережа!

Ты вероятно знаешь, что мы у Цуриковых взяли твой рассказ. По дороге домой все его прочли и очень одобрили, и папа одобрил до такой степени, что взял его сюда и хочет куда-нибудь его поместить, если ты ничего не имеешь против этого.

Он нашел несколько мелких ошибок, как например то, что перед тем, как колья сунуть в печку, надо было их перерубить и т. п. И, если ты позволишь, он хочет кое-что исправить.

Потом он говорил еще вот что: что в твоём рассказе сечение вызывает более чувство ужаса перед физической болью, а не перед униженным человека, и это жаль.

Может быть ты хотел бы сам что-нибудь поправить, тогда скорей напиши мне об этом.

Папа нашел, что самое действие ужасно сильно действует на читателя и вообще, что рассказ способен к труду.

Об лошадях мама тебе писала и Борис Александрович расскажет. У нас все хорошо, только гостей слишком много. Олсуфьевы все трое в Москве, были у нас два раза, и в пятницу уже уезжают в Никольское. Вчера у нас сидел Столыпин, приехавший, кажется, веселиться на праздники, но благонамеренно.

Прощай, ответь же немедленно о рассказе.

Целую всех.

Жаль, что папа мало вас видел и не был у тебя. Он очень остался доволен и вами, и Соней, и внуками, и вашими соседями, которых видел.

Таня все это время была кисла, но теперь поправилась. Мама нехороша физически: не спит ночи, лихорадка и очень нервна, но добродушна и со всеми очень добра.

Папа серьезен и как-то грустен. Очень напряженно пишет свою статью. Он теперь редко бывает весел, как прежде.

Когда у нас были Олсуфьевы, он очень горячо и даже сердито спорил с Митей и Лизой о церкви и молитве. Целый вечер прокричали.

Папа все удивляется и отчасти возмущается, что Миша не жепится на Тане, и теперь решил, что это — неспроста, а что есть какая-нибудь в этом тайна. Он говорит, что он очень бы хотел этого для Тани <...>

Маша Толстая»,

Отец приписал к этому письму: «Маша все написала с жепской равномерностью. Все так. Очень рад был всех вас повидать и тебя, хотя слпшком мало. Целую тебя и других. Л. Т.».

Я не буду писать о своей службе и моей одинокой жизни в Никольском-Вяземском.

В июле 1895 года я женился на подруге сестры Тани — Марье Константиновне Рачинской, дочери Константина Александровича Рачинского, бывшего в то время директором Сельскохозяйственной академии в Петровском-Разумовском (ныне Тимирязевской академии). О моей жепптьбе отец писал П. И. Бирюкову 8 июня 1895 г.:

«У нас в семье новость: Сережа женится на Мане Рачинской. Свадьба 9 июля. Я и рад и страшно мне за них, а чаще всего прямо жаль. Люди, которые женятся так, мне представляются людьми, которые падают, не споткнувшись. Я сам женился так. Не женитесь так. Если упал, то что же делать. А если не споткнулся, то зачем же нарочно падать».

В письме к Н. Н. Страхову 13 июня 1895 года отец писал: «Нынче приехал к нам на один день Сережа с своей невестой. Они, кажется, очень любят друг друга, но мне всегда страшно за любящих людей, когда они женятся, вроде того, как страшно за родильницу, только в этом случае больше несчастных, чем счастливых родов».

Вскоре после венчания, бывшего 10 июля, я вышел в отставку и вместе с женой поехал за границу.

Мы вернулись в Россию в конце декабря, после чего жепа провела месяц у отца в Петровском-Разумовском, а я — в Никольском-Вяземском. Весной 1896 года мы два месяца прожили в Москве, где я начал заниматься композицией. Лето мы провели частью в Никольском, частью в Ясной Поляне, осень — в Никольском. 19 ноября жена уехала от меня к отцу в Петровское-Разумовское, и вскоре я получил оттуда известие, что она беременна и не хочет ко мне возвращаться. Трудно сказать, по чьей вине произошел наш разрыв. Я больше виню себя, чем ее. 24 августа следующего 1897 года она родила сына Сергея. Вскоре после родов она заболела туберкулезом легких и, проболев почти три года, скончалась 2 июля 1900 года.

За это время я редко видался с ней. Разрыв с ней, ее болезнь и смерть привели меня в неврастепическое состояние, которое ослабело лишь после моего путешествия на Кавказ и в Канаду с духоборамп.

МОЕ УЧАСТИЕ В ЭМИГРАЦИИ ДУХОБОРОВ В КАНАДУ, И. А. КРОПОТКИН

1898—1899 годы

28 августа 1898 года моему отцу минуло семьдесят лет. Приехало довольно много народа. Я приехал накануне и после 28-го остался в Ясной Поляне на несколько дней. В то время отец был очень озабочен переселением духоборов, преследовавшихся царским правительством, из России в Канаду.

В начале сентября в Ясную Поляну приехали с Кавказа два духобора из числа расселенных — Иван Абросимов и Николай Зибарев. Они сообщили моему отцу, что все духоборы-постники бесповоротно решили переселиться в ближайшее время, что если им не помогут переселиться в Америку, то они просто перейдут через границу в Турцию или переплывут в Румынию.

Расселенные не могли продолжать жить так, как они жили: выселенные из своих домов в низменную, нездоровую местность, живя среди бедного грузинского населения, повально болея лихорадкой и трахомой, без заработка, без права отлучки, без надежды на улучшение своего положения, они проедали свои последние деньги и вымирали.

Из 4 000 расселенных за два года умерло более 1 000 человек. Приблизительно около 1 000 человек уплыли на Кипр.

Оставшимся 2 000 человек необходимо было эмигрировать и как можно скорее. За ними решили эмигрировать и часть елизаветпольских (около 1 500 человек), и часть карских духоборов (около 3 000 человек).

В то время в Англии делом духоборческой эмиграции занимались квакеры, В. Г. Чертков и его помощники. Выяснилось, что благодаря посредничеству П. А. Кропоткина и его приятеля профессора в Торонто Джемса Мэвора, канадское правительство принципиально принимало духоборов, но условия переселения не были определены, и канадское правительство настаивало на том, чтобы переселение основной массы духоборов состоялось не раньше весны будущего года: теперь же, осенью, оно соглашалось принять только сто семейств.

По делу о найме парохода для перевозки эмигрантов из Батума в Канаду действовал Леопольд Антонович Суллержидский сперва в Одессе, а потом в Батуме. Однако цена переезда, продовольствия переселенцев, доставка их по железной дороге до центра Канады и пр. — все это намного превышало те средства, на которые можно было рассчитывать.

Отец посоветовал Зибареву и Абросимову поехать в Англию и рассказать Черткову и квакерам о положении дел, а мне предложил поехать в Англию для того, чтобы я выяснил условия переселения и, по возможности, подвинул дело.

Отец спросил меня, в хороших ли я отношениях с Чертковым, и на мой утвердительный ответ поручил мне поехать по духоборческим делам за границу и передать лично Черткову, вынужденно жившему в Англии, «восемь пунктов» (это было его выражение), касающиеся организации переселения духоборов, которые я тогда же записал.

В числе этих пунктов были вопросы: сколько могут дать издатели за переводы двух повестей Л. Толстого — «Воскресение» и «Отец Сергей», гонорар с печатания которых он решил отдать на дело переселения духоборов, при условии, что печатание этих повестей будет происходить в России одновременно с печатанием заграничных переводов? Можно ли получить деньги заграничных переводов? Можно ли получить деньги вперед и сколько? Кто будет переводить?

1/13 сентября я поехал в Англию через Берлин и Флиссинген. Туда же и одновременно со мной отправились духоборы Зибарев и Абросимов, но они поехали более дешевым путем — морем через Ригу — и поэтому прибыли в Англию позднее меня.

Чертков жил в Эссексе, в местечке Перли. Чтобы туда добраться, надо было из Лондона ехать около двух часов по железной дороге до городка Молдоп, а оттуда нанять извозчика и проехать еще верст пять.

Я передал Черткову то, что мне было поручено отцом, и узнал о положении дела переселения духоборов.

Чертков, после того, как я ему передал мнение моего отца о необходимости немедленного переселения расселенных, убедился в этом, и мы послали две телеграммы: одну Мооду в Канаду с запросом, примет ли в ближайшее время канадское правительство 2 000 человек, и другую моему отцу с просьбой прислать начало его повести для того, чтобы теперь же заказать ее перевод.

У Черткова, кроме жены Анны Константиновны и сына Владимира Владимировича, жили мисс Пиккард — старая дева из квакеров, и украинка Анна Григорьевна Морозова (Аннушка), давно уже жившая у Чертковых в качестве прислуги и ставшая теперь членом их семьи. Анна Григорьевна работала целый день, приветлива, весела и подчас остроумна.

Когда Чертковы только что приехали в Purleigh, она сострила:

— Пёрли мы, пёрли, вот и допёрли до Пёрли.

Как-то она сказала про митинги, к которым имел слабость Владимир Григорьевич:

— Знаем мы эти митинги! Meeting, eating¹ и чай питинг!

Она уже научилась немного говорить по-английски. Недавно в Молдоне был организован конкурс прачек, в нем участвовало около пятнадцати конкуренток, в том числе Анна Григорьевна. Им дали выстирать и выгладить какие-то полотенца: лучше и быстрее других исполнила эту работу Анна Григорьевна. Несмотря на то, что она не англичанка, ей выдали приз — какой-то сервиз.

Вблизи дома, где жил Чертков, жил Владимир Дмитриевич Бопч-Бруевич — социал-демократ и эмигрант, помогавший Черткову в его изданиях.

12/24 сентября Чертков меня познакомил с Петром Алексеевичем Кропоткиным. Мы встретились в квакерской гостинице в Лондоне, где обыкновенно останавливался Чертков; Кропоткин жил где-то около Лондона, но часто бывал в Лондоне.

«Опасный анархист» оказался пожилым человеком среднего роста, с седой русой бородой, бодрым и подвижным, немножко торопливым, скромно одетым, в очках. Он имел вид доброго профессора. С первой же встречи он расположил меня

¹ Собрание, еда (англ.).

к себе, и после нескольких минут разговора мне показалось, что я с ним знаком уже давно.

Его простое, доверчивое отношение к людям, его безукоризненная благовоспитанность, не только внешняя (педаром же он воспитывался в пажеском корпусе), но и внутренняя,— все это привлекало к нему.

Конечно, он прежде всего заговорил о духоборах. Ведь первое предположение о переселении духоборов в Канаду исходило от него. Когда он узнал, что выселение духоборов из России — дело решенное, он запросил своего приятеля профессора Мэвора о возможности переселения духоборов в Канаду. Мэвор повел пропаганду о желательности иммиграции духоборов как людей, пострадавших за веру, трудолюбивых и вообще почтенных, и стал хлопотать перед канадским правительством о принятии их в Канаду.

11/23 сентября Петр Алексеевич, Зибарев, Абросимов и я осматривали Британский музей. К сожалению, этот день было воскресенье, и некоторые отделы были закрыты. Лучшего чичероне, чем Петр Алексеевич, трудно было найти для Британского музея. Музей он знал отлично, попутно он сообщал нам разные научные сведения. Помню рукописный отдел, где под стеклом лежало знаменитое древнее Александрийское евангелие, палеонтологический отдел с исполинским скелетом археоптерикса и других допотопных животных, промышленный отдел с разнообразными машинами и т. д. Но времени у нас было мало, и осмотр поневоле оказался поверхностным.

Я высказал Петру Алексеевичу, что меня поражает многосторонность его знаний. Он сказал: «Я поневоле должен иметь точные и многосторонние научные познания. Ведь я уже несколько лет веду научный отдел в «Fortnightly Review». Вы понимаете, как тщательно я должен его вести, всякий мой промах может быть использован теми, кто хотел бы занять мое место в журнале, а таких людей много; кроме того, мне, как иностранцу, приходится быть особенно осторожным».

Наша компания, особенно духоборы, в их своеобразной духоборческой одежде — на них были широкие шаровары, большие сапоги, синие бешметы, бараньи шапки,— обращали внимание публики: многие смотрели на нас с удивлением. Переходя из одного здания музея в другое, мы встретили высокого человека в цилиндре, внимательно смотревшего на нас. Петр Алексеевич сказал: «Вы заметили этого человека в цилиндре? Это русский шпион. Я уже не раз его встречал. Он

следит за теми, которые бывают со мной. Если вы боитесь неприятностей при возвращении в Россию, держитесь от меня подальше».

Вспоминаю отрывки из моих разговоров с Петром Алексеевичем. Незадолго перед тем погиб Кравчинский (Степняк), убивший шефа жандармов Мезенцова. Кропоткин был с ним дружен и говорил, что Кравчинский не раскаивался в своей террористической деятельности, но всегда с ужасом вспоминал о той минуте, когда он вонзил свой кинжал в грудь Мезенцова.

Кравчинский жил в предместье Лондона и каждый день ходил на службу. Для сокращения пути он проходил по полотному железной дороге по столь узкому месту, что при встрече с поездом сойти было некуда. Обыкновенно он сообразовался с расписанием поездов, чтобы пройти по этому месту в те минуты, когда поезд там не шел. Но однажды он ошибся временем или поезд прошел не вовремя. Он не успел пробежать опасное место, и поезд его раздавил.

По поводу рассказа Петра Алексеевича об убийстве Мезенцова я спросил его, одобряет ли он подобные убийства, как, например, убийство старой австрийской императрицы, происшедшее незадолго до нашего разговора. Он ответил, что в данном случае ему жаль, что убита ни в чем не повинная старуха, но, как это ему ни тяжело, он по совести должен взять на себя ответственность даже за это убийство, так как принципиально рекомендует террор.

В эту мою заграничную поездку я прочел книгу Кропоткина *La conquête du pain* («Завоевание хлеба»), запрещенную в России. В этой книге я искал ответа на вопросы, занимавшие меня еще в юности: нравственное и умственное развитие людей зависит ли от форм их жизни? Если будут разрушены существующие формы жизни, прежде всего государство и собственность, то сложатся ли отношения людей в лучшие формы или нет? Не произойдет ли того же, что и с растворенными кристаллами, когда после выпаривания раствора кристаллы опять слагаются в те же кубы, ромбоэдры и пр., в которые они сложились до растворения их. Когда рабочий класс завладеет всем, то, по мнению Кропоткина, жизнь сложится в лучшие формы, но в какие формы — в его книге остается неясным. Почему он думает, что новый строй сам собой сложится в лучшие формы? Ведь люди останутся теми же, какими были. На это Петр Алексеевич мне ответил: «Люди лучше, чем формы их жизни. Эти формы сло-

жились исторически, по инерции; они неразумны и обветшали. Ответы на ваши вопросы настолько очевидны, что я не считаю нужным на них останавливаться».

Прощаясь со мной, Петр Алексеевич позавидовал мне, что я возвращаюсь в Россию. Он с грустью сказал: «Едва ли когда-нибудь мне удастся увидеть Россию». Он был так любезен, что прибавил: «Я бы пришел проводить вас на вокзал, когда вы уедете из Лондона, но на вокзале всегда шныряют шпионы, и я боюсь, что если они увидят вас со мной, то в России вас будут ожидать неприятности».

Пришли другие времена, и Кропоткин после революции получил возможность вернуться на родину. Я несколько раз виделся с ним. В 1919 году он жил в одном особняке на Никитской. Случайно я попал к нему в день рождения. Там играли трио: Шор, Крейн и Эрлих. Было довольно много народа, мне мало знакомого. Был подан обильный ужин, устроенный его друзьями. Петр Алексеевич был приветлив, как старый барин, но ужин был скучен и не оживлен. В другой раз я его видел на квартире у Трубецких, где он занимал две комнаты. В. Д. Философова пела, я ей аккомпанировал и затем сыграл кое-что на фортепиано. Он слушал внимательно. Вообще он любил музыку. Узнав, что я живу на углу Штатного (ныне Кропоткинского) переулка, он сказал:

— А я родился в доме рядом с вами (Штатный, 26). Недавно я там был и поклонился памяти моей матери. Ее спальня сохранилась, кроме мебели конечно.

Во время моих свиданий с Петром Алексеевичем в Москве я встретил в нем прежнее благожелательное отношение ко мне, но я уже не вел с ним прежних принципиальных разговоров. В одном разговоре он почему-то коснулся вопроса о крестьянской поземельной общине, которую он идеализировал по примеру старых народников. Когда я заикнулся о вреде общины, он выразил неудовольствие, и я замолчал.

Два слова об отношении моего отца к Кропоткину. Отец лично не знал его, но интересовался его взглядами и сочувствовал его анархическому идеалу, однако не насильственному проведению этого идеала в жизнь. Многие в книге Кропоткина «Fields, factories and workshops» было для него ново, особенно та глава, где говорится о почти безграничных возможностях интенсивного земледелия. Отец находил, что данные Кропоткина опровергают теорию Мальтуса: земледелие, огородничество и садоводство могут прокормить множество людей; чем больше людей, тем больше рабочих рук; земли же

нужно тем меньше, чем интенсивнее она разрабатывается. Отец добавлял, что если люди будут вегетарианцами, земли понадобится еще меньше: не нужны будут пастбища и посевы кормов для мясных животных.

Возвращаюсь к своему пребыванию в Англии осенью 1898 года.

13/25 сентября вечером — митинг в доме Моода. Собрались колонисты в шерстяных рубашках, некоторые босые. Зибарев рассказывал. Переводила жена Моода. Привожу рассказ Зибарева.

В ночь на 29 июня 1895 года произошло сожжение оружия. Духоборы подвезли к одному месту свое оружие, кинжалы, ружья и револьверы, два воза угля, двадцать возов дров и керосин. Дрова везли на фургонах, запряженных четырьмя лошадьми. Во время сожжения оружия молились и пели псалмы до двух часов ночи. Некоторые ружья и револьверы были заряжены и выстрелили в землю. Два раза к ним приезжали посланцы от губернатора Шервашидзе с требованием идти к нему. Они отвечали, что придут, когда кончат свою молитву. За четверть часа до окончания богослужения явились казаки и сразу стали бить их нагайками. Так били, так раскровянили лица, что брат брата не узнавал: трава была не видна от крови. Начальник — сотник Прага — особенно досадовал на то, что не мог разбить духоборов на отдельные кучки и одиночки: они смыкались в круг и, взявшись за руки, загораживали женщин, стоявших в середине круга. Казаки старались разомкнуть круг и поэтому долго били. Потом казаки погнали духоборов к губернатору Шервашидзе, бывшему от них верстах в пятнадцати. Шервашидзе выехал к ним навстречу в коляске. Они не сняли перед ним шапок, и казаки стали сбивать с них шапки. Сам Шервашидзе бил палкой духоборов и тряс их за шиворот.

Чертков после рассказа Зибарева сказал, что вся эта история произошла вследствие безумия одного человека — Шервашидзе. В тот же день у елизаветпольских и карских духоборов сожжение оружия произошло мирно и благополучно, а в Тифлисской губернии вызвало это ужасное побоище и еще более ужасный постой казаков в духоборческих селениях с грабежом, изнасилованием женщин и последующим выселением духоборов.

Зибарев говорил еще о том, что после постоя казаков им поставили старшину-магометанина, который распорядился в три дня всех выселить. В эти три дня их имущество было продано

за бесценок. Сам Зибарев продал одиннадцать коров за сто рублей.

Рассказ Зибарева произвел сильное впечатление на англичан.

Незадолго перед моим отъездом я получил письмо от отца, побудившее меня ехать в Париж поискать там переводчика и издателя его повестей. В Англии этим должен был заняться Чертков. Вот это письмо, написанное мне отцом в середине сентября 1898 года:

«Спасибо тебе, милый Сережа, за твою готовность служить делу духоборов и, я знаю,— и мне. Я очень ценю это и постоянно радуюсь, как вспомню о тебе. Если ты и не будешь так определенно полезен, как ты бы хотел, поездка твоя, я думаю, будет иметь невидимые, но значительные последствия. Очень хотелось бы, чтоб тебе было хорошо, и почему-то надеюсь, что это будет. Если же ты недоволен неопределенностью, то вот тебе самое определенное дело: выяснить (в Париже или Лондоне у издательских фирм), сколько дадут за две повести, почем за слово или букву и на каких условиях, и сколько вперед денег, и когда все? Прощай, пока у нас все здоровы и благополучны. Л. Т.»

1 или 2 октября по н. ст. я поехал в Париж. На пароходе, во время переезда через Ламанш, ко мне подсел один подозрительный человек, по-видимому русский шпион. Вечером, в темноте, увидав, что я вынул папиросу, он предупредительно зажег спичку, осветив мое лицо, и сразу стал меня спрашивать по-русски, с еврейским акцентом:

— Вы из настоящей России? Едете в Париж? Долго пробудете за границей? И т. п.

Был ли это тот самый человек в цилиндре, на которого обратил мое внимание Кропоткин во время нашего осмотра Британского музея, я установить не мог. Но в Париже, выходя из вагона, я на всякий случай принял меры, чтобы никто меня не проследил.

В Париже, к сожалению, не было ни знакомого мне профессора русского языка Поля Буайе, ни моего приятеля Шарля Саломона. Я обратился за советом к Павловскому-Яковлеву, сотруднику «Нового времени». Он дал мне несколько полезных советов и поехал вместе со мной к издателю Лемерру. Лемеррсын любезно принял меня, но когда я предложил ему издать перевод повести моего отца, он отказался.

— Нашему издательству, — сказал он, — переводные повести Толстого можно будет продавать только несколько дней после того, как они выйдут по-русски. Литературной конвенции между Россией и Францией нет, и как только появится русский текст, разные господа, вроде Гальперина-Каминского, сейчас же переведут его и, конкурируя дешевизной своих плохих изданий, подорвут наше издание.

Затем я был на даче у добродушного старичка Бопэ-Морп, бывшего когда-то в Ясной Поляне. Ничего дельного он мне не посоветовал, а хотел, чтобы перевод повестей моего отца сделал его сын, почти не знавший русского языка.

Кто-то посоветовал мне обратиться в редакцию «Revue des deux Mondes» к Брюнетьеру, бывшему в то время главным редактором этого журнала. Добраться до него было так же трудно, как получить прием у русского министра. Это был бледный, неулыбающийся, изящно, но скромно одетый во все черное, по-видимому желчный, сухой человек. Он сказал, что за повести Толстого, если только они годятся для семейного чтения, он заплатит столько же, сколько и за другие переводные статьи, а именно — 1000 франков за лист. Когда я ему сказал, что гонорар пойдет на помощь переселению духоборов, преследуемых русским правительством, он пренебрежительно ответил, что это его не касается.

В поисках переводчика я по совету Павловского ездил к каким-то Гольдсмитам — матери и дочери. Но мне показалось, что они принадлежали к типу Гальперина-Каминского: недостаточно знают русский язык и едва ли переведут хорошим французским языком. И я поехал к офранцузившемуся поляку, Теодору де Визева, сотруднику «Revue des deux Mondes». Визева согласился переводить, что он впоследствии и сделал. Он перевел «Воскресение» хорошим французским языком, но недостаточно точно и, как правоверный католик, выпустил главу об обедне в тюрьме.

Я у него завтракал: присутствовали его жена и свояченица. Жена его — русская, рожденная Изгоева. Я говорил, что русские и поляки имеют общего врага — русское правительство, а он хвалил русскую литературу.

— Они восхитительны, люди вашей страны, — говорил он. — Я писал Потапенко, прося его указать мне на такое его произведение, которое можно было бы перевести (кроме его первой повести о священнике, уже переведенной). Он мне ответил, что у него ничего, стоящего перевода, нет. В том же скромном тоне писал о своих романах и Гончаров.

Визева перевел «Обыкновенную историю» Гопчарова и «Об искусстве» Л. Толстого. Он был немногого музыкант и соби-рался писать биографию Моцарта.

Итак, я нашел в Париже переводчика повестей отца, но издателя было трудно найти, во-первых, потому, что я не знал, к кому еще я мог бы обратиться, а, во-вторых, потому, что я не мог показать издателю предлагаемый материал. И я решил возвратиться в Россию.

29 сентября (11 окт.) я был в Ясной Поляне. Я передал отцу все, что выяснилось по духоборческому делу, и о моих не совсем удачных переговорах с переводчиками и издателями в Париже. Мне было радостно, что мои отношения с отцом, бывшие в последнее время несколько натянутыми, теперь стали более сердечными. Общее дело — духоборческое переселение, которому я вполне сочувствовал, сблизило меня с ним. В его дневнике от 2 ноября 1898 года есть такая пометка: «Сережа вполне близок делом и чувством. Нарочно не трогаю словами».

Отец был занят «Воскресением». Тогда же он записал в своем дневнике: «Я весь поглощен Воскресением, берегу воду и пускаю только на Воскресение. Кажется, будет недурно. Люди хвалят, но я не верю». Было уже заключено условие с издателем «Нивы» Марксом, предполагалось, что получится 12 000 рублей. Эти деньги, как известно, назначались духо-борам.

На другой день после моего приезда в Ясную Поляну неожиданно приехал черный, худой, мускулистый человек лет тридцати, с непривычным для нас, русских, выражением решимости и энергии на лице. Одет он был в русской рубашке и пиджаке и в огромной сибирской бараньей шубе. Это был духобор Василий Позняков, один из тех запасных солдат, которые демонстративно вернули свои воинские билеты начальству и были за это сосланы в Якутскую область на 18 лет.

Теперь он самовольно уехал из Якутской ссылки и едет на Кавказ с целью перевезти с Кавказа в Якутск свою жену и вместе с ней двух жен своих товарищей по ссылке.

До Ясной Поляны он доехал благополучно и здесь пробыл три дня.

Отец с ним много разговаривал и расспрашивал его про преследования духоборов. Позняков рассказал ужасные подробности про постой казаков в их селе. Казаки откровенно грабили, секли мужчин и насиловали женщин, предварительно заперев мужчин в сарай.

Отец спросил Познякова, пострадал ли он сам. Позняков

ответил, что его секли так сильно, что следы порки остались у него на теле на всю жизнь.

Отец скептически отнесся к его словам и попросил показать ему эти следы. Позняков разделся и показал глубокие рубцы на своей спине.

Рассказ Познякова был напечатан в «Свободном слове» в Англии. К этому рассказу были приложены показания изнасилованных женщин.

Удивительно, что В. Позняков после посещения Ясной Поляны не только благополучно съездил на Кавказ и провез в Якутскую область свою жену и еще двух духоборок, но его отсутствие с места ссылки не было замечено.

В 1904 г. он вместе с другими ссыльными уехал в Канаду.

Вторая повесть, гонимая с которой отец также предполагал отдать духоборам, была «Отец Сергей», но «Воскресение» так разрослось, что он за переработку «Отца Сергея» и не принимался. Он поручил Н. Л. Оболенскому пригласить в Ясную Поляну моего приятеля, юриста А. А. Цурикова (члена суда по Чернскому уезду) проверить, насколько верно описан суд над Катюшей Масловой, и поправить, что не верно. Утром 25 октября Цуриков приехал для этого в Ясную Поляну. В своем неизданном дневнике он так писал о своих поправках:

«Прямо припаялся за чтение черновиков повести «Воскресение». Старик все подходил, смотрел, где я читаю, какое место. Просил прямо в тексте делать поправки, подчеркивать и надписывать. Крупные ошибки в статье закона: обвинение должно быть по 4 и 5 пп. 1453 ст. Уложения, вопросы по этим признакам преступления, а у него отдельно кража денег и отдельно отравление и в обвинительном акте, и в вопросах присяжным, и в их прениях в совещательной комнате, и в их ответах. Пришлось переделать. Наказание Катюше осталось то же: 4—6 лет каторжных работ. Нелогичность приговора осталась та же, т. е. отвергли 4 п. 1453 статьи и по ошибке признали 5 пункт. Кассационные поводы те же. Все остальное так, как прежде. Одежду арестантки пришлось изменить. Светлую заутрецо — также. Слова церковных песнопений неточно были переданы, как например, «Радуйтеся людие» вместо «Людие веселитесь» и т. д. Третьей части еще не читал и обещал вернуться в Ясную на этих днях, дочесть и написать обвинительный акт. Ужасно страшно, и робость берет так отоспаться к тексту, написанному рукой самого Толстого. Он все подходил и смотрел, как и что. Просил без стеснения зачеркивать и надписывать. Я было хотел на отдельном листе писать заметки, а

он просил прямо в тексте. Надо было некоторые места вычеркнуть, как напр., что председатель на другой день не разъяснил присяжным их обязанностей. (Между тем как этот закон обнародован в 90-х годах, а дело слушается в 80-х и т. п. подробности.) Очень был ласков и любовен. Много рассказывал, много спорил, так и сынал ослепительными молниями.

1 ноября Цуриков опять был в Ясной Поляне и, как он пишет в своем дневнике, переделал всю десятую главу «Воскресения». На другой день утром прочел Льву Николаевичу. Он весьма одобрил и отдал в переписку набело, а там на ремingtonе, и глава пошла в печать.

В конце октября неожиданно приехал в Ясную Поляну Л. А. Суллержицкий. Оказывается, его выпроводили с Кавказа, где он хлопотал о найме парохода для перевозки духоборов, тамошние жандармы.

Отец хорошо понял положение дел и решил энергично действовать. Он посоветовал Суллержицкому вернуться на Кавказ, а мне предложил ехать вместе с ним. В то время от «главноначальствующего» на Кавказе кн. Григория Сергеевича Голицына зависело допустить меня и Суллержицкого до содействия духоборам. И отец надеялся, что Голицын разрешит, если не нам обоим, то в крайнем случае, мне одному. И как отцу ни противно было обращаться с просьбой к властям, он написал и дал мне для передачи Голицыну следующее письмо:

«Ваше Сиятельство князь Григорий Григорьевич.

Согласно разрешению Вашего Сиятельства г-н Суллержицкий заведовал в Батуме выселением духоборов за границу. Совершенно неожиданно, однако, в середине его занятий по отправке второй партии в 2000 душ в Канаду, чины жандармского управления объявили ему, что он не имеет права заниматься этим делом, и в канцелярии Вашего Сиятельства ему ответили то же, советуя ему уехать с Кавказа. Дело посадки на пароходы, заготовления провизии, помещения, врачебной помощи переезжающих 2000 душ есть дело большой сложности и трудности, и всякое упущение в нем может повлечь за собой самые тяжелые для переселенцев последствия: от ненужной траты их последних средств до болезни и смертей.

Совершенно уверенный в том, что для правительства нежелательны те печальные последствия, которые неизбежно должны произойти, если переселяющиеся духоборы будут лишены руководителей, и что запрещение Суллержицкому продолжать начатое им дело есть следствие какого-нибудь недоразумения, я покорно прошу Ваше Сиятельство допустить Суллер-

жницкого до исполнения начатого им дела, а также и имеющего передать Вам это письмо сына, графа Сергея Толстого, который предполагает заменить Суллержницкого после отъезда его с второй партией и заведовать отправкой третьей, тоже в 2000 душ, партии, имеющей отправиться в нынешнем же году, на нанятом уж для этой цели пароходе. В надежде на благоприятное решение Вашего Сиятельства остаюсь с совершенным уважением

Ваш покорный слуга Лев Толстой

8 ноября 1898

Как видно из этого письма, отец ошибся в отчестве Голицына. Он помнил, что его светское прозвище было «Гри-гри Голицын», откуда заключил, что его зовут Григорий Григорьевич. К счастью, эта ошибка, как потом оказалось, не повлияла на решение Голицына. Может быть, даже он ее и не заметил, а когда в Тифлисе я передал ему письмо отца, он дал нам просимое разрешение.

Я наскоро и неожиданно для себя собрался ехать. Я не думал, что уеду в Америку и вернусь только через полгода, а предполагал пробыть на Кавказе только до отплытия духовоборов в Канаду и затем вернуться домой. Однако на Кавказе выяснилось, что для эмигрантов, отправляющихся на втором пароходе, нужен проводник, а кроме меня, проводника не было. Я в то время нигде не служил и, уже будучи на Кавказе, решил отправиться в Канаду.

9 ноября 1898 года я и Леопольд Антонович Суллержницкий выехали из Ясной Поляны. После полутора суток езды по железной дороге и двух суток по Военно-Грузинской дороге мы приехали в Тифлис. В Тифлисе мы решили, взяв номер в гостинице, сейчас же прописаться в полиции и вообще действовать только легально и открыто. Затем я предполагал найти своего давнишнего приятеля, редактора газеты «Кавказ» Ю. Н. Милюткина, и просить у него помощи и совета для сношений с кавказскими властями. Суллержницкий пришел в беспокойство и очень боялся, что сейчас же к нему явится полиция и опять выпроводит его с Кавказа. Мы прописались; полиция не явилась.

14-го утром я поехал к Милюткину. Он довольно равнодушно отнесся к духовоборческому делу. Признавая, что с ними посту-

пили очень несправедливо, он, однако, говорил, что духоборы хотели пострадать, поэтому вызвали на себя гонение, что Шервашидзе только сделал ошибку, но всегда желал им добра, что государство не может их не преследовать, так как они не признают государства, что они любят деньги и пр.

Милютин вообще очень критиковал все кавказское начальство. Кавказские администраторы, между прочим, потому, по его мнению, были плохи, что они не знали местных языков и поэтому находились во власти переводчиков. Администраторы же из местного населения плохи и, кроме того, делают, что хотят, так как их вследствие опять-таки незнания местных языков нельзя контролировать. Милютин, когда издавал «Кавказ», писал ряд статей, иллюстрирующих это положение дел, но Александр III был этим недоволен и написал где-то на полях:

«Пусть грузины и армяне учатся русскому языку, а не русские местным наречиям».

Милютин посоветовал мне: 1) расписаться у кн. Голицына, 2) обратиться к начальнику его канцелярии Мицкевичу, изложить ему наше дело и просить его устроить мне с Голицыным особое свидание ранее понедельника — его приемного дня и 3) предупредить Голицына через его адъютанта Свечина; это Милютин брался сам сделать.

15-го утром я расписался у кн. Голицына и отправился к Мицкевичу. Суллержицкий скрылся в Тифлисе у своей знакомой, г-жи Пащенко, так как боялся, что полиция выпроводит его с Кавказа раньше, чем я буду иметь возможность ходатайствовать перед Голицыным о предоставлении нам свободы действий.

15-го Суллержицкий опять не почевал в номере, продолжая скрываться. Утром 16-го он, наконец, явился. Сейчас же хозяин гостиницы сообщил об этом в полицию по телефону, и через пять минут явился пристав и пригласил его явиться к полицеймейстеру. Через полчаса по телефону меня пригласили «во дворец» к Голицыну. Я сейчас же поехал. Через четверть часа меня ввели к князю. Говорили, и впоследствии я в этом убедился, что кн. Голицын каждого, у которого есть до него дело, не оставляет без начальнического окрика; однако на этот раз он совсем учтиво меня принял. Он прочел письмо отца (кроме обращения) вслух и потом начал говорить и говорил очень много, так что мне почти не пришлось говорить. Он сказал, что он все готов сделать для облегчения переселения духоборов; что он желает всяческих благ духоборам в Канаде, где

он сам между прочим был, и что разрешит Суллержицкому и мне заниматься переселением духоборов, только пусть Суллержицкий немедленно уезжает в Батум, а затем отправляется с первой партией духоборов и более уже не возвращается в Тифлис. Затем он стал говорить о влиянии моего отца на духоборов, предполагая, что чуть ли не во всем последнем движении духоборов причинен он. Я старался его разубедить, но безуспешно.

От Голицына я вернулся в гостиницу, куда явился и Суллержицкий. Оказалось, что вскоре после того, как он явился к полицеймейстеру, последнего по телефону спросили от главноначальствующего, где Суллержицкий, на что полицеймейстер ответил: — Здесь. — Где? — У меня в кабинете. — Это вышло удачно: оказалось, что Суллержицкий не только не скрывается, но даже сидит в кабинете полицеймейстера. Все время, пока длилось мое свидание с Голицыным, он как бы арестованный, сидел один в кабинете полицеймейстера и его не отпускали впредь до распоряжения князя.

Мы сейчас же отправили телеграмму отцу: «Обоим разрешено, завтра едем в Батум».

Вечер мы провели у Пащенко, которая у духоборов была известна под именем «бабушки». Она много сделала для них — писала прошения, передавала деньги и т. п., за что власти постановили ее выслать из Тифлиса, несмотря на то, что такая мера лишила бы ее всяких средств к существованию; только в виде особой льготы она была оставлена на год, пока ее сын-гимназист не кончит курс.

17 ноября мы выехали в Батум. По дороге мы решили остановиться часа на три в Скра, где жила часть ссыльных духоборов. Тихим лунным вечером мы в Скра сошли с поезда. В темноте слышим, кто-то спрашивает: «Алеша, ты это?» Это был духобор Черпенков, который вышел встречать другого, но не встретил, а встретил нас; он узнал Суллержицкого и очень обрадовался ему. Мы прошли с ним саженей сто — к хате Зибарева; другой духобор остался караулить наши вещи. В зибаревской землянке, построенной из сырого кирпича, без потолка, жило тридцать шесть душ. Когда духоборы узнали о нашем приезде, туда напихалось еще множество народу; пришли «старички». «Старичком» духоборы называли домохозяина — главу семьи. Духоборы называют друг друга по уменьшительному имени: Алеша, Вася и пр., даже дети так называли своих отцов, и только когда дети делаются старше, «начинают понимать», как мне впоследствии объяснил один

духобор, они называли отца «родитель» или «старичок». Мать они называли «пяпей».

Нас посадили в угол, под всячую лампу. Кругом — крупные, с резкими чертами, усатые, бритые лица, волосы паущены на лоб; женщины в каких-то казачьих и шапочках с бантами; в одежде преобладают синий и красный цвета. Все были очень рады Суллержицкому, который большинству знаком и на которого смотрели как на избавителя.

В зибаревской хате оказался один почти столетний старик Гриша Боковой, бывший севастопольский солдат. Он тоже хотел посмотреть «Канадию». Над ним добродушно шутили.

2 декабря было получено письмо от отца нам обоим.

«25 ноября 1898 г.

Здравствуй, Сережа и Леопольд Антопович. Ничего не знаю про вас со времени телеграммы. Хочется знать и про дело и про тебя лично, Сережа. Не рано ли ты приехал? Есть ли дело? А если нет, то есть ли интерес и хорошо ли тебе? Как с Голицыным? По делу новостей никаких нет, которые бы вы не знали...»

6 декабря вечером Суллержицкий впал в мрачное и апатичное настроение, что иногда с ним бывало. Вдруг в окно мы увидели зарево пожара в городе. Суллержицкий всегда любил тушить пожары. Он вскочил и побежал на пожар. Видя его в каком-то странном возбуждении, я побежал за ним. На месте пожара Суллержицкий кинулся вперед, оттолкнул пожарного, взял у него пожарную кишку и полез прямо на огонь. Я, зная, что ему завтра предстоит большая работа — построить нары и погрузить 2000 человек, принял решительную меру: бросился на него, силой отнял кишку и потребовал, чтобы он немедленно вернулся в гостиницу. Я даже выругался. Он удивленно посмотрел на меня, не обиделся и покорился.

8 декабря был солнечный теплый день. В порту стояла великолепная императорская яхта «Держава». На ней проезжала через Батум императрица Мария Федоровна. Кн. Голицын приехал ее встречать. Я этим воспользовался и, после того как он проводил императрицу, пошел к нему. Адъютант Свечин доложил обо мне, и я на несколько минут получил «аудиенцию». Только что я заикнулся ему о том, что я пришел по делу паспортов для елизаветпольских духоборов, как сразу забил фонтан крика и краспоречия — это был обычный прием кн. Голицына. «Да что вам нужно? Оставьте меня в покое. Это, наконец, надоело, это переселение на совести вашего отца; пи

вы, ни ваш отец духоборам не пужны. Зачем вы подучиваете телеграммы какие-то посылать?» и т. д.

9 декабря в ясный день началась посадка и размещение духоборов на пароходе «Гурон». Суллержицкий заранее написал мелом на столбах, сколько где мест. По жребью определили, кто где поместится, так как места неодинаково хороши. Половина мест, вся нижняя палуба (верхний трюм) — без иллюминаторов, куда свет проходит только через люки, а во время сильного волнения люки будут закрыты.

Разместиться двум тысячам человек не так просто, и посадка продолжалась всю ночь до раннего утра. Духоборы вообще учтивы и не терпят грубости. Между духоборами ругани я не слышал: самое плохое слово, которое я слышал, это «какой ты негодящий». Они все просты, нравственно воспитаны и доверчивы. Особенно приятно было видеть молодых подростков: у них открытые, здоровые лица.

С утра 10 декабря шла проверка паспортов полпцеймейстером.

Уже после полудня проверка кончилась, все духоборы погружены, пароход дал свисток, загремел якорь, и пароход стал отходить.

Весь народ, стоя на верхней палубе, запел свои однообразные, протяжные псалмы. На берегу провожала пестрая толпа: аджарцы, повязанные башлыками, турки в фесках, кое-кто из русских и человек пятьдесят духоборов, остающихся в России или едущих с следующим пароходом. С парохода несколько раз выстрелили ракетой, что полагается у английских моряков, когда они отвозят эмигрантов. Суллержицкий, бывший моряк, залез на рей и махал оттуда шляпой. Все это было красиво, но мне было грустно и страшно за эти 2000 человек. Впереди почти месяц пути, холод, болезни, может быть, недостаток или плохое качество воды, недостаток хлеба и горячей пищи, а главное качка, морская болезнь, и все это в тесных, полутемных, плохо вентилируемых помещениях. Некоторые, вероятно, умрут дорогой: даже при очень низкой смертности (18 человек на 10 000 в год) в месяц должно умереть не менее трех человек из двух тысяч.

Так жалко, что эти хорошие люди уходят из России из-за глупости и жестокости каких-нибудь Шервашидзе или Горемыкина, и так страшно, что там, куда они уедут, им будет нехорошо.

11 декабря Батум опустел после отхода «Гуруна». 12 декабря вечером приехал духобор Семен Чернов, благополучно съез-

двинувший в Тулу к Л. Н. Толстому. Лев Николаевич относительно переселения в Арканзас посоветовал ему то же, что я думал: не хлопотать об этом. С тем же пароходом из Новороссийска приехали фельдшерницы Е. Д. Хирьякова и М. А. Чехович, с тем чтобы ехать вместе с духоборами на пароходе и дорогой оказывать им медицинскую помощь. Они привезли мне письмо отца от 4 декабря, в котором он писал:

«Хирьякова и ее подруга едут для сопровождения духоборов, первая или вторая партия. Хирьякова известна всем нашим друзьям своей выпосливостью и самоотверженностью. Она была у Чертковых во время голода и холеры. Такова же и ее подруга... Во всем им можно и должно верить...»

К вечеру 14 декабря пришел пароход «Лейк Супернор», выдержавший под Батумом снежную бурю.

После обеда пароход стал к пристани; я отправился на него, познакомился с капитаном Тейлором и его помощниками и осмотрел те помещения, в которых нам придется жить. «Лейк Супернор» несколько больше и новее «Гуропа». Он также имел ниже верхней палубы два межпалубных помещения. Под ними трюм.

Хотя «Лейк Супернор» был нанят с тем, чтобы он привез с собой весь материал для нар, однако по расчету оказалось, что этого материала не хватит. Таким образом, не только приходилось строить нары, но и покупать материал для них. Поэтому мы пошли со старичками по лесным дворам покупать рейки. Цена на лес в Батуме сильно поднялась, отчасти потому, что покупка леса для первого парохода отзывалась на лесном рынке.

Прасковья Щербакова, у которой два сына были сосланы в Якутскую область, спрашивала меня, есть ли надежда, что ее сыновей отпустят в Канаду, когда все духоборы туда переедут, и обращалась ко мне за советом, ехать ли ей в Канаду или в Якутскую губернию. Я уклонился от такого серьезного совета. Каково это решать, куда ехать: в Якутск или в Канаду!

21 декабря, наконец, началась посадка. Целый день духоборы, как муравьи, подходили к пароходу, нагруженные своими пожитками. Потом старички собрались и по жребию распределили места. Для этого они разделили всех по деревням на одиннадцать партий. Всего на пароходе должны были разместиться, по счету самих духоборов, 1989 душ.

Вечером я расплатился со своей гостиницей и переехал в отведенную мне в первом классе каюту.

23 декабря с утра началась проверка документов полицеймейстером. Для этого всех духоборов перевели на берег, а затем полицеймейстер и таможенное начальство поместились у сходень и пропускали людей обратно на пароход, отбирая у каждого проходные свидетельства и сверяя их с паспортами, присланными батумскому градоначальнику от местных губернаторов. Затем полицеймейстер бросал те и другие в простой холщовый мешок. Насколько мало целесообразны были эти меры, выяснилось потом: некоторые духоборы прошли под чужими именами; один молодой человек, подлежавший набору, прошел наряженный в женское платье как член другой семьи — девушка, вместо которой он прошел, незадолго перед тем умерла, а об этом начальство не было осведомлено.

Так как духоборы жили дома далеко от начальства и вообще начальство не входило в их жизнь, а только брало с них взятки, то путаницы при этой проверке оказалось порядочно, а времени она взяла много — почти целый день. Некоторые паспорта совсем не были присланы от местных властей, в некоторых было написано не то, что в проходных свидетельствах.

Надо отдать справедливость полицеймейстеру: он делал только строго необходимое и воздерживался от начальнических окриков и излишних стеснений. Однако проверка паспортов па этот раз производилась гораздо строже, чем при отплытии «Гуруна». К четвертому часу дня проверка кончилась. Сходни сняли, загремели цепи, и пароход стал отходить.

Погода стояла солнечная и ясная. Когда мы вышли в море, уже вечерело. Выстрелом ракеты наш отъезд не ознаменовался, так как батумские власти, возмущенные прощальным выстрелом «Гуруна», запретили это «Супериору».

Итак, нам предстояло теперь три или четыре недели безостановочного морского путешествия. Признаюсь, я уезжал не без некоторого волнения и страха.

Наше плавание было сравнительно благополучно: мы шли только 24 дня те 5350 миль, которые отделяют Батум от Галифакса, и в пути умерли только трое. Одно плохо — мы засели в карапине.

Всем прививали оспу. Доктора никого не пускали на остров с парохода, пока всем не была привита оспа. Я один получил позволение выйти погулять. И вечером в первый раз вышел на берег. Я прошел в глубь острова по замерзшей дорожке между елкамп. Елки здесь не те, что в России (их англичане называют spruce). Лежал мелкий снег, было тихо, никого не было видно и слышно, вечернее небо было ясно. В первый

раз после двухмесячной суетливой жизни в толпе я был один с природой; в первый раз после месячного пребывания на море я был на суше, и в первый раз я ступал на берег Америки. Я испытал сильное, но трудно выразимое словами настроение. Чувствовалось и облегчение после переезда, и тревога за будущее, и сознание отдаленности от обычных условий жизни и близких людей.

Газеты были полны известиями о духоборах и разными перевернутыми и вымышленными историями о влх, о Толстом, о Суллержицком, о Хилкове и др.

Я телеграфировал домой о нашем благополучном прибытии.

Из Америки я уехал в конце марта, перед отъездом побывав в эмиграционных помещениях Виннипега и Селькирка. Те духоборы, которые еще там оставались, выразили мне трогательную благодарность за мое участие в их переселении и на прощание спели для меня свои духовные песни. Эти песни гораздо красивее их однообразных псалмов: некоторые песни поются в оживленном ритме и не все время в унисон, как псалмы. Духоборки подарили мне дюжину платков со своими вышивками.

Я поехал через Монреаль и Торонто в Нью-Йорк. По дороге я провел два дня в Торонто, где виделся с профессором Мэвром, много сделавшим для духоборов. Затем я остановился на несколько часов в Ниагаре, чтобы полюбоваться водопадом. В Нью-Йорке я пробыл только три неполных дня. Там виделся с красивым, породистым и умным американцем Эрнестом Кросби. Под влиянием писаний моего отца он оставил службу и пришел к взглядам, близким к мировоззрению Толстого. Он приезжал из Америки в Ясную Поляну нарочно для того, чтобы видеться с моим отцом. Там познакомился с ним и я. В Нью-Йорке он был со мною очень любезен, пригласил меня обедать в своем изящном, но скромном особняке и проводил меня на пароход. Через него я познакомился также с сыном Генри Джорджа и сыном Ллойда Гаррисона. Оба они горячо отзывались о моем отце.

4 апреля 1899 года я приехал в Москву, в хамовнический дом, где в то время жила наша семья.

Л. Н. ТОЛСТОЙ В КРЫМУ В 1901—1902 ГОДАХ. ВСТРЕЧИ С ЧЕХОВЫМ И ГОРЬКИМ

Последнее пятилетие XIX столетия было тяжелым периодом в жизни моего отца.

В 1895 году умер мой младший брат — семилетний Ванечка, очень способный мальчик, не по годам развитой, сердечный и чуткий. Его нежно любили как мать, так и отец, и любовь к нему соединяла их в одном чувстве. А со смертью Ванечки моя мать временно как бы потеряла смысл жизни, и ее истеричность, к которой она была склонна и раньше, теперь обпаружилась с большей силой.

В продолжение того же пятилетия мои две сестры Татьяна и Мария вышли замуж и уехали. Отец, особенно любивший своих дочерей, тяжело переносил их отсутствие, хотя не высказывал этого и старался бороться с этим своим чувством. Огорчало его и то, что обе его дочери преждевременно рожали мертвых младенцев.

В доме моих родителей оставалась только их младшая дочь Александра. В 1900 году ей было 16 лет. Сыновья жили отдельно. Отец чувствовал себя одиноко; в доме преобладало мрачное настроение.

В эти годы разные события требовали от него усиленной первой работы.хлопоты по переселению духоборов, ссылка его друзей Черткова, Бирюкова и Трегубова, разлад с женой, срочное писание романа «Воскресение», отлучение от церкви Синодом (22 февраля 1901), породившее в одних горячее сочувствие, в других резкую враждебность; наконец, начавшееся в то время освободительное движение — все это волновало и утомляло отца.

В то же время кажущееся несоответствие жизни отца с его убеждениями продолжало угнетать его. Я говорю «кажущееся», потому что, начиная с 80-х годов он во многом изменил свой образ жизни; едва ли он мог пойти много дальше в упрощении своей жизни, продолжая жить в Ясной Поляне. Он сам убирал свою комнату, работал в поле, был строгим вегетарианцем и, кроме верховой езды, не позволял себе никаких развлечений, требующих труда других людей. Конечно, он мог бы уехать из Ясной Поляны, обойтись совсем без прислуги и вполне отдаться физическому труду. Но в его возрасте и с его неудержимой потребностью духовного творчества это было трудно, и тогда он едва ли мог бы писать. Где бы он ни жил, его близкие друзья, разумеется, обставили бы его жизнь так, чтобы он мог продолжать мыслить и писать.

Тяжелые переживания отца в конце XIX столетия отразились на его здоровье. В 1901 году он неоднократно и тяжело болел. У него появлялись то боли в области печени, то расстройство пищеварения, то стеснение в груди при частом и неровном пульсе, то подъемы температуры. Врачи определяли хроническую болезнь печени, малярию и расстройство деятельности сердца. Они посоветовали ему перемену места и южный климат. Тогда графиня С. В. Панина, богатая землевладелица, известная своим либерализмом и щедростью общественная деятельница, предложила ему пожить на ее даче в Гаспре, в двенадцати верстах от Ялты. Он принял это предложение, и 5 сентября 1901 года он с моей матерью и сестра Саша уехали в Крым.

Я провожал отца, когда он уезжал из Ясной Поляны; меня поразило суровое выражение его измученного лица, когда он, едучи на станцию, сел в коляску.

В то время я часть года проводил в своем имении при селе Никольском-Вяземском, занимаясь хозяйством, часть года — в Москве, где я состоял гласным Московской городской думы; жил я также подолгу и в Ясной Поляне.

Между прочим, когда я был избран гласным Московской городской думы на четырехлетие 1901—1904 гг., отец мне задал такие два вопроса: каков бюджет города Москвы? Сколько гласных в городской думе?

Когда я ему ответил, он сказал:

— Раздели общий доход города на число гласных.

Я разделил, хотя недоумевал, зачем ему понадобилось такое арифметическое действие. Получилось несколько десятков тысяч рублей. Тогда он сказал:

— Вот та сумма, за расходование которой ответствен каждый гласный думы, следовательно и ты.

В начале октября я поехал в Гаспру, где провел около месяца. Южная природа сделала свое дело. В первые три месяца здоровье отца поправилось, настроение также улучшилось; только сердце нередко переутомлялось; врачи говорили — от восхождений на горы. Он любил ходить от дачи Паниной к морю, где подолгу сидел. Идти туда было неустойчиво, но для возвращения ему приходилось пройти около версты в гору по довольно крутой тропинке, и тогда его пульс начинал усиленно биться, и у него появлялась одышка.

В то время в Крыму жили и бывали у отца Антон Павлович Чехов, Максим Горький, великий князь Николай Михайлович и ряд других лиц.

Чехов довольно часто приезжал из Ялты. Помню его внимательное, умное, неулыбающееся лицо, его учтивое, благожелательное отношение к людям, его узкую фигуру. Уже тогда у него был вид нездорового человека: он был очень худ, цвет лица его был матово-бледен. А когда он клал ногу на ногу, он легко сплетал свои мягкие ноги, и мне казалось, что их мускулатура была слаба.

Отец с ним разговаривал о литературе, о земельном вопросе, о современном положении России. Он высоко ценил некоторые рассказы Чехова, но его драматические произведения не одобрял и говорил: «Ваши пьесы, Антон Павлович, слабее даже шекспировских». Как известно, отец не любил Шекспира и критически относился к нему. Антон Павлович кротко его выслушивал и выказывал к его речам почтительный, но скептический интерес. Сам он говорил мало и не спорил. Отец чувствовал, что Антон Павлович, хотя относится к нему с большой симпатией, не разделяет его взглядов. Он вызывал его на спор, но это не удавалось; Антон Павлович не шел на вызов. Мне кажется, что моему отцу хотелось ближе сойтись с ним и подчинить его своему влиянию, но он чувствовал в нем молчаливый отпор, и какая-то грань мешала их дальнейшему сближению.

— Чехов — не религиозный человек, — говорил отец.

Алексей Максимович Пешков (Максим Горький) жил в Олензе, в полутора верстах от Гаспры, и несколько раз приходил к отцу. После тех овец, которые ему оказали в Москве и которые в то время почему-то вызывали в нем досаду, ему, по-видимому, было приятно, что в Гаспре к нему относятся просто как к хорошему знакомому, а не как к восходящему

литературному светилу. Он вел себя скромно, рассказывал кое-что про свою прежнюю жизнь, хотя в общем был молчалив. Иногда он играл с жившей у нас молодежью в городки, играл с увлечением, бил сильно и метко.

Отец приветствовал Горького, тогда только начинавшего писать, как писателя, принадлежавшего к рабочему народу и пишущего о рабочем народе, но он говорил: «Горький открыл новый кладезь в литературе: это — босяки, и жизнь босяков он знает и хорошо описывает, но людей из другой среды он знает плохо и, описывая их, выдумывает».

Многое из тогдашних своих впечатлений Горький внес в свои воспоминания о Толстом. Они живо и интересно написаны. Видно, что Толстой произвел на него сильное впечатление.

Вел. кн. Николай Михайлович приходил в Гаспру пешком из близкого соседнего Ай-Тодора. Черный, лысый, большого роста, в кавалергардской тужурке, он быстрыми шагами восходил прямо на верхний этаж к моему отцу. Он как бы подчеркивал, что приходит именно к нему, а не к его семье. Я не присутствовал при его разговорах с отцом, но слышал о них от отца. Одной из тем был старец Федор Кузьмич. Николай Михайлович исследовал все материалы по вопросу о том, кто был Федор Кузьмич, даже посылал своего секретаря в те места Сибири, где Кузьмич жил, но убедился, что он не был Александром I. Отец был такого же мнения. Рассказ «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» — художественный вымысел; отец сам знал, что этот рассказ исторически не подтверждается.

Другой темой разговоров отца с Николаем Михайловичем были те люди, портреты которых Николай Михайлович собирал. Говорил также про русских императоров, причем Николай Михайлович высказывался о них и особенно о Николае I вполне беспристрастно. Кроме того, он советовался со Львом Николаевичем о своих семейных делах. Известно также, что Николай Михайлович передал Николаю II письмо Льва Николаевича о земельном вопросе.

24 декабря я опять приехал в Гаспру с намерением подольше там прожить. Здоровье отца ухудшилось. Он жаловался на стеснение в груди, изжогу, расстройство пищеварения и боли в области печени; пульс его был неровен, с перебойми.

Погода была плохая. Гаспра стоит на ветреном месте, и зимой сильный холодный ветер дул откуда-то с Ай-Петри и гудел во всем доме. Настроение в доме было невеселое. Моя мать бранила Крым и стремилась в Москву, сестра Маша Оболец-

ская, жившая в Ялте вместе с мужем, болела. И всех нас угнетала болезнь отца. Новый 1902 год мы встречали уныло.

Сохранилась запись Т. Л. Сухотиной на листке отрывного календаря 3 января 1902 года:

«Папа не совсем хорош: болит печень, слаб, вечером температура немного поднялась: 37,1. Духом бодр и хорош. Пишет. Саша переписывала письмо папа к царю, Маша — его статью о религии, а Лиза Оболенская — статью о веротерпимости. Утром был Горький: очень милый, мягкий и добрый человек. Он все любит, всем интересуется и как ребенок радуется на искусство и восхищается им. Сегодня с папа заспорил, защищал Скитальца, которого папа бранил. По выходе от папа сказал: «Эх, сам чувствую, что правду говорит Лев Николаевич». Спор зашел по поводу рассказа Скитальца, который Волков рекомендовал папа прочесть в «Мире божием» под заглавием «Сквозь строй».

Лечили отца ялтинский врач Исаак Наумович Альтшулер и земский врач мисхорской больницы Константин Васильевич Волков. Приезжал также врач и писатель С. Я. Елпатьевский. Кроме того, в конце января исследовали отца два приезжих известных врача: петербургский — лейб-медик Бертенсон и московский — В. А. Щуровский.

23 января собрался консилиум, и врачи выработали подробную программу лечения. Однако едва ли они ожидали того, что случилось на другой день. В этот день, 24 января 1902 года, с утра по всему дому раздавались громкие стоны отца. У него сделался приступ грудной жабы. Он жестоко страдал; слышать его стоны было невыносимо тяжело. Лишь к вечеру вызванный из Ялты по телефону Альтшулер облегчил его страдания, вприснув ему морфий.

Вечером температура сразу поднялась до 39° с лишним, а на другой день выяснилось, что у него плеврит и начинается воспаление легких. Доктор Щуровский, предполагавший уехать в Москву, по нашей просьбе остался еще на несколько дней.

Наступили тревожные дни. С каждым днем положение ухудшалось. Температура то поднималась, то падала, сердце работало плохо, с перебоями; отец стонал, задыхался, метался и слабел с каждым днем. Врачи давали ему дигиталис и строфант, вприскивали морфий и камфару, дежурили по ночам, вообще делали все, что возможно. Они потратили много времени и труда, причем ни один из них не принял ни копейки гонорара. Несмотря на все свое скептическое отношение к меди-

дние и врачам, отцу пришлось им покориться и исполнять их предписания.

Установились ночные дежурства. Дежурило по двое: кто-нибудь из женщин и кто-нибудь из мужчин. Женское дежурство исполняли: моя мать, моя двоюродная сестра Елизавета Валерьяновна Оболенская и подруга моей сестры Юлия Ивановна Игумнова, иногда также мои сестры, Татьяна и Александра. Мужское дежурство исполняли: Павел Александрович Буланже, я и вызванные по телеграфу мои братья Илья и Андрей. Приезжал также брат Михаил. Брат Лев был за границей.

Моя старшая сестра Татьяна Львовна Сухотина, вместе с мужем и пасынками, приехала еще осенью. Они поселились во флигеле гаспринской усадьбы, но она сама болела и не могла много ухаживать за отцом: 12 ноября она родила мертвого ребенка. Моя вторая сестра Марья Львовна Оболенская также по болезни не могла ухаживать за отцом. Она жила не в Гаспре, а в Ялте.

Каждую ночь ночевал в Гаспре кто-нибудь из врачей: Альтшулер, Елпатьевский, Сивицкий или Волков. Щуровский, поселившийся в Ялте, приезжал в Гаспру почти ежедневно.

Чехов, узнав о болезни Льва Николаевича, сильно встревожился и постоянно по телефону и у врачей спрашивался о его болезни. Он говорил мне: «Я бы тоже по очереди дежурил у постели вашего отца, но я не могу, я сам больной».

Через несколько дней отец настолько ослабел, что без посторонней помощи не мог повернуться на бок. Он лежал на спине; его тело постепенно сползало книзу, так что его ноги упирались в стенку кровати, а колени сгибались все больше и больше. Время от времени кто-нибудь брал его за плечи и подтягивал кверху: это требовало физической силы и делалось кем-нибудь из дежурных мужчин. А иногда он перебирал пальцами одеяло, что, как известно, делают лишь очень тяжелобольные. Трудно было допустить, чтобы человек, дошедший до такой слабости, мог остаться в живых.

Насколько серьезно было положение, видно из отзыва Щуровского. Я его спросил.

— Скажите мне откровенно, Владимир Андреевич, находите ли вы положение моего отца безнадежным? Мне это надо знать как его старшему сыну.

Щуровский ответил:

— Мы, врачи, не можем утверждать, что положение безнадежно, но мы называем подобное воспаление легких у ста-

риков — pneumonia terminalis (копечным воспалением легких).

При высокой температуре отец бредил, но когда он был в сознании, он продолжал умственно работать. Он даже пробовал диктовать свои мысли и поправки к своей статье о свободе слова.

Приведу некоторые слова, сказанные им во время болезни.

Однажды он спросил доктора Волкова, лечат ли в земской больнице больших стариков так же, как его. Ему совестно было, что за ним так тщательно ухаживают и что столько врачей его лечат. Волков ответил, что у него в мисхорской больнице употребляются те же приемы, а ухаживают либо фельдшерицы и сестры, либо родные больных.

Про смерть отец повторял изречение, вычитанное им из какого-то романа: «умереть — значит присоединиться к большинству».

Он с умилением вспоминал слышанные им слова одного старого мужика: «Надо летом помирать: летом легче могли копать».

Он говорил сестре Тане: «Рассказывали про Адама Васильевича Олсуфьева, что он легко умирал. Совсем не легко умирать; очень трудно сбросить с себя эту привычную оболочку, т. е. свое тело».

Однажды он сказал: «Ценность бриллиантов возрастает не просто пропорционально увеличению числа каратов, а пропорционально квадрату числа каратов. Также и старческая мудрость возрастает не просто пропорционально времени, а пропорционально квадрату времени. И надо спешить ее раздавать».

Помню, что он сказал: «Пусть мои близкие спросят меня, когда я буду умирать, считаю ли я свою веру истинной. Если я не смогу ответить словами, я кивну или помотаю головой».

Не помню, когда именно он решил, что умирает, и мы по очереди ходили прощаться с ним. В том числе был и брат Лева, приехавший из-за границы. Я, однако, почему-то был уверен, что отец выздоровеет.

4 февраля Щуровский уехал в Петербург. Лечение и уход продолжались тем же порядком.

6 февраля моя мать записала в своем дневнике: «Днем озноб и вдруг сильный жар. Температура дошла до 38 и 7. Боль в груди. Приехали Елпатьевский и Альтшулер. Говорят — кризис. Воспаление вдруг стало разрешаться со всех сторон».

— Все балансирую,— сказал сегодня Лев Николаевич племяннице Вареньке».

7 февраля был крайне тяжелый день. Из следующей записи матери видно, что мы в этот день пережили.

«Положение почти, если не сказать совсем, безнадёжное. Пульс с утра был не слышен, два раза впрыскивали камфару. Ночь без сна, боль в печени, тоска <...>. Напал густой снег, сильный ветер. Неправистный Крым! В ночь было 8 градусов мороза».

Если я не ошибаюсь, в этот же день в начале февраля приехали в Гаспру мать и отчим Софьи Владимировны Паниной — Иван Ильич и Анна Павловна Петрункевичи. Они приехали в качестве хозяев дачи распорядиться в случае смерти Льва Николаевича, а также для того, чтобы оградить его от ретивых ревнителей православия. Мы боялись, что полиция опечатает и конфискует рукописи отца и что к умпрающему без спроса войдет священник с дарами для того, чтобы потом поведать миру, что Толстой вернулся в лоно православной церкви.

Во время болезни отец просил, чтобы его похоронили там, где он умрет; поэтому Петрункевичи сообщили нам, что они предоставляют для могилы Льва Николаевича место в гаспринском парке. Это — холмик над нижним шоссе.

Несмотря на свои страдания и слабость, отец постоянно думал о своих работах и даже диктовал. В конце декабря он написал письмо Николаю II с призывом уничтожить тот гнет, который мешает народу «высказать свои желанья и нужды», отменить те исключительные законы, которые ставят рабочий народ «в положение парня», дать «свободу передвижения, свободу обучения и свободу исповедания веры» и путем обложения земельной ренты налогом уничтожить частную земельную собственность по теории Генри Джорджа. 16 января была закончена последняя редакция этого письма и отослана через вел. кн. Николая Михайловича. 28 января Николай Михайлович телеграфировал, что письмо передано царю. В феврале Лев Николаевич диктовал поправки к своей статье «Что такое религия и в чем ее сущность?»

Незадолго перед болезнью он написал «Солдатскую» и «Офицерскую» памятки. 8 февраля он продиктовал П. А. Булашке предисловие к ним, где он указал на неизбежность революции. Это — следующие слова: «Есть только два выхода: первый, хотя и очень трудный, — кровавая революция, второй — признание правительствами их обязанности не идти против за-

кона прогресса, не отставать старого, или, как у нас, возвращаться к древнему, а попяв направление пути, по которому движется человечество, вести по нем свои народы. ...В виду неизбежности первого выхода, т. е. революции, предоставляю к распространению теперь эти две памятки, надеясь на то, что мысли, содержащиеся в них, уменьшат братоубийственную бойню, к которой ведут теперь правительства свои народы».

12 февраля вернулся Щуровский и на этот раз высказал надежду на выздоровление.

15 февраля моя мать получила письмо от петербургского митрополита Антония с просьбой воздействовать на мужа в смысле примирения его с православной церковью. Она передала эту просьбу Льву Николаевичу, на что он сказал:

— О примирении речи быть не может. Я умираю без всякой вражды или зла. А что такое церковь? Какое может быть примирение с таким неопределенным предметом?

По его совету моя мать Антонию не отвечала.

20 февраля отец почувствовал, что ему лучше. Он сказал доктору Волкову:

— Видно, опять жить надо.

Моя мать его спросила:

— А что, скучно?

Он вдруг оживленно сказал:

— Как скучно? Совсем нет. Очень хорошо.

После этого у него были временные ухудшения, температура капризно прыгала то вверх, то вниз, сердце временно ослабевало, но он постепенно выздоравливал. Впрочем, он еще не вполне вернул в свое выздоровление, и 28 февраля моя мать записала его слова:

«Хороша продолжительная болезнь. Есть время к смерти приготовиться».

Около того времени я посетил Чехова на его тихой аутской даче. Он был один, был приветлив, но молчалив. По двору ходил ручной журавль. Вокруг двора и в доме цвели цветы. Небольшая собачка Каштанка приветливо виляла хвостом.

— Эту собаку мне подарили за мой рассказ «Каштанка», — сказал он. — Видите, она каштановая. Но не я ее назвал Каштанкой.

Разговор, естественно, зашел о здоровье моего отца. Я спросил его:

— Скажите мне откровенно, Антон Павлович, как врач, думаете ли вы, что отец может выздороветь?

Он ответил:

— Ваш отец может выздороветь, но он стар, он очень стар...— Антон Павлович не договорил, но, очевидно, мысленно добавил: «но он долго не проживет».

Впоследствии я не раз вспоминал этот разговор. После этого отец прожил восемь лет, а Антон Павлович меньше, чем три года.

4 марта моя мать записала: «Льву Николаевичу дель ото дня лучше. Слушали доктора, нашли еще крупные хрипы».

10 марта: «Совершенная весна. Льву Николаевичу с хорошей погодой стало значительно лучше. Аппетит огромный, и кефир пьет все с наслаждением <...>».

13 марта: «Льву Николаевичу все лучше и лучше».

12 марта был Горький.

Отец выздоравливал. Какая это была радость для всех нас! И мы были горды: общими силами мы его выходили. Настроение его также улучшилось. Помню одну его шутку. Доктор Альтшулер ездил в Москву, где слушал известную певицу М. А. Оленину-д'Альгейм и, вернувшись в Крым, с восхищением рассказывал про ее пение. Отец, в то время как Альтшулер выслушивал его легкие, спросил его:

— Кого вы предпочитаете слушать, меня или Оленину-д'Альгейм?

Альтшулер нашелся и ответил:

— Каждый в своем роде, Лев Николаевич.

— Смотрите, когда будете слушать Оленину, не скажите ей, как мне: кашляните разочек.

В то время я каждый день ходил гулять по так называемой горизонтальной дорожке, проведенной для царской семьи между Ай-Тодором и Ливадией. На эту дорожку публику не пускали, но нам через вел. кн. Николая Михайловича дали особое разрешение ходить по ней. Поэтому я там никого не встречал и в одиночестве наслаждался солнцем и видами на Ялту, море и горы. Я чувствовал, что вместе с весной, солнцем и выздоровлением отца оживаю и я от своей неврастности, которой был подвержен в те годы.

10 марта я записал следующий мой разговор с отцом. Он сидел у окна и любовался на Ай-Петри. На мой вопрос о здоровье он сказал как бы с сожалением:

— Мне лучше, возвращаюсь к жизни.

Мне послышалась грустная нотка в его голосе, и я спросил:

— Разве ты не рад?

— Да, рад, но немножко скучно. Думаю, что еще могу

послужить людям. Без этого не хотел бы жить. Радует меня разве природа. Я много и серьезно думал во время болезни о боге, жизни и смерти. Все мысли о смерти нужны только для жизни. Мы ограничены пределами жизни и не можем их переступить. Мы можем только сказать: да будет воля твоя.

В марте приехал из Москвы приглашенный нами доктор Дмитрий Васильевич Никитин, который поселился в Гаспре и оставался там до отъезда отца из Крыма. Впоследствии Дмитрий Васильевич был другом нашей семьи, жил долгое время в Ясной Поляне, а затем при каждом заболевании отца с готовностью приезжал в Ясную Поляну из Москвы или Звенигорода, где он был старшим врачом земской больницы. Он лечил отца и в предсмертной его болезни.

31 марта был Чехов. 22 апреля моя мать уехала на десять дней в Ясную Поляну и Москву.

Однако недолго мы радовались. Почти поправившись, отец в конце апреля опять заболел, на этот раз брюшным тифом, правда, в легкой форме, но при его возрасте и слабости и особенно после перенесенного воспаления легких эта болезнь была, пожалуй, опаснее прежней. Дали знать Щуровскому, и он с большой готовностью приехал из Москвы. Опять началось лечение и установили дежурства. Отец вторично дошел до такой же слабости, до которой он доходил при воспалении легких.

Опять я дежурил по ночам у постели отца. Лишь к концу мая он стал поправляться, чему способствовала прекрасная крымская погода. Мы его вывозили на кресле на воздух, и он часами сидел, любуясь на Ай-Петри или на роскошную растительность гаспринского парка. Он даже раза два ездил по окрестностям.

В начале июня предполагалось, что все мы уедем из Гаспры в Ясную Поляну, но в то время заболела сестра Саша брюшным тифом. Отъезд пришлось отложить, и это было к лучшему: в тот год в средней России весной и в начале лета стояла необычно холодная и сырая погода. Мы покинули Крым лишь 26 июня. Отец доехал до Ялты в коляске, оттуда — пароходом до Севастополя. На пароходе он встретился с писателем Куприным. В Севастополе он пересел на ялик, на котором его довели до вокзала железной дороги, где стоял вагон, специально для него заказанный. Тут произошло незначительное, но характерное происшествие, о чем рассказывал в своих записках П. А. Буланже. В вагоне было очень жарко, поезд отходил через четыре часа, и Лев Николаевич

вместе с Буланже пошел в соседний с вокзалом небольшой садик. Едва они там посидели несколько минут, как с балкона дома, к которому прилегал садик, сошла дама и потребовала, чтобы они ушли. Буланже запротестовал, но дама настойчиво продолжала требовать:

— Это сад пачальника дистанции. Здесь не позволяется никому шататься. Если вы не уйдете, я позову сторожа.

Буланже продолжал протестовать, но Лев Николаевич поднялся и сказал:

— Оставьте, зачем ей причинять неудовольствие.

И вместе с Буланже вышел из сада.

За несколько минут до отхода поезда две дамы стали умолять проводника пустить их в вагон к Толстому. Оказалось, что одна из них была та самая, которая удалила его из сада. Теперь она, узнав, что это был Толстой, умоляла дать ей возможность попросить у него прощения. Но пройти в вагон ей не удалось, в вагоне была суeta, в проходах лежали вещи, стояли провожающие, и даме пришлось удовольствоваться тем, что ее покаяние, а также букет, ею принесенный, были переданы Льву Николаевичу.

27 июня отец благополучно вернулся в Ясную Поляну.

Крымская болезнь была переломом в жизни моего отца. Приехав из Крыма, он уже не переезжал на зиму в Москву и стал постоянно жить в Ясной Поляне. Моя мать перестала настаивать на переезде в Москву. Теперь он поселился отдельно от нее в тех двух комнатах, в которых прожил до того рокового дня — 28 октября 1910 года, когда он навсегда уехал из Ясной Поляны.

Насколько я мог заметить, его характер после крымской болезни несколько изменился. В нем стало меньше суровости, меньше недовольства собой и своей жизнью, меньше молчаливого осуждения людей, особенно своих семейных. Он стал более снисходителен к себе и к людям. Во время его крымской болезни я раз слышал, как он в бреду проговорил громко: «Все люди, все человеки». Позднее я ему сказал, что слышал эти слова: он не помнил, но не отрицал, что сказал.

А я думаю, что в нем в то время уже зарождалась та мысль, которую он высказал позднее, в последний год своей жизни: «Нет в мире виноватых», считая, что настоящими виновниками являются условия и среда, их породившие, и набросал рассказ под этим заглавием.

Я видел А. П. Чехова в последний раз в феврале 1904 г., когда только что началась японская война. В то время в

Москве настроение было мрачное: темные тучи нависли над городом; было ветрено, и что-то моросило — шел не то дождь, не то снег; а по рыхлому и грязному уличному снегу черносотенцы ходили пьяной толпой с портретами царя и кричали «ура». Было разбито несколько ресторанов и избито несколько студентов.

Антон Павлович незадолго перед тем приехал из Крыма и остановился где-то в Петровских линиях. Я пошел к нему. Вид Антона Павловича был очень болезненный. Он часто кашлял и во время разговора несколько раз уходил в другую комнату, где выплевывал мокроту в стеклянную полоскушку. При нас ему, по-видимому, этого не хотелось делать.

Ольга Леонардовна была дома. Я говорил ей: «Антону Павловичу надо бы поскорее ехать на юг, в Москве такая отвратительная погода». Она отвечала: «Да. Мы скоро едем за границу, но Антон Павлович хорошо себя чувствует в Москве».

Я подумал: может быть, Антону Павловичу приятно быть в Москве; на аутской даче скучно. Но только на юге Антон Павлович мог бы прожить несколько лет, а теперь — недолго ему остается жить.

Из разговора с Антоном Павловичем помню, что он сказал:

— Со временем русскую историю совсем иначе напишут, совсем не так, как ее писали.

Он так же, как в то время вся наша интеллигенция, верил в грядущую революцию. Но он не был «пораженцем»: он не хотел прогрыша японской войны, он верил в победу русского оружия и желал ее.

По какому-то поводу зашел разговор о Николае II. Антон Павлович сказал:

— Про него неверно говорят, что он больной, глупый, злой. Он — просто обыкновенный гвардейский офицер. Я его видел в Крыму. У него здоровый вид, он только немного бледен.

Вскоре после этого нашего свидания Антон Павлович уехал за границу, в Баденвейлер, где и умер.

Отец мой сильно почувствовал смерть Антона Павловича. Перечитывая его рассказы, он рассортировал их по достоинству так, как с своей точки зрения понимал их, написал предисловие к «Душечке» и причислил некоторые рассказы к первому сорту, некоторые — ко второму, а самого Чехова — к большим писателям.

1910 ГОД. О ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦАХ И ДНЯХ ЖИЗНИ Л. Н. ТОЛСТОГО

ОСЕНЬ 1910 ГОДА, ПЕРЕД УХОДОМ ОТЦА

Осенью 1910 года в моей жизни произошла «история», не имевшая отношения к жизни Ясной Поляны, но помешавшая мне принять в ней более деятельное участие, чем я мог и хотел. Эта история стала известной моему отцу и огорчила его. Поэтому я пишу о ней; к тому же она характерна для быта помещиков прежнего времени.

В начале девятисотых годов некий молодой дворянин Константин Владимирович Сумароков, сын богатого московского домовладельца, решил купить себе имение в таком уезде, где помещики были бы наиболее реакционно настроены. Одним из таких уездов был наш Чернский уезд. Там он и купил имение с великолепным домом, винокуренным заводом и мельницей. Это имение, Алябьево, находилось в пяти верстах от Никольского-Вяземского, где я жил. В 1910 году Сумароков состоял председателем тульского отделения «Союза русского народа». Несмотря на то, что направление Сумарокова было мне антипатично, мне пришлось с ним все же познакомиться как с соседом и чернским предводителем дворянства, на какую-то должность он был избран.

Он был страстным псовым охотником, особенно па волков, а в Никольском, в так называемом Каменном лесу, каждый год жил выводок волков. Этот лес — в версте от усадьбы, и хотя волки не шкодили у нас, — они обыкновенно не трогают скот в ближайшем соседстве, — но мы их часто встречали. Однажды волк вблизи усадьбы пересек дорогу жене, в другой

раз я видел, как волчата играли на лугу, раз вечером на опушке леса я встретил трех волков и т. д. Я давал Сумарокову разрешение на охоту в моем лесу, и он несколько лет охотился там. В 1910 году брат Миша, тоже страстный охотник, просил меня дать разрешение на охоту ему, а не Сумарокову, на что я и согласился, посоветовав ему, однако, пригласить на охоту Сумарокова. Последствием этого был крупный разговор Миши с Сумароковым в Туле и дерзкое оскорбительное письмо к нему Сумарокова.

15 сентября я получил от брата Миши письмо с приложением письма Сумарокова. Он спрашивал меня, как я хочу поступить с этим письмом; сам же он ответил Сумарокову лично, что с таким господином не желает иметь никакого дела. Я ничего не ответил брату, но нашел, что он правильно ответил Сумарокову, и также решил больше не знаться с этим господином. Однако он сам скоро о себе напомнил. 22 сентября лесной сторож пришел мне сказать, что Сумароков с несколькими охотниками охотится в Каменном лесу, несмотря на запрещение. Я немедленно велел запрячь тройку лошадей и поехал на место охоты с моим приятелем художником Н. В. Орловым, жившим летом в Никольском, и выпроводил Сумарокова с компаньей из леса, причем Сумароков, увидя меня, позорно бежал, не вступая со мной в объяснения.

30 сентября я поехал в г. Чернь на ярмарку, которая бывала там 1 октября. Вечером в чернском клубе ко мне подошел Сумароков и протянул мне руку. Я не подал ему руки и сказал:

— Извините меня, я с вами не желаю быть знакомым.

Через несколько минут ко мне подошли два чернских помещика и передали мне вызов на дуэль со стороны Сумарокова. Я этого не ожидал и ответил, что сейчас ничего сказать не могу, но что вскоре доверенные мною лица дадут ему ответ. Положение мое было неприятно. Разумеется, я как с принципиальной, так и с житейской точки зрения вовсе не желал драться с Сумароковым. Из-за чего? Из-за его грубого письма, написанного не мне, из-за самовольной охоты или из-за того, что он был в «Союзе русского народа»? Однако просто отказаться было рискованно. По пелепому неписаному кодексу дворянской чести за отказ от дуэли Сумароков мог меня серьезно оскорбить. Надо было дело уладить миром. Я поехал в Тулу искать секундантов.

Чтобы не возвращаться к этой истории, я теперь же расскажу, чем она кончилась. Весь октябрь и ноябрь надо мной

висел дамоклов меч. Для приглашения секундантов и переговоров с ними мне пришлось не раз ездить в Тулу и Москву. В то же время дела меня призывали в Никольское-Вяземское. А мне надо было и хотелось пожить в Ясной Поляне.

Позднее переговоры моих секундантов, М. А. Стаховича и И. Н. Шатилова, с секундантами Сумарокова возобновились. Им удалось уладить дело миром, за что я им крайне признателен. Это было не совсем легко, потому что Сумароков очень настаивал на дуэли.

Добавлю несколько слов для характеристики К. В. Сумарокова. В 1916 году он растратил более 70000 рублей, принадлежавших тульскому дворянству, и учел несколько векселей с подделанной подписью своей матери. Он был предан суду и посажен в тюрьму, а позднее, кажется в 1928 году, он занимался изготовлением фальшивок в Берлине, о чем в то время писали в газетах.

2-го, 3-го и 4 октября я провел в Ясной Поляне. Туда же приехал П. И. Бирюков.

2 октября я рассказал отцу об охоте Сумарокова, умолчав о его вызове. О вызове он узнал позднее. Отец спросил меня с проницательной улыбкой:

— А волки ничего не знают?

Я рассмеялся и устыдился глупости всей моей «истории». В. Ф. Булгаков, передавая этот разговор, заметил, однако, что Л. Н. даже ахал на Сумарокова. Заинтересовало его и описание того, как я выпроводил из своего леса великосветскую охоту.

— Кто этот Сумароков? — спрашивал он.

Я рассказывал отцу о картинах, задуманных Орловым. Одна картина: мужик едет на телеге, к нему подходит человек интеллигентного вида — бежавший и скрывающийся революционер, с просьбой дать ему есть или приютить. Вторая картина: раннее утро; сквозь туман солнце дает свой первый луч. Мужик, инвалид японской войны, с деревяшкой вместо ноги, сидит на лавке перед избой; из-под него свешивается рукав солдатской шинели. С инвалидом дети; одного ребенка он кормит кашей. А баба стоит перед ним, держа на плече косу с крюком. Муж — инвалид — нянчит детей, а баба идет на мужицкую работу — косить.

Третья картина: поп приехал на дрожках на покос и угощает парод водкой. Вокруг попова работника, разливающего водку, стоят с улыбающимися лицами мужики с косами и бабы с граблями.

Орлов много и долго работал над этими картинами, но они оказались ему непосильны. Он хорошо передавал выражение человеческих лиц, но до этого никогда не писал картин на plein air, а здесь он хотел передать красоту пейзажа; во второй картине он даже старался поймать первый луч восходящего солнца и чуть свет бегал к реке со своим мольбертом.

Ни одной из этих картин Орлов не окончил. Я его уговаривал брать более простые сюжеты, и по моему совету он написал два хороших этюда: женщину с коромыслом и портрет одной девушки в своей домотканой одежде.

Отец очень заинтересовался картинами Орлова и одобрил его сюжеты, особенно солдата-инвалида. Он всегда с любовью вспоминал об Орлове.

События дня 3 октября, свидетелем которых я был, описаны В. Ф. Булгаковым и П. И. Бирюковым. Отец ездил верхом с Д. П. Маковицким. Вернувшись, он жаловался, что у него окоченели ноги от холода. Он лег отдыхать, не снимая сапог. Он спал долго, так что мы, не дожидаясь его пробуждения, в седьмом часу сели обедать. Мать, разлив суп, пошла к нему. Вернувшись, она сказала, что он сидит на кровати, спрашивал, который час и обедают ли. Но его глаза показались ей странными, как перед припадком.

В своем дневнике моя мать записала о прошедшем 3 октября следующее: «3 окт. Утром Лев Николаевич погулял, потом поехал верхом ненадолго; вернувшись, жаловался, что окоченели ноги от холода и, не снимая сапог, лег. Во время нашего обеда я вошла к нему и с ужасом увидела, что он все забыл и заговаривается, и хлопит его ко сну. Потом началось что-то ужасное. Судороги в лице, страшное дерганье ног, которые нельзя было удержать. Ужас, отчаяние и раскаяние овладели мной. К ночи судороги прекратились. Всю ночь я просидела на стуле у Льва Николаевича. Он спал и иногда стоял».

Добавлю, что, когда его раздели и уложили в постель, сестра Саша вынула из кармана его блузы и передала мне его маленький дневник с тем, чтобы я вернул его на другой день.

На этот раз отец выздоровел. Разумеется, его болезнь была результатом тяжелых переживаний последних дней.

Непосредственно же причиной обморока, я думаю, было то, что отец заснул, не снявши своих тяжелых высоких сапог, что затруднило кровообращение. Утром 4 октября отец после глубокого сна проснулся в сознании, но очень слабым и спросил

Сашу, где его маленький дневник, хранившийся в кармане его блузы. Она сказала, что у меня, и позвала меня.

Я передал дневник, взятый мною на сохранение во время обморока отца, и сказал:

— Я его не читал.

Мне было радостно услышать, что он мне на это сказал:
— Ну, ты мог бы прочесть.

Затем произошло примирение между матерью и Сашей.

5 октября отец встал. Саша и Варвара Михайловна вернулись в Ясную Поляну вместе с попугаем, собаками и своими вещами, а мать согласилась, чтобы Чертков вновь приезжал в Ясную Поляну.

В этот свой приезд в Ясную Поляну я резко говорил с матерью, в чем меня поддерживала сестра Таня. Я говорил матери, что если она считает себя больной, то ей надо лечиться, если же она считает себя здоровой, то ей надо опомниться и иначе себя вести. Если она будет продолжать так же мучить отца, то мы соберем семейный совет, вызовем врачей, устроим ее от ведения дел по изданию и от хозяйства и заставим разъехаться с отцом.

Саша говорила матери, что если бы отец умер во время своего припадка, все бы говорили, что она в этом виновна. Я упрекал сестру, что она резка с матерью, но Саша говорила:

— Я одна здесь живу, а вы все, братья и сестры, трех дней не можете здесь выжить!

В этих ее словах была доля правды.

После всех этих событий и разговоров отношения между моими родителями немного улучшились, но ненадолго.

Для того, чтобы понять жизнь в ясполянском усадьбе в 1910 году, необходимо обратиться к далекому прошлому. Разлад между моими родителями произошел от непримиримого противоречия между людьми, стремящимися к идеалу, и людьми, признающими счастье в материальном благополучии.

Начало разлада между отцом и матерью относится к 80-м годам.

До перелома в своем мировоззрении отец не только не отрицал собственности, но стремился к обогащению. Мой дядя Степан Андреевич Берс в своих воспоминаниях приводит его мнение о том, что настоящий аристократ должен быть обеспечен. В этом ему вполне сочувствовала моя мать. Но, как известно, в начале 80-х годов он пришел к обратному убежде-

пно: истинный христианин должен быть пищим, даже бродягой.

Очевидно, моя мать, воспитанная им же совершенно иначе, имея уже 8 или 9 человек детей, не могла последовать за ним.

17 июня 1884 года, накануне рождения дочери Саша, отец после тяжелого разговора с матерью намеревался осуществить свое намерение и уйти из дома.

18 июня 1884 года отец записал в своем дневнике: «Мне стало ужасно тяжело. Я ушел и хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу».

В то время отец высказывал свое намерение раздать свои имения, следуя правилу: «просящему дай», и предоставить всякому желающему издавать его сочинения. Таким путем он, конечно, скоро избавился бы от всякой собственности. Моя мать боялась, что он так и поступит, но могла ли она согласиться с этим? Как было ей остаться без всякой собственности с девятью избалованными и привыкшими к барской жизни детьми, из которых старшему — мне — было 21 год, а младшая — Саша — только что родилась? На какие средства жила бы семья?

Замечу, что в 80-х годах доходов с имений получалось очень мало, так как никто ими как следует не занимался. Наша семья жила почти исключительно на доход от сочинений отца.

Я не буду входить в обсуждение душевных переживаний моих родителей, могу только сказать, что чувствовалась необходимость того или иного выхода из создавшегося положения.

Отец требовал упрощения жизни, сокращения расходов, отказа от барских обычаев и привычек, говорил, что надо прежде всего понять, что наша барская жизнь — безумна и преступна, что «надо слезть с шеи рабочего народа» и что тогда видно будет, как поступать. Но он не указывал на предел упрощения нашей жизни. Между тем жизнь требовала указания на этот предел.

Где жить семье — в деревне или в Москве?

Продолжать ли учиться — мне в университете, братьям — в гимназии?

Держать ли гувернанток и нянек для младших?

Иметь ли прислугу и, если иметь, то какую?

Что делать с имениями и т. д. и т. д.

Наконец главное: на какой бюджет рассчитывать семье?

Моей матери ежеминутно приходилось так или иначе отвечать на эти вопросы.

Первое время, в начале 1880-х годов, она думала, что убеждения отца — временное увлечение, а потом, почувствовав, что его новое мировоззрение неизменно, не рассужденно, а всем существом воспротивилась ему, но не из личных интересов, а как мать своих детей.

В сущности разлад между моим отцом и моей матерью был разладом между прежним Львом Николаевичем — до перелома в его мировоззрении и новым Львом Николаевичем — после перелома.

Его прежние взгляды, воспринятые его женой, вступили в борьбу с его последующей версией, противоположной этим взглядам.

Отец пошел на компромисс. 21 мая 1883 года он дал матери полную доверенность на ведение всех своих имущественных дел. Тогда же он передал ей право издания своих произведений, напечатанных до 1881 года. Это право он предоставил ей сначала на словах, а затем по формальной доверенности.

Однако этого компромисса оказалось недостаточно. Именья еще принадлежали ему, и он был ответствен за дела, связанные с владением ими. Чтобы освободиться от этой ответственности, он решил передать все свои именья жене и детям, что и было оформлено отдельным актом в июне 1892 года. В то же время он объявил в газетах (в 1891 году), что предоставляет всякому желающему издавать все его произведения, написанные после 1881 года. Авторское же право на произведения, напечатанные до этого года, по-прежнему он оставил Софье Андреевне.

Многие упрекали Л. Толстого в том, что он не раздал свои именья, а передал семье. Но он считал, что раздача своих имений была бы с его стороны враждебным, даже насильственным актом по отношению к семье. И поэтому я думаю, что никто, даже он сам, не должен бы был упрекать его за передачу имений жене и детям. Передачу жене права на издание его сочинений до 1881 года, то есть собственности, каковой его личным трудом, можно было бы назвать слабостью с его стороны. Но он руководствовался . . . соображением, что до 1881 года он был другим человеком, что этот человек как бы умер, оставив свое наследство семье, а приблизительно с восьмидесяти первого года родился новый человек, не признающий никакой собственности: с этого времени все им написанное не должно быть частной собственностью, а принадлежать

всем. Этот новый человек надеялся, что со временем его семья последует за ним, и остался жить вместе с ней.

8—9 августа 1909 года отец написал оставшееся неотправленным письмо неизвестной, скрывшейся за псевдонимом «Е. Ш.», где высказал свое отношение к собственности, ему принадлежавшей. Он писал: «Когда в 1880 году я пришел к убеждению, что христианин не должен владеть собственностью, я отказался от нее и просил распорядиться с нею так, как будто я умер. Вследствие чего все мои семейные получили то, что им следовало по наследству, на что они рассчитывали и имели право рассчитывать... Я вызвал бы в них естественное чувство несправедливого лишения того, на что они считали себя вправе, и недобрые ко мне чувства. Так что, если бы мне пришлось теперь вновь распорядиться с моим имуществом, я не думаю, чтобы я поступил иначе. Одно, что я мог сделать, это то, чтобы отказаться и не для каких-нибудь отдельных лиц, а безразлично для всех, от своего права на вознаграждение за все мои писания с того времени, 80 года, когда я предоставил поступать с моим имуществом, как с имуществом умершего лица.— И отказ этот... должен бы, казалось, быть достаточным доказательством того, что... я никак не мог быть руководим корыстной целью, так как литературное вознаграждение за сотни печатных листов, написанных мною после 80-го года, составило бы, по меньшей мере, сотни тысяч рублей и в десятки раз превосходило бы то, что мною оставлено семейным».

Передав семье опеку и право издания своих произведений, написанных до 1881 года, а право на свои произведения, написанные после этого года, на общее пользование, отец, однако, сознавал, что не разрешил вопроса о несоответствии между своим убеждениями и своим образом жизни. Обстановка жилищных помещиков, хозяйничанье жены в Ясной Поляне, требовавшее охранительных мер, издание и продажа его произведений женой — все было прямо противоположно мировоззрению Льва Николаевича; а живя с семьей в Ясной Поляне, он поневоле участвовал в этой жизни. Отсюда — его страдания и упреки как самому себе, так и своим семейным. Люди, мало его знавшие, говорили, что он лицемерно отказался от собственности, переведя свое имущество на имя семьи. Он это чувствовал и постоянно мучился противоречием между своей жизнью и своим мировоззрением. Но как ни тяжело ему было это противоречие, он не мог сделать большего, то есть отказаться от своего авторского права на все свои произведе-

ния и не жить в Ясной Поляне. Он встретил бы такое противодействие со стороны своей семьи, что семейная жизнь его была бы разрушена, а он не считал себя вправе оставить жену и детей. Уехать из Ясной Поляны? Это он также не считал выходом из своего положения. «Где родился, там и годился», говаривал он. Лев Николаевич не считал внешней перемену в жизни — перемену места жительства — шагом вперед на пути к нравственному совершенствованию.

А моя мать не только не разделяла отрицательного отношения отца к собственности, но, наоборот, продолжала думать, что чем богаче она и ее дети, тем лучше. Она была не только женой, она была матерью, а матерям особенно свойственно мечтать о земных благах для своего потомства. Она ни на какой компромисс не шла, а старалась как можно выгоднее издавать «Сочинения Л. Н. Толстого» и извлекала доход не только из его произведений, написанных до 1881 года, но и из написанных позднее. Она убеждалась, что это необходимо еще потому, что ее сыновья нередко обращались к ней с просьбой помочь им в их денежных делах, что она большей частью и делала.

Можно ли ее винить в том, что она заботилась о земных благах для своих детей? Обвиняющие ее могут ли указать на мать, любящую своих детей и не желающую им материального благополучия? А с годами она все больше утрачивала свое душевное равновесие, чему способствовала и ее истеричность, к которой она была склонна и которая усилилась после смерти обожаемого ею младшего сына Ванечки в 1895 году, затем после тяжелой операции, которой она подверглась в 1906 году, и особенно обострилась во второй половине 1910 года.

По отдельному акту Ясная Поляна досталась — одна половина с домом — моему младшему брату Ивану, другая половина — матери. После смерти Ванечки в 1895 году его часть Ясной Поляны по тогдашним законам о наследовании перешла к его пяти братьям: Сергею, Илье, Льву, Андрею и Михаилу.

Хозяйство в Ясной Поляне велось матерью как в части ей принадлежащей, так и в той части, которая принадлежала ее сыновьям. Сыновья не вмешивались, но она не любила и не умела хозяйничать. Дело велось плохо, и трудно сказать — убыточно или доходно: правильного счетоводства не велось.

Яснополянский дом содержался частью продуктами с имения — мукой, молочными продуктами, сеном и овсом для ло-

шадей и т. д., но главным образом деньгами, получаемыми с издания сочинений Л. Н. Толстого.

Хозяйство во всяком имении, как бы оно ни велось, требует охраны его. Иначе никакое хозяйство невозможно: кражи, потравы и порубки парализуют всякую работу. Охрана же влечет за собой обращение к власти, наказания за правонарушения или по крайней мере угрозу наказаний. И моей матери приходилось волей-неволей охранять имение, следовательно, нанимать сторожей и обращаться к властям.

Если бы в округе стало известно, что в имении Толстых не взыскивают и не наказывают за кражи, порубки и потравы, то лишь сонный и ленивый не стал бы тащить все, что попало. Воцарился бы хаос, при котором нельзя было бы не только хозяйничать, но и жить.

А каждый раз, как управляющему или Софье Андреевне приходилось прибегать к охранительным или принудительным мерам, отец испытывал жестокое нравственное страдание. Виновные приходили к нему с просьбой заступиться за них, что он и делал.

Можно только удивляться тому, что при таких условиях в Ясной Поляне было сравнительно мало всяких правонарушений.

Вследствие такого положения дел жизнь в Ясной Поляне была ненормальна и тяжела как для отца, так и для матери. Однако она мало изменялась в продолжение многих лет и, может быть, не изменилась бы до конца дней отца или матери, если бы в 1910 году не появилось новое обстоятельство, переполнившее чашу. Это обстоятельство было — формальное завещание отца. В то же время сильно обострилась истеричность моей матери.

Жизнь яснополянского дома в 1910 году, разговоры, письма, дневники того времени и, наконец, уход отца из Ясной Поляны — все это может быть правильно понято лишь в связи с завещанием отца.

До составления отцом формального завещания его завещательные пожелания были впервые выражены в его дневнике 27 марта 1895 года. Он писал: «Право на издание моих сочинений прежних: десяти томов и азбуки,— прошу моих наследников передать обществу, т. е. отказаться от авторского права. Но только прошу об этом и никак не завещаю. Сделаете это — хорошо. Хорошо будет это и для вас, не сделаете — это ваше дело. Значит вы не могли этого сделать. То, что сочинения мои продавались эти последние 10 лет,— было са-

мым тяжелым для меня делом в жизни». В том же дневнике он завещает: «...бумаги мои все дать пересмотреть и разобрать моей жене, Черткову В. Г. и Страхову».

В 1904 году, когда Н. Н. Страхова уже не было в живых, отец просит В. Г. Черткова: «взять на себя труд пересмотреть и разобрать оставшиеся после меня бумаги и вместе с женою моею распорядиться ими, как вы найдете нужным».

11 августа 1908 года он еще раз в дневнике выразил свои пожелания: «Хотя и пустяшное, но хочется сказать кое-что, что бы мне хотелось, чтобы было сделано после моей смерти. Во-первых, хорошо бы, если бы наследники отдали все мои писания в общее пользование; если уже не это, то непременно все народное, как то: «Азбуки», «Книги для чтения». Второе, хотя это и из пустяков пустяки, то, чтобы никаких не совершали обрядов при погребении в землю моего тела. Деревянный гроб, и кто хочет снесет или свезет в Заказ против оврага, на место зеленой палочки. По крайней мере есть повод выбрать то или другое место».

Из этих записей видно, что отец, во-первых, выражал требование, а пожелание о том, чтобы после его смерти все его произведения были бы общественной, а не частной собственностью его семьи, и, во-вторых, — чтобы В. Г. Чертков вместе с Софьей Андреевной занялся их обработкой и изданием. Он особенно доверял Владимиру Григорьевичу, как своему другу и единомышленнику, но в то же время не хотел обидеть жену исключением ее из своих завещательных распоряжений. Не знаю, как у отца возникло намерение написать формальное завещание, знаю только, что В. Г. Чертков вполне сочувствовал этому намерению. Формальное завещание с подписями свидетелей было впервые написано отцом во время его пребывания в Крёкшине (под Москвой) у Черткова. В нем он писал: «Заявляю, что желаю, чтобы все мои сочинения, литературные произведения и писания всякого рода, как уже где-либо напечатанные, так и еще не изданные, написанные или впервые напечатанные с 1 января 1881 года, а равно и все написанные мною до этого срока, но еще не напечатанные, не составляли бы после моей смерти ничьей частной собственности, а могли бы быть безвозмездно издаваемы и перепечатываемы всеми, кто этого захочет». Редактором и издателем всем своих писаний он назначал одного Черткова. Здесь он уже не упомянул о своей жене, однако исключил из своих произведений, подлежащих общему пользованию, те из них, которые были напечатаны до 1881 года; следовательно, авторское пра-

во на эти произведения он оставил семье. Завещательные пожелания отца не были принудительны для его наследников: они были только нравственно обязательны. Наследники могли пренебречь ими, но раз эти пожелания были высказаны, их нельзя было уничтожить и скрыть. Дневниковая запись 1895 года хранилась в трех копиях — у сестры Маши, Черткова и у меня. Если бы даже запись в дневнике и все копии были уничтожены, то для обнаружения воли Льва Николаевича достаточно были бы показания лиц, прочитавших эту запись.

Другое дело — формальное завещание. Оно было юридически обязательно для наследников, но его можно было уничтожить.

В. Г. Чертков не мог удовлетвориться завещательными пожеланиями Льва Николаевича, высказанными в дневнике. Он был убежден в том, что передача Львом Толстым своих произведений на общую пользу имеет громадное общественное значение, так как это должно способствовать удешевлению и доступности этих произведений для широких масс. В то же время он знал, что если не будет формального завещания, то его роль после смерти Толстого будет иная, чем при его жизни, что, может быть, он будет даже устранен от дела, составлявшего главный интерес его жизни. И потому ему пужно было формальное завещание, передающее в его руки редактирование и издание всех произведений Л. Толстого. Он считал, что он продолжатель дела Льва Толстого и он один компетентен как редактор и издатель его сочинений. А когда завещание было уже написано, он особенно боялся, что Софья Андреевна уговорит Льва Николаевича его уничтожить, и принимал все меры для сохранения его в тайне. Последствием этого было то, что его поведение в 1910 году крайне обострило отношения между моими родителями и было одной из причин мучительных переживаний отца в последний год его жизни. Это признает и В. Г. Чертков. Он говорит: «Вокруг этого центрального вопроса [т. е. вопроса о завещании] сходятся, собственно говоря, все нити тех сложных условий и обстоятельств, которые послужили причиной самого ухода».

По поводу завещания отец сказал Ф. А. Страхову:

«Тяжело мне все это дело... Да и не может пропасть бесследно слово, если оно выражает истину и если человек, высказывающий это слово, верит в истинность его. А эти внешние меры обеспечения — только от неверия нашего в то, что мы высказываем».

Из этих слов отца очевидно, что инициатива по составлению формального завещания исходила не от него, иначе он не говорил бы, что оно ненужно, что ему тяжело это дело.

Завещание еще не раз было переправлено и переписано. Окончательно оно было собственноручно написано отцом 22 июля 1910 года.

Формально Александра Львовна назначалась наследницей своего отца, но на самом деле она была лишь передаточной инстанцией.

31 июля отец подписал «Сопроводительную записку» к формальному завещанию, которая определенно передавала все дело редактирования и издания литературного наследия Льва Толстого и все его рукописи в руки В. Г. Черткова. Чертков же должен был передать право издания на общую пользу.

Болезненное состояние моей матери значительно ухудшилось, начиная со второй половины июня. Это видно как по дневникам отца и воспоминаниям всех знакомых, так и по ее дневникам. В конце июня ее взволновало сравнительно незначительное обстоятельство, а именно то, что Лев Николаевич отложил на два дня свой отъезд из Мещерского, где он гостил у Черткова. Начиная с этого времени, не проходило дня, когда она не жаловалась бы в своих разговорах и дневниках на бессонницу, невралгические боли в разных частях тела, усталость, раздражительность и т. п. Поводами для ее истерических припадков служили как крупные, так и мелкие факты. Действительность ей представлялась как бы в кривом зеркале, а временами она теряла самообладание, так что в некоторых ее словах и поступках ее нельзя было признать вменяемой.

Ее старшая дочь, Т. Л. Сухотина, писала ей 1 июля 1910 г.:
«Ну, как у вас, милая маменька, и как вы себя чувствуете? Я чувствую, что вы боитесь, что я буду вас судить и обсуждать, а я как раз не буду. Я вижу, что вы страдаете истерией, что болезнь эта вас заставляет все видеть в преувеличенном и извращенном виде и что поэтому надо постараться от этой болезни излечиться.

Осенью, когда доктора будут в сборе, мы с вами поедем в Москву поговорить с докторами и вы потом полечитесь <...> Ведь все знают, что женские недомогания очень сильно действуют на нервную систему. Ну, прощайте, маменька. Мне вас жалко, что вы страдаете, но причин для этого нет, и надо себя

удерживать от доставления другим страданий. Целую вас крепко. Таня.

Вспомните, что папа всегда заболел после сильных расстройств. А сил у него все меньше и меньше».

Последствием ненормального состояния моей матери были некоторые навязчивые идеи, приводившие ее к безвыходному и безотрадному настроению и болезненному отношению к своей жизни.

Во второй половине 1910 года такими навязчивыми идеями были: боязнь прослыть Ксантиппой, подобно сварливой жене Сократа, стремление удалить В. Г. Черткова из жизни своего мужа, неприязненное отношение к нему и страстное желание обнаружить завещание своего мужа и добиться его уничтожения.

Привыкнув в первые года своей замужней жизни читать все дневники и письма своего мужа, переписывать ему и знать, что он пишет, она считала обидным для себя то, что ее отстраняли от участия в его писательской деятельности и что его дневники последних лет ей были неизвестны и хранились у Черткова. Она не без основания подозревала, что в этих дневниках есть неблагоприятные отзывы о ней, и всеми силами добивалась изъятия их от Черткова и передачи их ей. Она надеялась, что по ее настоянию Лев Николаевич вычеркнет эти отзывы, что он отчасти и сделал (в дневниках 1888—1895 годов). Добилась она только того, что Лев Николаевич согласился взять у Черткова свои дневники, но он их не передал ей, а поместил в тульский банк на хранение. Так как, по мнению Софьи Андреевны, Чертков был виновником отстранения ее от участия в деятельности мужа, от заботы о его рукописях, от хранения дневников и пр., и он же был виновником составления завещания, то самой острой ее навязчивой идеей было устранение Черткова от Льва Николаевича и неприязненное отношение, даже ненависть, к нему.

До половины 1910 года она относилась к нему терпимо, даже дружелюбно. Так, в марте 1909 года она писала письмо для напечатания в газетах, где она называет насилием запрещение Черткову жить в Тульской губернии, говорит, что вина его — лишь близость к Л. Н. Толстому и что, хотя она во многом не согласна с ним и Львом Николаевичем, пропаганда Черткова была направлена на проповедь любви и высокой нравственности. Летом 1910 года ее отношение резко изменилось. Отчасти причиной этому было дурное отношение

к ней самого Владимира Григорьевича. 6 июля между ним и Софьей Андреевной был неприятный разговор. Об этом есть запись у Гольденвейзера и об этом пишет сам Чертков в письме к С. А. Толстой.

Вообще отношение В. Г. Черткова к моей матери было далеко не добрым. Это выразилось в его письмах, поступках (особенно после смерти Льва Николаевича) и в его статьях («Уход Толстого», Предисловие к посмертным сочинениям и др.).

В своих письмах к Льву Николаевичу Чертков постоянно в самых мрачных тонах говорит о его семейной жизни. Например, осенью 1909 года он писал ему об ужасе, «который вот уже столько лет происходит вокруг вас». В августе 1910 года, когда после разговора с П. И. Бирюковым Лев Николаевич усомнился в том, хорошо ли он сделал, написав формальное завещание, Чертков написал длинное письмо, в котором преувеличенно и в неверном освещении описывал отношение к Льву Николаевичу его семейных. Хотя моя мать не читала его писем (его письма немедленно ему возвращались), она не могла не чувствовать его враждебного к ней отношения.

Это враждебное отношение особенно ясно выразилось в письме В. Г. Черткова к Досеву от 19 октября 1910 года. Болгарин Христо Досев, уехавший из Болгарии, для того чтобы не отбывать военную службу, сблизился с Чертковым и писал ему:

«Нет хуже, чем рабство. Но еще хуже — рабство у балованного дитяти, избалованного самим тобой. Но я не знаю ничего хуже на свете, чем рабство перед глупой, грубой бабой, которая уверена, что чего на свете она ни захоти, ее раб — муж сделает. Не такова ли Софья Андреевна, и не в рабстве ли у нее Лев Николаевич?»

Выписав эти слова в своем письме, Чертков ответил на это:

«Ты ошибаешься, полагая, что Лев Николаевич находится в рабстве у Софьи Андреевны и что он делает все, что она ни захочет. Напротив того, у него есть предел, дальше которого он не уступает. Не уступает он тогда, когда она требует от него того, что несомненно против его совести».

Затем он пишет, что, если Лев Николаевич не ушел от жены, то это «единственно потому, что он недостаточно уверен еще в том, что ему действительно следует уйти, что воля божия в том, чтобы он ушел <....> Очевидно, что если он не

делает этого, то никак не из слабости или малодушия, не из эгоизма, а напротив того, из чувства долга, из мужественного решения оставаться на своем посту до самого конца». В доказательство своих слов Владимир Григорьевич приводит выписки из дневника самого Льва Николаевича.

Далее Владимир Григорьевич говорит, что никто больше его и Анны Константиновны не страдает от отношения Льва Николаевича к Софье Андреевне и что в минуты душевной слабости ему, Владимиру Григорьевичу, «становится очень больно от сознания того, что над личным общением между Львом Николаевичем и нами, его ближайшими беззаветно преданными его друзьями, как бы командует шальная воля нелюбящей его и ненавидящей его душу женщины». Ему кажется, что и Лев Николаевич, при удивительной чистоте своего собственного сердца, не в состоянии видеть Софью Андреевну такую, какая она есть на самом деле.

В том, что Лев Николаевич продолжал жить в Ясной Поляне, вместе с Софьей Андреевной, Чертков видит подвиг: «Ему, выставившему заповедь любви в ее единственном истинном, ничем не ограниченном смысле,—именно ему нужно было и в жизни своей иметь возможность проявить на деле действительную достижимость для человека такой неограниченной, ничем не нарушимой любви. А для этого ему и необходим был тот неумолимо жестокий тюремщик, с которым, в лице Софьи Андреевны, вся жизнь его связана».

А. Б. Гольденвейзер, из книги которого я цитирую письмо Черткова к Досеву (стр. 324—353), говорит, что письмо печатается им в редакции несколько отличной от напечатанной в книге Черткова «Уход Толстого». В самом деле, в книге Черткова письмо к Досеву короче и изменено в некоторых местах. Так, вместо «перед глупой, грубой бабой» напечатано: «перед безрассудной, своевольной женщиной»; вместо «адам» — «тюрьмой»; абзац, начиная со слова «становится» до слова «корысти», выпущен; фраза «а для этого» до слова «связана» также выпущена. Вероятно, редакция Гольденвейзера и есть подлинное письмо к Досеву, которое В. Г. Чертков смягчил для опубликования.

Письмо к Досеву имело бы значение только как личное мнение Черткова, оставшееся между ним и его «другом», если бы это письмо не было переслано Чертковым самому Льву Николаевичу.

Лучший друг Толстого передает ему эпитеты, даваемые

Досевым его жене: «глупая, грубая баба», и сам называет ее «ненавидящей его душу женщиной».

Моя мать догадывалась о завещании уже с конца июля, но наверное о нем не знала. Незнание мучало ее и возбуждало недобрые чувства, а ее истеричность облекала эти чувства в самые уродливые формы. Она чувствовала себя обиженной: как мог ее муж, проживший с ней сорок восемь лет, скрывать от нее свои завещательные распоряжения. Она была пристрастна и далеко не всегда правдива, что свойственно истеричкам. Конечно, у нее были корыстные цели, но не для себя, а для детей и своих «двадцати пяти внучат», как она любила повторять. И она была убеждена в своей правоте: наследие Льва Толстого должно было, по ее мнению, принадлежать его семье. Поэтому, догадываясь, что есть какое-то завещание, она всеми средствами, свойственными истерической женщине, стала стремиться к обнаружению и уничтожению завещания.

Наоборот, Черткову надо было сохранить завещание, в котором он лично был заинтересован, поэтому он принимал меры к сохранению его в тайне от Софьи Андреевны, так как, обнаружив его, она могла уговорить Льва Николаевича его уничтожить. Отсюда — борьба между ними.

Этих двух лиц окружают сочувствующие им: Софью Андреевну — ее сыновья, Лев и Андрей, а также некоторые приезжие родственники, друзья и знакомые, Черткова — его жена Анна Константиновна, моя сестра Саша, В. М. Феокритова, А. Б. Гольденвейзер и другие. И вот вокруг отца возникает то, что я не могу назвать иначе, как интригой.

Софья Андреевна пристаёт ко Льву Николаевичу с вопросом, есть ли завещание, он отвечает уклончиво: она устраивает истерические сцены, грозя самоубийством. Мой брат Андрей прямо требует от отца ответа, отец говорит, что не считает нужным ему отвечать. То же отвечает брату Льву сестра Александра. К Софье Андреевне приезжает Альмединген и нащупывает почву для покупки всех произведений Толстого издательством «Просвещение», сулит миллион; Софья Андреевна ищет способа это осуществить, Лев Николаевич возмущается и, конечно, не соглашается и т. д.

А Чертков и сочувствующие ему развивают усиленную деятельность для сохранения тайны завещания. Чертков пишет Льву Николаевичу письма, в которых старается доказать, что жена его — изверг, что она и некоторые сыновья его обуреваемы корыстью; Александра Львовна резка с матерью и бу-

лучи неожиданно для себя назначена наследницей произведенный отца, вполне подпадает под влияние Черткова; А. Б. Гольденвейзер и В. М. Феокритова вмешиваются в семейные дела Льва Николаевича и осведомляют его о полубезумных речах Софьи Андреевны и т. д.

Таково было положение дел в Ясной Поляне в 1910 году. Лучшим же доказательством правильности моей точки зрения служит маленький интимный дневник отца. Начиная с конца июля, он одновременно вел два дневника: большой и малый. Большой дневник Чертков отдавал переписывать чуть ли не на другой день после его написания. Его читали сам Чертков и все те, кому Чертков давал его читать; маленький же дневник или «Дневник для одного себя», как он его называл, отец никому не давал читать, в том числе и Черткову.

Что отцу было неприятно, когда кто-нибудь читал его дневник, видно из следующей записи его дневника 14 октября 1897 г.: «Нет у меня того религиозного чувства, которое было, когда прежде писал дневник ни для кого. То, что его читали и могут читать, губит это чувство. А чувство было драгоценное и помогавшее мне в жизни. Начну сначала с нынешнего 14 числа писать опять попрежнему — так, чтобы никто не читал при моей жизни». То же видно по воспоминаниям В. Г. Черткова; 9 мая 1910 года он писал: «В первый же день приезда Лев Николаевич предоставил мне свой дневник для переписки. При этом он сказал, вспомнив, что я буду его читать, что сначала почувствовал некоторое стеснение, записывая в него, но потом решил, что будет писать, как будто никто читать не будет».

Уже самое ведение дневника «для одного себя» доказывает, что отцу было неприятно, что Чертков и другие читали его дневники. А из этого дневника топором не вырубить слова: «Чертков вовлек меня в борьбу и борьба эта очень и тяжела и противна мне. Буду стараться любя (страшно сказать, я так далек от этого) вести ее». «Неприятно нарушение тайны дневника» написано после прочтения письма к Досеву, где Чертков пользовался дневником Льва Николаевича, как оружием против Софьи Андреевны.

«От Черткова письмо с упреками и обличениями. Они разрывают меня на части. Иногда думается: уйти ото всех».

Я отношусь отрицательно к завещанию отца потому, что, возбуждив враждебные отношения между близкими ему людьми, оно отравило последний год его жизни, и потому, что оно

противоречило его убеждениям, как косвенное обращение к властям. В одном из писем к Черткову он писал: «Едва ли распространенность моих писаний окупит недоверие к ним, которое должна вызвать непоследовательность в моих поступках». Но я думаю, что мне, моей матери и братьям завещание принесло большую пользу в нравственном отношении. Оно возложило ответственность за литературное наследие отца на Черткова и сестру Сашу и освободило от этой ответственности и от всяких нареканий почти всех членов нашей семьи. Если бы не было формального завещания, вероятно, некоторые из нас захотели бы извлечь из писания отца материальные выгоды, несмотря на его пожелания, выраженные в дневниках. Но тогда как совесть мучила бы тех из нас, которые пошли бы на это, и как шельмовало бы их общественное мнение! Газеты с восторгом обливали бы помоями семью Толстого. Теперь же никто не вправе сказать, что его воля не была исполнена: доверенность, данная присяжному поверенному Н. К. Муравьеву на утверждение завещания, была подписана мною и моими братьями Ильей и Михаилом; и завещание никто не оспаривал.

Замечу, что завещание едва ли способствовало лучшему распространению произведений Л. Н. Толстого. Не будь завещания, наследники, вероятно, издали бы его сочинения не хуже, чем они были изданы Александрой Львовпой и Чертковым. Нельзя назвать образцовыми изданиями три тома посмертных сочинений Л. Н. Толстого, изданные ими, и Полное собрание сочинений, изданное Сытиным. В сущности не так страшен был черт, как его малевал Чертков и его сторонники.

Предположим, что завещания не было бы и что некоторые наследники литературного наследия Льва Толстого захотели бы воспользоваться своим правом. Но ведь не все члены семьи были бы согласны с ними. Неужели те из нас, которые хотели бы исполнить волю отца, не воспротивились бы требованиям остальных? Так, например, сестра Татьяна предполагала после смерти отца выговорить себе право на издание некоторых его произведений и отдать их в общую собственность; об этом она говорила отцу. Вероятно, было бы принято какое-нибудь среднее решение, причем, я думаю, что были бы приняты во внимание интересы «Посредника», друзей Льва Николаевича и даже Черткова.

В первой половине 1910 года, несмотря на разлад между моими родителями, с внешней стороны все обстояло благопо-

лучно. Установился известный *modus vivendi*¹, и жизнь в Ясной Поляне протекала так, как она сложилась уже давно.

День отца распределялся так: он вставал около восьми часов утра, умывался, одевался, убирал свою комнату, выносил ведро с нечистотами, уходил на короткое время в сад или в Чепыж и, выпив кофе, садился заниматься. Около двух часов он завтракал (отдельно от прочих жителей Ясной Поляны), после чего уходил или уезжал верхом на прогулку; возвратившись, он отдыхал, в шесть часов обедал вместе со всеми, после обеда читал, разговаривал, иногда играл в винт или в шахматы или слушал игру А. Б. Гольденвейзера. В десять часов пил чай и около двенадцати ложился спать.

Сестра Саша усердно переписывала отцу, очень ловко и быстро постукивая на пишущей машинке.

В. Ф. Булгаков, живший то в Ясной Поляне, то по соседству в Телятенках, секретарствовал, помогая отцу в его обширной переписке и в составлении «На каждый день». Д. П. Маковицкий следил за здоровьем отца, ежедневно ходил на деревню в небольшую амбулаторию, нередко ездил к больным за несколько верст или верхом сопровождал Льва Николаевича в его прогулках. Софья Андреевна занималась хозяйством — домашним и по имению, держала корректуры по новому изданию сочинений Л. Н. Толстого и писала свою подробную автобиографию «Моя жизнь». Для переписывания этой книги она пригласила Варвару Михайловну Феокритову, которая помогала также в переписке сестре, с которой в то время подружилась.

Редкий день проходил без посетителей и гостей. Особенно часто бывали соседи — жители Овсянникова и Телятенки. В Овсянникове — небольшом имении сестры Татьяны, в пяти верстах от Ясной Поляны, жила М. А. Шмидт, а летом — семья Горбуновых. В Телятенках жили летом А. Б. Гольденвейзер с женой и семья В. Г. Черткова.

Телятенки — небольшое имение, купленное моей сестрой Сашей. Часть его она перепродала Черткову. В большом деревянном доме, построенном на этом участке Чертковым, помещались его жена Анна Константиновна, его сын Владимир Владимирович, несколько крестьянских парней, сверстников Владимира Владимировича, занимавшихся вместе с ним сельским хозяйством, посетители и гости Чертковых. Сам же Владимир Григорьевич с марта 1909 до июля 1910 года не жил в

¹ образ жизни (лат.).

Телятенках, так как по нелепому распоряжению властей ему было запрещено жить в Тульской губернии якобы за то, что он там вел пропаганду «лжеучения» Льва Толстого. Вскоре это запрещение было снято. Со второй половины июля он поселился опять в Телятенках и стал почти ежедневно бывать в Ясной Поляне, до 26 июля, когда этому воспротивилась моя мать.

В 1910 году я и моя семья — жена и сын — жили часть года в Москве, в Хамовническом переулке, в доме, принадлежавшем в то время моей матери, а часть года — в Никольском-Вяземском, имении, доставшемся мне по разделу. В Москве жена занималась педагогической деятельностью, а сын учился в частной гимназии Поливанова. В Никольском я вел хозяйство и бывал не только летом; мне приходилось нередко там бывать по делам хозяйства и в остальные времена года, когда семья жила в Москве. Так как Ясная Поляна находится между Москвой и Никольским, то при частых поездках в имение я обыкновенно заезжал в Ясную Поляну, иногда на несколько дней. Из дневника матери и воспоминаний моих, Булгакова и Гольденвейзера я могу восстановить, в какие дни я был в Ясной Поляне в 1910 году. Между прочим, я пробыл в Ясной Поляне с 28 мая до 8 июня. Отец ко мне относился холодно и сдержанно. 3 июня он записал в своем дневнике: «Недоброе чувство к Сереже, с которым (не с Сережей, а с чувством) недостаточно борюсь. Но зато очень хорошее чувство к Соне...»

5 июня. «...То же к Сереже чувство, но я держался. Невыносимая самоуверенность. Поучительно. Как из-за этой самоуверенности люди лишают себя лучшего блага — любви?».

Не помню, чем было вызвано недоброе чувство отца ко мне; может быть тем, что я в разговоре высказывал несогласные с ним мнения, а может быть, он был вообще недоволен моим образом жизни.

Во время моих частых посещений Ясной Поляны в 1910 году я чувствовал, что там что-то изменилось, что рознь между моими родителями углублялась все более и более, что истеричность матери усилилась и что отцу жизнь в яснополянской усадьбе стала невыносимой. В этом году ему минуло восемьдесят два года. В этом возрасте ему необходим был покой. Вместо этого ему постоянно приходилось быть мишенью истерических припадков моей матери, в которых много раз повторялось одно и то же: упреки, сетования на свою якобы несчастную судьбу, болезненные подозрения, враждебные выходки

по отношению к Черткову, требование отдать дневники, обпаружить завещание, угрозы самоубийства и т. д.

Я тогда не знал о завещании и только предполагал, что отец сделал какое-то распоряжение на случай смерти. Но я замечал, что со стороны В. Г. Черткова и А. Б. Гольденвейзера, В. М. Феокритовой и, к сожалению, сестры Саши возникло какое-то враждебное отношение к матери, а отцу приходилось постоянно выслушивать от них неблагоприятные отзывы о пей и сообщения о том, что она говорит, что делает и что предполагает делать. Замечали это и другие посетители Ясной Поляны, например, П. И. Бирюков и Н. Н. Ге.

Не знаю, ушел ли бы отец из Ясной Поляны, если бы не было завещания. В своем дневнике он писал, что его роль «юродство»; под этим словом он понимал осуждение людской молвой человека за видимое, но не действительное противоречие между верой и образом жизни; а перед своим уходом из Ясной Поляны он сознавался Марье Александровне Шмидт в своем желании уйти из дома, как в слабости. И может быть, он бы не ушел, если бы не создалось в Ясной Поляне интриги вокруг завещания. Но его «разрывали на части», как он написал в своем дневнике. В то же время он почувствовал, что основная причина его пребывания с семьей потеряла свой смысл. Всплыла давнишняя мечта об иной жизни. Эта мечта была им высказана не только в его дневниках; она выразилась и в некоторых его произведениях (замысел о декабристе, упедшем с переселенцами, «Отец Сергей», «Молодой царь», «Записки старца Федора Кузьмича» и др.).

И вот 28 октября, возмущившись поведением Софьи Андреевны, шарившей в его кабинете, он тайно среди ночи уехал. Открыто он не мог уехать — моя мать приняла бы все возможные меры для того, чтобы его удержать, а если бы он все-таки уехал, поехала бы за ним.

ОТЪЕЗД ОТЦА ИЗ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ. НАША ПЕРЕПИСКА С НИМ ПОСЛЕ УХОДА

Странное создалось настроение в Ясной Поляне. До отъезда отца крупных событий или несчастий в яснополянском доме не произошло; в то же время все — не только моя мать, и главное сам отец, но также и их дети и Чертков — чувствовали себя глубоко несчастными. Когда я уезжал из яснополянского дома, я как будто выходил на воздух из душной комна-

ты. То же испытывала сестра Таня. Она писала матери 13 октября 1910 года: «Милая маменька, по вашему письму вижу, что вы не спокойны и поэтому ни вы, ни окружающие не могут быть счастливы. Когда немного отойдешь от вас, то со стороны кажутся особенно нелепыми ваши тревоги. Можно бы было только над ними смеяться, если бы не любить, поэтому и не жалеть вас. Папа любит Черткова? Так и на здоровье! Слава богу, что на старости лет у него есть друг-единомышленник, который кладет все свое сердце, все свои силы и деньги на распространение его мыслей, которые он считает важными и достойными распространения. Нам — семье — только надо быть ему за это благодарными, если в нас нет корыстного отношения к произведениям папа. В этом смысле, разумеется, то, что получает Чертков, есть ценность. Но ведь вы примирились с тем, что сочинения папа после 1882 года принадлежат всем. И Чертков — это только передаточная ступень от папа к публике. Не будь Черткова, был бы другой. А в смысле привязанности папа к нему, я не вижу, чтобы мы от этого теряли бы каплю любви папа к нам. Как я вам сто раз говорила, я думаю, что для папа теперь земные привязанности настолько второстепенны, что он ни к кому особенно исключительно относиться не может. И отношение его к вам и к семье совершенно иное, чем к Черткову. И эти отношения друг у друга ничего отнимать не могут.

Бросьте вы это безумие: ничего, кроме плохого, из этого выйти не может».

Создавшееся положение дел было настолько тяжело, что не могло долго длиться: должна была наступить развязка. Отец стал уже определенно думать о том, чтобы тайно уехать из Ясной Поляны. Чертков и Саша ему в этом сочувствовали. Однако еще накануне своего отъезда он сомневался. На вопрос, хорошо или дурно он поступит, покинув свою жену, он не находил в себе ответа. 26 октября он записал в своем «Дневнике для одного себя»: «Все больше и больше тягочусь этой жизнью. Марья Александровна не велит уезжать, да и мне совесть не дает. Терпеть ее, терпеть, не изменяя положения внешнего, но работая над внутренним».

Как известно, толчок, побудивший его уехать, случился ночью 28 октября. В дневнике записано:

«28 окт. Лег в половине 12. Спал до 3-го часа. Проснулся и опять, как прежние ночи, услышал отворяние дверей и шаги <...> Вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это С. А. что-то разыскивает, вероятно, читает. Накануне она про-

сила, требовала, чтоб я не запирал дверей. Ее обе двери отворены, так что малейшее мое движение слышно ей. И днем, и ночью все мои движения, слова должны быть известны ей и быть под ее контролем. Опять шаги, осторожное отпирание двери, и она проходит. Не знаю отчего, это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, проворочался около часа, зажег свечу и сел. Отворяет дверь и входит С. А., спрашивая «о здоровье» и удивляясь на свет у меня, который она видит у меня. Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать».

И он уехал...

28 октября днем в Москве я получил короткую телеграмму от сестры Саши: «Приезжай немедленно». Не зная об отъезде отца, я недоумевал: что случилось? Я сообщил телеграмму брату Илье, и мы с ним поехали в тот же день с ночным поездом. 29-го утром на станции в Засеке мы встретили нашего слугу Ивана Шураева, от которого узнали, что отец уехал неизвестно куда вместе с Душаном Петровичем. Мать послала Шураева на розыски, узнав, что отец и Душан Петрович взяли билеты до Горбачева. Дома нас встретила Саша и рассказала, что отец внезапно уехал в ночь на 28-ое, что мать вчера кидалась в пруд, откуда ее вытащили; не спит и не хочет ничего есть. Саша показала нам следующее письмо отца к матери, от 28 октября 1910 года, написанное перед самым уходом:

«Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится, стало невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делает старик моего возраста: уходит из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни. Пожалуйста, пойми это и не ездь за мной, если и узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твое и мое положение, но не изменит моего решения. Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобой, так же, как и я, от всей души прощаю тебя во всем том, чем ты могла быть виновата передо мной. Советую тебе помириться с тем новым положением, в которое ставит тебя мой отъезд, и не иметь против меня недоброго чувства.

Если захочешь что сообщить мне, передай Саше, она будет

внять, где я, и перешлет мне, что нужно. Сказать же о том, где я, она не может, потому что я взял с нее обещание не говорить этого никому.

Лев Толстой.

Собрать вещи и рукописи мои и переслать мне я поручил Саше».

Саша нам сказала, что хотя она знает, куда поехал отец, но не может нам этого сказать, так как обещала не говорить.

Мать вышла к нам в залу. Она была не одета, непричесана, в каком-то капоте. Меня поразило ее лицо, вдруг постаревшее, сморщенное, трясущееся, с бегающим взглядом. Это было новое для меня выражение. Мне было и жалко ее и жутко. Она говорила без конца, временами плакала и говорила, что непременно покончит с собой, что ей не дали утонуть, но что она уморит себя голодом. Я довольно резко сказал ей, что такое ее поведение произведет на отца обратное действие, что ей наде успокоиться и полечить свои нервы; тогда отец вернется. На это она сказала: «Нет, вы его не знаете, на него можно подействовать только жалостью» (то есть возбудив в нем жалость). Я подумал, что это правда, и хотя возражал, но чувствовал, что мои возражения слабы. Впрочем, я говорил, что раз отец уехал, он не может скоро вернуться, что надо подождать, а через некоторое время он, может быть, вернется в Ясную. Особенно тяжело было то, что все время надо было держать ее под наблюдением. Мы не верили, что она может сделать серьезную попытку на самоубийство, но, симулируя самоубийство, она могла не учесть степени опасности и действительно себе повредить.

Не помню, в этот ли день или на другой день прпехали братья Андрей и Миша и сестра Таня, Лева был за границей. К счастью, мы все пришли к единодушному решению. Мы решили: 1) Сашу не допрашивать, где отец, и посоветовать ей поскорее к нему поехать, 2) всячески удерживать мать от поездки к отцу или за поисками его, 3) выписать из Москвы доктора-психиатра и двух сестер милосердия для ухода за матерью и безотлучного наблюдения за ней. Мы сознавали, что должны быть жестоки с матерью, но вместе с тем понимали, что иначе мы не можем поступить. И Андрей совершенно верно говорил, что отыскать отца ничего не стоит, что губернатор и полиция, вероятно, уже знают, где он, что наивно ду-

мать, что Лев Толстой может где-нибудь скрыться. Газеты тоже, очевидно, сейчас же это пронюхают. Установится даже особого рода спорт: кто первый найдет Льва Толстого.

Мы решили написать отцу письма.

Написали письма братья Илья и Андрей, сестра Татьяна и я. Миша не написал. Привожу эти письма и письма отца, написанные нам.

Мое письмо:

«29 октября 1910 г. Милый папа, я пишу потому, что Саша говорит, что тебе приятно было бы знать наше мнение (детей). Я думаю, что мама нервно больна и во многом невменяема, что вам надо было расстаться (может быть, уже давно), как это ни тяжело обоим. Думаю также, что если даже с мамой что-нибудь случится, чего я не ожидаю, то ты себя ни в чем упрекать не должеп. Положение было безвыходное, и я думаю, что ты избрал настоящий выход. Прости, что я так откровенно пишу. Сережа».

Письмо Татьяны Львовны:

«Милый, дорогой папенька, ты всегда страдал от большого количества советов — поэтому я и не даю советов. Ты, как и всякий, поступаешь так, как можешь и как считаешь нужным. Никогда тебя осуждать не будут. О маме скажу, что она жалка и трогательна. Она не умеет жить иначе, чем она живет. И, вероятно, никогда не изменится в корне. Но для нее нужен страх или власть. Мы все постараемся ее подчинить, и думаю, что это будет к ее пользе. Я устала и глупа. Прости меня. Прощай, друг мой. Твоя Таня. 29 окт. 1910».

Письмо Ильи Львовича:

«Милый папа, я чувствую, что в это тяжелое для всех нас время я должеп тебе написать. И мне хочется сказать тебе правду, и я думаю, что и ты этого хочешь. Саша расскажет тебе, что без тебя было, как мы все собрались, что говорили и что решили, но я боюсь, что его освещение будет немножко односторонне и поэтому пишу сам. Мы не хотели входить в оценку твоего поступка. На всякий поступок есть тысяча причин и поводов, и даже если бы мы могли знать все эти поводы и причины (а мы знаем только часть), то и то разобраться в их соотношении мы бы не могли. Говорить нечего, что осуждать кого-нибудь из вас мы не хотим и не можем. Прежде всего мы должны сделать все, чтобы сохранить и насколько можно успокоить маму. Она до сих пор, вторые сутки, ничего не ест и только вечером выпила глоток воды. Все время говорит о том, что жить ей незачем и жалка до того, что никто из нас

не мог говорить с ней без слез. Как всегда с пей бывает, многое — напускное, отчасти — сентиментальность, но вместе с тем так много искренности, что нет сомнения в том, что ее жизнь в большой опасности. Страшно и за насильственную смерть и за медленное угасание от горя и тоски. Я так думаю, и мы должны это сказать тебе, чтобы быть правдивыми. Я знаю, насколько для тебя была тяжела жизнь здесь. Тяжела во всех отношениях. Но ведь ты на эту жизнь смотрел, как на свой крест, и так и относились люди, знающие и любящие тебя. Мне жаль, что ты не вытерпел этого креста до конца. Ведь тебе 82 года и мамà 67. Жизнь обоих вас прожита, но надо умирать хорошо. И мне настало подумать, какая это была бы смерть, если бы мама осталась в пруду, или если с ней сделается что-нибудь. Ведь и ты этого не пережил бы.

Прости меня, что я может быть резко говорю правду, и знай, что я люблю и понимаю тебя во многом и только хочу помочь. Я не зову тебя сейчас вернуться сюда, п. ч. знаю, что ты этого сделать не можешь, но ради спокойствия мамà надо не прекращать с ней сношений, писать ей, дать ей возможность окрепнуть нервно, а дальше — дальше бог даст. Если захочешь написать мне, я буду очень рад. Твой Илья. 29 окт. 1910».

Письмо Андрея Львовича:

«Ясная Поляна. 29 окт. 1910.

Милый папа, только самое доброе чувство, о котором я тебе говорил в последнее наше свидание с тобой, принуждает меня сказать тебе мое мнение о положении матери. Здесь собрались Таня, Сережа, Илья, Миша и я, и, сколько мы ни судили, не могли найти никакого выхода, кроме одного — это оградить мать от самоубийства, на которое, я уверен, она в конце концов окончательно решится. Способ единственный — это охранять ее постоянным надзором наемных людей. Она же, конечно, этому всеми силами противится и, я уверен, никогда не подчинится. Наше же, братьев, положение в данном случае невозможно, ибо мы не можем бросить свои семьи и службы, чтобы находиться неотлучно при матери.

Я знаю, что ты решил окончательно не возвращаться, но по долгу своей совести должен тебя предупредить, что ты своим окончательным решением убиваешь мать. Как тебе был тяжел гнет последних месяцев, я знаю, но также знаю, что мать больна нервно и жизнь последнее время друг с другом была непосильна для вас обоих, и если бы ты собрал нас для того, чтобы мы повлияли на мать, чтобы вы расстались с ней на неопределенное время по-хорошему, с надеждой, что она

успокоится нервно, то не было бы тех ужасных страданий, которые мы переживаем вместе с тобой и матерью, хотя ты и далеко от нас. Относительно же того, что ты говорил мне о роскоши и материальной жизни, которой ты окружен, то думаю, что если ты мирился с ней до сего времени, то последние годы своей жизни ты мог бы пожертвовать семье, примирившись с внешней обстановкой.

Прости мне, мой милый папаша, за то, что мое письмо тебе покажется полно советов, но мне больно и жалко как тебя, так и мамà, которую невозможно видеть без глубочайшего страдания. Твой сын Андрей».

На письма мое и сестры Тани, доставленные отцу, он еще в Шамардине в ночь с 30 на 31 октября перед самым отъездом оттуда ответил следующим письмом:

«Благодарю вас очень, милые друзья — истинные друзья — Сережа и Таня, за ваше участие в моем горе и за ваши письма. Твое письмо, Сережа, мне было особенно радостно: коротко, ясно и содержательно и, главное, добро. Не могу не бояться всего и не могу освобождать себя от ответственности, но не осилил поступить иначе. Я писал Саше через Черткова о том, что я прошу ее сообщить вам — детям. Прочтите это. Я писал то, что чувствовал и чувствую, то, что не могу поступить иначе. Я пишу ей — мамà. Она покажет вам тоже. Писал, обдумавши, и всё, что мог. Мы сейчас уезжаем, еще не знаем куда. Сообщение всегда будет через Черткова.

Прощайте, спасибо вам, милые дети, и простите за то, что всё-таки я причина вашего страдания. Особенно ты, милая голубушка Таничка. Ну вот и всё. Тороплюсь уехать так, чтобы, чего я боюсь, мама не застала меня. Свидание с ней теперь было бы ужасно. Ну прощайте. Л. Т. 4-й час утра. Шамардино».

Письмо Саше, которое отец просил сообщить нам, было следующее:

«29 октября 10 г. Оптина пустынь.

Сергеенко тебе все про меня расскажет, милый друг Саша. Трудно. Не могу не чувствовать большой тяжести. Главное, не согрешить, в этом и труд. Разумеется, согрешил и согрешу, но хоть бы поменьше.

Этого, главное, прежде всего желаю тебе, тем более, что знаю, что тебе выпала страшная, не по силам по твоей молодости задача. Я ничего не решил и не хочу решать. Стараюсь делать только то, чего не могу не делать, и не делать того, чего мог бы не делать <...> Очень надеюсь на доброе влияние Та-

ни и Сережи. Главное, чтоб они поняли и постарались внушить ей, что мне с этим подглядыванием, подслушиванием, вечными укоризнами, распоряжением мной, как вздумается, вечным контролем, напускной ненавистью к *самому* близкому и нужному мне человеку, с этой явной ненавистью ко мне и притворством любви,— что такая жизнь мне не неприятна, а прямо невозможна, что если кому-нибудь топиться, то уж никак не ей, а мне, что я желаю одного — свободы от нее, от этой лжи, притворства и злобы, которой проникнуто все ее существо. Разумеется, этого они не могут внушить ей, но могут внушить, что все ее поступки относительно меня не только не выражают любви, но как будто имеют явную цель убить меня, чего она и достигнет, так как надеюсь, что в третий припадок, который грозит мне, я избавлю и ее и себя от этого ужасного положения, в котором мы жили и в которое я не хочу возвращаться <...>

Едем в Шамардино.

Душан разрывается, и физически мне прелестно».

Письмо Льва Николаевича к С. А. Толстой, о котором он писал нам — «пишу ей — маме», написанное, очевидно, одновременно с письмами к нам, было следующее:

«Свидание наше и тем более возвращение мое *теперь* совершенно невозможно. Для тебя это было бы, как все говорят, в высшей степени вредно, для меня же это было бы ужасно, так как теперь мое положение вследствие твоей возбужденности, раздражения, болезненного состояния, стало бы, если это только возможно, еще хуже. Советую тебе примириться с тем, что случилось, устроиться в своем новом на время положении, а главное — лечиться.

Если ты, не то что любишь меня, а только не ненавидишь, то ты должна хоть немного войти в мое положение. И если ты сделаешь это, ты не только не будешь осуждать меня, но постараешься помочь мне найти тот покой, возможность какой-нибудь человеческой жизни, помочь мне усилием над собой и сама не будешь желать теперь моего возвращения. Твое же настроение теперь, твое желание ... попытки самоубийства, более всего другого, показывая твою потерю власти над собой, делают для меня теперь немислимым возвращение. Избавить от испытываемых страданий всех близких тебе людей, меня и, главное, самое себя никто не может, кроме тебя самой. Постарайся направить всю свою энергию не на то, чтобы было все то, чего ты желаешь, теперь мое возвращение,— а на то, чтобы умиротворить себя, свою душу, и ты получишь, чего желаешь.

Я провел два дня в Шамардине и Оптиной и уезжаю. Письмо пошлю с пути. Не говорю, куда еду, потому что считаю и для тебя и для себя необходимым разлуку. Не думай, что я уехал потому, что не люблю тебя. Я люблю тебя и жалею от всей души, но не могу поступить иначе, чем поступаю. Письмо твое — я знаю, что писано искренно, но ты не властна исполнять то, что желала бы. И дело не в исполнении каких-нибудь моих желаний, требований, а только в твоей уравниловке, спокойном, разумном отношении к жизни. А пока этого нет, для меня жизнь с тобою невыносима. Возвратиться к тебе, когда ты в таком состоянии, значило бы для меня отказаться от жизни. А я не считаю себя в праве сделать это. Прощай, милая Соня, помогай тебе бог. Жизнь не шутка, и бросать ее по своей воле мы не имеем права и мерить ее по длине времени тоже неразумно. Может быть, те месяцы, какие нам осталось жить, важнее всех прежних годов, и надо прожить их хорошо. Л. Т.»

Привожу также письмо, написанное Львом Николаевичем 29 октября из Оптиной пустыни моей жене Марье Николаевне Толстой:

«У вас, милая Маша, воображаемые беды, чему очень радуюсь, а у нас самые настоящие, и очень, очень тяжелые. Ты, верно, уж знаешь всё. Я теперь в Оптиной. Еду к сестре в Шамардино. Очень хочу не возвращаться. Много надеюсь на влияние Сережи и Тапи, но ничего не могу предвидеть. Главное, как бы не согрешить. А что будет, не могу и предвидеть. Я рад случаю сообщить тебе о нашей горе, потому что знаю, что ты своим добрым сердцем принимаешь в нем участие. Случай же, по которому я пишу, это сейчас пришедшая ко мне женщина вдова, у которой 6 человек детей и которая просит о помещении ее детей хоть сколько можно — одной в приют. Она придет к тебе, вот ее имя. Прости за то, что утруждаю. Знаю, что ты сделаешь, если можно. Целую тебя. Лев Толстой. 29 октября. Оптина Пустынь».

Последнее по времени написания письмо, которое мы получили от отца, написанное уже рукой Александры Львовны под его диктовку, было:

«1 ноября 1910 г. Астапово

Милые мои дети, Сережа и Таня.

Надеюсь и уверен, что вы не попрекнете меня за то, что я не призвал вас, — призвание вас одних без мамá было бы великим огорчением для нее, а также и для других братьев. Вы оба поймете, что Чертков, которого я призвал, находится,

в исключительном по отношению ко мне положении. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому и я служил в последние 40 лет моей жизни. Дело это не столько мне дорого, сколько я признаю — ошибаюсь или нет — его важность для всех людей и для вас в том числе. Благодарю вас за ваше хорошее отношение ко мне. Не знаю, прощаюсь ли, или нет, но почувствовал необходимость высказать то, что высказал. Еще хотел прибавить тебе, Сережа, совет о том, чтобы ты подумал о своей жизни, о том, кто ты, что ты, в чем смысл человеческой жизни и как должен проживать ее всякий разумный человек. Те, усвоенные тобою взгляды дарвинизма и эволюции и борьбы за существование не объяснят тебе смысл твоей жизни и не дадут руководства в поступках, а жизнь без объяснения ее значения и смысла и без вытекающего из него неизменного руководства есть жалкое существование. Подумай об этом, любя тебя, вероятно, накануне смерти говорю это.

Прощайте, старайтесь успокоить мать, к которой я испытываю самое искреннее чувство сострадания и любви. Любящий вас отец Лев Толстой».

Письмо было передано нам в Астапове. Написано под диктовку Льва Николаевича А. Л. Толстой, подписано собственноручно.

Отец приписал мне «взгляды дарвинизма», «эволюции и борьбы за существование», вспомнив далекое прошлое — мои разговоры и споры с ним во время моего студенчества.

В 1910 году, когда мне было уже 47 лет, мои взгляды во многом изменились. Они были ему мало известны, так как я, во избежание споров, мало говорил с ним о принципиальных вопросах. Но мое расхождение с ним не было так резко, как он предполагал. Здесь не место мне излагать свое мировоззрение. Скажу только, что я меньше всего мог согласиться с его критикой той области чистого познания, которую принято называть наукой. Я думаю, что наука может и должна всего касаться, что нет области, в которую человеческому разуму запрещено было бы вторгаться. Поэтому наука не может не заниматься вопросами об отношениях между людьми — социологией, правом, историей, экономическими вопросами и т. п.

29-го вечером я поехал обратно в Москву для того, чтобы пригласить психиатра в Ясную Поляну. Здесь я через врачей Беркенгейма и Никитина узнал, что в Ясную мог бы поехать их товарищ по университету, некто Растегаев, бывший главным врачом психиатрической больницы, кажется в Екатери-

пославе. Растегаев был у меня, и я с ним уговорился, и он в тот же вечер поехал в Ясную. Вместе с Растегаевым в Ясную поехала медичка 5-го курса, фельдшерица и сестра милосердия Скоробогатова.

В Москве ко мне приходил Михаил Петрович Новиков. Он показал мне письмо отца к нему и рассказал свой разговор с ним, когда он был в последний раз в Ясной.

Отец говорил Новикову, что хочет переменить образ жизни и поселиться у него в избе (в деревне Боровкове близ станции Лаптево Московско-Курской ж. д.), что ему тяжело положение помещика, тяжело пользоваться услугами прислуги.

Новиков сказал ему: «Л. Н., ваш возраст — предельный возраст, вам поздно изменять образ жизни. Вы живы, так сказать, искусственно. Вы можете жить только в привычных вам удобных условиях жизни. Вы не выживете в более суровых условиях».

Отец настаивал и стал жаловаться на свое семейное положение, на рознь с женой.

Тогда Новиков сказал ему: «По-нашему, по-мужицкому, над вами, Лев Николаевич, посмеялись бы. Бабу надо учить».

И Новиков рассказал ему, как его брат поучил вожжами свою жену, пившую запоем, и она перестала пить.

Так как в Никольском сменялся управляющий, работал крахмальный завод и не было денег на хозяйство, я решил, захватив с собой тысячу рублей, поехать в Никольское на один или на два дня с тем, чтобы затем освободиться на время от хозяйственных дел, вернуться в Ясную и поступать сообразно с обстоятельствами. Я разделял опасение врачей в том, что отец в новых, непривычных условиях жизни заболеет, но, зная, что за последнее время здоровье отца было недурно, преуменьшал опасность. И странно: почему-то я думал, что за лето отец набрался довольно сил, чтобы дожить до конца зимы, но что опасность ему грозит именно в феврале.

Итак, 1 ноября в ночь я поехал прямо в Никольское, решив в Ясную теперь не заезжать. На другой день, проезжая станцию Лазарево, я на поезде, около 10 часов утра, получил следующую телеграмму от жены из Москвы: «Пассажирская. Срочная. Графу Сергею Толстому, пассажиру поезда 9 Курской дороги. Лазарево. Получили следующую телеграмму со станции Астапово: положение серьезное, привези немедленно Никитина. Желал известить тебя и сестру, боится приезда остальных. Никитину я сообщила. Маша».

Справившись в взятом у соседа путеводителе, где нахо-

дится Астапово, и узнавши, что туда надо ехать через увлочную станцию Горбачево, я в Горбачеве свернул с Курской дороги на Данково-Смоленскую и вместо Никольского поехал в Астапово. Туда я приехал 2 ноября в 7 часов вечера.

В АСТАПОВЕ

Отец, сестра Саша, ее подруга В. М. Феокритова, Д. П. Маковицкий, В. Г. Чертков и А. П. Сергеенко помещались в домике начальника станции Ивана Ивановича Озолина. Домик состоял из четырех небольших комнат, маленькой передней и кухни.

Когда я вошел, то все, кроме отца, сидели в первой комнате вокруг стола. Отец лежал в третьей комнате. В первой и второй комнатах в этот день еще помещались Озолины, то есть эти комнаты были полны их вещами, но к вечеру они уже перебрались в очень тесное помещение сторожа в том же доме. За чаем Душан Петрович и Саша рассказывали о своем путешествии в Шамардино и оттуда в Астапово. Из Козельска билеты были взяты до Двориков (около Волова), а в Волове—до Батайска, за Ростовом. Это было сделано, чтобы замести следы. Точно страус, прячущий свою голову. В вагоне обсуждался вопрос, куда ехать. Решено было ехать в Новочеркасск к Денисенкам, а оттуда или поехать на Кавказ и там поселиться, или, пожив у Денисенок в Новочеркасске и достав заграничные паспорта Саше, Душану Петровичу и Варваре Михайловне, поехать в Болгарию. Отец надеялся, что его пропустят через границу без паспорта.

Все мы смотрели на будущее хотя и с тревогой, но и с надеждой. Доктора нашли воспаление обоих легких, главным образом, левого легкого. Вечером температура была высокая, около 39°. Но пульс, говорили врачи, был не плох.

Мне рассказали, что отец спрашивал врачей, можно ли ему будет встать дня через два. Ему ответили, что едва ли можно будет и через две недели. Тогда он огорчился, повернулся к стене и ничего не сказал. Саша дала мне письма отца, которые он написал мне, сестре Тане и ей.

Саша, Душан Петрович и я раздумывали, пойти ли мне к отцу или нет. Ведь он все еще думал, что никому из нас неизвестно, где он. Увидав меня, он мог взволноваться. Душан Петрович настойчиво советовал мне пойти, и я с ним согласился. Часов в десять я пошел к отцу. Он лежал в забытии. Я постоял в комнате. Тут еще оставались некоторые озолинские

вещи, ненужные для больного. На простом деревянном столе стояли лекарства. Горела небольшая керосиновая лампа с абажуром.

Душан Петрович сказал: «Лев Николаевич, здесь Сергей Львович». Отец открыл глаза и посмотрел на меня удивленным и беспокойным взглядом. Я поцеловал его руку (чего мы обыкновенно не делали). Он спросил меня:

— Сережа? Как ты узнал? Как ты нас нашел?

Я сказал, тут же выдумавши: «Проезжая через Горбачево, я встретил кондуктора, который ехал с вами, он мне сказал, где вы». Это было только отчасти правдой: я спрашивал кондуктора, не знает ли он, где отец, уже получив телеграмму о том, что он в Астапове. Кондуктор мне это подтвердил. Тогда отец спросил меня:

— А как кондуктор тебя узнал? Он разве знал, кто ты?

Я сказал: «Да, меня знают многие кондуктора Курской дороги».

После этого разговора он опять закрыл глаза и уже ничего не говорил. Судя по голосу, я не пашел, что он в очень плохом состоянии.

На другой день Саша мне передала слова отца: «Сережа-то каков? Как он нас нашел! Я ему очень рад, он мне очень приятен. Он мне руку поцеловал!» И он всхлипнул.

Около 12 часов ночи пришел экстренный поезд, заказанный матерью в Туле. С ним приехали мать, братья Илья, Андрей и Миша, сестра Таня, доктор Растегаев, фельдшерица Скоробогатова, В. Н. Философов и доктор Семеновский, подсевший на поезд в Данкове. В эту ночь никто к отцу не пошел.

3 ноября утром сестра Таня пошла к отцу. Она написала об этом своему мужу следующее: «Он (отец) позвал меня, так как ему проговорились, что я приехала. Ему принесли его подушечку, и тогда он спросил, откуда она. Святой Душан не мог солгать и сказал, что я ее привезла. Про мамà и братьев ему не сказали. Он начал с того, что слабым прерывающимся голосом с передыханием сказал: «Как ты нарядна и авантажна». Я сказала, что знаю его плохой вкус, и посмеялась. Потом он стал спрашивать про мамà. Этого я больше всего боялась, потому что боялась сказать ему, что она здесь, а прямо солгать ему, я чувствовала, что у меня не хватит сил. К счастью, он так поставил вопрос, что мне не пришлось сказать ему прямой лжи.

— С кем она осталась?

— С Андреем и Мишей.

— И Мишей?

— Да. Они все очень солидарны в том, чтобы не пускать ее к тебе, пока ты этого не пожелаешь.

— И Андрей?

— Да, и Андрей. Они очень милы, младшие мальчики, очень замучились, бедняжки, стараются всячески успокоить мать.

— Ну расскажи, что она делает? Чем занимается?

— Папенька, может быть тебе лучше не говорить: ты взволнуешься.

Тогда он очень энергично меня перебил, но все-таки слезящимся, прерывающимся голосом сказал:

— Говори, говори, что же для меня может быть важнее этого? — И стал дальше расспрашивать, кто с ней, хорош ли доктор. Я сказала, что нет и что мы с ним расстались, а очень хорошая фельдшерица, которая служила три с половиной года у С. С. Корсакова и, значит, к таким больным привыкла.

— А полюбила она ее?

— Да.

— Ну дальше. Ест она?

— Да, ест и теперь старается поддержать себя, потому что живет надеждой свидеться с тобой.

— Получила она мое письмо?

— Да.

— И как же она отнеслась к нему?

— Ее, главное, успокоила выписка из письма твоего к Черткову, в котором ты пишешь, что не отказываешься вернуться к ней под условием ее успокоения.

— Вы с Сережей получили мое письмо?

— Да, папенька, но мне жалко, что ты не обратился к младшим братьям. Они так хорошо отнеслись ко всему.

— Да ведь я писал всем, писал: «Дети».

В то же утро (3 ноября) приехали из Москвы наш друг доктор Д. В. Никитин, А. Б. Гольденвейзер и Ив. Ив. Горбунов. Я провел все утро в вагоне с матерью, сестрой и братьями. На общем совете мы решили всячески удерживать мать от свидания с отцом, пока он сам ее не позовет. Главной причиной этого решения была боязнь, что их свидание может быть для него губительно. Братья также решили не ходить к отцу, так как, если бы они пошли, невозможно было бы удержать мать.

Мы решили так: прежде всего будем исполнять волю отца, затем — предписания врачей, затем — наше решение. И глав-

ное, будем действовать единодушно. Мать, скрепя сердце, согласилась с нами, говоря, что она не хочет быть причиной смерти отца. Мы, однако, не очень ей верили, боялись, что она все-таки пойдет к нему, и решили следить за ней. Трудно себе представить, что произошло бы, если бы она пошла к отцу.

Мы решили выписать другую сестру милосердия для наблюдения за ней и, главное, для облегчения и замены утомившейся Скоробогатовой, оказавшейся очень дельной, умной и сердечной женщиной. С Растегаевым мы решили расстаться.

В озолинский дом я попал только днем. Вход в этот дом был обставлен трудностями. Сперва надо было постучать в окно; кто-нибудь отворял форточку, и через нее шел разговор. У двери же, почти безотлучно, находился Алеша Сергеевко и впускал только избранных; лишь изредка его сменял кто-нибудь другой.

Когда я вошел к отцу, он спал или, скорее, лежал в забытьи.

Я слышал, как он говорил:

— Саша все идет в гору, чем это кончится?

Когда отец очнулся, он торопливо спросил меня:

— Сережа, ты сегодня уезжаешь?

Я сказал, что еще не уезжаю.

— Уезжай, уезжай, непременно уезжай.

Мне кажется, что он надеялся скоро выздороветь, и велел мне уезжать, чтобы я не помешал ему ехать дальше. Впрочем, он говорил это в полузабытьи.

К вечеру отец очень утомился, и в самом деле было от чего утомиться. В этот день он взволновался, окончательно убедившись в том, что его местопребывание всем известно. Еще более его взволновал разговор с Таней. Затем ему читали газеты. Он говорил с Гольденвейзером и Горбуновым; в последний раз писал свой дневник; наконец Чертков читал ему последние полученные на его имя письма.

4 ноября утром, когда у отца никого не было, кроме Черткова и меня, он сказал: «Может быть, умираю, а может быть... буду стараться...» Потом Чертков ушел, и я довольно долго оставался один с отцом. В это время я невольно подслушал, как отец сознавал, что умирает. Он лежал с закрытыми глазами и изредка выговаривал отдельные слова из занимавших его мыслей, что он нередко делал, будучи здоров, когда думал о чем-нибудь, его волнующем. Он говорил: «Плохо дело, плохо твое дело...» И затем: «Прекрасно, прекрасно». Потом

он вдруг открыл глаза и, глядя вверх, громко сказал: «Ма-ша! Маша!»

У меня дрожь пробежала по спине. Я понял, что он вспомнил смерть моей сестры Маши, которая была ему особенно близка (Маша умерла тоже от воспаления легких в ноябре 1906 года).

Вскоре после этого я ушел обедать и вернулся часов в пять.

Саша давала ему пить. Он говорил: «Не хочу теперь, не мешайте мне». Он, вероятно, продолжал думать о смерти.

В тот же день отец продиктовал Саше следующую телеграмму: «Телеграфируйте сыновьям, чтобы удержали мать от приезда, потому что мое сердце так слабо, что свидание будет губительно, хотя здоровье лучше». Эта телеграмма была передана матери тут же в Астапове, в вагон, где она жила.

5 ноября. Утром я сидел у отца вместе с Сашей. Потом пришла Таня. Он все говорил: «Как вы не понимаете. Отчего вы не хотите понять... Это так просто... Почему вы не хотите это сделать». И он, видимо, мучился и раздражался оттого, что не может объяснить, что надо понять и сделать. Мы так и не поняли, что он хотел сказать.

Вечером отец стал медленно водить руками по груди, притягивать и отпускать одеяло — словом, делать то, что называется, по-народному, «прибираться» или «обираться». А иногда он быстро водил рукой по простыне, как будто писал.

6-го утром приехали Усов и Щуровский. Я не пошел с ними к отцу. Таня мне сказала, что утром отец говорил: «Вот конец и ничего...», потом он привстал и сказал: «Только советую вам помнить одно: есть пропасть людей на свете, кроме Льва Толстого,— а вы смóтрите на одного Льва».

Мне приходилось во все эти дни бывать в трех местах — в озолинском домике, в вагоне, где помещались мать и остальная семья, и на вокзале, где приходилось питаться. В вагоне тяжело было видеть мою мать, переносившую ужасные муки. Она понимала, хотя, может быть, не признавалась самой себе, что послужила последним толчком для отъезда отца, последствием чего была его болезнь: она знала, что он не хочет ее видеть, и чувствовала свою беспомощность и непоправимость совершившегося.

На тесном астаповском вокзале, вокруг большого стола и стойки, постоянно толпились корреспонденты разных газет — человек двенадцать. Они пили водку, громко разговаривали и постоянно нас расспрашивали. Тут же были жандармы и сы-

щики, и по вокзалу и платформе гулял о. Варсонофий, настоятель Оптиной пустыни, с тайным поручением причастить Льва Толстого. Он как будто ждал, что его позовут. Такова была атмосфера астаповского вокзала. Это, однако, совсем не относится к железнодорожным служащим. Они были в высшей степени предупредительны и деликатны.

Перед тем как расстаться с доктором Растегаевым, я просил его, дать мне характеристику болезни моей матери, что он и сделал в следующем письме:

«Милостивый государь Сергей Львович. Дать согласно Вашей просьбе полную клиническую картину болезни матери Вашей гр. Софии Андреевны представляется затруднительным, так как срок моего наблюдения и изучения ее психической индивидуальности был довольно короток. Это обстоятельство послужит для меня извинением, если вы почему-либо останетесь неудовлетворенным.

Приглашенный к Софье Андреевне в момент тяжелого приступа ее болезни, я не мог, да и не считал это крайне необходимым, произвести физическое исследование ее организма. Не считал же этого необходимым потому, что могущие быть изменения в физическом состоянии графини не могут объяснить болезненных изменений ее нервно-психической организации. Поэтому я прямо перехожу к последним.

Восприятие внешних впечатлений не нарушено, ориентирование в месте и времени сохранены вполне. Сознание совершенно ясное и остается таковым даже во время возбуждения. Внимание в общем не расстроено; но у Софьи Андреевны резкое стремление сделать себя, свою личность, свои интересы центром, на которой были бы обращены взоры не только ее близких родных, друзей, знакомых, но и случайных лиц, с кем ей приходится сталкиваться. Память сохранена очень хорошо, и она припоминает факты близкого и далекого прошлого не только в их общих очертаниях, но припоминает и мелкие детали их. Со стороны суждения и критики у Софьи Андреевны наблюдаются известные расстройства. Эти расстройства выражаются в слабости критики и особенно самокритики. Считая свои взгляды, стремления справедливыми, она не обращает внимания на доводы окружающих, и в стремлении отстоять свои взгляды она нередко уклоняется от правдивой передачи виденного или слышанного. Будучи настойчива в достижении намеченной цели, она может совершать поступки, опасные для жизни. Но нельзя отрицать, что степень опасности ею учитывается, конечная же

цель — достижение желаемого. Все ее действия и поступки вытекают из определенного эмоционального состояния. В суждениях Софьи Андреевны проглядывает непоследовательность и отсутствие связи между изложением и выводом. В моменты возбуждения она настолько слабо может подавлять проявления этого, что в состоянии выйти из рамок обычных повседневных отношений.

Вот в самых общих чертах те выводы о психической индивидуальности графини, которые дают мне право заключить, что Софья Андреевна страдает психопатической организацией (истерической), под влиянием тех или иных условий может представлять такие припадки, что можно говорить о кратковременном преходящем душевном расстройстве. О том, как надо смотреть на таких больных, как лечить Софью Андреевну, я высказал в беседе с Вами на станции Астапово. Врач-психиатр Растегаев».

Во время моего пребывания в Астапове я несколько раз писал и телеграфировал моей жене Марье Николаевне, остававшейся в Москве, о болезни отца и о настроении матери.

3 ноября я телеграфировал жене, чтобы она купила и выслала в Астапово хорошую кровать с матрацем для отца, что она немедленно же и сделала. Кровать скоро дошла, и отца переложили на нее.

6 ноября я писал жене:

«Милая Маша, я тебе не телеграфирую, потому что из газет, особенно из «Русских ведомостей», ты все узнаешь подробнее. Если будет очень плохо, я тебе телеграфирую. Теперь дело несколько лучше, но далеко не хорошо: пульс до 140 и дыхание до 46, теперь немного только оправились. Но я еще надеюсь, что отец и на этот раз выскочит.

Мама все время под наблюдением сестры — Елены Павловны Скоробогатовой, очень почтенной женщины, к которой мама относится очень хорошо. Ко второй сестре мама относится враждебно.

Мама стала спокойнее, но взгляды и мысли ее не изменились. Тот же эгоизм и постоянная мысль только о себе. Она постоянно говорит и любит говорить на вокзале, где все корреспонденты ее жадно слушают, а мы сидим, как на иголках. Отсюда вся та грязь, которая появилась в газетах.

Мама покоряется, но только по необходимости, нам, всем ее детям. Мы действуем все единодушно и решительно. Мы не пускаем ее к отцу и не пустим, пока отец ее не позовет и врачи скажут, что это не опасно для него. Теперь врачи

говорят, что это невозможно. Ее же мы уверяем, и это она сама понимает, что свиданье с ней убьет его.

Ручаться за то, что она вырвалась бы к нему — нельзя было бы, если бы не строгий надзор. Но сторожа у нас хороше.

Отец три дня тому назад продиктовал Саше телеграмму матери, в которой просит ее не приезжать. (Он думал, а может быть и сейчас думает, что она в Ясной). Потому что «свидание с ней при моем больном сердце могло бы быть для меня губительно».

С тех пор он про нее не спрашивал и только в бреду при Тане сказал: «На Соню много падает». Таня спросила его, не хочет ли он ее видеть. Он промолчал.

Меня он узнавал каждый раз. В первый раз удивился, что я его нашел, и расспрашивал, как я его нашел.

Раз в бреду он мне сказал:

— Сережа! Ты меня презираешь, но я не плох, я совсем не плох!

Ему мое письмо, которое я написал из Ясной, очень понравилось.

Из письма, которое отец написал из Шамардина Саше (привез его Сергеенко), видно, как ему было тяжело в Ясной последнее время. Это письмо — ужасный документ.

Растегаев (психиатр) уехал. Он нам не очень понравился, но я думаю, что мы правильно сделали, что его выписали.

Письмо мое можешь читать только близким, например Бутурлину, Дунаеву. Впрочем, ты сама знаешь.

Пиши мне. Выписала ли ты Николая?

Здесь — центр железнодорожных служащих (600 семейств). Есть потребительская лавка, почта и пр. Буфет на станции — лучше обыкновенного. Все очень предупредительны и любезны.

Приезжал губернатор, предводитель, жандармский генерал, управляющий дороги, начальник почт и телеграфов и пр. Десяток корреспондентов рыскают, едят и пьют на вокзале.

Приехал Варсонофий — иеромонах Оптиной пустыни, посланный от Синода. Он по-видимому уезжает, не солоно хлебавши. Думаю, что какие-либо насильственные или назойливые действия с его стороны — невозможны.

Мы живем частью в двух вагонах, а частью у служащих железной дороги. Отец — у начальника станции латыша И. И. Озолина. Жена его — немка, малокультурная, но хо-

взяственная. Они все выселились из своего домика, крайне стеснились, но чрезвычайно предупредительны.

Я очень жалею тебя. Наверное ты совсем растрепалась нервами от неизвестности и телефона. Спасибо за прекрасное исполнение поручений. Кровать очень пригодилась. Подушка отдана отцу.

Позаботься, милая, о себе и Сереже и не приезжай сюда, пока я тебя не попрошу. Я совершенно здоров и духом спокоен. Твой Сергей».

Около часа дня, когда я вошел к отцу, в комнате находился один только Никитин. Усов и Щуровский уже окончили свой диагноз и ушли. Отец лежал в забытьи и часто дышал. Я со страхом насчитал около 50 дыханий в минуту. Дмитрий Васильевич впрыснул камфару и стал давать вдыхать кислород. Однако отец долго не оправлялся, лицо посинело, нос заострился, дыхание оставалось очень частым. Мне казалось: вот сейчас конец. Я потерял всякую надежду на выздоровление. Это был сердечный приступ, вызвавший сильный цианоз. Кислород и впрыскивание камфары в конце концов подействовали, и понемногу сердце справилось.

Снова в озолинский домик я пришел после десяти часов. Отец метался, громко и глубоко стонал, старался привстать на постели. Раз, присев, он сказал: «Боюсь, что умираю». В другой раз отхаркнул мокроту, сделал гримасу и сказал: «Ах, гадко». Раза два он говорил: «Тяжело». Дыхание, как я считал, было более 50 в минуту. Не помню, когда именно он сказал: «Я пойду куда-нибудь, чтобы никто не мешал. Оставьте меня в покое». Тяжелое, даже, скажу, ужасное впечатление на меня произвели его слова, которые он сказал громко, убежденным голосом, приподнявшись на кровати: «Удирать, надо удирать».

Вскоре после этих слов он увидел меня, хотя я стоял поодаль и в полутьме (в комнате горела только одна свеча за головой отца), и позвал: «Сережа». Я кинулся к кровати и стал на колени, чтобы лучше слышать, что он скажет. Он сказал целую фразу, но я ничего не разобрал. Душа Петрович потом говорил мне, что он слышал следующие слова, которые тут же или вскоре записал: «Истина... люблю много... все они...» Я поцеловал его руку и в смущении отошел.

К 12 часам он стал метаться, дыхание было частое и громкое, появилось хрипение, икота участилась. Усов предложил впрыснуть морфий.

Я сидел в углу около стеклянной двери, против кровати, в погах отца; Чертков сидел у изголовья; врачи тихо входили и выходили. Дверь в соседнюю комнату была открыта. Там сидели несколько человек: сестры Таня и Саша, Варвара Михайловна, И. И. Горбунов, А. Б. Гольденвейзер и другие. Потом пришли братья. Я впал в какое-то мучительное оцепенение. В комнате была полутьма, горела одна свеча, было тихо, только из соседней комнаты слышался сдавленный шепот, изредка кто-нибудь входил или выходил, слышалось только это тяжелое, равномерное дыхание.

Около двух часов, по предложению Усѡва, позвали мою мать. Она сперва постояла, издали посмотрела на отца, потом спокойно подошла к нему, поцеловала его в лоб, опустилась на колени и стала ему говорить: «Прости меня» и еще что-то, чего я не расслышал.

Около трех часов отец стал двигаться и стонать. Но пульса уже почти не было, и сознание к нему уже не вернулось. Врачи сделали впрыскивание раствора. Душан Петрович подошел к нему и предложил ему пить. Отец открыл глаза и выпил. Кто-то поднес к его глазам свечу, он поморщился и отвернулся. Через полчаса пульс стал еще хуже. Врачи решили опять дать ему пить. Душан Петрович подошел к нему и сказал торжественным тоном: «Овлажните свои уста, Лев Николаевич». Отец сделал глоток. Было около пяти часов утра. После этого жизнь в нем проявлялась только в дыхании, но и оно скоро стало реже и не так громко. Вдруг оно остановилось. Щуровский и Усов сказали: «Первая остановка». Затем была вторая остановка... еще несколько вдохов, опять остановка и негромкий последний хрип.

Минут за десять до кончины моя мать опять подошла к отцу, стала на колени у кровати, что-то тихо говорила. Услышать ее, конечно, он уже не мог.

Несколько секунд после последнего вдоха продолжалась полная тишина. Ее нарушил кто-то из врачей словами: «Три четверти шестого». Душан Петрович первый подошел к кровати отца и закрыл ему глаза. Не помню, кто и что говорил и когда именно все ушли, кроме Никитина, Маковицкого и меня. Мы раздели покойного, Никитин и Душан Петрович обмыли его и опять одели в серую блузу. Тело мне показалось и сильным и гораздо моложе своих лет. Отец так мало времени болел, что не успел еще похудеть. Выражение лица было спокойное и сосредоточенное.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Весь день 7/20 ноября прошел в хлопотах и суете. Около восьми часов мы открыли двери озолинского домика, и народ потек поклониться праху Льва Толстого. Это были железнодорожные рабочие и служащие, окрестные крестьяне, корреспонденты газет и друзья Толстого, приехавшие из Москвы. Перебывало несколько тысяч человек. Моя мать почти весь день сидела у изголовья покойного. Мне было мучительно смотреть на ее нервно подергивающееся лицо и трясущуюся голову. Каково ей было сознавать, что она дала повод к уходу отца, не видала его во время его болезни и простилась с ним только тогда, когда он был уже в бессознательном состоянии.

Студент-медик пятого курса, Н. А. Дунаев, прыснул формалин в тело покойного. Формовщик Агафьин и скульптор Меркуров, приехавшие из Москвы, сняли маску с его лица, художник Пастернак и другие зарисовали его, фотографы сделали несколько снимков, кто-то обвел на стене карандашом тень лица покойного, даваемую лампой.

Я получил письмо от профессора Д. Н. Анучина с просьбой разрешить вскрытие черепа покойного. Посоветовавшись с своими семейными, я ответил отказом, зная отрицательное отношение отца к этому научному приему.

Утром следующего дня 8/21 ноября мы, четыре брата: я, Илья, Андрей и Михаил, вынесли гроб из дома Озолина. Нас сменили другие, и гроб был перенесен в товарный вагон.

Кинематографические и фотографические аппараты успешно работали.

Товарный вагон был украшен словыми ветками и спонами, повешенными на стенах крест-накрест; в вагон внесены были венки, один из живых цветов — от служащих Рязано-Уральской железной дороги. Посреди вагона был поставлен помост, обтянутый черной материей. На этот помост и был поставлен дубовый гроб, заключенный в металлический ящик.

На запасном пути Астаповской станции стоял вагон первого класса, предоставленный управлением железной дороги семье Толстого. В нем с 3 ноября помещались моя мать, сестра Татьяна, братья Илья, Андрей и Михаил, фельдшерница Терская и еще кое-кто. Перешел и я туда же. Этот вагон, вагон с гробом, вагон с двадцатью пятью корреспондентами и вагон управляющего железной дорогой, Матренинского, бы-

ли прицеплены к экстремному поезду, и 8 ноября в час пятнадцать минут дня мы выехали из Астапова по направлению к Данкову, Волову и Горбачеву.

В Данкове исправник не допустил публику на вокзал и запретил возлагать венки. Этот исправник в голодную зиму 1891—1892 года был становым приставом в Елифанском уезде, где отец в то время устраивал столовые для голодающих.

В Горбачеве наш вагон и вагон с покойным были прицеплены к пассажирскому поезду Московско-Курской железной дороги, и поздно ночью мы тронулись.

В Астапове и на поезде мы получили много сочувственных телеграмм, между ними: от писателя Куприна, академика Янжула, от Исторического музея, редакций газет, родственников и многих других.

Около семи часов утра 9 ноября поезд тихо подошел к станции Засека, ныне Ясная Поляна. На платформе и вокруг нее стояла большая толпа, необыкновенная для этой маленькой станции. Это были приехавшие из Москвы знакомые и незнакомые, друзья, делегации от разных учреждений, учащиеся высших учебных заведений и крестьяне Ясной Поляны. Особенно много было студентов. Говорили, что из Москвы должны были приехать еще многие, но администрация запретила управлению железной дороги дать потребные для этого поезда.

Когда открыли вагон с гробом, головы обнажились и раздалось пение «Вечной памяти». Опять мы, четыре брата, вынесли гроб; затем нас сменили крестьяне Ясной Поляны, и траурная процессия двинулась по широкой старой дороге, по которой столько раз проходил и проезжал отец. Погода была тихая, пасмурная; после бывшего перед тем заимка и последующей оттепели местами лежал снежок. Было два-три градуса ниже нуля.

Впереди яснополянские крестьяне несли на палках, высоко над головами, белое полотнище с надписью: «Дорогой Лев Николаевич! Память о твоём добре не умрет среди нас, осиротевших крестьян Ясной Поляны». За ними несли гроб и ехали подводы с венками, вокруг и позади по широкой дороге врассыпную шла толпа; за ней ехали несколько экипажей и следовали стражники. Сколько человек было в похоронной процессии? По моему впечатлению, было от трех до четырех тысяч.

Пока мы шли, мне сказали, что сестра Саша, приехавшая накануне вместе с Чертковым, распорядилась не вносить

гроба в дом, не открывать его и только остановиться перед домом лишь на несколько минут. С этим я решительно не согласился, так как многие хотели видеть покойного и проститься с ним. Я переговорил с матерью и братьями; они были такого же мнения. Тогда я оставил похоронную процессию и побежал вперед к дому — коротким путем через сад. Там вместе с старым слугою, Ильей Васильевичем Сидорковым, мы выставили двойную раму в стеклянной двери, ведущей из так называемой «комнаты с бюстом» на каменную террасу. Эта комната была одно время кабинетом отца, и в ней стоял бюст его любимого брата Николая. Здесь я решил поставить гроб так, чтобы все могли проститься с покойным, входя в одни двери и выходя в другие.

Едва мы это устроили, как процессия подошла к дому. Гроб открыли, и около 11 часов началось прощание с покойным. Оно продолжалось до половины третьего. Мы должны были торопить прощающихся, чтобы нас не настигла ночь.

Установилась длинная очередь, растянувшаяся вокруг дома и в липовых аллеях. Какой-то полицейский стал в комнату рядом с гробом. Я его попросил выйти, но он упорно продолжал стоять. Тогда я резко сказал ему: «Здесь мы хозяева, семья Льва Николаевича, и требуем, чтобы вы вышли». И он вышел.

Входящие в комнату или просто наклонялись перед покойным, или клали земные поклоны; целовали его руку, плакали, немногие крестились. На минуту закрыли дверь и впустили одну Марию Александровну Шмидт, чтобы она могла побыть наедине с покойным, — ведь она была исключительно преданным его другом. Последними простились мы — моя мать и его дети, — после чего гроб в последний раз закрыли.

Хоронить покойного было решено, согласно его желанию, в лесу, в указанном им месте. Об этом отец писал в воспоминаниях о своем детстве. Говоря о своем любимом старшем брате Николае, он приводит следующий его рассказ, слышанный им еще в детстве: «Главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил, в память Николеньки, закопать меня».

Во исполнение желания отца сестра Саша, приехавшая в Ясную Поляну днем раньше нас, распорядилась выкопать могилу в месте, указанном отцом. Это и было сделано одним из любимых старых учеников Льва Николаевича — Тарасом Фоканычем, вместе с другими яснополянскими крестьянами.

В третий раз мы — четыре брата — вынесли гроб. Как только он показался в дверях, вся толпа опустилась на колени. Затем процессия с пением «Вечной памяти» тихо двинулась в лес. Уже смеркалось, когда гроб стали опускать в могилу. Раздались возгласы: «На колени!», и все опять опустились на колена; только один какой-то полицейский продолжал стоять. Ему крикнули: «Полиция, на колени!», и он нехотя повиновался. Опять запели «Вечную память». Резко стукнул кем-то брошенный в могилу комок мерзлой земли, затем посыпались другие комки, и крестьяне, копавшие могилу, Тарас Фоканыч и другие, ее засыпали.

Наша семья просила не говорить речей у могилы, и только один старик с худым морщинистым лицом сказал что-то про «великого Льва» и Л. А. Суллержичский, бывший в молодости ревностным последователем Толстого, рассказал про зеленую палочку и объяснил, почему Льва Николаевича похоронили именно в этом месте. Моя мать была сдержанна и непривычно молчалива. Я надеялся, что она слезами облегчит свое горе, но она не плакала. Чертков на похоронах не был.

Наступила темная, облачная, безлунная, осенняя ночь, и понемногу все разошлись.

Похороны Л. Толстого были первыми в России публичными похоронами без церковных обрядов. Для того времени это было непривычно, но я думаю, что отсутствие духовенства только способствовало торжественному настроению большинства прибывших на похороны. Ведь сам Толстой завещал, чтобы его похоронили без церковных обрядов.

После похорон моя мать и наша семья получили множество сочувственных телеграмм, — если не ошибаюсь, более 2500. Среди сочувственных телеграмм, полученных нашей семьей по случаю смерти отца, была телеграмма рабочих депутатов III Государственной думы, на которую ссылался В. И. Ленин в статье «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение». Текст телеграммы был опубликован в газетах:

«Социал-демократическая фракция Государственной думы, выражая чувства Российского и всего международного пролетариата, глубоко скорбит об утрате гениального худож-

ника, непримиримого и непобежденного борца с официальной церковностью, врага произвола и порабощения, громко возвысившего свой голос против смертной казни, друга гонимых».

На ст. Засека телеграфисты усердно работали день и ночь. Они не жаловались и говорили, что работали радостно. Я получил также много телеграмм, лично мне адресованных. Мне было приятно получить сочувственную телеграмму от всех членов Московской городской управы, несмотря на то, что я в то время уже не был гласным Московской городской думы.

Крестьяне села Никольского-Вяземского мне телеграфировали: «Молимся сейчас за грехи нашего сейчас хмельного пьяного священника, отказавшего нам, всему сходу, отслужить панихиду о Льве Толстом, подарившем нам луг. Да примет господь в свое царство душу нашего заступника, а вам, граф, шлем свое крестьянское соболезнование в нашей общей утрате. Просимые сходом, подписались староста Колосков, крестьяне Илья Колосков и Вахмистров».

Упоминание о луге в этой телеграмме объясняется тем, что отец предоставил крестьянам Никольского-Вяземского луг за рекой Чернью, доставшийся ему при разверстаньи помещичьей и крестьянской земли в 1861 году и примыкавший к крестьянскому наделу.

После телеграмм я получил также много сочувственных писем от знакомых и незнакомых. Не обошлось и без курьезов. Один священник писал: «Я положил себе священною обязанностью, предстоя престолу божию, во всю мою жизнь возносить усиленные молитвы о упокоении раба божия Льва Николаевича, и эта последняя цель побуждает меня обратиться к вам с покорнейшей просьбой: не благоволите ли в добрую молитвенную память к усопшему родителю пожертвовать лично мне торжественное священническое облачение: оно будет у меня как драгоценность, свидетельствующая непрестанно о доброй памяти графа Льва Николаевича. Если благоволите к моей просьбе, то сообщаю, что рост мой средний... Священник Елифаний Сидоренко (Миньярский завод, Уфимской губ.)». Я, разумеется, ничего ему не ответил.

На другой день после похорон приехало много народа, не успевшего приехать к похоронам, между ними депутация от Государственной думы. Были также представители Московского городского управления.

Сестра Саша опять переселилась в Телятенки вместе с В. М. Феокритовой.

После похорон я прожил несколько дней в Ясной Поляне. В ноябре и декабре приезжал еще два раза.

Мать проболела инфлюэнцей в тяжелой форме около двух недель (с 10 по 25 ноября). С ней была сестра милосердия Екатерина Федоровна Терская, хорошо ухаживавшая за ней и участливо к ней относившаяся. В Ясную приехала пожить некоторое время моя тетка Т. А. Кузминская и моя двоюродная сестра Варвара Валериановна Нагорнова, облегчившие ее горе. Настроение матери было подавленное, но о самоубийстве она не говорила и не помышляла. Она была глубоко несчастна. Она не могла не признавать своей вины перед мужем и не могла забыть, что перед его смертью не видела его в сознании. Первое время после похорон в Ясную Поляну приезжало много народу: родные, близкие, друзья, знакомые и посторонние. Посетители отвлекали ее и облегчали тяжесть ее одиночества. Лишь понемногу она вновь втянулась в привычную ей деятельность — корректирование начатого издания сочинений Л. Н. Толстого, хозяйство в доме и имении, фотографирование и т. п. Это отвлекало ее от тяжелых мыслей. Но ей казалось, что все это не нужно, а по ночам и в часы, когда она была одна и без дела, ею овладевала мрачная тоска. Это видно из следующих выписок из ее Ежедневника:

«12—25 ноября. Больна.

25 ноября. Бессонницы ночные — ужасны.

26 ноября. Невралгия мучила ночь и день.

27 ноября. Встала, но опять невралгия.

28 ноября. Все тяжело, но на народе легче. Что-то будет в одиночестве? Страшно! и будущего нет.

29 ноября. Невыносимая тоска, угрызения совести, слабость, жалость до страданий к покойному мужу, как он страдал последнее время. Жить не могу.

30 ноября. Мрачна, ужасна жизнь впереди и одиноко будет на днях.

7 декабря. С утра глубокое, невыносимое отчаяние. Не спала ночь, плакала все утро.

8 декабря. Утром уехала сестра Таня. Я очень плакала. Мучительно одиночество, не о ком заботиться и до меня никому нет дела.

11 декабря. Убирала с Ильей Васильевичем вещи Льва Николаевича от моли и расхищения. Страшно было тяжело, и вообще мучительна жизнь. Вчера спала под звуки страшной бури. Одиноко, совесть мучает, безвыходно.

13 декабря. Ночь не спала совсем. Ох, уж эти ужасные, бессонные ночи с думами, мученьями совести, мрака зимней ночи и мрака в душе.

16 декабря. Вся яснополянская деревня: мужчины, женщины, дети собрались сегодня в сороковой день кончины Льва Николаевича на его могиле, которую оправили, уложили еловыми ветвями и венками. Три раза становились на колени, снимали шапки и пели «Вечную память». Я очень плакала и страдала, а вместе и умилялась любовью людей. В этом мы были все вместе. И как все ласковы ко мне!

31 декабря. Когда было 12 часов ночи, мы все сидели в гостиной и разговаривали о последних днях Льва Николаевича. Потом пошли в столовую-залу, пили чай, был пирог, фрукты, водичка для внуков. Настроение грустное, но умиленное. Спасибо тем, кто приехал меня утешить!

Были: Сережа, Илья с женой и три внука; Андрюша с женой, Вака, Ю. И. Игумнова, сестра милосердия Терская, Душан Петрович и я».

КОНЧИНА МОЕЙ МАТЕРИ

Я получил следующую записку от сестры Саши из Ясной Поляны:

«25 октября 1919 г. Суббота.

Милый Сережа!

Должна была ехать с Ан. Ив. в Москву, а вместо этого сижу около больной мамаша, которая внезапно заболела. Сделались сильные боли в правом боку и жар 38,5. Сейчас, 5 часов утра, думаю, что жар больше, так как она без сознания, бредит. Мне кажется, что дело плохо, а там не знаю. Посылаю за Афанасьевым; сама остаюсь здесь за ней ходить. Если будет хуже, дам знать, но телеграммы так плохо ходят, что может быть не получишь.

Крепко тебя и Машу целую.

Сестра Саша».

Перед этим жена получила письмо от матери от 22 октября, написанное неровными строками, унылое и доброе. По этому письму видно было, что она одряхла и ослабела.

Достать билет в то время из Москвы до Ясной Поляны было очень трудно и только через несколько дней, а мне надо было ехать немедленно. Поэтому я решил просить Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, который был в это время управляющим делами Совнаркома, добыть мне пропуск

на немедленный проезд до Ясной Поляны. С Владимиром Дмитриевичем я познакомился еще в 1898 году, у Черткова в Англии, когда он был эмигрантом; в 1905 году, во время своей нелегальной поездки, он останавливался у меня, а в 1912 году у нас с ним были дела по изданию «Толстовского ежегодника».

26 октября я пошел к нему в Кремль.

Он отнесся участливо, сперва хотел дать мне записку к «диспетчеру» — отправителю поездов, а потом сказал: «Я сейчас иду к Владимиру Ильичу и постараюсь достать вам пропуск; подождите здесь» — то есть в его комнате. В этой комнате стоял шкаф, наполненный рукописями, и большой шкаф с книгами.

Владимир Ильич Ленин жил в том же здании этажом ниже; минут через двадцать Владимир Дмитриевич вернулся и дал мне бумагу следующего содержания:

Российская
Федеративная
Социалистическая
Советская Республика
Управление Делами Совета
Народных Комиссаров
Москва. Кремль
26 октября 1919 года
№ 3306

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Ввиду крайне тяжелой болезни Софии Андреевны Толстой, жены Льва Николаевича Толстого, разрешается ее сыну, Сергею Львовичу Толстому, экстренно выехать из Москвы до ст. Ясенки, Московско-Курской ж. д., а оттуда в Ясную Поляну. Всем железнодорожным и военным властям предписывается оказать всяческое содействие в посадке и в пути следования С. Л. Толстому, причем ему разрешается ехать в пассажирском, товарном, воинском и т. п. поездах или на паровозе.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров *Вл. Бонч-Бруевич*

Секретарь: М...

27 октября в 10 часов вечера я выехал почтовым поездом. Билет мне выдали без затруднений по этому пропуску, и я сел в штабной вагон, то есть второго класса.

28-го утром. Засака (Ясная Поляна). Я дал знать о своем приезде в Ясную Поляну по телефону. За мной выслали лошадь. Мать тяжело больна. Лицо очень изменилось: высокий лоб, большой нос. Рот без вставных зубов ввалился, морщи-

ны как будто сгладились. Она стала похожа на своего деда, Александра Михайловича Исленьева. Меня узнала. Заговаривается, дергает одеяло. Температура высокая — 39 с чем-то, к вечеру понизилась. Все спрашивает: «Когда же мы поедим? Отчего не идет Верочка Сидоркова (дочь Ильи Васильевича), где тетя Таня?» Она воображает, что она не в Ясной, а в Овсянникове или еще где-то. Говорила: «Мне со-вестно», то есть совестно, что больна.

Она заболела от простуды, мыла свое окно холодной водой.

Раз она сказала при мне: «Надо без горя уходить, как это делается у крестьян». Она покорная и кроткая, больная, не сердится и не раздражается.

29-го. Матери утром лучше. Она не только меня узнала, но когда ей сказали, что я привез ей вино, сказала: «Ну, за здоровье Сережи» и выпила из рюмки. Сегодня я узнал ее прежнее лицо — с морщинами и даже немного прищуривавшееся. В мое отсутствие Таня предлагала ей позвать священника. Она сказала: «Я еще не так плоха. Посмотрим, что будет завтра».

Говорила также: «Похороните меня по-христиански».

Еще говорила: «Если бы были московские доктора, они бы меня вылечили».

В бреду она двигает руками, как будто шьет. Иногда как будто продевает иголку. Я вспомнил, что отец в бреду писал по одеялу.

30-го. Утром сознание матери хуже. Вечером я пошел к ней прощаться. Спросил, узнает ли меня. Она сказала: «Конечно, я своих детей всех узнаю». Когда я ей поцеловал руку, она потянулась поцеловать мне лоб, вытянув губы. Потом она меня спросила, как я живу, есть ли продовольствие, и потом спросила: «Сережа, нужно тебе платье?»

Приезжал доктор Афанасьев из Тулы. Говорит: «Воспаление легких идет нормально, плеврит рассосался, но ввиду возраста 10% только вероятности на выздоровление». Уход прекрасный: Саша и Александра Павловна чередуются. Верочка помогает.

31-го. Сознание матери хуже. Она в забытии. Температура ниже: 38, 38,3. Вечером меня звала: «Сережа», узнала и сказала: «Прощай». Я ответил: «Покойной ночи». Около 10 часов бредила по-французски. Призывала умершую дочь Машу и Авдотью Васильевну (умершую ее горничную и экономку), а также живых; кажется, Леву и Мишу.

1 ноября. Мать с утра в забытьи. Стонет. Приехал Никитин. Приехал также доктор Афанасьев из Тулы. Консилиум с Душаном Петровичем.

Ничего нового не сказали.

2 ноября. Утром я сказал ей:

— Вот приехал московский доктор.

— Да, Никитин.

— Теперь вы поправитесь.

— Я очень слаба.

Вечером я сказал ей: «Покойной ночи». Она открыла глаза, но не ответила. Никитин сказал, что воспаление перешло на верхнюю долю правого легкого. Левое не воспалено.

3 ноября. Я больше не видел ее в сознании. Стонет, говорит невнятно. К вечеру дыхание 40. Закладывает руки за голову, перестала отхаркивать мокроту, началось клокотание. Никитин говорит: «Вероятно, начался отек легкого». Надежды нет.

4 ноября. Мы сидели всю ночь то в зале, то около нее. Только тетя Таня почти все время сидела у нее. Очень тяжело видеть ее и особенно слышать клокотание. Сознания никакого. Около четырех часов я услышал несколько слабых хрипов и... больше ничего. Это было в 4 ч. 40 м. утра. Послали во флигель за двумя женщинами из прислуги. Они обмыли тело. Вместе с другими я перенес тело в залу, куда поставили стол, принесенный с террасы. Положили на стол. Послали в Кочаки за монашенками: читать псалтырь. Посидев в зале, я в седьмом часу пошел спать. Посмотрел еще раз на свою мать — красивое, спокойное, но чуждое мне лицо. У тела остался Михаил Васильевич Булыгин.

Днем мы — Таня, Саша и я — совещались: где хоронить. Мама выражала желание, когда была еще здорова, похоронить ее рядом с Львом Николаевичем. Но мы усомнились, следует ли ее там хоронить. Не лучше ли оставить могилу отца одинокой? Не будут ли посетители постоянно спрашивать, зачем похоронили ее рядом с Львом Николаевичем? Не будут ли некоторые оскорблять ее память? Незадолго до болезни она говорила так: «Похороните меня около папа. А если нельзя, то в Кочаках, рядом с моими детьми». Наконец, она сказала: «Похороните меня по-христиански». Это значит — в освященном месте, на кладбище. Эти ее слова и послужили скорее предлогом, чем причиной, нашего решения — похоронить на кладбище.

Таня рассказала, что 27 октября у нее был разговор с ма-

терью. Поводом послужила перестановка кровати матери. Ее кровать поставили на середину комнаты, поэтому фотографии, висевшие по стенам, оказались на непривычных для нее местах. Это ее беспокоило, и она все спрашивала: «Где Ванечкин портрет?» Таня показала ей, где портрет, и спросила: «Вы вспоминаете Ванечку?» — «Да, часто». — «А папа?» — «Ах, постоянно. Я с ним живу, мучаюсь, что была с ним нехороша. Но я была ему верна и душой, и телом. Я вышла замуж 18 лет. Я была бы дубиной, а не живым человеком, если бы у меня не было увлечений. Но любила я одного твоего отца. Я тебе перед смертью скажу: не было рукопожатия, которого не могло бы быть при всех». Сестра тогда же передала мне эти слова, и я тогда же их записал.

В зале тишина, торжественность смерти. Слышно только монашенку, читающую псалтырь. Плотнику заказали простой сосновый гроб.

5 ноября. Холодно, вот уже четвертый день. Выпал большой снег. Я ходил в Кочаки выбрать место для могилы. Выбрал место рядом с могилой Маши. Внешних знаков бывших могил в этом месте не было.

Вечером приехала вдова брата Андрея, Екатерина Васильевна.

6 ноября. Вынос. Перед тем как выносить гроб, Марья Васильевна Румянцева, жена повара и сама служившая в нашем доме, прощаясь с покойницей, громко завывала с причитаниями. В причитаниях вспоминала, что Софья Андреевна хорошо относилась к ней и помогала ей в тяжелых случаях ее жизни. Гроб несли на руках до самой церкви. «На «пришпекте» встретились Гольденблат, Высокомирный, Беринг — представители тульского общества друзей Ясной Поляны, и Андронников и Мерцалов — представители кооперативов. На деревне частые литии. Старый ученик отца, Тарас Фоканыч, плакал:

— Лев Николаевич говорил: помни каждый час о смерти, а мы живем, ничего не сделали...

Я спросил:

— Чего? Доброго?

— Ну, конечно, доброго.

Могилу выкопали широкую. В ней оказались кости, три черепа и медные пуговицы. На одной пуговице снизу отпечатано: Waterloo. Очевидно, это была могила офицера времени Александра I.

Одновременно хоронили какого-то младенца; рядом с гро-

бом матери стоял гробик, из которого смотрело миленькое, восковое личико ребенка лет пяти. Всю жизнь моя мать возилась с детьми, и вот похоронили ее в одно время с ребенком.

13 ноября. Мы нашли трогательное письмо матери от 14 июля 1919 года с надписью на конверте: «После моей смерти»:

«Очевидно, замыкается круг моей жизни, я постепенно умираю, и мне хотелось сказать всем, с кем я жила и раньше, и последнее время,— прощайте, и простите меня.

Прощайте, милые, любимые мной мои дети, особенно любимая мной больше всех на свете дочь моя Таня, которую прошу простить меня за все то тяжелое, что ей пришлось пережить от меня.

Прости и ты меня, дочь Саша, что я невольно недостаточно дала тебе любви, и благодарю тебя за твое доброе отношение ко мне за все последнее время.

Прости меня и ты, сестра Таня, что за время твоего одинокого, тяжелого положения я, несмотря на мою неизменную любовь к тебе, не умела сделать твою жизнь более легкой и утешить тебя.

Прошу Колю простить меня, что была иногда недобра к нему. Что бы то ни было, я должна была понять тяжелые, трудные обстоятельства его жизни и добрее относиться к нему.

Простите и те, кто служил мне при моей жизни, и благодарю всех за их услуги.

Совсем особенно отношусь к тебе, моя дорогая, горячо любимая, милая внучка моя Танюшка. Ты сделала жизнь мою особенно радостной и счастливой. Прощай, моя голубушка! Будь счастлива, благодарю тебя за твою любовь и ласку. Не забывай любящую тебя бабушку.

С. Толстую».

ДРУЗЬЯ И БЛИЗКИЕ Л. Н. ТОЛСТОГО

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (Дядя Сережа)

Я довольно хорошо знал дядю Сережу, бывал часто у него в его имении Пирогово и в Москве, когда он там жил. Несмотря на мое несочувствие его консервативным и дворянским взглядам, я его любил. Он был на редкость породистым, красивым, остроумным, гордым и искренним человеком, без всякой фальши и лицемерия. Он был тем, чем был, ничего не скрывал и ничем не хотел казаться. Отец говорил про него, что его душа открыта, как механизм стеклянных часов: насквозь видно, что он думает и чувствует. В своих воспоминаниях отец писал, что он «всегда восхищался — как это ни странно сказать — непосредственностью эгоизма брата», но что он был ему «непостижим».

Сергей Николаевич — прототип Володи в «Детстве», «Отрочестве» и «Юности».

Он родился 17 февраля 1826 года. У него были хорошие способности, и в его детстве и юности ученье давалось ему легче, чем брату Льву. Он окончил курс философского факультета по математическому отделению Казанского университета, но после окончания курса математикой не занимался и не интересовался. Затем он поступил в стрелки императорской фамилии, где прослужил недолго, вышел в отставку капитаном. В Казани, Петербурге и Москве он бывал в аристократическом обществе, где особого удовольствия не находил, как говорила мне его сестра, а моя тетка, Марья Николаевна, но вел себя непринужденно, как естественный член этого общества, — «не так, как брат Лев», прибавляла тетя Маша;

Лев был всегда застенчив, неловок и самолюбив. В молодости Сергей Николаевич легко мог «сделать карьеру», так тогда говорилось, но он не был честолюбив и предпочитал оставаться свободным. Он не мог себя принуждать, тянуть служебную лямку, фальшивить и прислуживаться. Он дружил с кем хотел, делал то, что ему было приятно, или то, что считал нужным делать. Он мало думал о последствиях своих поступков. Его жизнь шла по линии наименьшего сопротивления; он предоставлял жизни делать из него то, что она хочет.

После службы он занялся сельским хозяйством в доставшемся ему по наследству богатом черноземном имении в 1000 десятин, Пирогове, конным заводом и охотой. В 50-х годах, когда его брат Лев был на Кавказе, он присматривал также за хозяйством в Ясной Поляне. В молодости он жил беззаботно и весело. Он был хорошим охотником, и у него были прекрасные лошади и собаки. Он охотился больше всего с борзыми и осенью уезжал иногда на несколько недель в «отъезжее поле», брал матерых волков и затравил множество лисиц. В пироговском парке была дорожка, по бокам которой были вкопаны два ряда волчьих зубов; это были зубы затравленных им волков.

В молодости он увлекался «цыганизмом», т. е. цыганскими песнями и цыганками. Цыганки в те времена были весьма целомудренны, и связь с цыганкой была обставлена затруднениями — согласием ее родителей и выкупом из хора. Увлечшись одной привлекательной цыганской певицей, Марьей Михайловной Шишкиной, Сергей Николаевич в 1849 году увез ее к себе в Пирогово и стал жить с ней как с женой. Татьяна Андреевна Кузминская — сестра моей матери — рассказала в своих воспоминаниях, как в 60-х годах Сергей Николаевич, проживши уже восемнадцать лет с Марьей Михайловной и имея от нее детей, чуть не разошелся с ней, влюбился в Татьяну Андреевну и намеревался на ней жениться. Однако этот роман кончился тем, что Татьяна Андреевна вышла замуж за А. М. Кузминского, а Сергей Николаевич обвенчался с Марьей Михайловной. В этом романе ему, может быть, в первый раз в жизни пришлось выбирать между исполнением своего долга и удовлетворением своей страсти, и, как истинно благородный человек, он избрал первое. Но этот неудачный роман был для него тяжелой драмой и наложил мрачный отпечаток на его последующую жизнь.

Я часто бывал в Пирогове один, с отцом или с кем-нибудь из нашей семьи. Пирогово — в тридцати пяти верстах от Яс-

ной Поляны. Ездили мы туда на лошадях. Дорога вела по черноземным полям, частью большаком, частью проселком. На полдороге мы проезжали через деревню с характерным названием Коровьи Хвосты, происшедшим вероятно оттого, что когда-то жители этой деревни воровали коров. В усадьбу надо было проехать по сравнительно зажиточному селу Пирогову, переправиться под мельницей через реку Упу, миновав большую церковь, за которой уже виден был красивый барский дом с двумя мезонинами. За домом находился сад с широкими липовыми аллеями.

В детстве мы говорили, что первое, что мы встречали в пироговском доме, были белые зубы дяди Сережи. Обыкновенно он из своего кабинета видел приезжавших к нему, выходил на крыльцо и улыбался, увидев приятных гостей. Потом мы видели добродушное круглое лицо Марьи Михайловны и радостные лица наших двоюродных сестер Веры, Вари и Маши. Приезд гостей для них был событием, оживлял их скучную и однообразную жизнь. Марья Михайловна всегда была очень приветлива, расспрашивала про родных и знакомых, причем приговаривала, в зависимости от рассказа: «чудесно, чудесно», или — «ужасно, ужасно». Иногда бывало, что дядя не в духе, принимал нас холодно, пронизировал и высмеивал нас, но это случалось редко; обыкновенно он был рад нашему приезду. Начинал он разговор с того, что его в данное время интересовало: о своем хозяйстве, о статье в «Московских ведомостях», а в последние годы в «Новом времени», или о прочитанном английском или французском романе. «Ты ведь ничего не читаешь,— скажет он,— читал ли ты такую-то статью в «Московских ведомостях» или такой-то роман?»

Сам он постоянно читал, но почти только газеты и английские и французские романы. Английскому языку он научился так: однажды он прочел первый том одного английского романа по русскому переводу, второй же том у него затерялся. У моего отца оказались оба тома этого романа, но по-английски.

— Возьми этот роман и прочти его со словарем в руках,— сказал отец.

Дядя так и сделал, ему помогло знание латинского, французского и немецкого языков. С тех пор он стал читать английские романы в подлиннике. Не научился он только английскому выговору; он так выговаривал английские слова, что никто его понять не мог.

Больше всего он говорил про свое хозяйство.

— Вы ведь живете на деньги, полученные от писаний вашего отца,— говорил он.— А мне надо учитывать каждую копейку. Вашего отца приказчик обворует на 1000 рублей, а он его опишет и получит за это описание 2000 рублей: тысяча рублей в барышах. Я не могу так хозяйничать!

Он любил рассказывать про свою систему счетоводства, которое он вел сам. Каждый вечер к нему приходил управляющий и стоя докладывал о работах, расходах и доходах дня. Садиться при графе не полагалось, и управляющий, как бы он ни устал от дневной работы, вечером должен был стоять иногда больше часа с докладом графу. Управляющие в Пирогове менялись очень часто, но у дяди был, так сказать, запасной управляющий — кучер Василий, который после увольнения каждого управляющего исполнял его должность, иногда подолгу, даже годами. И это несмотря на то, что дядя отлично знал, что Василий его обворовывал.

Сам Сергей Николаевич редко бывал в поле, а когда бывал, то выезжал в коляске; пешком он ходил мало, не дальше ограды сада. Я с детства слышал, что дядя — отличный хозяин, но потом убедился, что это неверно. Он хорошо знал условия тогдашнего хозяйства, но был нерасчетлив, неделовит и вел хозяйство по-барски. Его прекрасный конный завод приносил ему одни убытки, и в конце концов он его ликвидировал. Свое второе имение, Щербачевку, полученное им после смерти брата Дмитрия, он продал и прожил. В Пирогове он несколько раз менял систему хозяйства: то заведет инвентарь и поведет хозяйство рабочими и поденными, то ликвидирует свой инвентарь и отдаст землю под обработку крестьянам, с платой по столько-то за посев, обработку и уборку десятины, то опять заведет батрацкое хозяйство. Всякая такая реформа обходилась очень дорого. Не было у него ни правильного севооборота, ни молочного или мясного производства. Он был подозрителен, но нередко подозревал не тех, кого следовало подозревать. В результате с каждым годом его материальное положение ухудшалось.

Как-то дядя поручил мне вместе с кучером Василием, исправлявшим должность управляющего, купить несколько лошадей на ярмарке в Сергиевском (ныне Плавске), причем я должен был быть кассиром и платить за лошадей. Честности Василия он не доверял. Лошадей удалось купить по недорогой цене, и дядя остался доволен нашей покупкой.

Убеждения Сергея Николаевича были консервативные, правого направления. Таковыми же были его соседние помещики: кн. С. С. Гагарин, Е. В. Богданович (известный в свое время ретроград), кн. А. А. Урусов и Н. Н. Бябиков. Крестьян дядя знал хорошо, но не идеализировал. Он избегал входить с ними в какие-либо отношения, кроме деловых. Только иногда на праздниках к его крыльцу приходили пироговские бабы и пели свои песни, а он угощал их водкой. Они хорошо пели; он любил русские песни. Неприязненных отношений у него с крестьянами не было: он не судился с ними, не допирал их штрафами за потравы и порубки, но они его не любили и боялись. В личных отношениях он требовал от них почтения. Как-то мы ехали с ним в его прекрасной коляске, на его прекрасных лошадях. Нам встретилась телега, на которой ехали два мужика. Один из них при виде графа снял картуз, другой не снял. Дядя не ответил на приветствие и сказал мне:

— Знаешь, почему я не ответил на поклон этого мужика? Потому что его товарищ мне не поклонился.

Я удивился этой логике, но промолчал.

Дядя любил шутить и бывал остроумен. Он любил музыку, но, за немногими исключениями, не музыку композиторов. Он любил русские и цыганские песни, вообще народную музыку. Бетховена он не признавал; лишь немногие пьесы Шопена и Шумана ему нравились. Про пианистов он повторял слова Альфонса Карра, что их надо сослать на необитаемый остров, а про их игру: *Plus cela va vite, plus cela dure longtemps*¹.

У Сергея Николаевича было много детей, большинство их умерло в детском возрасте. Зрелого возраста достигли четверо: сын Григорий и три дочери — Вера, Варвара и Мария. Григорий плохо учился; был мало образован, рано поступил на военную службу, служил в павлоградских гусарах. Он редко бывал в Пирогове и держался в стороне от нашей семьи и родственников, так что мы мало его знали. Он нехорошо относился к своему отцу, в нетрезвом виде писал ему дерзкие письма и требовал уплаты своих долгов. Он был женат на баронессе Е. В. Тизенгаузен и имел потомство. Вышел он в отставку подполковником.

Старшая дочь дяди — Вера — приветливая, конфузливая, правдивая и любящая, была любимицей своего отца, но он

¹ «Чем скорее это делается, тем дольше это длится» (франц.).

был с нею суров и строг, особенно когда был не в духе. Она была дружна с моей сестрой Таней и всеми нами.

Младшие дочери — Варя и Маша — обе очень маленького роста, назывались у нас «жучками». Варя, почти карлица, некрасивая, русая, с голубыми глазами и выпяченной нижней губой, была неглупа, но завистлива и не любила своего отца. Маша — брюнетка с выразительными черными глазами — была похожа на свою мать-цыганку не только лицом, но и своим добродушным характером.

При дочерях дядя держал французских гувернанток, к которым Мария Михайловна иногда его беспричинно ревновала. Все три дочери были приучены говорить с отцом по-французски, и даже когда он заговаривал с ними по-русски, они должны были отвечать ему по-французски.

Через год после того, как наша семья в 1881 году переехала на зиму в Москву, туда же переехал и Сергей Николаевич с семьей. Я любил бывать у него на его московской квартире в доме Роговича в Николоплотниковском переулке. Там мы чувствовали себя непринужденно и весело. Играли в винт, пели, музицировали, ужинали и пили вино. Дядя плохо играл в винт: он медленно собирал карты, чем вызывал нетерпение всех партнеров, неправильно назначал игру, забывал отыгранные карты и т. д. Часто бывал у дяди и пел русские песни Николай Михайлович Лопатин, записавший и издавший, вместе с В. Прокуниным, сборник лирических русских песен. Пели и мы хором цыганские и русские песни под аккомпанемент рояля или гитары. Иногда я играл пьесы легкого жанра, вроде венгерских танцев Брамса. Бывал и Лев Михайлович Лопатин и с таинственным видом рассказывал страшные истории о привидениях.

Однажды мы большой компанией, вместе с дядей, поехали в Стрельну слушать цыган. Дядя с цыганами обращался по-барски: знаменитому дирижеру Федору Соколову, к которому мы, молодежь, относились с почтением, говорил «ты», заказывал старинные песни и бранил цыган за то, что они забыли настоящие цыганские и русские песни. Цыгане относились к нему с большим почтением; Федор Соколов всячески старался угодить его сиятельству. В эту ночь я понял прелесть цыганского пения лучше, чем когда-либо. Пели старинные песни, например: «Лен», «Слышишь-разумеешь», «Ше вечернюю зарю», «Мне моркотно, молоденьке», «Канавелу» и др.; пели и лучшие более современные песни — «Сосенушка», «Гриша», «Ай ты, береза», «В час роковой» и др.

В 1881—1886 гг. Сергей Николаевич был крапивенским предводителем дворянства. Дворяне его уважали, но говорили, что он мало занимается делами, и жалели, что он был под влиянием некоего А. Н. Кривцова, которого многие не любили.

Дядя прожил в Москве, если не ошибаюсь, четыре зимы. Но жизнь в Москве обходилась дорого, хозяйство в Пирогове приносило мало, и дядя опять вместе с семьей стал круглый год уединенно жить в Пирогове. К взглядам своего брата дядя стал относиться не враждебно, как раньше, а сочувственно. Вообще он не любил прислугу, теперь он старался обходиться без нее. Он сам убирал свою комнату, а во время обеда никто не прислуживал. Обед подавался из кухни в столовую через нарочно для этого сделанное окно, а грязные тарелки клались в корзину, которая уносилась после обеда.

В 90-х годах, когда дочери Сергея Николаевича были в том возрасте, когда им пришла, или уже проходила, пора выходить замуж, они были под влиянием взглядов моего отца, выраженных в «Крейцеровой сонате». Но нельзя сказать, что целомудрие их утешало. Маша как-то сказала: «Voilà! Nous sommes un nid de vieilles filles et nos enfants seront aussi un nid de vieilles filles. Comme c'est triste!»¹. Услыхав это ее изречение, мы громко рассмеялись и потом дразнили ее: как это у *vieilles filles* будут дети?

Однако ни она, ни ее сестры не остались старыми девами.

Вера была особенно близка к взглядам своего дяди Льва Николаевича. Но цыганская кровь взяла свое, и она fit un faux pas², то есть согрешила с башкирцем, приглашенным в Пирогово для того, чтобы ее лечить кумысом от начавшегося у нее туберкулеза. Она забеременела и уехала из Пирогова на несколько месяцев. Дядя был глубоко огорчен и лишь понемногу примирился с совершившимся фактом и разрешил ей вернуться. Она приехала; ему доложили, что она его ждет в столовой, и он вышел к ней. Но он не ожидал того, что увидит: на ее руках был младенец, ее сын. Не знаю, чем кончилась эта сцена; знаю только, что Сергей Николаевич долгое время не хотел видеть своего внука, и внук жил отдельно в мезонине, его не приносили вниз в столовую и в гостиную. Он умер в молодых годах.

¹ Вот мы — гнездо старых дев, и наши дети тоже будут гнездом старых дев. Как это грустно! (франц.).

² поскользнулась (франц.).

Роман Веры дал Льву Николаевичу тему для его рассказа «Что я видел во сне?»

Варя так же, как ее старшая сестра, согрешила: она вступила в связь с пироговским крестьянином, служившим в доме помощником повара. Она уехала от отца, жила в Сызрани, и еще где-то и, насколько мне известно, после этого в Пирогове не жила.

Маша вышла замуж за соседнего помещика, Сергея Васильевича Бибикова. Бибиков ухаживал за ней несколько лет. Он ей нравился, но она говорила про него:

— Сережа *est si gentil, mais pourquoi est ce qu'il dit*¹: «собака брешет»? — Она находила такое выражение вульгарным.

Сергей Васильевич был мало образован, живя постоянно в деревне и хозяйничая, он был вполне порядочным, сердечным и дельным человеком. Он решился наконец посвататься за Машу и с этим приехал к Сергею Николаевичу. Сергей Николаевич, несмотря на то, что отлично знал его, стал его допытывать: «вы получили высшее образование? вы где-нибудь служите? вы говорите по-французски? у вас есть самостоятельное состояние?» На все эти вопросы бедный Сережа Бибиков, краснея и конфузясь, должен был ответить отрицательно. Однако Сергей Николаевич дал свое согласие. Сергей Васильевич женился и оказался любящим мужем и почтительным зятем. Его родные выделили ему небольшое имение Дубки, по соседству с Пироговым, где он вместе с женой и поселился. Со временем Сергей Николаевич стал к нему хорошо относиться, и Сережа Бибиков ему помогал в пироговском хозяйстве.

Последние годы своей жизни дядя был глубоко удручен неудачными романами своих дочерей.

В девятисотых годах он заболел раком лица. Уже в начале своей болезни он стал хуже видеть. Помню, что однажды он меня спросил: «Чем ты протираешь свои очки?» Я ответил: «Платком или чем придется» — «А я,— сказал он,— чем очки ни протираю, они остаются мутными». Мутны были не очки, а его глаза.

За несколько дней до его смерти, когда было очевидно, что он умирал, к нему приехал мой отец и дней десять прожил в Пирогове. Еще до его приезда Марья Михайловна и находившаяся в Пирогове его сестра монахиня Марья Нико-

¹ очень славный, но почему он говорит: (*франц.*).

лаевна мечтали о том, чтобы Сергей Николаевич причастился, но не решались ему это сказать. Когда приехал Лев Николаевич, они ему высказали свое пожелание. Против их ожидания, он прямо передал Сергею Николаевичу желание его жены и сестры, и Сергей Николаевич внял их просьбам и причастился. Почему он причастился? Это осталось его тайной. В продолжение всей своей жизни он был равнодушен к православной церкви. Он и здесь оказался непостижим, как говорил про него его брат в своих воспоминаниях.

Болезнь его была мучительна. Перед смертью он очень плохо видел и просил придвинуть к себе поближе свечу, и его привело в отчаяние, что он все-таки почти ничего не видел.

Он умер 23 августа 1904 года.

Лев Николаевич уехал из Пирогова за два дня до его смерти, но, узнав о его кончине, опять приехал в Пирогово. Он мне телеграфировал 25 августа 1904 года: «Дядя Сережа скончался. Завтра похороны. Твое присутствие полезно». Я сейчас же поехал. Мои двоюродные сестры спрашивали моего совета, как распорядиться наследством их отца. Не знаю, насколько полезны были мои советы. Было решено передать Григорию Сергеевичу 40 000 рублей, лежавшие в банке, а имение, сильно заложенное, оставить во владении Марии Михайловны и дочерей. Григорий Сергеевич не возражал. Он скоро прожил полученные им деньги.

Имение было разгромлено пироговскими крестьянами в 1917 году, и тогда Мария Михайловна с дочерьми уехала в Тулу. Вскоре после этого имение было национализировано.

МАРЬЯ НИКОЛАЕВНА ТОЛСТАЯ (Тетя Маша)

Единственная сестра моего отца, Марья Николаевна, родилась в Ясной Поляне 7 марта 1830 года. 4 августа того же года умерла ее мать, 21 июня 1837 года умер ее отец, а в 1838 году — бабушка. Она и ее братья остались круглыми сиротами. Они остались на попечении их тетки и опекуни, рано овдовевшей богомольной Александры Ильиничны Остен-Сакен, но и она умерла в 1841 году. Опекуницей была назначена младшая их тетка, неумная, легкомысленная светская барыня Пелагея Ильинична Юшкова, бывшая замужем за казанским помещиком — В. И. Юшковым.

В главе XXI «Отрочества» Любочка во многом напоминает Марью Николаевну: «Любочка невысока ростом, и вследствие английской болезни, у нее ноги до сих пор еще гусем и прегадкая талия. Хорошего во всей ее фигуре только глаза, и глаза эти действительно прекрасны — большие, черные и с таким неопределимо-приятным выражением важности и наивности, что они не могут не остановить внимания. Любочка во всем проста и натуральна... смотрит всегда прямо и иногда, остановив на ком-нибудь свои огромные черные глаза, не спускает их так долго, что ее бранят за это, говорят, что это неучтиво».

Образование Марья Николаевна получила такое, какое в то время получали барышни. Кроме краткого пребывания в Казанском университете, она училась дома, где от французских гувернанток научилась французскому языку. Она была музыкальна и для любительницы недурно играла на фортепиано.

В апреле 1847 года между братьями и сестрой Толстыми был произведен раздел их наследственного имущества. Братья определили Марье Николаевне равную с ними долю, а не только $\frac{1}{14}$ часть наследственного имущества, как они могли бы ей выделить по тогдашнему закону.

Марья Николаевна, больше чем свою тетку Юшкову, любила свою родственницу Татьяну Александровну Ергольскую. Когда Юшкова увезла детей Толстых в Казань, Татьяна Александровна уехала в сельцо Покровское Чернского уезда, к своей сестре Елизавете Александровне Толстой, рожденной Ергольской, бывшей замужем за двоюродным братом Николая Ильича, гр. Петром Ивановичем Толстым, и уже овдовевшей. У них был сын Валерьян Петрович. Сестры Ергольские сосватали за него Марью Николаевну. Ей было семнадцать лет, ему — тридцать четыре, она еще играла в куклы и имела слабое представление о замужней жизни. Валерьян Петрович был ей не чужд, так как она часто бывала в Покровском и жила с ним в одном доме. Она была одинокая сирота, а в те времена считалось, что надо рано выходить замуж. Валерьян был племянник любимой ею Татьяны Александровны, и в ноябре 1847 года она вышла за него замуж. После свадьбы она поселилась вместе с мужем в Покровском. Первые годы своего замужества она прожила благополучно. У нее родились: в 1849 году сын Петр, умерший в детстве, в 1850 году — дочь Варвара, в 1851 году — сын Николай, в 1852 году — дочь Елизавета.

Лев Николаевич в то время жил на Кавказе и не раз поручал Валерьяну Петровичу свои хозяйственные дела. Между прочим, Валерьян Петрович по его поручению продал за 5000 рублей ассигнациями большой дом в Ясной Поляне.

Сельцо Покровское находится в бывшем Чернском уезде, верстах в двадцати от Никольского-Вяземского, принадлежавшего брату Марьи Николаевны Н. Н. Толстому, и верстах в двенадцати от имения И. С. Тургенева — Спасского-Лутовинова. В 1854 году Тургенев познакомился с Валерьяном Петровичем и Марьей Николаевной. Первый шаг был сделан Тургеневым: он сошелся с Валерьяном Петровичем на почве общей с ним страсти к охоте. 24 октября этого года он привез в Покровское новую книжку «Современника» и с восторгом отзывался о новой повести неизвестного автора — «Отрочество», подписанной буквами Л. Н. Т. Тургенев прочел ее вслух Марье Николаевне. Она с удивлением слушала рассказ о семье, столь похожей на ее семью, и удивлялась, кто бы мог знать интимные подробности жизни ее и ее братьев. Она подозревала брата Николая и была далека от мысли, что автором повести был брат Лев. Так она сама рассказывала Бирюкову (автору биографии Л. Н. Толстого) и другим. Из этого ее рассказа следует, что она в то время еще не была знакома и с «Историей моего детства», напечатанной в № 9 «Современника» 1852 года.

В ноябре 1854 года Николай Николаевич Толстой писал об этом брату Льву и добавил:

«Читали ли мы «Отрочество»? Читали, и несмотря на то, что тебя цензура или редакция сильно ощипала, все-таки хорошо. Кстати о литературе: Валерьян познакомился с Тургеневым. Тургенев сделал первый шаг: он привез им номер «Современника», в котором напечатана твоя повесть; он от нее в восторге.

Маша в восхищении от Тургенева. Ты понимаешь, как мне хочется его увидеть. Как только я с ним познакомлюсь, напишу тебе, какое впечатление он на меня произвел. Маша говорит, что это — простой человек. Он играет с ней в бильярд, раскладывает гран-пасьянс, большой друг с Варенькой. Но Маша мало знает свет и может очень ошибиться насчет такого умного человека, как Тургенев. Теперь люди стали очень хитры. Нужно к ним присмотреться, прежде чем делать вывод. Очень хотел бы его видеть».

Тургенев в своих письмах к друзьям писал, что при первом же знакомстве с Марьей Николаевной едва не влюбился

в нее, и позднее он не раз тепло отзывался о ней. Летом 1856 года он написал «Фауст» с посвящением этого рассказа Марье Николаевне и читал ей эту повесть еще по рукописи. Его героиня Ельцова напоминает Марью Николаевну даже в мелочах. Так, Ельцова, так же как и Марья Николаевна, была равнодушна к стихам.

Между тем отношения между супругами Толстыми постепенно портились. Во время первых лет замужества Марья Николаевна ее свекровь Елизавета Александровна заботливо и бережно к ней относилась и сдерживала вспыльчивость, грубость по отношению к крепостным и развратное поведение своего сына; при ее жизни супруги жили сносно. Но в 1851 году Елизавета Александровна умерла, и Валерьян Петрович дошел до цинизма. Мне рассказывали его дочери, что его любовница, служившая в Покровском экономкой, родила от него ребенка во флигеле усадьбы. Вследствие такого его поведения Мария Николаевна решила разойтись с ним, в чем ей сочувствовали братья. В 1857 году она уехала от него в Пирогово. После разрыва с мужем ее отношения с Тургеневым не прекратились. В июне 1858 года он пробыл три дня в Пирогове, где она в то время жила. Об этом писал Тургенев Полине Виардо 25 июня: «Я провел очень приятно три дня у своих друзей: двух братьев и сестры, прекрасной, но очень несчастной женщины. Она принуждена была разойтись с мужем, своего рода деревенским Генрихом VIII, очень отвратительным. У нее трое детей, которые растут хорошо, особенно с тех пор, как с ними нет отца. Он обращался с ними сурово из принципа: ему доставляло удовольствие воспитывать их по-спартански, а самому вести как раз обратный образ жизни. Из двух братьев один (Сергей) довольно бесцветен, другой (Николай) — прелестный малый, ленивый, флегматичный, неразговорчивый и вместе с тем очень добрый, нежный, с тонким вкусом и тонкими чувствами, существо поистине оригинальное. Третий брат — граф Лев Толстой, — это тот, о котором я говорил вам, как об одном из лучших наших писателей. Сестра — довольно хорошая музыкантша; мы играли Бетховена, Моцарта и пр.»

Отношения Тургенева с Марьей Николаевной не нравились ее братьям. Лев Николаевич записал в своем дневнике 4 сент. 1858 года: «Тургенев скверно поступает с М. Дрянль». Как закончился роман Марьи Николаевны с Тургеневым, я не знаю, но он закончился в 1858 году. Известно только, что 20 марта 1859 года Тургенев на пути в Спасское заезжал в

Ясную Поляну, где виделся с пей. Впоследствии она всегда тепло вспоминала о Тургеневе и о своем платоническом романе с ним.

В Пирогове, на части имения, доставшейся Марье Николаевне, был выстроен кирпичный дом.

В 1857 году Марья Николаевна жила в Москве вместе со своим братом Николаем. Там она виделась, между прочим, с своей подругой детства, Любовью Александровной Берс, и с ее дочерьми.

Здоровье ее брата Николая ухудшалось с каждым годом. Его уговорили поехать лечиться за границей, и в 1860 году, по совету Тургенева, он поехал в Соден. Тем же летом туда же поехала Марья Николаевна с детьми и брат Лев. До Штеттина они проплыли на пароходе. Из Берлина они поехали к брату Николаю в Соден. Там они прожили недолго; оттуда вместе с братьями Марья Николаевна поехала на юг Франции, на остров Гиер. 20 сентября 1860 года ее горячо любимый брат Николай умер. Она была глубоко огорчена его смертью и не могла оставаться в Гиере, где все напоминало брата. По совету одного знакомого француза, она поехала в Алжир, где прожила две зимы. Природа Алжира ей очень понравилась, она много ездила в глубь страны, и ее здоровье и настроение улучшились. Затем она переехала в Швейцарию, а в 1862 году вернулась в Россию, но ненадолго.

В июле она приезжала в Ясную Поляну, когда там в отсутствие Льва Николаевича был произведен обыск, была там и когда Любовь Александровна Берс с дочерьми заезжала в Ясную Поляну и намечалась женитьба ее брата на Софье Андреевне. Вскоре она опять уехала за границу. На свадьбе брата Льва она не была.

В Швейцарии, в пансионе, где она поселилась, она сблизилась с одним красивым шведом, Гектором де-Клен (1831—1873). Дружба перешла в любовь, и 8 сентября 1863 года у нее родилась третья дочь, Елена. Марья Николаевна отдала ее на воспитание в одну почтенную семью, а 12-летнего сына Николеньку поместила в женевский пансион. Она задумала разводиться с мужем, о чем писала братьям, и братья предприняли некоторые шаги в этом направлении. Валерьян Петрович вел себя корректно. Он был согласен на развод и на присылку денег на содержание детей. Но Марья Николаевна мало надеялась на то, что Гектор де-Клен на ней женится. Она писала брату Сергею: «Свободу я, конечно, желаю, но это еще ничего не значит. Он меня любит искренно и

сильно, но характер у него очень мягкий, и влияние на него родных большое, так что если борьба ему будет не по силам, то я пожертвую собой, и, чего бы это мне ни стоило, оставлю его». Родные Марьи Николаевны уговаривали ее вернуться в Россию. Лев Николаевич писал ей 24 марта 1864 года:

«Письмо твое еще тем хорошо, что ты хочешь приехать в Россию. Ради бога, приезжай. Это я не обдумываю, но всей душой чувствую, что это лучшее, что ты можешь сделать. Тетинька, которая, ты знаешь, по моему мнению, всегда по чувству безошибочно видит верно, какой есть лучший *parti à prendre*¹ одного желает — чтоб ты вернулась в Россию и не для себя, а для тебя и детей, и ничего так не боится, как того, чтоб ты вышла *за него* замуж. Я ей верю, хотя сам касательно шансов будущего твоего с ним счастья и не имею никаких убеждений. Будет, что богу угодно. Посылаю тебе письмо Валерьяна Петровича. Он на все согласен, и письмо его хорошо, как может быть хорошо его письмо. Прошение о разводе я не подавал...»

Марья Николаевна была в тяжелом и неопределенном положении; наконец она решилась вернуться в Россию. Сергей Николаевич поехал за ней за границу и привез ее летом 1864 года. Она поселилась со своими двумя дочерьми в Пярогове, но часто и подолгу жила в Москве и Ясной Поляне.

6 января 1865 года Валерьян Петрович умер.

После смерти мужа Марья Николаевна вместе с дочерьми жила некоторое время в Ясной Поляне. Там ее дочери Варя и Лиза вносили большое оживление, но ее капризный характер иногда портил их веселое настроение. Моя мать тяготилась ею. В письме от 24 марта 1865 года к своей сестре Татьяне Андреевне, в котором Лев Николаевич вписал над строками несколько слов, она писала:

«Скажу тебе по секрету (ради бога Зефиротам не проболтайся никогда), что Машенька запретила детям с тобой переписываться из ревности, что они не полюбили бы тебя и меня больше ее. По этой же причине и со мной иногда запрещалось сидеть, а вызывали их в тетенькину комнату сидеть *avec votre pauvre mère*², где они и молчали и скучали. *Вписано Львом Николаевичем: напрасно.* Все это так кажется только, когда не в духе. А будет, и было, и будет всем вместе хорошо и весе-

¹ решение, как поступить (*франц.*).

² с вашей бедной матерью (*франц.*).

ло. И Машенька очень много хорошего имеет. Вообще я Машеньку недолюбливаю: она — прескучная. *Вписано Львом Николаевичем:* все вздор, сама не в духе. Сережа очень тоже ее осуждает, и Левочка с ним согласен. *Вписано Львом Николаевичем:* согласен, да не так. Она там хлопочет по своим делам, и знать никого не хочет. *Вписано Львом Николаевичем:* неправда».

Марье Николаевне пришлось вести хозяйство не только в Пирогове, но также, в качестве опекуни своих детей, в Покровском. Хозяйничать она не умела; к счастью, ей помогал ее близкий сосед по Покровскому, барон Александр Антонович Дельвиг (младший брат поэта). Она подружилась с его многочисленной семьей и часто бывала в его имении Хитрово.

В конце 60-х годов Марья Николаевна поехала за границу и привезла оттуда своего сына Николеньку, скромного, рассеянного, добродушного красивого юношу. Он не говорил по-русски и с трудом научился русскому языку. Образование получил за границей, в России у него не было школьных товарищей, и первое время он чувствовал себя иностранцем. Он бывал в Ясной Поляне; мой отец и мы, дети, его очень любили. В сентябре 1876 года отец взял его с собою в поездку в свое самарское имение и в Оренбург. Николаю Валерьяновичу не удалось поступить в университет; он пробовал служить на военной службе, был одно время юнкером, но не мог привыкнуть к военной дисциплине и вскоре вышел в отставку. Достигнув совершеннолетия, он продал имение, доставшееся ему по наследству, и купил другое поблизости от Покровского. В 1878 году он женился на Надежде Федоровне Громовой, а 12 июня 1879 года, заболев тифом, умер.

В 1871 году младшая дочь Марьи Николаевны, Елизавета, вышла замуж за кн. Леонида Дмитриевича Оболенского, а в следующем году и старшая дочь, Варвара, — за Николая Михайловича Нагорного. Дочери Марьи Михайловны стали жить самостоятельно в Москве, где служили их мужья, и только летом переезжали в деревню. Покровское перешло во владение Оболенских.

Марья Николаевна нигде не могла ужиться. Она жила то в Покровском, то в Ясной Поляне, то в Москве, то за границей. В 1873 году она за границей случайно встретила с дедом. Он был совсем больной и в следующем году умер.

В августе 1881 года я поехал в Москву, для того чтобы поступить в университет. В Серпухове на вокзале неожиданно встретил тетю Машу, только что вернувшуюся из-за гра-

ницы и ехавшую встречным поездом в Ясную Поляну. С ней была миловидная девушка лет восемнадцати. Это была ее дочь Елена от де-Клепа. Тетя Маша, конфузясь, как мне показалось, сказала: «Надо тебе познакомиться с моей воспитанницей. Говори с ней по-французски; по-русски она не говорит». Я пожал руку «воспитаннице», о существовании которой не знал. Я только впоследствии узнал, что у меня есть двоюродная сестра Елена Сергеевна. Сергеевной по отчеству она называлась по имени ее крестного отца, дяди Сергея Николаевича. Впоследствии мы были с ней очень дружны. Она стала жить вместе с матерью, и тетя Маша представляла ее знакомым, как свою воспитанницу, хотя все знали, что она ее дочь.

Елена Сергеевна недолго прожила с матерью. Она не могла помириться с ее тяжелым характером и уехала от нее. Одно время она служила гувернанткой дочери известного музыкального издателя П. Юргенсона и подружилась с его семьей. В 1898 году она вышла замуж за судебного деятеля И. В. Денисенко, умного и порядочного человека.

Тетю Машу я помню с детства. Я был равнодушен к ее религиозности, к ее суевериям и разговорам о чудесах, церквах и священниках, но меня привлекала ее живая речь, искренность, музыкальность, ее выразительные большие черные глаза и рассказы о старине. Она всегда с любовью вспоминала про старшего брата Николая Николаевича, отмечая его чуткость и сердечность как человека. Он был талантливым рассказчиком. «К сожалению,— говорила она,— я помню только один его детский рассказ: «Как одна графиня захотела быть графином». Эта графиня влюбилась в одного акробата, который в цирке показывал разные фокусы с графином и, между прочим, становился головой на графин. Графиня пожелала быть этим графином; фея исполнила ее желание, и она превратилась в графин. Но однажды от неловкого движения акробата графин упал и разбился, и графиня умерла».

Тетя Маша была остроумна. Например, когда она была уже пожилой женщиной, за ней в Москве на улице увязался какой-то уличный ловелас. Она не смутилась, подвела его к фонарю, подняла свою вуалетку и сказала: «Посмотрите на меня, и, наверно, вы от меня отстанете» — что ловелас и сделал. Еще пример: в яснополянском парке она встретилась с компанией дачников, которые обратились к ней с просьбой провести их к Л. Н. Толстому или по крайней мере дать им возможность увидеть его. Она, охраняя брата от посетителей,

сказала им: «Сегодня льва не показывают, показывают только мартышек».

Пустота одинокой жизни Марьи Николаевны ее угнетала. Она стала еще более капризной и раздражительной; с дочерьми она не уживалась. Живя в Москве, она одно время занялась музыкой и приглашала скрипачей играть с ней классические сонаты; увлекалась Антоном Рубинштейном. В то же время она подружилась с Д. С. Трифоновским, добродушным, чудаковатым, бескорыстным и религиозным врачом-гомеопатом. Трифоновский имел на нее некоторое влияние и познакомил ее с популярным в 80-х годах протоиереем Архангельского собора Валентином Амфитеатовым, о котором она говорила с увлечением. Начиная с 80-х годов, Марья Николаевна все более становилась религиозной. В 1889 году она ездила в Оптину пустынь, где виделась с известным тогда старцем Амвросием, и с этого дня, до смерти Амвросия в 1891 году, находилась под его влиянием. Он стал ее духовным руководителем. В 1890 году она поселилась в Бельском женском монастыре, а с 1891 года — в Шамардинском монастыре, основанном Амвросием и построенном в красивой местности, в семнадцати верстах от Оптиной пустыни. Первые годы своей жизни в монастырях она еще не постриглась и продолжала бывать в Москве. О ее увлечении Валентином Амфитеатовым моя мать, посетившая ее в Москве, писала моему отцу 23 января 1894 года:

«...Вчера я съездила к сестре Машеньке, застала там приготовления к всенощной с отцом Валентином. Я его видела; лицо хорошее, но глаза не глядят ни на кого, а через, и когда меня назвали, он так бегло и неохотно взглянул на меня, как будто он правилом себе поставил ни на кого на свете не глядеть. Какой это мир, где Машенька, удивительный! Все женщины: худые, полные, покрытые головы у всех, ходят, как монахини, тихо и плавно, все обожают отца Валентина, все без семей, без дома, живут в этом «Петергофе» по углам и молятся, зажигают лампы, а кумир, радость жизни — отец Валентин, и внешняя благообразная жизнь с осетриной, разговорами о еде и проч. Всякий по-своему спасается. Молятся почти весь день, и если бы это общение с богом было не механическое, а вполне искреннее, настоящее, то было бы и это хорошо, т. е. хорошо молиться весь день и думать о боге».

В первые годы увлечения тети Маши православием, со всеми его обрядами и верой в чудеса, между нею и моим отцом возникали горячие споры, но скоро оба поняли, что пере-

убедить друг друга они не могут. Отец говорил про сестру: «Пускай верует по-церковному; это лучше, чем ни во что не верить». А в тете Маше удивительно сочетались наивная вера в обряды и чудеса с сочувствием нравственным основам мировоззрения брата. Так, например, когда он в 1908 году послал ей свою статью против смертной казни («Не могу молчать»), она ответила ему сочувственным письмом, выражая свое осуждение казням с православной точки зрения.

В Шамардинском монастыре Марья Николаевна некоторое время была тем, что называется «рысофорной» монахиней. Позднее она постриглась, после чего ей стало труднее бывать в Ясной Поляне. Однако она туда приезжала почти каждое лето. Однажды отец уговаривал ее подольше побыть в Ясной Поляне, но она сказала:

— Я этого не могу без благословения старца Иосифа. Без этого благословения наши монахини вообще ничего не предпринимают.

— А сколько вас всех монахинь в Шамардине? — спросил Лев Николаевич.

— Шестьсот.

— И ни одна из вас, шестисот дур, не может жить своим умом! Для всего нужно благословение старца!

Марья Николаевна запомнила эти слова и вскоре подарила брату подушечку, ею вышитую, на которой были вышиты шелком слова: «От одной из шамардинских дур».

В монастыре капризный характер Марьи Николаевны смягчился. Она говорила: «Монастырь исправил мой характер. Для ухода за мной мне была приставлена очень добрая келейница. Я по прежней привычке иной раз капризничала, раздражалась, бранила ее, но она меня обезоруживала своим смирением и всегда только кланялась и говорила: «Простите, мать Мария». И мне становилось стыдно».

В 1911 году я ездил к тете Маше в Шамардино и виделся с ней в последний раз. Она была очень довольна моим приходом и расспрашивала меня про последний год жизни моего отца и его уход. Я ей сказал, что, может быть, ему давно следовало уехать от семьи. Она со мной не согласилась, но, подумав, сказала:

— Может быть, он мог бы уехать в конце девяностых годов.

Я ей рассказал об участии сестры Саши и В. Г. Черткова в составлении последнего завещания отца и высказал ей свое мнение о том, что это завещание было причиной тяжелых

переживаний отца в 1910 году. Рассказал ей и об истеричном состоянии матери. Она сокрушалась о том, что ее брат уехал, не простившись с ней, говорила, что толчком к этому послужил приезд Саши, напугавшей отца тем, что мать узнает, где он, и приедет в Шамардино. Саша уговаривала его немедленно уехать. «А он хотел здесь пожить,— говорила тетя Маша,— он даже ходил на деревню нанимать избу».

После смерти Льва Николаевича тетя Маша ответила на письмо матери добрым и трогательным письмом, в котором писала:

«Христос Воскресе!»

Милая Соня, очень рада была получить твое письмо. Я думала, что испытавши такое горе и отчаяние, тебе не до меня, и это мне было очень грустно. Я верю, что, кроме того, что ужасно потерять такого дорогого человека, но что тебе очень тяжело.

Ты спрашиваешь, какой я могла сделать вывод из всего случившегося? Как я могу знать из всего того, что я слышала от разных людей, близких к вашему дому, что правда, и что нет. Но я думаю, как говорится: нет дыма без огня. Вероятно, было что-нибудь неладное.

Когда Левочка приехал ко мне, он сначала был очень удручен, и когда он мне стал рассказывать, как ты бросилась в пруд, он плакал навзрыд, я не могла его видеть без слез. Но про тебя он мне ничего не говорил, сказал только, что приехал сюда надолго, думал нанять избу у мужика и тут жить. Мне кажется, что он хотел уединения; его тяготила яснополянская жизнь (он мне это говорил в последний раз, когда я у вас была) и вся обстановка, противная его убеждениям. Он просто хотел устроиться по своему вкусу и жить в уединении, где бы ему никто не мешал, так я поняла из его слов. До приезда Саши он никуда не намерен был уезжать, а собирался поехать в Оптину и хотел непременно поговорить со старцем. Но Саша своим приездом на другой день все перевернула вверх дном.

Когда он уходил в этот день вечером почевать в гостиницу, он и не думал уезжать, а сказал мне: «До свидания, увидимся завтра». Каково же было на другой день мое удивление и отчаяние, когда в пять часов утра (еще темно) меня разбудили и сказали, что он уезжает! Я сейчас встала, оделась, велела подавать лошадь, поехала на гостиницу, но он уже уехал, и я так его и не видала.

Не знаю, что между вами было. Чертков тут, вероятно, во

многом виноват, по что-нибудь да было особенное: иначе Лев Николаевич в свои лета не решился бы так внезапно, ночью, в ужасную погоду, собравшись наскоро, уехать из Ясной Поляны.

Я верю, тебе очень тяжело, милая Соня, но ты все-таки себя очень не упрекай. Все это случилось, конечно, по воле божьей. Дни его были уже сочтены, и богу угодно было послать ему это последнее испытание через самого близкого и дорогого человека.

Вот, милая Соня, какой вывод я могла сделать из всего этого поразительного и ужасного события. Как он сам был необыкновенный человек, так и кончина его была необыкновенная.

Я надеюсь: за любовь его ко Христу и работу над собой, чтобы жить по Евангелию, он, милосердный, не оттолкнет его от себя.

Милая Соня, ты на меня не сердись, я откровенно тебе написала, что я думала и чувствовала; я хитрить перед тобой не могу, ты мне все-таки очень близка и дорога, и я всегда буду тебя любить, что бы там ни было. Ведь он, милый мой Левочка, тебя любил!

Не знаю, в состоянии ли я буду приехать летом на могилу Левочки; после его смерти я очень стала слаба, никуда положительно не хожу, только езжу в церковь — одно мое утешение <...> Прощай, будь здорова и покойна.

Любящая тебя сестра Машенька.

Живу я с одной монахиней, которую я никогда почти не вижу: она все ходит на послушании.

Где ты сама живешь, Соня, и какие твои дальнейшие планы? Где ты намерена жить и куда тебе всегда писать?

У меня были по разу все твои сыновья, кроме Левы и Миши. Я им очень была рада. Очень грустно, что я их больше не вижу. Соня Илюшина была; она очень была со мной мила.

22 апреля 1911 г.»

Марья Николаевна умерла весной 1912 года от воспаления легких. У нее не было страха смерти. Она сознавала, что умирает, просила прощения у всех ее окружавших и после некоторого колебания согласилась быть постриженной в схи-му, что обязывало ее еще строже соблюдать монастырские правила. Когда ей предложили принести из церкви образ казанской божьей матери, она сказала:

— Что ж, принесите, только я не умею молиться образам так, как вы.

Она скончалась умиrotворенной, тихо, без агонии.

Прилагаю выписки из двух писем Марьи Николаевны, написанных ею незадолго до смерти.

Первое письмо — это ответ на письмо Шарля Саломона — приятеля нашей семьи, из Парижа. Французские фразы этого письма я привожу в русском переводе курсивом.

«16 января 1911. Вы хотели бы знать, что мой брат искал в Оптиной Пустыни? Старца-духовника или мудрого человека, живущего в уединении с богом и своей совестью, который понял бы его и мог бы несколько облегчить его большое горе? Я думаю, что он не искал ни того, ни другого. *Горе его было слишком сложно; он просто хотел успокоиться и пожить в тихой духовной обстановке.* Досадные недоразумения, омрачившие в последнее время существование моего брата с его женой, в конце концов разразились неизбежной катастрофой. Чем больше Лев душой и умом возносился к небу, тем более она погружалась в милое ей *terre-à-terre* (мещанство). Бедный Лев, как он рад был меня видеть! Как он желал устроиться в Шамардине, *«если твои монашки меня не прогонят»*, или в Оптине. Я не думаю, что он хотел бы вернуться к православия, но я надеялась, что наш старец, который на все действовал кротостью и любовью, возбудит в нем чувство умиления, которого у него еще не было, но которое уже было близко к нему последнее время. И вот он уехал и умер, дорогой мой Левочка, как я привыкла его звать.

Что ему Саша сказала, когда она приехала, отчего он так внезапно уехал, никто (я даже с ним не простилась) не знает.

Сестра Мария Толстая».

Из письма тети Маши к Т. Л. Сухотиной:

«25 мая 1911 года.

Милая моя Танечка!

Приятно и грустно мне было получить твое письмо. Приятно потому, что я вижу, что ты как будто меня любишь. А грустно потому, что точно я вместе с Левочкой куда-то ушла: он туда, где «нет ни печали, ни воздыхания» (надеюсь, что он там по милосердию божью), а я должно быть где-нибудь на луне, так меня все забыли. Никто ко мне не придет, никто не пишет и решительно ничего не знаю ни

про кого из вас. А я вас всех люблю и, конечно, желала бы знать хсти про эту ужасную и запутанную историю с завещанием.

Мне обидно за старших братьев и за тебя. Почему такое исключительное доверие к Саше? Конечно, тут *сидит* Чертков и это, к сожалению, кладет тень на Льва Николаевича.

Главное, меня интересует история продажи Ясной Поляны. Неужели она попадет в чужие руки? а могила?

Умоляю тебя, дорогая Танечка, утешь меня, старуху, напиши мне подробно обо всем этом. Ведь я, кроме своих монашек, никого не вижу. Мне не с кем поговорить о всем этом, не у кого расспросить! Что бы я дала, если бы кто, даже из прежних толстовцев, приехал ко мне: ведь я — последний член из старых Толстых яснополянских. Неужели же все это меня не интересует?

Хотелось бы побывать в Ясной, видеть Соню, поехать на могилу, но вряд ли буду в состоянии: со смерти Левочки я очень стала слаба, едва хожу.

Недавно ездила в Оптину (12 верст) и с тех пор еще ослабела хуже.

Нечего говорить, как я была бы счастлива, если бы ты приехала с милым твоим мужем и Танечкой <...>

Милая Таня, мне так грустно, что я никого из вас, Толстых, не вижу и ничего о вас не знаю. Точно я для всех умерла! А я вас всех очень люблю — кого больше, кого меньше, но все-таки вы мне дороги.

Жаль, что Саша, по-моему, на ложный путь пошла. Что бы такое ни было, но стать в враждебные отношения с матерью — одобрить нельзя.

Маму твою я желала бы видеть. Мне ее искренне жаль, мне хотелось бы, при свидании с ней, многое себе уяснить. Между ней и Левочкой работали два врага — один *видимый*, а другой *невидимый*, — для меня это ясно, как день! Ведь они все-таки любили друг друга. Откуда же у них бралось это чувство как будто ненависти друг к другу?

А теперь прощайте, целую вас всех. Очень устала.

Старая тетя Маша».

ТУРГЕНЕВ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Тургенев и Толстой, история их взаимных отношений, столкновение двух различных мировоззрений, двух разных характеров — какая богатая тема для историко-литературного

исследования! Однако это не входит в мою задачу. Я хочу только рассказать нечто из последней главы истории этих отношений, а именно про посещения Тургеневым Ясной Поляны в 1878, 1880 и 1881 годах, чему я лично был свидетелем. Но для уразумения этой последней главы я должен сказать несколько слов о прежних отношениях между Тургеневым и моим отцом.

В 1856 году вступил в петербургский кружок литераторов как полноправный член его молодой писатель Лев Толстой, уже известный своим «Детством», «Отрочеством» и военными рассказами. В этом кружке первую скрипку играл И. С. Тургенев, и, конечно, он больше всего интересовал Льва Николаевича. Скоро, даже очень скоро, между ними установились дружеские отношения. Как человек, Тургенев был обаятелен. Он уже был знаменитостью как автор «Записок охотника», оказавших на моего отца большое влияние, «Рудина», «Дворянского гнезда» и пр. Тургенев один из первых оценил талант Толстого, и он, Тургенев, был на десять лет старше Толстого. Понятно, что Лев Николаевич подпал под его влияние. Однако это продолжалось недолго: постепенно отец стал освобождаться от влияния и опеки Тургенева и находить самого себя.

Начались бесконечные принципиальные споры. Тургенев любил премьеровать в разговоре, а отец не всегда был терпим к мнениям своих собеседников. Отношения обострились и, наконец, кончились разрывом и ссорой. Этот разрыв не был случаен. Он подготовлялся понемногу и произошел как от различия их характеров, так и от противоположности их мировоззрений.

В продолжение пяти лет — между 1856 и 1861 годами — они часто виделись и в Петербурге, и в деревне, и за границей. Личные отношения их можно было назвать близкими, но что-то мешало их дружбе. Тургенев говорил, что временами между ними открывался овраг и что этот овраг то сглаживался и превращался в едва заметную щель, то опять открывался.

Уже в 1856 году (13/25 сентября) Тургенев пишет Толстому: «Я никогда не перестану любить вас и дорожить вашей дружбой, хотя, вероятно по моей вине, каждый из нас в присутствии другого будет еще долго чувствовать небольшую неловкость <...> Отчего происходит эта неловкость, о которой я упомянул сейчас, я думаю вы понимаете сами: вы — единственный человек, с которым у меня произошли недоразумения».

Во время своего пребывания в Париже в 1857 году отец постоянно виделся с Иваном Сергеевичем и вместе с ним бывал в гостях, в театрах и т. д. В дневнике рядом с заметками о том, что «он тяжел и скучен», Лев Николаевич отмечает: «Тургенев мил», «Пошел к Тургеневу и легко и приятно болтал с ним до часу» и т. п.

Уезжая из Парижа в Швейцарию, он пишет в дневнике: «Заехал к Тургеневу. Оба раза, прощаясь с ним, я, уйдя от него, плакал о чем-то. Я его очень люблю. Он сделал и делает из меня другого человека».

Однако с годами «овраг» между ними расширялся. Равнодушие Тургенева к вопросам религии и нравственности было не по нутру моему отцу. Ему нужны были жизненные радикальные ответы на мучившие его вопросы. Он уже тогда, отчасти сознательно, хотя и ощупью, искал ответа на вопросы о цели и смысле жизни в религии и этике. А Тургенев ему говорил: «Это неважно. Занимайтесь литературой, вам дан огромный талант, используйте его».

28 ноября 1857 года Тургенев писал отцу:

«Вы пишете, что очень довольны, что не послушались моего совета,— не сделали только литератором. Не спорю, может быть вы и правы, только я, грешный человек, как ни ломаю себе голову, никак не могу придумать, что же вы такое, если не литератор: офицер? помещик? философ? основатель нового религиозного учения? чиновник? делец? Пожалуйста, выведите меня из затруднения и скажите, какое из этих предположений справедливо».

Я шучу,— а в самом деле мне бы ужасно хотелось, чтоб вы поплыли, наконец, на полных парусах».

Как видно из этого письма и из других его писем, Тургенев требовал от Льва Николаевича, чтобы он был чуть ли не исключительно литератором, и пренебрежительно относился ко всяким другим его занятиям хозяйством, училищами и в особенности философией. Он не хотел понять, что если Лев Николаевич писал то, что он писал, то только потому, что у него есть свой внутренний мир, свои идеи, которые заставляют его писать так, а не иначе. А равнодушие Тургенева к самым дорогим его мыслям и чувствам обижало Льва Николаевича. С другой стороны, Тургенев был недоволен, возможно, и тем, что бывший под его покровительством и влиянием молодой писатель сам становился на ноги и даже критиковал его романы: «Рудин», «Отцы и дети», «Дым».

На почве всех этих разногласий и неудовольствий разлад

разразился ссорой. Это случилось в 1861 году. Я не буду излагать ни этого печального события, ни писем, которыми оба писателя после этого обменялись.

Отношения порвались на семнадцать лет. Однако оба продолжали интересоваться друг другом. Например, Тургенев, узнав, что Лев Николаевич для уплаты одного своего проигрыша продал Каткову «Казачков», пишет: «Дай-то бог, чтобы хоть таким путем Толстой возвратился к своему настоящему делу». По поводу появления «Поликушки» он пишет: «Мастер, мастер».

«Войну и мир» он хвалил и критиковал, находя, что самая слабая ее сторона — это то, чем восторгается публика, — историческая сторона и психология.

С своей стороны, отец продолжал интересоваться Тургеневым и его произведениями. Между прочим, я помню такой отзыв его о Тургеневе: «Зачем Тургенев поклоняется молодежи и заискивает у нее? Чему тут поклоняться? Молодежь надо поучать, а не поклоняться ей». Отец высоко ценил многие произведения Тургенева. Когда мы были еще детьми, он советовал нам читать «Записки охотника». Особенно нравились ему: «Бежин луг», «Бирюк», «Гамлет Щигровского уезда», «Живые мощи» и описания природы. Помню, как он сказал про «Певцов», что Тургенев удивительно передает впечатление от пения, но что здесь автор заехал в область другого искусства — музыки. Из отдельных рассказов Тургенева он считал лучшим «Первую любовь», потому что он в этом рассказе описал то, что сам пережил. Романы Тургенева отец ставил ниже его рассказов. Помню только, что он хвалил «Затишье», начало «Аси», «Вешние воды».

После разрыва отец тем не менее интересовался мнением Тургенева о своих произведениях. Так он написал Фету по поводу «Войны и мира»:

«Ваше мнение, да еще мнение одного человека, которого я не люблю, чем более я вырастаю большой, мне дорого, — мнение Тургенева».

1877 год был критическим годом в жизни моего отца. Он говаривал, что человеческое тело совершенно переменится каждые семь лет, а что он совершенно переменялся в 1877 году, когда ему минуло $7 \times 7 = 49$ лет. Тогда произошел перелом в его мировоззрении, описанный им в «Исповеди». Этому душевному кризису предшествовали тяжелые переживания — сознание тщеты жизни и страх смерти.

Новое религиозное отношение к жизни потребовало провер-

ки себя и своих отношений к людям. Личных врагов, думается мне, у моего отца не было, но неприязненные отношения с Тургеневым его тяготили. Тогда он написал Тургеневу следующее примирительное письмо:

«Иван Сергеевич!

В последнее время, вспоминая о моих с вами отношениях, я, к удивлению своему и радости, почувствовал, что я к вам никакой вражды не имею. Дай бог, чтобы в вас было то же самое. По правде сказать, зная, как вы добры, я почти уверен, что ваше враждебное чувство ко мне прошло еще прежде моего.

Если так, то пожалуйста, подадимте друг другу руку и, пожалуйста, совсем до конца простите мне всё, чем я был виноват перед вами.

Мне так естественно помнить о вас только одно хорошее, потому что этого хорошего было так много в отношении меня. Я помню, что вам я обязан своей литературной известностью, и помню, как вы любили и мое писанье и меня. Может быть, и вы найдете такие же воспоминания обо мне, потому что было время, когда я искренно любил вас.

Искренно, если вы можете простить меня, предлагаю вам всю ту дружбу, на которую способен.

В наши года есть одно только благо — любовные отношения с людьми, и я буду очень рад, если между нами они установятся.

Адрес: Тула
6 апреля 1878 г.

Гр. Л. Толстой».

Тургенев ответил из Парижа 8/20 мая 1878 г.

«Любезный Лев Николаевич. Я только сегодня получил Ваше письмо, которое Вы отправили *poste restante*. Оно меня очень обрадовало и тронуло. С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне Вами руку. Вы совершенно правы, не предполагая во мне враждебных чувств к Вам; если они и были, то давным-давно исчезли и осталось одно воспоминание о Вас, как о человеке, к которому я был искренно привязан, и о писателе, первые шаги которого мне удалось приветствовать раньше других, каждое новое произведение которого всегда возбуждало во мне живейший интерес. Душевно радуюсь прекращению возникших между нами недоразумений.

Я надеюсь нынешним летом поехать в Орловскую губернию, и — тогда мы, конечно, увидимся. А до тех пор желаю Вам всего хорошего — и еще раз дружески жму Вам руку.

Иван Тургенев».

В августе 1878 года Тургенев был в Москве и 4 августа написал Льву Николаевичу:

«Понедельник пробуду в Туле, где у меня есть дела. Мне самому хочется Вас видеть, и к тому ж у меня есть поручение до Вас — то как хотите? приедете ли Вы в Тулу, или я заеду к Вам в Ясную Поляну, откуда отправлюсь домой?»

Через несколько дней Тургенев телеграфировал, что приедет со станции Тула в Ясную Поляну. Отец сам поехал в Тулу его встречать, взяв с собой своего шурина, молодого правоведа Степана Берса.

О том, как встретились оба писателя после семнадцатилетней разлуки и какие были их разговоры в коляске в те полтора часа, когда они ехали из Тулы в Ясную Поляну, записей не сохранилось. Надо предполагать, что встреча была сердечна и что оба они избегали неприятных тем разговора.

И вот Тургенев в Ясной Поляне. Всего-навсего Тургенев приезжал в Ясную Поляну 4 раза: 8—9 августа 1878 года, 2—4 сентября того же года, 2—4 мая 1880 года и 22 августа 1881 года. Об этих посещениях есть записки Степана Берса, Е. И. Менгден, моей матери, сестры Татьяны и брата Ильи. Я постараюсь последовательно вести свой рассказ, проверяя свои воспоминания этими записками, и обратно. Однако я не могу ручаться за то, что хронологически мой рассказ будет верен. Ведь с тех пор прошло много лет. Особенно трудно установить, имели ли место те или иные разговоры или факты в первое его посещение, в августе 1878 года, или во второе — в сентябре. Поэтому мой последующий рассказ будет столько же относиться к первому посещению, сколько ко второму.

Летом 1878 года в Ясной Поляне, по обыкновению, жило много народа. В большом доме жила наша семья, состоявшая, кроме родителей, из четырех братьев и двух сестер. Мне, старшему, было пятнадцать лет, сестре Татьяне — тринадцать, Илье — двенадцать и т. д. В то время у нас жили француз гувернер m. Montels, бывший коммунарь 1871 года, скрывавшийся в России под фамилией Nief, гувернантка-англичанка и наш большой друг, учивший нас русскому и математике, бывший член кружка Н. Чайковского и Маликова, В. И. Алексеев. Во флигеле жила семья Кузминских. Кроме того, в Яс-

ной Поляне почти всегда гостил еще кто-нибудь. В то время гостила баронесса Е. И. Менгден с дочерью и Степан Берс.

Все мы, конечно, с величайшим интересом ждали Ивана Сергеевича. Я знал, что Тургенев большого роста. Но он превзошел мои ожидания. Он показался мне великаном — великаном с добрыми глазами, с красноватым лицом, с мягкими, как мне казалось, мускулами ног и с густыми, хорошо причесанными, белыми, даже желтоватыми волосами и такой же бородой. Сравнительно с ним отец мне показался маленьким (хотя он был роста выше среднего) и моложе, чем он был. Правда, Тургеневу было шестьдесят лет, а отцу — пятьдесят. Но Тургенев был совсем седой, а у отца были темные волосы без проседи. В их отношениях чувствовалось, что Иван Сергеевич старший. Мне тогда казалось, что отец к нему относился сдержанно, любезно и слегка почтительно, а Тургенев к отцу, несмотря на свою экспансивность, немножко осторожно.

Тургенев привез с собою прекрасные дорожные вещи: дорогой кожаный чемодан, изящный несессер, две щетки слоновой кости и пр. Я помню его бархатную куртку, такой же жилет, шелковый галстук, мягкую тоже, кажется, шелковую рубашку и двое прекрасных золотых часов. Часы он с удовольствием показывал и говорил, что они — хронометры, что он вообще любит хорошие часы и наблюдает за тем, чтобы они ходили верно и одинаково, минута в минуту. Еще у него в кармане была изящная табакерка с нюхательным табаком. Он говорил, что бросил курить, потому что, когда он курил, две милые девицы не позволяли себя целовать, «а теперь, — прибавил он, — мои парижские дамы не позволяют мне нюхать табак». На ногах у него были мягкие сапоги с очень широкими носками: такие сапоги он носил по причине своей подагры.

Иван Сергеевич много разговаривал с отцом наедине, в кабинете и на прогулках. Вероятно, главной темой их разговоров была литература. Помню, как, войдя по какому-то делу в кабинет, я услышал, как Иван Сергеевич декламирует:

Над Невою резво вьются
Флаги пестрые судов;
Звучно с лодок раздаются
Песни дружные гребцов;
В царском доме пир веселый;
Речь гостей хмельна, шумна;
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

— Разве это не удивительно сказано? — говорил Иван Сергеевич. — Разве вы не слышите гром пушек в стихах:

И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена?

Отец, помнится, соглашался, что стихотворение прекрасно по форме, но не по содержанию. Ведь он изучал эпоху Петра I и вынес из этого изучения отрицательное отношение к Петру. Кажется, тогда же он говорил: когда писатель пишет стихи, он ограничен в выборе выражений рифмой и размером. Если хочешь точно выразить свою мысль, то нельзя писать стихами.

Не помню, что именно возражал Тургенев, только помню, что отец согласился, что иногда рифма придает особую прелесть некоторым выражениям, как, например, рифма «странен» и «ранен» в том месте «Евгения Онегина», где Пушкин пишет про убитого Ленского:

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навывлет ранен;
Дымясь, из раны кровь текла.

Впрочем, отец оговаривался, что он пристрастен к Пушкину и что чувствует к нему особую слабость. В этом, а также в слабости к стихотворениям Фета и Тютчева, он сходился с Тургеневым.

Между прочим, Тургенев, следивший за литературой, рекомендовал отцу двух начинающих писателей: одного — русского, Всеволода Гаршина, и другого — француза, Мопассана. Отец впоследствии вполне оценил обоих. Мопассан сперва его оттолкнул сюжетом «Maison Tellier»¹, но, прочтя «Une Vie»², он признал в нем первоклассного писателя. Тогда же Тургенев рекомендовал одну писательницу, кажется г-жу Стечкину. Но про нее отец говорил: «Тургенев постоянно возится с какой-нибудь романисткой».

В обществе Тургенев завладевал разговором и общим вниманием. Он был неподобным рассказчиком, и мы заслушивались его. То он рассказывал, как, сидя на гауптвахте за статью о Гоголе, он безуспешно заискивал у своего сторожа, здорового унтер-офицера; то он изображал курицу в супе, подкладывая одну руку под другую; то он показывал, как его

¹ «Дом Телье» (франц.).

² «Жизнь» (франц.).

леговая собака делает стойку; то он описывал свою виллу в Буживале, говоря про семью Виардо и себя — мы; то рассказывал, как в Баден-Бадене он играл лешего в домашнем спектакле у Виардо и как на него смотрели с недоумением.

Еще он рассказывал, как на маскараде, вместе с поэтом А. К. Толстым, он встретил грациозную и интересную маску, которая с ними умно разговаривала. Они настаивали на том, чтобы она тогда же сняла маску, но она открылась им лишь через несколько дней, пригласив их к себе.

— Что же я тогда увидел? — говорил Тургенев, — лицо чухонского солдата в юбке.

Эта маска потом вышла замуж за А. К. Толстого. Его стихотворение «Средь шумного бала» навеяно этим первым знакомством с его будущей женой. Думаю, что Тургенев преувеличил ее некрасивость. Я встречал впоследствии графиню Софью Андреевну, вдову А. К. Толстого; она вовсе не была безобразна и, кроме того, она была, несомненно, умной женщиной.

Кто-то спросил Ивана Сергеевича, не кажется ли ему все русское странным после долгого отсутствия из России. Он ответил, что многое его поражает в первые дни, но что он скоро опять привыкает ко всему русскому, родному.

Помню, как он тогда же или в другой раз сказал:

— В русской деревне я с одним не могу примириться. Это — с рытвиной. Отчего во всей Западной Европе нет рытвин?

Я не раз вспоминал эти слова Ивана Сергеевича. Как художник, он одним словом указал на одно из больных мест нашей деревни. В самом деле, что такое рытвина? Это — водомоина, образующаяся по дорогам и, особенно, по многочисленным межам на крестьянской земле. Эти межи происходят от чересполосицы, а из рытвин — овраги, такие овраги, что в некоторых губерниях более половины паши превратились в бесплодную землю.

Рытвины выщелачивают питательные соки земли. Рытвина — это эмблема убожества крестьянского земледелия и нашего земельного неустройства. Рытвины — это морщины земли. И Тургенев прав: с рытвиной мириться нельзя.

Вообще западничество Тургенева проявлялось не раз в его разговорах. Так, он говорил: «Если бы Россия со всей своей прошедшей историей провалилась, цивилизация человечества от этого не пострадала бы».

Конечно, это было сказано, как парадокс, с болью в сердце, именно потому, что он любил Россию и страстно желал, чтобы Россия внесла свою долю в общую сокровищницу человеческой культуры.

Вот еще его рассказ:

— Еду я по Мценскому уезду. Встречается мне телега, а в телеге лежит мужик, избитый и весь в крови.

Ямщик с козел обернулся ко мне и с чувством сказал:

— Руцкая работа, Иван Сергеевич!

Несмотря на свои шестьдесят лет, Тургенев был бодр и подвижен. Он ходил гулять с моим отцом и с нашей компанией молодежи, обращая внимания на хозяйство, на лесные и яблочные посадки и на красивые места в саду и в лесу.

В то время кто-то около яснополянского дома устроил первобытные качели — длинную доску, лежащую своей серединой на перекладине. Проходя мимо, отец и Тургенев соблазнились и, став каждый на конце доски, стали при общем смехе подпрыгивать, подбрасывая друг друга. Тургенев заметил, что такие качели почему-то мало распространены в России.

В один из вечеров Иван Сергеевич читал свой рассказ «Собака». Он читал выразительно, живо и просто — без вычурных интонаций. Но самый рассказ ни на кого, в том числе на моего отца, большого впечатления не произвел.

В другой раз вечером Тургенев играл в шахматы со мной и, насколько мне помнится, с отцом и Урусовым. Он был сильный игрок, сильнее отца. Давая мне ладью вперед, он одну партию выиграл, другую проиграл. Он рассказывал, что, играя на одном международном шахматном турнире решительную партию с одним поляком, он мог, благодаря ошибке своего противника, сделать выигрышный ход — открытый шах. Публика с волнением ждала, сделает ли он этот ход. Замешался национальный интерес: русский играл с поляком. Подумавши, Иван Сергеевич сделал выигрышный ход, и поляк сдался. Когда он это рассказывал, мне показалось, что в нем билась патриотическая жилка.

Он играл особенно искусно с слонами. «Меня шахматисты называют «Le chevalier du fou», — говорил он (рыцарем слона). По поводу шахматной игры он вспомнил об одном модном в то время словечке французов.

— Что ни скажешь французам, — говорил он, — он отвечает: «Vieux jeu» — «Устарело».

Несмотря на всю свою любовь к Франции, Тургенев не особенно восхищался французами, указывая на их недостат-

ки — на их большое национальное самодовольство и мещанскую расчетливость. Он говорил, что французы стали дурно говорить по-французски, грубым парижским жаргоном. Сам он нередко переходил с русского языка на французский. А как хорошо он говорил по-французски! Известно, что сами французы любовались его выговором и оборотами речи.

Иван Сергеевич мало обратил внимания на жившего тогда у нас француза-коммунара m. Montels (Nief). Он говорил, что он знал многих коммунаров и что m. Montels принадлежит к неинтересному типу рядовых коммунаров.

Говоря про французенок, Тургенев сказал: «Насколько русские женщины и девушки образованнее французенок! Точно из темной комнаты войдешь в светлую, когда приедешь в русскую семью». Разумеется, это было сказано в присутствии русских женщин, но я думаю, что Иван Сергеевич говорил искренно, мысленно исключая из своего сравнения господжу Виардо.

Уезжая, Тургенев очень любезно со всеми простился. Моему отцу он говорил: «Вы прекрасно сделали, душа моя, что женились на вашей жене». Он обещал опять заехать в Ясную Поляну осенью.

Моя мать под свежим впечатлением тогда же записала следующее: «Тургенев очень сед, очень смиренен, всех нас прельстил своим красноречием и картинностью изложения самых простых и вместе и возвышенных предметов. Так, он описывал статую «Христос» Антокольского, точно мы все видели его, а потом рассказывал о своей любимой собаке Пегас с одинаковым мастерством. В Тургеневе теперь стала видна слабость, даже детская, наивная слабость характера. Вместе с тем видна мягкость и доброта. Вся ссора его с Львом Николаевичем мне объяснилась этой слабостью».

Возвратившись в Спасское, Иван Сергеевич 14 августа написал отцу:

«Не могу не повторить Вам еще раз, какое приятное и хорошее впечатление оставило во мне мое посещение Ясной Поляны, и как я рад тому, что возникшие между нами недоразумения исчезли так бесследно, как будто их никогда и не было. Я почувствовал очень ясно, что жизнь, состарившая нас, прошла для нас недаром — и что и Вы и я — мы оба стали лучше, чем 16 лет тому назад, и мне было приятно это почувствовать».

Нечего и говорить, что на возвратном пути я снова, все-непременно заверну к Вам».

Отец также отвечал ему любезным письмом, и через несколько дней (25 августа) Тургенев опять пишет Льву Николаевичу:

«Мне очень приятно узнать, что все в Ясной Поляне взглянули на меня дружелюбным оком. А что между нами существует та связь, о которой Вы говорите,— это несомненно, и я очень этому радуюсь, хоть и не берусь разобрать все нити, из которых она составлена. Одной художественной — мало.— Главное то, что она есть...»

Во второе свое посещение, 2 сентября, Тургенев пробыл в Ясной Поляне три дня. Вскоре после этого он уехал за границу.

В письме к Фету он писал: «Мне было очень весело снова сойтись с Толстым, и я у него провел три приятных дня. Все семейство его очень симпатично, а жена его — прелесть. Он сам очень утих и вырос. Его имя начинает приобретать европейскую известность. Нам, русским, давно известно, что у него соперника нет».

Отец не столь восторженно отозвался о Тургеневе. В письме к Фету от 5 сентября 1878 г. он писал:

«Тургенев на обратном пути был у нас... Он все такой же, и мы знаем ту степень сближения, которая между нами возможна».

В следующем письме Тургенев как бы подтвердил, что действительно им обоим не следует переходить далее известной степени сближения. Одно из его писем (от 15 ноября 1878 г.) произвело на моего отца неприятное впечатление:

«Радуюсь тому, что вы все физически здоровы, и надеюсь, что и «умственная» ваша хворь, о которой Вы пишете, прошла. Мне и она была знакома: иногда она являлась в виде внутреннего брожения перед началом дела; полагаю, что такого рода брожение совершилось и в Вас. Хоть Вы и просите не говорить о Ваших писаниях, однако не могу не заметить, что мне никогда не приходилось «даже немножко» смеяться над Вами; иные Ваши вещи мне нравились очень, другие очень не нравились, иные, как, пример, «Казак», доставляли мне большое удовольствие и возбуждали во мне удивление. Но с какой стати смех? Я полагал, что Вы от подобных «возвратных» ощущений давно отделались...»

На это письмо отец дал краткий отзыв в письме к Фету от 22 ноября:

«Вчера получил от Тургенева письмо. И знаете, решил

лучше подальше от него и от греха. Какой-то задира неприятный».

Черная кошка опять чуть не пробежала между обоими писателями, но это было в последний раз. После этого добрые отношения между ними не прерывались. Тургенев, как старая нянька, как он сам себя называл, прилагал все старания к распространению произведений Льва Толстого за границей. Переписка между ними возобновилась. Отец по поводу одного пасквиля, напечатанного Катковым в «Московских ведомостях», выразил Тургеневу горячее сочувствие, и Тургенев, всегда благодарный сочувствию и ласке, ответил (28 декабря 1879 г.):

«Меня очень тронуло сочувствие, выраженное Вами по поводу статьи в «Московских ведомостях»; и я, со своей стороны, почти готов радоваться ее появлению, так как оно побудило Вас сказать мне такие хорошие, дружелюбные слова».

Однако Тургенев оставался при своем взгляде на Толстого исключительно как на литератора. 16 сентября 1879 года он пишет Полонскому: «Л. Толстой, как большой талант, выскочит из болота, куда он залез, и с пользой для литературы, а Фет-Шеншин до того погряз в философствовании, что только пузыри пускает, и пузыри не благовонные».

В январе 1880 года Тургенев послал отцу лестный отзыв Флобера о «Войне и мире». Весной того же года, приехав в Россию, он опять посетил Ясную Поляну. На этот раз он взял на себя важное поручение: уговорить Толстого участвовать в празднествах по поводу открытия памятника Пушкину.

2 мая он был в Ясной Поляне. Была весна, «березы как будто пухом зеленели», «соловей уж пел в безмолвии ночей», а днем разные певчие птицы свистели и пели в саду. Иван Сергеевич хорошо знал птиц и отличал их по пению. «Это поет овсянка,— говорил он,— это — коноплянка, это — скворец» и т. д. Отец признавался, что он так хорошо птиц не знает. Пролет вальдшнепов был в самом разгаре. Тургенев, мой отец, брат Илья и я с ружьями, а с нами моя мать и сестра Татьяна отправились на тягу. Поехали мы в экипаже вроде линейки, под названием «катки», за речку Воронку, в казенный лес Засеку. Доехав до речки, мы перешли по бревну на тот берег. Помню огромную живописную фигуру И. С. Тургнева в бурой куртке и широкополой шляпе, когда он осторожно перебирался по бревнышку через речку. Отец предоставил ему лучшую, по его мнению, полянку, через которую должны были тянуть вальдшнепы, и сам стал неподалеку. Моя мать,

разговаривая с Тургеневым, осталась вместе с ним. Она его спросила, почему он теперь ничего не пишет. Тургенев ответил, что он уже конченный писатель.

— Нас никто не слышит? — продолжал он. — Так я вам скажу. Я теперь уже не могу писать. Раньше всякий раз, как я задумывал писать, меня трясла лихорадка любви. Теперь это прошло. Я стар и не могу больше ни любить, ни писать.

Во время разговора вдруг послышался выстрел и голос Льва Николаевича, посылавшего собаку искать убитого вальдшнепа.

— Началось, — сказал Тургенев. — Лев Николаевич уже с полем. Вот кому счастье. Ему всегда в жизни везло.

И в самом деле, вальдшнепы летели больше на отца, чем на Тургенева, — вероятно просто потому, что Тургенев отпугивал вальдшнепов разговорами. Наконец, Тургенев услышал все ближе и ближе хрип и свист вальдшнепа; птица показалась над деревьями, и он выстрелил.

— Убили? — крикнул отец с места.

— Камнем упал, — ответил Иван Сергеевич.

Однако, как ни искали вальдшнепа собака и мы все, найти его в темноте не удалось. И странно: Ивану Сергеевичу и даже моему отцу это было неприятно. Но на другой день брат Илья нашел убитого вальдшнепа: накануне собака не могла его найти, потому что он повис на дереве.

Перед отъездом Тургенева моя мать пошла звать его и моего отца обедать. Они сидели в избушке, которую построил себе отец в роще, около дома, в так называемом «Чепыже», для того чтобы в уединении заниматься. Тургенев в это время уговаривал отца участвовать в пушкинском празднике. Отец решительно отказался. Он не любил публично выступать и вообще не любил торжеств и праздников, хотя бы в честь Пушкина.

Тургенев этого не ожидал и уехал разочарованный.

В продолжение 1880 года и последующего дружелюбная переписка между обоими писателями продолжалась. Тургенев, так же как и прежде, распространял произведения Льва Толстого за границей, но продолжал пренебрежительно относиться к его философии. «Мне очень жаль Толстого, — пишет он А. И. Урусову 1 декабря 1880 года, узнав о мрачном настроении Льва Николаевича. — Но *chacun a sa manière de tuer ses puces*¹. В июне 1881 года он пригласил Льва Николаевича

¹ каждый человек бьет блох по-своему (франц.).

ча к себе в Спасское. 4 июля 1881 года он писал отцу: «Очень порадовался Вашему ближнему посещению,— а также и тому, что Вы говорите о Вашем чувстве ко мне. Оно потому и хорошо, что общее, т. е. одинаковое и в Вас и во мне».

О свидании Л. Н. Толстого с И. С. Тургеневым в Спасском есть воспоминания Полонского и следующая пометка в дневнике моего отца:

«9. 10 июля. У Тургенева. Милый Полонской, спокойно занятой живописью и писаньем, неосуждающий и — бедный — спокойный. Тургенев боится имени бога, а признает его. Но тоже наивно спокойный, в роскоши и праздности жизни».

В последний раз И. С. Тургенев был в Ясной Поляне в конце августа 1881 года. 22 августа, в день рождения моей матери, в Ясной Поляне было много гостей, в том числе мой дядя Сергей Николаевич Толстой и кн. Л. Д. Урусов. Несмотря на то, что Урусов был в то время тульским вице-губернатором, его можно назвать первым последователем моего отца. Отец занимался в то время исследованием Евангелия и посвящал Урусова в свою работу. Урусов усвоил себе его толкование первых слов Евангелия от Иоанна: «Началом всего было разумение жизни» и т. д., и любил говорить на эту тему. И вот, вечером, за чайным столом, Урусов стал доказывать Тургеневу, что начало всего есть разумение жизни. Не помню, что и как возражал Тургенев, но, по-видимому, его мало интересовал предмет разговора, и он старался перейти на другую тему. Но Урусов настойчиво продолжал доказывать свои тезисы, сильно жестикулируя и не замечая того, что он продвинулся на кончик стула. Вдруг стул выскользнул из-под него, и он упал на пол с вытянутой вперед ладонью. Нисколько не смутившись, он из-под стола продолжал начатую фразу. Тургенев не удержался и громко, слишком громко расхохотался.

— Il m'assomme, se Трубецкой (он убивает меня, этот Трубецкой), — сквозь смех фальцетом кричал Тургенев, спутав фамилию Урусова и называя его Трубецким.

Все также рассмеялись, кроме самого Урусова и моего отца. Отец только улыбнулся; ему было неприятно несколько пренебрежительное отношение Тургенева к Урусову и к вопросам, им поднятым. После этого разговор о разумении жизни уже не возобновлялся.

Кажется, тогда же по поводу того, что нас сидело за столом тринадцать человек, зашел разговор о страхе смерти. Тургенев находил, что страх смерти — естественное чувство. Он

сознавался, что боится смерти, и откровенно говорил, что он не приезжает в Россию, когда в России холера. Отец и Урусов говорили, что тот не живет, кто боится смерти. Смерть так же неизбежна, как ночь, зима. Мы готовимся к ночи и зиме: также надо готовиться к смерти; только тогда она не страшна. Тургенев продолжал: «Qui craint la mort lève la main»¹ и сам первый поднял руку, но, кроме него, никто руки не поднял. Он сказал: «А se gu'il paraît je suis le seul»². Тогда отец тоже поднял руку. Я думаю, что он это сделал не из учтивости, а вспомнив свою арзамасскую тоску — те тяжелые минуты, когда на него находил страх смерти.

В этот же проезд Тургенева, в один из вечеров, разговор принял чисто тургеневский характер, как будто это был эпизод из какого-нибудь его рассказа. Не помню, кто по какому поведению поднял вопрос о том, какие минуты самые счастливые в жизни. Тогда, кажется, Иван Сергеевич предложил, чтобы каждый рассказал пережитую им самую счастливую минуту своей жизни. Все стали припоминать. Мой дядя Сергей Николаевич шепнул на ухо Т. А. Кузминской, с которой у него когда-то был роман, что-то такое, что ей польстило, но отчего она покраснела и сказала: «Вы невозможный человек, Сергей Николаевич». Л. Д. Урусов сказал что-то вроде того, что самая счастливая минута в его жизни была бы тогда, когда он узнал бы о торжестве идеи добра.

Мы, конечно, обратились к Тургеневу: «Расскажите, какая была самая счастливая минута в вашей жизни». Он ответил: «Разумеется, самая счастливая минута жизни связана с женской любовью. Это, когда встретишься глазами с ней, с женщиной, которую любишь, и поймешь, что и она тебя любит».

Он помолчал и затем добавил: «Со мной это было раз в жизни, а может быть, и два раза».

Вспоминая теперь эти слова Тургенева, я вспоминаю также язвительное суждение о его романах, высказанное недружелюбным его критиком — Н. Н. Страховым: почти во всех романах Тургенева один молодой человек хочет жениться на одной девице и никак не может. Это довольно верно: герои Тургенева влюбляются с юношеской страстью, но не женятся. Но Страхов хотел побранить Тургенева, а вместо этого его похвалил. Тургенев — певец не плотской любви, а чистой, са-

¹ Кто боится смерти, пусть поднимет руку (франц.).

² Я, кажется, один (франц.).

моотверженной любви, которая может ограничиться взглядами и намеками, но которая, нередко, по выражению Мопассана, сильнее смерти. Так он понимал любовь: поэтому ему не было надобности женить своих героев. Он сам до старости лет был тем юношей, который умел любить глубоко и самоотверженно, но никак не мог жениться. Его мать говорила про него: он однолюб, он может любить только одну женщину.

В этот последний свой приезд И. С. Тургенев поддался общему настроению нашей молодежи, беспашабно веселившейся. Как-то вечером затеяли кадрили. Во время кадрили кто-то спросил Ивана Сергеевича, танцуют ли еще во Франции старую кадрили или же ее заменили непристойным канканом.

— Старый канкан,— сказал Тургенев,— совсем не тот непристойный танец, который танцуют в кафешантанах. Старый канкан — приличный и грациозный танец. Я когда-то умел его танцевать. Пожалуй, и теперь потанцую.

И вот Иван Сергеевич пригласил себе в дамы мою двоюродную сестру, Машу Кузминскую, двенадцатилетнюю девочку, и, заложив пальцы за проймы жилета, по всем правилам искусства, мягко отплясал старинный канкан с приседаниями и выпрямлением ног. Кончился этот танец тем, что он упал, но вскочил с легкостью молодого человека. Все хохотали, в том числе он сам, но было как будто немножко совестно за Тургенева.

В этот день отец отметил в своем дневнике: «Тургенев — сапан. Грустно».

Это был последний приезд Тургенева в Ясную Поляну. Дополню сказанное некоторыми отрывочными воспоминаниями о слышанных мною тогда разговорах.

Помню один отрывок разговора о силе воображения. Тургенев говорил, что он, лежа на боку, мог воображением довести себя до невыносимой боли от давления бедра на подушку дивана или на матрац.

Помню еще, как Иван Сергеевич рассказывал, что он присутствовал в Париже на лекции по порнографии, причем на лекции производились опыты с живыми людьми.

Он много рассказывал про близкий ему кружок французских писателей: Флобера, Золя, Додэ, Гонкуров, Мопассана и др. Он не одобрял преднамеренный реализм, слог и язык Золя, а Гонкуров он не считал даровитыми. Выше других он ставил Флобера и Мопассана. Между прочим, он так отозвался о писателе, известном под псевдонимом Жюль Верна:

— Я с ним провел целый вечер. Трудно встретить более скучного и неинтересного человека. К тому же он никогда не путешествовал.

Иван Сергеевич высоко ценил Шекспира. Помню, как он старался отцу внушить свое убеждение о величии Шекспира. Он указывал на истинно драматические положения, в которые Шекспир ставит своих героев.

— Истинно драматические положения, — так приблизительно говорил он, — возникают не тогда, когда добродетельные люди борются с злыми, как в мелодраме, или когда люди страдают от внешних бедствий, например, от моровой язвы или от землетрясения. Драматические положения возникают тогда, когда страдание неизбежно вытекает из характеров людей и их страстей. В драмах Шекспира мы находим именно такие положения.

Как-то зашел разговор о Достоевском. Как известно, Тургенев не любил Достоевского. Насколько я помню, он так говорил про него:

«Знаете, что такое обратное общее место? Когда человек влюблен, у него бьется сердце, когда он сердится, он краснеет и т. д. Это все общие места. А у Достоевского все делается наоборот. Например, человек встретил льва. Что он сделает? Он, естественно, побледнеет и постарается убежать или скрыться. Во всяком простом рассказе, у Жюль Верна, например, так и будет сказано. А Достоевский скажет наоборот: человек покраснел и остался на месте. Это будет обратное общее место. Это дешевое средство прослыть оригинальным писателем. А затем у Достоевского через каждые две страницы его герои — в бреду, в иступлении, в лихорадке. Ведь этого не бывает».

После 1881 года Тургенев уже не приезжал в Россию. Он заболел той мучительной болезнью, которая свела его в могилу.

Отношения его с Львом Николаевичем приняли более сердечный характер. В письме от 29 марта 1882 года, узнав, что Григорович возобновил свои прежние отношения с Львом Николаевичем, и высказав, что он рад этому, Тургенев пишет: «Лев Толстой — чудачище, но несомненно гениальный человек и добрейший».

В другом письме (9 апреля ему же) он говорит, что ему было очень приятно услышать хорошие вести о Толстом. «Поклонитесь ему и всей его семье от меня», — пишет Тургенев.

На одно сочувственное письмо отца Тургенев ответил 14 мая 1882 года:

«Милый Толстой, не могу сказать, как меня тронуло Ваше письмо. Обнимаю Вас за каждое в нем слово».

Однако и в этом письме Тургенев не утерпел, чтобы не пожелать возвращения Толстого к художественному творчеству:

«Вам надо еще долго жить,— пишет он,— и не только для того, что жизнь все-таки дело хорошее, а для того, чтобы окончить то дело, к которому Вы призваны и на которое, кроме Вас, у нас мастера нет. Вспоминаю Ваши прошлогодние полубещания и не хочу думать, чтобы Вы их не исполнили! Не могу много писать — но Вы меня понимаете».

В следующем письме от 4/16 сентября 1882 года Тургенев писал: «Я слышал, что статья Ваша, которая должна была явиться в «Русской мысли», сожжена по распоряжению цензуры. Но быть может у Вас уцелел оттиск, то не будете ли Вы так любезны, не пришлете ли мне его сюда (лучше в Париж, 50 rue de Douai) по почте? Я по прочтении аккуратно Вам его возвращу. Очень бы мне хотелось прочесть эту статью».

Пишу Вам в Ясную Поляну, так как полагаю, что Вы раньше зимы не вернетесь в Москву. Не спрашиваю Вас, не принялись ли Вы за литературную работу, так как я знаю, что Вам этот вопрос не совсем приятен».

После этого Лев Николаевич послал Тургеневу «Исповедь», прося прочесть эту книгу, не сердясь на него, а стараясь стать на его точку зрения и понять его.

Прочтя «Исповедь», Тургенев написал Толстому 15/27 декабря 1882 г.: «Я начал было большое письмо к Вам в ответ Вашей «Исповеди», но не кончил и не кончу, именно потому, чтобы не впасть в спорный тон».

Тургенев не мог, конечно, сочувствовать высказанному в «Исповеди» беспощадному осуждению того мировоззрения, которое господствовало в конце 50-х годов в петербургском кружке литераторов,— мировоззрения, прежде всего, самого Тургенева. Но он не обиделся.

Из последнего предсмертного письма Тургенева, которое можно назвать его последним стихотворением в прозе, видно, насколько близок был его сердцу Лев Толстой как русский писатель.

Вот это письмо:

«В начале июля по русс.
ст. Буживаль 1883.
Bougival. Les Frânes. Chalet.

Милый и дорогой Лев Николаевич. Долго Вам не писал, ибо был и есмь, говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь

я не могу,— и думать об этом нечего. Пишу же я вам собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником,— и чтобы выразить Вам мою последнюю, искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар Вам оттуда же, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на Вас подействует! Я же человек конченный,— доктора даже не знают, как назвать мой недуг, *Névralgie stomacale goutteuse*¹. Ни ходить, ни есть, ни спать, да что! Скучно даже повторять все это! Друг мой, великий писатель Русской земли,— внемлите моей просьбе! Дайте мне знать, если Вы получите эту бумажку, и позвольте еще раз крепко, крепко обнять Вас, Вашу жену, всех Ваших. Не могу больше. Устал».

В этом письме есть и любовь к родине, и любовь к литературе, и дружеский призыв, но нет одного: понимания душевного мира того человека, которому он пишет. Он не хочет понять, что та философия, которую он знать не хочет в Льево Толстом, есть главный импульс для его литературной работы. А затем он ломится в открытую дверь: ведь Лев Толстой вовсе не отказывался от литературной деятельности, что и доказал последующими своими произведениями.

Думаю, что отец лучше понимал Тургенева, чем Тургенев его. Признав, что Тургенев нерелигиозный человек, он перестал требовать от него того, чего он дать не мог, то есть религиозного отношения к жизни. Но это не мешало отцу высоко ценить Тургенева как художника и дружески относиться к нему как к человеку.

Отец не ответил на последнее письмо Тургенева, может быть, потому, что получил его слишком поздно,— он был в то время в Самарской губернии, а письмо было адресовано в Тулу; может быть, потому, что ему трудно было на него отвечать. А 22 августа Ивана Сергеевича уже не стало.

Во время болезни Тургенева отец относился к нему с большим участием, а когда Тургенев умер, он живо почувствовал его утрату. Тогда он, несмотря на всю нелюбовь к публичным выступлениям, решил прочесть доклад о Тургеневе в Обществе любителей российской словесности.

Я помню, как в то время отец тепло относился к Тургеневу, как перечел все его произведения и как ему хотелось добром помянуть своего старшего сотоварища, и указать на

¹ Подагрическая невралгия желудка (*франц.*).

его значение в литературе. Как известно, администрация воспрепятствовала ему это сделать. Но совесть его могла быть спокойна. Он в последние годы жизни Ивана Сергеевича сделал все, что мог, для того чтобы изгладить воспоминания о черной кошке, пробежавшей когда-то между ними.

КНЯЗЬ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ УРУСОВ

Мой отец писал П. А. Сергеенко 13 февраля 1906 года: «У меня было два (кроме А. А. Толстой, это третье) лица, к которым я много писал писем и, сколько я вспоминаю, интересных для тех, кому может быть интересна моя личность. Это — Страхов и кн. Сергей Семенович Урусов». Из этих слов видно, что отец считал Урусова одним из своих близких друзей. Это видно также из одного его письма к А. А. Толстой (6 марта 1876 г.), где он пишет про Урусова: «Это мой севастиопольский друг, с которым мы очень хорошо любим друг друга».

Князь Сергей Семенович Урусов, сын сенатора кн. Семена Никитича Урусова (ум. в 1857 г.) и красавицы-датчанки, дочери архитектора фон Маркшиц, родился 3 августа 1827 года и, следовательно, был на год старше моего отца.

Блестяще кончив курс в первом Петербургском кадетском корпусе и прослужив в конной гвардии до 1852 года, он вышел в отставку ротмистром, но перед Крымской войной вновь поступил на военную службу. В Крыму он подружился с моим отцом. В письме к Ив. Вас. Киреевскому (6 ноября 1855 г.), с которым он сблизился на почве шахматной игры, он пишет из аула Куртьер-фоц-Сале (в Крыму): «Рекомендую вам прекрасного литератора и вместе шахматного игрока, моего ученика, графа Л. Н. Толстого».

На войне, по словам П. И. Бартенева и по рассказам моего отца, Урусов оказал чудеса храбрости. Он выходил из траншей в белом кителе под градом снарядов и пуль, служа при своем большом росте прекрасной мишенью для неприятельских стрелков. Он был ранен в грудь пулей, которая извлечена не была. В Полтавском полку, где он служил, командир и все старшие офицеры выбыли из строя, так что он, будучи подполковником, оказался старшим в чине и принял командование полком. Мой отец говорил, что он остался жив лишь благодаря исключительно счастливой случайности. За свою храбрость он заслужил офицерский Георгиевский крест, который всегда носил в петлице сюртука.

Сергей Семенович был человек необыкновенный. По внеш-

ности он был громадного роста (более 12 вершков), почти великан. Несмотря на свой рост, он носил сапоги с большими каблуками. В то же время он был хорошо сложен и красив. А по своему характеру он был человек прямой, решительный, импульсивный, бесстрашный, вспыльчивый, гордый, своеобразный и крайне самолюбивый. Отец особенно ценил в нем его искренность и самобытность мышления; он называл его «Selbstdenker» — человеком, мыслящим по-своему и для себя.

С. С. Урусов был ученый математик и очень сильный шахматный игрок. Он написал и напечатал на свой счет несколько томов по высшей математике, не имевших, однако, никакого успеха. Математики, читавшие его труды, говорили, что в науке было уже известно то, что он считал своими открытиями, а то новое, что он излагал, было неверно.

Имя Урусова, как шахматиста, было известно не только в России, но и за границей; его партии печатались даже в руководствах по шахматной игре (например, в руководстве Бильгера). Он говорил, что не находил шахматиста сильнее себя, а если иногда проигрывал известному игроку Петрову, то только потому, что Петров во время игры раздражал его: делает ход и начнет ахать, что не так сыграл.

В обществе Урусов был всегда благовоспитан и учтив, особенно с дамами, и интересен своими неожиданными суждениями. У него был большой голос, он был музыкален и певал, иногда даже что-то своего сочинения. В обыденной жизни он был благодушен и ровен. Он любил детей и животных; с собаками разговаривал и утверждал, что они его понимают. Только иногда на него находили минуты почти несдерживаемого гнева. Самолюбие было выдающейся чертой его характера. Он не мог забыть и мучился тем, что его товарищ Обручев кончил курс кадетского корпуса первым, а он — только вторым, или что первым шахматным игроком в России считался Петров, а он — только вторым, что его труды по математике не были оценены.

Урусов был так своеобразен и в своих речах и поступках, что прослыл за чудака; а некоторые его странности наводили даже на подозрение о ненормальности его умственных способностей. Так, например, он говорил, что может вычислить и предсказать дни смерти людей, что он вычислил день смерти Александра II и знает, когда умрет мой отец, но держит это в тайне. Он написал статью в доказательство того, что Павел не был убит, а умер естественной смертью. Во время глубокого мира он составил план обороны Москвы, так как уверял, что в

случае войны с немцами русские будут немедленно отброшены за Волгу. Он всех людей подразделял на людей в точном смысле этого слова и на бесхвостых обезьян. Среди женщин он отличал «душечку», любящую женщину, и «черта», соблазнительницу. Он говорил, что все великие люди рождаются в августе — Наполеон, Гете, Лев Толстой и он сам родился в августе.

По своим убеждениям он принципиально был монархистом, но презрительно относился к среде придворных и людей, унижавшихся перед царем и царской фамилией. Узнав как-то, что Александр III, едучи куда-то в коляске, посадил к себе на козлы офицера, он возмущился и сказал, что раньше такое унижение офицера было бы невысказано.

По словам племянницы его жены — А. М. Щепотьевой, он не любил Николая I. Он говорил про него, что только у жестоких людей глаза никогда не улыбаются, и что у Николая были такие глаза.

А. М. Щепотьева также вспоминает, что Урусов не выносил жандармов и презирал тех своих сослуживцев и знакомых, которые поступали в жандармы. Однажды он горячо доказывал одному знакомому, что доносить ни в коем случае не должно, как бы ужасно ни было замышляемое преступление.

Во время севастопольской обороны одна траншея несколько раз переходила из рук русских в руки союзников и обратно. Тогда Урусов пошел к главнокомандующему и предложил ему войти в переговоры с союзниками о том, чтобы эту траншею разыграть в шахматы; со стороны русских он предлагал себя. Разумеется, его предложение было отвергнуто.

После окончания войны с Урусовым случилось нечто такое, чему я бы не поверил, если бы об этом не слышал от моего отца, от племянников Урусова и от него самого. По окончании Крымской кампании приехал ревизовать полк, которым командовал Урусов, какой-то генерал-инспектор из немцев, не участвовавший в военных действиях. Этот генерал оказался неприятным формалистом и на смотре придирался к разным мелочам. Урусов все время внутренне сердился, но сдерживался. Но когда генерал-инспектор за какую-то мелкую неисправность «дал в зубы» одному унтер-офицеру, с которым Урусов провел всю кампанию и которого особенно ценил, он не выдержал. Он неожиданно скомандовал: «На руку!» — то есть готовься к штыковой атаке. Передняя линия солдат немедленно исполнила команду, и вот генерал увидел ряд штыков, направленных прямо на него. После команды «на руку» непо-

средственно следует команда «в штыки», и генерал-инспектор испугался: вдруг сумасшедший Урусов так и скамандует, и он будет заколот. Генерал отскочил, сел в свою коляску и уехал. Он подал жалобу. Но поступок Урусова был так необыкновенен, что жалобе хода не дали, и дело было замято. По военным законам, Урусова должны были судить военным судом и приговорить чуть ли не к расстрелу. Но можно ли было приговорить севастопольского героя! Вскоре после этого Урусов представлялся Александру II. Он был любезно принят, но государь, хотя знал о его поступке, ни словом не упомянул о нем. Урусов почему-то обиделся на это и подал в отставку. А при отставке он, как полагалось, был произведен в следующий чин, то есть в генерал-майоры. Во время войны 1877 года он хлопотал о том, чтобы его опять приняли на военную службу, но ему отказали.

В 60-х и 70-х годах Сергей Семенович не раз бывал в Ясной Поляне. Он крестил брата Льва и сестру Машу и очень серьезно относился к своему званию крестного отца и своих крестников называл «мои дети». Я с детства помню его величественную фигуру, красивое лицо с полуседею выхоленной бородой, его густой голос и взволнованную речь и как он сразу сильно мигал обоими глазами, когда волновался. Иногда он играл в шахматы с моим отцом, давая ему вперед коня, и со мною, давая мне вперед сначала ферзя, потом ладью; я тогда еще плохо играл. Около 1878 года он совсем перестал играть в шахматы и подарил мне все свои шахматные книги.

Он был очень влюбчив; летом 1869 года, когда он жил в Ясной Поляне, его влюбчивость чуть не привела к драме. Моя тетка по матери, тетя Таня Кузминская, в молодости была очень привлекательна и кокетлива. И вот в 1869 году по поводу Урусова у нее с моей теткой по отцу — тетей Машей — произошел такой разговор:

— Хотя ты и сирена,— сказала тетя Маша,— но ты этого монаха не прельстишь.

— Ничего нет легче,— отвечала тетя Таня.

— Я поспорю, что ты ничего с ним не сделаешь,— сказала тетя Маша.

— Посмотрим,— сказала тетя Таня.

Самолюбие тети Тани было задето. Она пустила в ход все свои женские уловки, и через три дня Сергей Семенович был покорен. Он все ходил за ней большими шагами, куда бы она ни пошла. Он уехал, не объяснившись, но через несколько дней приехал в Ясную Поляну его кучер с прекрасной ло-

шадью, которую ни с того ни с сего Урусов дарил моему отцу. А вместе с лошадью кучер привез письмо Татьяне Андреевне. В этом письме Урусов предлагал ей уехать вместе с ним за границу. План увоза был фантастичен: она должна была встретиться с ним на каком-то пароходе и куда-то вместе с ним уплыть. Мужа тети Тани, почтенного Александра Михайловича Кузминского, он в этом письме пренебрежительно называл «этот господин».

Кучер неловко передал Татьяне Андреевне это письмо в присутствии «этого господина»; произошла семейная сцена, и тетушка должна была объяснить мужу свою шалость. Сначала Александр Михайлович не верил, что это была только шалость, хотел вызвать Урусова на дуэль, но в конце концов, как умный человек, понял, что вся эта история несерьезна, и передал ее забвению¹.

Жена Сергея Семеновича, Татьяна Афанасьевна, рожденная Нестерова, была небольшого роста, и странно было ее видеть рядом с ним — почти великаном. Почему-то он называл ее «Темир». Говорили, что образ жизни их был совершенно разный. Так, например, Сергей Семенович всегда вставал очень рано, в четыре или пять часов утра, а его жена обыкновенно ложилась спать поздно, после двенадцати. У них была дочь Лидия, довольно высокого роста, узкогрудая, бледная и болезненная. Сергей Семенович очень любил ее. Она родилась в 1853 году и умерла в молодости, в 1869 году, шестнадцати лет. Татьяна Афанасьевна скончалась еще не старой женщиной, в 1881 году.

Смерть дочери и жены сильно подействовала на Сергея Семеновича и, говорят, даже повлияла на его умственные способности. Последние годы своей жизни он жил уединенно в своем имении Спасском в Дмитровском уезде, недалеко от Троицко-Сергиевской лавры, не хотел никого видеть, задумывался и молчал по целым дням.

В этот период его жизни он сделался очень богомольным, постоянно молился, читал про себя псалмы, отлично знал церковную службу, нередко служил за псаломщика и пел на клиросе. Он даже хотел сделаться монахом и уйти в монастырь, но известный в те времена архимандрит Товия отговорил его.

Проведя несколько лет в тяжелом уединении, он несколько

¹ Материалом для этого рассказа послужили мои воспоминания, подтвержденные и проверенные Т. А. Кузминской (прим. С. Л. Толстого).

оживился только тогда, когда стал чаще бывать в многочисленной семье своего брата, кн. Дмитрия Семеновича Урусова. Там он находил семейную жизнь, которой был лишен.

Мой отец был в деятельной переписке с Урусовым в 60-х и 70-х годах. Он написал Урусову более семидесяти писем. Он говорил, что откровенно писал ему то, что другим не писал. Когда отец отошел от православия, Урусов рассердился на него и эти письма сжег. Случайно сохранились только семнадцать писем, не особенно интересных. Они были напечатаны в «Вестнике Европы» (январь, 1915).

В письме 1870 года отец пишет Урусову о предположенном введении всеобщей воинской повинности; с военной точки зрения он не сочувствовал реформе Д. А. Милютина, находя, что старые солдаты, служившие двадцать пять лет, как воины — гораздо сильнее молодых краткосрочных солдат. Урусов был, по-видимому, того же мнения.

В письме от 1...3(?) января 1878 года отец писал Урусову: «Приехав в Тулу, нашел ваше письмо <...> разорвал его на клочки». Он сделал это по просьбе самого Урусова. Урусов, оказывается, на него рассердился и написал отцу обидное письмо, но потом опамятовался и просил это письмо разорвать, не читая, что отец и сделал.

В 80-х годах, в зимнее время, когда наша семья жила в Москве, он часто стал бывать у нас в хамовническом доме.

Наш знакомый и сосед по дому Василий Александрович Олсуфьев любил играть в винт. Урусов тоже играл в винт. Зимой 1882/83 года отец познакомил их. Урусов стал бывать у Олсуфьевых. Но там не только винт его интересовал: интересовали также дочери Василия Александровича. Он даже влюбился в одну из них, не помню, в которую из трех; знаю только, что он был обуреваем ревностью к некоему студенту Н. Л. Гондатти, моему товарищу по университету, дававшему уроки младшим детям Олсуфьева.

— Этому Гондатти надо *гон дати*, то есть изгнать его из дома Олсуфьевых, — острил Сергей Семенович, волнуясь и по своей привычке энергично мигая сразу обоими глазами. Он решил непременно женить одного из племянников своей жены, Богдановых, на одной из барышень Олсуфьевых, что ему и удалось: его племянник Александр Матвеевич Богданов женился на Марии Васильевне Олсуфьевой.

В 1889 году отец поехал к Урусову в его имение Спасское на несколько дней отдохнуть от городской жизни. В письмах к моей матери он описывает жизнь Урусова.

«Урусов очень мил дома с своими старыми богобоязненными и таким же, как он, барственным Герасимом и его сестрой. Встает он в 4 и пьет чай и пишет свое какое-то мне непонятное математическое сочинение <...> Я нынче утром немного занялся, потом слушал сочинение Урусова. Как и все его писанья — есть новые мысли, но недоказанно и странно. Но он трогателен: живет, никаких раздоров ни с кем кругом себя, помогает многим и молится богу. Например, перед обедом он ходит гулять взад и вперед по тропинке перед домом. Я подошел было к нему, но видел, что ему мешаю, и он признался мне, что он, гуляя, читает часы и псалмы. Он очень постарел на мой взгляд».

В другом письме, 2 апреля, отец пишет:

«Князь очень мил. Встает в 3, 4, ставит самовар, пьет чай, курит и делает свои вычисления. После обеда и весь день то же, за исключением отдыхов, пасьянса и гулянья. Боюсь, что все вычисления эти не пущы. У него есть эта неясность мысли, самообмазывание, при котором ему кажется, что он решил то, что ему хочется решить. Папиросы, водка изредка, в малых порциях, и чай — боюсь, еще более затуманивают. Но простота и стремление к добродетели — истинные, и потому с ним очень хорошо. У него цветут розы — много, и он советовал положить листки в письмо...»

Последние годы своей жизни Сергей Семенович провел почти безвыездно в Спасском. Имущественные дела его пошатнулись. Из большого дома он перебрался во флигель, где обстановка была самая жалкая, почти нищенская. Мебель из дома была продана, парк сведен. Он не имел мужской прислуги и сам себя обслуживал. Его преданного слуги Герасима уже не было в живых.

В сентябре 1897 года его постиг удар, а в ноябре его не стало.

Лев Толстой, создавая свои художественные образы, обыкновенно вспоминал людей, которых знал; и он воображал, как они поступили бы при известных обстоятельствах. Когда он писал «Отца Сергия», очевидно он воображал себе С. С. Урусова. Он пишет про юные годы кн. Касатского: «Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, к которой он имел особенное пристрастие, и по фронту и верховой езде. Несмотря на свой выше обыкновенного рост, он был красив и ловок. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость.

Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял самообладание и делался зверем».

Эта характеристика вполне подходит к Урусову. Он, так же как и Касатский, был ростом выше обыкновенного, красив, выдавался блестящими способностями, особенно к математике, был правдив, вспыльчив, самолюбив и, насколько мне известно, не пил и не распутничал. Он, так же как и Касатский, старался во всех делах, представлявшихся ему на пути, достичь совершенства и успеха, вызывающего похвалы и удивление людей; он также был искренно верующим, и у него, так же как у Касатского, сознание своего превосходства над другими перешло в послушание, в унижение паче гордости. В Урусове также таилась возможность пойти по тому же пути, по которому пошел и Касатский. Так, одно время он намеревался пойти в монастырь. А по своему характеру он мог для обуздания своей похоти, так же как и отец Сергей, отрезать себе палец или сделать что-нибудь в этом же духе. Конечно, кн. Касатский — не простой сколок с кн. Урусова, но в нем много черт, напоминающих его. Так отразился в произведении Л. Толстого один из старых его друзей.

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ (ШЕНШИН)

Живя безвыездно в Ясной Поляне, мы в нашем детстве обыкновенно радовались приезду гостей. Гости — это интересные разговоры, поблажка в уроках, закуска и вкусное пирожное к обеду. Мы были рады даже, когда приезжал А. А. Фет. Я говорю «даже», потому что он к нам, детям, был равнодушен, и мы это чувствовали. Но все-таки интересно было послушать его декламацию, его резкие суждения о людях, его плохие остроты, жалобы на хозяйство и либеральные веяния. Он читал стихи громко, медленно, густым басом, прерывая чтение мычанием и кашлем. Он приезжал в Ясную Поляну на день или на два, один или большей частью с женой Марьей Петровной; ею мы еще меньше интересовались, чем им.

Наружность Афанасия Афанасьевича была характерна: большая лысая голова, высокий лоб, черные миндалевидные глаза, красные веки, горбатый нос с синими жилками, окладистая борода, чувственные губы, маленькие ноги и маленькие руки с выхоленными ногтями. Его еврейское происхождение было ярко выражено, но мы в детстве этого не замечали и не знали.

В нем не было добродушия и непосредственной привлекательности, что не исключает того, что он был добрым человеком. В нем было что-то жесткое и, как ни странно это сказать, было мало поэтического. Зато чувствовался ум и здравый смысл.

Я всегда недоумевал: па чем основана дружба моего отца с Фетом. Правда, он был умен, хорошо образован (больше самоучкой), у него был верный и тонкий художественный вкус, он был искренним и оригинальным человеком. Но он и отец были разные люди. В противоположность отцу, Фет был расчетлив и нерелигиозен, скептик и язычник. Он не относился враждебно к религии, она просто для него не существовала. Только иногда он не мог удержаться от иронического отношения к церковным обрядам. Помню, как однажды Фет говорил о грядущем воскресенье мертвых: я умру, и на моей могиле вырастет лопух. В него войдут частицы моего тела. Этот лопух съест корова, а мясо этой коровы съест какой-нибудь другой человек; очевидно, частицы моего тела через лопух и мясо коровы перейдут в тело этого человека, который также умрет, и оба мы должны будем предстать перед страшным судом. Очевидно, или мое тело, или тело человека, съевшего мясо коровы, будет лишено каких-то существенных частиц. Как же мы во плоти воскреснем?

Одно время Афанасий Афанасьевич увлекался философией Шопенгауэра и перевел его «Мир как воля и представление». Я думаю, что эта философия ближе всего подходила к складу его ума и характера. Ведь он, так же как Шопенгауэр, презирал людей и видел их недостатки.

Несмотря на свою мизантропию, Фет был тщеславен. Даже думаю, что в его дружбе с моим отцом была некоторая доля тщеславия: ему лестно было быть приятелем знаменитого писателя графа Толстого. Впрочем, это не мешало ему искренно любить Льва Николаевича не только как художника, но и как человека. Позднее его хлопоты о получении фамилии Шеншина, его знакомство с вел. кн. Константином Константиновичем и его радость, когда он был произведен в камергеры (а Пушкин был только камер-юнкером), — все это обнаружило в нем самое обыкновенное наивное тщеславие. Фет его и не скрывал.

В обществе Афанасий Афанасьевич был всегда изысканно вежлив. Особенно любезен он был с моей матерью. Мы даже шутили говорили, что он был к ней неравнодушен. Он посвятил ей два льстивых стихотворения. Едва ли он был искренен,

когда писал (в первом стихотворении «Когда так поэмо раччал»):

Хоть меркнет жизнь моя бесследно,
Но образ твой со мной везде.
Так светят звезды всепобедно
На темном небе и в воде.

Во втором стихотворении («И вот портрет, и схоже и не схоже») не меньше преувеличений, особенно в его последней строфе:

Но все, толпой коленопреклопенной
Мы здесь упасть у ваших ног должны,
Так в прелести и скромной и нетленной
Вы смотрите на наши седины.

В молодости и до конца 70-х годов отец сходилса с Фетом по делу, интересовавшему обоих, — по хозяйству в имениях. Но отношение их к сельскому хозяйству было различно. Отец увлекался, так сказать, поэзией сельского хозяйства: он любил породистый скот, любовался обильными урожаями, посадками дерев и яблонь, изучал жизнь пчел, интересовался работой и жизнью крестьян и рабочих, вообще смотрел на хозяйство, как на своего рода творчество. Фет же, как практический человек, относился к сельскому хозяйству почти только с точки зрения выгоды. Он купил Степановку, некрасивое имение в Мценском уезде — ровное, безлесное поле-блин, среди которого высился дом хозяина, только потому, что это было выгодно. Он не гнался за живописными видами, парком, красивым домом и т. п. Ему нужен было доход. Степановка была доходным имением, и Фет ее купил. Правда, позднее он купил в Курской губернии около ст. Коренной богатое и живописное имение с прекрасным парком и хорошим домом, но тогда он был так богат, что мог позволить себе эту роскошь; к тому же оно досталось ему как придача к доходному имению.

В противоположность моему отцу, Афанасий Афанасьевич был более или менее равнодушен к музыке. Я слышал, как он говорил, что музыка — это неприятный шум; ему нравились только некоторые итальянские арии и романсы Глипки. Правда, в некоторых стихотворениях («Спяла почь», «Певица») он писал иное, но мне кажется, что не музыка, а обаяние голоса молодой женщины вызвало эти стихи.

Афанасий Афанасьевич в молодости охотился вместе с Тургеневым с ружьем и легавой собакой на птицу — тетеровов,

вальдшнепов, дунелей и т. п., но он не любил охоту с борзыми и гончими; помню, как он раз сказал: «Не понимаю удовольствия слушать собачий лай». Думаю, что охота не была для него прежде всего средством общения с природой, как у моего отца.

Известно мнение Льва Николаевича о поэтах: по его мнению, размер и рифма связывают мысль писателя. Прозой можно лучше и полнее выразить свою мысль, чем стихами. Но все же он ценил некоторых поэтов. К числу этих немногих он относил Фета. В своих разговорах и письмах он не раз горячо отзывался о некоторых его стихотворениях. Вспоминаю его хвалебные отзывы о следующих стихах Фета: «Уж верба вся пушистая раскинулась кругом», здесь ему особенно нравились стихи: «Шумит толпою праздною народ, чему-то рад», «Опять незримые усилья». По мнению Льва Николаевича, все стихотворение красиво, особенно стихи:

И разыгравшиеся воды
Под беломраморные своды
С веселым грохотом летят.
А там по нивам на просторе
Река раскинулась, как море,
Стального зеркала светлей.
И речка к ней на середину
За льдиной выпускает льдину,
Как будто стадо лебедей.

Про первые два стиха стихотворения «Осенью» Лев Николаевич говорил: «Так выразиться в прозе: «Когда сквозная паутина разносит нити ясных дней» — было бы нелепо, а в стихах передается в короткой, хотя и неправильной фразе, яркая, красивая картина».

В стихотворении «Георгины» хорошо выражение:

А нынче утренним морозом
Они стоят опалены.

Про известное стихотворение «Шепот, робкое дыханье» отец в 80-х годах говорил приблизительно так: «Это мастерское стихотворение; в нем нет ни одного глагола (сказуемого). Каждое выражение — картина; не совсем удачно разве только выражение «В дымных тучках пурпур розы». Но прочтите эти стихи любому мужику, он будет недоумевать, не только в чем их красота, но и в чем их смысл. Это — вещь для небольшого кружка лакомок в искусстве».

Помню еще, что отец хвалил стихотворения: «Осень» («Ласточки пропали»), «Звезды» («Я долго стоял неподвижно»), «Люди спят», «Есть ночи зимние, блеск и сила» и др.

Разумеется, мною не исчерпываются суждения Льва Николаевича о поэзии Фета.

Жена Афанасия Афанасьевича, Марья Петровна, рожденная Боткина, сестра Василия и Сергея Петровича Боткиных, была некрасива и неинтересна, но добрейшая женщина и прекрасная хозяйка. Трудно предположить, что Афанасий Афанасьевич был когда-нибудь влюблен в нее. Думаю, что этот брак был заключен по расчету. Жили они мирно. Марья Петровна заботилась о муже, а он был с нею предупредителен, по крайней мере при людях.

Афанасий Афанасьевич иногда щеголял мнениями, выставившими его самого в невыгодном свете или идущими вразрез с общепринятыми взглядами. Помню, что однажды он сказал приблизительно следующее:

— Я любил одну женщину, и она меня любила. Но я ей сказал: душа моя, у меня ничего нет, и у тебя ничего нет. Только поэты мечтают о рае в шалаше; такого рая не бывает. Поэтому, душа моя, нам лучше всего разойтись. И мы разошлись.

Прямым следствием такого рассуждения должна была быть женитьба Фета по расчету. Марья Петровна Боткина была богата.

Афанасий Афанасьевич хорошо знал крестьянина, обыкновенного житейского мужика со всеми его достоинствами и недостатками, и никогда его не идеализировал. Несколько лет он был мировым судьей в Мценском уезде и, насколько мне известно, справедливым судьей, но он судил не столько по закону, сколько по здравому смыслу. Когда ему во время судебного заседания не удавалось примирить тяжущихся или когда он сердился на них, он прерывал заседание, снимал с себя цепь, призывал тяжущихся к заднему крыльцу, усовещевал и ругал их; даже, как говорили злые языки, случалось, «давал им в морду», чему я, однако, не верю.

Вообще он слыл крепостником, но я не слыхал, чтобы в разговоре он защищал крепостное право. Он, однако, говорил, что над мужиком нужна сильная власть, и писал об этом статьи в реакционной прессе; в либеральных органах его за это жестоко разносили.

Я очень люблю некоторые стихотворения Фета, но мне кажется, что критики его поэзии мало обращали внимания на

проблески прозы в некоторых его стихах. Ведь наряду с удивительными поэтическими образами у него иногда встречаются плоские прозаизмы. Например:

Весенней жажды соприсуц,
На стену лезет плющ.

Или:

Непогода. Осень. Куришь,
Куришь, все как будто мало.

Иногда эти прозаизмы прикрыты у него вычурностью выражений, как, например, в его посланиях к разным лицам.

Таков же он был и в жизни — поэзия и проза в нем совмещались. Это понимал и мой отец. В 1878 году 6 апреля он писал Фету: «Но хотя и люблю вас таким, какой вы есть, всегда сержусь на вас за то, что Марфа печется о мнозем, тогда как единое есть на потребу. И у вас это единое очень сильно, но как-то вы им брезгаете < ... > У вас так много привязанности к житейскому, что если как-нибудь оборвется это житейское, вам будет плохо».

Одно время Фет был близок с Тургеневым, но не думаю, чтобы он был дружен с ним: он не без удовольствия критиковал произведения Тургенева и его самого.

Однажды я слышал, как он сказал про то место в «Асе», где Ася кричит отплывающим в лодке: «Вы въехали в лунный столб»: «Ася не могла этого видеть, потому что лодка, въезжая в лунный столб, разбивает этот столб волнением воды. Тургенев это выдумал».

Мой отец сперва согласился с этим, но как-то после этого, увидав с берега реки, как лодка въехала в лунный столб и не разбила его, он вспомнил слова Фета и признал, что прав был Тургенев, а не Фет.

Фет удивлялся тому, что Тургенев в конце 70-х годов с ним разошелся и даже избегал встречаться, а, казалось, удивительного в этом ничего не было. Тургенев не выносил реакционного направления Фета и его статей в «Русском вестнике» и в «Московских ведомостях».

Когда мой отец стремился к упрощению своей жизни и говорил против роскоши, Фет однажды сказал:

— Я с вами согласен; мне также ничего роскошного не нужно. Я только требую, чтобы у меня была отдельная комната для занятий, чистая постель, мягкий матрац, простые, но сытные кушанья, вроде ростбифа...

Он не продолжал, так как отец на слове «ростбиф» громко рассмеялся. И в самом деле: ростбиф едва ли совместим с отсутствием роскоши.

После кризиса в своем мировоззрении отец все больше и больше расходился с Фетом. Фет сожалел о том, что уже не может, как бывало, «аукаться» с ним. Он не понимал, как глубока была пропасть, открывшаяся между ними. Он иронизировал над тем, что отец вместе с издательством «Посредник» старался заменить лубочную литературу и лубочные картинки более осмысленными произведениями. Фет говорил моему дяде Сергею Николаевичу (об этом моя мать писала отцу 15 марта 1885 года):

«Лев Николаевич хочет с Чертковым такие картинки нарисовать, чтоб народ перестал в чудеса верить. За что же лишать народа этого счастья верить в мистирию, им столь любимую, что он съел в виде хлеба и вина своего бога и спасся? Это все равно, что если б мужик босой шел бы с салным огарком в пещеру, чтоб в темной пещере найти дорогу, а у него потушили бы этот огарок и салом бы велели мазать сапоги, а он — босой!»

Эти слова очень характерны для Фета. Они остроумны, но в них чувствуется и скепсис, и презрение к народу. Именно эти черты были противны моему отцу.

Как известно, Фет уже на восьмом десятке лет написал цикл стихотворений «Вечерние огни», в которых вспоминал любовные чувства, испытанные им в юности. Я однажды слышал, как его приятель Н. Н. Страхов по этому случаю сказал:

— Фет — настоящий сатир. Посмотрите на него: он и по наружности похож на старого сатира.

И в этом была доля правды.

Как скептик и язычник, Фет мужественно относился к смерти. Я думаю, что он был искренен в следующем его обращении к смерти, навеянном идеей Шопенгауэра, что мир есть мое представление:

С м е р т и

Я в жизни обмирал и чувство это знаю.
Где мукам всем конец и сладок томный хмель.
Вот почему я вас без страха ожидаю.

Ночь безрассветная и вечная постель.

Пусть годовы моей рука твоя коснется,

И ты сотрешь меня со списка бытия.

Но пред моим судом, покуда сердце бьется,

Мы — силы равные, и торжествую я.

Еще ты каждый миг моей покорна воле,
Ты — тень у ног моих, безличный призрак ты,
Покуда я дышу, ты — мысль моя, не боле,
Игрушка шаткая тоскующей мечты.

1883—1884.

Фет умер в 1892 году. Он страдал болезнью дыхательных органов — одышкой и бронхитом, последствием чего была большая слабость. В день своей смерти он был еще на ногах, но, чувствуя приближение роковой минуты, уговорил жену выехать за какой-то покупкой и умер, присевши на стул в своей столовой.

ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ РЕПИН

Я не раз встречал Илью Ефимовича Репина в нашем доме в Москве и в Ясной Поляне. В первый раз я его видел в 1884 году, в нашем хамовническом доме. Он производил впечатление молодого человека, хотя ему уже было 40 лет; его лицо было без морщин; он был хорошо сложен, скорее худ, чем полон. Он носил бородку клином, густые волосы его были не так длинны, как у некоторых художников того времени. Одет он был опрятно, без претепзий; на его лице часто появлялась добродушная хитрая «хохлацкая» улыбка.

В 1884 году Репин приезжал на Передвижную выставку, на которой была выставлена его картина «Не ждали». Отец был на выставке, но эта картина, по-моему, одна из лучших репинских картин, не произвела на него сильного впечатления. Он даже находил в ней технические недостатки, говорил, что пол в этой картине кажется ему покатым. Насколько это верно — не мне судить. В следующем, 1885 году Репин опять приезжал в Москву вместе с Передвижной выставкой. Выставленная на ней его картина, изображающая убийство Иоанном Грозным сына, тогда произвела сильное впечатление на публику, также и на моего отца. О ней много говорили, хвалили и порпцали ее. Отец под первым впечатлением написал Репину (письмо от 31 марта 1885 года): «Молодец Репин, именно молодец! Тут что-то бодрое, сильное, смелое и попавшее в цель... Хорошо, очень хорошо, и хотел художник сказать значительное и сказал вполне и ясно, и, кроме того, так мастерски, что не видать мастерства». Я тогда слышал от отца те же мнения; кроме того, он указывал, с каким мастерством и смелостью Репин написал красную кровь на розовом фоне одежды сына.

Позднее, в 90-х годах, при посещении Третьяковской гале-

реп, куда эта картина была продана, отец почему-то отпесся к ней отрицательно, вероятно потому, что она не соответствовала его взглядам, выраженным в его статье об искусстве.

В 1887 году летом Репин приезжал в Ясную Поляну для того, чтобы, по заказу П. М. Третьякова, написать портрет Льва Толстого. Тогда он написал два портрета — один за письменным столом, второй — в кресле. Первый портрет ему самому не понравился. Он говорил, что в нем «нет воздуха», и перспектива неверна. Однако в этом портрете глаза, острые небольшие серые глаза Льва Николаевича написаны так поразительно верно, как они не изображены ни на каком другом портрете Толстого — того же Репина или других художников. Первый портрет остался в Ясной Поляне: Репин подарил его нашей семье. Второй общезвестный превосходный портрет был продан им в Третьяковскую галерею.

Репин прожил тогда в Ясной Поляне одну неделю. В то время отец делал всю мужицкую работу для вдовы Анисьи Копыловой — косьбу, пахоту и пр. Репин пошел на поле за деревню, где отец пахал, и там его зарисовал. Для этого ему приходилось перебегать с одного конца поля на другой. Из этой зарисовки возникла известная картина и хромолитография «Толстой на пашне». В этой картине есть недостаток, на который обратил внимание сам Лев Николаевич, — не нарисованы вожжи.

В конце 80-х годов Репин под влиянием моего отца написал несколько картинок к его текстам для народного издательства «Посредник»: «Чем люди живы?», «Два брата и золото», «Вражье лепко, а божье крепко», «Как чертенок краюшку выкупал», а также и иллюстрации к «Смерти Ивана Ильича» и «Власти тьмы».

В 1891 году Репин прожил в Ясной Поляне с 29 июня по 16 июля. Он за это время написал: «Толстой за работой», «Толстой в саду», «Толстой в лесу» (босой) и сделал бюст Толстого, хотя скульптурой никогда специально не занимался. Тогда же, если не ошибаюсь, он написал хороший портрет моей сестры Татьяны и карандашный рисунок «Софья Андреевна с младшими детьми Сашей и Ванечкой». В этом рисунке так мало сходства с оригиналами, что если бы не было надписи, я бы не узнал в нем свою мать, сестру и брата.

Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что изображения Толстого 1891 года менее удачны, чем прежние портреты Репина. По-видимому, на него несколько повлияли новые течения в живописи, например, импрессионизм, и он стал дополнять,

действительность своим воображением. Таким воображаемым Толстым он изобразил Толстого на молитве. Эта картина написана в 1901 году по этюду, сделанному им в 1891 году. В ней Толстой изображен босым, с каким-то несвойственным ему страдальческим выражением лица. Отец был недоволен тем, что Репин изобразил его босым. Он редко ходил босиком и говорил: «Кажется, Репин никогда не видал меня босиком. Недостает только, чтобы меня изобразили без панталон».

Слова отца, что его изобразят без панталон, оказались пророчеством. В 1903 году была выставлена аллегорическая картина Бунина, изображавшая Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. Горького и самого И. Е. Репина в виде рыбаков. Эти рыбаки, в одних рубашках, разумеется, без панталон, с голыми ногами тащили невод, полный рыбы.

В 1892 году Репин ездил в Данковский уезд, где в то время Лев Николаевич организовал помощь голодающим и открывал для них столовые. Там Репин написал этюд «Толстой на голоде», который я не назову удачным.

В 1894 году отец после посещения Третьяковской галереи говорил, что он долго не мог отойти от «Ареста пропагандиста» Репина, что ему очень понравилась «На исповеди», но он отрицательно отнесся к «Иоанну Грозному» и «Не ждали» (Письмо С. А. Толстой к дочери Татьяне).

В 1909 году Репин приезжал в Ясную Поляну вместе со своей второй женой, Н. Б. Нордман. Отец очень сочувствовал тому, что Репин и его жена были вегетарианцами. Кажется, в этот свой проезд Репин написал Льва Николаевича вместе с Софьей Андреевной. Моя мать сделала фотографию, в которой она и отец сидели в той же обстановке и в тех же позах, что и на картине Репина. Из сравнения картины Репина с этой фотографией можно видеть, насколько картина Репина неудачна.

После смерти Льва Николаевича Репин написал его изображение в виде старца не от мира сего, поднявшего «очи горé» и на фоне розовых цветов. Я считаю, что эта картина основана на ложной концепции. Отец не был человеком «не от мира сего». Ничто земное никогда не было ему чуждо. Вспоминаю, как он, будучи уже глубоким стариком, однажды сказал: «Вы думаете, что нам, старикам, уже ничего не хочется! Хочется так же, как молодым. Я чувствую в себе возможность всяческих пороков. Но мы, старые люди, лучше владем собой. Моисей (не думайте, что я сравниваю себя с ним) говорил, что всякие пороки гнездятся в нем, но он сильнее их».

Скажу пескольцо слов о взаимных отношениях отца и Репина. Отец любовался талантом Репина, его техникой, его широкими, смелыми мазками и высоко ценил некоторые его картины. Однако его оценка относилась не столько к художественности его картин, сколько к их сюжетам. Я помню, что он хвалил «Бурлаков», «Проводы новобраца», «Исповедь», «Арест пропагандиста», «Дуэль», портреты. Но он говорил, что Репин — не религиозный человек, что у него нет твердых убеждений, что он не знает, что писать, и не знает, что хочет выразить своими картинами. Таковы его картины «Святой Николай», «Иди за мной, сатана» («Искушение»), «Запорожцы», «Какой простор» и др. Свое отношение к «Крестному ходу» он выразил в следующих словах, которые я выписываю из его предисловия к сочинениям Мопассана (1894):

«Помню, знаменитый художник живописи показывал мне свою картину, изображавшую религиозную процессию. Все было превосходно написано, но не было видно никакого отношения художника к своему предмету.

— Что же вы считаете, что эти обряды хороши, и их нужно совершать или не нужно? — спросил я художника.

Художник с некоторой снисходительностью к моей наивности сказал мне, что не знает этого и не считает нужным знать. Его дело — изображать жизнь.

— Но вы любите по крайней мере это?

— Не могу сказать.

— Что же, вы ненавидите эти обряды?

— Ни то, ни другое, — с улыбкой сострадания к моей глупости отвечал современный высококультурный художник, изображающий жизнь, не понимая ее смысла и не любя и не ненавидя ее явления. Так же, к сожалению, думал и Мопассан.

Подтверждением словам моего отца, что Репин, уже знаменитый художник, после того, что он написал такие картины, как «Бурлаки», «Иван Грозный» и др., не знал, что ему писать, отчасти может служить то, что в 1898 году он усиленно просил Льва Николаевича дать ему сюжет для картины.

Отношение Репина ко Льву Николаевичу было сложно. Он, разумеется, восхищался им как художником слова, но я думаю, что он не сочувствовал его этическим и философским взглядам.

Я не знаю мнений Репина о первом периоде творчества Л. Толстого, но вот что он писал ему про «Власть тьмы» в январе 1887 года:

«Лев Николаевич!

Вчера читалась Ваша новая драма у В. Г. Черткова. Эта такая потрясающая правда, такая беспощадная сила воспроизведения жизни, и, наконец, после всего этого вертена семейной грязи и разврата она оставляет глубоко нравственное трагическое настроение. Это неизгладимый урок жизни.

Простите мою откровенную дерзость. Давно уже я не был ничем так глубоко поражен в жизни. Только одно место неприятно поразгло меня. И, как часто бывает, я рассудил, что оно должно быть неверно. Это — петля. Говорят, что человек, решившийся на петлю, уже непременно приведет это решение в исполнение. И человек, способный на самоубийство, едва ли способен на раскаяние на миру. Вы, конечно, об этом больше думали и больше знаете: но эта отвратительная сцена и драма Никиты с работником за веревку просто кажется невозможной.

В монологе он мог бы выразить свою моментальную мысль повеситься, но тут же раздумать и дойти до этого грандиозного раскаяния, до которого он дошел. А на сцене лезть в петлю! Это — убийственно тяжело для зрителей.

Еще раз прошу прощения за это замечание, но решительно не могу не написать Вам этой правды. Мне она кажется важной.

Вас глубоко обожающий, Ваш покорнейший слуга

И. Репин.

Г-н Стахович читает хорошо Вашу вещь. Удивляет, отчего ее запрещают. Боже мой, боже мой! Какие тупицы стоят везде на важных постах!»

Следующий разговор отца с Репиным, сохранившийся в моей памяти, дает понятие об отношении Репина к этическим взглядам Льва Николаевича. Однажды отец рассказал ему про письмо одного крестьянина, где этот крестьянин сравнивает Россию с опрокинутой телегой, которую везет рабочий народ. «Все мы,— сказал Лев Николаевич,— помещики, ученые, писатели, художники, сидим на этой телеге, и нас везет рабочий народ. Первое, что мы должны сделать, это — слезть с этой телеги». Репин на это сказал, улыбаясь своей хитрой улыбкой: «Я с вами согласен, Лев Николаевич. Правда, я сижу на этой телеге, но я вроде певца, который бы пел и этим утешал везущих».

Репин страстно любил свое искусство. Он смотрел на лю-

дей прежде всего с точки зрения их пригодности для изображения их на полотне или на бумаге. Однажды моя сестра Татьяна по поводу одного его этюда сказала ему: «Как вы талантливы, Илья Ефимович!» На что он сказал, улыбаясь: «Я не талантлив, я трудолюбив». Что он будто бы не талантлив, очевидно, было сказано для смирения паче гордости; и этому трудно поверить, а что он был трудолюбив — это он доказал своей жизнью. Он и ко Льву Николаевичу относился, как к превосходной и благодарной натуре, и каждый раз, когда бывал у него, рисовал или писал с него. Однако с годами он все меньше и меньше понимал его душевную жизнь, что и отразилось на его позднейших изображениях Льва Толстого. Это было уже не то, что его великолепные портреты 1887 года.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЕ

Н. Н. Ге приехал к отцу в первый раз в марте 1882 года. Он раньше с отцом знаком не был и приехал потому, что его мировоззрение, особенно его отношение к христианству, было близко к новому мировоззрению отца.

Не буду повторять то, что о нем писали П. И. Бирюков, В. В. Стасов, моя сестра Татьяна и др. Приведу только кое-что из своих воспоминаний.

Единомыслие Николая Николаевича с моим отцом, его любовь к нему и привлекательность личности Николая Николаевича сразу сблизили его не только с моим отцом, но и со всей нашей семьей. Мы были всегда рады, когда появлялся этот красивый пожилой человек, с живыми светлыми глазами, тонким носом, седой бородой и длинными полуседеыми волосами вокруг лысины, жизнерадостный и доброжелательный к людям, друг нашего отца и всей нашей семьи. Его наружность и живость его характера напоминали об его французском происхождении.

В первые же дни знакомства с отцом он предложил ему написать портрет моей сестры Тани. Но отец сказал ему: «Если вы хотите сделать мне подарок, напишите портрет моей жены».

И Ге стал писать портрет моей матери. Он тогда не понимал ее и изобразил в виде светской дамы в бархатном платье; этот портрет ему самому не понравился, и он его уничтожил.

— Я не то сделал,— говорил Ге,— я написал светскую даму, а Софья Андреевна прежде всего — мать.

Позднее он написал другой, более удачный портрет матери с трехлетней дочерью Сапей на руках.

Моя мать дружелюбно относилась к Николаю Николаевичу, так же как и он к ней. Он, бывало, говорил ей: «Мамаша, нет ли у вас чего-нибудь вкусенького?» Она улыбалась и доставала ему вкусенькое — домашнее варенье, пастилу, смокву и т. п.

Нам, детям Льва Николаевича, он говорил «ты». Как-то он разорвал в колене свои брюки и обратился к сестре Маше: — Маша, не можешь ли ты зашить мне мои панталонцы? Маша ему ответила:

— Хорошо, когда вы ляжете спать, дайте мне ваши панталоны, и я зашью их.

— Нет, ты зашей сейчас, на мне, — сказал Николай Николаевич.

Маша рассмеялась, но отказалась на нем зашивать его брюки и зашила их, когда он их снял и лег спать.

Я с ним иногда спорил и раз, не помню про какое-то его мнение, сказал полушутя: это скороспешное обобщение. Он покачал головой и сказал: «А ты, Сережа, ладивот, настоящий ладивот!» (Ладивот — вместо идиот). Конечно, я не обиделся.

Я должен признаться, что не особенно интересовался его суждениями об Евангелии, более или менее туманными и навеянными моим отцом, но меня привлекали его жизнерадостность, талантливость, любовь к моему отцу, дружеское отношение ко всем нам и вообще, любовное отношение к людям. И я сочувствовал тому, что он, как правдивый художник, не мог изображать Христа иначе, как реально, что в то время в России было ново и смело.

Некоторые его суждения были верны и метки, другие — наивны. Например, он говорил про Рафаэля:

— В Рафаэле чувствуется искренняя детская вера. Он христианин, в противоположность своему современнику Микель Анджело — язычнику в душе.

До знакомства с моим отцом Николай Николаевич несколько лет почти ничего не писал. После знакомства он опять с увлечением стал работать.

С 1882 года до своей смерти, в 1894 году, Ге написал, кроме портретов и иллюстраций к рассказу «Чем люди живы?», ряд картин, иллюстрирующих жизнь Христа: «Что есть истина?», «Повинен смерти», «Христос в Гефсиманском саду», «Выход после тайной вечери», «Совесть», «Распятие» и др. Он с особою

любовью относился к Христу как человеку. Некоторые его эскизы остались неоконченными.

Ге был очень чувствителен к замечаниям о его картинах, охотно рассказывал про свои сюжеты, любил, когда хвалили его работу, и сам себя похваливал. Моя мать говорила: «Николай Николаевич лучше говорит про свои картины, чем их пишет». И в этом была доля правды: его кисть не поспевала за его воображением. Он долго обдумывал свои сюжеты, но быстро набрасывал их на полотно, и либо бросал свою работу, либо никак не мог остановиться в ее переработке, причем экономил холсты и нередко писал по уже использованному холсту. Он много раз, и каждый раз по-новому, писал свое «Распятие». Некоторые его этюды к этой картине производили очень сильное впечатление, но он оставался недовольным ими и уничтожал их или замазывал новыми эскизами. Наконец он остановился на том моменте, когда Иисус испустил дух, что привело в ужас разбойника, только что перед этим слышавшего от него слова любви и правды.

Отец высоко ценил картины Ге и хотя говорил, что вообще нельзя реально изображать Христа как человека, почему-то делал исключение для Ге и восхищался его картинами. Высоко ценя его «Распятие», он, однако, сказал: «Николай Николаевич увлекся выдуманым им романом Иисуса с разбойником. Эту картину он переписал» (то есть слишком много работал над ней).

В 80-х годах Николай Николаевич написал портреты моей матери, сестры Маши и моего отца и нарисовал портрет сестры Тани. Портрет моего отца его работы я считаю лучшим из всех портретов Льва Толстого по сходству и выражению лица, несмотря на опущенные глаза. Я думаю, что этот портрет особенно удачен потому, что отец для него не позировал, а в то время, когда Ге писал его, так углублялся в свою работу, что забывал о присутствии художника.

Николай Николаевич был веселым человеком, любил пошутить и сам рассказывал смешное.

Николай Николаевич познакомил нас со своей семьей — женой Анной Петровной, рожденной Забелло (Анечко, как он ее называл), и двумя сыновьями, Николаем и Петром. У Анны Петровны был здоровый и практический ум; она оберегала своего мужа и удерживала его от увлечений. Он ценил ее заботы о нем и покорялся ее практическим советам.

Старший сын Николая Николаевича, «бесконечно любимый Колечка» (как он его называл), был художественно одарен,

по жизнь его сложилась так, что он не оставил о себе заметных следов в искусстве. В 1886 и 1887 годах он заведовал издательским делом, предпринятым моей матерью, но в 1887 году он переехал на хутор своего отца, где несколько лет старался проводить в жизнь учение Л. Толстого и вместе со своей некультурной подругой (Гапкой) работал по-крестьянски в поле и огороде. Приблизительно в половине 90-х годов он отошел от «толстовства», но не относился к нему враждебно. Потом он перешел во французское гражданство и жил за границей. Он не принадлежал ни к какой религии, ни к какой партии. Как добродушный, правдивый и остроумный человек, он был на редкость привлекателен и очень сблизился со всей нашей семьей, в частности со мной. Он был как бы родной. Мы его иначе не называли, как «Колечка».

Младшего сына Ге — Петра Николаевича — я мало знал. Он жил в Петербурге и редко бывал у нас.

Николай Николаевич (отец) умер на своем украинском хуторе, от разрыва сердца, 2 июня 1894 г. Мой отец живо почувствовал утрату своего преданного друга и единомышленника. В письме к И. И. Горбунову-Посадову от 12 июня он в следующих словах так охарактеризовал Н. Н. Ге.

«Это был удивительный, чистый, нежный, гениальный старший ребенок, весь по краям полный любовью ко всем и ко всему, как те дети, подобно которым нам, надо быть, чтобы вступить в царство небесное. Детская была у него и досада и обида на людей, не любивших его и его дело... Поднимает такая смерть, такая жизнь».

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ БУТУРЛИН

Бутурлины были богатыми и родовитыми помещиками и были воспитаны так, как это полагалось в таких семьях.

Их было три брата: Сергей, Александр и Дмитрий. Старший и младший были генералами, а средний, Александр, был «политическим преступником».

Александр Сергеевич родился в 1845 году, окончил курс Московского университета по естественному факультету. Он мне рассказывал, что в молодости познакомился с известным анархистом М. Бакуниным и вместе с ним в компании молодежи в красных шапочках разъезжал по Швейцарии. Вероятно, это знакомство положило начало его карьере политического преступника. Он говорил, что в общей сложности просидел три

года в тюрьмах и был в ссылке семь лет, все это в административном порядке и ни разу не был приговорен судом.

В 1869 году он был арестован и выслан на два года в Ярославскую губернию; в 1871 году он привлекался по делу Нечаева «о составлении заговора с целью ниспровержения существующего строя». Бутурлин мне говорил, что самого Нечаева он никогда не видел и только числился в одной из тех пятерок, которые должны были, по проекту Нечаева, произвести революцию. По суду он был оправдан.

В 1876 году Александр Сергеевич привлекался по «делу пятидесяти», и опять был судом оправдан. В конце 1881 года был приговорен в административном порядке на пятилетнюю ссылку в Тобольск, но раньше окончания срока переведен в Симбирск. Отбыв эту ссылку, он поселился в Москве, однако продолжал считаться «неблагонадежным», и его еще не раз арестовали. Он говорил, что его арестовали перед проездом царя через Москву, после покушения на царя и на других правительственных лиц, а также по неизвестным ему поводам.

В марте 1882 года мой хороший знакомый, бывший репетитор брата Ильи, Н. Е. Богоявленский посоветовал мне познакомиться с Александром Сергеевичем как с социалистом и знатоком политической экономии. В то время А. С. Бутурлин сидел, в ожидании высылки, в Бутырской тюрьме. 5 марта 1882 года моя мать писала отцу: «Прислал Бутурлин сказать, что его выпускают ежедневно от четырех до семи домой, и если его хотят видеть, то могут прийти. Сказали, что ты в деревне, и слава богу, что тебя нет. Ты по доброте, может быть, и пошел бы ему сказать слово утешения, а теперь не можешь. Бог с ними, опять, пожалуй, навлекло бы какие-нибудь подозренья. Сережа хочет идти, а я его сильно отговариваю, не знаю, послушается ли?»

Я не послушался и пошел к Бутурлину. В те годы я мнил себя «радикалом» и, понятно, отнесся к Александру Сергеевичу с некоторым подобострастием, как к старому революционеру. Меня любезно встретил красивый, высокий, белокурый, еще не старый человек (37 лет). Он говорил мне про железный закон минимума заработной платы и незаслуженную прибыль капиталистов. Я внимал ему с благоговением.

У Бутурлиных было хорошее состояние, но оно было в пожизненном владении их матери, хозяйство в имениях велось плохо, доходов получалось мало, а Александр Сергеевич был женат, у него было трое детей, и денег на жизнь не хватало. Он был очень щепетлив в денежных делах и решил быть

самостоятельным и увеличить свой доход личным заработком в качестве врача. Для этого, когда он был восстановлен в правах и когда ему было уже пятьдесят лет, он поступил студентом на медицинский факультет. Странно было видеть этого красивого седоволосого человека в студенческой форме. Через три года он блестяще окончил курс.

После 1882 года я много лет не встречал Александра Сергеевича. Не помню, когда именно я возобновил свое знакомство с ним. Кажется, это было в конце 90-х годов. Он жил уже один, в верхнем этаже дома Бутурлиных на Знаменке. Позднее он переехал на небольшую квартиру на Плющихе, где жил до своей смерти. Летом он на дачу или в деревню не переезжал и редко выезжал из Москвы.

Насколько мне известно, его медицинское образование не дало ему заработка. Он редко лечил и не брал гонораров. Однако он продолжал интересоваться медициной и следить за новыми приемами этой науки.

Большую часть дня он проводил за чтением. Один в своей комнате, он читал, почти всегда вслух, с карандашом в руке. Он редко записывал свои мысли по поводу прочитанного, но своим четким и красивым почерком острым карандашом исправлял опечатки в книгах и отмечал ошибки авторов. Бутурлин пронизировал над собою, говоря, что его настоящее призвание — это быть корректором. Он ложился спать очень поздно — в три, четыре часа ночи. Очень много курил; груда папиросных коробок лежала у него на подоконнике. «Мне нужно много папирос, но мало спичек, — говорил он, — я зажигаю папиросы одну от другой».

Он редко ходил в театр, музыку он называл неприятным шумом. По вечерам он чаще всего бывал у «одной своей хорошей знакомой», как он называл Марию Александровну Склярину, с которой был в связи. Она была родом из почтенной дворянской семьи, но вела жизнь богемы. Она ему изменяла, а он говорил: «Я совсем не ревнив; я не знаю чувства ревности». Бывал он также и у других своих знакомых, в том числе у меня, когда я женился.

После того, как его «хорошая знакомая» умерла, он стал жить еще более уединенно и только изредка проводил вечера вне дома. Но Александр Сергеевич был рад, когда к нему приходили приятные ему люди. Он был всегда учтив и любезен. Его деликатность доходила до того, что, несмотря на свою седину, он на конке и на трамвае уступал свое место женщинам,

У Александра Сергеевича было своеобразное отношение к своему имуществу: он был по природе скуповат, но в то же время бескорыстен. Жил он скромно, на себя тратил мало: ходил пешком или ездил на конке и на трамвае, редко на извозчике, одевался в старое платье, так что брюки его лоснились. Обед ему готовила какая-то неумелая женщина.

Не помню, когда умерла его мать, дожившая до глубокой старости. После ее смерти имения Бутурлиных, бывшие в ее пожизненном владении, унаследовали три брата Бутурлины: оба генерала и политический преступник. Долго они не могли разделить между собой свое наследство. Происходили комические сцены, причем Александр Сергеевич проявил большое бескорыстие, несмотря на то, что должен был соблюсти интересы своих детей.

Все же ему достались крупные имения. Хозяйством он до и после раздела совсем не занимался. Например, у него было выгодное имение с заливными лугами в Коломенском уезде в ста верстах от Москвы. Оно должно было дать хороший доход даже при небольшом присмотре, но никакого дохода не давало. Александр Сергеевич никогда в нем не был.

Бутурлин познакомился с моим отцом в декабре 1881 года. Лев Николаевич приезжал к нему, чтобы выразить ему сочувствие по случаю его ареста и высылки в Сибирь. Отец был у Бутурлина, когда ему было разрешено уезжать из тюрьмы домой на три часа.

18 апреля 1888 года моя мать писала отцу из Москвы в Ясную Поляну: «Вечером сидел Бутурлин и дядя Костя. Бутурлин очень жалок и продолжает мне быть симпатичен. Завтра он едет с нашими на выставку смотреть картину Поленова, а обедать к нам».

Если я не ошибаюсь, Бутурлин был «очень жалок» потому, что он в то время разошелся с женой. Об отношениях с ней он советовался с моим отцом. Отец не советовал ему расходиться, но этому совету он не последовал.

В 1902 году Александр Сергеевич был в Ясной Поляне. Лев Николаевич при нем читал рассказ Чехова «Душечка» и хохотал до слез.

В октябре 1903 года, в Ясной Поляне, Лев Николаевич читал Бутурлину и Д. В. Никитину свою статью о Шекспире.

В феврале 1904 года Софья Андреевна перевозила рукописи Толстого в Исторический музей. А. С. Бутурлин, сочувствуя этому, помогал ей в перевозке.

2 июля 1910 года Бутурлин в своем письме ко мне написал следующее:

«Я 20 июня ездил с Г. М. Беркенгеймом на дачу к Черткову, чтобы повидаться с Львом Николаевичем.

Григорий Моисеевич вернулся в Москву в тот же вечер, а я остался ночевать и вернулся в Москву уже на следующий день вечером вместе с актером Орленевым.

Каких-каких только людей не встретишь у Льва Николаевича! Самых разнообразных. В pendant¹ к помянутому актеру я познакомился там с пренеприятным скопцом, который 30 с лишком лет провел в ссылке в Якутской области.

Лев Николаевич поразил меня своим необыкновенно свежим и здоровым видом, своей бодростью, своей напряженной деятельностью. Можно было бы подумать, что ему 60 лет, а не без малого 82. Расположение духа его было прекрасное. Увы! приходится сознаться, что жизнь в Ясной Поляне не *прописна* (простите этот варварский неологизм от слова *proписе*²) Льву Николаевичу и что в гостях он чувствует себя гораздо лучше, чем дома.

Грустно сознаться в этом, но, к сожалению, это несомненно так».

20 июня Лев Николаевич отметил в своем дневнике: «Вечер много народа. Милый Бутурлин».

Я обыкновенно приходил к Александру Сергеевичу ночью — не раньше десяти часов и нередко просиживал у него до трех. С ним интересно было разговаривать. Предметами наших разговоров были: литература, особенно Пушкин и Лев Толстой, критика так называемого священного писания, которой он специально занимался, и текущие события, подготовившие революцию, которым он горячо сочувствовал: студенческие волнения, забастовки, убийства Сипягина, Плеве и вел. кн. Сергея Александровича и пр.

Передам некоторые суждения и рассказы Александра Сергеевича так, как я их запомнил. В то время я их не записывал и расскажу «своими словами».

Александр Сергеевич с большим уважением относился к Л. Н. Толстому, восхищался его художественными произведениями и горячо сочувствовал его критике православия и современного государственного и социального строя.

¹ дополнение (франц.).

² благоприятна (франц.).

Про «Плоды просвещения» он говорил:

— Незадолго до французской революции появилась комедия «Свадьба Фигаро», в которой был осмеян высший класс Франции. Автором ее был Бомарше — плебей и авантюрист. А кем осмеян русский высший класс? Выходим из того же класса — графом и богатым помещиком Л. Н. Толстым.

Если бы Бутурлин дожил до 1917 года, он вероятно сказал бы, что «Плоды просвещения» появились незадолго до русской революции так же, как «Свадьба Фигаро» незадолго до французской революции.

Религиозных убеждений Льва Николаевича Александр Сергеевич не разделял, хотя с уважением относился к ним. Он говорил:

— Ваш отец требует, чтобы мы исполняли волю бога, которого он называет отцом или хозяином. Мне претит требование служить какому-то «хозяину». Я хочу быть свободным. Но, положим, мы должны исполнять волю «хозяина». Как узнать эту волю? Лев Николаевич утверждает, что она заключается в основном правиле: не противься злу, и в пяти правилах, почерпнутых им из Евангелия: не гневайся, не прелюбодействуй, не клянись, не суди, не воюй. Эти правила высказаны людьми, а не «хозяином». Следовательно, можно с ними не соглашаться. Ведь Лев Николаевич не признает божественности Христа. Можно ли основывать этику на этих отрицательных правилах: не делай того-то и того-то? Лев Николаевич верно понял основную идею христианской этики: не противься злу. Я с ней не согласен и думаю, что она возникла в эпоху римского владычества, когда бесполезно и даже невозможно было противиться злу, т. е. власти римских императоров. Моралисты, в том числе и Христос, мало улучшили нравственность человечества. Войны, убийства, казни, насилия, нищета продолжают царствовать, как будто никто и не называл все это злом.

Я возразил:

— Однако разве отношения между людьми не стали лучше хотя бы благодаря христианству?

— Отношения между людьми улучшаются вследствие улучшения их социального устройства, — говорил Александр Сергеевич, — например, они улучшились после отмены рабства. Главная причина зла в мире — это несовершенные формы социальной жизни человечества.

Когда кто-то сказал при нем, что история русского народа шла по другому пути, чем история западноевропейских наро-

дов, потому что русский народ принадлежит к особой расе, он сказал:

— Раса не играет большой роли в истории народов. Русский фабричный рабочий или ремесленник чувствует себя более близким с немецким фабричным рабочим или ремесленником, чем с русским фабрикантом. Классовые различия резче, чем расовые.

А. С. Бутурлин свободно читал по-французски, по-немецки и по-английски. Он прочел много книг по критике ветхого и нового завета — Рейса, Репана, Штрауса и др.

Дочь А. С. Бутурлина Барвара Александровна вышла замуж за сына В. К. Истомина, управляющего канцелярией вел. кн. Сергея Александровича. Истомин был известен как упорный реакционер, противник либеральных реформ, сторонник самодержавия, сочувствовавший преследованию и казни революционеров.

— Вы понимаете,— говорил мне Александр Сергеевич,— что мне неприятно даже быть знакомым с Истоминным. А теперь приходится быть его сватом.

Как благовоспитанный человек, он поехал к Истомину с визитом. Против ожидания, его поездка сошла благополучно. Потом он мне говорил:

— Мы не разговаривали с Истоминным ни о наших политических взглядах, ни о моем прошлом, ни о его службе. Мы говорили только о литературе. Он любит и хорошо знает русских писателей. Мне даже приятно было с ним разговаривать.

Я видел Бутурлина вечером 4 февраля 1905 года, в тот день, когда был убит вел. кн. Сергей Александрович. Александр Сергеевич в то время жил на Знаменке, недалеко от Кремля. Он рассказывал:

— Когда я услышал взрыв, я сообразил, что это дело революционеров. Через несколько минут я узнал, что убит великий князь. Я возрадовался и пошел в Кремль. Власти растерялись: Троицкие ворота не были заперты, и в Кремле собралось довольно много народа. Я видел разломанную карету, трупы лошадей и кусочек мозга великого князя, прилипший к стене. От его тела осталось очень мало; взрыв был очень сильный.

В октябре 1905 года А. С. Бутурлин участвовал в грандиозной процессии, провожавшей тело убитого Баумана. Вечером того же дня он говорил мне:

— Проходя вместе с процессией по Тверской, я собственными глазами видел, как красный флаг развевался у подъезда

дома генерал-губернатора. Теперь я могу сказать, как Симеон: «пыне отпущаеши раба твоего», и могу спокойно умереть.

Иногда Бутурлин рассказывал анекдоты из прошлой жизни. Например:

Во время франко-прусской войны 1870/71 года некто Насакин, уездный предводитель дворянства и статский советник, очень интересовался военными действиями, сочувствовал французам и никак не мог помириться с тем, что генерал Трошю сдал Париж. Газетные известия его не удовлетворяли, и он решил поехать в Париж и спросить самого Трошю, почему он сдал Париж. В Париже он остановился в плохой гостинице и заказал себе французскую визитную карточку, на которой значилось: «M. Nasakine Maréchal et le Conseiller d'état» По-французски это звучало гордо: «Насакин, маршал и государственный советник». Он поехал к Трошю и, не застав его дома, оставил ему свою карточку. Трошю, очевидно, подумал, что его посетила важная персона, и на другой же день поехал в полной генеральской форме отдавать этой персоне визит. Насакин не удивился, встретил Трошю в чем был — в халате, с длинной трубкой в руке.

— А, бонжур, женераль Трошю,— сказал он на плохом французском языке,— пуркуа рандю Пари? ¹.

История умалчивает об ответе Трошю.

Однажды Александр Сергеевич рассказал мне о своем деде: «Человек, доживший до восьмидесяти пяти лет, был свидетелем истории целого столетия, он не только сам многое пережил, видел и слышал, он знал старых людей, родившихся задолго до своего знакомства с ними. Я хорошо помню своего деда, князя Сергея Ивановича Гагарина, и его рассказы. Когда я при нем упомянул о Хераскове, он сказал: «Я знал Хераскова — какая это древность! Не правда ли, кажется, что это было очень давно». Дед был флигель-адъютантом у Павла I. Он говорил, что помнил Павла, как будто только вчера его видел. Дед был близорук и носил очки. Павел как-то спросил его:

— Носите вы вогнутые или выпуклые стекла?

— Я близорук, государь, поэтому ношу выпуклые стекла.

— Нет, если вы близоруки, вы должны носить вогнутые стекла,— сказал Павел.

— Государь, близорукие носят выпуклые стекла.

— Нет, вогнутые.

— Выпуклые, государь.

¹ Здравствуйте, генерал Трошю. Почему сдали Париж?

Павел не любил противоречия и стал сердиться. Кто-то дернул Гагарина за фалду и знаком дал ему понять, что пора замолчать. Потом приятели говорили ему:

— Ты с ума сошел — спорить с ним! Он тебя за это в Сибирь сошлет.

В 1915 году А. С. Бугурлин стал болеть. Он, как врач, не без основания предполагал, что у него был рак мочевого пузыря, но болей не чувствовал, только сердце постепенно ослабевало. Он стал поговаривать о смерти.

— Я знаю,— говорил он,— что скоро умру, и рассудок мой мирится с этим, но когда я подумаю, что мое тело положат в гроб, что крышку гроба зашият и меня закопают, меня охватывает ужас. Я отлично знаю, что мой ужас неразумен, что тогда я ничего чувствовать не буду, но я не могу побороть в себе это чувство. Прочтите, как ваш отец писал про Ивана Ильича, как он «лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки, утонувши окоченевшими членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшеюся головой на подушке, и выставлял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб со взлизями на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу». Ведь и я буду так же лежать. А иногда у меня бывает и такое чувство — и это также неразумно — что я не умру. Где-то я читал, что один француз начал свое завещание словами: *Не когда, а если когда-нибудь умру*. Этот француз как будто считал, что умирать не обязательно.

— Я не был несчастлив в своей жизни,— говорил также Александр Сергеевич. — Лучшие радости мне давали друзья и литература, особенно Пушкин и Лев Толстой. Вы посмеетесь надо мной,— я уподобляюсь дяде Пушкина, Василию Львовичу Пушкину, сказавшему перед смертью: «Катенин плохо пишет». Тогда его племянник Александр Сергеевич Пушкин вышел в другую комнату и сказал: «После этих слов дяде больше не следует ничего говорить. Пусть эти слова будут его предсмертными словами». Пускай и мои слова о моей любви к литературе будут моими предсмертными словами.

Так иронизировал А. С. Бугурлин над самим собой.

4 апреля 1916 года, когда ему было особенно плохо, я сидел с его племянницей Марфой Сергеевной и маленькой актрисой Юленькой (ученицей г-жи Сплиной, знакомой А. С.) в столовой, сиделки пошли переодеваться на ночь. Я собрался уходить домой и пошел проститься с ним; вошли Юленька и сиделки. Он неподвижно лежал на спине и был очень бледен.

— Что вы сделали, Александр Сергеевич,— сказала одна из сиделок,— вам ведь вредно вставать с постели. Отчего вы пас не позвали?

Он промолчал. Вдруг по его лицу прошло какое-то еле заметное движение, он широко раскрыл глаза, как будто чему-то удивился и сказал:

— Я умираю.

В этих словах не слышалось ни ужаса, ни сожаления о конце жизни, ни страдания, только — удивление. И тотчас же глаза его потускнели, тело вытянулось и стало неподвижно. Он умер. Это был паралич сердца. Никакой агонии не было.

Похоронили Александра Сергеевича на кладбище Данилова монастыря. На похоронах были только его дети и немногие друзья и знакомые. Речей не было. В «Русских ведомостях» был напечатан краткий его некролог.

Я любил Александра Сергеевича и счастлив тем, что знал его. В комментарии к юбилейному изданию сочинений Л. Н. Толстого сказано: «Толстой ценил в А. С. Бутурлине ум, большие знания и душевное благородство». Основная черта его характера была искренность, прямота. Он не мог кривить душой; он говорил то, что думал, и не говорил того, чего не думал; и он поступал так, как считал своим долгом поступать. Он был человеком благовоспитанным в лучшем смысле этого слова, и человеком, обладавшим обширными знаниями в разных областях. Он был естественником, знатоком по истории французской революции и критике Евангелия. Я не раз спрашивал его, почему он ничего не написал и не опубликовал из своего большого запаса знаний. Он как-то неопределенно говорил, что недостаточно сведущ или что он ничего нового сказать не может. Правда, у него не было творческого дара (что не мешало ему быть оригинальным человеком), но он прекрасно излагал то, что знал. Сколько людей, гораздо менее его знающих и менее его достойных, подвизались в печати. Скромность и отсутствие желания выдвинуться были причиной тому, что после его смерти не осталось его трудов. Но его друзья,— я льщу себя мыслью, что в том числе был и я,— черпали из его разговоров ценные сведения и правдивую оценку событий.

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ТАНЕЕВ

Не знаю точно, как и когда возникло знакомство нашей семьи с Сергеем Ивановичем Танеевым. У нас с ним было много общих знакомых. В особенно дружеских отношениях

Сергей Иванович был с семьей Масловых. Эта семья состояла из судебного деятеля Федора Ивановича Маслова, его двух сестер, Варвары и Анны Масловых, и их родственницы, Юлии Афанасьевны Юрасовой. В 90-х годах Масловы были уже людьми пожилыми; Федор Иванович был холост, и его сестры не были замужем. Танеев часто бывал у них в Москве и почти каждый год летом гостил в их имении Селище, Орловской губернии. Масловы относились к нему, как к родному, как говорят, души в нем не чаяли, особенно Анна Ивановна.

Варвара Ивановна училась вместе с моей сестрой Татьяной в Училище живописи и ваяния и подружилась с ней. Вероятно, через нее мы и познакомились с Танеевым.

Сергей Иванович вел дневник с декабря 1894 по 1909 год. Этот дневник может служить хорошим фактическим материалом для его биографии и для истории музыкальной жизни Москвы за эти годы, но только фактическим материалом. Танеев писал в 1911 году в предисловии к начатому им, потом продолженному новому дневнику: «Итак, я в своих дневниках ограничивался фактами... Я потому избегал упоминать о своих чувствах, что каждый раз, как мне попадались мои прежние письма, где встречались лирические места, мне становилось неловко... Мне было неприятно представлять себя волнуемым чувствами, которые я более не испытывал». Сергей Иванович заносил в свой дневник не только значительные события, но и мелкие подробности: когда утром встал, что писал или играл, кто у него был, куда он ходил, что покупал, как и у кого лечился и т. п. К сожалению, часть его дневника 1895 года написана на «эсперанто», что неудобочитаемо. Как аккуратный и правдивый человек, он записывал точно и подробно. Его записи во время пребывания в Ясной Поляне интересны не столько для характеристики его самого, сколько как материал для биографии Л. Н. Толстого. Он добросовестно и довольно верно записывал то, что говорил Лев Николаевич, но скупно записывал свое отношение к его взглядам, свои реплики и возражения на его слова.

Дневник Танеева помог мне восстановить в памяти давно прошедшее и уточнить даты в моих воспоминаниях. Помогли мне в этом и дневники моей матери.

В первой половине 90-х годов Танеев стал бывать в нашем московском доме в Хамовническом переулке (ныне улица Льва Толстого), а весной 1895 года моя мать пригласила его прожить лето в Ясной Поляне. Он не соглашался жить там бес-

платным гостем и настаивал, чтобы она назначила плату за помещение и харчи. Она ему назначила небольшую плату, но он, как добросовестный человек, нашел, что она назначила слишком дешево. Поторговались и остановились все-таки на небольшой плате около 125 рублей за все лето.

Танеев в Ясной Поляне пробыл: в 1895 году с 3 июня по 27 августа, в 1896 году — с 19 мая по 2 августа и несколько дней в сентябре заездом из Селища. После этого года он приезжал только на короткое время — в июне 1897 года на два дня и в июле того же года (с 5-го по 13-е), в августе 1898 года, в июне 1899 года и после долгого промежутка — в феврале 1906 года и в феврале 1908 года.

Когда мои родители жили в Москве в Хамовническом переулке (до 1902 года), он часто там бывал; бывал он и у моей матери, когда она после 1902 года приезжала в Москву.

В 1895 и 1896 годах Танеев поселился со своей няней Пелагеей Васильевной в яснополянском флигеле, куда привез пианино. Некоторое время в 1895 году прожил с ним во флигеле его ученик Ю. Н. Померанцев (Юша). Сергей Иванович вставал в семь или восемь часов, няня ему готовила чай и завтрак, после чего он садился за работу. Он или писал свой «подвижной контрапункт строгого письма» и свои композиции, или упражнялся на фортепиано и занимался с Юшей Померанцевым. Приблизительно в двенадцать часов он уходил гулять и купаться на речке Воронке, отстоящей от дома в полутора верстах. С ним обыкновенно ходили Александр Антонович Курсинский (учитель моего брата Миши), Ю. Померанцев или еще кто-нибудь из мужского персонала. Затем он шел обедать. В Ясной Поляне в то время обедали в два часа, пили чай в пять и ужинали в девять. Время от обеда до ужина он проводил разнообразно: в игре на фортепиано у себя во флигеле, в прогулках, игре в теннис, занятиях по изучению итальянского языка вместе в Курсинским и моими сестрами Машей и Сашей и пр. Он охотно участвовал в увеселениях молодежи: теннисе, езде на велосипеде, разных играх, купанье и пр., но был тяжел и мешковат и сильно потел, уставал. Он долго не мог выучиться ездить на велосипеде; этим объясняется, почему позднее, в 1899 году, он упал с велосипеда и сильно повредил себе ногу.

По вечерам он приходил ужинать и пить чай со всем яснополянским обществом в залу или на террасу. Отец был с ним любезен, разговаривал, играл в шахматы и слушал его игру

на фортепиано. Во время шахматной игры кто-нибудь читал вслух разные произведения, большей частью рекомендованные Львом Николаевичем. Предметом их разговоров были чаще всего вопросы о значении и целях искусства, которыми в то время был занят отец.

Интересна запись Танеева в его дневнике о разговоре, бывшем 9 августа 1895 года между ним, Львом Николаевичем и Н. Н. Страховым, гостившим тогда в Ясной Поляне. Привожу выдержки из этой записи.

«Лев Николаевич сказал, что «до сих пор не может решить, что такое искусство и какое место оно должно занимать в жизни человека». Н. Н. Страхов дал определение искусства приблизительно такое: «искусство есть некоторое средство для выражения чувств и настроений человека не отвлеченно, а конкретно, образно...» Л. Н. сказал, что он желал бы такого определения искусства, которое провело бы границу между художественным и не художественным произведениями. Я сказал, что вряд ли можно требовать определения этой границы, подобно тому, как нельзя провести границу между животными и растениями, хотя каждый из нас не затруднится отличить растение от животного. Л. Н. сказал, что есть признак, отличающий живое от растения, например, способность передвижения. На это я возразил, что есть животные, лишенные этой способности, и есть растения движущиеся. Л. Н. сказал, что вопросы, касающиеся развития и истории искусства, не так его занимают, как вопрос об искусстве с точки зрения нравственной. Он говорил: «Я хочу знать, необходимо ли искусство в жизни человека. Если да, то почему большинство людей проводит жизнь в стороне от искусства. Стоит ли искусство тех жертв, которые на него тратятся. Нужно ли замучивать десятки тысяч людей на фабриках, забирать последнее от людей, возделывающих землю, чтобы дать возможность консерваторкам играть по восемь часов в день на фортепиано, чтобы строить театры для представления вагнеровских опер, заставлять парикмахеров, считающих себя также артистами, работать на певцов и пр. Можно ли считать нормальным, что произведения искусства доступны только малому числу богатых людей, что для их понимания требуется особая подготовка?» Танеев не записал, возражал ли он на эти слова Льва Николаевича; очевидно, он был с ним не согласен, но, вероятно, просто промолчал.

Привожу также следующую выписку из дневника Танеева от 28 марта 1896 года о разговоре его со Стасовым, при кото-

ром я присутствовал. В этом разговоре выясняются некоторые взгляды Танеева на музыкальную форму.

«Пошел к Толстым. Разговор с Стасовым был очень забавен. Он громко говорил, что мадоннам надо выколоть глаза, что Рафаэль имел талант, но растратил его по пустякам, что Бетховена он ставит выше всех композиторов, но что он, к несчастью, писал сочинения, имеющие форму, и подчинился глупым законам, как, например, кончал сочинения в том же тоне, в каком начинал, писал симфонию в четырех частях и т. п. Я возражал, что форма симфонии та же, что сонатная и квартетная, что сонаты есть состоящие из двух частей (E-moll'ная), а квартеты из пяти и более, что существует форма фантазии с давних пор, что Бетховен отступал от принятых форм, когда находил это нужным. Вставить слово в речь Стасова было очень трудно. Я ему говорю: «Изберем председателем Льва Николаевича». Он согласился. Лев Николаевич постучал об стакан и сказал, что слово принадлежит мне. Стасов стал немедленно очень громко говорить. Я стал смеяться. Лев Николаевич и Софья Андреевна также. Лев Николаевич сказал, что во многом согласен с тем, что говорит Стасов, что подчиняться установленным формам не следует, что форма, как и одежда, должна иногда трещать по всем швам. Я в оправдание существующих форм указал на то, как выработывалась форма сонатного аллегро, что выработка форм не делается произвольно. Отдельные художники творят, повинаясь своему внутреннему чувству, но в конце концов оказывается, что они помимо воли попадают в существующее течение и принимают участие в выработке музыкального языка».

«29 марта... к концу завтрака, продолжали вчерашний разговор. Л. Н. высказал мысль, на которую возражал я и Сергей Львович; он говорил, что если произведение искусства одним нравится, а другим — нет, что значит — это пустяки, что настоящее произведение искусства должно нравиться всем, что нет между людьми разногласия о том, что свежий воздух лучше порченого, что пища нужна человеку, что добрые дела похвальны».

В Ясной Поляне Сергей Иванович почти каждый вечер играл на фортепиано. Помню, что он играл рондо а-moll Моцарта, сонаты Бетховена as-dur с похоронным маршем, as-dur, op. 110, E-moll, duasi fantasia и arassionata, мелкие пьесы Шуберта, Шумана, Шопена и Мендельсона, увертюру из Фрейшютца в аранжировке Листа, дуэт из «Ромео и Юлии» Чайковского, Basso ostinato и романс

Аренского, отрывки из своей оперы «Орестея» и др. Разумеется, он играл больше всего то, что нравилось Льву Николаевичу, или же те пьесы, которые он хотел ему показать, в том числе свои сочинения или сочинения Вагнера и Чайковского. Однако эти последние сочинения мало нравились отцу. Иногда Сергей Иванович даже специально выучивал те пьесы, которые хвалил отец. Так, например, как-то отец похвалил *Nachtstück*¹ № 4 Шумана, которую он слышал в моем исполнении. Танеев, раньше не игравший эту пьесу, выучил и сыграл не только ее, но и все четыре *Nachtstücke*.

Играл он, разумеется, всегда наизусть, играл просто, без всякой отсебятины, фразировал отчетливо и рельефно, брал настоящие темпы, не увлекаясь быстротой, подобно многим пианистам, и проявлял силу там, где это требовалось. Он ставил себе целью верно передавать намерения композиторов. Особенно хорошо и точно, но не сухо и не академично, он играл Бетховена и Баха. Помню его великолепное и энергичное исполнение увертюры Фрейшютца в переложении Листа. Не все, однако, ему удавалось: Шопен, кроме полонезов (*as-dur* и *fis-moll*), звучал под его пальцами несколько бледно. В общем его удар был тяжеловат; он любил выделять низкие и средние голоса, и иногда мне казалось, что его левая рука играет слишком сильно сравнительно с правой. Он всегда серьезно относился к своей игре и никогда не играл небрежно: он весь погружался в исполняемую им музыку. Помню его глаза во время его игры — вдумчивые, сосредоточенные, смотрящие куда-то внутрь. Когда его просили сыграть пьесу, которую он давно не играл, он говорил: «Я вам это сыграю завтра», и на другой день днем у себя во флигеле проигрывал эту пьесу, чтобы вечером сыграть ее как следует при публике.

Однажды днем я зашел к нему и застал его проигрывающим *Moment musical as-dur* Шуберта, чтобы сыграть ее вечером. Он сказал мне: «Вот я раздумываю, не делать ли ударение на третьей, а не на первой четверти в первом и аналогичных ему тактах». Так тщательно он относился к своей фразировке.

Отец с удовольствием слушал музыку Сергея Ивановича, благодарил его за игру и высказывал свои мнения об исполняемых им пьесах, хвалил Моцарта, Шуберта, Шопена, бранил Вагнера, критиковал Бетховена и в то же время наслаждался музыкой Бетховена. Помню только, что Четвертый концерт

¹ пьесу «Ночь» (нем.).

Бетховена, сыгранный Тансеевым с аккомпанементом Гольдешвайзера, ему безусловно не понравился. К сочинениям самого Тансеева он относился отрицательно, но ему это не высказывал.

Сергей Иванович очень любил играть в шахматы, но не был сильным игроком. В Ясной Поляне он почти каждый вечер играл с Львом Николаевичем. Отец был несколько сильнее его, но играл небрежно и рискованно и поэтому часто проигрывал. 6 июня 1896 года Тансеев записал, что проиграл пять партий подряд, после чего Лев Николаевич стал давать ему вперед коня. Но без коня стал проигрывать Лев Николаевич, и скоро конь был опять поставлен на свое место. Между ними было условлено играть матчи; выигравший первые пять партий считался выигравшим матч. Было условлено, что когда матч проигрывал Сергей Иванович, то он обязывался играть на фортепиано пьесы по выбору Льва Николаевича, а когда проигрывал Лев Николаевич, то он обязывался прочесть вслух что-нибудь из своих сочинений. А иногда они улаживались играть не в счет матчей.

Живя в Ясной Поляне, Тансеев написал (кроме своих серьезных композиций — квартета, симфонии, инструментовки квартета Чайковского и др.) три пьесы специально для Ясной Поляны. Это — серенада, баркаролла и вариации на песню Трике из «Евгения Онегина». В этих пьесах участвует мандолина, на которой в то время играла моя сестра Татьяна.

Серенада написана для голоса, фортепиано и мандолины, на слова, тогда же сочиненные А. А. Курсинским. На автографической рукописи этой пьесы — подпись Тансеева и дата: «9 июля 1896».

Баркаролла «Венеция ночью» написана для голоса, фортепиано и мандолины, на слова А. Фета. На автографической рукописи — подпись Тансеева и дата: «13 июля 1897».

Вариации на песню Трике написаны для фортепиано, скрипки и мандолины. На рукописи рукой Тансеева написано: *Variations sur un thème favori composées et dédiées à m-elle la comtesse Tatiana Tolstoï par S. Tańéiev. 12 J. 1897*¹. Эту пьесу он поднес моей сестре в день ее именин (12 января).

В своих воспоминаниях о Тансееве я не могу умолчать об отношении к нему моей матери. 23 февраля 1895 года умер ее меньшей семилетний сын Ванюшка, особенно ею любимый, и у

¹ Вариации на любимую тему, сочиненные и посвященные гр. Татьяне Толстой С. Тансеевым. 12 января 1897.

нее обострилась истерия, к которой она была склонна и раньше. Музыка успокоительно действовала на ее нервы, отвлекая от горя, а действие музыки во время игры Танеева она перенесла на него. Отсюда ее болезненное пристрастие к его личности и к его музыке. Она пользовалась всеми возможными случаями, чтобы видеться с ним и слушать его музыку. Такое исключительное пристрастие женщины в возрасте между пятьюдесятью и шестьюдесятью годами к человеку, к ней довольно равнодушному, нельзя назвать нормальным. Она сама это признавала. Я могу говорить об увлечении моей матери, не скрывая ничего, так как и скрывать нечего. Об этом она сама за несколько дней до своей смерти говорила своей дочери Татьяне. Ни я, ни мои сестры и братья никогда не сомневались в том, что слова матери — правда и что в отношениях пашей матери к Танееву не было «рукопожатия, которое не могло бы быть при всех», но это увлечение матери нас огорчало, особенно потому, что оно было очень неприятно отцу.

Танеев долгое время не догадывался о ненормальности этого пристрастия к нему Софьи Андреевны и, вероятно, предполагал, что она увлекается им только как пианистом и композитором. Не знаю, когда он догадался, но он уже не мог сомневаться в 1904 году, когда получил от нее «нелепое письмо», как он выразился в своем дневнике; это письмо не сохранилось; вероятно, он его уничтожил. Некоторое понятие о нем можно иметь из следующих писем Танеева к Софье Андреевне — писем, очень характеризующих его благовоспитанность, сдержанность и скрытность.

Он писал:

«15 ноября 1904 года.

Многоуважаемая Софья Андреевна!

Простите меня великодушно, если я сегодня у Вас не буду. Причиной этому то обстоятельство, что я до сих пор не ответил на письмо Ваше, присланное мне после концерта Никиша, и не дал тех объяснений, которые Вы от меня настойчиво требовали. Не высказав своего мнения по поводу возбужденных Вами вопросов, я не считаю себя вправе быть Вашим гостем. Соображение это не пришло вчера в концерте мне на ум, но когда я вернулся домой, представилось мне с полной ясностью. В извинение своей медленности скажу, что я тотчас по получении Вашего письма начал излагать письменно свои объяснения, но, узнав от Вас, что Вы не желаете, чтобы письмо было отправлено ни на Вашу здешнюю квартиру, ни в Ясную Поляну, тогда же оставил свою работу. В настоящую же ми-

нуту решительно не имею возможности опять за нее припять-ся по недостатку времени.

Еще раз прошу Вас извинить меня и принять уверение в совершенном почтении готового к услугам Вашим

С. Танеева».

16 ноября 1904 года Танеев писал:

«Многоуважаемая Софья Андреевна.

Если бы речь шла только о том, чтобы объяснить, почему я ушел в антракте с своего места и почему на следующее отделение уступил свое место другому, мне бы легко было на это ответить, указав хотя бы на то, что каждый из находящихся в концерте может беспрепятственно пользоваться правом как уступать свое место, так и выходить в антракте. Но затронутые в Вашем письме вопросы захватывают собою целый ряд таких фактов, отношений, недоразумений, что объяснить ни просто, как Вы того желаете, ни устно я не чувствую себя способным. Мне именно нужно предпринять работу, взвесить и обдумать каждое выражение и каждое слово. Но в настоящую минуту по разным соображениям, в том числе и по материальным, я не имею возможности оторвать себя на несколько дней от той работы, которою занят. Поэтому вторично прошу Вас извинить меня и принять уверение в совершенном почтении искренно Вам преданного С. Танеева».

По-видимому, Сергей Иванович не написал письма, которое требовало «оторвать его на несколько дней от его работы», но после этого эпизода он стал реже видеться с Софьей Андреевной. Однако он еще два раза приезжал в Ясную Поляну. Я думаю, что его побудило приехать желание еще повидать Льва Николаевича.

Танеев всегда относился к Льву Николаевичу с глубоким уважением и большой симпатией. Это можно было заметить, несмотря на его скрытность. Влияние на него Льва Николаевича выразилось, между прочим, в том, что он составил конспект статьи «Об искусстве» и участвовал в составлении вегетарианского календаря.

27 августа 1898 года он писал Софье Андреевне по поводу семидесятилетия Льва Николаевича:

«Многоуважаемая Софья Андреевна!

Поздравляю Вас с наступающим праздничным днем.

Льву Николаевичу прошу передать мои горячие приветст-

вия по поводу исполнившегося пятидесятилетия его литературной деятельности.

За многое я ему благодарен из того, что вычитал в его сочинениях и вынес из личного с ним общения. Нет надобности быть последователем Льва Николаевича для того, чтобы испытывать на себе влияние его ясных, простых и живучих мыслей, которые, раз застав к вам в душу, очень упорно в ней пребывают, иногда причиняя человеку немалое беспокойство тем, что ставят ему требования, превышающие его силы.

Мне очень хочется побывать в Ясной Поляне, и я имею намерение заехать туда по дороге в Москву.

Постараюсь это сделать ранее Вашего отъезда, но удастся ли это — не знаю. Время моего выезда отсюда зависит от того, когда я покончу с работой, которой теперь занят, работой скучной, кропотливой, мало интересной, но которую докопчить необходимо.

Всем Вашим прошу передать мои приветствия и поздравления.

Остаюсь искренне преданный Вам С. Танеев».

Как же относился к нему сам Лев Николаевич? Лев Николаевич всегда был любезен с ним, только мне иногда казалось, что он заставлял себя быть любезным; как мы видели, он играл с ним в шахматы, слушал его музыку и много разговаривал. Он никогда не винил его в том, что Софья Андреевна им увлекалась, и понимал ненормальность этого увлечения. Но оно ему было очень неприятно, и лишь со временем он стал относиться к Сергею Ивановичу спокойнее.

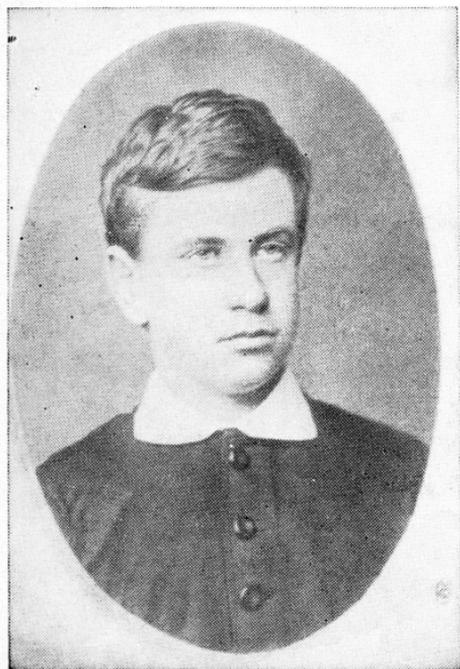
Вот два его суждения о Танееве. Первое, на мой взгляд, несправедливое, — это запись в дневнике от 28 мая 1896 года, когда Лев Николаевич особенно остро относился к несчастному увлечению Софьи Андреевны: «Дома... Танеев, который противен мне своей самодовольной, нравственной и — смешно сказать — эстетической (настоящей, не внешней) тупостью и его *soq du village*'ным¹ положением у нас в доме. Это экзамен мне. Стараюсь не провалиться».

Второе его суждение, приведенное в книге А. Б. Гольденвейзера «Вблизи Толстого», высказано им в июле 1904 года: «Я знаю двух таких музыкантов, не учившихся ни в каком

¹ положение общего баловня (*франц.*).



Сергей Львович Толстой. 1938 г.



С. Л. Толстой, 1878 г. ГМТ.



Марья Николаевна Толстая.
1850-е гг. ГМТ.



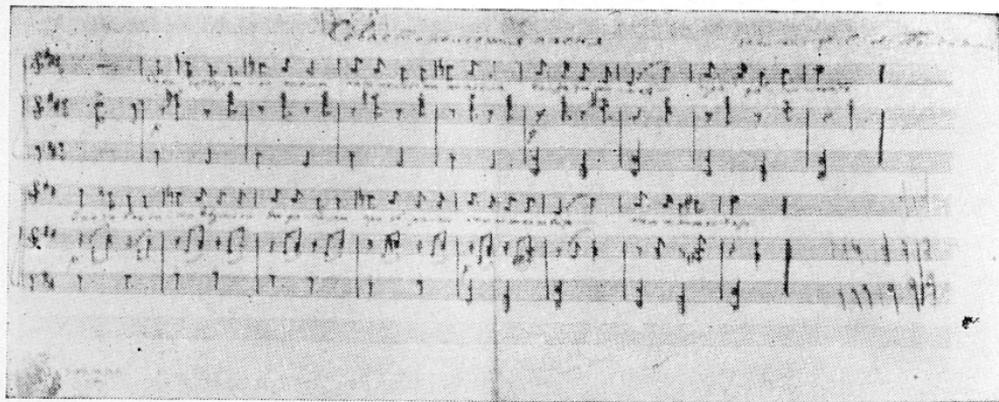
Сергей Николаевич Толстой («дядя Сережа»). Начало 1860-х гг.
Из собрания Н П Пузипа.

Татьяна Львовна Толстая, 1883 г.
ГМТ.



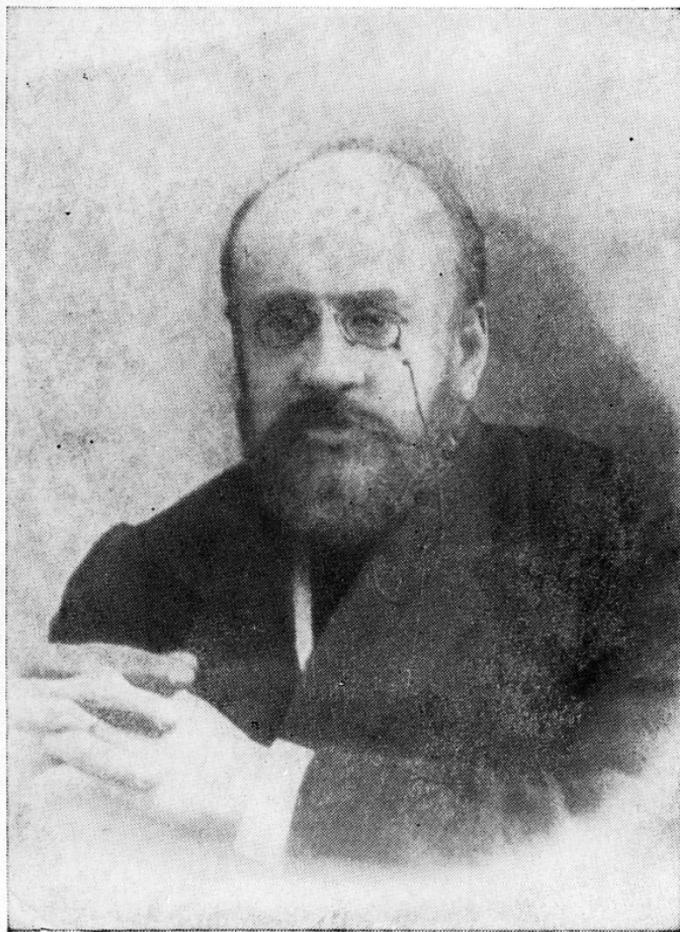
Т. Л. Толстая, 1880-е гг. ГМТ.





«Как четвертого числа...» Севастопольская песня. 1855 г. Запись и обработка С. Л. Толстого. Архив Л. Н. Толстого. ГМТ.

С. Л. Толстой. Вторая половина 1890-х гг. ГМТ.



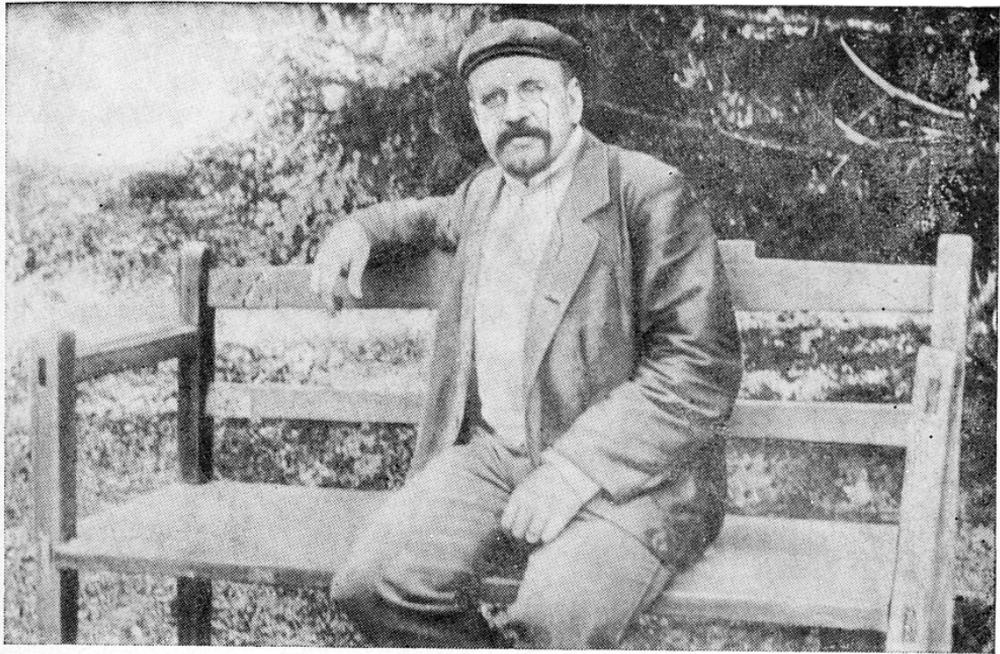


М. К. Толстая (рожд. Рачинская) с сыном Сережей. 1898 г. Из собрания Н. П. Пузина.

Открываю тебе письмо
 со Дрездена, но в субботу
 evening он мне не доставит
 от вас как прежде буду
 и теперь пишу и пишу.
 Надеюсь тебе писать.
 Л. Н.

Письмо Л. Н. Толстого к С. Л. Толстому. 15 марта 1890 г. Архив Л. Н. Толстого. ГМТ.



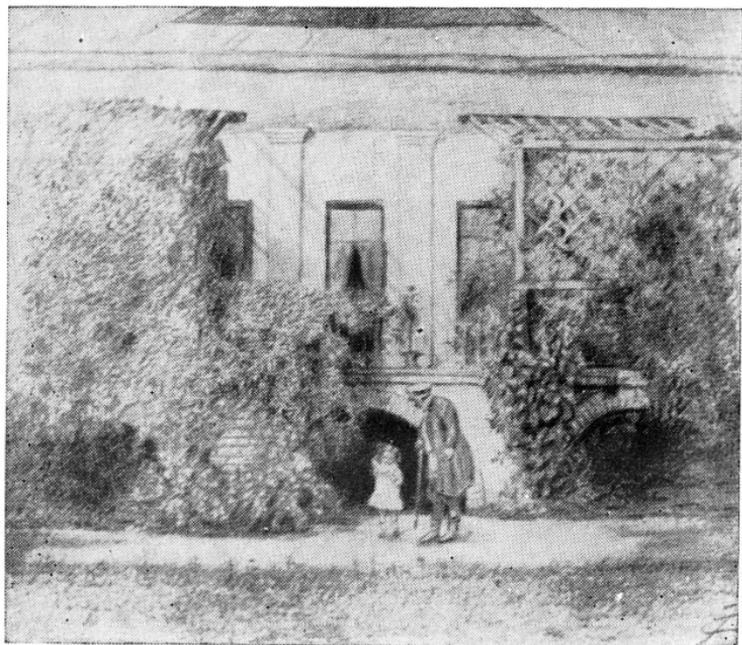


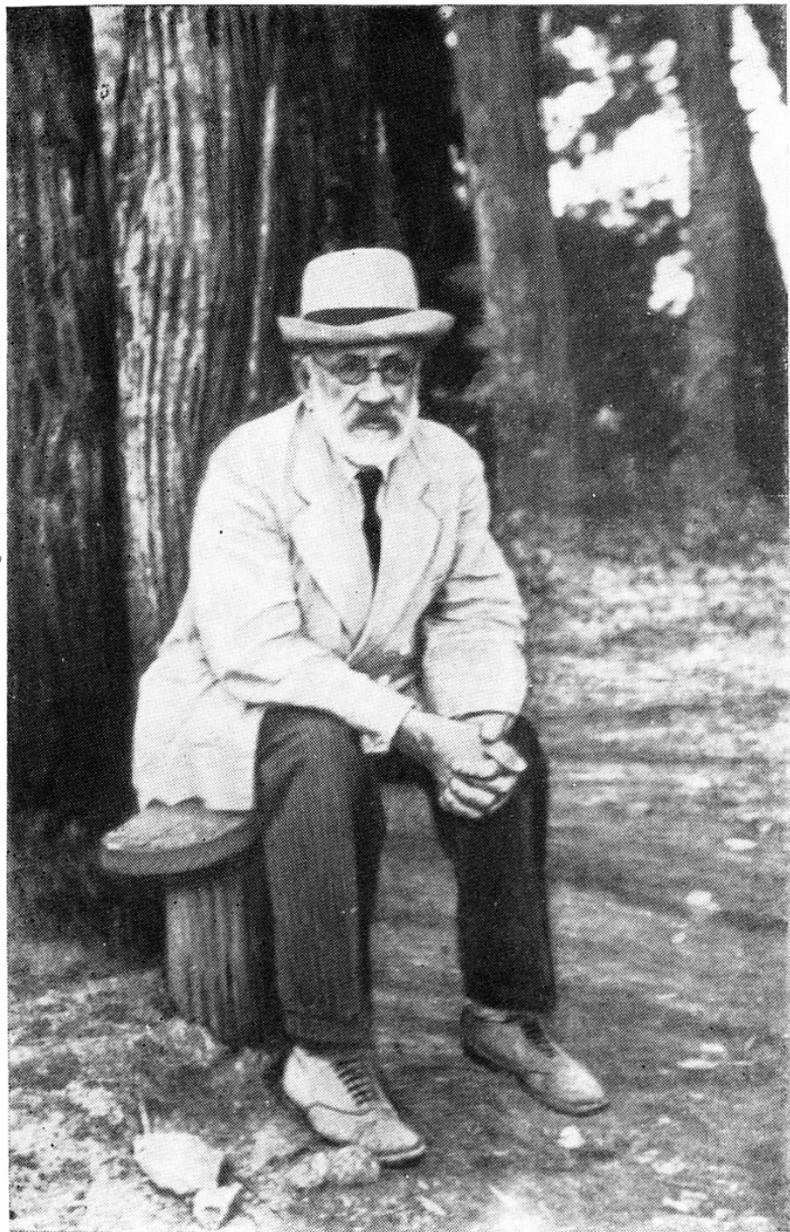
С. Л. Толстой. 1900-е гг. Фотография Софьи Андреевны Толстой. Из собрания Н. П. Пузина.

Мария Николаевна Толстая (рожд. Зубова) и С. Л. Толстой во дворе Хамовнического дома в Москве. 1900-е гг. Из собрания Н. П. Пузина.



Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков в Ясной Поляне. 1909 г. ГМТ.





С. Л. Толстой в Ясной Поляне. 1936 г.
ГМТ.

Дом Сухотиных в Кочетах. У дома
М. С. Сухотин с дочерью Таней. 1914 г.
Рисунок Т. Л. Сухотиной. Из собрания
Н. П. Пузина.



С. Л. Толстой и Н. П. Пузин в Ясной
Поляне. Июль 1945 г.



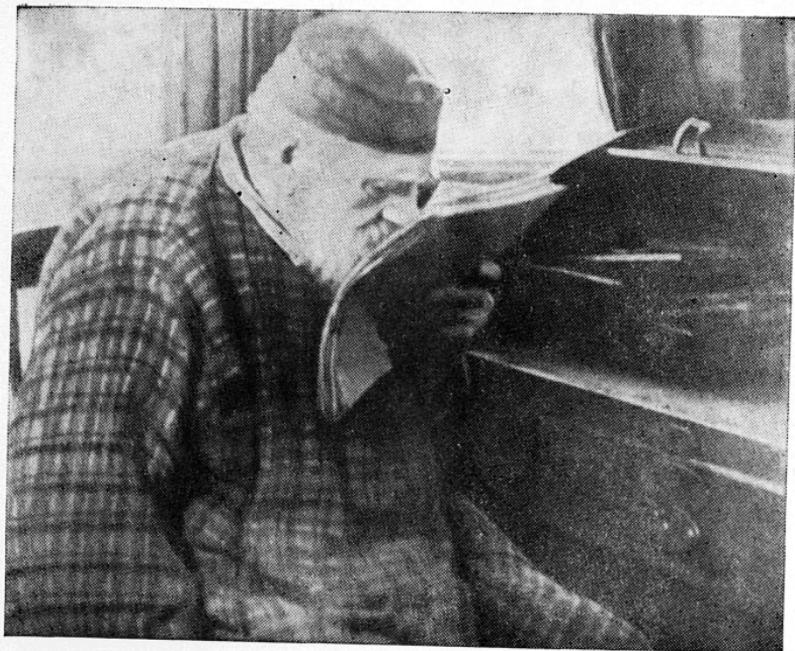
С. Л. Толстой в парке «Клины», Ясная Поляна. 1936 г. Из собрания Н. П. Пузина.



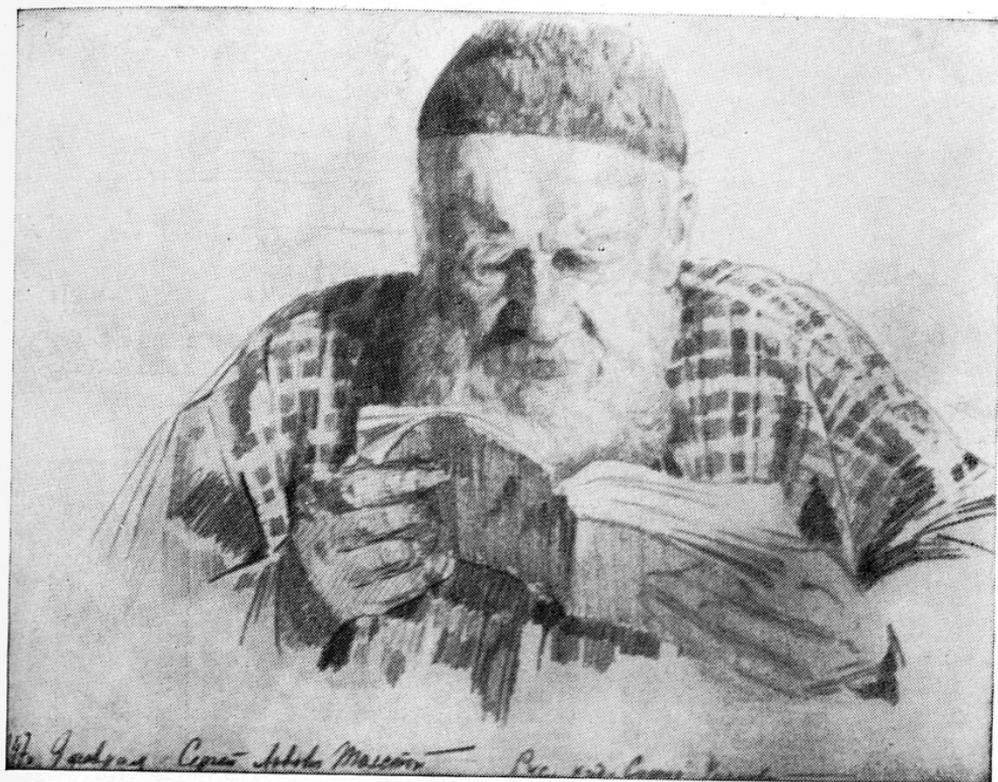
М. Н. Толстая и С. Л. Толстой в Ясной Поляне. Август 1936 г. Из собрания Н. П. Пузина.



С. Л. Толстой, Н. П. Пузин и Ф. Г. Подбираева у дома Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Лето 1947 г.



С. Л. Толстой в Москве. Март 1947 г.
Фотография С. Идашкина.



С. Л. Толстой. Февраль 1947 г. Москва.
Рисунок С. С. Урановой. Из собрания
Н. П. Пузина.



Похороны С. Л. Толстого 25 декабря 1947 г. Москва. На первом плане слева направо: А. Д. Ротницкий, И. И. Толстой, О. В. Толстой, Н. П. Пузин, В. В. Жданов, М. М. Маркевич, С. С. Толстой, Н. С. Родионов, В. И. Толстой и др.

учебном заведении, а между тем очень хорошо образованных людей, с которыми о чем ни заговори, все они знают,— это Г[ольденвейзер] и Сергей Иванович Танеев».

Перехожу к тому, что помню о моих встречах и разговорах с Танеевым.

В 1895—1896 годах, когда он жил в Ясной Поляне, я несколько раз туда приезжал, разговаривал с ним, ходил с ним гулять и купаться, играл в теннис и шахматы и слушал его игру. В Москве я встречался с ним в хамовническом доме, в концертах или в Музыкально-теоретической библиотеке и несколько раз был у него в его скромной квартире в Мертвом переулке и, позднее, в Гагаринском переулке.

Во второй половине 90-х годов я стал заниматься композицией и советовался с Сергеем Ивановичем, показывая ему свои незрелые опыты. 30 марта 1895 года он записал в своем дневнике: «Был Сергей Львович, принес три романса, которые не плохо написаны». Помню, что он отнесся к этому моему опыту строго, но спросил меня по поводу одного необычного гармонического хода: «Вы сами это написали? Вам никто не показывал этого последования?» Я сказал, что никто не показывал. Он удивился, что я сам до этого додумался.

12 марта 1896 года он записал в своем дневнике: «Экзаменовал Сергея Львовича по гармонии». Помню, что он тогда сказал мне: «Проиграйте какую-нибудь гармонизацию хроматической гаммы». Как известно, хроматическую гамму можно гармонизовать многими способами. Не помню, какую гармонизацию я ему сыграл, но помню, что он ее не одобрил.

Танеев признавал во мне некоторую музыкальную талантливость, о чем говорил моей матери, а меня предупреждал: «Вы хотите сразу сочинять. Нет, пройдите известную школу, изучите контрапункт строгого письма, освоитесь с ключами «до» и пишите без инструмента». Он рекомендовал мне заняться музыкальным диктантом у профессора Консерватории Морозова. Я последовал его совету и в апреле 1896 года взял несколько уроков у Морозова.

В 1899 году Танеев, зная, что я владею английским языком и знаком с теорией музыки, предложил мне перевести с английского «Музыкальную форму» Э. Праута (E. Prout, Musical form), что я и сделал. Эта книга была издана в 1900 году издательством И. Юргенсона и послужила руководством для учеников консерватории.

В 90-х годах я как-то показал Танееву присланные мне из Франции две пьесы для фортепиано Сезара Франка — Prélude,

Choral et Fugue и Prélude, Aria et Final. Меня удивило, что Танеев не знал эти пьесы. Он просмотрел фугу и сказал: «Этот человек умел писать музыку». Впоследствии он познакомился с произведениями Сезара Франка, стиль которого близок к его стилю, но едва ли Франк оказал на него влияние.

Однажды я рассказал Сергею Ивановичу следующий анекдот. Когда-то Антон Григорьевич Рубинштейн был приглашен на музыкальный вечер к М. Ю. Виельгорскому. Раздеваясь в передней, он увидел, что из кармана чьей-то шинели торчит нотная рукопись. Он ее взял, просмотрел и положил обратно. На вечере хозяин попросил Рубинштейна играть. Рубинштейн сел за рояль и сыграл ту пьесу, которую просмотрел в передней и уже запомнил. Это была новая пьеса, которую принес и хотел сыграть у Виельгорского известный музыкант Контский. Выходка Рубинштейна жестоко его обидела.

Танеев на мой рассказ сказал: «Это не так трудно. Я думаю, что и я сыграю коротенькую пьесу, просмотрев ее без инструмента. Дайте мне пьесу, которую я бы не знал». Я ему принес незнакомую ему пьесу «Valse-caricé» Шаминада. Он просмотрел первую страницу и через несколько минут сыграл ее, не глядя на ноты и допустив только одну незначительную неточность.

Танеев не любил музыку Скрябина, хотя Скрябин был его учеником. Рассказывали, что, прослушав «Прометей», он сказал про последний аккорд этой пьесы: «Теперь началась музыка». Как известно, «Прометей» весь состоит из диссонансов, кроме последнего аккорда — трезвучия. Однажды на авторском концерте Скрябина я сидел рядом с Сергеем Ивановичем. Когда Скрябин сыграл свою прелюдию в D-dur (из 24 op. 11), Танеев обратился ко мне и сказал: «Как он хорошо играет!» Он был беспристрастен и хвалил то, что, по его мнению, стоило похвалы.

В 1909 году я получил премию «Дома песни» за свою гармонизацию десяти шотландских песен. Эти десять песен и еще семь были изданы Российским музыкальным издательством. Танеев заинтересовался моими обработками, пришел ко мне (в Москве), и мы с ним проиграли эти песни — я фортепианную партию, а он голос на маленькой фисгармонии. В общем он мою работу одобрил.

Не помню, где и когда, известная певица М. Н. Муромцева (Климентова) поставила одноактную пьесу «Маленький Гайдн». В этой пьесе музыкант-теоретик Порпора, у которого

маленький Гайдн жил в качестве слуги, однажды, возвращаясь домой, услышал, как Гайдн, воспользовавшись отсутствием хозяина, играл свои импровизации на клавесине. Пораженный талантливостью мальчика, он с этого дня стал обучать его музыке. В то время Танеев принял к себе на квартиру своего очень способного к музыке ученика Колю Жилиева. Я ему тогда сказал:

— Я слышал, Сергей Иванович, что вы взяли к себе маленького Гайдна.

Он ответил:

— Вы хотели меня уколоть, намекая на то, что я не Гайдн, а Порпора. Но вы меня не укололи: я не мечтаю быть Гайдном, а мечтаю быть именно Порпорой.

Он, по-видимому, больше ценил свою теоретическую и педагогическую деятельность, чем свои композиции.

Я был членом Общества теоретической музыкальной библиотеки, основанной Танеевым и В. А. Булычевым. В девяти-сотых годах члены общества собирались в здании Консерватории в большой изолированной комнате, уставленной книжными шкапами, где стояли два прекрасных рояля. В этой комнате читались доклады, исполнялись и репетировались музыкальные произведения, особенно старинные, обсуждались разные музыкальные вопросы, иногда просто разговаривали. Один из дней недели, кажется пятница, был посвящен чаепитию и общению членов между собой; в этот день было постановлено не играть на фортепиано после девяти часов вечера. В один из таких дней я пришел в библиотеку и застал Танеева, игравшего на рояле органные фуги Баха; партию педалей играл на другом рояле пианист Богословский. Девять часов давно пробило, но Танеев и Богословский продолжали играть; Танеев, вероятно, забыл о постановлении не играть после девяти. Присутствовавшие были этому очень рады: ведь органные фуги Баха редко приходится слышать, особенно в таком прекрасном исполнении. Иначе думал приятель Танеева В. А. Булычев. Он пил чай и во время игры нарочно стал стучать ложкой о стенки стакана. Танеев, доиграв фугу, спросил: «Зачем вы, Вячеслав Александрович, мешаете нам играть?» Булычев ответил: «Потому что сейчас десятый час, а мы с вами постановили не играть после девяти часов».

Танеев промолчал, но на все просьбы продолжать играть ответил решительным отказом. Он не обиделся, но многие члены общества обиделись за него. Было созвано экстренное собрание общества, где было предложено вынести обществен-

ное порицание поступку Булычева, но Танеев настоял на том, чтобы дело было оставлено без последствий.

Зимой 1913/14 года в Москве появился интересный и талантливый индусский музыкант Инаят Хан. Он с тремя своими товарищами, также индусами, играл и пел сперва в кафе-шантане «Максим», а затем в двух или трех концертах в Политехническом музее. Акомпанементом к пению индусов служили «вина» — щипковый инструмент, нечто среднее между гитарой и маленькой арфой, и смычковый инструмент — нечто вроде альты, и барабанчик. Эти инструменты звучали бедно: они только дублировали мелодию на однообразном органном пункте; поэтому Инаят Хан задумал сопроводить свои мелодии европейской гармонией на сюжет известной древней индусской поэмы «Сакунтала» Калидаса. Он сочинил одноактную пьесу «Скетч», где героиня должна быть танцовщицей, а музыка — состоять из индусских мелодий, сопровождаемых оркестром. Гармонизовать и оркестровать эти мелодии он предложил Танееву. Танеев отказался и предложил это сделать Гречанинову. Гречанинов также отказался; тогда Танеев предложил сделать эту работу мне. Я охотно взялся за нее, но не будучи уверен в своих силах, особенно в оркестровке, пригласил сотрудничать со мною Вл. Ив. Поля. В результате частью я, частью он гармонизовал 17 мелодий Инаят Хана; Поль их инструментовал для малого оркестра. К сожалению, Инаят Хану не удалось поставить свой «Скетч». Клавир его мелодий в нашей обработке был напечатан. А оркестром они были два раза исполнены на Сокольницком кругу.

Я был в Ясной Поляне в феврале 1906 года, когда там пробыл два дня Сергей Иванович. Он много играл. Там же был А. Б. Гольденвейзер; они сыграли на двух роялях концерт № 4 Бетховена, концерт Шумана и сюиту Аренского. Разговаривали они с Львом Николаевичем больше всего об изречениях, помещаемых им в «Круге чтения», о категорическом императиве Канта, о Шопенгауэре, учениях Будды и Христа. Тогда же Танеев уговорил Льва Николаевича сыграть вальс, ему приписываемый. Отец проиграл два раза, и Танеев очень быстро его записал. Эта запись была напечатана в «Толстовском ежегоднике» 1912 года.

В заключение выскажу свои впечатления от знакомства с Танеевым. Сергей Иванович был добрым, умным, остроумным, скромным, благовоспитанным, крайне добросовестным, даже педантичным, правдивым и в житейских делах наивным человеком. Его доброту и бескорыстие хорошо знали его ученики,

которым он помогал не только своими знаниями, но и материально, несмотря на то, что сам был небогат. Он смолоду получил мало общеобразовательных знаний, даваемых школой, так как рано посвятил себя музыке; но он всегда старался пополнить свое образование, много читал, интересовался философией, знал немецкий и французский языки, учился итальянскому и одно время увлекался международным языком эсперанто, на котором научился писать и даже говорить. Его привычки были скромны. Он не пил, не играл в карты и не курил. Он не любил, когда при нем курили; в своей квартире он отсылал курильщиков в кухню и требовал, чтобы они пускали дым в отдушник. Он бывал весел, любил острить и заразительно смеялся. Вот примеры его шуток. Однажды, когда он был занят срочной работой и не хотел, чтобы ему мешали, он вывесил на своей двери записку: «Здесь входа нет». Посетитель, предполагая, что в эту дверь нельзя войти по какому-нибудь случаю вроде ремонта, шел к черному ходу, но там находил на двери другую записку, также возвещающую: «И здесь хода нет». Однажды Танеев вышел из Консерватории вместе с певицей Литвин, с которой должен был куда-то ехать. Кликнули извозчика; Литвин села в сани, но, будучи очень полной, заняла все сиденье. Танеев, сам довольно плотный мужчина, дважды обошел вокруг саней и, не находя места, где сесть, спросил ее: «Вы с какой стороны сели, с правой или левой?»

Вспоминаю еще его шуточные афоризмы: «ни одно благодеяние не остается безнаказанным»; «не делай того, что могут за тебя сделать другие».

Исключительная музыкальная одаренность Сергея Ивановича общеизвестна. Он обладал абсолютным слухом. Как-то в Ясной Поляне мы произвели с ним такой опыт: ударили на фортепиано одновременно шесть или семь клавиш без всякого порядка, как придется, и предложили ему их назвать. Он, не глядя, безошибочно назвал все ударенные клавиши. Известно, что он ездил сочинять в монастырский скит, где не было никаких музыкальных инструментов. Он обладал феноменальной памятью, легко выучивал пьесы и долго их помнил. Одно время он мечтал выучить все, что было выдающегося в фортепианной литературе. Партитуры он читал с поразительной легкостью, точностью и полнотой.

В своих суждениях о современных композиторах и исполнителях он, не стесняясь, иногда довольно резко высказывал свое мнение. В этом отношении его справедливо называли

сплой. В это-то время он и сблизился с Чертковым. Их первое знакомство состоялось в конце октября 1883 года.

Второй причиной сближения моего отца с Чертковым были некоторые черты характера последнего: его презрение к общественному мнению, его смелая независимость по отношению к власти имущим, его готовность пострадать за свои убеждения и особенно его настойчивость в достижении задуманного. Отец не обращал внимания на недостатки его характера: его самовлюбленность, пренебрежительное отношение к людям, резкое различие людей на добрых и злых, то есть разделяющих и не разделяющих его взгляды, и его непонимание мыслей и чувств других людей.

В Черткове чередовались и резко различались два противоположные настроения: первое — мрачное, раздражительное, второе — оживленное и суетливое. Когда на него находило первое настроение, он бывал неприятен, недобр и даже груб; когда же наступало второе, он бывал добродушен и просил забыть те неприятности, которые говорил кому-либо, будучи в мрачном настроении.

Он верил, что Лев Толстой — основатель новой религии, а он — Чертков — его первый ученик, апостол и продолжатель его дела. Это, разумеется, льстило отцу. Однако для того, чтобы продолжать дело Льва Толстого, ему недоставало одного — гениальности Льва Толстого, и дело свелось к тому, что он неуклонно и деспотически настаивал на том, что он должен быть единственным хранителем его рукописей и издателем всего им написанного.

Третьей причиной дружбы отца с Чертковым был разрыв последнего с высшим петербургским обществом. В 50-х годах отец бывал в этом обществе. Разумеется, он, свободно высказывавший свои мысли и любивший независимость, не мог подойти к обществу, постоянно присматривающемуся к дирижерской палочке из царского дворца. Но это общество не было ему чуждо и в его молодости импопировало ему, а впечатления молодости бессознательно сказываются и в зрелых годах.

И вот Чертков — видный представитель этого общества — отказался от него, принесся в жертву своим убеждениям все те выгоды, которые он мог бы там иметь. Отец высоко ценил эту жертву.

Но я думаю, что не Лев Николаевич должен был быть признателем Черткову, а Чертков Льву Николаевичу за то, что он отвратил его от избитой дороги, на которую толкало его положение в свете.

Кроме упомянутых причин, Чертков нравился моему отцу просто как человек благовоспитанный, красивый и внешне привлекательный.

В 80-х годах Чертков еще дружелюбно относился к нашей семье, в том числе и к матери, и наши семейные, особенно сестры Таня и Маша, отвечали ему тем же.

В 1884 году отец задумал создать серьезную народную литературу, доступную для рабочего народа, и заменить лубочные издания хорошими и дешевыми книгами, брошюрами и картинками. До этого времени невежественные издатели сотнями тысяч издавали, а разносчики разносили по всей России дешевые лубочные книжки и картинки, сочиненные за гроши малокультурными писателями и живописцами. Помню, как отец однажды спросил нас: кто самый распространенный писатель в России? И сам ответил: Кассиров. Никто из присутствовавших не слышал этого имени. Кассиров (псевдоним Ивина) был автором многих очень распространенных лубочных повестей вроде «Английского милорда Георга», «Битвы русских с кабардинцами», «Еруслана Лазаревича» и др.

Отец предложил Черткову заняться народным издательством, и Чертков с увлечением ухватился за это дело. Результатом было основание издательства, названного «Посредником». Материальной стороной дела стал заведовать И. Д. Сытин, тогда еще один из торговцев лубочной литературой. Учреждение «Посредника» сильно поощрило моего отца писать народные рассказы. Эти рассказы и были первыми изданиями «Посредника». Чертков возглавлял «Посредник» до 1893 года; в этом году он передал это дело И. И. Горбунову-Посадову и П. И. Бирюкову. С этого времени деятельность Черткова приняла несколько другое направление. Под влиянием Льва Николаевича он стал собирать сведения о сектантах и отказавшихся от воинской повинности, хлопотать о них и помогать им. В этих делах нельзя не оценить его смелость и готовность пострадать за свои убеждения. Воззвание о помощи духоборам под заглавием «Помогите!» было подписано Чертковым, П. И. Бирюковым и И. М. Трегубовым. Чертков смело его распространял. Как известно, все трое были сосланы: Чертков — за границу, Бирюков и Трегубов — в Остзейский край. Бирюков впоследствии также уехал за границу. В Англии Чертков занялся изданием запрещенных писаний Л. Н. Толстого и периодического органа «Свободное слово».

Нельзя сказать, что Чертков и Лев Николаевич особенно часто видались. Чертков жил либо в Петербурге, либо в име-

нии своих родителей Лизинковке, либо на своем хуторе Ржевске Воронежской губернии; в Москве он бывал временно или проездом. Только летом 1894, 1895 и 1896 годов он часто бывал в Ясной Поляне, поселившись на летние месяцы в пяти верстах от нас, в деревне Демевке. С 1897 по 1907 год он жил в Англии. Зато они обменялись огромным количеством писем. Отец откровенно сообщал Черткову о своих работах и семейных делах. Чертков также откровенно писал ему о своей жизни, высказывал свои мнения о его писаниях, давал советы и даже делал в них свои «предположительные поправки». Я не могу утверждать, что он делал поправки без согласия Льва Николаевича, но знаю, что нередко он так настойчиво его уговаривал, что отец соглашался с этими поправками, «чтобы не огорчить Черткова». Эту фразу «чтобы не огорчить Черткова», сказанную иронически, я не раз слышал от моих сестер, записавшихся перепиской писаний отца.

О В. Г. Черткове, отношениях его к нашей семье в 900-х годах и о роли, которую он сыграл в составлении и осуществлении завещания моего отца, сказано в главе «О последних днях жизни Толстого».

МУЗЫКА В ЖИЗНИ МОЕГО ОТЦА

Я не встречал в своей жизни никого, кто бы так сильно чувствовал музыку, как мой отец. Слыша музыку, Лев Николаевич не мог не слушать ее; слушая же нравившуюся ему музыку, он волновался, у него что-то сжималось в горле, он всхлипывал и проливал слезы. Беспричинное волнение и умиление были те чувства, которые в нем возбуждала музыка. Иногда музыка волновала его против его воли, даже мучила его, и он говорил: «Que me veut cette musique?»¹ Это действие музыки, независимо от рассудочного отношения к ней, особенно ярко описано им в «Крейцеровой сонате»:

«Вообще страшная вещь музыка,— говорит Позднышев.— Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает?» Таково было непосредственное действие музыки на Л. Н. Толстого в продолжение всей его жизни, начиная с детства и кончая последним годом его жизни, когда он говорил, что, если бы провалилась вся европейская цивилизация, он бы пожалел только о музыке.

Поэтому, при полной искренности Льва Николаевича и всегдшнем старании его выяснить самому себе смысл переживаемых им чувств и впечатлений, мнения его о значении музыки вообще, о месте музыки в жизни человечества и, в частности, его мнения о тех или других композиторах, о тех или других музыкальных произведениях получают особый интерес.

Какие были первые музыкальные впечатления детства

¹ Чего хочет от меня эта музыка? (франц.).

«музыкальной совестью Москвы». У него были определенные симпатии и антипатии по отношению к композиторам. Он любил старинных полифонистов, классику, особенно Моцарта, романтиков, ценил Вагнера, относился с особым пиететом к музыке своего учителя П. И. Чайковского, которого называл не иначе, как Петр Ильич; хвалил музыку Аренского и Рахманинова; новаторов же недолго любил за то, что они нарушали правила гармонии. Он считал, что в мире звуков есть незыблемые вечные законы и что их нельзя безнаказанно нарушать. Некоторые из этих законов он раскрыл в своей книге «Подвижной контрапункт строгого письма», где он дал исследование, исчерпывающее эту несколько специальную область музыки. Композиции Танеева едва ли когда-нибудь будут достоянием широкой публики, но в некоторых своих произведениях он достигает большой высоты.

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ЧЕРТКОВ

О Черткове издана отдельная книга М. В. Муратова «Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков», и письма Льва Николаевича к нему занимают несколько томов Юбилейного издания произведений Л. Н. Толстого. Я могу прибавить лишь очень немногое к этим обширным материалам. Но книгу Муратова я считаю односторонней, а переписка Черткова с моим отцом — это пока несработанный материал.

Чертков, как Алкивиад, был богат и знатен. Высокого роста, стройный, красивый, с орлиным носом, он в молодости, в мундире конногвардейца, был чрезвычайно эффектен, что можно видеть по его портрету работы Крамского. Чертковы принадлежали к высшему петербургскому обществу, из которого выходили флигель-адъютанты, генерал-адъютанты, генерал-губернаторы и т. п. Отец Владимира Григорьевича был генерал-адъютантом у Александра II и Александра III; мать, рожденная Чернышева-Кругликова, также происходила из аристократической семьи и была близка с императрицей Марией Федоровной.

Во время службы в конногвардейском полку В. Г. Чертков, по собственному признанию, вел жизнь порочную — пил, играл и развратничал. Однако со временем эта жизнь ему опротивела, и он с несколькими своими приятелями стал искать бескорыстной и полезной деятельности. Он вышел в отставку и, по совету своего приятеля Рафаила Алексеевича Писарева, за-

нялся земскими делами и благотворительной деятельностью. В пмении Чертковых Лизиновке Владимир Григорьевич учредил ремесленную школу, приемный покой, ссудо-сберегательное товарищество и т. п. Но это его мало удовлетворяло. В то время он горячо и искренне искал такую веру и такое дело, которым он мог бы вполне отдаться. Ему, как человеку с сильной волей и в высшей степени самолюбивому, нужна была деятельность, которая соответствовала бы его убеждениям и в которой в то время он мог бы играть выдающуюся роль. Но он еще не выяснил себе своих убеждений.

Мать Черткова была последовательницей евангелического учения Редстока. Владимир Григорьевич считал себя христианином, но сомневался в православной церковной вере; редстокизм также его не удовлетворял. И вот, разочарованный, на перепутье, не зная во имя чего жить и действовать, он встретился и сошелся с моим отцом, который незадолго перед тем также стоял на перепутье, мучительно сомневался и, наконец, выработал веру, которую старался применять к жизни. Чертков сам не был способен выработать свое определенное миропонимание: для этого у него не было творческого дара, и он усвоил себе миропонимание Льва Толстого.

Отец отнесся к Владимиру Григорьевичу дружественно, и вскоре между ними установилась тесная дружба. Отец относился к нему с трогательной нежностью. Он много раз ему писал о своей любви к нему; в своем дневнике 6 апреля 1884 года, после посещения его Чертковым, записал: «Он удивительно односторонен со мною».

В следующих строках я постараюсь выяснить причины исключительного пристрастия моего отца к Владимиру Григорьевичу.

Во-первых, отец во всю свою жизнь был очень одинок. Он рано лишился родителей. Как сознательно, так и бессознательно он искал друга, с которым мог бы быть вполне откровенным, которого бы он любил и который отвечал бы ему тем же. Это выражено в «Отрочестве» в дружбе Н. Иртеньева с Нехлюдовым. Об этом же он писал в дневнике 1851 года. Старший его брат Николай отчасти восполнял его одиночество, но это был брат, а не друг, о котором он мечтал, и когда в 1860 году Николай Николаевич умер, отец еще сильнее почувствовал свое одиночество. В 1862 году он женился. Жена, семья, дети на время заглушили его тоску, но в начале 80-х годов семейная жизнь уже не удовлетворяла его, тогда же возник его разлад с женой. Потребность в дружбе проявилась с новой

Льва Николаевича? Прежде всего это были впечатления от народных песен, распеваемых на деревне в Ясной Поляне. Затем это была игра на фортепиано и песни в доме Толстых и у их знакомых. В те времена — в 30-х и 40-х годах — концертов давалось мало, к тому же Толстые большей частью жили в деревне; но зато любительская музыка в образованных семьях процветала. Тогдашние любители в самом деле любили музыку, а некоторые хорошо знали ее. Одним из таких любителей был В. И. Юшков, муж тетки Л. Н. Толстого, порядочно игравший на фортепиано; воспитательница Льва Николаевича, Т. А. Ергольская, также недурно играла на фортепиано. Ее репертуар состоял из Гайдна, Моцарта, Фльда, Дюссера и первых сонат Бетховена. В «Детстве» и «Отрочестве» Толстой, по-видимому, вспоминает о ее игре, описывая впечатления Николеньки от игры его матери. Замечу, что мать Льва Николаевича играла на фортепиано и, по рассказам знавших ее, была музыкальна. Сестра Льва Николаевича, Марья Николаевна, с детства играла на фортепиано. В «Детстве» и «Отрочестве» Толстой, по-видимому, думал об ее игре, когда писал про Любочку: «Любочка играет очень отчетливо филльдовские концерты, некоторые сонаты Бетховена».

В Казани Л. Н. Толстой стал сам учиться музыке, отчасти самоучкой, отчасти у плохих учителей. В «Юности» в главе «Мои запятия» у Николая Иртеньева является страсть к музыке, но, как говорит герой повести, «в этом отношении я действовал... без истинного призвания и без малейшего понятия о том, что может дать искусство, и как нужно приняться за него, чтобы оно дало что-нибудь. Для меня музыка или, скорее, игра на фортепиано была средством прельщать девиц своими чувствами... Выбор пьес был известный — вальсы, галопы, романсы (*arrangés*)¹ и т. п. ...Но... вообразив себе, что классическая музыка легче, и отчасти для оригинальности, я решил вдруг, что я люблю ученую немецкую музыку, стал приходить в восторг, когда Любочка играла «*Sonate pathétique*», несмотря на то, что по правде сказать, эта соната давно уже опротивела мне до крайности, сам стал играть Бетховена и выговаривать: Беетховен. Сквозь всю эту путаницу и притворство, как я теперь вспоминаю, во мне, однако, было что-то вроде таланта, потому что часто музыка делала на меня до слез сильное впечатление, и те вещи, которые мне нравились, я кое-как умел сам без пот отыскивать на фортепиано; так что ежели бы

¹ аранжировки (франц.).

тогда кто-нибудь научил меня смотреть на музыку, как на цель, как на самостоятельное наслаждение, а не на средство прельщать девиц быстротой и чувствительностью своей игры, может быть, я бы сделался действительно порядочным музыкантом».

Вероятно Л. Н. Толстой начал свое музыкальное образование в том же роде, как и Николай Иртеньев. Тогда учились чему-нибудь и как-нибудь. В 1847 году он пишет в своем дневнике, что одна из целей его жизни состоит в том, чтобы «достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи». И в следующие три года его молодых исканий, когда он еще не определил своей будущей деятельности, жил то в Москве, то в Петербурге, то в деревне, он действительно много занимался музыкой. Он привез с собой в Ясную Поляну одного пианиста, немца Рудольфа, и брал у него уроки музыки. Это был талантливый музыкант, но тип богемы. Легкомысленный, кутящий человек, Рудольф недолго прожил в Ясной Поляне и затем вскоре умер. От него остались кое-какие композиции, из которых мне известны «Nehengalopp» и две «Кавалерийских рыси». Эти пьесы были когда-то напечатаны. Одну из них Лев Николаевич знал наизусть и нередко игрывал. В этот период его жизни он очень серьезно относился к своим музыкальным занятиям. Он записал тогда (14 июня 1850 г.) целое рассуждение о музыке — «Основные начала музыки и правила к изучению оной». В этом рассуждении, между прочим, есть следующее точное определение музыки: «Музыка есть совокупность звуков, поражающих нашу способность слуха в тройном отношении: 1) в отношении пространства, 2) в отношении времени, 3) в отношении силы». И далее: «Музыка есть средство возбуждать через звук известные чувства или передавать оные».

Одним из воспоминаний этого периода жизни Льва Николаевича может служить небольшой вальс, сочиненный им не позже 1849 года в ланнеровском роде; впоследствии он его иногда игрывал. Сочинение этой пьесы приписывается ему, но, насколько мне известно, это не совсем верно: он ее сочинил с помощью какого-то музыканта. Эта пьеса была впоследствии записана С. И. Танеевым, слышавшим, как ее играл Лев Николаевич.

В эти же годы Лев Николаевич, отчасти под влиянием своего брата Сергея Николаевича, увлекался цыганским пеннем и замышлял написать повесть из цыганского быта. В те времена опереточные арии и модные вальсы еще не заполняли ре-

пертуара цыган, и цыгане пели или настоящие цыганские песни, или главным образом русские народные песни, получившие в их исполнении своеобразную прелесть. Об этих песнях Лев Николаевич всегда отзывался сочувственно; о многих он упоминает в своих произведениях, например, в «Двух гусарах» или в «Живом трупе». Вот названия некоторых: «Слышишь, разумеешь», «Мне моркотно, молоденьке», «Не вечерняя заря», «Хожу ли я по улице», «Лен» и др. Толстой всегда считал, что чувства, выражаемые цыганским пением, искренни и заражают слушателей; поэтому цыганское пение есть настоящее искусство, достигающее своей цели,— хотя, может быть, оно искусство низшего порядка.

В следующее затем пятилетие своей жизни, когда Л. Н. Толстой служил на военной службе, ему мало приходилось заниматься музыкой или слушать ее, хотя он не упускал случая, когда таковой представлялся. За это время он слышал больше всего казачьи и солдатские песни. Во многих местах «Военных рассказов» и «Казачков» он с любовью вспоминает о них.

Уже в этот период своей жизни Толстой старается выяснить себе, почему музыка так сильно действует на слушателей. В первоначальной редакции «Детства» он высказывает следующее свое мнение о музыке — мнение, почти тождественное с тем, которое он высказал гораздо позже, в 1906 году: «Музыка не действует ни на ум, ни на воображение. В то время, как я слушаю музыку, я ни об чем не думаю и ничего не воображаю, но какое-то странное сладостное чувство до такой степени наполняет мою душу, что я теряю сознание своего существования, и это чувство — воспоминание. Но воспоминание чего? Хотя ощущение сильно, воспоминание неясно. Кажется, как будто вспоминаешь то, чего никогда не было. Основание того чувства, которое возбуждает в нас всякое искусство, не есть ли воспоминание?.. Чувство музыки не происходит ли из воспоминания о чувствах и переходах от одного чувства к другому?.. Платон в своей «Республике» полагал неизменным условием, чтобы она выражала благородные чувства. Каждая музыкальная фраза выражает какое-нибудь чувство — гордость, радость, печаль, отчаяние и т. д., или одно из бесконечных сочетаний этих чувств между собою. Музыкальные сочинения, не выражающие никакого чувства, составленные с целью или выказать ученость, или приобрести деньги, одним словом, в музыке, как и во всем, есть уроды, по которым судить нельзя. < К числу этих уродов принадлежат некоторые попытки музыкой выразить образы и карти-

типы >. Ежели допустить, что музыка есть воспоминание о чувствах, то понятно будет, почему она различно действует на людей. Чем чище и счастливее было прошедшее человека, тем более он любит свои воспоминания и тем сильнее чувствует музыку; напротив, чем тяжелее воспоминания для человека, тем менее он ей сочувствует, и от этого есть люди, которые не могут переносить музыку».

В следующий период своей жизни (1856—1862), вернувшись из Севастополя уже известным писателем, Л. Н. Толстой подолгу жил в Москве и Петербурге и два раза ездил за границу. В это время он не пренебрегал возможностью познакомиться со всем выдающимся в области музыки. Многие приятели и знакомые его были большими любителями музыки. Таковыми были два брата Иславины, Зыбин, В. Перфильев, Ар. Дм. Столыпин, Киреева, кн. Одоевский и др. Некоторые были сами порядочными исполнителями, другие устраивали музыкальные вечера, приглашая лучших артистов. К этому же времени относится знакомство Льва Николаевича с Ник. Гр. Рубинштейном, которого он высоко ценил как музыканта и вместе с которым он обсуждал учреждение музыкального общества в Москве. Эта мысль впоследствии была осуществлена братьями Рубинштейнами, основавшими императорское музыкальное общество.

В двух рассказах, написанных за это время, в «Люцерне» и «Альберте», действующие лица — музыканты. Тип Альберта Лев Николаевич создал под впечатлением своего знакомства с одним талантливым скрипачом, Кизеветтером, погубившим себя разгульной жизнью. Замечательно описание впечатления, произведенного на слушателей игрой Альберта. Это описание само по себе музыка:

«В комнате пронесся чистый стройный звук и сделалось совершенное молчание.

Звуки темы свободно, изящно полились вслед за первым, каким-то неожиданно-ясным и успокоительным светом вдруг озаряя внутренний мир каждого слушателя. Ни один ложный или неумеренный звук не нарушил покорности внимающих, все звуки были ясны, изящны и значительны. Все молча, с трепетом надежды следили за развитием их. Из состояния скуки, шумного рассеяния и душевного сна, в котором находились эти люди, они вдруг незаметно перенесены были в совершенно другой, забытый ими мир. То в душе их возникало чувство тихого созерцания прошедшего, то страстного воспоминания чего-то счастливого, то безграничной потребности

власти и блеска, то чувства покорности, неудовлетворенной любви и грусти. То грустно-нежные, то порывисто-отчаянные звуки, свободно перемешиваясь между собой, лились и лились друг за другом так изящно, так сильно и так бессознательно, что не звуки слышны были, а сам собой лился в душу каждого какой-то прекрасный поток давно знакомой, но в первый раз высказанной поэзии».

За это время на Льва Николаевича особенно сильное впечатление произвели две оперы: «Фрейшютц» Вебера и «Дон-Жуан» Моцарта, особенно «Дон-Жуан». Вообще в своей жизни Лев Николаевич слышал не много опер; он не любил этот род искусства и находил, что нельзя соединять два искусства — музыку и драму, или даже три искусства, если признать, что и живопись (декорации) также участвует в впечатлениях, производимых оперой. От такого совмещения, по его мнению, действие каждого искусства не только не усиливается, но, наоборот, ослабляется. Однако он делал исключение для такой оперы, как «Дон-Жуан», так как в «Дон-Жуане» музыка изображает чувства действующих лиц; лиризм этой оперы, по его мнению, искупает общий всем операм недостаток совместительства музыки и драмы. В этом он сошелся с П. И. Чайковским, который, как известно, очень любил Моцарта и считал «Дон-Жуана» лучшей оперой в мире.

Занимаясь начальными школами в Ясной Поляне и ее окрестностях, Лев Николаевич обратил внимание на преподавание в них пения, сам учил пению и даже вместе с учениками ездил в церковь петь хором на клиросе. Мною записан романс «Ключ», который отец распевал со своими учениками. Этот благозвучный старый романс в итальянском стиле, автор которого мне неизвестен, упоминается также в «Войне и мире»: его пели в доме Ростовых. Между прочим, обучая пению своих учеников, Л. Н. Толстой впервые в России применил цифровой метод по системе Шеве, с которым познакомился за границей и который в то время был новостью.

В Отчете о яснополянской школе за ноябрь и декабрь 1862 года Лев Николаевич написал небольшую статью, в которой уже проглядывают его позднейшие мысли об искусстве. Он пишет:

«Я делал эти наблюдения относительно двух отраслей наших искусств, более мне знакомых и некогда мною страстно любимых, — музыки и поэзии. И страшно сказать: я пришел к убеждению, что все, что мы сделали по этим двум отраслям, все сделано по ложному, исключительному пути, не имеющие-

му значения, не имеющему будущности и ничтожному в сравнении с теми требованиями и даже произведениями тех же искусств, образчики которых мы находим в народе. Я убедился, что лирическое стихотворение, как, например, «Я помню чудное мгновенье», произведения музыки, как последняя симфония Бетховена, не так безусловно и всемирно хороши, как песня о «Ваньке Ключничке» или напев «Вниз по матушке по Волге», что Пушкин и Бетховен нравятся нам не потому, что в них есть абсолютная красота, но потому, что мы так же испорчены, как Пушкин и Бетховен». Эти парадоксальные мысли несколько смягчены в статье «Об искусстве», но в сущности одни и те же.

Мысли о том, что такое музыка, в чем секрет ее действия и для чего она служит, занимали Льва Николаевича также и в эту эпоху его жизни. За границей, вспоминая свой разговор с романистом Ауэрбахом 21 апреля 1861 года, он записал в своем дневнике слова Канта, что музыка есть «pflichtloses Gessuss» (наслаждение, чуждое долгу).

С 1862 года Толстой поселился в Ясной Поляне, где прожил почти безвыездно до 1881 года. За это время он редко имел случай слышать концертную музыку. Зато в Ясной Поляне процветала любительская музыка. Там подолгу гостили К. А. Иславин, хороший музыкант и порядочный пианист, бывала сестра Льва Николаевича Марья Николаевна и др.; каждое лето приезжала его свояченица, Т. А. Кузминская, очень хорошо певшая. Лев Николаевич восхищался тембром ее голоса и ее манерой петь и обыкновенно аккомпанировал ей. Ее репертуар состоял главным образом из романсов Глинки, а также Даргомыжского, Чайковского, Шумана и итальянцев.

В 70-х годах Толстой сам увлекся музыкой до того, что играл по три-четыре часа в день. Впечатление от его игры — одно из моих ярких детских впечатлений. Бывало, когда мы, дети, ложились спать, отец садился за фортепиано и играл до двенадцати или часа ночи, иногда в четыре руки с матерью. Хорошо помню, как в то время он играл некоторые сонаты Моцарта, Вебера и Бетховена (первого его периода), некоторые вещи Шопена, «Jugendalbum» Шумана, «Accelerationen Walzer» Штрауса, «Рысь» Рудольфа и пр.; как он пытался играть некоторые недоступные ему по технике пьесы, как, например, «Скерцо» В-moll Шопена, симфонические этюды Шумана или «Роётте d'amour» Гензельта, и как он с матерью играл в четыре руки симфонии Гайдна и Моцарта, септет Бетховена и другие пьесы. Помню первые сладостные впечатления от

музыки, слышанной мною издавна, с верхнего этажа, где играл отец,—впечатления, смешанные с детскими грезами, наполовину бессознательными, переходившими понемногу в сон. Особенно хорошо почему-то запомнились мне первые такты *As-dur*'ной сонаты Вебера, которая очень нравилась отцу. Впоследствии он высказывал свое удивление Н. Рубинштейну, что эта соната и пьесы Моцарта и Гайдна почти никогда не исполняются в концертах. Рубинштейн отвечал, что эти вещи трудно играть, потому что надо играть их безукоризненно.

Вспоминая теперь, как играл отец, я думаю, что он играл ритмично и выразительно, но иногда он понимал пьесу своеобразно, не совсем так, как хотел композитор, а недостаток техники мешал ему вполне выразить то, что он хотел. Игра на фортепиано требовала от него больших усилий. Его неразвитые пальцы ему с трудом повиновались, он стибался, потел, но играл с большим увлечением.

В начале 70-х годов событием в музыкальном мире Ясной Поляны был приезд одного свойственника Льва Николаевича, Ипполита Михайловича Нагорнова, замечательного скрипача, мало выступавшего в концертах в России, но имевшего когда-то успех в Италии и Франции. Он много играл в Ясной Поляне, между прочим, «*Крейцерову сонату*», которая именно тогда произвела особенно сильное впечатление на Льва Николаевича. Может быть, уже в то время зародились те мысли и образы, которые впоследствии были так ярко выражены в повести «*Крейцера соната*». Может быть, даже некоторые черты И. М. Нагорнова послужили для характеристики Трухачевского. Кроме этой сонаты, я помню, что Льву Николаевичу также очень нравились в исполнении И. Нагорнова другие сонаты для фортепиано и скрипки Бехтовена, сонаты Вебера, Шуберта и Моцарта (особенно анданте *es-dur*'ной сонаты), легенда, полонезы и мазурки Венявского.

В 1876 году, в одну из своих поездок в Москву, Л. Н. Толстой познакомился через Николая Рубинштейна с П. И. Чайковским.

Еще молодым правоведом, с первого появления в печати произведений Толстого, Петр Ильич полюбил этого писателя больше остальных. «Когда я познакомился с Толстым»,—писал Петр Ильич десять лет спустя,—«меня охватил страх и чувство неловкости перед ним <...> Глубочайший сердцевед в писании оказался в своем обращении с людьми простой, цельной, искренней натурой, весьма мало обнаруживающей то всеведение, которого я боялся <...> Просто ему хотелось

поболтать о музыке, которой он в то время интересовался. Между прочим, он любил отрицать Бетховена и прямо выражал сомнение в его гениальности. Это уже черта, совсем не свойственная великим людям: низводить до своего непонимания всеми признанного гения — свойство ограниченных людей».

Я не буду касаться вопросов, насколько Чайковский был прав в этом упреке Толстому, замечу только, что сам Чайковский в своем дневнике сознается, что он не любит Бетховена, хотя и преклоняется перед ним.

В это свидание с Львом Николаевичем Петр Ильич устроил с помощью Н. Рубинштейна музыкальный вечер, который произвел очень сильное впечатление на Льва Николаевича. «Может быть, никогда в жизни я не был так польщен, — пишет Петр Ильич, — как когда Л. Толстой, слушая анданте моего квартета и сидя рядом со мною, залился слезами».

Вернувшись в Ясную Поляну, Лев Николаевич послал Чайковскому сборник народных песен с просьбой: «Обработайте их и пользуйтесь ими в Моцарто-Гайдновском роде, а не Бетховено-Шумано-Берлиозо-искусственном, ищущем неожиданного роде».

На это Петр Ильич ответил:
«Москва. 24 декабря 1876 г.
Граф!

Искренне благодарен Вам за присылку песен. Я должен Вам сказать откровенно, что они записаны рукой неумелой и носят на себе разве лишь одни следы своей первобытной красоты. Самый главный недостаток — это что они втиснуты искусственно и насильственно в правильно размеренный ритм. Только плясовые русские песни имеют ритм с правильным и равномерно акцентованным тактом, а ведь былины с плясовой песнью ничего общего иметь не могут.

Кроме того большинство этих песен — и тоже по-видимому насильственно — записано в торжественном D-dur'e, что опять-таки несогласно с строем пастоящей русской песни, почти всегда имеющей неопределенную тональность, ближе всего подходящую к древним церковным ладам».

Запись народной песни «согласно с тем, как ее исполняют в народе», — пишет далее Чайковский, — «это — необычайно трудная вещь и требует самого тонкого музыкального чувства и большой музыкально-исторической эрудиции <...> Но материалом для симфонической разработки ваши песни служить

могут, и даже очень хорошим материалом. Я непременно так или иначе воспользуюсь им».

После этого отношения между Львом Николаевичем и Чайковским скоро прекратились — отчасти потому, что Чайковский разочаровался, не найдя в Толстом того властителя дум, которого он думал встретить, а отчасти потому, что Петр Ильич вообще избегал людей, не близко ему знакомых. «Я выпес убеждение, — пишет Чайковский в одном письме к Мекк, — что Толстой человек несколько парадоксальный, но прямой, добрый, по-своему даже чуткий к музыке, но все-таки знакомство его не доставило мне ничего, кроме тягости и мук, как и всякое знакомство».

В своих письмах Петр Ильич неоднократно писал о Толстом. Замечательно, что он, написавший более десяти опер, относился к оперной форме так же, как и Л. Н. Толстой, — критически. «Лев Толстой, — пишет он Мекк, — советовал мне бросить погоню за театральными успехами, а в «Войне и мире» он заставляет свою героиню недоумевать и страдать от фальшивой условности оперного действия. Человек, подобно вам, живущий вне общества (и вследствие того отрешившийся от всякой условности) или, подобно Толстому, прошедший долгие годы безвыездно в деревне, занимаясь исключительно делами семейными, литературой и школьным делом, должен живее другого чувствовать всю фальшивость и лживость оперной формы. Да и я, когда пишу оперу, чувствую себя стесненным и несвободным <...> Тем не менее нужно признать, что многие первостепенные музыкальные красоты принадлежат драматическому роду музыки, и авторы их были вдохновлены именно драматическими мотивами».

Чайковский сходился с Толстым также в любви к «Дон-Жуану» Моцарта и в нелюбви к либретто вагнеровских опер. Соглашался он также с Львом Николаевичем, что художник не должен заботиться о мнениях толпы. «Толстой убедил меня, — пишет Чайковский, — что тот художник, который работает не по внутреннему побуждению, а с тонким расчетом на эффект, тот, который насилует свой талант с целью понравиться публике и заставляет себя угождать ей, тот не вполне художник; его труды непрочны, успех их эфемерен. Я совершенно усвоил эту истину».

Несмотря на некоторое разочарование после личного знакомства, Чайковский, прочтя «Смерть Ивана Ильича», пишет в одном письме: «Более чем когда-либо убеждаюсь, что вели-

чайший из всех художников-писателей, когда-либо бывших — есть Толстой».

В конце октября 1893 года, узнав, что Чайковский умер (Чайковский умер 25 октября этого года), Лев Николаевич писал в письме жене: «Мне очень жаль Чайковского, жаль, что как-то между нами, мне казалось, что-то было. Я у него был, звал его к себе, а он, кажется, был обижен, что я не был на «Евгении Онегине». Жаль, как человека, с которым что-то было чуть-чуть неясно, больше еще, чем музыканта. Как это скоро, и как просто, и натурально, и ненатурально, и как мне близко».

Из этого письма видно, что Лев Николаевич, бывши в Москве одновременно с Чайковским, хотел возобновить свое знакомство с ним. Из писем и из дневника Чайковского видно, почему это знакомство не возобновилось.

С 1881 по 1901 год Лев Николаевич проводил почти все зимы в Москве. В его душе уже произошел тот кризис, который перевернул все его прежнее мировоззрение. В 1897 году он написал свою статью об искусстве («Что такое искусство?»), вопросы которого, как он сам пишет, занимали его пятнадцать лет перед этим; в этой статье он взглянул на искусство вообще и на музыку в частности с религиозной точки зрения. В эти годы, несмотря на то, что вся его душевная и умственная деятельность была направлена на религиозные вопросы, музыка продолжала так же сильно, как и раньше, непосредственно действовать на него. Только, может быть, действие это стало несколько иным. Музыка стала не столько умилять, сколько волновать и даже раздражать его. В «Крейцеровой сонате» Позднышев так судит о музыке: «Говорят, музыка действует возвышающим душу образом — вздор, неправда! Она действует, страшно действует <...> но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует ни возвышающим, ни понижающим душу образом, а раздражающим душу образом». И далее: «Хоть бы эту «Крейцерову сонату», первое престо. Разве можно играть в гостиной, среди декольтированных дам, это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах, и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке важные поступки. Сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка. А то несоответственное ни месту, ни времени вызывание энергии, чувства, ничем не проявляющегося, не может не действовать губительно».

Я помню, как во время писания «Крейцеровой сонаты» Лев Николаевич старался выяснить себе, какие именно чувства выражаются первым престо «Крейцеровой сонаты»; он говорил, что введение к первой части предупреждает о значительности того, что следует, что затем неопределенное волнующее чувство, изображаемое первой темой, и сдержанное, успокаивающееся чувство, изображаемое второй темой,— оба приводят к сильной, ясной, даже грубой мелодии заключительной партии, изображающей просто чувственность. Впоследствии, однако, Лев Николаевич отказался от мысли, что эта мелодия изображает чувственность. Так как, по его мнению, музыка не может изображать то или другое чувство, а лишь чувства вообще, то и эта мелодия есть изображение вообще ясного и сильного чувства, но какого именно, определить нельзя.

Не знаю, когда именно Лев Николаевич в первый раз слышал «Крейцерову сонату». Незадолго же перед тем, как он писал свою повесть, он ее слышал в исполнении не совершенном, а именно, тогда играли эту сонату я и скрипач Лясотта.

В этот московский период своей жизни Лев Николаевич почти не бывал в концертах, находя, что в концертах трудно слушать музыку, так много в их обстановке ненужного и искусственного, и что современные концерты устраиваются только для приятного препровождения времени богатых и праздных людей. В этот период его жизни из опер он видел, если я не ошибаюсь, только «Волшебную флейту» Моцарта и два акта из «Зигфрида», к которому отнесся совершенно отрицательно. Тем не менее он за это время переслушал много музыки; многие музыканты презжали к нему, играли и пели для него. Назову тех, кого помню: Антон Рубинштейн, Аренский, Игумнов, С. И. Танеев, Гольденвейзер, Гофман, Шаляпин, Муромцева-Климентова, Скрябин, Брандуков, Гржимали. Одним из певцов, которого особенно любил слушать Лев Николаевич, был Николай Михайлович Лопатин. Лопатин записывал русские народные песни и сам пел их так, как поет их народ, как говорится — «полевым голосом».

Летом в Ясной Поляне процветала любительская музыка. Лев Николаевич не только снисходительно относился к такой музыке, но иногда даже предпочитал любительскую музыку профессиональной. В этом он иногда доходил до крайних мнений. Помню, он как-то сказал, что особенно любит слушать тех, кто поет или играет (на фортепиано, гитаре или балалайке), не зная нот, потому что слух и память у них, несомнен-

но, хорошо развиты и потому, что они, паверное, хорошо знают и любят то, что играют или поют.

Он нередко с удовольствием слушал пение своих двух старших дочерей Тани и Маши, особенно когда они пели деревенские яснополянские песни, пение его свояченицы, Т. А. Кузминской, импровизированные хоры и игру на балалайках яснополянской молодежи, мою или еще чью-нибудь любительскую игру на фортепиано. Бывало, он вечером скажет мне: «Поиграй». Тогда я садился за фортепиано, а он отворял двери своего кабинета и, раскладывая пасьянс, читая или просто отдыхая, слушал. Иногда он спрашивал про незнакомую ему пьесу, что это за вещь, иногда он заказывал играть ту или другую пьесу, например, старинные гавоты, Шопена, Шумана (например, «Waldesgespräch» (или «Nachtstück»), Шуберта (например, «Impromptu» as-dur), Грига («Люблю тебя»), Годара («Au matin») и др. Помню, как раз он мне сказал: «Сыграй три полонеза: Шопена (cis-moll), Мопюшко (b-dur) и Вебера (e-dur)».

Впрочем, замечу, что далеко не всегда любительская музыка в Ясной Поляне доставляла ему удовольствие. Он не мог не прислушиваться к звукам музыки, хотя бы они долетали до него через три закрытые двери, а это мешало ему заниматься, думать и писать. Вспомним, как словами кухарки в «Плодах просвещения» он осмел богатых и праздных людей, занимающихся музыкой «для разгулки времени»: «Барышня, так та, бывало, как глаза продерет,— говорит кухарка,— так сейчас к фортепьянам, и валяй! А эта, что живет, учительша, стоит, ждет, бывало, скоро ли опростаются фортепьяны. Как отделалась одна, давай эта закатывать. А то двое фортепьян поставят, да по-двое, вчетвером задузыривают».

В последние годы своей жизни (1901—1910) Лев Николаевич окончательно поселился в Ясной Поляне. Музыка, так же как и прежде, волновала и трогала его, но уже меньше раздражала и мучила, чем в те годы, когда писалась «Крейцера соната». За это время многие музыканты приезжали к нему в Ясную Поляну. Там побывали, между прочим, чешский квартет, Сибор, Шор вместе со своим трио, Ванда Ландовска, Оленина-д'Альгейм, В. Философова, С. И. Танеев, Аренский и др.; каждое лето вблизи Ясной Поляны проживал профессор Московской консерватории А. Б. Гольденвейзер, нередко игравший для Льва Николаевича.

Как мы видели, Лев Николаевич в продолжение всей своей жизни страстно любил музыку и имел возможность знать и

действительно знал почти все, что было выдающегося в музыке в его эпоху, кроме новейших композиторов. Поэтому его мнения о тех или других композиторах, о тех или других пьесах должны быть особенно интересны. Какая же музыка сильнее всего действовала на него? Какую музыку он больше всего любил?

Вопрос этот осложняется тем, что Лев Николаевич далеко не всегда считал наилучшей ту музыку, которая ему всего больше нравилась; он говорил, что он, «кроме того, что недостаточно сведущ во всех родах искусства», принадлежит «к сословию людей с извращенным ложным воспитанием вкусом и потому может по старым усвоенным привычкам ошибаться, принимая за абсолютное достоинство то впечатление, которое произвела на него вещь в молодости».

В одном — в высокой оценке народного творчества и любви к нему — его рассудок и непосредственное чувство сходились. Он не только находил, что народная музыка есть настоящее искусство, но непосредственно любил ее.

Что такое народная музыка? Это далеко не все то, что поет и играет народ. Музыкальный фольклор — это та музыка, которая создана самим народом. Как она создавалась, мы не знаем. Она держится долго, до тех пор, пока держится быт, ее создавший. Ее заменяет культурная музыка.

Те, кто не застал цветения русской народной музыки, едва ли могут себе представить ее прежнее распространение и ее значение в жизни русского народа, особенно в деревне. Тогда пели при самых разнообразных обстоятельствах; вся жизнь проходила под звуки песен. Пели бабы, идучи на работу и возвращаясь с нее; пела молодежь на хороводах и посиделках; ямщики затягивали свои протяжные песни; бурлаки пели свои тягучие песни с ляжкой на плече и свои веселые песни на отдыхе; грузчики, плотники и каменщики поднимали и передвигали тяжести под звуки «Дубинушки» или подобной же песни; у рекрутов, солдат, ремесленников, даже дворовых были свои песни; свадьбы сопровождались бесконечными обрядовыми песнями: при сватовстве, на девичниках, при проводах в церковь и возвращении из нее; на похоронах и поминках раздавались надрывающие сердце причитания; на праздниках, например на Троицын день, пелись особые обрядовые песни и т. д., и т. д. Мало-мальски музыкальные уши легко запомнили эти песни; их воспринимали еще в детстве. Можно было видеть, как где-нибудь на завалинке сидели маленькие девочки и подбирали и заучивали какую-нибудь песню.

Лев Николаевич жил в годы наибольшего распространения русской народной песни. Он с детства слышал, как в Ясной Поляне и других деревнях бабы «играли» свои песни (в Ясной Поляне говорят «играть» песни вместо «петь»), слышал народные песни на Волге, в Казанской и Самарской губерниях, у казаков, у солдат и в других местах. Упомяну о некоторых песнях, которые он с удовольствием слушал. Это яснополянские песни: «Как по морю, морю синему», «Как под лесом», «Не будите меня, молодую», «Соловей с кукушечкой», «Гуляй, гулюшка», «Улица широкая», свадебные песни и др. Назову еще следующие песни, о которых он отзывался с похвалой: «Дубинушка», «Вниз по матушке по Волге», «Эй, ухнем» «Сени мои, сени», «Сад, ты мой сад», «Как под яблонькой одной», «Во пиру была», «Здравствуй, милая, хорошая моя», «Светит месяц» и др. Ниже будет сказано о народных песнях, исполненных при нем артистами.

В 1855 году, находясь в осажденном Севастополе, Лев Николаевич сочинил сатирическую песню, в которой осмеял нераспорядительность начальства, приведшую к поражению в сражении при Черной речке. Офицеры и, вероятно, солдаты распевали эту песню на мелодию одной цыганской песни: «Я цыганка молодая, цыганка не простая, знаю ворожить». Вот несколько куплетов этой песни:

Как четвертого числа
 Нас нелегкая несла
 Горы отбирать...
 Долго думали, гадали,
 Топографы все писали
 На большом листу.
 Гладко вписано в бумаге,
 Да забыли про овраги,
 А по ним ходить.
 Выезжали князя, графы,
 А за ними топографы
 На Большой редут.
 На уру мы зашумели,
 Да резервы не постели,
 Кто-то переврал <...>
 На Федюхины высоты
 Нас пришло всего три роты,
 А пошли полки!..

Песня оканчивается крепким словом по отношению к тем, «кто туда водил».

В своей семье Лев Николаевич поощрял исполнение народных песен. Иногда он говорил: «Вы бы попели или поиг-

ралл». Его дочери Татьяна и Мария пели песни из репертуара яснополянских баб и цыганские песни. К ним присоединялись и другие. Мой брат Миша и Михаил Кузминский хорошо играли песни на балалайках.

Вот песколько песен, исполненных Лопатиным в присутствии Льва Николаевича: «Горы Воробьевские», «Степь моздокская», «Вспомнил, моя любезная», «Подуй, непогодушка», «Бурлацкая» (Дупяша), «Не шуми ты, мать, зеленая дубравушка», «Размолодчики» и солдатские: «Гремт слава трубой», «Черная галка».

В 1900 году в нашем московском доме пел Ф. И. Шаляпин. Его пение не особенно понравилось отцу, может быть потому, что ему не нравились те пьесы, которые пел Шаляпин, например «Судьба» Рахманинова и «Блоха» Мусоргского; но когда по его просьбе Шаляпин спел народную песню, а именно «Ноченьку», Лев Николаевич с удовольствием его слушал и сказал, что Шаляпин поет эту песню по-народному, без вычурности и подделки под народный стиль.

Нечто в этом же роде произошло, когда в 1909 году в Ясную Поляну приехала М. А. Оленкина-д'Альгейм. Лев Николаевич не особенно восхищался ее исполнением разных романсов, но оживился, когда она без аккомпанемента спела несколько рязанских народных песен. «Чарочку», записанную ее братом Александром, он просил повторить.

В Москве в 90-х годах Лев Николаевич слушал и одобрял игру на балалайках Андреева и Трояновского, исполнявших русские песни, аранжированные для этих инструментов.

Отец с удовольствием слушал не только русские народные песни, но и песни других народов. Он в молодых годах увлекался цыганским пением, но любил их слушать не тогда, когда они пели банальные романсы и вальсики, а когда они пели народные русские и цыганские песни.

Он говорил, что цыгане хорошо интерпретируют русские песни. В «Живом труппе» Толстой, очевидно, упоминает те песни, которые больше других ему нравились. В этой пьесе цыгане поют две подлинные цыганские песни — «Кон'авэла» и «Шэл-мэ-вэрста» и две старинные русские песни — «Лён» и «Не вечерняя заря».

В 900-х годах Лев Николаевич не раз просил поставить на граммофоне пластинку с пением известной Вари Папиной и похваливал ее. Иногда, когда около Ясной Поляны располагались табором так называемые полевые цыгане, он ходил их слушать и смотреть на их пляску.

На Кавказе Лев Николаевич слушал грузинские, калмыцкие, персидские, татарские и чеченские песни. Он даже записал и перевел две чеченские песни. В Самарской губернии он с удовольствием слушал башкирские мелодии, игранные на курае — башкирской дудке. Знал он и украинские и белорусские песни. Песни Западной Европы, особенно французские, также ему были знакомы. В Люцерне он с удовольствием слушал нищего музыканта, певшего с «тирольскими переливами».

В 1909 году я показывал ему свои обработки шотландских песен; они ему понравились, а про одну (Cogn rids)¹ он сказал: «Да это русская песня». И в самом деле эта песня похожа на русскую «Светит месяц».

В декабре 1907 года известная артистка Ванда Ландовска, специалистка по игре на клавесине, провела несколько дней в Ясной Поляне и там играла на рояле и привезенном ею клавесине песни разных западных и восточных народов и напевала их. Я был тогда в Ясной Поляне и помню, как отец восхищался ее игрой. О суждениях, им тогда высказанных, есть следующая запись Д. П. Маковицкого:

«Переносит совсем в другой мир,— говорил Л. Н.— У меня был момент, что я забылся, перенесло меня куда-то. Это музыка рабочего народа, серьезная, веселая. Бетховен и Вагнер выросли на ней». Вечером Ванда Ландовска играла польские календы и напевала их, затем — армянские, еврейские, персидские, лезгинские... Л. Н. говорил: «Я имею некоторое понятие о восточной музыке. Персидские мотивы мне совершенно понятны, доступны. Поэтому я думаю, что и наша народная музыка им доступна. Новый мотив в первый момент чужд, а потом радуешься, что можешь проникнуть в него. Всякая народная музыка доступна всем людям, персидскую поймет русский мужик и наоборот, а господское вранье, например Рихарда Штрауса, никто, даже сами господа не поймут».

Может быть, Лев Николаевич преувеличивал ценность народной музыки, когда он хвалил банальные песни. Но он говорил, что такая музыка, хотя и принадлежит к низшему сорту, все-таки достигает своей цели, заражая слушателя известным чувством. Только подделку под народное творчество он отрицал и не любил.

Мнение Л. Н. Толстого о значении и ценности народной музыки подтверждается историей музыки. Начиная с тех композиторов, которые писали мессы на темы народных песен

¹ зелепя́ (анг.).

(Орландо Лассо, Палестрина и др.), и кончая современными, чуть ли не все композиторы сознательно или бессознательно пользовались народными мелодиями. Народная музыка дает плод — культурную музыку.

Перехожу к отношению Л. Н. Толстого к музыке композиторов.

Вот некоторые выводы, к которым я пришел на основании моих личных наблюдений и тех мнений, которые Лев Николаевич высказывал в своих произведениях и в устных разговорах.

Прежде всего он любил простую, ясную мелодию, причем он не боялся любить избитые мелодии. Он любил музыку ясную, энергическую, преимущественно мажорного характера. Большею частью о таких именно песнях он упоминает в своих произведениях («Барыня», «Сени мои, сени», «По улице мостовой», «Как со вечера пороша», «Эй вы, гусары», «Под яблонькой одной» и пр.).

Гармонию, контрапункт и разработку он чувствовал лишь постольку, поскольку этим оттенялась мелодическая канва пьесы. Фуги он находил искусственным и скучным родом музыки. Из произведений Баха ему нравились: известная ария Баха, его гавоты и некоторые старинные танцы, а из Wohltemperiertes Clavier лишь немногие пьесы, например, первая прелюдия и некоторые темы фуг, но не их разработка. Но знаю, насколько он был знаком с церковной музыкой Баха.

Он был довольно равнодушен к оркестровым краскам и даже говорил, что фортепианные вещи нередко лучше оркестровых, так же как в живописи рисунки нередко бывают лучше картин, писанных масляной краской. Из инструментов на него сильнее всего действовали смычковые и фортепиано, что не мешало ему с удовольствием слушать даже балалайку и гитару. Вокальную музыку он любил не менее инструментальной, особенно песни. Оперу, как ложный, по его мнению, род искусства, соединяющий несоединимое — музыку и драму, — он не любил, говоря, что она не дает иллюзии, что на сцене он не может не видеть «толстого певца в трико». Он делал исключение для весьма немногих опер. Кроме «Дон-Жуана», «Волшебной флейты» и «Фрейшютца», я знаю только, что он с удовольствием смотрел «Орфея» и «Севильского цирюльщика».

Танцы, но не банальные танцы, очень нравились ему. Он с удовольствием слушал вальсы Штрауса, венгерские танцы, полонезы Монюшко, не говоря уже про мазурки, полонезы и вальсы Шопена.

В статье «Что такое искусство?» он указывает на музыкальные произведения, которые он считает наилучшими. Это — народная музыка, а из ученой музыки — «На очень немногие произведения, на знаменитую скрипичную арию Баха, на похитори в es-dur Шопена и, может быть, на десяток вещей, в цельных пьес, но мест, выбранных из произведений Гайдна, Моцарта, Шуберта, Бетховена, Шопена».

Однако этими произведениями, которые он считал отвечающими требованиям всемирного искусства, далеко не исчерпывается число пьес, которые он сам любил слушать. К ним следует присоединить еще многое.

Кроме народной музыки, он любил слушать старинных мастеров вроде Рамо, Глука, Джона Булля и др., классиков — Гайдна, Моцарта, Бетховена, а также Вебера, Шумана, особенно Шопена и разные пьесы других композиторов. В 70-х годах он с удовольствием играл в четырехручном изложении симфонии и квартеты Гайдна, а также симфонии Моцарта и Шуберта, увертюры Вебера и пр. Про оперу «Дон-Жуан» Моцарта он говорил, что она потому хороша, что лирична. Дуэт «La ci darem» можно назвать его любимым дуэтом. В письме Татьяне и сыну Льву, находившимся в Париже, он писал: «Вчера, после чепухинского квартета Чайковского, я разговорился с виолончелем — ученик, очень хорошо играющий, консерватории. А там начали петь. Чтобы не мешать пенню, мы ушли в другую, заднюю комнату, и я горячо доказывал ему, что музыка новая зашла на ложную дорогу; вдруг что-то перебивает мне мысли, захватывает меня и влечет к себе, требует покорности. А это там начали петь — ученик консерватории, прелестный баритон Бабурин и девица Риг — дуэт «La ci darem із папо». Я перестал говорить и стал слушать и радоваться и улыбаться чему-то. Что же это за страшная сила!»

Отношение Л. Н. Толстого к Бетховену было несколько сложно. Бетховен, кроме его последнего периода, производил на него очень сильное впечатление: в «Детстве» он описывает впечатление его героя от «Патетической сонаты»; в «Семейном счастье» он с любовью отзывается о «Лунной сонате»; рассказ «Крейцера соната» озаглавлен сонатой Бетховена; соната «Apassionata» всегда волновала его; наконец, сам он нередко играл как сонаты Бетховена, так и оркестровые его вещи (в четыре руки). Но, требуя в этом, как и в других случаях, критического отношения к общепризнанным кумирам, он всегда восставал против исключительного культа Бетховена, считая, что Бетховен злоупотребляет эффектами и что предшест-

вепники Бетховена, Гайдн и Моцарт, не ниже, если не выше его. Он считал, что Бетховен был не довершителем периода высшего расцвета музыки, а родоначальником упадка музыки, продолжающегося до сих пор. Я помню, как в 70-х годах он говорил, что гениальный художник дает в своих произведениях не только новое содержание, но и новую форму: Гайдн создал сонатную или симфоническую форму, Моцарт — оперу, Бетховен же творил в прежних формах, а именно в формах Гайдн и отчасти Моцарта; поэтому он спрашивал себя, следует ли признать Бетховена гением. Мне кажется, что в этом суждении о Бетховене он ошибался. Симфонические формы Бетховена настолько отличаются от форм его предшественников, что их можно назвать новыми формами: бетховенские построения шире и свободнее; некоторые (например его скерцо) представляют нечто совершенно новое, так что если верно, что гений творит в новых формах, то это вполне применимо к Бетховену. Затем он находил, что Бетховен понятен сравнительно небольшому числу людей, что надо несколько искуситься в музыке, испортить свой вкус, чтобы понимать его, что в нем много искусственного. Наконец, он решительно не любил произведения последнего периода Бетховена, в чем сходилась с Улыбышевым, книга которого «Beethoven et ses glossateurs», вышедшая в 1857 году, имела некоторую известность.

В дополнение к сказанному о Бетховене я вспоминаю, что Лев Николаевич сказал про сонату g-dur (Op. 14, № 2): «В первой части слышится как бы разговор мужа с женой, в общем — это игрушечная соната». В сонате Es-dur (Op. 7) он находил, что лучшая ее часть трио из скерцо (в Es-moll), сонату C-dur (Op. 53) он находил искусственной и надуманной. Из последних сонат ему нравилось только Adagio с вариациями (E-dur) в сонате Op. 109.

Другим композитором, который по своему бодрому мажорному характеру был ему сродни, был Вебер. В 70-х годах он увлекался его сонатами и увертюрами. «Фрейшютц» — одна из немногих опер, которые он признавал. В списке любимых произведений Л. Толстого видное место занимают также Шуберт и Шуман, особенно их песни. В романсе Шумана «Ich grolle nicht» («Я не сержусь») он восхищался аккордами аккомпанемента и верно замечал, что в них есть что-то общее с первой прелюдией Баха (Wohltemperirtes Clavier). Больше других композиторов Л. Н. Толстой любил Шопена. Чуть ли не все им написанное ему нравилось. Шопен волновал и умилял его. Когда я ему как-то сказал, что Шопен мало доступен

людям, плохо знакомым с музыкой, например крестьянам, он согласился с этим и сказал, что, к сожалению, он должен признать, что для понимания Шопена нужна некоторая музыкальная подготовка. «Я же его люблю, — прибавил он, — вероятно потому, что мой вкус уже испорчен».

Однажды он был тронут до слез прелюдией Шопена в d-moll и сказал: «Вот это — музыка! И какой простой и новый прием для окончания пьесы — эти три ре в басу!» По поводу одного вальса Шопена он сказал:

«У Шопена, как у всякого композитора, есть банальные места, но у него их мало, и он хорош даже и в этих местах; он банален как-то по-своему».

Казалось бы, что его особенное пристрастие к Шопену противоречит мнению, что он любил преимущественно энергичскую, мажорную музыку. Но я думаю, что здесь противоречия нет, так как его прежде всего прельщала мелодичность Шопена, а затем из произведений Шопена он больше всего любил энергические и мажорные пьесы. В минорных же пьесах ему нередко больше всего нравились вторые мажорные темы, ярко выступающие на минорном фоне. К Вагнеру, Листу (кроме некоторых его переложений), Берлиозу, Брамсу, Рихарду Штраусу и другим более молодым композиторам Лев Николаевич относился отрицательно.

Он говорил про композиторов-новаторов: «Когда слушаешь их, иногда кажется, что вот-вот начнется что-то хорошее, мелодичное, но не успеет это хорошее начаться, как оно уже кончилось и потонуло в непонятных и ненужных диссонансах. Композитор мучает слушателей этими диссонансами, пока опять не проблеснет что-то понятное и опять потонет. Остается неудовлетворенное, беспокойное впечатление». Лев Николаевич вообще не любил Вагнера. Однажды он, прослушав два акта «Лоэнгрина», недовольный ушел из театра. Известно, как саркастически он отнесся к «Зигфриду», особенно к сюжету Нибелунгов. Помню только, что однажды я играл свадебный марш из «Тангейзера», и он, не зная, чья эта пьеса, похвалил ее. Когда же я ему сказал, что это композиция Вагнера, он довольно верно заметил, что эта музыка напоминает Вебера. Отрицательное отношение Льва Николаевича к Вагнеру известный критик Н. Н. Страхов объяснял тем, что Л. Н. Толстой тонко понимал и чувствовал мелодию, но не гармонию. Между тем у Вагнера гармония преобладает над мелодией. Так ли это, не берусь судить. Вагнер мог отталкивать Льва Николаевича своим пристрастием к внешним грандиозным эффектам,

отсутствием формы, своими сюжетами и своим приемом проведения тем в оркестре, а не в пении.

Некоторые пьесы Грига нравились Льву Николаевичу, особенно романс «Люблю тебя». Он чувствовал оригинальность Грига, но, прослушав «Марш троллей», он сказал: «Это уже слишком *григисто*».

Из русских композиторов Лев Николаевич любил слушать некоторые романсы Глинки, но без восторга относился к его операм и был равнодушен к «могучей кучке», произведению которой он, впрочем, мало знал. Знаю только, что его трогал романс Балакирева «Слышу ли голос твой».

Он относился холодно к музыке Чайковского. Когда-то анданте Чайковского вызвало слезы Льва Николаевича. Думаю, что это было самое сильное его впечатление от музыки Чайковского. Помню, что он с удовольствием слушал некоторые романсы Чайковского и еще кое-что (например, первую симфонию).

Вообще он не увлекался русскими композиторами. Однажды, когда я сыграл увертюру из «Руслана и Людмилы» Глинки, он заметил:

— Хорошо, но это не первый сорт. Увертюра из «Фрейшютца» лучше.

Про А. Рубинштейна он говорил: «Рубинштейн знает слишком много чужой музыки: это мешает ему быть самобытным. У него есть немного искренних, но довольно банальных вещей (например, его романсы для фортепиано *es-dur* и *f-dur* *Val-se carice* и др.)».

Я стеснялся показывать отцу свои слабые композиторские попытки. Однажды он случайно услышал, как я играл одну короткую тему, мною сочиненную, и удивился, что я ее избрал. Он нашел, что мой романс «Мы встретились вновь» искренен; ему также понравились некоторые мои гармонизации шотландских песен.

Можно не соглашаться с суждениями Л. Н. Толстого о тех или других пьесах, особенно с его отрицательными суждениями, но нельзя не признать, что у него был верный и тонкий музыкальный вкус и что он ценил только действительно хорошую музыку. Это не только мое мнение, но и мнение тех музыкантов, которые его знали, например С. И. Танеева и А. Б. Гольденвейзера. Надо также принять во внимание, что суждения Льва Николаевича о музыке, записанные с его слов, иногда противоречивы, иногда парадоксальны. Это, конечно,

так и должно быть, так как эти суждения высказаны им в разговорах *ad hoc*¹.

Мы видели, что в продолжение всей своей жизни Льва Николаевича занимали вопросы: 1) что такое музыка, почему она так действует на людей, в чем секрет этого действия и 2) чему должна служить музыка, хорошо ли ее действие на людей. Еще в ранней юности Лев Николаевич пишет: «Музыка есть средство возбуждать через звуки известные чувства и передавать оные». В «Детстве» и «Отрочестве» он называет музыку воспоминанием о чувствах. Иногда он говорил: «Музыка есть воспоминание о том, чего никогда не было».

Те же мысли он высказывал в старости, в 1905 году, в письме к жене от 17 января:

«Я на днях думал о музыке вот что: музыка есть стенография чувств. Когда мы говорим, мы возвышением, понижением, силою, быстрой или медленной последовательностью звуков выражаем те чувства, которыми сопровождаем то, что говорим: выражаемые словами мысли, образы, рассказываемые события. Музыка же передает одни сочетания и последовательность этих чувств без мыслей, образов и событий. Мне это объясняет то, что я испытываю, слушая музыку». В том же 1905 году, 20 января, он записал в дневник: «Музыка есть стенография чувств. Вот что это значит: быстрая или медленная последовательность звуков, высота, сила их, всё это в речи дополняет слова и смысл их, указывая на те оттенки чувств, которые связаны с частями нашей речи. Музыка же без речи берет эти выражения чувств и оттенков их и соединяет их, и мы получаем игру чувств без того, что вызывает их. От этого так особенно сильно действует музыка, и от этого соединение музыки с словами есть ослабление музыки, есть возвращение назад, выписывание буквами стенографических значков».

Л. Н. Толстой как будто сам не удовлетворялся своим объяснением действия музыки на слушателя. В душе у него оставалась некоторая доля недоумения: почему звуки умиляют, волнуют и раздражают? В глубокой старости, в 1907 году, он сказал доктору Маковицкому. «Как я ни стар, я все-таки не знаю, как определить, что такое музыка».

Сомневаясь в вопросе *о причине действия музыки на людей*, Лев Николаевич не сомневался в *значении музыки*, в цели, к которой музыка должна стремиться. Об этом он определенно высказывался как в частных беседах, так и в своей

¹ для данного случая (лат.).

статье об искусстве. В этой статье он вообще искусству ставит двойную цель: или служить религиозному пониманию мира установлением отношения человека к богу и людям, или служить общению людей между собой. Первую категорию произведений искусства он называет религиозным искусством, вторую — всемирным искусством. Музыку он причисляет ко второй категории. Музыка служит единению и общению людей между собою, но она чужда велениям долга. Это — «pflichtloses Genuss»¹, по выражению Канта, это — не религиозное искусство. Сказав Маковицкому, что он не знает, как определить, что такое музыка, Лев Николаевич прибавил: «Но музыка хороша тем, что соединяет людей в одном чувстве». В том, чтобы «соединять людей в одном чувстве», и заключается, по его мнению, цель музыки. Отсюда его требование, чтобы музыка захватывала широкий круг людей, особенно рабочий народ. Поэтому он называл настоящим искусством прежде всего народное музыкальное творчество, а затем уже музыку разных композиторов. Поэтому же он считал настоящим искусством разные песни и танцы, популярные мелодии, вальсы Штрауса и цыганские песни, игру на балалайке, даже на гармонике и т. п.; он считал, что если такое, низшего порядка, искусство заражает слушателей известными чувствами, то оно достигает своей цели. Он не боялся также любить и хвалить так называемые «избитые пьесы». Конечно, он признавал, что музыка музыке рознь, что есть высокий и низменный род, есть музыка тривиальная и даже служащая дурным целям. Но прежде всего он требовал, чтобы хорошая музыка была доступна большому числу слушателей. По его мнению, музыка тем менее отвечает своей основной цели, чем теснее круг лиц, ее понимающих. Он даже себя причислял к людям, испортившим вкус на ученой, исключительной музыке, и поэтому он не доверял своему вкусу.

Позволю себе высказать свое мнение. Мне кажется, есть некоторое преувеличение в требовании, чтобы всякое музыкальное произведение было понятно широкому кругу людей. Для того, чтобы надлежащим образом чувствовать музыку, необходимо быть несколько знакомым с языком музыки. А пока этот язык мало распространен, круг лиц, его понимающих, по необходимости будет тесен. Для того, чтобы серьезная музыка сделалась достоянием широких масс, массы должны научиться понимать эту музыку.

¹ наслаждение, чуждое долгу.

Я думаю, что отец мой был прав, указав на то, что композиторы, затемняющие музыкальный язык в погоне за интересными, но искусственными, эффектами, стоят на ложном пути.

Эти изысканные произведения, если даже станут понятны широким массам, не доставят им наслаждения. Будущность принадлежит тем музыкантам, которые проявят свое вдохновение на серьезном, ясном и понятном музыкальном языке.

Нельзя также не согласиться с Львом Николаевичем, что забава небольшой группы праздных людей не должна служить целью искусства. Искусство — дело важное и серьезное, нужное всем.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НАПИСАННЫЕ
Л. П. ТОЛСТЫМ И ЕГО БЛИЗКИМИ
ДЛЯ ЯСНОПОЛЯНСКОГО
«ПОЧТОВОГО ЯЩИКА»

«ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК» ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

Точное время возникновения «Почтового ящика» Ясной Поляны неизвестно. В своих воспоминаниях Илья Львович Толстой относит его появление к середине 70-х гг. Однако от этих ранних годов не сохранилось никаких следов его существования. Правда, написанное ко дню рождения Л. Н. Толстого стихотворение «На 28 августа» (Мы печатаем его ниже. Автор неизвестен, возможно, что это Софья Андреевна) может быть приурочено к 1878 г., если основываться на строках:

Но вот прошло уже полвека,
И из младенца старец стал.

Однако вернее предположить что это просто «поэтическая вольность» и «полвека» нельзя понимать буквально.

Первый биограф Толстого П. И. Бирюков относит возникновение «Почтового ящика» к осени 1882 г. (Биография, т. 2, стр. 205). Основываясь, по-видимому, на его мнении, редактор 25-го тома Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого (юбилейного) Н. К. Гудзий в комментарии к «Произведениям, написанным для «Почтового ящика» (т. 25, стр. 869), также принимает за дату его возникновения осень 1882 г., не приводя, впрочем, никаких новых доказательств.

Сергей Львович Толстой считает началом «Почтового ящика» лето 1883 года.

Написанное для «Почтового ящика» самим Львом Николаевичем (см. т. 25, стр. 511—522) датируется 1884 и 1885 годами. Неоднократные упоминания «Почтового ящика» встречаются и в его дневнике летом 1884 года.

Большая часть материалов «Почтового ящика», хранящихся в архиве ГМТ, не датирована. Самое раннее произведение это «Ку-

пань в Ясной Поляне 1883 года», написанное Татьяной Львовной Толстой.

Последнее из датированных произведений — стихи на день рождения Сергея Львовича — 28 июня 1887 года.

Таким образом бесспорно одно: «Почтовый ящик» существовал летом 1883, 1884, 1885 годов и летом же 1887 года. Был ли он ранее когда, был ли он в более поздние годы — неизвестно.

Каков же характер произведений «Почтового ящика»? Для какой цели он предназначался? Как относился к нему сам Л. Н. Толстой?

«Одним из таких веселых дел, в которые Лев Николаевич вдвухвал свой жизнерадостный дух, был так называемый «Почтовый ящик» в Ясной Поляне», — писал в 1908 г. первый биограф Толстого Павел Иванович Бирюков (Биография, т. 2, стр. 205).

«Темы самые разнообразные: печальные, поэтические, юмористичные. Секреты выходили наружу. Описывались события. Иногда писали целый лист в виде газеты. Писали и передовые статьи, был параграф о приезжих. Но больше сочинений выходило отдельными клочками. Сестра всегда писала почти стихами, — сообщала Т. А. Кузминская в письме П. И. Бирюкову (Биография, т. 2, стр. 205). — Лев Николаевич тоже иногда писал нам, очень интересовался «Почтовым ящиком», всегда слушал со вниманием.

У меня сохранились некоторые его произведения, как-то «Лист прискорбно-больных». Он описал всех нас сумасшедшими, именуя каждого номером. Начиная с самого себя. Уморительно, с латинскими названиями болезни и пр.»

«В почтовом ящике выдавались все секреты, все влюбления, все эпизоды нашей сложной жизни, и добродушно осмеивались и живущие, и гости», — сообщает в своих воспоминаниях Илья Львович («Воспоминания», стр. 93).

«Молодежь стремилась веселиться: время было каникулярное, питание хорошее, даже слишком хорошее, умственной работы было немного. Гуляли, катались, купались, одно время увлекались работой на сенокосе, музицировали, играли в крокет и другие игры, вечером в винт, шутили, остряли, слегка влюблялись друг в друга. Вообще веселились», — так пишет о летней жизни в Ясной Поляне Сергей Львович («Очерки былого», стр. 172). Но он же, один из всех вспоминающих это веселое время, прибавляет:

«В то время отец особенно живо чувствовал разницу между жизнью нашей семьи и трудового народа» («Очерки былого», стр. 173).

1884—1885 гг. были временем напряженной работы Толстого над статьей; «Так что же нам делать?», статьей о разительном конт-

расте нужды, нищеты народа и беспечной, праздной барской жизни. Рисую картины напряженного, сверхсильного труда крестьян на покое и жнивье, Толстой в главе XXV статьи пишет:

«А вот барский дом <...> Слышится фортепяно, разливается какая-то венгерская песня и из-за этих песен изредка звук ударов молотков крокета по шарам <...>

Около самого дома идут две няни, одна молодая, другая старая, ведут и несут спать детей. Одна няня — англичанка, не умеющая говорить по-русски. Она выписана из Англии не с тем, что за нею известны какие-нибудь качества, а только потому, что она не умеет говорить по-русски. Дальше еще особа — француженка, которая тоже приглашена затем, что не умеет по-русски.

Наверху стол уставлен: только что кончили есть, и тотчас опять будут есть до петухов, до двенадцати, до трех, до зари часто.

Одни сидят и курят за картами, другие сидят и курят за либеральными разговорами, третьи ходят из места в место, едят, курят и, не зная, что им делать, выдумали ехать кататься.

Их человек пятнадцать здоровых мужчин и женщин, и человек тридцать здоровенных работников и работниц работают на них <...>

Нам кажется, что страдания сами по себе, а наша жизнь сама по себе, и что мы, живя, как мы живем, невинны и чисты, как голуби» (т. 25, стр. 311—313).

Начиная с 80-х гг., Толстой особенно мучительно начал чувствовать разлад между своими взглядами на окружающее и жизнью своей семьи. Дневник лета 1884 г. полон записями об этом, о разногласиях с семьей, о попытках Толстого в разговорах с окружающими выяснить им свое мировоззрение, попытаться убедить их в своей правоте. Он спорит с женой, убеждает дочь, делится своими душевными мыслями даже с гувернанткой Сейрон и учительницей музыки Кашевской. Гуляя, он беседует об этом с детьми. «Убедить никого нельзя, но я долблю, безнадежно, но долблю», — пишет он в дневнике 15 июня 1884 г. Летом этого года Толстой два раза собирался уходить от семьи: 17 июня и 12 июля. «Разрыв с женою все больше», — записал он 18 июня. Затем зачеркнул слова «все больше» и приписал: «Уже нельзя сказать, что больше, но полный» (т. 49, стр. 105). «Жена не пошла за мной, и пошла, сама не зная куда, только не за мной, вся наша жизнь» — отмечает он 26 августа (т. 49, стр. 118).

И вот в августе этого столь тяжелого для Толстого года в дневнике его встречаются четыре упоминания о Почтовом ящике».

Приведем их все:

5 августа. «Пустая болтовня и утром, и вечером. Почтовый ящик не совсем пусто. Камень долбит».

6 августа. «Вечером глупая шарада и потом почтовый ящик. Стихи Сони тронули Таню. Они втроем — две Маши и она — заплакали. Сознание своего ложного положения проникает в детей. Вячеслав спорил с Сережей, и Сережа говорил моими словами».

22 августа. «Почтовый ящик. Я написал о больных Яснополянского госпиталя. Хорошо было. Что-то трогает как-то их. Я не знаю как».

26 августа. «Почтовый ящик. Очень милый».

Итак, для Толстого «Почтовый ящик» — эта своеобразная, как мы сказали бы теперь, «семейная стенгазета» — был трибуной для высказывания задушевных, выстраданных, жизнью подсказанных мыслей. Через «Почтовый ящик» он пытается воздействовать на других. «Ужасно жаль детей. Я все больше и больше люблю и жалею их», — записывает он в дневнике 14 июля 1884 года.

Написанное Толстым для «Почтового ящика» хранится в Архиве ГМТ, опубликовано в 25-м томе Полного собрания сочинений. В этом «Приложении первом» публикуется то, что ускользнуло от внимания редактора 25-го тома.

Памфлет «Из апрельского номера «Русской Старины» 2085 года» напечатан в 25-м томе без последних девяти строк. В нем противопоставляется жизнь 70-ти семейств благородных тружеников — крестьян деревни Ясная Поляна и жизнь двух «семейств диких», то есть помещиков Толстых и Кузминских в 1885 году. Последние девять строк печатаются впервые. Мы сочли возможным напечатать еще раз ранее опубликованное начало памфлета, без которого новые девять строк были бы непонятны.

Впервые публикуются и заметки Л. Н. Толстого «Когда кто бывает мил?» и «Кто чем хочет казаться и что он в душе и что оц для других людей».

В приводимой первой редакции «Скорбного листа душевнобольных яснополянского госпиталя» под больным № 1 Толстой описывает себя, под №№ 26—27, вероятно, своих племянниц Кузминских, под № 26 кого-то из младших мальчиков Толстых или Кузминских.

Подтверждением того, что «Почтовый ящик» был для Толстого средством высказывания серьезных мыслей, являются впервые публикуемые строки: *«Вот что: мы живем все как будто весело и как будто хорошо, но полно: весело ли и хорошо ли?»*

Дальше первых четырех строк дело не пошло, но несомненно Толстой задумывал высказать что-то для него важное и значительное.

Публикуемые отрывки не все подписаны Толстым, но все написаны его рукою, и потому авторство его несомненно.

После произведений Л. Н. Толстого, написанных им для «Почтового ящика», публикуются пять стихотворений для «Почтового ящика» Софьи Андреевны Толстой. Художественное их достоинство невелико, но они интересны другим: и для жены Толстого «Почтовый ящик» был ареной идейной борьбы, и она искала поддержки и сочувствия своим взглядам, и она доказывала свою правоту детям, родным, близким.

Толстого возмущает, что «гладкие люди сидят, умирая со скуки, и заставляют занятых людей делать пустяки» (т. 49, стр. 108). Его возмущает, что прислуга целый день должна работать на «господ». В своем «Ответе Льву Николаевичу по поводу Устюпиной службы» Софья Андреевна, не колеблясь, утверждает, что такое устройство есть закон природы.

В своей «Аллегории» она нападает на Льва Николаевича и его последователей. Ей кажется странным, что:

Порой возили все навоз,
Пололи, шили и рубили,
Справляли крыши, сенокос,
Тесали, мучались, возили.

Ни к чему все это, по ее мнению. «Мир без слабых ваших рук стоять все будет так же твердо»,— обращается она к единомышленникам своего мужа. Она считает, что долг людей в том, чтобы «в добре и правде» растить своих детей, «кормить, покоить и любить» семью, родных и убогих.

Уверенная в сочувствии своей сестры Татьяны Андреевны Кузминской, она пишет «Плач неутешной души нашей тетеньки», которая ее устами в этом стихотворении протестует против «адской жизни»: наравне с мужиком и косить, и пахать, и стучать топором».

Толстой любил свою свояченицу и был дружен с нею, однако ее приверженность к барской жизни была ему очень тяжела. «Завтра приезжает Татьяна»,— заносит он в дневник 18 мая 1884 г. А на следующий день: «Приехали. И мне тяжело. Эта пустая суета опять будет засыпать меня». И еще через день: «Получил письмо Черткова. Луч света в мрак, еще сгустившийся с приходом Тани».

Мы публикуем стихотворение Т. А. Кузминской из «Почтового ящика» — подражание стихотворению А. А. Фета «Шопот. Робкое дыханье». Оно интересно тем, как она воспринимала яснополянскую жизнь, самого Толстого. Она отмечает, «дяди Ляли уединенье», часмешливо пишет о «ряде мифических стремлений в Киев, в баню

у пруда». Вероятно, это отголосок слов Толстого, записанных им в дневнике под 12 июля: «Объявил, что пойду в Киев». Но глубже, дальше мысль ее не идет. Яснополянская жизнь описана ею именно, как веселая суета.

Из «Почтового ящика» видно, что жизнерадостность Татьяны Андреевны делала ее всеобщей любимицей как молодежи, так и взрослых. Из печатаемых произведений Татьяне Андреевне посвящены два стихотворения-дифирамба.

Среди произведений «Почтового ящика» особняком стоит «Рассказ старухи (Быль)», написанный несомненно под влиянием реалистической манеры Толстого. Автор рассказа не известен, датирован он 14 июня 1887 г. Но вот запись дневника Софьи Андреевны под 18 июня того же года: «Ко мне приходят ежедневно пропасть больных. С помощью книги Флоринского я лечу всех. Но что за нравственное мучение — это бессилие иногда понять, узнать, в чем болезнь и как помочь! Иногда мне поэтому хочется бросить это дело, но выйдешь, видишь это трогательное доверие, эти больные умоляющие глаза, и станет жалко, и с упреком совести, что делаешь может быть совсем не то, даешь лекарство...» (С. А. Толстая. Дневники 1860—1891. Изд. М. и С. Сабашниковых. М., 1928, стр. 142). Напрашивается мысль, что автором рассказа была С. А. Толстая.

Но с другой стороны Илья Львович в своих воспоминаниях пишет: «В это время докторов в доме еще не было, и все больные из Ясной Поляны, а иногда и из ближайших соседних деревень обращались за помощью к Маше» («Воспоминания», стр. 171). В таком случае мы в «Рассказе старухи» видим единственное известное нам литературное произведение Марьи Львовны.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НАПИСАННЫЕ
ДЛЯ «ПОЧТОВОГО ЯЩИКА»
Л. Н. ТОЛСТЫМ

ИЗ АПРЕЛЬСКОГО НОМЕРА «РУССКОЙ СТАРИНЫ» 2085 ГОДА

Жизнь обитателей России 1885 года можно по дошедшим до нас богатым матерьялам этого времени восстановить приблизительно в следующем виде.

Возьмем хоть ту местность Ясной Поляны, в которой теперь находится дом собрания.

Местность эта была обитаема в 1885 году семьюдесятью семействами благородных тружеников, поддерживавших в то

время, несмотря на тяжесть условий, свет истинного просвещения, науки общежития и труда для другого и искусства возделывания полей, постройки жилищ, воспитания домашних животных, — и двумя семействами совершенно одичавших людей, потерявших всякое сознание не только любви к ближнему, но и чувства справедливости, требующего обмена труда между людьми.

70 семейств просвещенных по тому времени людей жили на тесной улице, работая и старый, и малый с утра до вечера и питаясь одним хлебом с луком, не имея возможности заснуть в день более трех, четырех часов и вместе с тем отдавая все, что у них требовали, тем, которые брали это у них, кормя и помещая у себя странников и прохожих людей и развозя больных и отдавая своих лучших людей в солдаты, то есть в рабство тем, которые этого у них требовали.

Два же диких семейства жили отдельно от них среди трех просторных, тенистых садов в двух огромных [домах], равняющихся величине пятнадцати домов образованных жителей, и держали себе до 40 человек людей, занятых только тем, чтобы кормить, возить, одевать, обмывать эти два диких семейства.

Занятия диких семейств состояли преимущественно в еде, разговорах, одеваньи и раздеваньи, играни на инструментах странных сочетаний звуков и в чтении ими любовных историй или в заучивании самых бессмысленных, ни на что не нужных правил и часто самых кошунственных сочинений, называемых священными историями и катехизисом.

Удивительно было то, что люди этих диких семейств эту самую свою развращенную праздность называли трудом, часто даже тяготились им и всегда гордились своим невежеством и праздностью.

Жизнь диких семейств состояла в том, что ¹

Вот что: живем мы все как будто весело и как будто хорошо, но полно: весело ли и хорошо ли?

Давно уж все говорили, что кроме этой жизни есть еще другая жизнь. Многие из нас думают, что это — неправда.

¹ На этом рукопись обрывается.

<Когда кто бывает мил?>

Саша Толстая, когда лежит распеленутая и не косит.

Л. Толстой старший, когда он танцует.

Вася Кузминский, когда шаркает ножкой.

Князь Урусов, когда школьничает.

Софья Андреевна, когда она не мрачна и не отчаянно весела, а добра.>

Кто чем хочет казаться и что он в душе и что он для других людей

Лев Николаевич хочет казаться аскетом <пророком>, проповедником. В душе — добрый и страстный. Для других тяжел, но не вреден.

Миша Кузминский хочет казаться ёрником. В душе умный и порядочный мальчик. Для других часто несносен, но изредка приятен своей искренностью и энергией.

Татьяна Андреевна хочет казаться пустой и злой. В душе — искренняя и сердечная женщина. Для других или очень приятна или ужасна.

Сергей Николаевич хочет казаться жестоким консерватором и злым человеком. В душе — до слабости добрый и нежный. Для других — неровный <?>.

Скорбный лист душевнобольных яснополянского госпиталя

(Из первой редакции).

№ 1. Больной <одержим сложною> обыкновенной болезнью, называемой немцами мания <величия> des Weltverbesserthum¹.

Признаки общие: недовольство существующим, осуждение всех, кроме себя, и пристрастие к изложению своих фантастических теорий.

Признаки частные: неровность, ненужная чувствительность и ничем не оправдываемая злость и жадность.

Лечение двоякое: физический труд, поглощающий почти все время, беспрестанное уличение в несостоятельности теорий и в своей слабости, и полное равнодушие всех окру-

¹ Исправление всего света (нем.).

жающих или поставление больного в среду людей, исполняющих то, что он проповедует.

Д и е т а: <скудная пища, отсутствие прислуги и> никаких книг и разговоров и передача всех забот о семье и детях на его руки.

№ 26. Больная вновь поступила в Госпиталь, мало исследована. Заметно влияние заразы также Капнистосмещериана, но больная имеет организм противодействующий.

Признаки, замеченные до сих пор: визжание при встречах, обнимание, шептание и неожиданный турнюр.

Ч а с т н ы е п р и з н а к и: отвечание по-французски на русские вопросы.

Л е ч е н и е: забота о меньших сестрах и совершенное отчуждение от зараженных.

№ 26. Больной недавно поступил в госпиталь. Вполне смирный. Больной страдает манией, называемой *mania <virtutis supernaturalia idealis> inocentia dubitativa <melancholica>*¹.

П р и з н а к и о б щ и е: больной так боится всякого греха, что воздерживается от всяких поступков.

П р и з н а к и: тишина и складка на лбу.

Л е ч е н и е: приложение к делу предпринятого.

У с п е х б л а г о п р и я т н ы й.

№ 27. Больная одержима манией, называемой швейцарскими психиатрами *ma chërijonis simplex*².

П р и з н а к и: визжание, пенсне и шептание про себя о том, *qu'il faut flatter maman pour qu'elle me donne des copeks*³.

Л е ч е н и е <о д н о>: замужество и любовь матери.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НАПИСАННЫЕ
ДЛЯ «ПОЧТОВОГО ЯЩИКА»
С. А. ТОЛСТОЙ

Ответ Льву Николаевичу по поводу Устюшиной
службы

На вопрос этот, почему Устюша должна служить, а те, которым она служит, должны пользоваться ее трудом, можно только ответить вопросом: почему в природе есть муравьи и

¹ мания <сверхъестественной вертлявости> сомневающейся <меланхолической> невинности (лат.).

² простая мания «душечка моя» (лат.).

³ нужно подольститься к маме, чтобы она дала мне немножко денег (франц.).

пчелы рабочие, а с другой стороны муравьи крылатые и трут-
ни праздные, поедающие труд первых?

Ответ один: это — закон природы.

Тогда только будет равенство и правильное распределение тру-
да, когда люди силами духовными убьют в себе силу природ-
ную.

По грибы!

Идет толпа вся за грибами.
Что ищет каждый там из вас?
Пойду и я тайком за вами,
Узнаю, как пройдет сей час.

Идет папа за разрешеньем
Ума и сердца всех задач.
Покой он ищет, вдохновенье,
Бежит от ссор и неудач.

Идет мамá — в руках лорнет —
Свои лишь нервы успокоить,
Забуть печаль земных сует
И мир в душе своей устроить.

Идут девицы так себе:
Убить ведь надо целый день.
Мечтать о жизни, о судьбе
Удобней там, где лес и тень.

Летит и Танечка-сестра,
Грибы поспешно собирает,
Легка, воздушна и быстра,
Корзинку мигом наполняет.

Бегут и мальчишки за нами:
Им делать надо, что велят.
И радость видят, что грибами
Их верно тоже угостят.

Лишь добросовестно один
Грибы собирает председатель.
Он столько нам принес корзины,
Про то лишь ведает Создатель.

Но дни осени уж настали,
Грибы везут по городам.
Все то, что летом мы набрали,
То скоро съестся по зимам.

Зимой грибы хоть очень вкусны,
Когда приносят их в обед,
Но все вздохнем мы очень грустно,
Что тех, с кем жили, с нами нет.

Ангел

Ангел мира все летал
Над Поляной Ясной.
Все в порядке он держал,
Лик его сиял прекрасный.

Стало дьяволу досадно,
Счастье всех его томит.
Всех посорить так отрадно,
Быстро к цели он летит.

И пошла везде тревога;
Муж жену свою бранит.
И забыли все вдруг бога,
Злобно и жена кричит.

Дьявол пляшет и глумится,
И скорей в «тот дом» стремится,
Ну, и там уже мутится,
Дьявол разом все крушит.

Но вдруг ангел возвратился,
Слышит он и плач, и крик,
Он вздохнул и огорчился,
Стал так грустен его лик.

И слегка крылом коснулся
Ангел злобных тех людей.
И жена, и муж очнулся,
Вдох исшел из их груди.

Ах, друзья, была то драма
И прошла она так вдруг.
Пронеслась, как панорама,
Как внезапный, страшный звук.

Много драм бывает в свете,
Но всегда они противны.
Лучше жить без драм нам, дети,
Тихо, радостно и мирно.

С. Толстая.

Плач неутешной души нашей тетеньки

Были когда-то и мы господа,
И пили, и ели, плясали и пели,
Была я тогда молода, весела,
И как стрелы дни за днями летели.
Что же теперь? Ну, как веселиться,

Ну верхом хоть проехать, в катках прокатиться.
Нельзя шагу ступить без того, чтоб слышать:
«Ну, иди же косить, ну, ступай же пахать!»
Это — адская жизнь: наравне с мужиком
И косить, и пахать, и стучать топором!
Посмотри: на руках уж мозоли.
И уж «бюск пополам», и заплачешь от боли...
Правда, нет тяжелей моей *бабьей доли*.

С. Т.

Аллегория

1

В земле нам чуждой и далекой
Вдали от света и тревог
Жил старец мудрости высокой,
Он был суров, но тих и строг.

С ним рядом в том селеньи
Жил юный, кроткий идеалист.
Любил он труд и отречение,
Но был душой он добр и чист.

Забыв о доме и семье,
Пришел он жить в чужой земле.
На них молясь, жила тут дева,
С зари за труд она бралась,

Искала, где б найти ей дело,
И посему с утра неслась.
Порой возили все навоз,
Пололи, шили и рубили,

Справляли крыши, сенокос,
Тесали, мучались, возили.
С зарей кончались лишь дела
И трудолюбцы собирались,
И тут взаимная хвала
И разговор не истощались.

«Вы — гений, мудрый, дорогой,
Вы — в мире чудное явленье!
Ах, жизни чистой я такой
И не встречал на удивленье!»

«Да, мы одной все веры,
Ведь тунеядец — тот же вор.
Народ и труд — вот наша сфера,
А им — позор и приговор!»

Скажите ж нам вы, мудрецы,
Куда ж девались ваши семьи?
Вы — новых принципов творцы,
Вы — проповедники и гении.

Иль нет жены, ребят,
Сестер иль матери, отца?
И от Создателя-творца
На нас возложенных забот?

И тех обязанностей строгих
В добре и правде нам растить
Семью, детей, родных, убогих,
Кормить, покоить и любить?

Но долг исполненный молчит:
Он скрытен, не виден, скучен!
Никто хвалы не прокричит,
Ни лести. Он — беззвучен.

А мир без слабых ваших рук
Стоять все будет так же твердо,
Хоть лишний, жалкий ваш досуг
Ему бросаете так гордо.

НАПИСАНО
ДЛЯ «ПОЧТОВОГО ЯЩИКА»
Т. А. КУЗМИНСКОЙ

Шум и говор. Песнопенье.
Крики малышей.
Дяди Ляли уединенье,
И заучивание ролей.

Утром чай, за чаем споры,
Споры без конца.
Ряд мифических стремлений
В Киев, в баню у пруда.

Свет денной, денные тени,
Грибы, охота и крокет.
Задач, решенных не без лени
И к столу букет.

По дорожке чудны розы.
Тимофеева трава.
Смех, поэзия и слезы,
И еда, еда...

Т. К.

Тете Тане

Хоть лира моя и слаба,
Но в ящик почтовый велю,
Чтоб тетеньке Тане она
Сердечную пела хвалу.

О ты, которая из детства
Своими ласками и пенем
Во мне все жизненные бедства
Рассеивала умилением,

Тебя я не забуду, нет,
И ни разлуки долги дни,
Не уменьшат моей любви.

И власть твоя, как яркий свет,
Оставит в жизни вечный след.

Т а н я Т.

Вечер шестого августа 1884 года

Стало холодно немножко,
На дворе темно.
Ветер дует нам в окошко,
И мне холодно.

Сели в винтик все играть,
А другие вздор писать...
Пишет Танька, пишет Машка,
Пишет дяденька Сосо,

Пишет Миша, пишет Вера,
Пишет С А М, оло-хо-хо!

Пишет тетенька романы,
Пишет маменька стихи,
Пишут троицей болваны,
Пишут просто пустяки.

И по ихнему примеру
Начал чушь и я нести.
Хоть и нету тут размеру,
Но прости меня, прости!

И л ю ш а.

Чему равняются две полтины (пол-тины)? Тине.

Чему равняются три Третьякова (Треть-якова)? Якову.

Как скорее всего можно сделать матрас (мат-рас)? Плохо сыграть в шахматы одну партию, так чтобы партнер сделал вам мат раз.

Почему род человеческий можно выразить буквой А? Потому что род человеческий составляют два пола (пол-а).

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ДЛЯ «ПОЧТОВОГО ЯЩИКА»,
АВТОРЫ КОТОРЫХ НЕИЗВЕСТНЫ

Две Толстые — Таня, Маша —
Хотят экзамены держать.
Им сочувствует мамаша,
А папаша гонит жать!

28 июня 1887 года

Тому двадцать четыре года
Мамаша родила урода.
Не знаю сам уж отчего,
Сережей назвали его.
Но времени поток кипучий
Своею властию могучей
Все изменил. Пред нами
Сидит красивый муж с усами,
С прелестной русой бородой —
Красавец граф Сергей Толстой.

К приезду Т. К[узминской]

Тетенька, душенька,
Тетья, милушенька,
Ах, как ты мила,
Что примчалась сюда!

Тебя так все ждали,
О тебе все мечтали,
Все все-таки в «тот дом»
Катятся, как гром.

Тут дядя Сосо
Угощает го-го!
И семейная Маша
Пошла вся в мамашу.

Теперь точно птица
Примчалась певича.
И так будет петь,
Что мы будем млеть.

Так, тетенька-душенька,
Спой ты нам песенку,
А мы будем слушать,
В то время же кушать.

Я.

Рассказ старухи

(Быль)

«Рубаха к телу близко, а смерть еще ближе».
«Жить надейся, а умирать готовься».

Календарь гр. Толстого

Подхожу сегодня к дому. У крыльца стоит старуха. Лицо желтое, с крупными морщинами. Взяла она лекарство, поклонилась и пошла.

— А откуда ты?— спросила я ее

— Из Коровиков.

— А сколько верст будет?

— Да двадцать должно.

— Как же ты пешком пришла?

— Пешая матушка, уморилась, и есть сегодня еще не ела.

— Пойдем, тебя накормят.

Пошли, сели. Дали щи, кашу. Поела старуха и разговорилась.

— Были мы,— начала она,— крепостные в селе Цареве. И жила я там с хозяином совсем без нужды. Были у нас сын и дочь. Мальчик четырнадцати годов был, да захворал и помер. Годов через пять и мужа схоронила. Осталась я с девчонкой. И вот как ее любила, одна утеха она у меня была.

Пожила немного вдовой, и отдали меня господу силком замуж в Сурры за старика шестидесяти годов. Мужик он был хороший, добрый, меня с девчонкой не обижал. Пожили годов восемь. Помер и он.

Землю у меня отняли. Пришлось идти в чужие люди.

Девка подросла. Не хотелось ее от себя отпускать: дело молодое, долго ли до греха. И за малое жалованье с нею нанимались, а то и просто из-за хлеба.

Просится она, бывало, у меня в Царево к крестному. И туда даже ее не отпускала от себя.

Стали женихи свататься, а отдать ее мне неохота: думаю, мать забудет, покоить не будет. Одна она у меня.

Так и жила со мной. Было уже ей девятнадцать годов.

Жили мы в чужих людях в селе Сурра. Летом это было. Просит она опять:

— Пусти к крестному в Царево. Пусти, да и шабаш!

Отпустила, а самой мне отлучиться нельзя было.

Вот это в самый Ильин день собрались в Царево девки купаться, и Акулина моя с ними. Стали они промеж себя смеяться:

— Ай, девки, кто реку переплывет?

А моя-то кричит: «Я переплыву!»

— Утопнешь, куда тебе!

— Ей-богу переплыву!

— Да, божись, назад-то не вернешься!

— И назад обернусь.

И поплыла она, и речку переплыла. Обернулась, назад плывет, а руками все реже машет.

— Девки!— кричит им,— девки, топну!

А девки смеются:

— Акуля, ай Акуля, хлебни водицы!

Думают, шутит она с ними.

— Помогите, родимые, топну!

Нырнула вниз, опять вверху показалась и ушла под воду. Сравнялась вода над ней, и нет ее больше.

Испугались девки, повыскакали из воды, надели рубахи и побежали народ звать. А народ — все пьяный: известно, праздник был.

Пока что собрались мужики, кричат у берега, кому в воду лезть.

Вызвался солдат один, полез было в воду в сапогах, да топнет. А в сапоге-то у него деньги. Помялся, помялся, а сапог снять не хочет: боится деньги растерять. И отдать кому боится: так и не пошел.

Тут малый один, сын крестного, вышел и говорит:

— Ребята, вяжи меня за рукав веревкой! Я полезу.

Привязали его. Нырлял это он, нырлял, да чувствуют мужики, что повисла веревка, и никто ее не дергает в воде. Потащили, а малый вовсе замер и не шевелится.

Страшили его. Каплянул и ожил. Окружили его.

— Тимофей,— говорят,— видел ты ее, что ли?

— Видел,— говорит.

— Что же ты ее не тащил?

— Она,— говорит,— на самом, значит, дне, а на плечах у нее окаянный сидит с бо-ольшой бородой и седой весь. Так я и ахнул. Захлебнулся, а плыть не могу.

Подивились все, кричат, судят, а идти в реку никто не идет. Кому нужно? Всем — чужая...

Часов пять так прошло. Принесли невод, закинули, тащат. «Зацепили, зацепили!» — кричат.

Вытащили на берег, а она, сердечная, в сетях, посинела вся, а на плечах, как есть, два черных пятна.

Качать начали, и лекарь тут случился, лечить взялся. Да нет, померла, и шабаш.

И старуха заплакала.

Помолчали мы. Жаль мне ее стало.

— Вот,— говорю,— ты бы ее лучше тогда замуж отдала.

— Замуж? И замужем бы потопла: так ей наречено́.

К о н е ц

14 июня 1887 г.

На двадцать восьмое августа

В Поляне нашей Ясной,
Где ныне дуб роняет тень,
Младенец был рожден прекрасный,
И был велик для всех тот день.

Но вот прошло уже полвека,
И из младенца старец стал.
И нет на свете человека,
Кто лучшим светом бы блистал.

И нам на долю всем досталось
В лучах души его прожить.
Давайте ж, сколько жить осталось,
Тому, что он любил,— служить!

Какой вид имеют жители Ясной Поляны

Лев Николаевич: то глубокомысленного философа, то сурового наблюдателя, то кроткий и застенчивый.

Софья Андреевна: угнетенной невинности.

Татьяна Андреевна: победительный. «Вы там, себе, как хотите, а я все-таки лучше всех!»

Князь Урусов: вид Мефистофеля.

Татьяна Львовна: в пенсне — самоуверенный, без пенсне — вид умной, милой девушки.

Леля: смелый.

Madame Seignon: Digne, oh très digne!¹
Little² Маша: вид попрыгуньи стрекозы.
Илюша: милого юродивого.

Баллы за знание чужой души

Льву Николаевичу — 5+.
Софье Андреевне — 3.
Татьяне Андреевне — 5.
Князю Урусову — 3.
Княгине Оболенской — 4.
Борису Шидловскому — и своей-то не знает!
Тане Толстой — 4+.
Елене Сергеевне — 1.
Виг Маше — 5+.
Илюше — 3.
Леле — 4.
Вере и Маше — ? ?.
Ольге Ивановне — 3.

Странно, что мужчины всегда жалуются на женщин и во всем их обвиняют, а женщины так же нападают на мужчин.

Но, если бы одну сторону человечества убить, то другая мгновенно сама бы повесилась.

Нигде так не выражается борьба за существование, как в борьбе мамá с детьми за ягоды. С тою только разницею, что в природе каждая сторона борется за свою пользу, а мамá борется, чтоб тем же детям отдать ягоды в виде варенья, смоквы и т. д.

¹ Достойный, очень достойный вид! (франц.).

² Маленькая (англ.).

ДВА ОТРЫВКА ИЗ ПЕРВОЙ
РЕДАКЦИИ ГЛАВЫ: «1910 ГОД.
О ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦАХ И ДНЯХ
ЖИЗНИ Л. Н. ТОЛСТОГО»

I. ОТЪЕЗД ОТЦА ИЗ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

25 октября вечером я приехал в Ясную из Тулы. Никого посторонних не было, были только моя мать, сестра Саша, Душан Петрович и Варвара Михайловна.

Я пошел в кабинет к отцу, думая, что он хочет со мною поговорить о матери, а может быть, и о моих делах. Но мать все время была тут же и все время говорила без умолку. Он начнет говорить, а она его перебивает, говоря совсем о другом. Он умолкал, ждал, когда она даст ему возможность вставить слово, и тогда продолжал говорить о том, о чем начал. Точно его перебивал посторонний шум.

Я рассказал отцу о книгах Ленотра. Ленотр задался целью беспристрастно описывать эпизоды из великой французской революции со всеми мелкими подробностями «*comment cela a été*»¹. Он изучал старые письма и документы, посещал дома и улицы, где случилось то или другое событие, и с помощью этого материала художественно пишет правдивые рассказы из французской революции.

Я при этом высказал свое мнение, что это есть настоящая литература, что она — интереснее и содержательнее, чем современная беллетристика, что, может быть, расцвет беллетристики окончился и будущность литературы состоит в художественном изображении действительности. Отец, по-видимому, соглашался с моим мнением, заинтересовался Ленотром и просил меня привезти ему его книги.

За чаем в зале мы с ним играли в шахматы. Он играл хуже обыкновенного и проиграл две партии. Затем он попросил меня

¹ Как оно происходило (*франц.*).

поиграть на фортепиано. Когда я сыграл «Ich liebe dich»¹ Грига, в аранжировке Грига же, он всхлипнул.

Уходя спать, я пошел в кабинет попрощаться с ним. Кроме нас, никого в комнате не было. Он спросил меня:

— Почему ты скоро уезжаешь?

Я собирался уезжать рано утром на следующий день.

Я сказал, что мне надо устроить свои дела. Я очень хотел пожить в Ясной некоторое время, несколько разобраться в том, что там происходило, и может быть, помочь. Но мне сперва хотелось уладить свои личные дела. А эти дела были: ссора с Сумароковым, перемена управляющего в Никольском-Вяземском и работа крахмального завода. Как мне теперь кажутся ничтожными эти дела!

Отец на это сказал:

— А ты бы не уезжал.

Я ответил, что скоро опять приеду.

Впоследствии я вспоминал, что он сказал эти слова с особенным выражением: он очевидно думал о своем отъезде и хотел, чтобы я после его отъезда оставался при матери. Он всегда думал, что я могу несколько влиять на нее.

Прощаясь, он торопливо и необычно нежно притянул меня к себе с тем, чтобы со мной поцеловаться. В другое время он просто подал бы мне руку.

Утром двадцать шестого я поехал в Москву с тем, чтобы достать там денег, оттуда поехать в Никольское, наладить там свои дела, а затем пожить в Ясной недели две. Жена уже была в Москве.

28 октября днем в Москве я получил короткую телеграмму от сестры Саши: «Приезжай немедленно».

7 НОЯБРЯ

Когда покойный был одет, положен опять на кровать и накрыт, было уже светло. Мы открыли двери озолинского домика, и в него потек народ: служащие и рабочие со станции, коренные и случайные жители Астапова, корреспонденты и проезжие. Моя мать и Андрей сходили в церковь.

Чертков, Саша, Гольденвейзер и Горбунов решили ехать в Ясную Поляну в это же утро. Я пошел попрощаться с ними.

Прощаясь с Чертковым, я ему сказал:

— Надеюсь, Владимир Григорьевич, что мы с тобой будем

¹ «Люблю тебя» (нем.).

действовать сообща и вместе будем работать над тем, что оставил нам отец,— над его писаниями?

В то время я ничего не знал о завещании отца.

Чертков мне ответил:

— Конечно, конечно,— но при этом он как-то странно улыбнулся. Эта улыбка была так странна и неуместна, что я ему сказал:

— Какое у тебя странное лицо.

Сразу улыбка сошла с его лица и он, как будто спохватившись, сказал:

— Ничего, ничего.

Только впоследствии, узнав о завещании, я понял, почему он тогда так странно улыбнулся. Вероятно, он подумал: «Ты предлагаешь мне сотрудничество в разработке литературного наследия отца, предполагая, что ты — его наследник. Наследник-то не ты, а я!»

Вместе с Чертковым уехала и сестра Таня.

Затем поднялись чисто практические вопросы: о фотографировании покойного, о впрыскивании тела формалином, о гробе, о перевозке тела в Ясную Поляну.

Вопрос о впрыскивании формалина был решен так: хотя земский врач приехал из Данкова фельдшера с формалином, мы не решились доверить впрыскивание фельдшеру и просили сделать это кого-либо из врачей.

Душан Петрович согласился, но говорил, что ему это тяжело.

Тогда Александр Никифорович Дунаев, медик пятого курса, только что приехавший из Москвы, предложил свои услуги. Он это и исполнил.

У тела установилось дежурство, хотя это было бесполезно, потому что все равно всегда кто-нибудь из близких, кроме посетителей, оставался с покойным.

А. Н. Дунаев, дежуривший больше других, так рассказывал о людях, входивших к покойному:

В Астапове было мало интеллигенции, были больше рабочие и крестьяне. Пришли железнодорожные рабочие и между ними пять типичных «товарищей» в черных шджаках, чисто одетые. Они стали перед телом на одно колено, склонили головы, каждый подвигался, целовал руку, лоб и уходил. Приходили старушки и крестились. Пришел степенный мужик в армяке, борода лопатой — типичный земледелец. Я подумал: «Он перекрестится». А он стал на колени, поклонился три раза в землю, поцеловал руку и пошел. Думаю, что только десятый

человек крестился. Пришла учительница с детьми и принесла венок: «Великому дедушке от маленьких почитателей». На этом венке была старая лента от дамского платья и несколько розочек из папиросной бумаги. Она сказала детям: «Смотрите, запомните, глядите, кто лежит тут. Это лежит Лев Толстой».

Не помню, кто и откуда достал гроб — простой дубовый гроб. Не знаю также, кто убрал комнату еловыми ветками.

Перевозка тела в Ясную Поляну не встретила препятствий от управления железной дороги. Правление общества телеграфировало астаповским служащим, чтобы они нам всячески содействовали, но нужно было разрешение полиции. Это предполагалось устроить на другой день, когда ожидался приезд рязанского губернатора.

О снятии маски независимо телеграфировали в Москву: я — жене, а брат Андрей, вероятно, по поручению матери, — в Училище живописи и ваяния.

С утренним поездом приехало много народу: формовщик Училища живописи и ваяния Агафьин, скульптор Меркуров, между ними тульский архиерей Парфений с ректором тульской семинарии, мой приятель В. И. Поль, В. В. Нагорнова, А. Н. Дунаев и др.

А. Н. Дунаев ехал в одном вагоне с Парфением и ректором и рассказывал следующее:

— Проехав Павелец в половине седьмого утра, мы узнали о кончине Льва Николаевича. Архиерей Парфений и ректор стояли у окна, и я слышал, как один из них сказал:

— Не выгорело наше дельце!

К ним подошел один железнодорожник и спросил, слышали ли они, что Толстой скончался. Они ответили, что слышали.

Тогда тот спросил:

— Вы ехали по собственному побуждению или по поручению?

Кто-то из них ответил:

— По поручению Синода, а может быть, и повыше кого.

В Астапове Парфений не вышел из вагона и уехал с первым обратным поездом.

В Астапове брат Андрей подошел к Парфению под благословение, и у них, по словам Андрея, произошел приблизительно следующий разговор:

П а р ф е н и й: Не известно ли вам, не примирился ли Лев Николаевич с церковью? Не высказывал ли желания присоединиться к ней?

А н д р е й: Не знаю.

П а р ф е н и й: Вы видели Льва Николаевича?

А н д р е й: В сознательном состоянии не видел, потому что нас всех позвали в 12 часов. После морфия отец в сознание не приходил.

П а р ф е н и й: Может быть, вам известно, что какое-нибудь духовное лицо с ним говорило по этому предмету?

А н д р е й: Не знаю.

П а р ф е н и й: Может быть, кто-нибудь из семьи вашей слышал о желании Льва Николаевича примириться с церковью?

А н д р е й: Не могу этого сказать.

П а р ф е н и й: Может быть, кто-нибудь из вашей семьи может это подтвердить?

А н д р е й: Владыко, я — православный и верующий и желал бы, чтобы отец примирился с церковью, но этого я утверждать не могу.

П а р ф е н и й: Синод озабочен тем, чтобы погребение было совершено по православному обряду, но это возможно лишь в том случае, если бы было доказано, что Лев Николаевич желал примириться с церковью, но окружающие его скрыли это желание и не допустили священника. Не можете ли вы утверждать, что окружающие Льва Николаевича были неверующие?

А н д р е й: Это я могу утверждать. Могу также сказать, что никто не предлагал отцу причаститься и не сообщил ему о желании отца Варсонофия его посетить.

Настоятель Оптиной пустыни — отец Варсонофий — был все время болезни отца на станции и наготове его причастить. В этот день он пошел в наш вагон и просил свиданья с моей матерью. Она его приняла в салоне вагона. В то время там был я и еще кто-то. Варсонофий спросил мою мать:

— Вы видели графа перед смертью?

Она ответила:

— Да, я его видела, но он был без сознания.

Затем она начала говорить, что ее не пускали, боясь, что свидание с нею дурно на него подействует, говорила о своем намерении самоубийства и еще многое лишнее.

Когда Варсонофий услышал, что она не видела Льва Николаевича в сознании, то, по-видимому, потерял интерес к разговору и начал говорить, что «отчаяние — грех», «вы — наследница царства божия» и тому подобные общие места. Затем он попросил ее поговорить с ним наедине. Я ему сказал:

— Моя мать очень возбуждена. Позвольте мне присутствовать.

Он согласился, и мы пошли в купе.

Там он опять говорил, что отчаяние — грех, и стал приглашать мою мать приехать в Оптину пустынь и в Шамардино, чтобы успокоиться. Он посматривал на меня: не уйду ли я. Но я не ушел и, по-видимому, он так и не сказал матери того, что хотел ей сказать наедине.

Наконец со словами: «Моя миссия кончена», он вышел.

Тут у вагона стояли кинематографщики, приехавшие из Москвы, и, когда Варсонофий выходил из вагона, они затрещали своими аппаратами. Он побежал, но все-таки попал на фильм.

Когда я вернулся в озолинский домик, оказалось, что выписанный братом Андреем формовщик из Училища живописи и ваяния Агафьин уже сделал маску отца. Тут же я встретил своего приятеля Владимира Ивановича Поля и с ним скульптора Меркурова. Они только что приехали из Москвы. В. И. Поль сделал небольшой набросок отца на смертном одре. Меркуров снял маску, но был огорчен тем, что не он первый это сделал и что Агафьин помял черты лица покойного.

Зато Меркуров накрыл гипсом не одно лицо, но почти всю голову, так что его слепок драгоценен, как точно воспроизводящий череп Льва Толстого.

Не помню, когда именно приехал художник Пастернак и набросал свой этюд: «Толстой на смертном одре».

ПРИМЕЧАНИЯ

К стр. 22. Известно, что отец в 1857 году написал рассказ «Сон», подписал его «Н. О.» и послал И. С. Аксакову в редакцию газеты «День» от имени Натальи Петровны Охотницкой, с якобы ее просьбой напечатать его. Аксаков ответил г-же Охотницкой: «Статьека ваша «Сон» не может быть помещена в моей газете. Этот «Сон» слишком загадочен для публики, его содержание слишком неопределенно, и может быть вполне понятен только самому автору. Для первого литературного опыта слог по моему мнению недурен, но сила вся не в слоге, а в содержании» (т. 7, стр. 362). (Примечание С. Л. Толстого.)

К стр. 24. К какому брату был определен Иван Суворов, я не знаю, вероятно, к Николаю Николаевичу. Отец в своих «Воспоминаниях» говорит, что «Митеньке дан был Ванюша. Ванюша этот и теперь жив», то есть в 1903 году, когда были написаны «Воспоминания», живет в Ясной Поляне. В то время в Ясной Поляне из слуг братьев Толстых жил один только Иван Суворов. Но почему же Иван Суворов был с моим отцом и его старшим братом Николаем Николаевичем на Кавказе, а не в Курской губернии с Дмитрием Николаевичем? Не ошибся ли мой отец и не был ли Иван Суворов слугою Николая Николаевича, а не Дмитрия Николаевича? (Прим. С. Л. Толстого.)

К стр. 25. В Москву Толстой со всей семьей приехал 21 января 1866 г. 4 февраля 1866 г. он писал А. А. Толстой: «Я приехал в Москву со всем семейством главное для того, чтобы жена могла показать своих детей своим родным, главное своей матери. Это — главная цель» (т. 61, стр. 128). 7 марта 1866 года Толстые вернулись в Ясную Поляну.

К стр. 25. В 1868 г., 14 февраля, Толстой с семейством переехал в Москву. Вернулись в Ясную Поляну 10 мая.

К стр. 27. «Мать по многу раз переписывала «Войну и мир», В литературе о Толстом прочно укоренилась легенда, что Софья Андреевна семь раз переписала «Войну и мир». Детальное изучение рукописей «Войны и мира», произведенное редакторами Полного собрания сочинений Толстого (юбилейное издание) и другими исследователями, показало полнейшую несостоятельность этого мнения. «Война и мир» создавалась Толстым постепенно, в течение шести лет (1863—1869 гг.). В то время, как начало романа уже печаталось в «Русском вестнике», работа над последними томами даже не начиналась. Переписка Софьей Андреевной «Войны и мира» шла постепенно, параллельно работе писателя над романом. Некоторые места его перерабатывались Толстым по нескольку раз, некоторые, как, например, охота у Ростовых, были написаны им сразу, почти без переделки. Кроме Софьи Андреевны, в переписке «Войны и мира» участвовали и другие лица, главным образом наемные переписчики.

К стр. 28. «А брат моей матери Степан Берс...» См. С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом. Смоленск, 1894, стр. 14.

К стр. 30. А. М. Исленьев приехал в Ясную Поляну в день рождения Софьи Андреевны — 22 августа 1871 года, уехал 25 (?) августа. 30 августа Софья Андреевна писала сестре Т. А. Кузминской: «Дедушка ездил верхом полями, и мы смеялись, что ехал и Сережа на Лимоповской и они оба, прадед с правнуком, скакали наперегонки». (Не опубликовано. АТ ГМТ.).

К стр. 32. В письме от 2 января 1872 г. к Т. А. Кузминской, перечисляя приехавших к Рождеству 1871 г. гостей, Софья Андреевна ни словом не упоминает о приезде Марьи Николаевны — сестры Льва Николаевича.

К стр. 34. «В это лето Кузминские <...> уехали на Кавказ». Т. А. и А. М. Кузминские и их дочери Маша, Вера и Даша, проводившие лето в Ясной Поляне, 17 августа 1871 г. уехали в Кутаис, куда А. М. Кузминский был назначен прокурором. 18 августа 1871 г. С. А. Толстая записала в своем дневнике: «Вчера ночью проводила Таню с детьми на Кавказ. В душе пусто, грустно и страх перед жизнью врозь от такого друга. Мы никогда с ней не расставались. Я чувствую, что у меня оторвана часть моей души, и нет возможности утешиться. Нет человека в мире, который бы мог меня оживить более, утешить во всяком горе, поднять, когда опустишься духом. Смотрю на все: на природу, на жизнь свою впереди, и все без Тани грустно, пусто, все мне представляется мертво и безнадежно». (С. А. Толстая. Дневники, М., 1928, стр. 101.)

К стр. 35. Мисс Дора Хэллийер приехала в Ясную Поляну,

13 ноября 1872 г. 14 ноября Софья Андреевна писала своей сестре: «Она нам всем очень понравилась: маленькая, белокурая, очень беленькая, с маленькими глазками, патуральна; жива и очень не глупа <...> Дети ее очень полюбили с первого же дня <...> ей 19 лет». (Не опубликовано. АТ ГМТ.).

К стр. 36. 31 мая 1873 года Толстой писал шурина А. А. Берсу: «Можешь себе представить, что после прошлогодней истории быка, убившего человека, приняты все меры, и неделю тому назад молодой бычок на привязи убил человека, который, исполняя мое приказание, отвязывал его. Я трое суток ходил за этим человеком, и он умер, и, хочешь не хочешь, я чувствую на себе смерть этого человека и мучаюсь ужасно» (т. 62, стр. 29).

К стр. 38. Толстые прибыли на самарский хутор 8 июня, Хана Тардзей приехала 13 июня 1873 года.

К стр. 39. «Играли на курае (род дудки) и на горле». «В своих воспоминаниях брат Илья пишет про игру на горле: «Человек ложится на спину, и в глубине его горла начинает нагрывать органчик, чистый, тонкий, с каким-то металлическим оттенком. Слушаешь и не понимаешь, откуда берутся эти мелодичные звуки, нежные и неожиданные». (Прим. С. Л. Толстого.)

К стр. 39. «Геродотом пахнет». 23 июня 1871 г. Л. Н. Толстой писал из Каралыка жене: «Ново и интересно многое: и башкиры, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и доброте народа» (т. 83, стр. 182).

К стр. 40. «Еще в 1871 г. отец писал...» См. т. 83, стр. 190.

К стр. 41. «...отец написал воззвание...» Письмо Толстого «Издателям «Московских ведомостей» от 28 июля 1873 г. см. в т. 62, стр. 35—42. Описывая бедствие голода, которое надвигалось на крестьян Самарской губернии вследствие трех неурожайных годов подряд, Толстой просил опубликовать это письмо в «Московских ведомостях» и заканчивал его словами: «Страшно подумать о том бедствии, которое ожидает население большей части Самарской губернии, если не будет подана ему государственная или общественная помощь». Письмо было перепечатано многими петербургскими газетами и вызвало усиленный приток пожертвований в пользу голодающих от частных лиц. Благодаря А. А. Толстой за участие в помощи самарским крестьянам, Толстой писал ей 15 августа 1874 г.: «Вы можете быть совершенно спокойны совестью в том участии, которое вы принимали в помощи тамошнему народу. Бедствие было бы ужасное, если бы тогда так дружно не помогли тамошнему народу» (т. 62, стр. 107).

К стр. 41. И. Н. Крамской писал портрет Толстого в сентябре 1873 г. 23...24 сентября 1873 года Толстой сообщал Н. Н. Страхову

о своей работе над «Анной Карениной»: «При том же все сговорилось, чтобы меня отвлекать: знакомства, охота, заседание в суде в октябре, и я присяжным; и еще живописец Крамской, который пишет мой портрет по поручению Третьякова. Уже давно Третьяков подсылал ко мне, но мне не хотелось, а нынче прескал этот Крамской и уговорил меня» (т. 62, стр. 50). О том глубоком впечатлении, которое Толстой произвел на него, Крамской сообщал Репину в письме от 23 февраля 1874 г.: «Граф Толстой, которого я писал,— интересный человек, даже удивительный. Я провел с ним несколько дней и, признаюсь, был все время в возбужденном состоянии даже. На гения смахивает!» (И. Н. Крамской. Письма, т. 1, М., 1937, стр. 246).

К стр. 42. «Отец был занят <...> «Азбукой». Работа над «Азбукой» была Толстым закончена в 1872 г. В ноябре этого же года «Азбука» вышла в свет.

К стр. 43. Эмили Табор — родственница брата Ханны Тардзей, приехала в Ясную Поляну 11 февраля 1873 года.

К стр. 43. «Отец в то время довольно много занимался нами». В своих воспоминаниях Илья Львович Толстой пишет: «Началу нашего учения положили папá и мамá сами. Мамá учила русскому и французскому, а папá учил меня арифметике, латинскому и греческому.

Та же разница, которая существовала во всем остальном, проявлялась и на уроках. С мамá можно было иногда посматривать в окно, можно задавать посторонние вопросы, можно было делать стеклянные глаза и ничего не понимать, но с папá было не то: с ним надо было напрягать все свои силы и не развлекаться ни минутки. Он учил прекрасно, ясно и интересно, но, как и в верховой езде, он шел крупной рысью все время, и надо было за ним успевать во что бы то ни стало. Вероятно, благодаря его разумному началу, я, вообще плохой ученик, всегда шел по математике прекрасно и математику любил» (стр. 50—51).

К стр. 43. Толстой читал детям «Путешествие вокруг луны» и другие произведения Жюль Верна в ноябре 1873 г.

К стр. 43. Письмо от Дженни Тардзей, сестры Ханны Тардзей, о том, что Ханна выходит замуж за князя Мачутадзе, было получено в Ясной Поляне 16 апреля 1874 г.

К стр. 43. 23 июня 1874 г. Толстой писал А. А. Толстой: «Вчера я похоронил тетюшку Татьяну Александровну <...> Она умерла почти старостью, то есть угасала понемногу, и уже года три тому назад перестала для нас существовать, так что (дурное или хорошее это было чувство, я не знаю), но я избегал ее и не мог без мучительного чувства видеть ее. Но теперь, когда она умерла

(опа умирала медленно, тяжело — точно роды), все мое чувство к ней вернулось еще с большей силой. Она была — чудесное существо. Вчера, когда мы несли ее через деревню, нас у каждого двора останавливали. Мужик или баба подходили к попу, давали деньги и просили отслужить литию, и прощались с ней. И я знал, что каждая остановка это было воспоминание о многих добрых делах, ею сделанных» (т. 62, стр. 95).

К стр. 43. Наталья Петровна Охотницкая впоследствии жила в имении И. С. Тургенева Спасском-Лутовинове, в богадельне, им учрежденной, где и умерла (прим. С. Л. Толстого).

К стр. 44. Толстой поехал в самарское имение 30 июля 1874 г., вернулся после 10 августа.

К стр. 44. Первую половину 1875 г. Толстой был занят печатанием переработанного, нового издания своей «Азбуки» под названием «Новая азбука». (Вышла в свет в июне 1875 г.)

К стр. 50. «В продолжение учебного сезона 1875/76 г. отец по вечерам читал нам путешествие Жюль Верна «80 дней вокруг света». Толстой читал своим детям прозведения Жюль Верна в ноябре 1873 г. (см. прим. к стр. 43). Чтение это продолжалось и в январе 1874 г. 9 января Софья Андреевна писала сестре: «После чаю Левочка детям рассказывает по книге с картинками очень интересные истории. Ты, может быть, слышала или видела сочинения Жюль Верна. «Cinq semaines en ballon» или «Les enfants du capitaine Grant» и другие?» (АТ ГМТ. Не опубликовано.) О чтении Толстым Ж. Верна в 1875/6 гг. в литературе о Толстом сведений нет.

К стр. 50. «...хлопотал об устройстве учительской семинарии». В 1875 г. Толстой написал «Правила для педагогических курсов, учрежденных графом Л. Н. Толстым в сельце Ясной Поляне <...> для приготовления народных учителей». В разговорах Толстой называл свою учительскую семинарию «университетом в лаптях». Однако хотя все расходы на «университет в лаптях» Толстой брал на себя и запрещения на устройство такого педагогического учебного заведения не последовало, идея Толстого практически осуществлена не была.

К стр. 52. Ольга Андреевна и Павел Дмитриевич Голохвастовы приехали в Ясную Поляну 28 декабря 1876 г., уехали 1 или 2 января 1877 г. В письме от 4 января 1877 г. Софья Андреевна писала сестре: «Нельзя сказать, чтоб было скучно, но конечно было очень беспокойно эти четыре дня, которые провели у нас Голохвастовы <...> Ольга Андреевна добродушно отнеслась к елке, помогала, развешивала, и главное меняла по два раза в день невозможные, шелковые с кружевами туалеты <...> На третий

дежь Голохвастова читала свою историческую драму «Две повести» и с моей точки зрения — не дурно, но Страхов и Лёвочка не одобряют и старательно искали выражений, чтоб не солгать и вместе с тем сказать что-нибудь приятное <...>

Наконец присутствие Голохвастовых сделалось всем тяжело и, когда они намекнули на отъезд, мы их и не удерживали, что вышло немного неловко и негостеприимно». (АТ ГМТ. Не опубликовано.)

Н. П. Страхову Толстой писал 11... 12 января 1877 г.: «Голохвастовский кошмар только теперь начинает отпускать нас» (т. 62, стр. 304).

К стр. 53. «По вечерам отец иногда читал нам по-французски «Три мушкетера». В своем дневнике за октябрь 1878 г. Софья Андреевна неоднократно записывает, что по вечерам м. Nief читает детям по-французски «Три мушкетера». «Чтение это очень приятно, дети интересуются и ждут вечера с нетерпением». (С. А. Толстая. Дневники, т. I, стр. 114). Упоминает она и о том, что читается книга не подряд, а с пропусками. Однако в ее записях ни разу не говорится, что читает детям вслух сам Лев Николаевич.

К стр. 60. «25 января к нам приехал француз м. Nief». В апреле 1878 г. Сергей Львович Толстой писал Степану Андреевичу Берсу: «У нас уже давно теперь живет м. Nief. Он — совсем другой, чем м. Rey: он гораздо добрей и больше делает замечаний, чем дает наказаний. Он редко сердится и всегда почти хладнокровен в отношениях с нами. Он — француз и ему уже 35 лет <...> Василий Иванович все живет здесь. Его все любят, потому что он такой милый и откровенный, не такой, как м. Rey» (АТ АМТ. Не опубликовано.)

К стр. 61. «В то же время он задумывал роман из жизни декабристов, из царствования Николая I и из быта переселенцев». Ни один из задуманных Толстым романов на эти темы завершен не был. Начала и наброски к ним опубликованы в томе 17-м Полн. собр. соч. Л. П. Толстого. (Юбилейное издание.)

К стр. 62. «В Москве он виделся с декабристами...» В неопубликованном дневнике П. А. Сергеевко записаны под 12 марта 1897 г. следующие слова Толстого: «Когда я писал «Декабристов», то одной из моих задач было показать, каким образом все это движение разбилось на две группы. Одна твердо верила в свое дело и шла против всяких испытаний. Другая, колеблющаяся, струсившая в критическую минуту и повинившаяся во всем перед Николаем. И одни отправились в Сибирь, другие остались при

дворе. И прошло много лет. И вот мне пришлось видеть и тех и других.

Слабые были генерал-адъютантами, но и разрушенными здоровьем, разочарованными, без друзей, без идеалов.

Крепкие вернулись из Сибири здоровыми телесно и духовно, верующие, расточающие вокруг любовь и свет. А ведь те думали, что пойти в Сибирь — это совсем погибнуть!» (ГМТ. Архив С. Л. Толстого, папка 39. Не опубликовано.)

К стр. 63. Толстой с детьми Ильей и Львом, их губернатором Ньёфом и слугою Сергеем Арбузовым выехал из Ясной Поляны 12 июня 1878 г., прибыл на самарский хутор 17-го числа. 13 июня он писал жене из Нижнего Новгорода: «Милый друг Соня. Теперь чувствую, что я уже окончательно осрамился перед тобой, и что мне уже в практических делах остается только признать свою полную к ним неспособность. Не понимаю, как я мог забыть, потерять или дать украсть у меня бумажник <...> Или я забыл его на столе, или не попал в карман, или его у меня вытащили. Первое самое вероятное <...> Денег было рублей 270» (т. 83, стр. 254).

К стр. 66. «В сентябре в Ясной Поляне прожил две недели сказитель былин, крестьянин Архангельской губернии Щеголенков». Толстой познакомился с В. П. Щеголенковым в марте 1879 г. в Москве. Щеголенков гостил по приглашению Толстого в Ясной Поляне июнь — первые числа августа 1879 г.

К стр. 66. «В то время я был довольно тяжело болен плевритом». 5 (?) сентября 1878 года Толстой писал А. А. Толстой: «Мы теперь все здоровы, но на днях очень перенюгались за детей: вдруг свалились трое старших, и мальчик старший был даже опасен — было воспаление плевры. Теперь все поправилось» (т. 62, стр. 439 — 440). Летом 1879 г. дети Толстого переболели корью, как раз в те месяцы, когда в Ясной Поляне гостил В. П. Щеголенков. Возможно, что, описывая события, происшедшие более 30-ти лет назад, Сергей Львович ошибся годом и что Щеголенков сидел у его постели, рассказывая сказки, не в 1878, а в 1879 году.

К стр. 70. «Приезжал вторично и прожил некоторое время сказитель былин В. П. Щеголенков». В литературе о Толстом известен только один приезд Щеголенкова в Ясную Поляну: летом 1879 года.

К стр. 70. «...там мы пробыли недели две». Л. Н. Толстой с старшим сыном выехал из Ясной Поляны в имение своей тещи «Утешенье» 18 июля, вернулся 24 июля вместе с Любовью Александровной Берс и ее младшим сыном Вячеславом. Он пробыл таким образом в отъезде всего лишь 5—6 дней.

К стр. 73. В. М. Гаршин приезжал в Ясную Поляну к Толстому 16 марта 1880 г. И. Л. Толстой в своих воспоминаниях пишет о том, что через несколько дней Гаршин приезжал в Ясную Поляну вторично, однако Толстого в это время в Ясной Поляне не было. В 1885 г. Гаршин был в Москве, в хамовническом доме Толстого, но встреча не состоялась: Толстой был в это время в Ясной Поляне.

К стр. 74. «Бесной в Ясную Поляну приехал Владимир Соловьев». Философ Владимир Сергеевич Соловьев приезжал в Ясную Поляну в конце февраля или начале марта 1881 г. В письме к Н. Н. Страхову от 1 (?) апреля 1881 г. Толстой писал: «Когда он уезжал, я сказал ему: дорого то, что мы согласны в главном, в нравственном учении, и будем дорожить этим согласием. Благодарю вас за вашу любовь ко мне, а я не могу не любить вас и дорожу очень нашим согласием» (т. 63, стр. 61).

К стр. 78. Ф. М. Достоевский умер 28 января 1881 г. В письме к Н. Н. Страхову от 5 февраля 1881 г. Толстой писал: «Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек <...> Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это — мое. И вдруг за обедом — читаю умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу» (т. 63, стр. 43).

К стр. 79. «Ты верно слышала о Сабурове». В то время один студент публично дал пощечину либеральному министру народного просвещения Сабурову, из-за чего Сабуров вышел в отставку. (Прим. С. Л. Толстого.)

К стр. 81. Письмо Толстого к Александру III писалось и перерабатывалось в течение недели: 8—15 марта. Через Н. Н. Страхова письмо было отдано К. П. Победоносцеву для передачи царю, но Победоносцев вернул его Страхову, отказавшись исполнить просьбу Толстого. Тогда Страхов передал его великому князю Сергею Александровичу, который и доставил его Александру III. В неопубликованных записках «Моя жизнь» Софья Андреевна пишет: «На письмо это Александр III велел сказать графу Толстому, что если бы покушение было на него самого, он мог бы помиловать, но убийц отца он не имеет права простить» (т. 63, стр. 55). Смертная казнь убийц Александра II была совершена 3 апреля 1881 года.

К стр. 86. «У меня и у моих братьев явился некоторый дух противоречия по отношению к отцу». В своих воспоминаниях, отно-

сящихся к сентябрю 1880 г., когда И. М. Ивакин впервые прехал в Ясную Поляну, он пишет: «Как бывало неприятно, когда слова Льва Николаевича тонули в заурадной болтовне его жены, детей, гостей! С какой досадой смотрел я на детей, которые словно и знать не хотели, что их отец Л. Н. Толстой — неоценимый писатель, честь и слава русской земли!» (Записки И. М. Ивакина. «Литературное наследство», т. 69, кн. II, М., 1961, стр. 36.)

К стр. 86. В своих воспоминаниях И. М. Ивакин пишет: «В среде Толстых мало было семейственности, того живого, непрерывного общения детей и родителей, без которых как-то трудно представить настоящую семью. Это я заметил довольно скоро. В самом деле: утром дети пили кофе и чай с бонной, гувернанткой, гувернером. Затем садились учиться. Родители в это время спали. К 12 часам родители начинали пить кофе, дети с бонной, гувернанткой, гувернером завтракали, а утреннее свидание их с родителями ограничивалось поцелуями. После завтрака маленькие дети, правда, гуляли, ездили кататься и бывали с матерью, но далеко не всегда, а отца в это время было не видно: он уходил писать.

Казалось, единящим звеном до известной степени мог быть обед, но и это только казалось, потому что то отец опаздывал, то Плюша не приходил вовсе, а маленькие дети или, как выражалась графиня, малыши — обедали отдельно <...>

На образование детей Толстые не жалели средств <...>, но лично отец с матерью на детей обращали мало внимания. Это мне показалось особенно странно во Льве Николаевиче, который далеко не бесследно прошел в истории русской народной школы». (Там же, стр. 35).

К стр. 92. «Огромный казенный лес Засека...» Тульские Засеки, в существующих границах (около 35 000 десятин), представляют часть тех лесов, которые служили Московскому государству защитой от набегов крымских и ногайских татар. В XVI столетии, когда крымские татары неожиданно вторгались, грабили, жгли и уводили в рабство жителей, московское царское правительство предприняло ряд мер для ограждения южных границ государства. Для этого оно посылало туда ратных людей, поселяло там служилых людей (помещиков) вместе с крестьянами и, пользуясь естественными условиями местности, возводило там укрепления. Пограничные леса-засеки не рубились; только в середине лесной полосы прокапывался ров, по сторонам которого лес засекался, то есть деревья подрезались так, чтобы образовать непроходимое заграждение для татарской конницы. Лишь в некоторых местах для проезда оставались укрепленные ворота, ограждаемые вооруженными людьми.

Когда надобность в защите от татар миновала, Засеки были обращены в казенные леса. Они были впервые распланированы при генеральном межевании земель в 1779 году, и их стали эксплуатировать для нужд Тульского оружейного завода; впоследствии они были переданы в Министерство государственных имуществ. Весь лес разделен прямыми просеками на кварталы.

Оборот рубки для этого старого леса был назначен многолетний, и до последнего времени можно было пайти такие кварталы в Засеке, которые никогда еще не рубились; в детстве же и юности Льва Николаевича большую часть Засеки можно было назвать девственным лесом. Дубы в Засеке не особенно толсты, но очень высоки. Выросши в непрореженной лесной чаще, они побороли другие породы — осину, липу, березу — и вытянулись кверху.

После вырубки старых дубов на их месте вырастает необыкновенно густая поросль, состоящая уже не из дубов, а из смеси деревьев. На сечке начинают расти осины, липы, клены, ясени, березы и только в малом количестве дубы. Поросль переплетается густой и высокой, выше роста человеческого, травой и кустами пахлена, орешника, малины, бересклета и проч., и лес принимает еще более непроходимый дикий вид. Лишь за последние годы Засеку стали прореживать и прочищать.

В Засеке водились и теперь водятся, но в гораздо меньшем количестве, чем прежде, такие животные, каких нельзя найти в других местах той же полосы России: дикие козы, куницы, барсуки, иногда лоси и др., не говоря уже о волках, зайцах и лисицах. (Прим. С. Л. Толстого.)

К стр. 92. «...Большая дорога или большак». Это была одна из больших скотопрогонных дорог, которые были проведены при Екатерине между многими городами Центральной России. Эти дороги были когда-то обсажены ветлами и березами, в настоящее время не сохранившимися. «Старая дорога» проходила мимо Яснополянского парка и через деревню Ясную Поляну. До постройки шоссе это был очень оживленный путь: здесь проезжали в дормезах и колясках, в бричках и тарантасах, в санях и возках, в телегах и на дровнях, на почтовых и на долгих. Проезжали Александр I, Николай I, Пушкин, декабристы и многие другие. М. Н. Толстая, мать моего отца, из беседки парка видела, как по этой дороге провозили тело Александра I из Таганрога. (Прим. С. Л. Толстого.)

К стр. 93. «Отец иногда просил их подвезти...» Среди бумаг Сергея Львовича, хранящихся в АТ ГМТ, есть несколько записей различных случаев из жизни Л. Н. Толстого. Хотя записи эти не поддаются точной датировке, они воскрешают перед нами облик живого Толстого. Приводим один из этих кратких рассказов.

НЕВЕЖА ВЫ, НЕВЕЖА

Живя в Ясной Поляне, Л. Н. Толстой обыкновенно после замятий — в два или три часа дня — уходил в лес, на деревню, куда-нибудь по соседству или на Киевское шоссе. Во время этих прогулок он мыслил и набирался впечатлений, а дома рассказывал про виденное и слышанное. Не обходился без анекдотических случаев.

— Меня сегодня обругали,— однажды сказал он с улыбкой и рассказал, что с ним случилось.

Он много ходил по шоссе и устал. Видит — едет на санках какой-то благообразный старик. Он попросил позволения подсесть к нему, на что старик охотно согласился. Разговорились. Узнав, что старик из села Потемкина в пятнадцати верстах от Ясной Поляны, Лев Николаевич спросил его, правда ли, что говорят, будто бы в Потемкине заживо похоронили дьячка.

Этот вопрос он задал потому, что в то время в Ясной Поляне рассказывали с ужасными подробностями, как в Потемкине похоронили дьячка, думая, что он — мертв, что, когда засыпали могилу, то из-под земли послышался крик, но гроб откопали и оказалось, что дьячок жив.

Вопрос Льва Николаевича жестоко обидел старика. Он остановил лошадь и сказал:

— Невзярая на седины ваши, милостивый государь, невежа вы, невежа!

Льву Николаевичу пришлось сойти с саней. Оказалось, что благообразный старик был потемкинским дьячком.

Впоследствии мы узнали, что слух о заживо погребенном дьячке относился к происшествию, случившемуся много лет тому назад, а может быть, и никогда не случавшемуся. (АТ ГМТ. Архив С. Л. Толстого, папка 39).

ХОРОШ СТАРИК!

Лев Николаевич Толстой, придя домой после прогулки на шоссе, сказал:

— Сегодня меня похвалили!

И рассказал, что, когда он в полушубке и валенках шел скорым шагом домой, спеша прийти к обеду, с ним встретился незнакомый ему мужик, по-видимому подвыпивший, посмотрел на него и сказал:

— Ха-а-рош старик! (Т а м ж е.)

К стр. 99. «Я считаю себя счастливым тем, что много раз слышал живую, художественную и разнообразную речь моего отца». В своих «Записках», относящихся к 1880 г., И. М. Ивакин вспоминает, что раз, вернувшись из Тулы, Толстой рассказывал, «как из тульского тюремного замка совершил смелый, трудный побег арестант Яков Федоров <...> Надо было послушать этот живописный, энергический, точно выкованный рассказ. Было нечто удивительное! Жалею, что я не догадался тогда записать. Даже в не совершенно точной записи наверное многое бы от него осталось». (Записки И. М. Ивакина, стр. 35.)

К стр. 101. «Последнее изречение можно назвать девизом отца». За три дня до смерти, на станции Астапово Толстой сделал последнюю запись в дневнике. Она копчается словами: «Fais ce que doit, adv[is]enne». И все на благо и другим, и главное, мне» (т. 58, стр. 126).

К стр. 104. «Кофеинка неизменно вызывала смех или улыбку». Эту прибаутку слышал в Сибири Ф. И. Толстой-Американец от одного ссыльного. Об этом пишет его двоюродная племянница М. Ф. Каменская. (Прим. С. Л. Толстого.)

К стр. 125. «...как он писал А. А. Бибикову, не мог без ужаса подумать об этом». В письме от 1—5 (?) сентября 1881 г. Толстой писал А. А. Бибикову: «В Москву мы переезжаем 15-го. Я не могу себе представить, как я буду там жить» (т. 63, стр. 76).

К стр. 141. «...особенно заинтересовал отца и меня Е. Е. Лазарев». В письме от 8 июня 1883 г. Толстой писал жене: «Одним особенно, крестьянин (крепостной бывший) Лазарев очень интересен. Образован, умен, искренен, горяч и совсем мужик — и говорю, и привычкой работать. Он живет с двумя братьями, мужиками, пашет и жнет, и работает на общей мельнице. Разговоры, разумеется, вечно одни — о насилии. Им хочется отстоять право насилия, я показываю им, что это — безнравственно и глупо» (т. 83, стр. 384).

К стр. 145. «В первых двух произведениях высказано основное его мировоззрение, в последнем — применение этого мировоззрения к жизни». Все эти произведения не могли быть напечатаны по цензурным условиям того времени, но распространялись в рукописных списках. Отец на свой счет напечатал «В чем моя вера?» в 50 экземплярах. Это можно было сделать, не представляя книгу в цензуру. Однако книга была конфискована, а запрещенные экземпляры, вместо того, чтобы быть уничтоженными, были розданы разным высокопоставленным лицам. Вскоре за границей появились французский и немецкий переводы этого произведения. (Прим. С. Л. Толстого.)

К стр. 146. «Моя мать не могла сочувствовать его новым взглядам». Приводим запись из дневника Софьи Андреевны за 25 октября 1886 г.: «Все в доме — особенно Лев Николаевич, а за ним, как стадо баранов, все дети — навязывают мне роль бича. Свалю всю тяжесть и ответственность детей, хозяйства, всех денежных дел, воспитания, всего хозяйства и всего материального, пользуясь всем этим больше, чем я сама, одетые в добродетель, приходят ко мне с казенным, холодным, уже вперед взятым на себя видом, просить лошадь для мужика, денег, муки и т. п. Я не занимаюсь сельским хозяйством — у меня не хватает ни времени, ни умения, — я не могу распорядиться, не зная, нужны ли лошади в хозяйстве в данный момент, и эти казенные спросы с непониманием положения дел меня смущают и сердят.

Как я хотела и хочу часто бросить все, уйти из жизни так или иначе! Боже мой, как я устала жить, бороться и страдать! Как велика бессознательная злоба самых близких людей и как велик эгоизм! Зачем я все-таки делаю все? Я не знаю. Думаю, что так надо. То, чего хочет (на словах) муж, того я исполнить не могу, не выйдя прежде сама из тех семейных, деловых и сердечных оков, в которых нахожусь». (С. А. Толстая, Дневники, I, стр. 132).

К стр. 156. «Очень жалко, что Марковников тебя обидел». Упоминание о Марковникове относится к следующему случаю: в этом году я, по заданию профессора В. В. Марковникова, работал по исследованию тяжелых нефтяных масел, для чего он дал мне мелкую колбу. Мне понадобилось размельчить едкий натр и я, вместо молотка, употребил для этого крышку медной колбы. Крышка погнулась и продырявилась. Генерал (так звали Марковникова в химической лаборатории) рассердился и потребовал, чтобы я купил новую колбу. Мои денежные дела в то время были ограничены, а новая колба стоила около 50 рублей, и вместо покупки новой колбы я отдал испорченную крышку запаять меднику, что мне обошлось много дешевле. Увидев это, Марковников сказал: «Вас, я вижу, надо приучить к аккуратности, приготовьте мне какодил: у нас в лаборатории этого вещества еще нет». Какодиль, или цинкостый мышьяк, настолько ядовит, что достаточно вдохнуть его, чтобы умереть; на воздухе он самовозгорается, и его надо готовить под тягой с крайней осторожностью. Я струсил и отказался готовить какодил. На эту историю с медной колбой и намекал мой отец. (Прим. С. Л. Толстого.)

К стр. 156. «Нехорошо, что ты оробел насчет яблок». В 1884 году урожай яблок в Ясной Поляне не был, как обычно, продан кушцу, а яблоки были сняты и упакованы своими рабочими и по-

дешевыми и отправлены в Москву. Мне было поручено принять их на товарной станции и тут же продать. Но когда я принимал яблоки, оказалось, что чуть ли не все ящики были разбиты и из каждого часть яблок была украдена. Из-за этого купцы давали низкую цену, и мне не удалось продать яблоки на станции, а пришлось перевезти яблоки в сарай хамовнического дома. Я написал в Ясную Поляну, что прошу меня освободить от дела продажи яблок. На это и ссылался отец. (Прим. С. Л. Толстого.)

К стр. 156. «Тетя Таня, как и прошлого года, в восторге от вашего посещения...» Я и брат Илья встречали нашу тетку Татьяну Андреевну Кузминскую на московском вокзале при ее проезде из Ясной Поляны в Петербург, где ее муж служил председателем окружного суда. (Прим. С. Л. Толстого.)

К стр. 162. «Лежу и слушаю». Отец лежал вследствие воспаления надкостницы ноги. (Прим. С. Л. Толстого.) 5 августа 1886 г. Толстой слег в постель с температурой 40. Болезнь продолжалась почти три месяца: только в начале ноября в его письмах к друзьям появляются слова: «Я совсем здоров, хожу» (т. 63, стр. 405).

К стр. 181. «Я написал рассказ «Дело Пыркина». Мой рассказ был напечатан в майской книжке «Недели» за 1894 год под псевдонимом С. Бродинский. Отец, к сожалению, поправок в нем не делал. (Прим. С. Л. Толстого.)

К стр. 182. «Он очень остался доволен и вами, и Соней, и внуками, и вашими соседями». Соня — Софья Николаевна Толстая, жена брата Ильи. Одним из соседей был А. А. Цуриков, червский помещик и уездный член суда, человек с оригинальным мировоззрением — православный, либеральный и народник. Отец им заинтересовался. (Прим. С. Л. Толстого.)

К стр. 187. «...палеонтологический отдел с исполинским скелетом археоптерикса». Палеонтология — наука об ископаемых животных. Археоптерикс — ископаемая птица юрского периода.

К стр. 199. «Есть ли дело?» Дел было много: надо было установить сроки переезда духоворов в Батум, вести переговоры о сроках прихода парохода, сноситься с русскими властями о своевременной выдаче паспортов, заготовить доски и рейки для постройки нар на пароходе, закупить провизию и пр. (Прим. С. Л. Толстого.)

К стр. 204. «...мои две сестры — Татьяна и Мария — вышли замуж». Мария Львовна вышла замуж за своего двоюродного племянника Николая Леонидовича Оболенского 2 июня 1897 г. Из всех детей Мария Львовна была ближе всех Толстому: разделяла его взгляды и старалась им следовать в жизни. 28 октября 1897 г. он писал ей: «Чувствую ли я разъединение с тобой после твоего

замужества? Да, чувствую, но не хочу чувствовать и не буду». (т. 70, стр. 180). Татьяна Львовна Толстая вышла замуж за Михаила Сергеевича Сухотина 14 ноября 1899 г. 31 декабря 1899 г. С. А. Толстая записала в своем дневнике: «14 ноября вышла замуж наша Таня за М. С. Сухотина. Надо было этого ожидать. Так и чувствовалось, что она все исчерпала и отжила свою девичью жизнь. Событие это вызвало в нас, родителях, такую сердечную боль, какой мы не испытывали со смерти Ванечки. Все наружное спокойствие Льва Николаевича исчезло. Прощаясь с Таней, когда она сама, измученная и огорченная, в простом сереньком платье и шляпе, пошла наверх перед тем, как ей идти в церковь,— Лев Николаевич так рыдал, как будто прощался со всем, что у него было самого дорогого в жизни». (С. А. Толстая. Дневники. III, стр. 122.)

К стр. 204. «...ссылка его друзей». В. Г. Чертков, П. И. Бирюков и И. М. Трегубов были высланы: первый — в Англию, Бирюков и Трегубов — в Курляндскую губернию в феврале 1897 г. Причиной высылки были хлопоты и помощь преследуемым царским правительством духоборам и написанное друзьями Толстого воззвание «Помогите!», распространявшееся ими в машинописных копиях.

К стр. 207. «Николай Михайлович передал Николаю II письмо Льва Николаевича с земельным вопросом». (См. прим. к стр. 211.)

К стр. 211. Толстой работал над письмом к Николаю II в течение трех недель: с 26 (?) декабря 1901 г. по 16 января 1902 г. В письме этом он высказывал мнение, что «самодержавие есть форма правления отжившая», описывал в общих чертах положение народа в России и советовал Николаю II провести главную, нужную народу реформу — отмену частной собственности на землю. Письмо было передано Николаю II великим князем Николаем Михайловичем. Ответа на него не последовало.

К стр. 215. Над рассказом «Нет в мире вишневых» Толстой работал с декабря 1908 г. по конец мая 1909 г., однако рассказ этот им закончен не был. (См. т. 38, стр. 181—198.)

К стр. 223. «В то же время он объявил в газетах...». Мысль об отказе от литературной собственности на свои произведения назревала у Толстого с 1883 г., и встречала постоянное противодействие со стороны Софьи Андреевны. После многочисленных и тяжелых для Толстого споров с женой, 16 сентября 1891 г. он направил редакторам газет «Русские ведомости» и «Новое время» следующее заявление:

«Милостивый государь!

Вследствие часто получаемых мною запросов о разрешении

издавать, переводить и ставить на сцене мои сочинения, прошу вас поместить в издаваемой вами газете следующее мое заявление.

Предоставляю всем желающим право безвозмездно издавать в России и за границей, по-русски и в переводах, а равно и ставить на сценах все те из моих сочинений, которые были написаны мною с 1881 года и напечатаны в XII томе моих полных сочинений издания 1886 года, и в XIII томе, изданном в нынешнем 1891 году, равно и все мои неизданные в России и могущие вновь появиться после нынешнего дня сочинения. Лев Толстой».

19 сентября 1891 г. это заявление было напечатано обоими газетами.

К стр. 227. *«Не знаю, как у отца возникло намерение написать формальное завещание...»* Редактор 81—82 томов. Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого — Н. С. Роднонов — так отвечает на этот вопрос: «К мысли написать формальное, юридическое завещание Толстой пришел не сразу. Первоначально он предполагал ограничиться своим частным волеизъявлением, неоднократно высказанным как устно, так и письменно в своих дневниках и письмах. Но в последние два года жизни Толстой наблюдал несочувствие со стороны некоторых членов своей семьи к основной мысли завещания — полному отказу от авторских прав на свои писания и безвозмездному предоставлению их всем, и поэтому он не был уверен в осуществлении своей воли после смерти. Вследствие этого Толстой решил прибегнуть к такому способу осуществления его воли, который не вызывал бы никаких сомнений и дал бы возможность легко и беспрепятственно осуществить на деле его заветное желание» (т. 82, стр. 229).

К стр. 228. *«Он считал, что он <...> один компетентен, как редактор и издатель его сочинений».* О роли В. Г. Черткова в собирании, сохранении и публикации писаний Л. Н. Толстого см. в комментарии к главе настоящей книги: «Владимир Григорьевич Чертков». Напомним читателям, что Чертков был главным редактором Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого (Юбилейное издание), выпущенного Государственным издательством художественной литературы в 1928—1958 гг. (90 томов). Это собрание сочинений выходило под руководством Государственной редакционной комиссии. В первом томе, выпущенном в юбилейном, 1928 году (отчего все издание получило название «Юбилейного»), напечатано предисловие:

Приступая к изданию собрания сочинений Л. Н. Толстого, Советское правительство признало необходимым обеспечить совершенно полное и объективное издание этих сочинений, поручив непосредственную работу по редактированию тому другу покойного писателя, которого он сам выбрал для этой цели и который привлек к сотрудничеству с собой наиболее подходящие для этого дела научные силы».

Далее говорится о задачах Государственной редакционной комиссии. Из приведенного начала видно, что и Государственная редакционная комиссия (в 1928 году она состояла из: А. В. Лупачарского, В. Д. Бонч-Бруевича, М. Н. Покровского и И. И. Степанова-Скворцова) не сомневалась в компетентности редакторской работы Черткова.

К стр. 229. «Завещание еще не раз было переправлено и переписано». Последнюю редакцию текста завещания, «объяснительную записку к завещанию», а также исчерпывающий комментарий см. в т. 82, стр. 227—231.

К стр. 229. «Чертков же должен был передать право издания на общую пользу». В первом томе 90-томного Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого во вступлении «От главного редактора» В. Г. Чертков писал: «Толстой — первый в мире выдающийся писатель, применивший отрицание собственности к своим литературным трудам. Явление это имеет выдающееся общественное значение, как один из признаков приближения новых отношений между людьми, основанных на взаимной солидарности и отсутствии всяких личных привилегий» (т. I, стр. X). Во исполнение воли Толстого Государственное издательство художественной литературы на всех томах от первого до последнего на обороте титульного листа поместило слова: «Перепечатка разрешается безвозмездно».

К стр. 235. «Если бы не было формального завещания, вероятно, некоторые из нас захотели бы извлечь из писания отца материальные выгоды, несмотря на его пожелания, выраженные в дневниках». В своих воспоминаниях адвокат и общественный деятель Н. К. Муравьев писал: «Лев Николаевич обратился ко мне через своих близких с просьбой «составить бумагу», которая после смерти Льва Николаевича предоставляла всем людям, в какой бы стране они ни жили, то есть всему человечеству, право безвозмездного перепечатывания его произведений, как это делалось при его жизни, не испрашивая никакого разрешения у собствен-

шка авторского права на эти произведения. Лев Николаевич хотел отказаться от права собственности на свои произведения так же и после своей смерти, как отказался он от них при жизни. В мире собственности этот отказ был юридически невозможен. Я разъяснил, что голый отказ от прав собственности по духовному завещанию невозможен. Нужно отказаться непременно в чью-либо пользу — в пользу какого-либо учреждения или нескольких лиц, или одного лица. В гражданском обществе, правовой порядок которого основывается на праве собственности, и в частности, при том строе, который господствовал тогда в России, невозможно было найти такое учреждение, на твердое существование которого ради осуществления поставленной Львом Николаевичем цели можно было бы положиться.

Поэтому, в процессе обдумывания задания Льва Николаевича и переговоров с ним через его друзей, я предложил на обсуждение мысль о назначении блюстителя или блюстителей этой воли Льва Николаевича для *неиспользования* принадлежащего ему права собственности на литературные произведения на случай его смерти и после нее.

Лев Николаевич принял эту мысль и хотел завещать в такой форме все свое огромное литературное наследство своему ближайшему другу В. Г. Черткову.

В. Г. Чертков по побуждениям деликатности и чтобы не увеличивать и без того сильную злобу к себе семьи Льва Николаевича, в частности Софьи Андреевны, отказался от этого предложения. Эта злоба имела серьезное материальное обоснование: семья Льва Николаевича оценивала право эксплуатации произведений Льва Николаевича после его смерти во всех странах мира в течение нескольких десятилетий после его смерти в сумме не менее десяти миллионов полноценных (золотых) рублей.

Ввиду отказа В. Г. Чертова, остановились на мысли передать это «блюстительство» права на литературные произведения с целью неиспользования этого права тому или тем из близких Льву Николаевичу по крови лиц, кто наиболее близок ему и по духу.

Я составил духовное завещание, по форме самое простое, какое только было возможно. После смерти Льва Николаевича все права на все его литературные произведения и на самые рукописи, «где бы таковые не находились», должны были перейти к его дочери Александре Львовне, а в случае ее смерти ранее смерти Льва Николаевича — к его дочери Татьяне Львовне Сухотинной. (Не опубликовано. Хранится у Т. Н. Волковой.)

К стр. 238. «Отъезд отца из Ясной Поляны». В архиве Сергея

Львовича Толстого, хранящемся в ГМТ, есть две редакции ухода и смерти Толстого. При первой редакции С. Л. Толстой сделала следующую заметку: «Написаны по моим запискам, тогда же набросанным». Вторая редакция полностью совпадает с печатным текстом «Очерков былого» издания 1949 г. Вторая редакция — обширнее и обстоятельнее, но в первой есть много интересных, ярких деталей, опущенных при дальнейшей переработке. Считая обе редакции очень интересными, мы решили поступить следующим образом: два самых пространных отрывка первой редакции дапы в «Приложении». Мелкие разночтения, имеющие, однако, интересные различия от последней редакции, вводятся в примечания на соответствующих местах.

Следует заметить, что прощальные письма детей Толстого — Сергея, Татьяны, Ильи и Андрея Львовича — в архиве Сергея Львовича, хранящемся в ГМТ, отсутствуют. Вероятно, он имел их в своем распоряжении в Астапове, однако впоследствии они перешли во владение к кому-либо из членов семьи. Сверить печатный текст писем с подлинниками по этой причине не удалось.

К стр. 242. «Мы решили написать отцу письма». В. Ф. Булгаков, находившийся в октябре 1910 г. в Ясной Поляне, рассказывает: «Когда Лев Николаевич ушел из дома и лежал больной в Астапове, все сыновья, собравшиеся тогда в Ясной Поляне, написали ему письма, которые должна была доставить отцу их младшая сестра. Они еще не знали, где именно находится Лев Николаевич. Каждый исполнил эту обязанность, как мог. Только Михаил Львович отказался вовсе писать. — Всем известно, что я не люблю писать писем! — с обезоруживающей беспечностью выкрикнул он из-за рояля. — Скажи папá, что я думаю так же, как думают Таня и Андрюша.

Этот беспечный, равнодушный ответ глубоко поразил меня в 1910 году и не перестает так же поражающе звучать и теперь». В. Ф. Булгаков. О Толстом. Приокское книжное издательство, Тула, 1964, стр. 260.

К стр. 249. После слов: «они уже перебрались в очень тесное помещение сторожа в том же доме» — в первой редакции говорится: «Оставался только пока сам Озолин. Жена Озолина и ее дети входили и выходили, перетаскивая вещи. Озолина, немка родом, показалась мне энергичной женщиной и хорошей хозяйкой. Она была очень озабочена и по-видимому не особенно довольна перемещением ее и ее семьи. Это, конечно, вполне естественно в ее положении матери и хозяйки.

Сам Озолин, латыш родом, довольно высокий, черный, худой человек с очками на носу и тиком на лице — подергиванием поса

и рта — производил впечатление честного, доброго человека, забитого службой и связанного большой семьей. По-видимому он страдал нервной болезнью. Впоследствии у него развился паралич, от которого он и умер.

Парадная, стеклянная дверь, ведущая из сеней в комнату, где лежал отец, была заперта, и из сеней ход был только через кухню».

К стр. 249. После слов: *«Все мы смотрели на будущее, хотя и с тревогой, но и с надеждой»* — в первой редакции говорится: «Доктора — данковский земский врач Семеновский (бывший в Астапове утром, а вечером вернувшийся в Данков), местный астаповский врач Статковский и Душан Петрович нашли воспаление обоих легких, главным образом левого легкого».

К стр. 250. После слов: *«После этого разговора он опять закрыл глаза и уже ничего не говорил»* — в первой редакции говорится: «Лицо его было в тени, и я его плохо видел, но поскольку я его видел и судя по голосу, я не нашел, что он в очень плохом состоянии. В 1902 году в Крыму он бывал в много худшем состоянии. Но тогда он был на восемь лет моложе.

Душан Петрович предложил ему шампанского. Он сначала отказывался, говоря, что будет изжога, однако глотнул раза два».

К стр. 250. После слов: *«...доктор Семеновский, подсевший на поезд в Данкове»* — в первой редакции говорится: «Душан Петрович и я встретили их, но в эту ночь никто к отцу не пошел. Все они остались ночевать в вагоне, а я ушел спать на квартиру помощника начальника станции Витковича, любезно предоставившего мне комнату».

Вагон первого класса, в котором приехали наши, был отцеплен, переведен на запасный путь и предоставлен в наше распоряжение».

К стр. 258. *«Ее нарушил кто-то из врачей словами: «Три четверти шестого».* В официальном бюллетене, подписанном шестью врачами: Щуровским, Усовым, Никитиным, Беркенгеймом, Маковидским и Семеновским, указано время смерти Толстого: шесть часов пять минут утра по московскому времени.

К стр. 258. После слов: *«Не успел еще похудеть»* — в первой редакции говорится: «Выражение лица было спокойное и сосредоточенное, но как будто чем-то недовольное. Лицо было не вполне симметрично. Врачи говорили, что, по-видимому, в последние дни, а может быть, в последние часы, его постиг легкий паралич, и поэтому одна сторона лица могла быть парализована».

К стр. 260. После слов: *«В Данкове исправник не допустил публику на вокзал и запретил возлагать венки»* — в первой редак-

ции говорится: «Этот исправник в голодную зиму 1891—1892 гг. был становым в Епифанском уезде, где отец в то время устраивал столовые для голодающих. Однажды отец шел пешком по снежной дороге. Его обогнал этот самый становой, ехавший на паре в протяжку, и обругал скверными словами за то, что он не сошел с дороги и, выругавшись, спросил:

— Кто ты такой?

Услыхав ответ: — Я — Лев Толстой, — он поспешно ускакал».

К стр. 262. «После похорон моя мать и наша семья получили множество сочувственных телеграмм». Сотрудница отдела рукописей ГМТ Ольга Александровна Голененко, работающая над разбором и приготовлением к печати сочувственных по поводу смерти Толстого телеграмм, сообщила нам, что общее число их (как русских, так и иностранных) достигает приблизительно 4.000.

К стр. 265. Глава «Кончина моей матери» печатается по первой ее публикации. (Дневники Софьи Андреевны Толстой. Изд. «Сов. писатель», М., 1936, стр. 270—275), так как рукопись этой главы, по-видимому, не сохранилась.

К стр. 292. «На деревне частые литии». Научный сотрудник музея-усадыбы Ясная Поляна Н. П. Пузир любезно разрешил напечатать в примечаниях к данной главе два интересных документа из его архива, характеризующих добрые отношения между крестьянами деревни Ясная Поляна и семьей Толстых. Воспроизводим их полностью.

Копия рукою Сергея Львовича Толстого:

«7 ноября 1919 года.

Гражданам Ясной Поляны.

Мы — нижеподписавшиеся — дети покойной Софьи Андреевны Толстой — выражаем вам, всем гражданам Ясной Поляны, нашу глубокую и горячую благодарность за ваше доброе отношение к покойной нашей матери и за ваше участие и за вашу помощь во время ее похорон.

Да будем мы всегда добрыми соседями и да будем всегда помогать друг другу!

Сергей Львович Толстой, Татьяна Львовна Сухотина, Александра Львовна Толстая».

«Памятуя добродетели дорогой и глубоко чтимой нами Софьи Андреевны, мы с великим прискорбием в душе по независящим от нас обстоятельствам не могли присутствовать на панихиде [по] Софье Андреевне, а также не можем присутствовать и завтра, а посему все мы в лице нашего председателя Петра Даннловича Козлова просим вас, как близких сродственников Софьи Андреев-

ны, отслужить панихиду от всех нас, яснополянских граждан, а также просим и священника не отказать в нашей просьбе.

Председатель П. Козлов».

Документ не датирован. Относится, вероятно, к 1919—1920 гг.

К стр. 331. «Он раньше с отцом знаком не был...» Н. Н. Ге познакомился с Толстым в январе 1861 г. в Риме.

К стр. 358—362. За последние годы в печати стали появляться воспоминания о В. Г. Черткове. Это — статья В. Ф. Булгакова «Страницы воспоминаний из встречи с М. В. Пестеровым» в журнале «Искусство», № 8, за 1962 г., воспоминания С. Мотовиловой в журнале «Новый мир», № 12, за 1963 г. и глава «Уход и смерть Л. Н. Толстого» в книге В. Ф. Булгакова «О Толстом». Тула, 1964, стр. 182—230.

Эти публикации характеризуются общим тоном не только недоброжелательности к личности В. Г. Черткова (за мемуаристом нельзя не признать права любого отношения к описываемым им лицам, если он подкрепляет свои впечатления фактами), но крайне узким сектором наблюдений, причем В. Ф. Булгаков считает даже возможным выносить на страницы книги вздорное утверждение Альберта Шкарвана о том, что В. Г. Чертков был одержим педугом «задержанного временно его сильной волей и нравственным противодействием прогрессивного паралича» (стр. 194 книги «О Толстом»), утверждение, которое и смехотворно с точки зрения медицинской, и возмутительно с точки зрения правдивости.

В связи с этим считаем нужным напомнить читателю о том, кем был «самый близкий и нужный»¹ Толстому человек, «русский идеалист»², как называл Владимира Григорьевича старый большевик Феликс Кон, говоривший на похоронах Черткова (1936 г.) прощальное слово.

Одна из лучших статей о В. Г. Черткове принадлежит Марку Щеглову, талантливому молодому литературоведу-коммунисту, участнику Отечественной войны, рано ушедшему из жизни. Она помещена предисловием к 88—89 томам Юбилейного издания, вышедшим в 1957 году.

«В. Г. Чертков — известный деятель «толстовства», самый близкий друг Л. Н. Толстого в последние 25 лет его жизни, сделавший больше других для собирания и сохранения всех — вплоть до мельчайших — памятников мысли и творчества Толстого, наконец издатель его запрещенных царской цензурой произведений, органи-

¹ Так охарактеризовал В. Г. Черткова сам Толстой в письме к дочери, написанном им за 10 дней до смерти (т. 82, стр. 218).

² Сообщено Е. Ф. Страховой.

затар и первый редактор настоящего Полного юбилейного собрания сочинений Толстого» (т. 88, стр. V),— так характеризует М. Щеглов личность и деятельность Черткова.

Л. Н. Толстой был отцом девяти сыновей, из которых пятеро, намного пережив своего отца, жили с родителями до жспитьбы, часто и подолгу гостили в Ясной Поляне. Но ни один из пяти сыповей не был близок Толстому по взглядам, не жил его интересами, не разделял его отношения к жизни.

«Для Толстого, страдавшего от духовного одиночества, было большой радостью знакомство с Чертковым, который так хорошо его понимал, был столь родственен ему по духу и в то же время полностью самобытен в своих внутренних поисках, никогда не становясь слепым «прозелитом» нового властителя умов: этого Толстой особенно не терпел»,— пишет М. Щеглов (т. 88, стр. X).

«Есть целая область мыслей, чувств, которыми я ни с кем не могу так естественно делиться, зная, что я вполне попят, как с вами»,— писал Черткову Толстой за две недели до смерти—26 октября 1910 г. (т. 89, стр. 230).

Письма Толстого к Черткову (их более 900) охватывают период в 27 лет (с 1883 г. по 1910 г.) и занимают в Полном собрании сочинений Толстого пять томов (85—89).

«Вы мне ужасно дороги и близки»,— пишет Толстой Черткову 7/8 ноября 1884 г. (т. 85, стр. 8). Все пять томов писем Толстого к Черткову— это выражение радости иметь такого друга, не только единомышленника, но помощника и исполнителя во всех практических начинаниях.

Напомним главнейшие из этих совместных дел.

Познакомившись с Толстым в октябре 1883 г., Чертков в 1884 г. организует «Посредник»—издательство для народа, где выпускались книжки ценою от полутора копеек за штуку, научно-популярная литература и художественные произведения. Чертков привлек к участию в «Посреднике» художников Крамского, Репина, Ярошенко и др. В «Посреднике» печатались произведения Толстого, Чехова, Короленко, Гаршина, Лескова и других первоклассных писателей.

Главным редактором «Посредника» Чертков проработал девять лет. Высланный царским правительством в Англию, он организовал там издательство «Свободное слово», в котором были напечатаны все произведения Толстого, запрещенные в России царской цензурой. «С 1899 года, со времени напечатания романа «Воскресение», Чертков сделался уполномоченным Толстого в отношении всех лиц, желавших переводить его произведения и издавать их на иностранных языках» (т. 85, стр. 12—13).

На своей вилле «Тёктон-Хауз» близ Крайсчерча в Англии Чертков создал песгораемое хранилище для хранения рукописей Толстого, его дневников и писем, как в подлинниках, так и в копиях. Впоследствии Чертков передал, разумеется безвозмездно, все это собрание Академии наук СССР и Музею Л. Н. Толстого в Москве.

В 1898 г. Чертков приобрел и привез в дом Толстого специальный пресс для копирования писем. Ему мы обязаны тем, что с этого года и до конца дней великого писателя все письма его сохранились в автографических копиях, сделанных на этом прессе.

Вернувшись в 1907 г. в Россию, Чертков купил небольшую часть имения Телятенки, поблизости от Ясной Поляны, построил там дом и оборудовал фотолaborаторию, где выписанный им из Англии фотограф Тапсель проявлял и печатал огромное множество сделанных им первоклассных фотографий Толстого. В настоящее время все они хранятся в Отделе фондов Музея Л. Н. Толстого в Москве.

Последние десять лет жизни Толстого, когда переписка его со всем миром расширилась до огромных пределов, а силы падали вместе с возрастом и болезнями, Чертков заботился о том, чтобы близ Толстого постоянно находились молодые, преданные ему секретари. Так, он рекомендовал Толстому Н. Н. Гусева и В. Ф. Булгакова. Он же оплачивал труд секретарей и врача Д. П. Маковицкого.

В своей объяснительной записке к завещанию 1910 г. Толстой поручил Черткову, «чтобы последний после смерти Льва Николаевича занялся пересмотром» и изданием всех его писаний. В 1912 г. Чертков издал три тома ранее нигде не печатавшихся произведений Толстого («Хаджи-Мурат», «Фальшивый купон» и др.). На деньги, вырученные от этого издания, у наследников Толстого была выкуплена пахотная земля и передана крестьянам Ясной Поляны и деревни Грумант.

После смерти Толстого Чертков привлек ряд помощников для разбора и подготовки к печати всего литературного наследия великого писателя.

После Великой Октябрьской революции мечты Черткова об издании Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого получили осуществление: уже в 1918—1919 гг. «в Наркомпросе при непосредственном участии А. В. Луначарского и В. Г. Черткова началась разработка плана издания и его организационной структуры»¹.

«По свидетельству В. Д. Бонч-Бруевича, В. И. Ленин «сам

¹ «Литературное наследство», М., 1961, II, стр. 431.

лично выработывал программу издания», основополагающим принципом которого явилось решение печатать все без изъятия из написанного Толстым¹. Для обсуждения этой программы и других вопросов издания В. И. Ленин принял в Кремле 8 сентября 1920 г. Черткова, которому было поручено руководство необходимыми подготовительными работами².

Через несколько лет, 2 апреля 1928 г., Государственное издательство РСФСР заключило генеральное соглашение с Редакционным комитетом Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, § 4 которого гласил: «Главным и ответственным редактором сочинений Л. Н. Толстого является В. Г. Чертков»³. Соглашение это было утверждено Советом Народных Комиссаров СССР. Первый том вышел в 1928 г., поэтому это собрание сочинений получило название «Юбилейного».

В. Г. Чертков скончался 9 ноября 1936 г. Под общей его редакцией при его жизни подготовлено к печати 72 тома. Общая редакционная работа по остальным томам также проходила в значительной степени под его руководством.

Последовавшие после смерти Черткова события: эпоха культа личности и война затормозили окончание Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого. Лишь в 1953 г. Государственное издательство художественной литературы энергично приступило к окончанию работы: в 1958 г. вышел последний, 90-й том, в 1964 г. — том указателей к Полному собранию сочинений Л. Н. Толстого.

Нами перечислены только главнейшие заслуги Черткова в деле собирания, сохранения и распространения литературного наследия Л. Н. Толстого. Желющие поближе ознакомиться с биографией самого близкого друга Толстого обратятся к 85-му тому Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

¹ В. Д. Бонч-Бруевич. Ленин и культура. «Литературная газета» от 21 января 1940 г.

² «Литературное наследство», 1961, М., II, стр. 431.

³ Там же, стр. 432.

Абрамевич Марья Ивановна — акушерка, жившая в Туле — 57.

Абросимов Иван Парамонович — духобор. Был у Толстого в Ясной Поляне 27 августа 1898 г. 29 августа выехал в Англию — 184, 185, 187.

Авакум Петрович (ок. 1621—1682) — протопоп, поборник русского старообрядчества. Оставил автобиографию — ценный литературный памятник, написанный с большим литературным мастерством, языком, близким к народной речи — 96.

Авдотья Васильевна. См. Попова А. В.

Агафий Михаил Иванович — формовщик Училища живописи, ваяния и зодчества в Москве — 259, 210, 412.

Агафья Михайловна (1812—1896) — в молодости крепостная горничная бабки Толстого — П. Н. Толстой. Затем жила в Ясной Поляне, где и умерла. Ухаживала за охотничьими собаками Толстого — 24, 122, 123.

Ай-Петри — одна из вершин крымской Яйлы — 207, 213, 211.

Ай-Тодор — мыс в Крыму. в двух верстах от Гаспри — 207, 213.

«Ай ты, береза» — песня — 276.

Аким — священник села Пинкольское-Вяземское — 110.

Аксаков И. С. — 413.

Аксинья Максимовна — горничная Т. А. Ергольской. Ум. 1874 г — 22, 35, 43.

Александр I (1777—1825). С 1801 г. русский император — 207, 422.

Александр II (1818—1881), с 1855 г. русский император — 62, 69, 81, 93, 135, 313, 315, 358, 420.

Александр III (1845—1894), с 1881 г. русский император — 81, 138, 197, 313, 358, 420.

Александра Павловна — 267.

Александрийское евангелие — 187.

Александровка (Протасово тож) — хутор П. Л. Толстого в 3-х верстах от Никольского-Вяземского — 179, 180.

Алексеев Василий Иванович (1849—1919) — учитель детей Толстого. Его воспоминания о Толстом напечатаны в сб. «Летописи Государственного литературного музея», кн. 12, М., 1948 — 9, 57—60, 63, 64, 71, 72, 81—84, 126, 129, 141, 142, 146, 159—161, 297, 418.

Алексеев Коля (р. 1878) — 59, 159.

Алексеева Елизавета Александровна, по первому мужу Мали-

кова (р. 1851 г.), акушерка — 58—60, 68, 159, 161.

Алена — судомойка в доме Толстых — 172.

Алжир — 283.

Алживнад — (ок. 451—404 до н. э.) — афинский политический деятель — 358.

Альбертини Татьяна Михайловна (р. 1905 г) рожд. Сухотина, внучка Толстого, дочка Т. Л. и М. С. Сухотинных — 270, 292.

Альмединген Наталья Алексеевна (р. 1883 г.) — издательница детских журналов в Петербурге, участница издательства «Просвещение». Приезжала в Ясную Поляну 24 октября 1911 г (см. ее воспоминания в журнале «Родник 1911 г., № 2) — 233.

Альтшулер Исаак Наумович (р. 1870 г.) земский врач ялтинского уезда, приятель А. П. Чехова. Автор ряда трудов по туберкулезу — 208—210, 213.

Альбьево — имение К. В. Сумарокова в Черномском у. Тульской губ — 217.

Амвросий (Александр Михайлович Гренков, 1812—1891) — старец Оптиной пустыни, прототип старца Зосимы в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». 27 февраля 1890 г. Толстой записал в дневнике: «Амвросий жалок, жалок спониме соблазнами до невозможности» (т. 51, стр. 23) — 287.

Америка — 58, 153, 184, 196, 203.

Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1923) — журналист, беллетрист, белоэмигрант. Автор ряда статей о Толстом — 136.

«Властители дум» — 136.

Амфитеатров Валентин Александрович (ок. 1830—1908) — настоятель Архангельского собора в Кремле. Был духовным наставником сестры Толстого Марии Николаевны — 287.

Англия — 12, 35, 185, 190, 191, 194, 266, 361, 362, 390, 427, 435, 436.

Андреев Василий Васильевич (1861—1918) — виртуоз-балалаечник, композитор. Организатор и дирижер первого оркестра русских народных инструментов. 7 декабря 1900 г. Толстой слушал выступление этого оркестра, исполнявшего под управлением Андреева русские народные песни — 378.

Андронников — в 1919 г. представитель кооператива в Ясной Поляне — 269.

Анна Ивановна — 265.

Антокольский Марк Матвеевич (1843—1902) — скульптор. Статуя «Иисус перед народом» изваяна им в 1874 г. в Риме — 302.

Аптоний (в миру Александр Васильевич Вадковский) (1846—1912) митрополит петербургский и ладожский — 212.

Анюта — 67.

Анучин Дмитрий Николаевич (1843—1928) — географ, антрополог, этнограф и археолог — 259.

Арбузов Павел Петрович (ум. в 1894 г.) — сапожник в Ясной Поляне, учивший Толстого сапожному ремеслу — 22, 23, 25

Арбузов Сергей Петрович (1849—1904) прослужил у Толстого 22 года лакеем. Автор книги «Гр. Л. Н. Толстой. Воспоминания С. П. Арбузова, бывшего слуги Л. Н. Толстого», М., 1904 г. — 23, 25, 37, 83, 127, 419.

Арбузова Арина Григорьевна — жена С. П. Арбузова — 23, 25.

Арбузова Мария Афанасьевна (ум. 1884 г.) — с 1863 по 1880 г. няня старших пятерых детей Толстого — 21, 23.

Аренский Антон Степанович (1861—1906 г.) — композитор — 347, 356, 358, 374, 375.

«Basso ostinato» — 347.

Арзамас — 28.

Арканзас — 201.

Арнаутов Иван Александрович — коллежский секретарь. Дом его в Долгохамовническом переулке, построенный в 1808 г., пережил пожар 1812 года — 136.

Архангельск — 133.

Архангельская губерния — 66

Архангельский Петр Андреевич — управляющий самарским имением Толстого. Толстой писал жене 29 мая 1883 г.: «Петр Андреевич мне нравится. Я думаю, будет очень толковый управляющий, если честен» (т. 83, стр. 379) — 140, 142, 159.

Астасово — станция Рязано-Уральской железной дороги. В 1919 (?) г. переименована в станцию «Лев Толстой» — 4, 13, 246—250, 253, 255, 259, 260, 408—410, 424, 431, 432.

Ауэрбах Бертольд (1812—1882) — немецкий писатель, идеализировавший патриархальную жизнь деревни — 94, 113, 369.

Афанасьев — врач в Туле — 266—268.

Бабай — караульщик дома Толстых на самарском хуторе. Толстой писал про него жене 25 июля 1881 г.: «Это — милейшее 70-летнее дитя природы» (т. 83, стр. 298) — 48.

Бабуркин Михаил Евдокимович — певец, ученик консерватории — 381.

Баден-Баден — 98.

Баденвейлер — 216.

Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — анархист-революционер — 334,

Бакунины — 129.

Балакирев Милый Алексеевич (1836—1910) — композитор, пианист, дирижер — 384.

«Слышу ли голос твой» — 384.

Бальзак Оноре (1799—1850) — французский писатель — 94.

Банников Николай Дмитриевич (р. 1778 г.) — дядька Толстого и его братьев — 24, 91.

Банникова Варвара Николаевна — крестьянка деревни Ясная Поляна, портниха, дочь дядьки Толстого Н. Д. Банникова — 91.

Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844 г.) — поэт — 169.

«И нас за могильной доскою» — 169.

Бартнев Петр Иванович (1829—1912) — историк и библиограф. Редактор-издатель журнала «Русский архив» — 312.

«Барыня» — русская народная песня — 32, 380.

Батайск — 249.

Батум — 185, 195, 198, 202, 426.

Бауман Николай Эрнестович (1873—1906) — революционер-большевик — 340.

Бах Иоганн-Себастиан (1685—1750) — немецкий композитор — 89, 348, 355, 380—382.

«Wohltemperiertes Clavier» — 380, 382

«Бедовая бабушка» — пьеса — 68.

Глаша — 68.

Бельский монастырь — 387.

Беляев Александр Петрович (1803—1887) — декабрист — 62.

«Береза» — песня — 74.

Беринг — в 1919 г. член «Общества друзей Ясной Поляны» — 269.

Беркенгейм Григорий Моисеевич (1872—1919) — московский врач. В 1903—4 гг. жил в Ясной Поляне в качестве личного врача Толстого — 247, 338, 432.

Берлин — 185, 219, 283.

Берлиоз Гектор (1803—1869) — французский композитор — 371, 383.

Бернс Роберт (1759—1796) — шотландский народный поэт — 143.

Берс Александр Андреевич (1845—1918) — старший из братьев С. А. Толстой. В 1880—90-х годах орловский вице-губернатор — 78, 79, 415.

Берс Андрей Евстафьевич (1808—1868) — отец С. А. Толстой. Врач московской дворцовой конторы, гофмедик — 19, 25.

Берс Вячеслав Андреевич (1861—1907) — младший из братьев С. А. Толстой. Инженер путей сообщения — 70, 391, 419.

Берс Любовь Александровна (1826—1896) — мать С. А. Толстой — 19, 55, 70, 283, 419.

Берс Ольга Дмитриевна, рожд. Постникова — с 1874 г. жена Петра Андреевича Берса — 72.

Берс Патти Дмитриевна, рожд. кн. Эрнстова (1861—98) — жена Александра Андреевича Берса — 78, 127.

Берс Петр Андреевич (1849—1910) — брат С. А. Толстой. Был чиновником особых поручений при московском губернаторе. Исправник гор. Клина — 72, 127, 130.

Берс Степан Андреевич (1855—1910) — брат С. А. Толстой. Правовед. Судебный следователь. Статистический советник. Автор «Воспоминаний о гр. Л. Н. Толстом» Смоленск, 1894 г. — 28, 29, 37, 38, 41, 45, 87, 221, 297, 298, 414, 418.

Берсы — 19.

Бертенсон Лев Бернардович (1850—1929) — врач-гигиенист, лейб-медик. Автор ряда трудов по медицине. См. его «Страничка к воспоминаниям о Толстом», «Сборник воспоминаний о Толстом», изд. «Златоцвет», М., 1911—208.

«Беседа» — журнал — 98.

Бетховен ван Людвиг (1770—1827) — немецкий композитор — 44, 77, 275, 282, 347, 348, 356, 364, 369, 370, 371, 379, 381, 382.

Сонаты — 77, 347, 381.

«Arassionata» — 347, 381.

«Крепцерава соната» — 51, 370, 374, 381.

«Лунная соната» — 381.

«Sonate pathétique» — 364, 381.

«Четвертый концерт» — 348, 356.

Бибиков Александр Николаевич (1827—1886) — 32, 33, 55.

Бибиков Алексей Алексеевич. (1837—1914) — в 1878—84 гг. управляющий самарским имением Толстого — 57, 63, 64, 84, 135, 140—142, 157—160, 424.

Бибиков Василий Николаевич (1829—93) — помещик села Успенского Богородицкого уезда Тульской губ. — 120.

Бибяков Николай Александрович, Николька, — сын А. Н. Бибикова — 33.

Бибиков Н. Н. — помещик Тульской губ. — 275.

Бибиков Сергей Васильевич (1871—1920) — с 1879 (?) г. муж М. С. Толстой — 278.

Бибикова Мария Сергеевна (1872—194 . .) — младшая дочь С. Н. Толстого. Г 1899 г. замужем за С. В. Бибиковым. Ее мемуары «Мои воспоминания, Отец и дядя» напечатаны в сб. «Л. Н. Толстой», ГИЗ М. — Л., 1928 г. — 273, 275, 278.

Бибикова Ольга Адольфовна, рожд. Фиркель, — с 1872 г. жена А. Н. Бибикова — 33.

Бильгер Павел Рудольф (1815—40 (?)) — немецкий шахматист — 313.

Бирюков Павел Иванович (1860—1931) — друг и единомышленник Толстого. Автор четырехтомной его биографии — 183, 204, 219, 220, 231, 238, 281, 321, 361, 388, 389, 427.

Бистром Родриг Григорьевич (1809—1886) — помещик. Толстой купил у него в 1878 г. 4022 десятины земли в Бузулукском уезде Самарской губ. — 61, 73.

Блеклов Степан Михайлович (р. 1860) — земский статистик, автор ряда трудов по статистике и экономике. Сотрудник газеты «Русские ведомости» — 51, 126, 127, 157, 158.

Блохин Григорий Федотович — крестьянин — 164.

Боборыкин Константин Николаевич (1829—1904) — офицер, приятель Толстого по обороне Севастополя. Впоследствии генерал-лейтенант, оренбургский военный губернатор, в 1876—88 гг. губернатор в Орле — 112.

Богатово — станция Оренбургской железной дороги — 84, 140.

Богданов Александр Матвеевич — 317.

Богданов А. П. — 9.

Богданова Мария Васильевна, рожд. Олсуфьева — 317.

Богданович Е. В. — помещик Тульской губ. — 275.

Богдановка — деревня Самарской губ. — 37.

Богородицкий уезд Тульской губ. — 34, 120.

Богословский Е. В. — пианист — 355.

Богословский погост — почтовая станция на полпути между Спасским-Лутовиновым и Никольским-Вяземским — 118.

Богоявленский Николай Ефимович (р. 1867 г.) — будучи гимназистом 8-го класса в Туле, давал уроки сыновьям Толстого. Позднее земский врач Данковского уезда Рязанской губ. В 1891—92 гг. работал с Толстым на голоде. В 1930-х гг. был врачом фабрики «Пролетарка» в Калининне — 71, 126, 335.

Бойцов Петр Васильевич — в 1881 г. поступил к Толстым поваром и прослужил у них несколько лет. В 1882 г. был с Толстым в Бегичевке. Толстой писал жене 19 апреля 1892 г.: «Петр Васильевич, как всегда, спокоен и мил» (т. 84, стр. 138) — 127.

Бокль Генри Томас (1821—62) — английский социолог — 58.

Боковой Григорий (р. 1800 (?)) — духобор — 199.

Болгария — 231, 249.

Бомарше Пьер Огюстен (1732—99) — французский писатель — 339.

«Свадьба Фигаро» — 339.

Бонэ-Мори Шарль (1842—1913) — пастор, автор ряда книг по истории религии в средние века. Жил в Париже — 192.

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873—1955) — выдающийся деятель Коммунистической партии, литератор и общественный

деятьель. Организатор и первый директор Литературного музея в Москве. В 1919 г. был управляющим делами Совнаркома — 12, 13, 186, 265, 266, 429, 436.

Борисов Иван Петрович (1832—71) — орловский помещик, приятель Фета и Тургенева — 118.

Боровенка — станция — 70.

Боровово — деревня Тульской губ. — 248.

Боткин Василий Петрович (1810—69) — искусствовед, литератор, сотрудник «Отечественных записок» и «Современника» — 323.

Боткин Сергей Петрович (1832—89) — один из основоположников русской клинической медицины — 323.

Брайтон — английский писатель — 94.

Брамс Иоганнес (1833—97) — немецкий композитор — 143, 276, 383.

Брандуков Анатолий Андреевич (1858—1930) — виолончелист. Играл в хамовническом доме Толстого 28 ноября 1894 г. — 374.

Британский музей в Лондоне — основан в 1753 г. — 187, 191.

Бреддон Мэри Элизабет (1837—1915) — английская писательница, романистка, писавшая в приключенческом стиле — 94.

Брюнеттер Фердинанд (1842—1906) — французский критик, историк и теоретик литературы — 192.

Буайе Поль (1864—1949) — французский славист, преподаватель русского языка, позднее директор парижской школы восточных языков. Публицист, сотрудник парижской газеты «Le Temps» — 191.

Будда — 356.

Буживаль — дачное место под Парижем — 300, 310.

Бузулук — уездный город Самарской губ. — 45, 46, 65, 66.

Бузулукский уезд Самарской губ. — 37, 64.

Буланже Павел Александрович (1864—1925) — инженер, служивший на Казанской железной дороге. Близкий знакомый Толстых. Автор ряда статей о Толстом — 209, 211, 214, 215.

Булгаков Валентин Федорович (р. 1886 г.) — в 1910 г. секретарь Толстого. Автор ряда книг и статей о Толстом — 219, 220, 236, 237, 431, 434.

Булль Джон (1563—1628) — английский композитор — 381.

Булыгин Михаил Васильевич (1893—1943) — единомышленник Толстого — 268.

Булычев Вячеслав Александрович (1872—1959) — руководитель симфонической капеллы в Москве. Директор молдавской консерватории — 355, 356.

Бунге Николай Христианович (1823—1895) — экономист. В 1881—

86 гг. министр финансов, в 1887—1895 гг. председатель комитета министров — 174.

Буяин — художник — 328.

«**Гурлацкая**» («Дуныша») — песня — 378.

Бурдев — ученик Тульской гимназии — 60.

Бутурлин Александр Сергеевич (1845—1916) — 256, 334—343.

Бутурлин Дмитрий Сергеевич — помещик села Хитрова Данковского уезда Рязанской губ. — 334, 335, 337.

Бутурлин Сергей Сергеевич — 334, 335, 337.

Бутурлина Марфа Сергеевна — 342.

Вагнер Рихард (1813—1883) — немецкий композитор — 348, 358, 379, 383.

«**Зигфрид**» — 374, 383.

«**Лоэнгрин**» — 383.

«**Тангейзер**» — 383.

Вакх — бог плодородия и виноделия у древних римлян — 97.

«**Вавька** клюшник» — песня — 369.

Ванькинская дача — дом в нескольких верстах от Ясной Поляны. Отдавался внаем дачникам — 41, 163.

Варламов Александр Егорович (1861—1848) — композитор — 74.

Варсоной — в 1910 г. настоятель Оптиной пустыни — 251, 256, 411, 412.

Варя — горничная — 127.

Васильев — кучер С. Н. Толстого в Пирогове — 274.

Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926) — художник-передвижник — 144.

Вахмистров — крестьянин села Никольское-Вяземское — 263.

«**Вдоль да по речке**» — песня — 75.

Вебер Карл Мариа (1786—1826) — немецкий композитор — 44, 50, 358—370, 375, 381, 382.

Полонез e-dur — 375.

Соната A-dur — 370.

«**Фрейшютц**» («Волшебный стрелок») — 347, 348, 368, 380, 382, 384.

Венявский Генрик (1835—1880) — польский скрипач и композитор — 51, 370.

Верди Джузеппе (1813—1901) — итальянский композитор.

«**Бал-маскарад**» — опера о трагической судьбе шведского короля Густава III, убитого во время костюмированного бала в 1792 г. — 69.

Верп Жюль (1828—1905) — французский писатель-фантаст — 43, 49, 308, 309, 416, 417.

«80 дней вокруг света» — 50.

Фогг — 50.

«**Дети капитана Гранта**» — 43, 417.

«Путешествие на луну» — 43, 416, 417.

Верховная распорядительная комиссия по охранению государственного порядка и общественного спокойствия — чрезвычайный правительственный орган, учрежденный Александром II в 1880 г. для борьбы с революционным движением — 72.

«Вестник Европы» — ежемесячный журнал умеренно-либерального направления, выходивший в Петербурге в 1866—1918 гг. Основан М. М. Стасюлевичем — 98, 317.

Виардо семья — певица Полина Виардо Гарсиа (1821—1910), ее муж, французский искусствовед Луи Виардо (1800—1883) и трое их дочерей — 282, 300, 302.

Виельгорский Михаил Юрьевич (1788—1856) — композитор и музыкальный деятель — 354.

Визевье Теодор (1862—1917) — французский литератор, переводчик, сотрудник журнала «Revue des deux mondes» — 192, 193.

Вильгельм I (1797—1888) — в 1871—88 гг. германский император — 112.

Виндзорский дворец — 22.

Виннипег — 203.

Виноградов Дмитрий Федорович — учитель яснополянской школы. В 80-х гг. работал у Толстого переписчиком — 83.

Виткович — 432.

«Вицмундир» — пьеса — 68.

Разгильдеев — 68.

Владимир Мономах (1053—1125) — с 1113 г. великий князь Киевский. Один из первых светских писателей древней Руси, автор «Поучения детям» — 76.

«Вниз по матушке по Волге» — песня — 369, 377.

Военно-Грузинская дорога — 196.

Воейков — 21, 161.

Возрождения эпоха — 113.

Войткевич Софья Робертовна. См. Дьякова С. Р.

Волга — 314, 375.

Волков Константин Васильевич (1871—1938) — с 1900 г. по 1907 г. — земский врач в Мисхоре близ Ялты. См. его «Наброски к воспоминаниям о Л. Н. Толстом», «Толстой. Памятники творчества и жизнь», М., 1920—208—210, 212.

Волконских кн. дом в Москве (ныне Малый Левшинский переулок, дом № 3) — 125, 127, 128, 134, 136.

Волово — узловая станция Рязано-Уральской и Сызрано-Вяземской железных дорог — 249, 260.

Вологодская губерния — 63.

«Вольных дух» — газета — 164.

Вольпини — итальянская певица — 69.

«Во пире была» — песня — 377.

Воробьев Петр Евстратович — крестьянин, в 1850-х гг. был бурмистром Ясной Поляны, затем управляющим Никольским-Вяземским, где прослужил 26 лет (до конца своей жизни) — 119.

Воронка — речка близ Ясной Поляны — 110, 304, 345.

Воронов Ф. Ф. — член совета Крестьянского банка — 174.

Восточная Сибирь — 156.

«Вспомнил, моя любезная» — песня — 378.

«В час роковой» — песня — 74, 276.

Высокомирный Е. Д. — секретарь «Просветительного общества «Ясная Поляна» в память Л. Н. Толстого, организованного в Туле в 1917 г. Автор брошюры «Ясная Поляна в годы революции». ГИЗ. М., 1928 г. — 269.

Гавриловка — деревня Бузулукского уезда Самарской губ. — 39, 40.

Гагарин Сергей Иванович (1777—1862) — князь, вице-президент и один из основателей «Общества сельского хозяйства». Член Гос. совета, сенатор, писатель — 341.

Гагарин С. С. — помещик Тульской губернии — 275.

Газис (Азис) (р. 1867 (?) г.) — рюк башкира Мухамеда Рахметуллина — 45.

Гайдн Иосиф (1732—1809) — австрийский композитор — 44, 354, 364, 369, 370, 381, 382.

Галифакс — порт в Канаде — 202.

Гальперин Каминский Илья Данилович (1858—1935) — журналист и переводчик; Им переведены на французский язык многие произведения Толстого — 192.

Гапка — см. Ге Агафья Игнатьевна.

Гаррисон Вильям Ллойд (1805—1879) — американский прогрессивный общественный деятель, борец против рабства негров в США, поэт — 203.

Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888) — писатель — 73, 299, 420, 435.

Гаршин Евгений Михайлович (р. 1860 г.) — младший брат писателя, преподаватель русского языка и литературы, сотрудник ряда журналов и газет — 109.

Гаспра — имение гр. С. В. Паниной на южном берегу Крыма в 12 верстах от Ялты, близ татарской деревни Гаспра — 205—207, 209, 214.

Гаше — французенка-губернантка детей Толстых — 53, 57, 70.

Ге Агафья Игнатьевна (Гапка), рожденная Слюсарева — крестьянка,

гражданская жена Н. Н. Ге (сына) — 334.

Ге Анна Петровна, Апечка (1832—1891) — жена художника Н. Н. Ге — 333.

Ге Николай Николаевич (1831—1894) — художник — 144, 238, 331—334, 434.

«Выход после тайной вечера» — 332.

«Повинен смерти» — 332.

«Распятие» — 332, 333.

«Совесть» — 332.

«Христос в Гефсиманском саду» — 332.

«Что есть истина?» — 332.

Ге Николай Николаевич, Колечка (р. 1857 г.) — старший сын художника. В 1884 г. бросил университет и 10 лет занимался крестьянскими работами на хуторе отца. Женился на крестьянке. После смерти отца поселился в Швейцарии, приняв французское гражданство — 333.

Ге Пётр Николаевич — (ум. 1922 г.) — младший сын художника Н. Н. Ге, художественный критик — 333, 334.

Гензельт, «Poème d'amour» — 369.

Генрих VIII (1491—1547) — английский король. Вероятно, Тургенев сравнивает В. П. Толстого с Генрихом VIII, п. ч. этот последний был женат шесть раз — 282.

Герасим Павлович — бывший дворовый С. С. Урусова — 318.

Герке Д. И. — учительница Кузминских — 163.

Герман — один из основателей Валаамского монастыря в XIV в. — 21.

Германия — 19.

Геродот (р. ок. 484 г., ум. ок. 425 до нашей эры) — первый греческий историк. Его история отличается простотой стиля и безыскусственностью изложения — 39, 415.

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — писатель, публицист, общественный деятель — 113, 114.

Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий поэт — 94, 314.

«Герман и Доротея» — 95.

«Страдания молодого Вертера» — 95.

Гниер — остров — 283.

Гийо — французская-гувернантка детей Толстых — 127.

Глебов Семен — крестьянин села Богучарово, бывший ученик первой Яснополянской школы Толстого. Управляющий самарским именем Толстого. 8 декабря 1884 г. Толстой писал жене: «Пришел нанматься в приказчики солдат... Это один из лучших мальчиков был, и теперь хороший кажется человек» (т. 83, стр. 455) — 142, 160, 175.

Глинка Михаил Иванович (1804—1857) — композитор — 74, 321, 369, 384.

«Жизнь за царя» («Иван Сусанин») — 78.

«Руслан и Людмила» — 384.

Глюк Кристоф Виллибальд (1714—1787) — композитор — 381.

«Орфей и Эвридика» — 380.

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — 83, 95, 106, 299.

«Нос» — 106.

Манилов — 90.

Плюшкин — 162.

Чичиков — 90.

Годар, «Au matin» («Утро») — 375.

Голицын Владимир Михайлович (р. 1850 г.) — в 1890-х гг. московский губернатор, позднее московский городской голова — 156.

Голицын — боярин времен Петра I — 103.

Голицын Григорий Сергеевич (1838—1907) — князь, генерал-от-инфантерии. С 1897 по 1904 г. главным-начальствующий гражданской частью на Кавказе — 195, 197—199.

Голицын Дмитрий Борисович — офицер — 55.

Голицына Елизавета Александровна, рожд. Черткова — 37.

Гловин Яков Иванович (р. 1852 г.) — небогатый сосед Толстых, охотник — 172.

Голохвастов Павел Дмитриевич (1838—1892) — исследователь русских былин, писатель, историк, сотрудник журнала «Русский Архив» — 52, 417, 418.

Голохвастова Варвара Аrotchа (р. 1873 (?) г.) — воспитанница П. Д. и О. А. Голохвастовых — 52.

Голохвастова Ольга Андреевна (ум. 1897 г.) — писательница — 52, 417, 418.

Гольденблатт Борис Осипович (1864—193...) — тульский адвокат. Толстой часто направлял к нему крестьян, приходивших за юридической помощью — 269.

Гольденвейзер Александр Борисович (1875—1960) — один из друзей Толстого, пианист, профессор Московской консерватории. Народный артист СССР. Автор мемуаров «Вблизи Толстого (Записки за пятнадцать лет)» — 231—234, 236—238, 251, 252, 258, 349, 352, 353, 374, 375, 384, 408.

Гольдсмит Оливер — автор произведения «Векфильдский священник». В письмах к В. Г. Черткову за 1887 г. Толстой дважды хвалит это произведение — 94.

Гольдсмит (мать и дочь) — 192.

Гомер — 89.

Гондатти Н. Л. — 317.

Гонкуры братья. Эдмонд (1822—96) и Жюль (1830—70) — французские писатели — 94, 308.

Гончаров Иван Александрович (1812—91) — писатель — 192, 193.

«Обыкновенная история» — 193.
Горбачево — узловая станция
Московско-Курской и Рязано-Уральской железных дорог — 240, 249, 250, 252, 259.

Горбунов-Посадов Иван Иванович (1864—1940) — друг и единомышленник Толстого, сотрудник, а с 1897 г. — глава издательства «Посредник» — 236, 251, 258, 334, 361, 408.

Горемыкин Иван Логинович (1839—1917), в 1895—99 гг. был министром внутренних дел; в 1906 г. и в 1914—16 гг. — председателем совета министров. Крайний реакционер — 200.

Горсткіна Софья Михайловна (1842—1891) — сестра А. М. Кузминского — 73.

Горький А. М. (см. Пешков).

Горчаков Николай Иванович (1725—1811) — секунд-майор, первый предводитель дворянства Чернского уезда Тульской губ. Прадед Толстого — 118.

Горчакова Пелагея Николаевна (1762—1838) — бабка Толстого — 118, 122.

Горчаковы — князья — 24.

«Горы Воробьевские» — песня — 378.

Гофман Иосиф Казимир (р. 1876) — польский пианист. В 1896—1913 гг. ежегодно концертировал в России — 374.

Грачевка — деревня — 141.

«Гремит слава трубой» — песня — 378.

Гречанинов Александр Тихонович (1864—1956) — композитор — 356.

Гржимали Иван Войтехович (1844—1915) — русский скрипач и педагог — 374.

Григ Эдвард (1843—1907) — норвежский композитор — 375, 384, 408.

«Люблю тебя» — 375, 384, 408.

«Марш троллей» — 384.

Григорович Дмитрий Васильевич (1822—99) — писатель — 309.

Гриневка — имение Ильи Львовича Толстого Чернского уезда Тульской губ. в ста верстах от Ясной Поляны — 180, 182.

«Гриша» — песня — 276.

Громека Михаил Степанович (1852—1883) — литератор. Автор ряда статей о Толстом — 130.

Грумант — 436.

«Гуляй, гуляшка» — песня — 377.

«Гурон» — пароход — 200, 202.

Гюго Виктор (1802—85) — французский писатель — 94.

«Le dernier jour d'un condamné» — 94.

«Les misérables» — 94, 95.

Давыдов Николай Васильевич (1848—1920) — судебный деятель; с 1878 г. — прокурор окружного суда

в Туле, а затем председатель этого суда. В 1897 г. переехал в Москву. Председатель московского окружного суда. Доцент Московского университета. Воспоминания его о Толстом см. Н. В. Давыдов «Из прошлого», М., 1914 г. — 67.

Дальматские дворы — деревня — 33.

Даль В. И. — автор «Толкового словаря живого великорусского языка» — 101.

Данилевский Григорий Петрович (1829—1890) — писатель, автор исторических романов — 95.

Данково • Смоленская железная дорога — 249.

Данковский уезд — 71, 181, 328.

Даргомыжский Александр Сергеевич (1813—1869) — композитор — 74, 369.

Дарья Павловна — сестра Герасима, слуги С. С. Урусова — 318.

Дворики — станция Рязано-Уральской железной дороги в Тульской губ. — 249.

Дворянский банк — 174.

Дегаев Сергей Петрович — народоволец, состоявший в то же время сотрудником жандармского управления. В 1883 г. убил жандармского полковника Судейкина и бежал за границу — 156.

Деев — купец из Оренбурга. Толстой писал жене из Казани 5 сентября 1876 г.: «Я нашел несколько интересных и даже очень интересных людей, в том числе купца Деева, владельца ста тысяч десятин земли» (т. 83, стр. 228) — 52.

Дельви́г Александр Антонович — отставной гвардии штабс-капитан, младший брат поэта Дельвига — 51, 285.

Дельви́г Антон Антонович (1793—1831) — поэт, друг Пушкина — 51.

Дельви́г Антон Александрович (1861—1919) — племянник поэта Дельвига — 50, 68.

Дельви́г Надежда Александровна (р. 1863 г.) — племянница поэта Дельвига — 51.

Дельви́г Расса Александровна (р. 1859 г.) — племянница поэта Дельвига — 51, 68.

Дельви́г Хиония Александровна (1840—1903) — 51, 68.

Дельви́ги — семья — 51, 67, 68.

Деменка — деревня в пяти верстах от Ясной Поляны — 362.

Денисенко Елена Сергеевна (1863—1942) — племянница Толстого, дочь М. Н. Толстой и Гектора де Клен, воспитывалась за границей. В 1880 г. вернулась в Россию. Давала уроки музыки, преподавала иностранные языки. В 1893 г. вышла замуж за И. В. Денисенко. После революции — сотрудница Музея-усадьбы Ясная Поляна — 169, 249, 283, 286, 406.

Денисенко Иван Васильевич (1851—1916) — председатель гражданского отделения Новочеркасской судебной палаты — 249, 286.

«Держава» — яхта — 199.

Державин Гавриил Романович (1743—1816) — поэт — 96.

Дефо Даниэль (1660—1731) — английский писатель. «Робинзон Крузо» — 95.

Джорж Генри (1839—97) — американский экономист, общественный деятель, основатель теории «единого налога на земельную собственность». Толстой был горячим приверженцем этой теории — 203, 211.

Джорж Генри (сын) — сын американского экономиста, приехал в Ясную Поляну 5 июня 1909 г. — 203.

Диккенс Чарльз (1812—70) — английский писатель — 94, 113, 121.

«Давид Коперфильд» — 95, 121.

Дора — 121.

«Жизнь и приключения Оливера Твиста» — 95.

Боффин — 121.

Дистерверг Фридрих Адольф (1790—1866) — немецкий писатель, последователь Песталоцци — 113.

Добров А. В. — врач Московского университета — 137, 138.

Доде Альфонс (1840—97) — французский писатель — 94, 308.

Долгорука Пипи — 166.

Долгоруков — боярин времен Петра I — 103.

Долгоруков Владимир Андреевич, князь (1810—91). В 1869—1891 гг. московский генерал-губернатор — 133.

«Дом песни» — организован в 1908 г. в Москве певицей М. А. Олениной д'Альгейм вместе с ее мужем, французским литератором П. д'Альгеймом. «Дом песни» устраивал концерты, конкурсы, издавал газету, бюллетень и т. п. с целью пропаганды искусства песни — 354.

Донауров Иван Михайлович (ум. 1849 г.) — композитор — 4.

Донецкий край — 10.

Дора — охотничья собака Толстого — 35, 121.

Дора — см. Хэллийер Дора.

Досев Христо Феодосиевич (1886—1919) — болгарский писатель и общественный деятель, единомышленник Толстого — 231—234.

Достоевская Анна Григорьевна (1846—1918) — с 1867 г. жена Ф. М. Достоевского — 151.

Достоевский Федор Михайлович (1821—81) — 78, 95, 309, 420.

«Записки из мертвого дома» — 95.

«Подросток» — 95.

Дроз Гюстав (1832—95) — французский писатель — 94.

«Дубинушка» — песня — 376, 377.

Дубки — имение С. В. Библикова — 278.

Дупаев Александр Никифорович — 256, 409, 410.

Дюма Александр (1803—70) — французский писатель — 53, 95.

«Три мушкетера» — 53, 418.

Дюссек Йоганн Ладислав (1761—1812) — композитор — 364.

Дьягоченко И. Г. — фотограф в Москве — 62.

Дьяков Дмитрий Алексеевич (1823—91) — помещик Тульской губ. Друг молодости Толстого — 32, 79, 109, 118, 130.

Дьякова Софья Робертовна (1844—80) — гувернантка дочери Д. А. Дьякова, с июля 1877 г. жена его — 32.

Егоров Михаил Филиппович (р. 1862(?) г.) — старший сын кучера Толстых Ф. Е. Егорова, яснополянский крестьянин. В 80-х годах был у Толстых кучером и приказчиком по имению — 21.

Егоров Филипп Родионович (1839—1895) — яснополянский крестьянин, прослуживший у Толстых кучером и приказчиком более 30 лет — 21.

Егорова Евлампия Матвеевна — крестьянка деревни Ясная Поляна, жена Егорова Филиппа Родионовича — 21.

Екатеринослав — 247.

Елизавета Петровна (1709—61) — с 1741 г. российская императрица — 19.

Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854—1933) — писатель — 208—210.

Елчфанский уезд Тульской губ. — 260, 433.

Ергольская Татьяна Александровна (1792—1874) — троюродная сестра отца Толстого. После смерти матери Льва Николаевича посвятила себя воспитанию его детей — 20—22, 27, 35, 43, 45, 115, 280, 364, 416.

Е. Ш. — 224.

Женщина-вдова — см. Оксимова Д. Г.

Жиздринский уезд Калужской губ. — 63.

Жилев Николай Сергеевич (ум. 1937(?) г.) — ученик Танеева, музыкант-теоретик. После революции работал в Государственном музыкальном издательстве, Член Союза советских композиторов — 355.

Завалишин Дмитрий Ирипархович (1804—1892). Толстой считал его воспоминания «самыми важными из записок декабристов» (т. 50, стр. 299) — 62.

Загоскин — «Юрий Милославский» — 95.

Загоскина Вера Владимировна — 161.

Западная Европа — 175, 300, 379.

«Заря» — журнал литературный и политический, издававшийся в Псе-

тербурге В. В. Кашпиревым в 1869—72 гг. Н. Н. Страхов был деятельным участником этого журнал —98.

З а с у л и ч Вера Ивановна (1851—1919) — стреляла в петербургского градоначальника Д. Ф. Трепова. Дело ее разбиралось 1 апреля 1878 г. в петербургском окружном суде под председательством А. Ф. Кони. Засулич была оправдана —174.

З а х а р ь и н Григорий Антонович (1829—95) — врач-терапевт. Лечил Толстого с 1867 г.—48, 54, 161.

З в е н и г о р о д — уездный город Московской губ.—214.

«З д р а в с т в у й , м и л а я , х о р о ш а я м о я» — песня —377.

З е в с — верховное божество древних греков —97.

З е м л я н к и - А л е к с е е в к а — деревня —39, 40.

З е ф и р о т ы — см. Нагорно-ва В. В. и Оболенская Е. В.

З и б а р е в Николай Савельевич — видный деятель духовоборческого движения. Рассказ его о сожжении духоворами оружия, записанный А. К. Чертковой и В. Д. Бонч-Бруевичем, издан отдельной брошюрой в 1899 г. издательством «Свободное слово» в Англии —184, 185, 187, 190, 191, 198.

З л а т о в р а т с к и й Николай Николаевич (1845—1911) — писатель-народник —144.

З о г р а ф П. Ю. —9.

З о л я Эмиль (1840—1902) — французский писатель —94, 308.

«La terre» —94.

З о р и н Михаил Дементьевич (р. 1857 г.) — крестьянин деревни Ясная Поляна. Охотник. В 1928 г. был сторожем яснополянской школы. См. «Кр. нива», 1928, № 37—122.

З ы б и н Кирилл Афанасьевич — полковник, сослуживец Толстого по Дунайской армии в 1854 г. Музыкант-композитор —367.

И в а к и н Иван Михайлович (1855—1910) — учитель сыновей Толстого. Впоследствии служил библиотекарем Румянцевского музея в Москве (ныне Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина) и преподавателем русского языка в Московской третьей гимназии. Его воспоминания о Толстом см. «Литературное наследство», 1961, кн. II—76, 77, 134, 138, 140, 163, 421, 424.

И в а н Г р о з н ы й (1530—1584) — с 1547 г. русский царь —96, 326.

И в а н Д м и т р и е в и ч — см. Кудрин Иван Дмитриевич.

И в а н с в Александр Петрович (1836—1912) — отставной поручик артиллерии. С 80-х годов периодически работал у Толстого переписчиком его произведений —133, 134.

И в ь и н Иван Семенович (псевдоним Кассирол) — умер в 1900 г. Автор многочисленных сказок, повестей и

стихотворений. Бывал у Толстого в Москве в 1889 г.—361.

«Английский Милорд Георг» —361.

«Битва русских с кабардинцами» —361.

«Еруслан Лазаревич» —361.

И г у м н о в Константин Николаевич (1873—1948) — пианист, профессор Московской консерватории —374.

И г у м н о в а Юлия Ивановна (1871—1940) — художница, училась в Школе живописи, ваяния и зодчества вместе с Т. Л. Толстой. С 1900 г. жила у Толстых в качестве секретаря и переписчицы Льва Николаевича. После революции — научный сотрудник заповедника Аскания-Нова —209, 265.

«И л и а д а» —52.

И л ь и н — офицер, участник Севастопольской кампании —111.

И л ь и н — см. Ильинский Д. В.

И л ь и н с к и й — адмирал Бюграфам Толстого неизвестен —112.

И л ь и н с к и й Д. В. — капитан-лейтенант, служивший в 1855 г. под Севастополем —111.

И н а я т Х а н — музыкант —356.

«Скетч» —356.

И о с и ф — иеромонах, настоятель скита Оптиной пустынь —288.

И р г и з Самарской губ —46.

«И с к о р к а» — пьеса —75.

И с л а в и н Владимир Александрович (1818—1895) — крупный чиновник, статский советник. Дядя С. А. Толстой —55, 367.

И с л а в и н Константин Александрович (1827—1903) — дядя С. А. Толстой —32, 35, 43, 130, 337, 367, 369.

И с л а в и н ы —19, 173.

И с л е н ь е в Александр Михайлович (1794—1382) — дед С. А. Толстой —19, 30, 267, 414.

И с п р а в н и к в Данкове — см. Шатилов А. С.

И с т о м и н Владимир Константинович (1817—1914) — в молодости служил в Пресображенском полку, затем работал в редакции Каткова. Руководитель канцелярии Московского губернатора. Реакционер —79, 133, 340.

И с т о м и н а Варвара Александровна, рожд. Бутурлина, жена сына В. К. Истомина —340.

«И с т о р и я м о е г о д е т с т в а» — см. Л. Н. Толстой «Детство».

И т а л и я —51, 113, 370.

К а б л у к о в Иван Алексеевич (1857—1912) — физико-химик —142.

К ч ь к а з —23, 24, 34, 41, 43, 110, 111, 115, 120, 133, 183, 184, 193—197, 272, 231, 379, 413, 414.

«К э к а з» — газета —196, 197.

К а з а к о в а Наталья — крестьянка деревни Ясная Поляна, кормилица С. Л. Толстого —21.

К о з а л ь —271, 280, 364.

К а з ь я н с к а я губерния —47, 377.

К а з ь я н с к и й институт —280,

Казанский университет — 271.
«Как на горке» — песня — 74.
«Как по морю, морю синему» — песня — 377.
«Как под лесом» — песня — 377.
«Как под яблонькой» — песня — 75, 377, 380.
«Как со вечера пороша» — песня — 380.
Калидаса — древнеиндийский поэт IV—V вв. Его драма «Шакунтала» пользуется мировой известностью — 356.

Камеллик — река — 46.
Каменный лес — 217, 218.
Каменская М. Ф. — 424.
Каменные — помещики — 33.
Каморский — 175.
«Канавела» («Кон'авэла») — цыганская песня — 276, 378.

Канада — 12, 183—187, 194—197, 201.
Канзас — штат в США — 58.
Кант Иммануил (1724—1804) — немецкий философ — 100, 356, 369, 386.

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708—44) — писатель, сатирик, философ-просветитель. Автор стихотворных сатир и басен — 96.
Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—66) — 4 апреля 1866 г. совершил неудачное покушение на Александра II и был казнен — 63.

Каралык — селение Николаевского уезда Самарской губ. — 29, 46, 415.

Карамзины — семья — 52, 98.
Карелин — 76.
Кярр Жан Альфонс (1808—90) — французский романист и журналист — 275.

Карск — 141.
Катенин П. А. (1792—1853) — поэт, критик и переводчик — 342.

Катков Михаил Никифорович (1818—87) — публицист-реакционер, редактор «Московских ведомостей» и «Русского вестника» — 98, 295, 304.

Кауфман Федор Федорович (р. 1837) — немец, дядька трех старших сыновей Толстого, прослуживший у Толстых два года (1872—74 гг.) — 35, 37, 38, 41, 43, 44.

Кашевская Екатерина Николаевна — учительница музыки в Ясной Поляне — 163, 390.

Кашкин Николай Дмитриевич (1839—1920) — музыкальный педагог, писатель. Учитель музыки С. Л. Толстого — 9, 128.

Киев — 93, 392, 393, 400.
Киевское шоссе — 92, 423.

Кизеветтер Георг — скрипач петербургских театров, приехавший в 1848 г. из Ганновера. В 1858 г. вышел на пенсию. История его жизни, рассказанная им Толстому, послужила сюжетом рассказа «Альберт» — 367.

Кипр — 184,

Киприда (Афродита) — богиня любви и красоты в греческой мифологии — 97.

Киреева Александра Васильевна, рожд. Алябьева (1812—91) — светская красавица, воспитанная Пушкиным. В ее доме на Никитской в Москве каждую неделю устраивались концерты — 367.

Киреевский Иван Васильевич (1808—56) — публицист, философ-мистик, один из основоположников славянофильства — 312.

Киряковы — Михаил Михайлович и его жена Ольга Александровна (1845—1909), рожд. Псленьев, тетка С. А. Толстой — 173.

Киселев Николай Сергеевич (ум. 1873 г.) — 37.

Кислинские — семья: Наталья Александровна, ее муж А. Н. Кислинский и сын Николай — 67.

Кислинский Андрей Николаевич (1831—1888) — председатель Тульской губернской земской управы — 79.

Кислинский Николай Андреевич (1864—1900) — сын А. Н. Кислинского — 78, 79.

Кларан (Швейцария) — 112.
Клен де Гектор — Виктор (1831 (?) — 1874) — шведский виконт, с 1861 г. гражданский муж М. Н. Толстой — 283, 285, 296.

Климентова — Муромцева Мария Николаевна (1857—1940) — певица Большого театра — 354, 374.

«Ключ» — романс XVIII века. См. статью И. В. Ильинского и С. Л. Толстого «Квартет «Ключ» в романе «Война и мир», Сб. «Звезда», II, М., 1933—74, 368.

Кнерцер Николай Андреевич (р. 1833 г.) — с 1855 г. врач-терапевт в Туле. В 1880-х гг. тульский губернский врачебный инспектор — 48, 49.

Книппер Ольга Леонардовна (1871—1939) — артистка Московского художественного театра. С 1901 г. жена А. П. Чехова — 216.

Козельск — уездный город Калужской губ. В пяти верстах от него находится Оптина пустынь, куда Толстой выезжал после ухода из Ясной Поляны в 1910 г. — 249.

Козлова Засека — станция Московско-Курской железной дороги в трех с половиной верстах от Ясной Поляны. С 1904 по 1918 г. называлась «Засека». В 1918 г. переименована в станцию «Ясная Поляна» — 240, 260, 263, 266.

Колокольцева Мария Дмитриевна (1850—1903) — дочь Д. А. Дьякова. С 1876 г. замужем за П. А. Колокольцевым — 130.

Коломенский уезд — 337.

Коломна — 139, 140.
Колосков Илья — крестьянин села Школьское-Вяземское — 263.

Колосков — староста села Ин-
кольское-Вяземское — 263.

Кои Феликс — 432.

Кои Анатолий Федорович
(1844—1927) — судебный деятель, се-
натор. Познакомился с Л. Н. Тол-
стым в 1887 г. Автор воспоминаний
о Толстом — 173, 174.

Константинович (1858—1915) — великий князь,
внук Николая I, поэт, печатал свои
произведения под инициалами К. Р.—
320.

Контский, вероятно, Антон
Контский (1816—99) — польский пи-
анист и композитор, живший долгое
время в Петербурге — 354.

Копылова Анися Степановна
(1846—1928) — бедная крестьянка де-
ревни Ясная Поляна, оставшаяся
после смерти мужа в 1886 г. с че-
тырьмя малолетними детьми. Тол-
стой в течение ряда лет помогал ей
в полевых работах и постройках —
144, 327.

Короленко В. Г. — 435.

Коренная — станция — 321.

Корнель Пьер (1606—84) —
французский драматург — 112.

Коровьи Хвосты (Кукуев-
ка) — деревня Тульской губ. в 18 вер-
стах от Ясной Поляны — 273.

Корсаков Сергей Сергеевич
(1854—1900) — психиатр — 251.

Костромитинов — 159.

Котошихин Григорий Карпо-
вич (ок. 1630—67), автор сочинения
«О России в царствование Алексея
Михайловича» — 96.

Кочки — село в 3-х верстах
от Ясной Поляны. Здесь, на клад-
бище при церкви, похоронены
С. А. Толстая, М. Л. Толстая,
Т. А. Кузминская и еще многие чле-
ны семьи и близкие Толстых — 178,
268, 269.

Кочетова Зоя Разумникова
(ум. 1892 г.) — певица московских
оперных театров — 82.

Кравчинский Сергей Михай-
лович, литературный псевдоним
Степняк (1851—95) — революцио-
нер-народник, публицист, писатель,
4 августа 1878 г. убит шефа жандар-
мов Мезенцева, после чего скрылся
за границу — 188.

Крамской Иван Николаевич
(1837—87) — художник-передвиж-
ник — 41, 55, 358, 415, 416, 435.

Крапивенский уезд Туль-
ской губ. — 119, 134.

Крейн Давид Сергеевич (1869—
1926) — скрипач, в течение 30 лет
концертмейстер оркестра Большого
театра, профессор Московской кон-
серватории — 189.

Крекино — станция Москов-
ско-Курской железной дороги. В двух
верстах от станции находилось име-
нные тетки В. Г. Чертова — Пашко-
вой, куда приезжал в 1909 г. Тол-
стой — 227.

Крестьянский банк — 10,
172, 174.

Кривцов А. Н. — 277.

Кропоткин Петр Алексеевич
(1842—1921) — ученый, революционер,
теоретик анархизма — 185—189, 191,
«Fields, factories and workshops» —
189.

«La conquête du pain» — 188.

Кросби Эрнест Говард (1856—
1905) — писатель, американец, после-
дователь идей Генри Джорджа, ав-
тор ряда статей и книг о Толстом.
Познакмылся с Толстым в 1894 г.
в Ясной Поляне — 203.

Крыжаповский Николай
Андреевич (1818—88) — во время
Крымской кампании начальник шта-
ба артиллерии. Был затем варшав-
ским, а в 1865—81 гг. оренбургским
генерал-губернатором — 52.

Крылов Иван Андреевич (1769—
1844) — баснописец — 42.

Крым — 92, 204—207, 211, 214, 216,
312, 432.

Крымская война — главный
эпизод Восточной войны 1853—1856 гг.
между Россией и союзными госу-
дарствами: Турцией, Францией, Ан-
глией и Сардинией — 111, 312, 314.

Крюднер (Криднер) баронеса,
Барвара Юлия (1764—1825) —
проповедница мистического учения,
известного под именем иллюминат-
ства. Писательница — 172.

Ксантппа — жена греческого
философа Сократа, обладавшая, по
преданию, скверным характером.
Имя ее стало нарицательным для
обозначения злой и сварливой же-
щины — 230.

Ксенофонт (V—IV в до н.
э.) — греческий историк и писатель.
«Анабазис» его рассказывает о не-
удачной экспедиции Кира-младше-
го — 54.

Кудрин Иван Дмитриевич —
крестьянин деревни Патровка, сек-
тант-молоканин — 40, 44.

Кузминская Вера Александр-
овна (р. 1871 г.) — дочь А. М. и
Т. А. Кузминских — 162, 401, 406, 414.

Кузминская Дарья Алек-
сандровна, Даша (1868—73) — дочь
А. М. и Т. А. Кузминских — 391, 414.

Кузминская Марья Алек-
сандровна (1869—1923 (?)) — дочь
А. М. и Т. А. Кузминских, с 1891 г.
замужем за И. Е. Эрдели — 162, 308,
391, 402, 407, 414.

Кузминская Татьяна Андре-
евна (рожд. Берс) (1846—1925) —
младшая сестра С. А. Толстой.
С 1867 г. замужем за А. М. Кузмин-
ским. Автор воспоминаний: «Моя
жизнь дома и в Ясной Поляне». Пятое издание. Тула, 1973—5, 6, 22,
34, 57, 62, 73, 74, 77, 78, 116, 127, 129,
152, 153, 156, 162, 167, 168, 264, 267,
268, 270, 272, 284, 307, 315, 316, 369,
375, 389, 392, 393, 395, 397, 400, 401,
405, 406, 414, 426,

Кузминские — семья — 27, 34, 38, 51, 56, 66, 70, 74, 98, 137, 162, 163, 170, 172, 173, 297, 391, 414.

Кузминский Александр Михайлович (1843—1917) — двоюродный брат С. А. Толстой. В 1864 г. окончил училище правоведения. В 1867 г. женился на Т. А. Берс. Занимал ряд должностей по судебному ведомству, постепенно повышаясь по служебной лестнице. Сенатор — 22, 34, 69, 79, 161, 162, 168, 171, 175, 176, 272, 316, 378, 401, 402, 414.

Кузминский Василий Александрович — сын А. М. и Т. А. Кузминских — 391, 395.

Кузминский Михаил Александрович (р. 1875 г.) — сын А. М. и Т. А. Кузминских — 171, 378, 391, 395.

Куликов Николай Николаевич (1844—98) — драматург и педагог. В 1881—83 гг. директор тульской гимназии. Автор учебников латинского и греческого языков — 82.

Куприн Александр Иванович (1870—1938) — писатель — 214, 260.

Курбский Андрей Михайлович (1528—83) — князь, политический деятель. Вел полемическую переписку с Иваном Грозным. Автор «Истории о великом князе московском» — 96.

Курдюмов Евгений Дмитриевич — врач — 60.

Курляндская губерния — 427.

Курпосенков Николай Петрович (Рыбин) — крестьянин деревни Ясная Поляна, получивший прозвище «Рыбин» за то, что крал рыбу из вагонов — 100.

Курпосенковы — семья крестьян деревни Ясная Поляна — 100.

Курсинский Александр Антонович (р. 1872 г.) — в 1895 г. был учителем Михаила Львовича Толстого. Позднее занимался литературным трудом. Выпустил две книжки стихов. Сотрудничал в журналах «Весь» и «Золотое руно» — 345, 349.

Курская губерния — 321, 413.

Куртьер-фоц-Сале — аул в Крыму — 312.

Кутас — 34, 38, 414.

Кэрри — англичанка-гувернантка детей Толстых — 127.

Лазарев Егор Егорович (р. 1855 г.) — крестьянин села Грачевка Самарской губ., революционер. Впервые арестован в 1874 г. по делу «193-х». В 1888 г. арестован вторично и выслан в Восточную Сибирь. В 1900 г. бежал в Америку. Жил во Франции и Швейцарии. Вернулся в Россию. В 1919 г. эмигрировал в Прагу, где и умер. Автор воспоминаний о Толстом, вошедших в книгу «Моя жизнь». Прага. 1935 г. — 141, 156, 157, 424.

Лазарев — станция Московско-Курской железной дороги, в

15 верстах от Пирсова и в 35 верстах от Ясной Поляны — 248.

Лазаревский институт — 163.

Лазарь — 56.

Ламанш — 191.

Ландовска Ванда (1877—1959) — польская пианистка, игравшая на клавесине. Была в Ясной Поляне, где играла для Толстого в декабре 1907 г., в январе 1909 г. и в декабре 1909 г. — 375, 379.

Ляптево — станция Московско-Курской железной дороги — 218.

Лассо Орlando (ок. 1562—94) — нидерландский композитор-полифонист, автор светских и церковных песнопений — 380.

Ляфштейн Жан (1621—95) — французский баснописец — 42.

Левцкий (Львов-Львицкий) Сергей Львович (1819—98) — двоюродный брат А. И. Герцена, владелец фотографии в Петербурге — 62.

«Лейк Супериор» — название парохода — 201, 202.

Леман — озеро в Швейцарии — 112.

Лемерр Альфонс (1838—1912) — французский издатель — 191.

Ленин Владимир Ильич (1870—1924) — 12, 13, 262, 266, 436.

«Л. Н. Толстой и современное рабочее движение» — 262, 436.

Ленор — писатель — 407.

«Лен» — песня — 276, 366, 378.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—41) — поэт — 96.

Лесков Николай Семенович (1831—95) — писатель — 144, 435.

Лефорт Франц Яковлевич (1656—99) — швейцарец, приближенный Петра I — 103.

Левядия — имение Николая II на южном берегу Крыма около Ялты — 213.

Лизюновка — имение матери В. Г. Черткова в Воронежской губ. — 359, 361.

Лист Ференц (1811—86) — венгерский композитор, педагог и общественный деятель — 77, 347, 343, 383.

Вальс из «Фауста» — 77.

Лисьи Прияры — деревня — 164.

Литвия Фелля Васильевна — певица, с 1900 г. артистка Марининского театра в Петербурге — 357.

Л. Н. Т. — см. Толстой Л. Н.

Лондон — 113, 186, 188, 189.

Лопатин Лев Михайлович (1855—1920) — профессор философии Московского университета — 276.

Лопатин Николай Михайлович (1845—97) — певец и собиратель народных песен. См. о нем: С. Л. Толстой «В. Прокунин и Н. Лопатин». Сб. этнографической секции Г. И. М. Н., I, 1926 г. — 276, 374, 378.

Лорис — Меликов Михаил Тарниелович (1825—1888) — реакционный государственный деятель — 72.

Луначарский А. В.—429, 436.

Лунин Михаил Сергеевич (1787—1845) — декабрист. Умер на Акатуйском каторжном руднике — 62.

Лутай — «башкирец, лихой кучер» (прим. С. А. Толстой 1919 г.) — 47.

Льбяное озеро в Новгородской губ. — 70.

Льюис Джордж Генри (1817—78) — английский философ и физиолог-позитивист — 58.

Лэйк мисс — англичанка, гувернантка детей Толстых — 156, 163.

Любенков Вл. — 127.

Людовик XIV (1643—1715) — французский король — 90.

Люцерн — 379.

Лясотта Юлий Иванович (р. 1868) — скрипач — 374.

Макаров — крестьянин деревни Ясная Поляна — 35.

Маклец — имение Е. И. Менгден — 75.

Маковицкий Душан Петрович (1866—1922) — словак, единомышленник и преданный друг Толстого. В 1904—10 гг. был домашним врачом Толстого, исполняя в то же время обязанности секретаря. Автор ценнейших «Яснополянских записок», опубликованных только в небольшой части — 220, 236, 240, 245, 249, 250, 257, 258, 265, 268, 379, 385, 386, 407, 409, 432, 436.

Максим Горький. См. Пешков А. М.

Малахов курган — укрепление под Севастополем — 111.

Малахов Тихон — крестьянин села Никольского-Вяземского — 119.

«Маленький Гайдн» — пьеса — 354.

Маликов Александр Капитонович (1839—1904) — в 1866 г. привлечен по делу Каракозова и сослан. В 1875 г. уехал в Америку, где прожил 2 года в коммуне. Вернулся в 1877 г. в Россию, служил на железной дороге — 58, 59, 131, 297.

Маликова Елизавета Александровна, Лиза (р. 1870 г.) — дочь А. К. Маликова — 59, 60.

Мальтус Томас Роберт (1766—1834) — английский экономист. Реакционная его теория гласила, что причиной нищеты масс при капитализме надо считать не капиталистическое устройство общества, а перенаселение и недостаточность природных богатств для снабжения всех людей необходимым — 189.

Мальцев — Сергей Иванович (1809—93) — крупный заводчик — 67.

«Малый Конь» — имение А. А. Бибикова — 63.

Марини, вероятно, Игнацио (1815—73) — итальянский певец-бас.

Пел на оперной сцене в Петербурге — 69.

Мария Александровна (1824—80) — жена Александра II — 112.

Мария Федоровна (1847—1928) — жена Александра III — 199, 358.

Марков Евгений Львович (1835—1903) — писатель. Был учителем гимназии в Туле. Автор статей по педагогике и о творчестве Толстого — 128.

Марковников Владимир Васильевич (1838—1904) — ученый-химик — 9, 142, 156, 425.

Маркс Адольф Федорович (1838—1904) — издатель еженедельного журнала «Нива». Владелец книгоиздательства и типографии — 193.

Маркшиц фон — датский архитектор, дед князя С. С. Урусова — 312.

Марфа — евангельский персонаж. В противоположность сестре своей Марии Марфа — олицетворение преданности земным интересам, забот о житейском в ущерб духовной жизни — 324.

Марчуги — село — 139.

Маслов Федор Иванович (1840—1915) — председатель 1-го департамента Московской судебной палаты — 344.

Маслова Анна Ивановна — 344.

Маслова Варвара Ивановна (ум. 1905) — помещица — 344.

Матренский Дмитрий Александрович — управляющий Рязано-Уральской железной дорогой — 259.

Мацугадзе Дмитрий Георгиевич — 43, 416.

Мезенцев Николай Владимирович (1827—78) — генерал-адъютант. С 1876 г. шеф жандармов и главный начальник III Отделения, 4 августа 1887 г. убит С. М. Кравчинским — 188.

Мекк фон, Надежда Филаретовна (1831—1894) — жена крупного капиталиста-железнодорожника, близкий друг П. И. Чайковского — 372.

Мельников Павел Иванович (лит. псевдоним Андрей Печерский) (1819—83) — писатель — 95.

«В лесах» — 95.

«На горах» — 95.

Менгден Елизавета Ивановна (1821—1902) — жена тульского помещика, уездного предводителя дворянства В. М. Менгдена — 297, 298.

Менгден О. В. См. Фредерикс О. В.

Менделеев Д. И. — 10.

Мендельсон — Бартольд Феликс (1809—47) — немецкий композитор, дирижер, пианист и органист — 44, 347.

Меншиков Александр Данилович (1673—1729) — сподвижник Петра I — 103.

Меркуров Сергей Дмитриевич (1881—1952) — скульптор — 13, 259, 410, 412.

Мерцалов — 269.

«Месяц плывет» — песня — 74.

Мещерское (Отрадное) — имение в 8 верстах от ст. Столбовая Московско-Курской ж. д. Толстой пробыл в Мещерском у В. Г. Черткова с 12 по 23 июня 1910 г.—229.

Микельанджело Буонаротти (1475—1564) — итальянский скульптор — 332.

«Милая» — песня — 74.

Милл Джон Стюарт (1806—73) — английский экономист и философ — 58.

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912) — в 1861—81 гг. военный министр. Автор закона о всеобщей воинской повинности — 317.

Милютин Юрий Николаевич — сын государственного деятеля 60-х годов Н. А. Милютина — 196, 197.

Министерство внутренних дел — 175.

Министерство государственных имуществ — 155.

«Мир божий» — ежемесячный журнал, выходивший в Петербурге с 1892 г. В 1906 г. был закрыт по распоряжению цензуры — 208.

Мицкевич — начальник канцелярии кн. Голицына на Кавказе — 197.

Мичурин Александр Григорьевич — учитель музыки детей Толстого — 9, 49, 51, 53, 78.

«Мне моркотно, молоденьке» — песня — 276, 366.

Моисей — библейский пророк — 328.

Молдон — город в Англии — 185, 186.

Мольер (1622—63) — французский писатель-комедиограф — 112.

Монреаль — 203.

Монтель Жюль. См. Ньеф.

Монтель — жена Жюля Монтеля, приехала в Ясную Поляну в апреле 1878 г.—69.

Монтель Поль (р. 1874 г. (?)) — сын Жюля Монтеля — 69.

Монюшко Станислав (1819—72) — польский композитор — 375, 380.

Моод Луиза Яковлевна — англичанка, переводчица произведений Толстого — 190.

Моод Эйльмер (1858—1938) — англичанин, переводчик произведений Толстого. Автор биографии Толстого на английском языке. Бывал у Толстого и переписывался с ним — 186, 190.

Мопассан Ги де (1850—93) — французский писатель — 94, 299, 308, 329.

«Maison Tellier» — 299.

«Une vie» — 299.

Мордовцев Даниил Лукич

(1830—1905) — автор исторических романов и повестей — 95.

Морозов Н. С. (1864—1925) — профессор Московской консерватории по теории музыки — 353.

Морозов Савва Тимофеевич (1862—1905) — крупный фабрикант, известный меценат — 142.

Морозова Анна Григорьевна, Аннушка (1869—1958) — поступила в 1888 г. к А. К. и В. Г. Чертковым домашней работницей и прожила с ними всю жизнь — 186.

Москва — 9, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 25, 37, 44, 48, 60—62, 69, 71, 72, 75, 76, 79—81, 83, 84, 91, 103, 117, 123, 125—134, 136, 138, 143, 145—147, 150, 155—157, 161, 162, 181, 183, 189, 203, 205—208, 213—216, 219, 222, 227, 229, 237, 240, 241, 247, 248, 251, 255, 259, 265, 271, 276, 277, 283—287, 297, 310, 313, 317, 326, 335—338, 344, 313, 352—354, 358, 362, 365, 367, 373, 378, 408—410, 412, 413, 419, 420, 424, 425, 436.

Московская городская дума — 205, 206, 263.

Московская городская управа — 263.

Московская консерватория — 9, 16, 353, 355, 357, 375.

«Московские ведомости» — ежедневная газета, издававшаяся в Москве в 1756—1918 гг. Руководимая с 1863 по 1887 г. М. Н. Катковым, стала органом крайней реакции — 98, 273, 304, 324, 415.

Московский университет — 9, 334.

Московско-Курская ж. д. — 25, 92, 248, 249, 250, 260.

Московское государство — 421.

Москва. Улицы, переулки, площади, учреждения:

Архангельский собор — 287.

Бутырская тюрьма — 156, 335.

Воробьевы горы — 129.

Гагаринский переулок — 353.

Даниловское кладбище — 343.

Девичье поле — 129.

Денежный переулок между Арбатом и Пречистенкой. Ныне та часть переулка, где жили Толстые (дом № 3), называется Малым Левшинским переуком — 125.

Долгохамовнический переулок, ныне — улица Льва Толстого — 136, 237, 344, 345.

Замоскворечье — 76.

Знаменка — 336, 340.

Исторический музей — 260, 337.

Клиника для душевно- и нервных больных — 136.

Кремль — 69, 76, 266, 340, 437.

Левшинский Малый переулок — 125.

«Максим» — кафешантан — 356.

Мертвый переулочек — 353.

Николоплотниковский переулочек — 137, 276.

Оружейная палата — 69.

Остоженка — 132.

«Петергоф» — меблированные комнаты на углу Воздвиженки, ныне улицы Калинина (прим. С. Л. Толстого) — 287.

Петровские линии — 216.

Плющиха — 336.

Политехнический музей — 356.

Ржанов дом, Ржанова крепость — 136.

Роговича дом в Денежном переулочке, ныне дом № 5 по М. Левшинскому переулочку. С. Н. Толстой с семьей прожил здесь с середины октября 1882 г. до весны 1883 г. — 137, 276.

Румянцевский музей, ныне Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина — 132.

Сельскохозяйственная академия в Петровском-Разумовском, ныне Академия им. Тимирязева — 183.

Сокольничий круг — 356.

Средняя Кисловка — 25.

«Стрельна» — загородный ресторан, славившийся цыганским хором — 276.

Сухаревский рынок — 137.

Тверская улица — 340.

Третья гимназия — 76.

Третьяковская галерея — 41, 327.

Троицкие ворота Кремля — 340.

Хамовнический переулочек. См. Долгохамовнический переулочек.

Хитров рынок — 134.

Чуева булочная — 142.

Штагый, ныне Кропоткинский переулочек — 189.

Москва-река — 138.

Моцарт Вольфганг Амадей (1756—91) — 44, 51, 193, 282, 347, 348, 358, 364, 368—370, 372, 374, 381, 382.

«Волшебная флейта» — 374, 380.

«Дон Жуан» — 368, 372, 380, 381.

«La ci darem la mano» — 381.

«Серильский цирюльник» — 380.

Моча — река в Самарской губернии, левый приток Волги — 63, 64, 141.

«Музыкально-теоретическая библиотека» — 353.

«Музыкант», См. К. А. Зыбин.

Муравьев Николай Константинович (1870—1936) — адвокат и общественный деятель — 235, 429.

Муратов М. В., «Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков» — 358.

Муромцева М. Н. См. Климентова. Муромцева М. Н.

Мусоргский М. П. «Блоха» — 378.

Мухаммедшах Романыч. См. Рахметуллин М. Р.

Мценский уезд Орловской губ. — 301, 321, 323.

Мэвор Джемс — профессор политической экономии в Торонто (Канада) — 185, 187, 203.

Навин Инсус — 56.

Навроцкий Александр Александрович (1839—1914) — писатель, редактор-издатель ежемесячного умеренно-консервативного журнала «Русская речь» — 98.

Нагорлов Ипполит Михайлович — скрипач. Гостил в Ясной Поляне летом 1876 г. — 51, 52, 370.

Нагорнов Николай Михайлович (1845—96) — с 1872 г. муж племянницы Толстого В. В. Толстой. Был служащим акцизного управления казенной палаты. Член Московской городской управы — 51, 285.

Нагорнова Варвара Валерьяновна (1850—1921) — племянница Толстого, дочь М. Н. Толстой — 22, 28, 32, 51, 130, 211, 264, 280, 281, 284, 285, 410.

Нагорнова сахарный завод — 120.

Наполеон I (1769—1821) — в 1804—14 гг. — французский император — 314.

Насакян — 341.

Настасья — прислуга Л. А. Берс — 70.

Неаполь — 113.

Неаполитанский залив — 113.

«Не будите меня, молодцу» — песня — 377.

«Не вечерняя заря» — песня — 276, 366, 378.

«Нешумиты, мать, зеленая дубравушка» — 378.

Нечаев Семен Геннадиевич (1847—82) — революционер-заговорщик — 131, 335.

Ниагара — 203.

Нибелунги — «Песнь о Нибелунгах» — эпическая поэма начала XIII века, являющаяся обработкой старинных германских героических сказаний. Вагнер использовал сказания о Нибелунгах в цикле опер «Кольцо Нибелунгов» — 383.

«Нива» — еженедельный иллюстрированный журнал, издававшийся в 1870—1918 гг. в Петербурге — 193.

Нижний Новгород — 37, 45, 140, 161, 419.

Никандр (Николай Иванович Покровский) (1816—93) — тульский архидиакон — 82.

Никитин Василий — крестьянин деревни Гавриловка Самарской губернии — 40.

Никитин Дмитрий Васильевич (1874—1960) — в 1902—1904 гг. домаш-

ний врач Толстого. Его воспоминания «Последние дни Л. Н. Толстого» см. «Русские ведомости», 6 ноября 1911 г.—214, 247, 248, 251, 257, 258, 268, 337, 432.

Никитское — имение Раевских — 75.

Никиш Артур (1855—1922) — дирижер — 350.

Николай I (1796—1855) — с 1825 г. русский император — 61, 98, 114, 207, 314, 418, 422.

Николай II (1868—1918) — с 1894 по 1917 г. последний царь России — 207, 211, 216, 427.

Николай Михайлович (1859—1918) — великий князь, двоюродный дядя Николая II, историк. Воспоминания о его встречах с Толстым в Крыму см. «Красный Архив», 1927, т. 2 (21) — 206, 207, 211, 213, 427.

Николай Николаевич младший (1856—1929) — великий князь, двоюродный дядя Николая II. О своей встрече на железной дороге с великим князем Николаем Николаевичем Толстой записал в дневнике 13 июля 1881 г.: «На всех станциях и в народе волнение: царек едет, «Ура» кричат» — 84.

Никлаевский уезд Оренбургской губ. — 64.

Никольское-Вяземское — имение Толстых в 100 верстах от Ясной Поляны — 10, 11, 33, 109, 116, 118—120, 125, 150, 179, 180, 182, 183, 201, 217, 219, 237, 248, 249, 263, 281, 408.

Никольское Горюшки (Обольяново) — имение Олсуфьевых в Московской губ. — 154.

Новгородская губерния — 70.

Новяков Михаил Петрович (1871—1939) — крестьянин деревни Боровково Тульской губ. Был близок к Толстому по взглядам — 248.

«Новое время» — ежедневная газета реакционного направления, выходившая с 1868 по 1918 г. в Петербурге. С 1876 г. издателем ее был А. С. Суворин — 173, 178, 179, 191, 273, 427.

Новоселов Александр Григорьевич — директор тульской гимназии. В 80-х гг. директор IV гимназии в Москве — 50, 82.

Новочеркасск — 249.

Нордман Наталья Борисовна, псевдоним **Северова** (1863—1914) — писательница, публицистка, гражданская жена И. Е. Репина — 328.

«Ноченька» — песня — 378.

Ньеф — губернатор старших сыновей Толстого, француз, бывший коммунар, скрывавшийся в России под фамилией Ньеф. Настоящее его имя было Жюль Монтель. У Толстых жил с 1877 по 1879 г. — 60, 61, 63, 65, 66, 69, 70, 72, 76, 297, 302, 418, 419.

«Оболенская с мужем» — вероятно, Елизавета Петровна, жена Д. Д. Оболенского, Имение их Шаховское находилось в 60 верстах от Ясной Поляны — 68.

Оболенская Елизавета Валерьяновна (1852—1935) — племянница Толстого, дочь его сестры. С 1871 г. замужем за Л. Д. Оболенским. Автор воспоминаний: «Моя мать и Лев Николаевич», «Октябрь» 1928, №№ 9, 10—22, 32, 130, 208, 209, 280, 284, 285, 406.

Оболенская Марья Львовна (1871—1906) — вторая из дочерей Толстого. С 1897 г. замужем за Н. Л. Оболенским — 21, 29, 35, 43, 68, 125, 145, 153, 155, 156, 180—183, 204, 208, 209, 228, 253, 269, 332, 333, 345, 361, 375, 376, 393, 401, 402, 406, 426.

Оболенский Дмитрий Дмитриевич, Миташа (р. 1844 г.) — тульский помещик, автор воспоминаний о Толстом: «Отрывки из личных воспоминаний». «Международный Толстовский альманах» 1909 г. — 34, 55, 130.

Оболенский Леонид Дмитриевич (1844—88) — с 1871 г. муж Елизаветы Валерьяновны Толстой. В 80-х гг. казначей Московской городской управы — 285.

Оболенский Николай Леонидович (1872—1934) — внучатый племянник Толстого, сын Елизаветы Валерьяновны Оболенской, с 1897 г. муж М. Л. Толстой — 181, 194, 270, 426.

Обручев Николай Николаевич (1830—1904) — профессор Академии генерального штаба. В 80-х гг. начальник генерального штаба — 313.

Общество любителей российской словесности при Московском университете. Существовало с 1811 по 1930 г. — 311.

«Общество теоретической музыкальной библиотеки» — 355.

Овсянниково — усадьба в 5 верстах от Ясной Поляны, принадлежавшая Т. Л. Толстой — 180, 236, 267.

Огарев Владимир Иванович (р. 1822 г.) — один из сыновей крапивненского помещика Ивана Михайловича Огарева, приятеля Николая Ильича Толстого — 110.

Огарев Николай Платонович (1813—1877) — поэт, публицист, общественный деятель — 113.

«Огонек» — еженедельный журнал 1870-х гг. В нем сотрудничали Майков, Полонский, Фет, Салиас и другие писатели, далекие от демократического направления русской литературы — 98.

Одесса — 185.

«Одиссея» — древнегреческая эпическая поэма 8—7 вв. до нашей эры, приписываемая Гомеру — 52, 61.

Улисс (Одиссей) — 61.
Одоевский князь, Владимир Федорович (1803—1869) — писатель, литературный и музыкальный критик — 367.

Озолин Иван Иванович (ум. в 1913 г.) — начальник станции Астапово Рязано-Уральской ж. д. Его воспоминания о последних днях Толстого напечатаны в № 257 газеты «Русские ведомости» от 7 ноября 1912 г. под заглавием «Последний приют Толстого» — 249, 256, 259, 431.

Ока — 140.

Олеиз — 206.

Оленин Александр Алексеевич (1865—1944) — композитор — 378.

«Чарочка» — песня — 378.

Оленина д'Альгейм Мария Алексеевна (1869 г.) — камерная певица. Пела в Ясной Поляне 25—26 декабря 1903 г. — 213, 375, 378.

Олсуфьев Адам Васильевич (1833—1901) — отставной свитский генерал. 7 марта 1896 г. Толстой писал В. Г. Черткову: «Они такие простые, очень добрые люди, что различные их взглядов с моими, и не различие, а непонимание того, чем я живу, не тревожит меня» — 153, 154, 156.

Олсуфьев Алексей Васильевич (1831—1915) — граф, генерал-от-кавалерии, участник ряда военных кампаний — 111, 112.

Олсуфьев Василий Александрович (1831—1883) — сосед Толстых по Долгохамовническому переулку в Москве — 136, 317.

Олсуфьев Василий Дмитриевич (1769—1858) — граф, с 1840 г. гофмейстер, отец Адама Васильевича Олсуфьева, знакомого Толстых — 112.

Олсуфьев Дмитрий Адамович (р. 1862 г.) — товарищ С. Л. Толстого по университету, был предводителем дворянства Камышинского уезда, в 1906—1907 гг. член Государственного совета по выборам от земства — 10, 174, 182.

Олсуфьев Михаил Адамович (1860—1918) — товарищ С. Л. Толстого по университету — 174, 182.

Олсуфьева Елизавета Адамовна (1857—1898) — подруга Т. Л. Толстой. 8 марта 1898 г. Толстой писал о ней В. Г. Черткову: «Это прелестное было существо веселое, скромное, простое, доброе. Заболела скарлатиной и в четыре дня умерла» (т. 88, стр. 82) — 174, 182.

Олсуфьевы — соседи Толстых по Долгохамовническому переулку в Москве: Василий Александрович и его последняя жена Александра Григорьевна, рожд. Есипова — 317.

Оптина (Введенская-Макарьева) пустынь — мужской монастырь в Козельском уезде Калужской губ., основанный в XIV (?) ве-

ке — 83, 93, 244, 246, 254, 256, 287, 289, 291, 292, 411, 412.

Орел — 112.

Оренбург — 52, 285.

Оренбургская железная дорога — 84, 140.

Орехов Алексей Степанович (ум. 1882 г.) — слуга Л. Н. Толстого, с 60-х гг. приказчик в Ясной Поляне — 23, 24, 68, 81, 111, 117.

Орехова Авдотья Николаевна (ум. 1879 г.) — горничная Толстых, жена Алексея Степановича Орехова — 24, 68.

Орленев Павел Николаевич (ум. 1932 г.) — драматический актер, народный артист — 338.

Орлов Владимир Федорович (1843—1898) — привлекался по делу Нецаева, служил в железнодорожной школе в Москве — 131.

Орлов Иван Иванович — в начале 60-х гг. учитель в Крапивенском уезде. В 1862—1890 гг. управляющий имением Толстого Никольское-Вяземское — 33, 119, 120, 150.

Орлов М. Н. — 10.

Орлов Николай Васильевич (1863—1924) — художник, писавший картины из народной жизни. Альбом его картин «Русские мужики» с предисловием Л. Н. Толстого издан в СПб. в 1909 г. — 218—220.

Орловская губерния — 297, 344.

Остен-Сакен Александра Ильинична, тетка Толстого по отцу — 279.

Остзейский край — 361.

«Отечественные записки» — ежемесячный журнал, издававшийся в Петербурге в 1839—1884 гг. — 98, 126.

Охотницкая Наталья Петровна, компаньонка Т. А. Ергольской — 22, 43, 413, 417.

Павел I (1754—1801) — с 1796 г. российский император — 313, 341, 342.

Павловский мысок или Павловский форт в Севастополе был взорван 28 августа 1855 г. — 111.

Павловский Исаак Яковлевич (псевдоним И. Яковлев) (1853—1924) — народник, участник процесса «193-х», политический эмигрант, писатель — 191, 192.

Палестрина Джованни (1524?—1594) — итальянский композитор — 380.

Пальмерстон Генри Джон Темпл (1784—1865) — реакционный государственный деятель Англии — 113.

Панина Варвара Васильевна (1872—1911) — исполнительница цыганских песен и романсов — 378.

Панина Софья Владимировна (1871 — март 1957) — владелица имения и дома в Гаспре, которые она предоставила Толстому во время его

болезни в 1901—1902 гг. — 205, 206, 211, Париж — 60, 67, 112, 174, 191, 193, 291, 294, 296, 308, 310, 341.

Парижская коммуна 1871 г. — 60.

Парфений — тульский архиепископ — 410, 411.

Парфенов Александр Яковлевич — в 1880-х годах управляющий имением Ясная Поляна — 158.

Пассек Евгений Вячеславович — профессор, юрист. Окончив Московский университет, читал курс римского права в Юрьевском (ныне Тарту) университете — 136.

Пастернак Леонид Иосифович (1862—1945) — художник, написал ряд портретов Толстого и его семьи, иллюстрировал «Воскресение» — 259, 412.

«Толстой на смертном одре» — 412.

Пасхалов Виктор Никандрович (1841—86) — композитор — 74.

Патровка — село в Самарской губ. — 39, 40.

Пашковский Константин Николаевич, священник села Качаки — 21.

Пашенко Юлия Григорьевна — жительница Тифлиса, помогавшая духовборам и подвергавшаяся за это гонению со стороны местной администрации, 13 июля 1898 г. Толстой писал ей: «Очень сожалею, что вас так тревожат и надеюсь, что оставят в покое» (т. 71, стр. 403) — 197, 198.

Пелагея Васильевна (ум. 1910 г.) — няня Танеева, прожившая с ним всю жизнь — 345.

Пензенская губ. — 28, 40.

Передвижная выставка — 326.

Перервинский шлюз — 138.

Перли — 185, 186.

Перов Василий Григорьевич (1832—1882) — художник — 129.

Перфильев Василий Степанович (1826—1890) — приятель молодости Толстого. В 1878—1887 гг. московский губернатор — 130, 156, 157, 367.

Перфильева Прасковья Федоровна (1831—1887) — жена В. С. Перфильева, троюродная сестра Л. Н. Толстого — 130.

Петербург — 10, 57, 61, 62, 67, 70, 72, 98, 103, 117, 151, 172, 175, 210, 271, 293, 334, 361, 365, 367, 426.

Невский проспект — 92, 98, 173.

Петропавловская крепость — 61.

Шлиссельбургская крепость — 133, Эрмитаж — 173.

Петербургский кадетский корпус — 312.

Петербургский университет — 57.

Петергоф — 173.

Петерсон Николай Павлович (1845—1919) — в 1861—1862 гг. учитель деревенской школы близ Ясной Поляны, позднее педагог, библиотекарь, служащий. Его воспоминания о Толстом: «Международный Тол-

стовский альманах», 1909 г. — 132.

Петр Васильевич — см. Бойцов П. В.

Петр — лакей у Толстых в Ясной Поляне — 172.

Петр I (1672—1725) — с 1682 г. русский император — 94, 103, 299.

Петров Александр Дмитриевич (179? — 1867) — знаменитый шахматист — 313.

Петрункевич Анастасия Сергеевна (р. 1850?) — по первому мужу Панина, мать С. В. Паниной — 211.

Петрункевич Иван Ильич (1844—1928) — земский деятель, один из видных участников партии кадетов, член Первой государственной думы С 1920 г. — белоэмигрант — 211.

Пешков Алексей Максимович (Максим Горький) (1868—1936) — 201, 206—208, 213, 328.

Пикард Элиза — англичанка, единомышленница Толстого — 186.

Пирогова Анна Степановна (1837—72) — сожительница А. Н. Бибикова, владельца имения Телятки — 32, 33, 55.

Пирогово — имение Крапивенского уезда Тульской губ. в 35 верстах от Ясной Поляны. Часть Пирогова принадлежала Сергею Николаевичу Толстому, другая часть Марье Николаевне Толстой — 156, 271—275, 277—279, 282—284.

Писарев Дмитрий Иванович (1840—68) — критик — 58, 126.

Писарев Рафаил Алексеевич (1850—1905) — тульский помещик, земский деятель. В 1891—1892 гг. работал вместе с Толстым на голоде — 358.

Писемский А. Ф. «Массоны» — 98.

Платон (427—347 до н. э.) — древнегреческий философ, ученик Сократа, один из основателей объективно-идеалистического направления в философии — 366.

«Республика» — 366.

Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) — в 1884—1894 гг. товарищ министра внутренних дел, в 1902—1904 гг. министр внутренних дел. Крайний реакционер. Убит Сазоновым — 338.

Плевненский бой в 1877 г. — 56.

«По улице мостовой» — песня — 380.

Победоносцев Константин Павлович (1827—1906) — с 1880 по 1905 гг. обер-прокурор Синода — 81, 151, 153, 179, 420.

«Подуй, непогодушка» — песня — 378.

«Псд яблонькой одной». См. «Как под яблонькой одной».

Поздняков Василий, духовбор — 193, 194.

Покровский М. Н. — 429.

Покровское. Глебово.

Стрешнево — дачное место под Москвой — 20.

Покровское — имение М. Н. Толстой Чернского уезда Тульской губ. в 80 верстах от Ясной Поляны — 51, 118, 280, 281, 285.

Поленов Василий Дмитриевич (1844—1927) — художник — 337.

Поливанов Лев Иванович (1838—1899) — педагог, директор частной мужской гимназии в Москве — 128, 237.

Полонский Яков Петрович (1820—1898) — поэт — 304, 306.

Полтавский полк — 312.

Поль Владимир Иванович (р. 1875 г.) — художник, пианист, композитор и музыкальный критик. Его воспоминания о Толстом см. «Новый мир», 1963, № 12—356, 410, 412.

Померанцев Юрий Николаевич, Юша (1878—1933) — ученик Танеева. Впоследствии композитор и дирижер — 345.

Помпея — 113.

Помяловский Николай Герасимович (1835—63) — писатель — 126.

Попова Авдотья Васильевна — много лет служила в Ясной Поляне горничной, а затем экономкой — 267.

Порпора Николо (1687—1766) — итальянец, профессор пения и композитор, автор многих опер — 354, 355.

Посошков Иван Тихонович (ок. 1652—1726) — подмосковный крестьянин, писатель-экономист, автор «Книги о скудости и богатстве» — 96.

«Посредник» — книгоиздательство, созданное в 1884 г. В. Г. Чертковым с целью распространения в народе художественной и научно-популярной литературы по доступной цене. В 1893 г. руководство «Посредником» перешло к И. И. Горбунову-Посадову. Толстой принимал горячее участие в работе «Посредника» и написал для него ряд произведений. Издательство существовало до 1935 г. — 144, 235, 325, 327, 361, 435.

Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929) — писатель-беллетрист — 192.

Поти — порт на Черном море — 34.

Прага — начальник казачьей сотни на Кавказе — 120.

Праут Э., «Музыкальная форма» — 353.

Присецкая Вера Николаевна (Софья Львовна Дорфман) (р. 1859 г.) революционерка-народница. 11 октября 1884 г. обвенчалась в Киевской тюрьме с содержащимся там И. Н. Присецим. В том же году получила разрешение заарестоваться в Бутырской тюрьме (Москва), где сидел ее муж, и следовать за ним к месту ссылки. В июле 1885 г. по-

селась с ним под Иркутском, затем в Иркутске и Минусинске, занимаясь медицинской практикой. В 1888 г. вернулась в Полтавскую губ., куда в 1889 г. приехал и ее муж. В 1933 г. жила в Москве, получая персональную пенсию — 157.

Присецкий Иван Николаевич — революционер-народник. Вернувшись в 1883 г. из эмиграции нелегально в Россию, был арестован и приговорен к ссылке в Восточную Сибирь. Освобожден в 1889 г. — 157.

Прокунин В. — 9, 276.

«Просвещение» — издательство в Петербурге — 233.

Прстасово (хутор) — см. Александровка.

Прохор — плотник из деревни Ясная Поляна — 171.

Прудон «De la justice dans la Révolution et dans l'Eglise» — 61, 113.

Прянишников в Илларион Михайлович (1840—1894) — художник-передвижник — 144.

Пушкин Александр Сергеевич — 16, 83, 95—98, 169, 170, 299, 304, 320, 338, 342, 369, 422.

«Анджело» — 97.

«Анчар» — 96.

«Бахчисарайский фонтан» — 97.

«Братья-разбойники» — 96.

«Буря мглою небо кроет» — 96.

«Вновь я посетил» — 96.

«Гости съезжались на дачу!» — 36

«Граф Нулин» — 97.

Граф Нулин — 97.

Наталья Павловна — 97.

«Домик в Коломне» — 97.

«Евгений Онегин» — 97, 299, 349.

Евгений Онегин — 169.

Татьяна Ларина — 170.

Ленский — 96, 299.

Трике — 349.

«Кавказский пленник» — 97.

«Когда для смертного умолкнет шумный день» — 97.

«Над Невою резво вьются...» — 298.

«Осень» — 96.

«Пиковая дама» — 96.

«Повести Белкина» — 36, 96.

«Полтава» — 97.

«Туча» — 96.

«Тазит» — 96.

«Цыгане» — 97.

«Я помню чудное мгновенье» — 369.

Пушкин Василий Львович (1770—1830) — поэт, дядя А. С. Пушкина — 342.

Пыркин Яков — 181.

Раевский Иван Иванович (1833—1891) — «Помещик Данковско-го и Епифанского уездов Тульской губ. Был приятелем моего отца. По его инициативе были устроены столовые для нуждающихся. Он умер от сыпного тифа во время пребывания моего отца у него в Бегицке» (Прим. С. Л. Толстого) — 182.

«Размолодчик» — песня — 378.

Рамо Жан Филипп (1683—1764) — французский композитор и теоретик музыки — 381.

Расин — 112.

Растегаев Пантелеймон Иванович — врач-психиатр — 247, 248, 250, 252, 254—256.

Рафаэль Санти (1483—1520) — 89, 332, 347.

Рахманинов Сергей Васильевич (1873—1943) — композитор и пианист — 358, 378.

«Судьба» — 378.

Рахметуллин Мухаммед (Мухаммедшах Романыч) — башкирский крестьянин из деревни Муратшиной Имелевской волости Самарской губ. — 38, 39, 45, 48, 63, 141.

Рачинский Константин Александрович (1833—1902) — деятель в области народного образования — 183.

Рачинская М. К. — см. Толстая М. К.

Ре Жюль (р. 1848 (?)) — швейцарец, с 1875 по 1878 г. гувернер трех старших сыновей Толстого — 45, 50, 52, 57, 60, 418.

Ре — сестра Жюля Ре — 52.

Редсток Гренвиль Вальдигрев (1831—1913) — лорд, английский проповедник-евангелист, популярный среди петербургского высшего общества. Приезжал в Петербург в 1873 и в 1876 г. — 359.

Резунов Семен Сергеевич (р. 1847 г.) — плотник, крестьянин деревни Ясная Поляна — 161.

Рейс Эдуард (1844—1891) — протестантский богослов, профессор — 340.

Ренан Жозеф Эрнест (1823—92) — французский историк, филолог и философ, автор «Истории происхождения христианства» — 340.

Репин Илья Ефимович (1844—1930) — 144, 326—331, 415, 435.

«Арест пропагандиста» — 328, 329.

«Бурлаки на Волге» — 329.

«Дуэль» — 329.

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану» — 329.

«Иван Грозный и сын его Иван» — 328.

«Искушение» — 329.

«Какой простор» — 329.

«Крестный ход в дубовом лесу» — 329.

«На исповеди» — 328, 329.

«Не ждали» — 326, 328.

«Проводы новобранца» — 329.

«Святой Николай» — 329.

«Софья Андреевна с младшими детьми Сашей и Ванечкой» — 327.

«Толстой в лесу» — 327.

«Толстой в саду» — 327.

«Толстой за работой» — 327.

«Толстой на голоде» — 328.

«Толстой на пашне» — 327.

Ржевск — хутор Чертковых в Воронежской губ. — 361.

Рибовский — управляющий Самарским именцем — 175.

Риг — певица — 381.

Рига — 185.

Рим. Римская империя — 113, 434.

Родионова Е. М. — см. Егорова Е. М.

Рождественский Владимир Иванович — учитель детей Толстых — 53, 57.

Россет-Смирнова Александра Осиповна (1809—1888) — знаковая Пушкина — 98.

Российское музыкальное издательство — 354.

Россия — 12, 16, 18, 26, 51, 60, 71, 92, 114, 133, 134, 173, 175, 183—185, 187—189, 191—193, 200, 202, 206, 214, 262, 283—285, 297, 300, 301, 307, 309, 313, 330, 332, 361, 368, 370, 393, 422, 427, 428, 435, 436.

Ростовна-Дону — 249.

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829—1894) — пианист и композитор — 173, 287, 354, 367, 374, 384.

«Vaïse sarçise» — 384.

Рубинштейн Николай Григорьевич (1835—1881) — пианист — 77, 367, 370, 371.

Рубинштейн Яков Антонович — сын А. Г. Рубинштейна — 173.

Руднев Александр Матвеевич (р. 1842 г.) — главный врач Тульской губернской больницы — 161.

Рудольф — музыкант — 365, 369.

«Кавалерийская рысь» — 365, 369.

«Nexengalopp» — 365.

Румыния — 184.

Румянцев Николай Михайлович (1802—1894) — повар в яснополяском доме — 24, 127.

Румянцев Семен Николаевич (1866—1932) — повар Толстых, прослуживший у них 25 лет. Его воспоминания о Толстом см. в «Толстовском ежегоднике», 1912 г. — 24, 25.

Румянцев Мария Васильевна — горничная Толстых, жена повара С. Н. Румянцева — 269.

«Русская мысль» — ежесыщный литературно-политический журнал либерального направления, издававшийся в Москве в 1880—1918 гг. — 98, 131, 144, 310.

«Русские ведомости» — 255, 343, 427.

«Русский вестник» — журнал, основанный М. Н. Катковым в 1856 г. С 1862—1863 гг. становится органом реакции — 52, 98, 324, 414.

«Русское богатство» — ежесыщный журнал либерально-народнического направления, издававшийся в 1876—1918 гг. в Петербурге — 144.

Рыбин — см. Николай Курносенков.

Рязск — уездный город Рязанской губ. — 84.

Рязань — 140.

Рязанская губ. — 40.

Рязано-Уральская ж. д.—
259.

Сабуров Андрей Александрович (р. 1838 г.)—в 1880—1881 гг. управлял Министерством народного просвещения. В 1899 г.—член Государственного совета—79, 420.

«Сад, ты мой сад»—377.

Сакия-Мунн—143.

Салаев Федор Иванович (1820—1879)—московский книгопродавец и издатель, один из основателей издательской фирмы «Братья Салаевы»—73, 125, 150.

Салиас де Турнемир Евгений Андреевич (1841—1908)—писатель. Автор исторических романов—95.

Саломон Шарль (1863—1939)—преподаватель русского языка в Париже, автор статей о Толстом и переводчик его произведений—191, 291.

Салтыков-Щедрин М. Е. (1826—1889)—98, 144.

«За рубежом»—98.

«Разговор мальчика в штанах и мальчика без штанов»—98.

«Помпадуры и помпадуриши»—98.
Самара—37, 38, 45, 62, 63, 138, 140, 142, 157, 159.

Самарин Петр Федорович (1830—1901)—помещик, старший знакомый Толстого—55.

Самарин Федор Дмитриевич—170.

Самарская губ.—29, 37, 41, 311, 377, 379, 415.

Самарский хутор—38.

«Самолет»—пароходное общество на Волге—37.

Сандрильона (Золушка)—героиня народных сказок, трудолюбивая скромная девушка, не любившая мачехой, которая предпочитает ей родных дочерей—43.

Сахалин—175.

«Светит месяц»—377, 379.

Свечин—вероятно, Иван Николаевич Свечин, ставший в 1903 г. тифлисским губернатором—199.

Свистунов Петр Николаевич (1803—1889)—декабрист—62.

Свифт Д. «Путешествие Гулливера»—95.

Гулливер—66.

«Свободное слово»—педагогическое обозрение, выходившее в Англии под редакцией В. Г. Чертова в 1901—1905 гг.—194, 361, 435.

Святелый синод—высший правительственный орган по управлению церковью в царской России—178, 256, 410.

Севастополь—52, 111, 112, 214, 367, 377.

Севастопольская бухта—111.

Северцова Вера Петровна (1870—1900)—двоюродная племянница С. А. Толстой. В 1898 г. вышла

замуж за Д. В. Истомина—163.

Сейрон Альсид (1869—1891)—сын губернантки Толстых—161, 163.

Селище—имение Карачевского уезда Орловской губ., принадлежавшее А. И., В. И. и Ф. И. Масловым—344, 345.

Селькирк—203.

Семен—дворник—105, 106.

Семеновский Александр Петрович (ум. в 1919 г.)—старший врач Данковской земской больницы. Его воспоминания о Толстом см. в сборнике «Толстой и о Толстом». Вып. I, М., 1924—250, 432.

«Сени, мои сени»—74, 377, 380.

Сервантес Мигель—«Дон Кихот»—95.

Сергеенко Алексей Петрович (1886—1961)—в 1910 г. секретарь В. Г. Чертова—244, 249, 252, 256.

Сергеенко Петр Алексеевич (1854—1930)—писатель, познакомился с Толстым в 1892 г. Автор многих статей и книг о Толстом, в том числе книги «Как живет и работает Л. Н. Толстой», М., 1898—312, 418.

Сергей Александрович (1857—1905)—великий князь, в 1891—1905 гг. московский генерал-губернатор. 4 февраля 1905 г. убит И. Каляевым—338—340, 420.

Сергиевское—в 60-х гг. большое село в 42 верстах к югу от Ясной Поляны. Ныне город Плавск—274.

Сергий—монах, один из основателей Валаамского монастыря в XIV веке—21.

Серпухов—25, 285.

Сибирь—62, 133, 156, 175, 337, 342, 418, 419, 424.

Сисор Борис Осипович (р. 1880)—скрипач, профессор Московской консерватории, неоднократно приезжавший в Ясную Поляну играть для Толстого—375.

Сивицкий Иван Моисеевич—земский врач в Кочетах—209.

Сидоренко Епифаний—263.

Сидорков Илья Васильевич (1858—1940)—с 1893 г. слуга в яснополяском доме. В 1930-х гг. был хранителем комнат Толстого в музее-усадебке Ясная Поляна—261, 264, 267.

Сидоркова Вера Ильинична (р. 1891)—дочь И. В. Сидоркова—267.

Силина—знакомая А. С. Бутурлина—342.

Симбирск—335.

Симеон—евангельский персонаж—341.

Снягин Дмитрий Сергеевич (1853—1902)—с 1889 г. министр внутренних дел, шеф жандармов. Крайний реакционер.—338.

Скиталец (псевдоним Степана Гавриловича Петрова (1868—1941))—писатель и поэт—208.

«Сквозь строй» — 208.
Скляри́на Марья Александровна — 336.

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—82) — генерал русской армии, получивший широкую известность во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. — 84.

Скоробогатова Елена Павловна — в 1910 г. студентка 5-го курса медицинского факультета, фельдшерница — 248, 250, 252, 255.

Скотт Вальтер (1771—1832) — английский писатель — 95.

Скра Кутанской губ. — 198.

Скрябин Александр Николаевич (1871—1915) — композитор — 354, 374.

Прелюдия в D-dur — 354.

«Прометей» — 354.

Скуратово — станция — 51.

«Слышишь — разумеешь» — песня — 276, 366.

Совет Народных Комиссаров — 265, 266, 437.

«Современник» — ежемесячный литературный и общественно-политический журнал, выходивший в 1836—1866 гг. — 281.

Соден — 283.

Соколов Федор — дирижер цыганского хора — 276.

Сократ — греческий философ-идеалист — 230.

«Соловей с кукушкой» — песня — 377.

Соловецкий монастырь (Соловки) — 93.

Соловьев А. К. — совершил 2 апреля 1879 г. покушение на Александра II — 69.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — философ-идеалист, поэт, критик — 74, 79, 420.

«Кризис западной философии» — 74.

«Критика отвлеченных начал» — 74.

«Три разговора» — 74.

Соловьев Всеволод Сергеевич (1849—1903) — писатель — 95.

«Сосенушка» — 276.

«Союз русского народа» — монархическая черносотенная организация, созданная в 1905 г. царским правительством для расправы с революционерами — 217, 218.

Спасское-Дмитриевское уезда Московской губ. — имение С. С. Урусова — 316—318.

Спасское-Лутовиново — имение И. С. Тургенева — 84, 118, 281, 282, 302, 306, 417.

Средняя Азия — 52.

«Старая няня моего отца» — см. Татьяна Филипповна.

Старый Иерусалим — 93.

Стасов Владимир Васильевич (1824—1906) — искусствовед, критик, библиотекарь Петербургской Публичной библиотеки — 331, 346, 347.

Статковский — 432.

Стахович Александр Александрович (1830—1913) — крупный орловский помещик, коннозаводчик, старый знакомый Толстого — 151, 330.

Стахович Михаил Александрович (1861—1923) — друг семьи Толстых. Общественный деятель, один из основателей Музея Л. Н. Толстого в Петербурге. Умер во Франции — 219.

Степановка — хутор А. А. Фета Мценского уезда Орловской губ. — 321.

«Степь Моздокская» — песня — 378.

Стечкина Любовь Яковлевна (1851—1900) — писательница. Летом 1878 г. жила под Тулой — 299.

Столетов Александр Григорьевич (1839—96) — физик — 137, 142.

Столыпин Александр Аркадьевич (р. 1863 г.) — реакционный журналист, с 1904 г. постоянный сотрудник «Нового времени» — 173, 175, 182.

Столыпин Аркадий Дмитриевич (1821—99) — приятель Толстого по обороне Севастополя. Офицер, впоследствии генерал — 112, 173, 367.

Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911) — министр внутренних дел, затем председатель Совета министров. Крайний реакционер. Убит Богровым — 173.

Страхов Николай Николаевич (1828—96) — литературный критик и философ. Познакомившись с Толстым в 1871 г., стал ему близким человеком. «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым» издана в 1914 г. — 51, 56, 57, 63, 65—68, 70, 72, 74, 79, 100, 137, 172, 173, 183, 227, 307, 312, 325, 346, 383, 415, 418, 420.

Страхов Федор Алексеевич (1861—1923) — философ-идеалист, единомышленник Толстого. Редактор неизданного «Свода мыслей Толстого» — 228.

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — реакционный публицист, журналист, издатель газеты «Новое время» — 178, 179.

Суворов Василий Васильевич (1825—1912) — крестьянин деревни Ясная Поляна, бывший дворовый Толстых — 24, 25.

Суворов Иван Васильевич, Ванюша (ум. 1900 г.) — слуга Л. Н. Толстого — 24, 413.

Суворова Пелагея Николаевна — прачка в доме Толстых — 24, 25.

Суллержицкий Леопольд Антонович (1870—1916) — учился в Училище живописи, ваяния и зодчества с Т. Л. Толстой и через нее познакомился с Толстым. Позднее режиссер Московского Художественного театра — 185, 195—200, 203, 262.

Сумароков Александр Петрович (1717—1777) — писатель — 96.

Сумароков Константин Владимирович — помещик — 217—219, 403.

Сухоф Тананык — 38, 63.
Сухотин Михаил Сергеевич (1850—1914) — с 1899 г. муж Т. Л. Толстой — 182, 427.
Сухотина Татьяна Львовна (1864—1950) — старшая дочь Толстого. С 1899 г. жена М. С. Сухотина — 4, 13, 16, 21, 24, 29, 32, 35, 43, 44, 49, 52—54, 66, 68, 69, 75, 77, 79, 80, 82, 86, 125, 126, 128—130, 144, 145, 147—149, 153—156, 162, 169, 174, 180, 182, 204, 208—210, 220, 229, 230, 235, 236, 239, 241—244, 249, 250, 252, 253, 256, 258, 259, 267, 268, 270, 291, 292, 297, 304, 327, 328, 331, 333, 344, 349, 350, 361, 375, 378, 389, 391, 401, 402, 405—406, 409, 426, 430, 431, 433.
Сушкины — богатые тульские купцы — 80.
Сызрань — 278.
Сызрано-Вяземская железная дорога — 84.
Сытин Иван Дмитриевич (1851—1934) — крупный книгоиздатель. Печата л издания «Посредника» — 235, 361.
Сютаев Василий Кириллович (1819—1892) — крестьянин Тверской губ., сектант. Толстой познакомился с ним в 1881 г. Был в Ясной Поляне в июне 1888 г. — 132, 133.
Табор Эмили — англичанка, поступившая к Толстым гувернанткой в 1873 г. — 35, 43, 416.
Таганрог — 422.
Тамбовская губ. — 40.
Танеев Сергей Иванович (1856—1915) — музыкант, композитор и теоретик — 343—358, 365, 374, 375, 384.
Вариации на песню Трике — 349.
«Венеция ночью» — 349.
«Орестея» — 347.
«Подвижной контрапункт строгого письма» — исследование по истории музыки — 345.
Тарас Фоканыч — см. Фоканов Тарас Карпович.
Тарсей (Tarsey) Ханна Егоровна (р. ок. 1845 г.) — англичанка. С 1866 г. по 1872 г. бонна детей Толстого. В 1874 г. вышла замуж за князя Д. Г. Мачугадзе — 22, 23, 27, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 41, 43, 59, 415, 416.
Татищев Дмитрий — 50.
Татьяна Филипповна (ум. в 1863 г.) — горничная матери Толстого, помощница няни Толстого Аннушки. Толстой в 1903—1906 гг. писал в «Воспоминаниях»: «Няню Татьяну Филипповну я помню, п. ч. она была потом няней моих племянниц и моего старшего сына. Это было одно из тех трогательных существ из народа, которые так сживаются с семьями своих питомцев, что все свои интересы переносят в них» — 21.
Тверская губ. — 51, 129, 158.
Тейлор — капитан — 201.
Теккерей Вильям Мейкпис

(1811—1863) — английский писатель — 94.

Телятенки — именно в 3-х верстах от Ясной Поляны, принадлежавшее А. Н. Вибикову. Позднее куплено для А. Л. Толстой. В 1907 г. она продала часть Телятеюк В. Г. Черткову — 32, 236, 237, 263, 436.

Терская Екатерина Федоровна — 259, 264, 265.

Тиблен О. Н. — учительница детей Кузминских — 163.

Тимирязев К. А. — 9.

Тимофей Фоканыч — см. Фоканов Т. М.

Тимрот Егор Александрович (ум. 1908 г.) — самарский адвокат. Именно его находилось вблизи самарского хутора Толстого, где он присматривал за хозяйством — 46.

Тифлис — 196—198.

Тифлисская губ. — 190.

Тихон Задонский (Тимофей Савельич Кириллов, 1724—1783) — церковный писатель и проповедник. С 1767 г. жил в Задонском монастыре — 93.

Тобольск — 335.

Товия — в 1910 г. архимандрит и наместник Троице-Сергиевской лавры — 316.

Толстая Александра Андреевна (1817—1904) — двоюродная тетка Толстого — 8, 28, 49, 61, 312, 413, 415, 416, 419.

Толстая Александра Львовна (р. 1884 г.) — младшая дочь Л. Н. Толстого — 147, 162, 204, 205, 208, 209, 214, 220—222, 229, 233, 235, 236, 239—242, 244, 247, 249, 250, 252, 253, 256, 258, 260, 252, 263, 265, 267, 268, 270, 288, 289, 291, 292, 332, 345, 395, 407, 408, 430, 433.

Толстая Варвара Валерьяновна — см. Нагорнова В. В.

Толстая Варвара Львовна (род. и ум. 1 ноября 1875 г.) — третья дочь Л. Н. Толстого — 49.

Толстая Варвара Сергеевна (1871—1920) — дочь С. Н. Толстого — 22, 273, 275, 276, 278.

Толстая Вера Сергеевна (1865—1923) — дочь С. Н. Толстого — 273, 275, 277, 278.

Толстая Е. В., рожд. Тизенгаузен — жена Г. С. Толстого — 275.

Толстая Екатерина Васильевна (1876—1960) — вторая жена Андрея Львовича Толстого — 269.

Толстая Елена Сергеевна — см. Денисенко Е. С.

Толстая Елизавета Александровна (рожд. Ергольская) — 280, 282.

Толстая Мария Константиновна (рожд. Рачинская) (1865—1900) — жена С. Л. Толстого — 11, 183.

Толстая Мария Львовна — см. Оболенская М. Л.

Толстая Мария Михайловна, рожд. Шинкина, — с 1867 г. жена С. Н. Толстого — 272, 273, 276, 278, 279.

Толстая Мария Николаевна

(1790—1830) — мать Л. Н. Толстого — 364, 422.

Толстая Марья Николаевна (1830—1912) — единственная сестра Толстого — 21, 27, 28, 32, 51, 75, 118, 130, 271, 279—292, 315, 364, 369, 414.

Толстая Марья Николаевна (1867—1939), рожд. гр. Зубова, — вторая жена С. Л. Толстого, — 12, 17, 246, 248, 255, 265.

Толстая Марья Сергеевна — см. Бибикова М. С.

Толстая Надежда Федоровна (1859—1935) — с 1878 г. жена Николая Валериановича Толстого — 285.

Толстая Пелагея Николаевна, рожд. Горчакова (1762—1838) — бабка Толстого по отцу — 122.

Толстая Софья Андреевна (1844—1919) — жена Л. Н. Толстого — 6, 10, 13—15, 19, 20, 28, 48, 78, 116, 155, 167, 223, 226—228, 231—234, 236—238, 245, 246, 254, 256, 269, 270, 283, 289, 290, 292, 328, 331, 337, 347, 350—352, 388, 391—393, 395, 396, 398, 405, 406, 414, 415, 417, 420, 425, 427, 430, 433, 434.

«Моя жизнь» — 236.

Толстая Софья Андреевна (ум. в 1895 г.) — по первому мужу Миллер, с 1857 г. жена поэта А. К. Толстого — 300.

Толстая Софья Николаевна (р. 1867 г.), рожд. Философова, — с 1888 г. жена И. Л. Толстого — 179, 182, 290, 426.

Толстая Татьяна Львовна — см. Сухотина Т. Л.

«Толстовский ежегодник» — 1912 г. — 266, 356.

Толстой Алексей Константинович (1817—1875) — поэт, драматург и романист — 16, 300.

«Князь Серебряный» — 95.

«Средь шумного бала» — 300.

Толстой Алексей Львович (1881—1886) — восьмой сын Л. Н. Толстого — 129, 130, 146, 162.

Толстой Андрей Львович (1877—1916) — шестой сын Л. Н. Толстого. Помещик. Участник русско-японской войны 1904 г. Чиновник особых поручений при Тульском губернаторе — 60, 62, 125, 127, 162, 209, 225, 233, 241—244, 250, 251, 259, 265, 408, 410—412, 431.

Толстой Валериян Петрович (1813—1865) — муж Марии Николаевны Толстой — 118, 280, 281, 282—284.

Толстой Григорий Сергеевич (1853—1928) — сын С. И. Толстого — 275, 279.

Толстой Дмитрий Николаевич — брат Л. Н. Толстого — 55, 274, 413.

Толстой Иван Львович, Ванечка (1888—1895) — младший и последний сын Л. Н. Толстого — 180, 204, 225, 349, 427.

Толстой Илья Андреевич — дед Толстого — 118, 119.

Толстой Илья Львович (1866—

1933) — второй сын Л. Н. Толстого. Помещик. Служил в Калужском земстве. В 1914 г. уехал в Америку, где занимался чтением лекций об отце, там же и умер — 21, 22, 24, 29, 34, 35, 38, 43, 45, 48, 49, 53, 54, 60, 63, 66, 68, 70, 77, 80, 83, 86, 125, 128, 153, 155, 161—164, 167, 170, 178—182, 209, 225, 235, 239, 242, 243, 250, 259, 265, 297, 304, 303, 335, 388, 389, 393, 401, 406, 415, 416, 419—421, 426, 431.

Толстой Лев Львович (1869—1945) — третий сын Л. Н. Толстого. Писатель, сотрудник газеты «Новое время». Умер в Швеции — 21, 34, 38, 43, 45, 53, 63, 66, 125, 128, 153, 161—163, 178—180, 209, 210, 225, 233, 241, 267, 290, 315, 405, 406, 419.

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — 3—6, 8—18, 24, 27, 28, 44, 48, 53, 62, 68, 71—73, 76—79, 81, 95, 96, 98, 100, 109, 111, 115, 116, 120, 127—129, 131, 133, 135, 141, 144—146, 150—154, 159, 164—166, 171, 172, 178, 179, 181, 185, 192, 193, 195, 196, 201, 203, 204, 206, 208, 209, 211—216, 220, 223—226, 228—237, 241, 242, 245—248, 250, 253, 254, 258—263, 265, 268, 271, 272, 279, 281—286, 288—297, 302—306, 309—312, 319, 320, 322, 323, 325, 327—334, 337—339, 342—344, 346—349, 351, 352, 356, 358—361, 363—392, 395, 396, 400, 405, 406, 410—437.

«Азбука» — 31, 42, 44, 94, 95, 101, 227, 416, 417.

«Альберт» — 367.

«Анна Каренина» — 15, 36, 41, 42, 44, 50, 55, 88, 102, 103, 131, 416.

Каренина А. А. — 33, 55, 88.

Каренин А. А. — 42, 43, 55.

Кознышев — 55.

Левин Константин — 55.

Левин Николай — 55.

Михайлов — 41, 55.

Облонская Долли — 55.

Облонские — 36.

Песцов — 55, 131.

Щербацкая Кити — 55.

Щербацкая княгиня — 55.

«Власть тьмы» — 144, 327, 329.

Никита — 330.

«Военные рассказы» — 366.

«Война и мир» — 3, 27, 61, 74, 89, 90, 132, 295, 304, 368, 372, 414.

Каратаев — 132.

«Ключ» — 74, 368.

Ростовы — 368, 414.

«Воскресение» — 15, 118, 132, 141, 157, 185, 193—195, 204, 435.

Катюша Маслова — 194.

Набатов — 141.

Нехлюдов — 118.

Симонсон — 132.

«Воспоминания» — 97, 413.

«Вражье лепко, а божье крепко» — 327.

«В чем моя вера?» — 100, 131, 144, 145, 151, 424.

«Два брата и золото» — 327.

«Два гусара» — 14, 366.

«Декабристы» — 71, 418.

«Детство» — 30, 95, 115, 271, 281, 293, 364, 366, 381, 385.
Володя — 271.
Иргеньев Николенька — 30, 96, 364.
Иргеньев-отец — 30.
Любочка — 364.
«Дневник для одного себя» — 234, 239.
«Живой труп» — 366, 378.
«Записки не сумасшедшего» — 143.
«Записки старца Федора Кузьмича». См. «Посмертные записки старца Федора Кузьмича».
«Изложение веры» — 31.
«История моего детства» — см. «Детство».
«Из Русской старины 2085 года» — 172, 391, 393.
«Исследование Евангелия» — 81.
«Исповедь» — 81, 100, 145, 151, 295, 310.
«Кавказский пленник» — 103.
«Казачи» — 24, 295, 303, 396.
Ванюша — 24.
Как чертенок краешку выку-пал» — 327.
«Как четвертого числа» — 377.
«Книги для чтения» — 31, 42, 94, 95, 101, 103, 227.
«Крейцера соната» — 52, 144, 363, 373—375.
Позднышев — 363, 373.
Трухачевский — 52, 370.
«Критика догматического бого-словия» — 81, 145.
«Круг чтения» — сборник, состав-ленный Л. Н. Толстым — 97, 356.
«Кто когда бывает мил?» — 391, 395.
«Кто чем хочет казаться и что он в душе и что он для других лю-дей?» — 391, 395.
«Лев, осел и лисица» — 42.
«Люцерн» — 367.
«Молодой царь» — см. «Сон моло-дого царя».
«На каждый день» — 236.
«Нет в мире виноватых» — 215.
«Новая азбука» — 417.
«Об искусстве» — 193, 351, 369.
«О жизни» — 144.
«О переписи в Москве» — 135.
«О Шекспире и о драме» — 337.
«Отец Сергей» — 185, 194, 238, 318, Касатский — 318, 319.
Отец Сергей — 319.
«Основные начала музыки и пра-вила к изучению оной» — 365.
«Отрочество» — 30, 95, 271, 280, 281, 293, 359, 364, 385.
Иргеньев Николенька — 30, 96, 359, 364.
Иргеньев-отец — 30.
Любочка — 280, 364.
Нехлюдов Дмитрий — 359.
«Офицерская памятка» — 211.
«Охота пуше неволн» — 103.
«Плоды просвещения» — 144, 175, 339, 375.
«Поликушка» — 115, 295.
Полное собрание сочинений (чет-вертое издание) — 151.

Полное собрание сочинений (пя-тое издание) — 150, 151.
Полное собрание сочинений, изд. Сытиним — 235.
«Посмертные записки старца Фе-дора Кузьмича» — 207, 238.
«Свечка» — 66.
«Семейное счастье» — 381.
«Скорбный лист душевнобольных яснополянского госпиталю» — 143, 164, 165, 167—170, 172, 389, 391, 395.
«Смерть Ивана Ильича» — 144, 327, 342, 372.
«Соединение и перевод четырех евангелий» — 145.
«Солдатская памятка» — 211.
«Сон молодого царя» — 238.
«Сопроводительная записка к за-вещанию» — 229.
«Так что же нам делать?» — 135, 144, 145, 164, 165, 389.
«Три старца» — 66.
«Утро помещика» — 115.
«Фальшивый кулон» — 436.
«Хаджи-Мурат» — 436.
«Хозяин и работник» — 144.
«Царство божие внутри вас» — 131.
«Чем люди живы?» — 66, 327, 332.
«Что такое искусство» — 373, 381.
«Что такое религия и в чем ее сущность?» — 211.
«Что я видел во сне?» — 278.
«Юность» — 95, 271, 364.
Иргеньев Николенька — 30, 96, 364, 365.
Любочка — 364.
«Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» — 368.
Толстой Михаил Ильич — сын В. С. Толстой — 277.
Толстой Михаил Львович (1879—1944) — сын Л. Н. Толстого. Помещик. Участвовал в первой ми-ровой войне в чине прапорщика. В 20-х гг. эмигрировал за границу — 72, 125, 127, 162, 209, 218, 225, 235, 241—243, 250, 251, 259, 267, 290, 345, 378, 401, 431.
Толстой Николай Валернано-вич (1850—1879) — сын М. Н. Тол-стой — 21, 32, 52, 67, 68, 280, 283, 285.
Толстой Николай Ильич (1795—1837) — отец Л. Н. Толстого — 21, 118—120, 280, 394.
Толстой Николай Николаевич (1823—1860) — брат Л. Н. Толстого — 8, 21, 24, 109, 112, 118—120, 261, 281—283, 286, 359, 413.
Толстой Николай Львович (1874—1875) — пятый сын Л. Н. Тол-стого — 21, 43, 44, 45.
Толстой Петр Валернаноич — 280.
Толстой Петр Иванович — 280.
Толстой Петр Львович (1872—1873) — четвертый сын Л. Н. и С. А. Толстых — 38, 41.
Толстой Сергей Львович (1863—1947) — старший сын Л. Н. и С. А. Толстых — 3—6, 8—18, 148, 149, 155, 156, 162, 169, 175, 179, 182, 183, 191, 195, 196, 199, 225, 237, 242—248,

250—252, 254, 256, 257, 265, 267, 332, 335, 347, 353, 388, 389, 391, 402, 407, 413—415, 417, 418, 420, 422, 424, 425, 426, 431, 433.

«Дело Пыркина». «Мой рассказ был напечатан в майской книжке «Недели» за 1894 г. под псевдонимом С. Бродинский. Отец, к сожалению, поправок в нем не делал». (Прим. С. Л. Толстого) — 181.

«Согн rids» («Зеленя») — шотландская песня в обработке С. Л. Толстого — 379.

«Мы встретились вновь» — романс на слова Фета — 384.

Толстой Сергей Николаевич (1826—1904) — брат Л. Н. Толстого — 20, 21, 44, 72, 77, 79, 120, 134, 135, 137, 271, 279, 282—284, 306, 307, 325, 365, 395.

Толстой Сергей Сергеевич (р. 24 августа 1897 г.) — сын С. Л. Толстого — 6, 11, 258.

Толстой - Американец Ф. И. — 14, 424.

Торонто — 125, 203.

Трахимовская Софья Владимировна (р. 1854 г.) — рожденная баронесса Менгден. Ее воспоминания о Толстом «Лучи прошлого» см. «Литературные приключения» к «Шиве», 1903 г. № 8—75.

Трахимовский Николай Алексеевич (1838—1895) — юрист, писатель. Прокурор в Петербурге и Варшаве. Сенатор. Сотрудничал в журналах — 75, 76.

Трегубов Иван Михайлович (1858—1931) — последователь Толстого — 204, 361, 427.

Тредиаковский Василий Кириллович (1703—1769) — поэт, переводчик, теоретик литературы — 96.

Трепов Дмитрий Федорович (1855—1906) — реакционный государственный деятель царской России. В 1896—1905 гг. московский обер-полицеймейстер — 174.

Третье отделение собственной е. и. в. канцелярии — 71, 132.

Третья Государственная дума — 262, 263.

Третьяков Павел Михайлович (1832—1908) — крупный коммерсант, основатель художественной галереи в Москве — 41, 327, 415.

Трифоновский Дмитрий Семенович (ум. 1924 г.) — врач-гомеопат — 287.

Троице - Сергиевская лавра (Загорск) — 93, 316.

Тролопп Антони (1815—1882) — английский романист — 94.

Трошю Луи Жюдь (1818—96) — французский генерал, в 1870—1871 гг. военный губернатор Парижа — 341.

Трояновский Борис Сергеевич (1883—1951) — композитор, музыкант-балалаечник. Был в Ясной Поляне 4—6 июля 1909 г. — 378.

Трубецкие — 189.

Трубецкой — см. Урусов Л. Д.
Тула — 9, 10, 15, 25, 34, 51, 53, 57, 67—69, 71, 77, 79, 80, 134, 162, 201, 218, 219, 222, 250, 279, 296, 297, 311, 317, 407, 424.

Киевская улица — 25.

Тульская губ. — 40, 63, 179, 230, 237.

Тульское губернское земское собрание — 162.

Тульское отделение Крестьянского банка — 10, 162.

Тунис — 72.

Тургенев Иван Сергеевич — 61, 66, 74, 84, 95, 96, 109, 118, 281—283, 292—312, 321, 324, 417.

«Ася» — 295, 324.

Ася — 324.

«Бежин луг» — 295.

«Бирюк» — 295.

«Вешние воды» — 295.

«Гамлет Щигровского уезда» — 295.

«Дворянское гнездо» — 293.

«Дым» — 294.

«Живые мощи» — 295.

«Записки охотника» — 95, 293, 295.

«Затишье» — 295.

«Отцы и дети» — 294.

«Певцы» — 295.

«Первая любовь» — 295.

«Рудин» — 293, 294.

«Собака» — 301.

«Фауст» — 282.

Ельцова — 282.

Туркестан — 52.

Турция — 184.

Тучков Николай Павлович (1834—1893) — самарский помещик — 37.

Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — поэт — 16, 299.

Украина — 92, 117.

«Улица широкая» — песня — 377.

Уложение о наказаниях — 194.

Улыбышев Александр Дмитриевич (1794—1858) — музыкальный критик, литератор, публицист. Его книга: «Beethoven et ses glossateurs» («Бетховен, его критики и толкователи») вышла в 1857 г. на французском языке — 382.

Ульянинский Дмитрий Васильевич (1861—1918) — впоследствии служил в Удельном ведомстве, был известным библиофилом и составил себе богатую библиотеку. Он покончил собою, бросившись под поезд». (Прим. С. Л. Толстого) — 71.

Уорд Гумфри Мэри (р. 1851 г.) — 94.

Упа - река — 273.

Уральск — 141.

Урал — 47.

Урусов А. А. — помещик Тульской губ. — 275.

Урусов Александр Иванович (1843—1900) — адвокат, писатель и общественный деятель — 305.

Урусов Дмитрий Семенович — 317.

Урусов Леонид Дмитриевич (ум. 1885 г.) — в 1876—1885 гг. был тульским вице-губернатором. Друг семьи Толстых — 67, 68, 72, 78, 79, 82, 301, 306, 307, 395, 405, 406.

Урусов Семен Никитич (ум. в 1857 г.) — сенатор — 312.

Урусов Сергей Семенович (1827—97) — старый приятель Толстого, сослуживец его по Севастополю — 37, 56, 112, 130, 312—319.

Урусова Лидия Сергеевна (1853—1869) — 316.

Урусова княгиня, рожд. фон Маркшиц (ум. 1848 г.) — 312.

Урусова княгиня, рожд. Мальцева — жена Л. Д. Урусова — 67.

Урусова Татьяна Афанасьевна (ум. 1881 г.) — жена С. С. Урусова. Темира — Татьяна — по-грузински — 316.

Усов Павел Сергеевич (1867—1917) — врач, в 1910 г. приват-доцент Московского университета — 9, 253, 257, 258, 432.

Устюша — горничная Толстых — 172, 396.

Училище живописи, ваяния и зодчества — 344, 410, 412.

Училище правоведения — 29.

Ушаковы — семья в Туле: Сергей Петрович Ушаков (1828—94), в 1873—1886 гг. Тульский губернатор, его дочь и жена — 67.

Файнерман Исаак Борисович (1862—1925) — последователь Толстого. Впоследствии написал под псевдонимом Тенеромо ряд книг о Толстом, весьма недостоверных — 161, 171.

«Фауст» — 77.

Фелор Кузьмич — старец, живший и умерший в I половине XIX в. около города Томска. Легенда утверждала, что это был царь Александр I, якобы бежавший из Петербурга и скрывшийся в Сибирь — 207.

Федоров Николай Федорович (1824—1903) — библиотечарь Румянцевского музея. Свообразный философ и аскет — 131, 132.

«Философия общего дела» — 132.

Федот — один из самых бедных крестьян деревни Ясная Поляна — 143.

Федюхины высоты — возвышенность над речкой Черной на восток от Севастополя — 377.

Фелье Октав (1821—1890) — французский писатель — 94.

Феокритова Варвара Михайловна (1875—1950) — переписчица-машинистка у Толстых. Подруга А. Л. Толстой — 221, 233, 234, 238, 249, 257, 263, 407.

Феоктистов Евгений Ми-

хайлович (1829—98) — в 1883—1896 гг. начальник Главного управления по делам печати. Впоследствии сенатор — 151, 179.

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892) — поэт — 16, 27, 28, 35, 50, 69, 74, 96, 100, 109, 118, 130, 168, 299, 303, 304, 319—326, 349, 392.

«Венеция ночью» — 349.

«Вечерние огни» — 325.

«Георгины» — 322.

«Есть ночи зимние» — 323.

«Звезды» — 323.

«И вот портрет» — 321.

«Когда так нежно расточал» — 321.

«Люди спят» — 323.

«Опять незримые усилья» — 322.

«Осень». «Осенью» — 322.

«Певнице» — 321.

«Сияла ночь» — 74, 321.

«Смерти» — 325, 326.

«Уж верба вся пушистая» — 322.

«Шепот. Робкое дыханье» — 322, 392.

Филиппс Анни — англичанка, гувернантка детей Толстого, поступившая к ним в 1875 г. — 53.

Философов Владимир Николаевич, Вака (р. 1874 г.) — помещик, брат жены Ильи Львовича Толстого — 250, 265.

Философа Валентина Дмитриевна — певица, родственница жены Ильи Львовича Толстого — 189, 375.

Фильд Джон (1782—1837) — пианист, педагог и композитор. Ирландец по происхождению. Двадцати лет приехал в Россию, где и прожил до конца жизни — 364.

Флиссинген — 185.

Флобер Гюстав (1821—80) — французский писатель — 94, 304, 308.

Фоканов Тарас Карпович (1852—1924?) — один из любимых учеников яснополянской школы Толстого. Долгое время охранял его могилу — 262, 269.

Фоканов Тимофей Михайлович (1822—91) — яснополянский крестьянин, староста в Ясной Поляне, управляющий самарскими землями Толстого — 44.

Фонвизин Денис Иванович (1744—1792) — 96, 171.

«Недоросль» — 171.

Франк Сезар (1822—90) — французский композитор — 353, 354.

«Prélude, Aria et Final» — 354.

«Prélude, Choral et Fugue» — 354.

Франция — 70, 72, 192, 283, 301, 308, 339, 353, 370.

Фребель Фридрих (1782—1852) — немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания — 113.

Фредерикс Ольга Владимировна (рожд. Менгден) (1858 (?) — 1921) — 12 июня 1897 г. С. А. Толстая записала в дневник: «Вечером приехала О. Фредерикс и у нее о

Сережей — сентиментальные воспоминания о прошедшем. И оба несчастливо». Толстой иногда обращался к О. В. Фредерикс, прося ее помочь различным людям — 75.

Фрей Вильям (Владимир Константинович Гейнс) (1839—88) — офицер лейб-гвардии Финляндского полка. В 1868 г. вышел в отставку, жил в земледельческой коммуне. Позднее сотрудник «Отечественных записок» и «Вестника Европы» — 58, 145.

Фрибург — город в Швейцарии — 45.

Фридрих II (1712—1786) — прусский король — 104.

Фукс Эдуард Яковлевич (1834—1909) — судебный деятель, крупный чиновник — 173.

Харьков — 74.

Харьковский университет — 63.

Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807) — писатель — 104, 341.

Хилков Дмитрий Александрович (1858—1914) — князь, помещик, последователь Толстого. Отдал крестьянам имение и жил своим трудом — 203.

Хитров — товарищ С. Л. Толстого — 51, 126, 127.

Хитрово — имение Дельвигов — 285.

Хирьякова Ефросинья Дмитриевна (1859—1938) — фельдшерица, жена близкого знакомого Толстых А. М. Хирьякова — 201.

«Хожу ли я по улице» — песня — 366.

Хомяков Алексей Степанович (1804—60) — писатель — 55.

Хохлов Павел Акинфиевич (1854—1919) — певец, баритон. В 1881 г. — солист Большого театра — 82.

Христос Инсус — 56, 289, 290, 332, 333, 339, 356.

Хэллиер Дора (р. 1853 г.) — англичанка, гувернантка детей Толстого — 35, 414.

Цуриков Александр Александрович (1849—1912) — «Чернский помещик и уездный член суда. Человек с оригинальным мировоззрением — православный, либеральный и народник. Отец им заинтересовался». (Прим. С. Л. Толстого) — 182, 194, 195, 426.

Цюрих — 71.

Чайковский Николай Васильевич (1850—1926) — народник, после Октябрьской революции белоэмигрант — 57—59, 297.

Чайковский Петр Ильич (1840—1893) — 9, 54, 347—349, 358, 368—373, 381.

«Евгений Онегин» — 373.

Квартет — 349.

Первая симфония — 384.

«Ромео и Джульетта» — 347.

Черемушкин Борис Филиппович (1821—95) — торговец зерном в Сергиевском — 116.

Чернава — 181.

«Черная галка» — песня — 378.

Черная речка близ Севастополя — 377.

Черненко — духобор — 198.

Чернов Семен Ефимович — духобор — 200.

Черное море — 92.

Чернский уезд Тульской губ. — 10, 51, 63, 118, 179, 194, 217, 280, 281.

Чернь — речка в Никольском-Вяземском — 33, 116, 118, 263.

Чернь — уездный город Тульской губ. — 218.

Чернь — станция — 33.

Чернышевский И. Г. «Что делать?» — 58, 126.

Чертков Владимир Владимирович (1889—1964) — сын В. Г. Черткова — 186, 236.

Чертков Владимир Григорьевич (1854—1936) — ближайший друг Толстого. Главный редактор Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого в 90 томах (Гослитиздат. 1928—1958) — 12, 152, 185, 186, 190, 191, 204, 220, 227—236, 238, 239, 244, 246, 249, 251, 252, 278, 260, 262, 266, 283, 289, 292, 325, 329, 338, 358—362, 392, 403, 409, 427—430, 434—437.

«Помогите!» — 361, 427.

«Предисловие к посмертным сочинениям Л. Н. Толстого» — 231.

«Уход Толстого» — 231, 232.

Чертков Григорий Иванович (1828—84) — генерал-адъютант и генерал-от-инфантерии, военный деятель и военный писатель, близкий ко двору. Отец В. Г. Черткова — 358.

Черткова Анна Константиновна (1859—1927) — жена В. Г. Черткова — 186, 232, 233, 236.

Черткова Елизавета Ивановна (1832—1922) — мать В. Г. Черткова — 358.

Чертковы — 201, 358.

Четьи-Минен — 94.

Чехов Антон Павлович (1860—1904) — 204, 206, 209, 212—216, 328, 337, 435.

«Душечка» — 216, 337.

«Каштанка» — 212.

Чехович Мария Александровна (р. 1859 г.) — акушерка — 201.

Чингис-хан (р. около 1155—1227) — монгольский хан и полководец — 113.

Чирков Василий Васильевич — врач Вдовьего дома в Москве, ассистент Захарьина — 48, 49, 161.

Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) — юрист, философ-идеалист, приятель Толстого в молодости — 55.

Чухлома — 161.

Шаляпин Федор Иванович (1873—1938) — был у Толстого в ха-

мювническом доме 9 января 1900 г. вместе с Рахманиновым — 374, 378.

Ш а м и н а д «Valse — caprice» — 354.

Ш а м а р д и н о — женский монастырь в Козельском уезде Калужской губ. — 4, 244—246, 249, 287—289, 291, 412.

Ш а т и л о в Александр Сергеевич — исправник в гор. Данкове — 260.

Ш а т и л о в Иосиф Николаевич — помещик — 219.

Ш в е й ц а р и я — 98, 112, 283, 294, 334.

Ш е в е Эмиль Жозеф (1804—64) — основатель музыкальной школы в Париже — 368.

Ш е к с п и р Вильям (1564—1616) — 206, 309, 337.

Ш е л л и н г Фридрих Вильгельм (1775—1854) — немецкий философ — 131.

Ш е н ш и н а Марья Петровна (1828—94) (рожд. Боткина), с 1867 г. жена А. А. Фета — 319, 323.

Ш е р в а ш и д з е Георгий Дмитриевич (р. 1847 г.) — князь, в 1895 г. тифлисский губернатор — 190, 197, 200.

Ш и д л о в с к а я Вера Александровна (1825—1910) — тетка С. А. Толстой, сестра ее матери — 73, 163.

Ш и д л о в с к а я Вера Вячеславовна (р. 1866 (?)) — 163.

Ш и д л о в с к и й Борис Вячеславович (1858—1919) — сын В. А. Шидловской, тетки С. А. Толстой — 73, 406.

Ш и д л о в с к и й Юрий — 73.

Ш и л л е р Ф. «Разбойники» — 94, 95.

Ш и ш к и н а Марья Михайловна — см. Толстая М. М.

Ш к а р в а н А. — 434.

Ш м и д т Марья Александровна (1844—1911) — единомышленница Толстого — 236, 238, 239, 261.

Ш о п е н Фридерик (1810—49) — польский композитор — 44, 77, 275, 347, 348, 369, 375, 380—383.

Вальс a-dur — 77.

ноктюрн f-moll — 77.

полонезы — 77, 343, 375.

прелюдии — 77, 383.

скерцо b-moll — 369.

Ш о п е н г а у е р Артур (1788—1860) — немецкий философ — 94, 100, 320, 325, 356.

«Мир, как воля и представление» — 320.

Ш о р Давид Соломонович (р. 1867) — пианист, профессор Московской консерватории. Основатель музыкального трио: Шор, Крейн, Эрлих — 189, 375.

Ш о с т а к Екатерина Николаевна (ум. 1904 г.) — тетка С. А. Толстой — 72.

Ш т е т т и н — 283.

Ш т р а у с Давид (1808—74) — немецкий философ и богослов — 340.

Ш т р а у с Иоганн (1825—99) — немецкий композитор — 27, 369, 380, 386.

Accelerationen Walzer — 27, 369.

Ш у б е р т Франц (1797—1828) — австрийский композитор — 44, 51, 347, 348, 370, 375, 381, 382.

Impromptu as-dur — 375.

Moment musikal as-dur — 348.

Ш у м а н Роберт (1810—56) — немецкий композитор — 74, 77, 275, 347, 348, 356, 369, 375, 381, 382.

«Ich groÙe nicht» — 382.

«Jugendalbum» — 369.

«Nachtstücke №№ 1—4» — 348, 375.

«Waldesgespräch» — 375.

Ш у р а е в Иван Осипович (р. 1887) — лакей семьи Толстых. В 1930-х гг. — монтер на Тульском оружейном заводе. — 240.

«Ш э л м э - в э р с т а» — цыганская песня — 378.

Щ е г л о в М. — 434, 435.

Щ е г о л е н о к Василий Петрович (р. ок. 1806 г.) — сказитель былин и сказочник — 66, 70, 419.

Щ е п о т њ е в а А. М. — племянница С. С. Урусова — 314.

Щ е р б а к о в а Прасковья — 201.

Щ е р б а к о в ы — 201.

Щ е р б а т о в ы — 166.

Щ е р б а ч е в к а — именован Д. Н. Толстого — 274.

Щ у р о в с к и й Владимир Андреевич (1852—1939) — московский врач-терапевт. Профессор — 208—210, 212, 214, 253, 257, 258, 432.

Э з о п — древнегреческий баснописец 6—5 вв. до н. э. — 42.

«Э й, вы гусары!» — песня — 380.

«Э й, у х н е м!» — песня — 377.

Э л и о т Джордж (Мария Анна Эванс, 1819—1881) — английская писательница — 94.

«Адам Бид» — 94.

Э м и л и — см. Табор Э.

Э р л и х Рудольф Иванович — музыкант — 189, 375.

Э р т е л ь Александр Иванович (1855—1908) — писатель — 144.

Э с с е к с — графство — 185.

Ю р г е н с о н Петр Иванович (1836—1903) — музыкальный издатель — 286, 353.

Ю л е н ь к а — 342.

Ю р а с о в а Юлия Афанасьевна — 344.

Ю р ь е в Сергей Андреевич (1821—1888) — переводчик и литератор — 55, 98, 130, 131.

Ю ш к о в Владимир Иванович (1782—1869) — казанский помещик — 279, 364.

Ю ш к о в Пелагея Ильинична (1798—1875) — тетка Толстого по отцу — 28, 45, 49, 279, 280, 364.

Якутск — 193, 201.
Якутская обл. — 193, 194, 201, 338.
Ялта — 205, 206, 208, 209, 213, 214.
Янжул Иван Иванович (1845—1914) — академик, экономист — 135, 260.
Ярославская губ. — 335.
Ярошенко Николай Александрович (1846—98) — художник — 144, 435.
Ясная Поляна — имение Толстого в 14 километрах к югу от Тулы — 4, 8—10, 12—15, 18, 20, 22, 24—26, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 44, 45, 48—52, 56, 57, 60, 63, 66, 69, 70, 73—76, 78, 80, 81, 85, 91—94, 98—100, 115—118, 120, 122, 125, 127, 130, 133, 134, 136, 137, 141, 143, 145—147, 150, 155, 157, 158, 161—166, 172, 173, 175, 180, 183, 184, 192—196, 203, 205, 214, 215, 217, 219, 220, 224—226, 232, 234, 236—238, 241, 243, 247, 248, 256, 260, 262, 264—267, 272, 273, 281, 283—286, 288, 290, 292, 293, 297, 298, 302—304, 306, 308, 310, 313, 315, 319, 326—328, 337, 338, 344—346, 349—353, 356, 357, 362, 364, 365, 368—371, 374, 375, 377—379, 388, 389, 391, 393, 398, 405, 407, 410, 413, 414, 416, 417, 419—423, 425, 426, 430, 431, 433, 435.
«Вольный дух» — газета — 164.
Диготна — 30.
«Заказ» — лес близ имени Ясная

Поляна — 125, 227, 261,
Засака — станция. См. Козлова Засака.
Засака — смежный с именем Ясная Поляна большой лиственный лес (32.000 десятин) — 92, 121, 304, 421, 422.
«Почтовый ящик» Ясной Поляны — 5, 162—172, 388—393, 396, 400—402.
Чепыж — 92, 236, 305.
Ясенка — ручей — 26.
Ясенки — станция Московско-Курской железной дороги в 5 верстах от Ясной Поляны, впоследствии переименована в «Щекино» — 33, 266.
«Яснополянские ведомости» — 164.
«Я — цыганка молодая» — песня — 377.

* * *

Dopai — улица в Париже — 310.
«Fourtnightly Review» — 187.
Haffenbergen — гувернер сыновей Толстого — 163.
«Il baccio» — вальс — 74.
«Revue de Deux Mondes» — 98, 192, Rey J. — см. Ре Жюль.
«Si vous n'avez rien à me dire» — («Если вам нечего мне сказать», фр.) — романс — 74.
Waterloo — 269.

От редактора	3
Сергей Львович Толстой	8
Жизнь нашей семьи до осени 1881 года	19
1862—1870 годы	19
1871 год	29
1872 год	32
1873 год	35
1874 год	42
1875 год	44
1876 год	50
1877 год	54
1878 год	60
1879 год	67
1880 год	72
1881 год	78
Мой отец в семидесятих годах. Высказывания его о литературе и писателях	86
С осени 1881 года до осени 1898 года	125
Первая зима в Москве (1881—1882)	125
Поездка в Самарское имение	137
Разлад	143
1884—1887 годы	155
Почтовый ящик	162
Петербург 1888—1890 годов	172
1890—1897 годы	179
Мое участие в эмиграции духоборов в Канаду. П. А. Кропоткин. 1898—1899 годы	184
Л. Н. Толстой в Крыму 1901—1902 годах. Встречи с Чеховым и Горьким	204
1910 год. О последних месяцах и днях жизни Л. Н. Толстого	217
Осень 1910 года, перед уходом отца	217

Отъезд отца из Ясной Поляны. Наша переписка с ним после ухода	238
В Астапове	249
Последний путь	259
Кончина моей матери	265
Друзья и близкие Л. Н. Толстого	271
Сергей Николаевич Толстой	271
Марья Николаевна Толстая	279
Тургенев в Ясной Поляне	292
Князь Сергей Семенович Урусов	312
Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин)	319
Илья Ефимович Репин	326
Николай Николаевич Ге	331
Александр Сергеевич Бутурлин	334
Сергей Иванович Танеев	343
Владимир Григорьевич Чертков	358
Музыка в жизни моего отца	363
Приложение первое. «Почтовый ящик» Ясной По- ляны	388
Из апрельского номера «Русской старины» 2085 года . .	393
Приложение второе. Отъезд отца из Ясной Поляны 7 ноября	407
Примечания	413
Указатель собственных имен	438

Толстой Сергей Львович

ОЧЕРКИ БЫЛОГО

Редакторы:

В. Г. Ходулин, Г. Н. Губанова

Художник-редактор

М. Г. Рудаков

Технический редактор

М. В. Аршинова

Корректоры

Н. Г. Проплетина, Л. В. Захарова

Сдано в набор 14 мая 1974 г. Подписано к печати 27 января 1975 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Печ. л. 14,75+0,5 вклейка. Усл. печ. л. 25,62
Уч.-изд. л. 30,06. Тираж 60 000 экз. Заказ № 429.

Цена на типографской бумаге № 2 — 1 руб. 50 коп., в переплете
№ 7.

Приокское книжное издательство,
г. Тула, ул. Революции, 14.

Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном
комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полигра-
фии и книжной торговли, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109.

Толстой С. Л.

Т 52 Очерки былого. Тула, Приокское книжное издательство, 1975.

472 с.+16 полос вклейка.

Очерк о жизни и творчестве Л. Н. Толстого, написанный старшим сыном писателя в лучших традициях русской литературы. Автор воссоздает сложный образ «матерого человечица», его связь с Россией, которая питала творчество писателя, мастера слова и психологии.

8Р1

Т 0-7-3-1-067
М154(03)—75